

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН



ФРИДРИХ  
ГОРЕНШТЕЙН

ИСКУПЛЕНИЕ



ФРИДРИХ  
ГОРЕНШТЕЙН  
ИЗБРАННОЕ В ТРЕХ ТОМАХ

# ИСКУПЛЕНИЕ

Повести, рассказы, пьеса

## II

*Ex libris*

Издания книжной редакции  
Советско-Британского  
совместного предприятия  
СЛОВО/SLOVO  
Москва • 1992

ББК 84Р6  
Г 68

Художник  
Валерий Локшин

Г 4702010201—039 Без объявл.  
М 128(03)—92

ISBN 5-85050-297-1

© Ф. Горенштейн, 1992  
© В. Локшин, оформление,  
1992

ПОВЕСТИ,  
РАССКАЗЫ,  
ПЬЕСА





---

## ДОМ С БАШЕНКОЙ

Мальчик плохо различал лица, они были все одинаковы и внушали ему страх. Он примостился в углу вагона, у изголовья матери, которая в пуховом берете и пальто, застегнутом до горла, лежала на узлах. Кто-то в темноте сказал:

— Мы задохнемся здесь, как в душегубке. Она все время ходит под себя... В конце концов, здесь дети...

Мальчик торопливо вынул варежку и принялся растирать лужу по полу вагона.

— Почему ты упрямисься? — спросил какой-то мужчина. — Твоя мама больна. Ее положат в больницу и вылечат. А в эшелоне она может умереть...

— Мы должны доехать, — с отчаянием сказал мальчик, — там нас встретит дед.

Но он понимал, что на следующей станции их обязательно высадят.

Мать что-то сказала и улыбнулась.

— Ты чего? — спросил мальчик.

Но мать не ответила, она смотрела мимо него и тихо напевала какой-то мотив.

— Ужасный голос, — вздохнули в темноте.

— Ничего не ужасный, — огрызнулся мальчик. — У вас самих ужасный...

Рассвело. Маленькие оконца товарного вагона посинели, и в них начали проскакивать верхушки телеграфных столбов. Мальчик не спал всю ночь, и теперь, когда голоса притихли, он взял обеими руками горячую руку матери и закрыл глаза. Он заснул сразу, и его мягко потряхивало и постукивало спи-

ной о дощатую стенку вагона. Проснулся он тоже сразу, от чужого прикосновения к щеке.

Поезд стоял. Дверь вагона была открыта, и мальчик увидел, что четверо мужчин несут его мать на носилках через пути. Он прыгнул вниз, на гравий железнодорожной насыпи, и побежал следом.

Мужчины несли носилки, высоко подняв и положив на плечи, и мать безразлично покачивалась в такт их шагам.

Было раннее, холодное утро, обычный в этих степных местах мороз без снега, и мальчик несколько раз спотыкался о примерзшие к земле камни.

По перрону ходили люди, некоторые оборачивались, смотрели, а какой-то парень, лет на пять старше мальчика, спросил у него с любопытством:

— Умерла?

— Заболела,— ответил мальчик,— это моя мама.

Парень с испугом посмотрел на него и отошел.

Носилки внесли в дверь вокзала, и мальчик тоже хотел пройти туда, но медсестра в телогрейке, наброшенной поверх халата, взяла его за плечо и спросила:

— Ты куда?

— Это ее сын,— сказал один из мужчин и добавил:— А вещи где ж? Эшелон уйдет, без вещей останетесь...

Мальчик побежал назад, к эшелону, но запутался и оказался на городской площади с противоположной стороны вокзала. Он успел заметить очередь на автобус, старый одноэтажный дом с башенкой и старуху в шерстяных чулках и галошах, торгующую рыбой.

Потом он побежал назад, однако железнодорожные пути у перрона оказались пустыми, эшелон уже ушел. Мальчик еще не успел испугаться, как увидел свои вещи, сложенные на перроне. Все было цело, кроме кошелки с лепешками и сухим урюком.

— Твои вещи?— спросила женщина в железнодорожной шинели.

— Мои,— ответил мальчик.

— А что в этом узле?— И ткнула ногой грязный, сплюснутый узел.

— Машины фетровые боты,— сказал мальчик,— и два ватных одеяла... И коричневый отрез...

Женщина не стала проверять, взяла узел и чемодан, а мальчик взял другой узел и чемодан, и они пошли к вокзалу. Они внесли вещи в теплый зал, где на деревянных скамьях и прямо на полу сидело много людей.

— Я в медпункт,— сказал мальчик,— у меня мама заболела.

— Я твои вещи караулить не буду.

— Ну, еще немного, я уплачу.

— Дурень,— поморщилась женщина,— я ведь на работе.

Но мальчик уже выбежал на перрон. Он с трудом нашел двери медпункта. На клеенчатой скамье кто-то лежал, вытянувшись, и мальчик глотнул несколько раз тяжело и, подойдя, увидел руку с синими ногтями. Только тогда он заметил, что это незнакомый старик. Лицо его было накрыто носовым платком, и две женщины сидели рядом, сгорбившись. Одна, помоложе, плакала, а другая, постарше, молчала.

Мальчик быстро отступил назад.

— А где моя мама?— спросил он и огляделся.

Из боковой двери вышла медсестра в телогрейке.

— Мать твою в больницу отправили,— сказала она.

— В какую больницу?— спросил мальчик.

— У нас в городе одна больница... Сядешь на автобус, доедешь...

Тогда он вспомнил про площадь, и очередь, и дом с башенкой, и старуху в шерстяных чулках, торгующую рыбой. Он вновь побежал по другую сторону вокзала и увидел все это. Он стал в очередь за какой-то меховой курткой с меховыми пуговицами на хлястике. Но автобуса все не было, и он побежал через площадь, оказался на узкой улице, среди старых, деревянных домов, и здесь вспомнил, что не знает, где больница.

Улица была пуста, лишь у обмерзшей льдом водопроводной колонки две девочки играли с собачкой.

— Где больница?— спросил он, но девочки посмотрели на него, рассмеялись и убежали в калитку, а собака подскочила к его пяткам и, оскалившись, залаяла. Мальчик поднял кусок льдышки и кинул в собаку. Она завизжала. Из калитки вышли женщина в ушанке и две девочки, незаметно строящие ему рожи. Женщина начала что-то кричать, мальчик так и не понял, почему и что она кричит.

— Где больница?— тихо спросил он.

Женщина перестала кричать.

— Ты идешь не в ту сторону,— сказала она,— перейди через площадь и садись на автобус.

Мальчик повернулся, пошел назад и опять увидел дом с башенкой, очередь и старуху, торгующую рыбой.

Он стал в очередь за шинелью с подколотым пустым рукавом, и автобус опять долго не появлялся. Тогда он спросил у шинели, где больница.

— Это далеко,— сказала шинель.— Видишь трубу? За трубой еще с километр. На автобусе надо ехать.

Но автобуса все не было, и мальчик пошел по направлению к трубе. Сразу же в начале улицы его обогнал автобус.

Мальчик шел очень долго и за это время успел привыкнуть к тому, что мать его в больнице, а он остался один среди незнакомых людей. Главное было теперь добраться до трубы и найти больницу. В дороге его еще несколько раз обгонял автобус. Вблизи труба оказалась громадной и ржавой, на кирпичном фундаменте. Мальчик постоял немного, отдышал, держась рукой в варежке за проволоку, идущую от трубы к земле. Проволока была скользкая и холодная. Потом он пошел дальше, и какой-то прохожий показал ему больницу. Мальчик поднялся по ступенькам, вошел в коридор и наткнулся на женщину в марлевой косынке.

— Ты куда,— сказала женщина и растопырила руки,— ты куда в пальто?.. Ты чего?..

Мальчик нырнул у нее под руками, толкнул стеклянную дверь и сразу увидел мать. Она лежала на кровати посреди палаты.

— Вот,— сказал он,— вот, вот...

— Что «вот»? — спросила женщина.— Чего «вот»?

Но мальчик держался за ручку двери и повторял:

— Вот, ну вот же...

Мать была острижена наголо, и глаза ее, очень темные на желтом лице, смотрели на мальчика. Она была в сознании.

— Сын,— сказала она шепотом.

И тогда мальчик заплакал.

— Ну, тише,— сказала женщина в косынке,— давай сюда пальто и подойди к матери.

— Я тебя искал,— сказал мальчик, продолжая плакать.

— Мне уже легче,— сказала мать.— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо,— сказал мальчик.— А ты скоро выздоровеешь?

— Скоро,— сказала мать.— Поешь кашу. Сестра, дайте ему ложку.

— Это не положено,— сказала сестра.

— Возьми маленькую ложечку,— сказала мать,— и садись на табурет.

— Это не положено,— повторила сестра,— я вынуждена буду удалить мальчика.

— Кушай, кушай, сын,— сказала мать,— не бойся.

— Я повешу твое пальто в коридоре,— сердито сказала сестра и вышла из палаты.



— Надо дать телеграмму деду,— сказал мальчик,— деньги у меня есть... А вещи я оставил на вокзале... Главное, чтоб ты выздоровела.

— Я выздоровею,— сказала мать.— Как ты похудел...

— Приедем, я поправлюсь,— сказал мальчик.— Война скоро кончится.

Появилась сестра.

— Мальчик, выйди из палаты. Сейчас начнется обход...

— Я дам телеграмму и вернусь,— сказал мальчик,— я сразу вернусь к тебе.

— Наклонись,— сказала мать.

Мальчик наклонился, и она поцеловала его в щеку. Губы у нее были шершавые и горячие.

Он вышел на улицу, и автобус подошел очень быстро, остановка была прямо против больницы.

«Все в порядке,— подумал мальчик,— теперь лучше, чем полчаса назад, когда я шел и ничего не знал».

В автобусе было жарко, и мальчик снял варежки и расстегнул крючок воротника. Тогда стало холодно, и он снова застегнул крючок, а руки сунул в карманы.

Он сошел на площади, где по-прежнему стояла старуха, торгующая рыбой, и вдруг почувствовал голод, купил коричневую печеную рыбу и понюхал ее — она пахла чем-то незнакомым,— и, идя через площадь к дому с башенкой, где была почта, силился вспомнить, как подошел к старухе, о чем говорил и сколько заплатил за рыбу.

Он потянул к себе тяжелые двери почты, и за ними была короткая лесенка винтом к другим дверям. А за теми дверьми комната, перегороденная деревянной стойкой.

Почтовые окошки заслоняли чужие спины; куда бы мальчик ни подходил, он всюду наткнулся на спины.

— Ты чего?— спросил какой-то мужчина.— Чего ты здесь путаешься?

— Мне телеграмму дать,— сказал мальчик и, вспомнив, что никогда в жизни не давал телеграмм, добавил: — Вы мне напишите телеграмму.

— Подожди,— сказал мужчина,— сядь, не путайся под ногами.

Мальчик присел на стул и отщипнул кусочек рыбы. Под коричневой кожицей она была очень белая и несоленая. Потом он посмотрел в окно и почувствовал беспокойство: начало уже темнеть.

— Тетя,— сказал он женщине в платке,— напишите мне телеграмму.

— Какой нетерпеливый! — сказал мужчина. — Ну чего тебе? Какую телеграмму? — И взял телеграфный бланк.

— «Мама заболела, лежит в больнице, — продиктовал мальчик, — дед, приезжай».

Мужчина и женщина посмотрели на мальчика.

— Ох, народ мучается, — вздохнула женщина, — ох, страдает народ...

Мальчик заплатил за телеграмму, спрятал квитанцию в варежку, и ему стало спокойней. Он вышел на площадь и побежал к подъехавшему автобусу. Посреди площади он вспомнил, что забыл рыбу на почте, но не стал возвращаться, побежал дальше.

Пока он бежал, что-то мокрое и холодное несколько раз прикосалось из темноты к его лицу, а когда автобус остановился у больницы, вдоль дороги были уже белые полосы и мимо фонарей летел снег.

Мальчик быстро поднялся по заснеженным ступенькам, пошел в знакомый коридор, а оттуда в слабо освещенную палату.

— Мама, — сказал он, — я дал телеграмму деду...

— Тише, — появилась откуда-то сердитая медсестра со шприцем в руках, — мать твоя спит, не видишь?..

Мать лежала на боку, рот ее был полуоткрыт, и мальчику вдруг показалось, что она не дышит.

— Она живая? — тихо спросил он сестру.

— Живая, живая, — ответила сестра, — ей спать надо... А тебя куда девать? Ночевать у тебя есть где?

— Я здесь посижу, — сказал мальчик.

— Здесь не положено, — сказала сестра. — Опять прямо в пальто в палату! — И взяла его за воротник пальто.

Тогда мальчик дернулся и вырвался, но сестра переложила шприц из правой руки в левую и снова, уже покрепче, взяла его за воротник.

— Я милиционера позову, — сказала она.

Потом кто-то взял мальчика за руку и повернул к себе.

И мальчик увидел халат весь в желтых пятнах, перед самыми глазами мальчика было пятно, похожее на жука, а чуть левее, у костяных пуговиц, пятно, похожее на черепаху с длинной шеей.

— Это сын той, с эшелона, — сказала сестра халату.

— Ну-ка, расстегни пальто, — сказал халат и приложил ко лбу мальчика твердую ладонь, при этом жук дернулся, пополз, а черепаха зашевелила шеей.

Мальчик хотел вырваться, но сестра крепко держала его сзади.

— Ну-ка,—повторил халат и взял мальчика за кисть своей второй рукой. Вторая рука была мягкая, с коротко остриженными ногтями и темными волосиками на пальцах, и мальчик немного успокоился.

— Раздевайся,—сказал халат.

— Мне можно остаться?—спросил мальчик.

— Да... Мы вас вместе вылечим, и поедете дальше.

— А разве я тоже больной?—спросил мальчик.

— Да,—нетерпеливо ответил халат: его звали в другую палату.—Сестра, положите его на эту койку.—Он показал на свободную койку в другом конце палаты и ушел...

— Пойдем,—позвала сестра и вышла в коридор.

Она привела его в каморку без окон и щелкнула выключателем, но в каморке по-прежнему было темно, видно, перегорела лампочка. Тогда сестра зажгла свечу, и при свете этой свечи мальчика почему-то стало знобить.

Он разделся, сбрасывая все на пол, а сестра, ворча, подбирала одежду и заталкивала ее в мешок. Потом он натянул штанину серых, больничных кальсон и лег отдохнуть.

Сестра подняла его, натянула вторую штанину, надела рубашу и повела в палату, держа за плечи.

Ткнувшись о постель, мальчик прижался головой к подушке, но сестра снова растормошила его и дала половинку какой-то таблетки.

— Глотай,—сказала сестра,—набери слюны в рот и глотай.

Во рту у мальчика было сухо, и горькая таблетка растаяла по языку...

— Дайте пить,—сказал мальчик.—А кушать когда у вас дают?

— Вот ты зачем сюда пришел,—сердито сказала сестра.—Ужин уже кончился...

Она ушла в глубину палаты и принесла стакан холодного чая и несколько галет.

— Бери... Мать не ела...

Мальчик выпил чай, съел галеты и лег. Между ним и матерью было три койки, и, чтоб видеть мать, он должен был опираться на локти, потому что ее заслоняла голова то ли старика, то ли старухи с острым носом и острым подбородком.

Мать лежала теперь навзничь, одеяло на ее груди часто приподнималось и опускалось.

Мальчик ненадолго заснул, и ему ничего не снилось, а когда проснулся, по-прежнему была ночь и мать по-прежнему лежала навзничь. Он поднялся на локтях, потом сел, чувствуя дрожь во всем теле, подошел босиком по холодному полу к ее

кровати и долго стоял так и ждал, пока мать пошевелится. И она пошевелилась, подняла колени и вздохнула глубоко и спокойно.

Тогда он вернулся к себе на койку и, глядя в темноту под потолком, подумал, как они приедут домой, в свой город, и будут вспоминать все это. Старик рядом начал ворочаться и стонать, и, чтобы стоны эти не мешали думать, мальчик укрылся с головой одеялом. За ночь он еще несколько раз вставал, подходил к матери и ждал, пока она пошевелится. А потом ложился и то засыпал, то просыпался. Когда он проснулся в последний раз, потолок уже был серый и в окна виден был падающий снег. И он обрадовался, потому что ночь кончилась. Он оперся на локти, посмотрел на мать и опять обрадовался, потому что она шевелилась, даже приподнялась и что-то говорила.

Мальчик улыбнулся, и ему захотелось рассказать матери про телеграмму и про то, как он ночью боялся, когда она лежала неподвижно.

Но вдруг старик рядом крикнул:

— Сестра, женщина умирает!

Мальчик встал с койки и увидел, что мать хрипит и шея ее выгибается, а голова глубоко погружена в подушку.

Подошла сестра, взяла мать пальцами за подбородок, а потом привычным движением натянула одеяло ей на лицо. Одеяло приподнялось, и мальчик на мгновение увидел желтую ногу и голый живот.

Он смотрел на неподвижный теперь бугор, укрытый одеялом, и странное безразличие, какое-то странное спокойствие овладело им. Он подумал: «Вот и все»,— и пошел из палаты в коридор.

Его догнала сестра.

— Ты ложись,— сказала она,— ты больной.

— Где моя одежда?— спросил мальчик.— Я должен сейчас ехать дальше.

Сестра что-то говорила ему, но он не слышал, что она говорит.

В коридоре были какие-то женщины с сумками, наверно, просто прохожие; как они туда попали, неизвестно. Они смотрели на мальчика, и кто-то спросил:

— В чем дело?

И кто-то сказал:

— Вот у мальчика мать умерла.

И кто-то приложил платок к глазам.

А мальчик сидел на деревянной скамье в коридоре, дрожа от холода, и не смотрел на всех этих людей. Он вдруг поду-

мал, что когда он приедет в свой город, мать встретит его на вокзале.

Он был уже не маленький и понимал, что мать его умерла, и все-таки он так подумал.

— Я хочу уехать домой,— сказал он доктору.

— Ты не глупи,— сказал доктор,— вылечишься, поедешь.

— Я уже здоров,— сказал мальчик.— Где моя одежда?

В это время с улицы кого-то внесли на носилках. Сзади шел здоровенный мужчина и громко плакал, сморкаясь.

Доктор махнул рукой и ушел следом за носилками.

А сестра сказала мальчику:

— Жди здесь.— И тоже ушла.

Она вернулась минут через двадцать и повела мальчика в кладовую.

Она вынула из мешка его мятую одежду, и он начал одеваться. Потом она вынула из другого мешка пальто, пуховый берет и туфли матери и скатала все это в узел. Она долго писала что-то на бумажке с лиловой печатью и спрашивала мальчика его имя и куда он едет.

— А в платье мы ее похороним,— сказала она.— Распишись за вещи и деньги пересчитай.

Он не стал пересчитывать, расписался и пошел к дверям. Сестра окликнула его и сунула в карман бумажку с лиловой печатью.

Ночью навалило снегу, труба теперь стояла не на кирпичном фундаменте, а на громадном сугробе. Мальчик прошел мимо и вспомнил, как вчера отдыхал здесь и держался рукой за проволоку. Потом он заметил, что идет по снегу, рядом с протоптанной тропинкой, и, наверно, поэтому так устал. Спина и шея у него были мокрыми от пота, а правая рука, которой он прижимал к себе узел, совсем ооченела.

Он вышел на площадь у вокзала; она была совсем незнакомой, тихой и белой. Дом с башенкой был другой, низенький, и очередь другая, и старуха больше не торговала рыбой.

Он вошел в вокзал, и его начали толкать со всех сторон. Людей было много, и они все лезли к кассам; мальчик сразу понял, что ему ни за что не пробиться к кассам. В толпе его прижали лицом к какому-то кожаному пальто, и, пока их мотало вместе, мальчик успел привыкнуть к этому желтому пальто, а запах кожи он всегда любил.

— Дядя,— сказал он, когда их вытолкнули на свободное место,— закомпостируйте мне билет.

Дядя ничего не ответил, лишь мельком взглянул на мальчика, морщась, потирая ушибленный об угол локоть.

— Я улпачу,— сказал мальчик.



— Сопли утри, богач,— сказал дядя.

Он опять кинулся в толпу, а мальчик вспомнил, что вещи остались у женщины в железнодорожной шинели, и пошел ее искать.

Он долго ходил по перрону, замерз и пошел греться в зал ожидания. Все скамьи были заняты, он сел на подоконник и увидел дядю в кожаном пальто. Тот возился у громадного чемодана, прижимал его коленом и затягивал ремень, а рядом, на скамейке, спали женщина в точно таком же кожаном пальто и толстячок, удивительно похожий на дядю; мальчик сразу обозвал его про себя «маленький дядя».

Дядя, наверно, почувствовал, что на него смотрят, и обернулся.

— Вот я тебе!— сказал он.— Чего надо?

— Я тоже жду поезда,— сказал мальчик и показал билет. Вместе с билетом мальчик вытащил еще несколько бумажек, и две из них упали на пол.

Одну подобрал мальчик, другую дядя.

— Что за филькина грамота?— спросил дядя, близоруко щурясь.

— Это справка из больницы,— сказал мальчик.

Дядя надел очки, прочитал и сразу заторопился.

— Ну-ка, пойдем,— сказал дядя, толкнул спящую женщину и положил около нее узелок мальчика, а самого мальчика взял за плечо.

Он провел его через зал ожидания в коридор, где у двери толпилось много людей, но дядя показал справку, и их пропустили. В комнате за дверью было тоже много людей, и какой-то сидевший за столом железнодорожник начал кричать, но дядя показал справку, и железнодорожник перестал кричать.

— А где хлопец?— спросил он, и дядя быстро вытащил мальчика из-за чьих-то спин.

— Это вас вчера сняли с эшелона?— спросил железнодорожник.

— Нас,— ответил мальчик.

— Зайдешь в камеру хранения, заберешь вещи.— И что-то написал на бумажке.

— Земляки,— сказал дядя.— Довезу, как родного сына.

— Ладно,— сказал железнодорожник и что-то написал на другой бумажке.

— Только у меня семья,— сказал дядя, прочитав бумажку,— жена и сын... Будет два сына.

— Ладно,— сказал железнодорожник и переправил цифру в бумажке.

— Пошли, пошли, дружок,— сказал дядя и обнял мальчика за плечи.

Он повел его на перрон, в камеру хранения, и мальчик получил вещи: два узла и два чемодана.

Один узел и чемодан взял дядя, а другой узел и чемодан взял мальчик, и они пошли в зал ожидания.

Здесь он усадил мальчика на скамью, пошептался с женщиной в кожаном пальто и ушел.

Женщина была с кудрявыми волосами, низенькая и толстая. Она покачала на коленях «маленького дядю», запустила ему руку за воротник, похлопала по шейке и сказала:

— Вот видишь, мальчик не слушался маму, и она умерла. Если ты не будешь слушаться, я тоже умру.

— А как она умерла?— спросил «маленький дядя».

— Закрывает глазки— и все,— сказала кудрявая женщина.

— Как дядя Вася?— спросил «маленький дядя».

— Нет, дядю Васю убили на фронте,— сказала женщина.

— А их можно оживить?— спросил «маленький дядя».

— Конечно, нет, глупенький,— сказала кудрявая женщина.

— А если б можно было,— сказал «маленький дядя»,— я б лучше оживил нашего дядю Васю, чем его маму...

— Ой ты мой глупыш,— засмеялась кудрявая женщина и начала снова похлопывать «маленького дядю» по шейке,— ой ты мой глупыш, ой ты мой глупыш, ой ты мой глупыш!..— Она посмотрела на мальчика, отодвинулась подальше, отодвинула вещи и спросила:— Мать твоя умерла от сыпного тифа?

— Нет,— ответил мальчик; он сидел и думал, как приедет в свой город и встретит мать, которая, оказывается, осталась в городе, в партизанах. А в эвакуации он был с другой женщиной, и это другая женщина умерла в больнице. Ему было приятно так думать, и он думал все время об одном и том же, но каждый раз все с большими подробностями.

— Ты чего улыбаешься?— сказала кудрявая женщина.— Мать умерла, а ты улыбаешься... Стыдно...

Потом появился дядя и рядом с ним какой-то инвалид. Инвалид был в морском бушлате и черной морской ушанке. Вместо руки у него был пустой, плоский рукав, а вместо ноги постукивал протез.

Дядя что-то говорил и улыбался, и инвалид тоже говорил что-то дяде, а потом вдруг сунул ему прямо в нос громадную дулю.

Дядя отстранился и опять что-то заговорил, дружелюбно покачивая головой, и тогда инвалид плюнул ему в лицо.

Кудрявая женщина закричала и побежала к дяде, а дядя торопливо утерся ладонью и снова почему-то улыбнулся. Подошел патрульный солдат и потащил куда-то инвалида за единственную руку.

— Пристал, пьяная сволочь!— сказал дядя, переставая улыбаться.— Я иду, а он пристал. Не трогаю ведь его, иду, а он пристал...— У дяди было злое, расстроенное лицо, и он прикрикнул на мальчика:— Чего сидишь, собирайся!.. Билеты я закомпостировал...

Мальчик быстро вскочил со скамейки и взял в одну руку узел, а в другую чемодан.

Дядя вытащил из кармана веревку, связал два узла вместе и повесил их мальчику на плечо.

— А чемоданы бери в руки,— сказал дядя.

Началась посадка, и мальчик сразу отстал от дяди, и его затолкали в самый конец громадной толпы, откуда виден был лишь верх зеленых вагонов. Мальчик попробовал протиснуться ближе, и это ему удалось, он уже начал различать окна и лица в окнах и потом увидел в окне дядю. Тогда он начал лезть вперед изо всех сил и почувствовал, что веревка, связывающая узлы, лопнула. Передний узел он успел подхватить зубами, а задний узел упал, и мальчик наступил на него ногой. Но тут мальчика сильно толкнули в спину, и он оказался у самого вагона.

Дядя в вагоне заметил его, исчез из окна и появился на ступеньках.

— Сюда давай,— крикнул дядя, протянул руку и взял узел у мальчика из зубов, а второй рукой втащил его вместе с чемоданами на ступеньки.— Вот и в порядке,— сказал дядя и повел его по загроможденному проходу.

— А теперь навверх,— сказал дядя и посадил мальчика на верхнюю полку,— узел под голову и спи спокойно.

Кудрявая женщина сидела внизу на одной скамейке, «маленький дядя» — на другой, а сам дядя стоял и говорил людям с чемоданами:

— Проходите, впереди свободно... Проходите, тут едут три семьи, тут занято...

Потом вагон дернуло, и мальчик понял, что они поехали.

Он увидел заснеженный перрон, забор и за забором площадь и очередь и увидел старуху, торгующую рыбой; она шла через площадь в валенках и с плетеной кошелкой. В конце площади был дом с башенкой, где была лестница винтом. А если пойти влево, то можно дойти до трубы, а оттуда до больницы.

И вдруг что-то повернулось и защемило в груди, и мальчик удивился, потому что еще никогда так не щемило.

В окне уже было поле, все время одинаковое, белое, и одинаковые столбы, которые, казалось, за провода протягивают друг друга мимо окна, и пока мальчик смотрел на провода, щемить стало слабее. Мальчик лежал, свернувшись клубком, потому что в ногах стояли дядины большие чемоданы, и старался не смотреть вниз, где кто-то ходил, позвякивала посуда и мелькали какие-то головы. Он был здесь один, на полке, и полка пошатывалась и везла его домой.

Мальчик заснул, и ему что-то снилось, но когда он проснулся, то посмотрел в холодное окно, забыл сон и вспомнил, что мама умерла. У него начало давить в горле и болеть спереди, над бровями, и он всхлипнул и потом начал всхлипывать громче и чаще и сам удивился, почему это он не может остановиться, а все всхлипывает и всхлипывает.

Рядом с его лицом над краем полки появилась чья-то голова, и мальчик узнал вчерашнего дядю.

— Ты чего? — сказал дядя. — Так не годится, ты ведь большой мальчик...

Дядя исчез и появился снова с куском пирога. Пирог был помазан кисленьким сливовым повидлом, а на повидле лежали тоненькие хрустящие колбаски из теста.

Мальчик сначала откусывал колбаски и сосал их, как конфеты, потом вылизал повидло, а потом съел все остальное.

«Хороший дядя», — подумал мальчик и посмотрел вниз.

Было утро. «Маленький дядя» спал на громадной красной подушке, а кудрявая женщина и дядя о чем-то шепотом говорили.

Мальчик слез с полки, и кудрявая женщина мельком посмотрела на него, а дядя сказал:

— Сходи займи очередь в туалет.

Мальчик пошел узким проходом, стучаясь о полки и углы чемоданов, и стал в очередь за каким-то стариком. Старик был в очень рваном пальто, но в красивом пенсне с толстыми стеклами и с кусочком седой, чистенькой бородки под нижней губой. Впереди начался скандал, какая-то женщина хотела прорваться без очереди.

— У меня расстройство! — кричала она.

— Наплевать на твое расстройство, — отвечал ей мужской голос, — я сам с семи утра дежурю!

— Нравы, — сказал старик в пенсне и криво усмехнулся, клочок бородки пополз влево, — нравы третьего года войны... — Он посмотрел на мальчика и, наверно, потому, что было скучно, спросил: — С матерью едешь?

— Нет,— ответил мальчик,— мама у меня в партизанском отряде.— Он сказал это неожиданно для себя и сразу пожалел, но было уже поздно.

— Вот как,— заинтересовался старик,— а ты как же?

— А я так,— сказал мальчик, чувствуя радостно заколотившееся сердце,— я с дядей,— сказал мальчик и вдруг увидел, что по коридору идет дядина кудрявая жена.

Он покраснел и торопливо отвернулся от старика, собиравшегося задать новый вопрос.

— Ты за кем?— спросила кудрявая женщина.— Понятно, а за тобой кто?

За мальчиком стояла толстая женщина, вернее, когда-то она была толстой, теперь кожа на ней висела, как пустой мешок.

— Это не выйдет,— сказала она,— он, может, еще полвагона вперед пропустит.

— Вы не волнуйтесь,— сказала кудрявая женщина,— мальчик уйдет, я вместо мальчика.

Но толстая женщина, видно, была сильно обозлена, что ее не пустили без очереди. Она перегородила коридор рукой и сказала:

— Неплохая замена. Мальчику туда на пять минут, а тебе на два часа...

— Как вам не стыдно,— сказал старик,— война, люди жертвуют собой... Мать этого мальчика, например, в партизанском отряде...

— Какого?— спросила кудрявая женщина.— Этого? Да что же ты врешь,— сказала она мальчику,— твоя ж мать умерла позавчера в больнице...

Мальчику стало очень жарко, и сильно зашумело в ушах.

— Горя своего стыдится,— сказала толстая женщина.

Мальчик быстро пошел назад и полез на полку. У него опять начало давить в горле и болеть над бровями, и, чтоб не всхлипывать, он крепко закрыл глаза и крепко стиснул зубы. Он лежал так долго, и полка скрипела, и снизу гудело, и над головой что-то постукивало. Потом сразу все стихло, мальчик открыл глаза и увидел в окно перрон, по которому бегало много людей. Дяди в купе не было, а кудрявая женщина кормила «маленького дядю» с ложечки сгущенным молоком. Мальчик подумал, что это сладкое, сгущенное молоко можно кушать и кушать, целый день можно кушать, если не набирать его на ложечку, а макать ложечку и облизывать.

Кудрявая женщина посмотрела на мальчика, и мальчику вдруг стало страшно: без дяди она высадит его на перрон, и он опять останется один.



— Деньги у тебя есть?—спросила кудрявая женщина.

— Есть,—торопливо ответил мальчик, полез в карман и вытащил деньги.

Кудрявая женщина взяла деньги, пересчитала и сказала:

— О чем люди думают, когда пускаются в такую дорогу? О чем твоя мать думала... Тут ведь на тебя одного не хватит.

— У нас еще была кошелка с урюком и лепешками,— сказал мальчик,— но она потерялась. И еще есть отрез,— сказал мальчик,— его можно продать.

Он хотел вскрыть грязный, сплюснутый узел, но мать зашила его крепкими, суровыми нитками, и мальчик поцарапал палец. Он посмотрел на задрвшуюся кожу, на набухающую капельку крови и всхлипнул.

— Ты чего там?—спросила кудрявая женщина.

— Я порезал палец,— ответил мальчик.

— Ревешь,— сказала кудрявая женщина,— не стыдно, такой большой бугай?

— Я не реву,— сказал мальчик,— а когда дядя придет, я расскажу ему, как вы на меня говорите.

Тогда кудрявая женщина начала смеяться и сказала:

— Ты лучше застегни ширинку, герой...

В это время поезд дернул, и кудрявая женщина начала кричать:

— Ой, он отстал, он отстал!

А «маленький дядя» заплакал. Мальчику стало жалко «маленького дядю», и он сказал:

— Ты не плачь, папа догонит поезд на самолете...

Тогда женщина крикнула:

— Ты, дурак, молчи... Приблудился на нашу шею.— И начала ломать руки.

Но тут появился дядя с полной кошелкой, которую он прижимал к груди, и кудрявая женщина сразу начала ругать дядю, а он молча выкладывал из кошелки на столик хлеб, дымящиеся картофелины, огурцы и большую жирную селедку.

Мальчик повернулся лицом к стенке и закрыл глаза, но все равно не забыл жирную селедку с картошкой и огурцами. Он ел бы все это отдельно, чтоб было больше. Сначала огурцы, откусывая маленькими кусочками, потом селедку с хлебом, а на закуску картошку. Он даже пошевелил губами, повернулся лицом навстречу вкусному запаху и вдруг увидел прямо перед собой большую теплую картошку и половинку огурца и хлебную горбушку с довеском мякоти.

— Кушай, мальчик,— сказал дядя,— обедай...

Мальчик съел картошку вместе с кожицей, под кожицей она была мягкая и желтая, как масло. Огурец он сначала об-

кусал со всех сторон, а серединку оставил на закуску. Потом осторожно глянул вниз, не смотрит ли кто, и обрывком жирной газеты, на которой дядя подал ему еду, натер горбушку и мякоть. Получился хлеб с селедкой, и мальчик ел его медленно, маленькими кусочками.

После еды мальчику стало тепло, весело, и захотелось сделать для дяди что-нибудь хорошее.

Он вспорол зубами крепкие нитки на узле, вытащил пахнущий нафталином коричневый отрез и сказал:

— Дядя, пошейте себе костюм.

Дядя удивленно поднял брови, но кудрявая женщина быстро вскочила и протянула руку.

— Это не вам, это дяде,— сказал мальчик и отдал дяде отрез.

К полке подошел старик в пенсне, теперь он был не в рваном пальто, а в короткой женской кофте.

— В такое трагичное время,— сказал он,— трудно быть взрослым человеком... Трудно быть вообще человеком...

«Маленький дядя» посмотрел на старика и заплакал, а кудрявая женщина сказала:

— Проходите, бабушка, вы испугали ребенка.

Но старик продолжал стоять, покачиваясь, часто моргая красными веками, и тогда дядя вскочил, взял его за воротник кофты и толкнул в глубину прохода.

Мальчик рассмеялся, потому что старик смешно взмахнул руками, а пенсне его слетело и повисло на шнурочке, и подумал: «Хороший дядя, прогнал старика».

Поезд шел и шел, полка скрипела, снизу гудело, сверху постукивало, и вскоре мальчик увидел за окном среди снега черные, обгорелые дома. И танк с опущенным стволом. И грузовик кверху колесами. И еще один танк, и еще один грузовик...

Поезд шел очень быстро, и все это летело назад, мальчик ничего не мог разглядеть как следует. Потом кто-то опять подошел и остановился у полки, и мальчику стало страшно, потому что он узнал инвалида с плоским рукавом.

Инвалид держал об руку военного в шинели без погон, ушанке и с гармошкой на плече. Лицо военного было в темно-зеленых пятнышках, а на глазах черные очки.

И дяде тоже стало страшно, мальчик увидел, как дядя поперхнулся селедочным хвостом — хвост теперь торчал у дяди изо рта.

Дядя кашлял, а инвалид с военным молча стояли и смотрели.

Наконец дядя засунул пальцы в рот, вытащил селедочный хвост и сказал инвалиду:

— Здравствуйте,— как будто инвалид никогда не давал дяде дули и никогда не плевал ему в лицо.

— Здравствуйте,— вежливо ответил инвалид,— мы где-то с вами виделись.

— Конечно, конечно,— сказал дядя,— может, вы перекутить хотите, так присаживайтесь.

— Спасибо,— ответил инвалид,— у нас свое есть.— И выложил на столик алюминиевую флягу и завернутый в газету пакет.

— Кисонька,— сказал дядя кудрявой женщине,— погуляй с ребенком, пока люди пообедают.

Кудрявая женщина сердито посмотрела на дядю, взяла на руки «маленького дядю» и вышла в коридор, а дядя торопливо порывлся в корзину и выставил на столик два покрытых никелем железных стаканчика.

Инвалид отвинтил крышку фляги и налил в стаканчики, а военный начал шарить пальцами по столику, натываясь то на флягу, то на пакет, пока не опрокинул один стаканчик.

— Эх,— сказал инвалид,— ведь чистый спирт.— Он снова налил и вложил стаканчик военному в руку.

Дядя быстро достал тряпку и начал вытирать лужицу на столике.

— Зачем? — поморщившись, сказал инвалид.

— Как же, как же,— сказал дядя,— вот товарищ слепой рукав намочит.

Инвалид и военный выпили, крикнули, и инвалид начал разворачивать одной рукой пакет. В пакете был точно такой пирог, какой ел мальчик утром. Только не кусочек, а громадный кусок, мальчику его б хватило на целый день, а может, и на два дня.

— Закуска дрянь,— сказал инвалид,— по коммерческим ценам давали...

Он вынул из кармана тяжелый позолоченный портсигар и раскрыл его. Портсигар был плотно набит кислой капустой. Инвалид взял щепотку капусты, затем схватил руку военного и тоже сунул ее в портсигар. Они выпили и сразу же, не переводя дыхания, налили и выпили опять.

В это время поезд застучал по мосту, и инвалид сказал военному:

— Вот она, Волга!

Они выпили снова, и лицо военного стало красным, а щеки инвалида, наоборот, побелели. Головы их мотались низко над столиком, а за головами в окне до самого горизонта стояли припорошенные снегом танки, машины и просто непонятные, бесформенные куски.

— Кладбище,— сказал инвалид,— наломали железа.

Они выпили, и инвалид сказал:

— Давай фронтовую...

Пальцы у военного часто срывались, он бросал мелодию на середине и начинал сначала.

Вскоре у купе собралось много людей. Толстая женщина сказала:

— Браток, а может, ты «Васильки-василечки» сыграешь?

Но военный продолжал играть одну и ту же мелодию, обрывая ее на середине и начиная сначала.

Голову он повернул к окну, и очки его смотрели на заснеженное железное кладбище, где летали вороны, очень черные над белым снегом.

Локоть шинели у военного был вымазан повидлом от пирога, и инвалид взял пирог, встал, пошатываясь, и сказал мальчику:

— Кушай, пацан.

Мальчик увидел перед собой плохо выбритое лицо, дышавшее сквозь желтые зубы горячим, остро и неприятно пахнущим воздухом, и отодвинулся подальше, в самый угол.

— Если мальчик не хочет,— сказал старик в пенсне,— я могу взять.

— Нет,— сказал инвалид,— пусть пацан съест.— И положил пирог возле мальчика.

Поезд начал стучать реже, зашипел, дернул и остановился у какого-то обгорелого дома.

— Твоя,— сказал инвалид военному.

Тот поднялся, и они вместе пошли по проходу.

— Унесло?— спросила кудрявая женщина, заглядывая в купе.— Насвинячили, алкоголики!

— Тише,— сказал дядя,— он еще вернется...

Поезд вновь двинулся, на этот раз без толчка, и, пока он медленно набирал скорость, мимо окна ползли заснеженные развалины и снежная дорога, по которой среди развалин шли люди.

Поезд грохотал уже на полной скорости, когда инвалид вернулся в купе и сел над недопитым стаканом, опершись головой на руку.

Он сидел так долго и молчал, и дядя сидел и молчал, на самом краешке скамейки, а кудрявая женщина каждый раз заглядывала в купе и уходила опять.

Наконец дядя очень тихо и очень вежливо спросил:

— Вы, может, спать хотите? Может, вас проводить?

Но инвалид продолжал сидеть и потряхивать головой над недопитым стаканом.

Тогда дядя подошел, осторожно потрогал инвалида за плечо, и тот сказал усталым голосом, не поднимая головы:

— Уйди, тыловая гнида...

Тут появилась кудрявая женщина и закричала:

— Вы не имеете права!.. У нас был такой случай: инвалид обругал мужчину, а мужчина оказался работник органов, и инвалида посадили.

— Гражданин,— сказал дядя уже построже,— освободите место. Здесь едет моя жена и ребенок.

Инвалид медленно поднялся, посмотрел на дядю и вдруг схватил, сжал пальцами дядин нос.

— Барахло назад отдай пацану,— сказал инвалид,— отдай, что взял...

Дядин нос сначала позеленел, потом побелел, и на дядин полувоенный френч потекла тоненькая красная струйка, через весь френч, на галифе и дальше по сапогу.

Кудрявая женщина громко закричала, а «маленький дядя» заплакал, и мальчик, хоть ему было страшно, тоже крикнул:

— Не трогайте дядю, пустите дядю...

В это время кудрявая женщина наклонилась к чемодану и бросила подаренный дяде отрез прямо мальчику в лицо, а проводник и толстая женщина оторвали инвалида от дяди, и дядя сразу куда-то убежал.

Инвалид устало оперся рукой о полку, облизал губы и спросил проводника:

— У тебя, папаша, галюн открыт?.. Мутит меня...

— Нужно оно тебе,— покачал усатым лицом проводник и повел инвалида, придерживая его за спину рукой.

Появился дядя и начал хватать свои чемоданы. Он сказал кудрявой женщине:

— Собирайся, я договорился в третьем вагоне.

— Дядя,— крикнул мальчик,— подождите!

Но дядя даже не посмотрел в его сторону: он очень торопился.

У мальчика опять начало давить в горле, однако он не сжимал глаза и зубы, чтоб не заплакать, потому что ему хотелось плакать, и слезы текли у него по щекам, по подбородку, и воротник свитера и пальцы — все стало мокрым от слез.

— Он ему в действительности дядя? — спросила толстая женщина.

— Не знаю,— ответил старик в пенсне,— ехали они вместе.

Появился инвалид; лицо, шея и волосы его были мокрыми, и он каждый раз отфыркивался, точно все еще находился под краном.



— Граждане,— сказал он,— отцы и матери, надо довести пацана... Меня пацан, граждане, боится...— Инвалид зубами расстегнул ремешок часов и положил их на столик.— Довезешь, проводник, папаша? Денег нет... Пропился я, папаша...— Он вытащил из кармана портсигар, вытряхнул прямо на пол остатки капусты и положил портсигар на столик, рядом с часами.— Вещь... Целый литр давали.— Потом вытащил из кармана зажигалку, складной нож, фонарик, потом подумал, расстегнул бушлат и принялся разматывать теплый, ворсистый шарф.

— Шерсть,— сказал он.

— Да ты что,— сказал проводник и придвинул все лежавшее на столике назад к инвалиду,— ты брось мотать... Доведем, чего там...

А толстая женщина взяла портсигар и сказала:

— Он его все равно пропьет... Лучше уж мальцу еды наменять, скоро станция узловая...

Инвалид посмотрел на нее, качнулся и вдруг обхватил единственной рукой за талию и поцеловал в обвисшую щеку.

— Как из винной бочки,— сказала толстая женщина и оттолкнула его, но не обозлилась, а, наоборот, улыбнулась и кокетливо поправила волосы.

Инвалид провел рукавом по глазам, обернулся и подмигнул мальчику.

— Ничего,— сказал он,— ничего, парень, не робей.— И пошел по проходу.

Мальчик увидал его сутулую спину, стриженный затылок и большие, толстые пальцы, которыми он поправил, заломил на ухо свою морскую ушанку.

В вагоне потемнело, и проводник зажег свечу в фонаре под потолком.

Мальчик лежал затылком на распотрошенном узле и смотрел, как горит свеча. Толстая женщина дала ему хлеб с белым жиром, стакан сладкого кипятку, и теперь он лежал и ни о чем не думал.

Постепенно шаги и голоса стихли, остался лишь привычный гул поезда да скрип полки. Мальчик опустил ресницы и увидал перед собой яркие розовые круги.

Он понял, что это свеча, повернулся на бок, и круги стали черными. Потом он вспомнил, что больше нет дядиных чемоданов, разогнул ноги в коленях и начал уже засыпать, когда какой-то шорох разбудил его. По купе ходил старик в пенсне. Он ходил на цыпочках, с полусогнутыми руками, и заглядывал в лица спящих. Потом он очень медленно, как слепой, вытянул руки вперед и шагнул к окну.

Голову он поворачивал рывками, то в одну, то в другую сторону, губы его шевелились. Мальчик лежал неподвижно, он видел часть спящего лица толстой женщины, раскрытый рот и видел огонек свечи в темном окне и протянутые к этому огоньку пальцы старика. Пальцы потянулись дальше, и огонек появлялся теперь то среди волос старика, то на его бороде. Вдруг пальцы быстро прикоснулись к висящей на крючке у окна сетке с хлебом и так же быстро, точно хлеб этот был раскаленный, отдернулись назад.

Толстая женщина издала губами странный, похожий на поцелуй звук и вынула руку из-под головы. Ресницы ее дрогнули.

Когда мальчик приподнял голову, старика в купе не было.

Мальчик полежал еще немного с открытыми глазами, и сердце его начало биться тише и спокойней. Тогда он прикрыл веки и хотел повернуться к стенке, но вместо этого снова открыл один глаз.

Старик стоял у самой полки. Под седыми, редкими волосами была видна нечистая белая кожа.

Он снял кофту и был теперь в шелковой мятой рубашке, обтрепанные манжеты вместо запонок были скреплены проволокой.

Он пошел пригнувшись — так ходят в кинокартинах разведчики, и это было очень смешно, — но мальчику стало не смешно, а страшно, как утром, когда он проснулся и вспомнил, что мама умерла.

Пальцы старика скользнули по корке, отщипнули маленький кусочек этой коричневой корки вместе с серой мякотью, и в этот момент он оглянулся и встретился взглядом с мальчиком. Поезд шел в темноте, чуть-чуть подсвеченной снегом; казалось, за окнами больше нет жизни, лишь изредка мимо окон проносились какие-то неясные предметы.

Толстая женщина опять спала с открытым ртом, и в глубине ее рта поблескивал металлический зуб.

Старик осторожно распрямился, покачивая головой, и переложил хлеб из ладони в задний карман брюк.

Он все время, не мигая, смотрел на мальчика, и мальчик приподнялся на локтях, отломил угол от пирога, оставленного инвалидом, и протянул старику. Старик взял и сразу проглотил. Мальчик снова отломил снизу, где не было повидла, и старик так же быстро взял и проглотил. Мальчик отдал старику по кусочку всю нижнюю часть пирога, а верхнюю, с повидлом и печеными хрустящими колбасками, оставил себе.

Пришел проводник и для светомаскировки обернул фонарь темной тряпкой — теперь только туманное пятно жи-

малось и разжималось на потолке. Старик стоял, морща лоб и что-то припоминая, а затем пошел вдоль вагона, мимо храпящих полок, мимо спящих, сидя и полулежа, людей, до тамбура, где на узлах тоже лежали какие-то люди.

— Неужели это никогда не кончится? — тихо сказал старик и пошел назад.

Он стоял у полки мальчика и смотрел, как мальчик спит.

Мальчик спал, лежа на распотрошенном узле и положив щеку на голенища фетровых женских бот.

Рукава его свитера были закатаны, а ботинки расшнурованы.

Мальчику снился дом с башенкой, дядя, старуха, торгующая рыбой, инвалид с сильными, толстыми пальцами и еще разные лица и разные предметы, которые он тут же во сне забывал. Уже перед самым рассветом, когда выгоревшая свеча потухла и старик прикрыл ноги мальчика теплой кофтой, мальчик увидел мать, вздохнул облегченно и улыбнулся.

Ранним утром кто-то открыл дверь в тамбур, холодный воздух разбудил мальчика, и он еще некоторое время лежал и улыбался...

---

## СТАРУШКИ

Ощипанная курица лежала на липкой газете, и старушка в прозрачном хлорвиниловом дождевике, надетом поверх халата, пыталась вскрыть эту курицу ножом.

— Мама,— сердито позвала старушка,— господи, я же присила подержать...

На кухню вошла другая старушка, ниже и суше, в белом длинном платье и вязаных тапочках.

— Зачем ты надела белое платье,— крикнула старушка-дочь,— специально, чтобы меня позлить, да?

Старушка-мать молча улыбнулась, подошла к кухонному столу и положила ладони на курицу.

— Не здесь,— крикнула старушка-дочь,— видишь, ведь с горла капает кровь... Ты вся вымазана. Господи, шея, руки, лицо... Как ребенок...

Она вздохнула, положила нож, подошла к крану и долго мыла руки. Старушка-мать стала у раскрытого окна, глядя на шелестящее под окном дерево и на раскаленную булыжную мостовую.

Мать и дочь были до того похожи на первый взгляд, что, лишь приглядевшись, можно было обнаружить: глаза у них разные—у матери бледно-голубые, у дочери—темно-коричневые. Под глазами у дочери кожа набрякла, провисла мешочками. Кожа у матери, наоборот, выглядела чище, более тугой, может, потому, что, в отличие от дочери, была совсем лишена жира, и от этого лицо ее казалось даже моложе.

Старушка-дочь взяла синюю губку, подставила под кран, подождала, пока губка напитается водой, и провела ею по на-

мыленным щекам матери. Матери, видно, было шекотно, она хмыкнула и попробовала оттолкнуть губку, но дочь еще ниже пригнула мать над раковиной. Кончив умыть, она насухо вытерла мать ворсистым полотенцем, усадила ее на табуретку у подоконника, поставила на подоконник блюдечко, высыпала туда из кулька сливы, вновь натянула облепленный перьями дождевик и принялась кромсать кухонным ножом курицу. Ей удалось сделать надрез, она всунула в надрез руку, и в этот момент трижды постучали в дверь, затем, наверно, разглядели звонок и позвонили, тоже трижды. Старушка-дочь пожалала плечами, крикнула матери:

— Только не глотай сливы с косточками,— и пошла отпирать. Она приоткрыла дверь на цепочку и увидела в просвете какого-то молодого человека.

— Вам чего? — спросила она.— Если вы из коммунхоза, готовьтесь к скандалу.

— Здравствуйте,— сказал молодой человек.— Я не из коммунхоза. Мне нужна,— он расстегнул «молнию» на кожаной папке, вынул оттуда бумажку,— мне нужна Конькова Клавдия Петровна.

— Это моя мать,— растерянно сказала старушка-дочь,— странно... А кто вы?

Молодой человек вынул из бокового кармана удостоверение и показал.

— Странно,— повторяла все время старушка-дочь,— здесь какая-то ошибка... Мама,— позвала она,— к тебе из органов.

— Вы не волнуйтесь,— сказал молодой человек,— это по поводу заявления вашего внука... Вернее, внука гражданки Коньковой... В связи с реабилитацией сына гражданки Коньковой.

— Ах, да, да,— обрадованно засуетилась старушка-дочь,— Володя писал... Господи, да что же я двери не отпираю... Мама, к тебе по поводу Васи... Вы проходите, извините...— Она захлопнула дверь, откинула цепочку и снова открыла дверь.— Сюда, сюда,— сказала она,— в комнату... У нас не убрано... Мама...

Молодой человек был рыжеват, щеки, лоб, руки, даже уши в веснушках. Он вошел слегка сутулясь, на нем был белый костюм из шелкового полотна, импортные босоножки, несмотря на жару, рубашка под галстуком. В комнате стояли две кровати, одна у открытых балконных дверей, двуспальная, никелированная, вторая у противоположной стенки, железная, узенькая. Между кроватями стол, какой обычно устанавливают в гостиной, овальный, на гнутых фигурных нож-

ках. Полировка с него полностью слезла, остались лишь кое-где островки. Стол был близко придвинут к стене, а у стены стояло некое подобие скамьи-дивана, тоже очень старое, со спинкой из плетеной грязной соломы. Стояли также два стула с круглыми спинками, какие теперь не изготавливают, причем оба в беспорядке, один посреди комнаты, а второй у зеркального шкафа. Шкаф был сравнительно новым, поблескивал. Посреди стола помещалось пластмассовое коричневое блюдо, очень пыльное, и в нем лежали, громко тикая, карманные кировские часы в стальном корпусе и несколько монет. Рядом с блюдцем в тарелке лежал искромсанный, облепленный мухами арбуз. Мухи ползали также в лужицах вокруг тарелки.

— Полно мух,— сказала старушка-дочь,— тут рядом бойня.

Она прогнала мух, взяла арбуз левой рукой, понесла его к полубуфету, но правая рука была липкая, и она остановилась в нерешительности, видно, боялась испачкать дверцы.

Молодой человек положил папку на край стола, подальше от луж, подошел и открыл дверцы. Несмотря на жару, изнутри полубуфета пахло сыростью, гнилым погребом. На полках вплотную стояли банки засахаренного варенья, мешочки, один был весь в мучной пыли, возле второго, видно, высыпавшись из дырки, лежала кучка риса. Старушка-дочь взгромоздила арбуз на верхнюю полку, рядом с кусками хозяйственного мыла, прикрыла дверцы, придвинула стул, стоящий посреди комнаты, к столу, сказала:

— Садитесь, пожалуйста,— и ушла на кухню.

Молодой человек опасливо посмотрел на стул, уселся, поерзал, взял со стола папку и упер ее ребром в колени. Вошла старушка в белом платье с блюдечком слив.

— Вы гражданка Конькова, Клавдия Петровна? — спросил молодой человек, расстегнул «молнию» на папке и начал выкладывать на край стола бумаги. Сверху он положил несколько исписанных листков, а под низ целую пачку чистой бумаги.

— Присаживайтесь,— сказал молодой человек.— Я хотел задать вам ряд вопросов.

— Ешь сливы,— сказала старушка и поставила перед ним блюдечко.

Молодой человек вдруг страшно покраснел, засмутился, несколько секунд он сидел, как бы соображая, а потом осторожно взял крайнюю сливу, самую маленькую и даже на вид гнилую, съел ее, а косточку выплюнул в кулак.

— Спасибо,— сказал он.

Вошла старушка-дочь, уже без дождевика и с вымытыми руками, вытерла тряпкой лужу на столе, положила тряпку на балкон сохнуть и уселась напротив.

— Ваше как имя-отчество?—спросил молодой человек.

— Мария Даниловна,— сказала старушка-дочь.

— Значит, вы сестра Василия Даниловича Конькова?

— Да, сестра.

— Правильно,— сказал молодой человек, заглядывая в бумаги,— о вас тоже упоминается.— Он откашлялся.

— Значит, так... Согласно постановлению Совета Министров, имущество реабилитированных, незаконно конфискованное в период культа личности, подлежит возврату либо, в случае ненахождения его,— денежной компенсации.

Видно, ему было жарко в тугом галстуке, на висках и переносице дрожали капельки пота. Он вынул платок, вытер пот, потом в угол платка завернул сливовую косточку и спрятал в карман.

Старушки молча сидели перед ним: Марья Даниловна с вниманием на лице, а Клавдия Петровна с улыбкой.

— Поскольку реестр конфискованного у полковника Конькова имущества не сохранился, сын его, который был тогда несовершеннолетним и, естественно, не мог ничего помнить, указал вас в числе свидетелей... Возможно, удастся восстановить кое-что по памяти... Это поможет розыскам... Либо денежной компенсации...

— Конечно,— сказала Марья Даниловна,— я помню всю их мебель, они жили в трех комнатах. В первой комнате был кабинет Васи... Там стоял письменный стол, диван, кресло кожаное и несколько книжных шкафов... Кажется, три.

— Не торопитесь,— сказал молодой человек и начал что-то быстро писать.

— Ты о чем, Маша?—спросила Клавдия Петровна.

— Товарищ интересуется мебелью Васи... Вообще его вещами.

— Васи?— Она наморщила лоб.— Да, да.. Вдруг он дает телеграмму—встречай. Я всю ночь глаз не закрыла. Жена у него артистка. А у нас клопы.

— Мама,— сердито сказала Марья Даниловна,— не рассказывай товарищу глупости.

Клавдия Петровна улыбнулась.

— Потом вы все приехали... Мужиков двадцать... В орденках... Я вам всем на полу постелила... Ничего... Посолдатски.— Она засмеялась.

— Мама,— сказала Марья Даниловна,— товарищ не мог приехать тогда с Васей. Ты нарочно пугаешь, чтоб меня поз-

лить... У нее склероз, не обращайтесь внимания,— обернулась она к молодому человеку.

— Значит, шкафов книжных три?— тихо переспросил молодой человек, низко склонившись над бумагами.

— Три,— повторила Марья Даниловна.

— Телефон,— сказала вдруг Клавдия Петровна отчетливо и ясно.

Молодой человек быстро поднял голову. Клавдия Петровна серьезно и спокойно смотрела на него.

— В передней лежала шкура медведя,— добавила она.

— Верно,— удивленно подтвердила Марья Даниловна.— У них был телефон... И шкура медведя... Действительно, и я припоминаю.

— Все будет компенсировано,— сказал молодой человек.— Вы можете тоже требовать компенсации... Как мать...

— Мы в деньгах не нуждаемся,— сказала Марья Даниловна.— Володя другое дело, он молодой.

— Володечка прислал карточку,— улыбаясь, сказала Клавдия Петровна,— жена у него артистка... Ребеночек есть...

Марья Даниловна махнула рукой, подошла к полубуфету, наложила в блюдечко варенье— вишня была матовая, засахаренная. Она поставила это блюдечко перед матерью. Та улыбнулась, взяла сливу, выдавила из нее косточку, обмакнула мякоть в варенье и проглотила.

— Извините,— сказала Марья Даниловна молодому человеку.— Пойдемте дальше. В спальне у них висел ковер. Точно я не помню размер.

— Ничего,— сказал молодой человек.— Это пока предварительно. Вы вспомните, и мы еще с вами встретимся.

— А имущество жены тоже вспоминать?— спросила Марья Даниловна.

— Все вспоминайте,— сказал молодой человек,— все вам вернут.

Клавдия Петровна наклонила блюдечко, и варенье закапало, потекло на стол.

— Господи,— крикнула Марья Даниловна,— неужели ты без глаз! Господи, господи... Извините,— снова сказала она молодому человеку, встала и пошла на кухню.

— Это я нарочно,— шепотом сказала Клавдия Петровна,— чтоб она вышла... Вытащи мне коробку за твоей спиной... Под кроватью.

Молодой человек опять густо покраснел, оглянулся на дверь, опустился на колени и начал шарить под кроватью. Старушка подошла и, кряхтя, хихикая, уселась рядом на стул. Молодой человек долго шарил, натываясь то на угол чемода-



на, то на какую-то обувь, потом пальцы его ударили по тазу. Раздался звон.

— Тише,—шепотом сказала Клавдия Петровна,— Машка услышит... Она сейчас ищет тряпку на кухне, а сама недавно положила эту тряпку на балкон сушиться.— Старушка хихикнула.— Ты дальше руку суй, не бойся, не укусит никто.

Наконец молодой человек нащупал картонную коробку и вытащил ее. Коробка была довольно большая, из плотного двойного картона. Очевидно, в нее что-то упаковывали раньше, сохранились даже наклейки, впрочем, совершенно неясные, вылинявшие.

— Спасибо тебе,—сказала старушка и ласково провела пальцами по крышке, пять тонких ломаных бороздок осталось на густом слое пыли,— я уж ее месяцев пять не видала,— говорила старушка, нежно поглаживая коробку, прикасаясь к углам, подергивая крышку,— прошу Машку, она не вытаскивает... Машка у меня всегда была упрямая... Вася — тот добрый... И Павлик... А эта упрямая.

Старушка осторожно открыла коробку, верх растворялся в обе стороны, как створки, заглянула внутрь и улыбнулась. Коробка была туго набита какими-то вещами, вперемешку. Здесь были куски материи, растрепанные книжки, ежик для чистки стекла керосиновой лампы, новый, не бывший в употреблении, бусы, несколько разных ожерелий. Старушка сунула пальцы в угол коробки и вытащила кошелек, кожаный, засаленный. Она щелкнула замком. Кошелек был плотно набит красными тридцатками, упраздненными еще в реформу сорок седьмого года. Старушка закрыла кошелек, заткнула его назад в угол, сунула пальцы в другой конец коробки, вытащила коробочку из-под мармелада.

— Внучек,—спросила она,— хочешь мармеладу?

— Нет,—сказал молодой человек,— спасибо.

Старушка открыла коробочку.

— Выкинула Машка мармелад,—сказала она грустно.— Года три назад... А может, и раньше... Теперь я припоминаю. Ничего, смотри, что здесь.

На дне коробочки лежал какой-то завернутый в слюду предмет.

— Смотри,—сказала старушка и развернула слюду.

Это была пожелтевшая, наклеенная на картон фотография девушки в длинном платье и перчатках по локоть. Девушка была очень тоненькая, нежная, с удивленным, даже немного испуганным лицом.

— Кто это?—спросил молодой человек.

Старушка хитро подмигнула, взяла бусы, сначала крупные кирпично-красные, потом мелкие бисерные и, наконец, остановилась на белых матовых, надела их себе на шею. Затем, все так же хитро улыбаясь, подмигивая, она достала из коробки синюю атласную ленту, вытащила заколки из вязаного на затылке узелка и повязала седые волосы этой атласной лентой.

Молодой человек осторожно уселся на стул, отряхнул пыль с колен. Старушка подошла и посмотрела на себя в зеркало.

— Я помереть боюсь,— сказала она вдруг.— Маша все время болтает, что хочет помереть, а я боюсь... Он когда помирал, я помню... Три раза вздохнул—два раза громко, тяжело, а третий спокойно, чуть слышно. Это уже из себя.

Молодой человек не знал, о ком говорит старушка, но не стал уточнять. Старушка крутилась перед зеркалом, поправила ленту, прикоснулась к кораллам. Потом вошла Марья Даниловна и сразу начала кричать.

— Ты меня в гроб вгонишь!— кричала Марья Даниловна.

— Маша,— спокойно спросила Клавдия Петровна,— куда ты дела Васин мармелад?.. Внучек хочет мармелад...

Лицо Марьи Даниловны покрылось красными пятнами.

— Ты!— крикнула она, задохнулась, перевела дыханье.— Ты знаешь, что это не твой внук... Ты притворяешься... Ты нарочно, ты нарочно... Ты здоровее меня... Признайся, знаешь, что не внук?..

— Знаю,— тихо сказала Клавдия Петровна,— а зачем кричишь на мать?.. Как не стыдно... Я тебя запру дома без сапог...

Марья Даниловна провела ладонью по лицу, тряхнула головой и сказала молодому человеку:

— Вы извините, иногда срываешься... Знаете, мне с ней приходится хуже, чем с ребенком... Я вас задержала?

— Ничего,— сказал молодой человек.— Я еще раз зайду... Вы вот что... Я вам оставлю телефон. Если вам понадобится—мы поможем... Я имею в виду в бытовом смысле.

— Нет,— сказала Марья Даниловна,— мы ни в чем не нуждаемся.

Молодой человек встал, сложил бумаги в папку, застегнул «молнию».

— Я хочу гулять,— сказала вдруг Клавдия Петровна.

— Новая песенка,— сердито откликнулась Марья Даниловна,— накинь платок и выйди, посиди на балконе.

— Я хочу гулять,— упрямо повторила Клавдия Петровна.— Я в поле хочу... Или на реку.

— Глупая,— сказала Марья Даниловна.— Ну куда ты пойдешь, ты еле по комнате ходишь.

— Меня внучек проводит,— сказала Клавдия Петровна,— мне, главное, с лестницы.

— Товарищ не станет с тобой возиться,— сердито сказала Марья Даниловна,— товарищ на ответственной работе, работник органов... Он пришел по поводу Васи.

— Ничего,— неожиданно сказал молодой человек.— Я возьму такси. Мне все равно по делу надо. Я бы мог подвезти.

— Вот видишь,— обрадованно подхватила Клавдия Петровна.

Марья Даниловна посмотрела на молодого человека, на мать.

— Ладно,— вздохнула она.— Раз уж так — ладно. Только оденься потеплее... Накинь платок. Я сейчас тоже оденусь, вы посидите...

Марья Даниловна открыла шкаф, порылась там, взяла какие-то вещи, вышла на кухню. Потом вернулась, вытащила из-под двуспальной кровати туфли с перепонками, на лосевой подошве, и черные лакированные босоножки на венском каблуке, усадила мать, сняла с нее вязаные тапочки. Ступни у Клавдии Петровны были маленькие, аккуратные и, как ни странно, розовые, по-детски свежие. Когда Марья Даниловна прикоснулась к ним, Клавдия Петровна хихикнула, дернула ногами.

— Ты чего? — сердито спросила Марья Даниловна.

— Щекотно,— сказала Клавдия Петровна.

Марья Даниловна принялась застегивать перепонку, но Клавдия Петровна все дергала ногами и мешала попасть пуговицам в петлю.

— Ты чего? — снова крикнула Марья Даниловна.— Мне ведь трудно стоять согнувшись, бессовестная.

Она выпрямилась, сжала руками свою поясницу. Рот ее был полуоткрыт, а цветные мешки под глазами приобрели какой-то черноватый оттенок.

— Извини меня, Маша,— сказала тихо Клавдия Петровна.

Марья Даниловна застегнула перепонку и, захватив босоножки, вышла. Клавдия Петровна сидела притихшая, лицо ее поблекло, выглядело усталым, как у дочери, хоть она абсолютно не двигалась.

— Я опять боюсь,— сказала она,— я месяца три назад ночью помирала... Машка не знает... Никто не знает... Ты не го-

вори никому. Давай пока пойдем... Пока Машка одевается. Она догонит, она быстро ходит...

Клавдия Петровна поднялась со стула неожиданно легко и подала молодому человеку руку. Ладонь у нее была легкая и холодная. Они вышли в переднюю.

— Марья Даниловна, мы пока потихоньку с лестницы! — крикнул молодой человек, щелкнул замком и вывел Клавдию Петровну на лестничную площадку. Здесь было полутемно, солнце едва проникало сквозь пыльные окна.

— Отжила жизнь, — сказала Клавдия Петровна.

Молодой человек взял ее осторожно за локти и поставил на нижнюю ступеньку. Так постепенно они добрались до промежуточной лестничной площадки.

— Я здесь была, — сказала Клавдия Петровна, — в апреле мсяя сюда Маня выводила.

— Ты все-таки с лентами своими, — появляясь на верхней площадке, крикнула Марья Даниловна. На ней было черное суконное платье, застегнутое до горла, а на голове белая панамка. — Я не пойду с твоими лентами, с твоими бусами... И платок не накинула... Господи, ты ведь все отлично понимаешь.

— Молчи, — неожиданно разозлившись, крикнула Клавдия Петровна. — Тебя не спрашивают... Ты мне никто... Ты мне не дочь.

Внизу и сверху открылись двери, выглянули любопытные. Клавдия Петровна ухватилась за перила, шагнула сама и едва не упала — молодой человек с трудом ее подхватил. Марья Даниловна торопливо спустилась, взяла мать под другую руку. Клавдия Петровна бормотала что-то сердито, дергала головой, но едва они вышли на солнечную улицу, остановились среди шелестящих в палисаднике деревьев, как лицо Клавдии Петровны моментально прояснилось, она запрокинула голову и счастливо рассмеялась.

— Я сейчас, — сказал молодой человек и пошел к перекрестку, к стоянке такси.

Клавдия Петровна некоторое время оглядывалась, затем увидела газетный щит, подошла, уперла палец в газету и, двигая им вдоль газетных строчек, зашевелила губами. Солнце било прямо в щит, и палец старушки отражался в газетной бумаге, правда, едва заметно, как в матовом металле. Подъехало такси. Клавдию Петровну усадили на заднее сиденье, она прижалась к окну и затихла.

— Вы извините, — сказала Марья Даниловна, — хлопоты с нами...

— Ничего,— сказал молодой человек.— Мне все равно по делу... Вам куда?

— К реке,— сказала Клавдия Петровна.

— Только подальше от центрального пляжа,— сказала Марья Даниловна.

Вначале Клавдия Петровна смотрела в окно, но потом отвернулась.

— Скучно мне,— сказала она.

— Сейчас,— словно обрадовавшись, подхватила Марья Даниловна,— сейчас я позову оркестр.

Шофер беспрерывно оглядывался и хмыкал. Наконец они остановились у какого-то крашенного в зеленый цвет павильона. За павильоном был кустарник, песчаные холмики и виднелся в промежутке между холмиками двуслойный плоский кусок: желтоватый и чуть дальше, вплотную серебристо-чешуйчатый.

— Ну, до свидания,— сказал молодой человек.— Так вы запишите все... Имуущество, мебель. Вот телефон,— он протянул бумажку.

— Спасибо,— сказала Марья Даниловна.

В павильоне-кондитерской Марья Даниловна усадила мать за столик, купила ей размякшее от жары пирожное на картонной тарелке и сказала:

— Ты сиди. Я за лодкой пойду. Смотри, все на тебя оглядываются. С твоими лентами надо заплывать подальше от людей.

В павильоне пировала какая-то перепачканная краской бригада маляров. Они громко хохотали, и кто-то беспрерывно повторял:

— Колбасу режь покрупней, Коля у нас зубастый.

Все они сидели босые, и Клавдия Петровна смотрела на их громадные ступни, глубоко погруженные в песок — вместо пола в павильоне был прибрежный желтый песок. Клавдии Петровне вдруг страшно захотелось тоже посидеть босой, и она начала искать, кого бы попросить расстегнуть ей перепонку на туфлях. Неподалеку возилась в песке девочка лет пяти в полосатом сарафанчике. Клавдия Петровна позвала:

— Детка, подойди ко мне.

Девочка подошла и, запрокинув голову, начала смотреть на Клавдию Петровну. У девочки были очень большие синие глаза, а губы перепачканы шоколадом.

— Детка,— сказала Клавдия Петровна,— расстегни мне пуговички на туфлях... Присядь, только аккуратненько, не помни сарафанчик.

Девочка присела, прикоснулась к пуговицам, но петли были очень тугие.

— Один пальчик подсунь под ремешок, а вторым нажимай на край пуговички.— говорила Клавдия Петровна.

Девочка пыхла, наконец ей удалось повернуть пуговицу и воткнуть ее в петлю, пуговица теперь торчала вдоль петли. Клавдия Петровна нажала носком другой туфли на задник, и пуговица отлетела.

— Молодец,— сказала Клавдия Петровна,— умница... Теперь этот... Ты, как Гришенька, хорошая... Возле меня живет мальчик Гришенька, он мне зимой снег в ведерке приносил...

— Тебе ножки болят?— спросила девочка.

— Да, детка,— сказала Клавдия Петровна,— ох, какая ты умница... Кушай пирожное.— И дала ей липкое, растекающееся на картонной тарелке пирожное.

В это время появилась женщина в таком же, как у девочки, полосатом сарафане и с такими же голубыми-голубыми глазами.

— Где ты взяла эту пакость?— крикнула она, вырвала у девочки пирожное и кинула его в песок. На песке пирожное имело действительно отвратительный вид, оно сразу покрылось песчинками, точно сыпью, из лопнувшего теста вывалился белый крем, и по нему зашныряли муравьи.

Девочка заплакала, а женщина приподняла ей сзади сарафанчик и сильно хлопнула по розовым трусикам. Девочка вырвалась и побежала, плача, куда-то за павильон.

— Грызло собачье,— сказала вдруг Клавдия Петровна и посмотрела на женщину. Она сказала это грубым голосом, просто по-мужски, даже босые маляры заинтересовались.

— Я милиционера позову,— взвизгнула женщина,— вы не смеете. Старая ворона... Вернее, ведьма... Яга, яга...

Быстро подошла Марья Даниловна.

— Что случилось?— испуганно спросила она.

— Эта старушка с вами?— крикнула женщина.— Ваша знакомая, да? Я ее научу.

— Грызло собачье,— вновь повторила Клавдия Петровна, глядя прямо на женщину.

— Мама,— сказала Марья Даниловна.— Разве можно оскорблять людей... Вы извините, у нее склероз...

— Ты, Машка, молчи,— крикнула Клавдия Петровна,— тебя не спрашивают... Ты мне не дочь...

Женщина глянула на одну старушку, потом на другую и вдруг расхохоталась. Она смеялась, придерживая рукой грудь, а потом, так же хохоча, убежала за павильон.

— Я ее знаю,— сказала Клавдия Петровна,— это Надьки-американочки дочь... Они при Николае дом содержали с публичными девками.

— Какие глупости,— сказала Марья Даниловна.— Зачем ты выдумываешь?

— Ты еще сопливая,— сказала Клавдия Петровна.— Ничего ты не знаешь. Здесь реки не было, узенький ручей был. Огороды кругом. А там подальше купальня стояла.

Из-за павильона показались женщина и девочка. Женщина вела девочку за руку, и они не смотрели на старушек, но говорили между собой громко, чтоб старушки слышали.

— Бабка тебя заставляла ей туфли раздеть,— говорила женщина,— глупая бабка... Покажи бабке попку..

Женщина приподняла сарафан сзади, а девочка наклонилась, выставила зад в розовых трусиках. Потом девочка повернула голову, скорчила гримасу и высунула язык.

— Пойдем,— тихо сказала Марья Даниловна.— Зачем ты раздела туфли... Я только сейчас заметила, что ты босиком.— Марья Даниловна опустила на колени, надела туфли, поднялась и некоторое время сидела, тяжело дыша.— Зачем ты пуговицы оборвала?— спросила она, но тоже тихо, без крика, скорей даже ласково.— Туфли ведь слетать будут...

Они вышли из павильона и пошли вдоль берега, обе усталые, сторбленные. Но едва они отошли шагов на двадцать—тридцать, как Клавдия Петровна рассеялась, а потом даже повеселела. Они подошли к серому из шлака забору и вышли в ворота. Здесь уже начиналось поле, все в рытвинах. Слева были огороды, впереди лодочный помост и дощатая будка какой-то небольшой лодочной станции. Марья Даниловна вошла в будку, а Клавдия Петровна уселась рядом на скамейку. Вдали виднелся противоположный берег, и там, вдоль частотокола крошечных телеграфных столбиков, изредка поднимались желтоватые облака пыли, минуты через две к городскому берегу подкатывались волны, и лодки, причаленные к помосту, гремели цепями и стучались друг о друга. На помосте, у самого края, сидели две девушки, свесив ноги в воду. Клавдия Петровна поправила атласную ленту, посмотрела на девушек и улыбнулась. Подошел лодочник с веслами, босой, в закатанных по колени брюках и солдатской гимнастерке навыпуск, без пояса. Рядом с ним шла Марья Даниловна и сердито трясла головой.

— Не положено,— говорил лодочник.

— Я буду жаловаться,— говорила Марья Даниловна.— Вы принадлежите коммунхозу, ведь верно?

— Не положено,— повторил лодочник,— такса тридцать копеек в час. И все. Гребцами мы не обеспечиваем.

Марья Даниловна махнула рукой, повернулась и подошла к скамейке.

— Видишь, мама,— раздраженно сказала она.— Я ведь говорила... Ты меня уже сегодня замучила... Зачем тебе лодка? Всегда у тебя фантазия...

Клавдия Петровна молча улыбалась.

— Невеста,— сказал лодочник и хохотнул.

Темноволосая девушка встала с помоста, подошла к лодочнику.

— Я помогу погрести,— сказала она.

— С ума сошла,— подбегая, шепнула ей подружка-блондинка,— она ненормальная, разве не видно... И на танцы опоздаем...

— Не опоздаем,— сказала темноволосая девушка.— Я погрёбу.

Лодочник снова хохотнул и принялся отвязывать лодку.

— Я вам очень благодарна,— засуетилась Марья Даниловна.— Мама,— крикнула она,— идем, девочка нашлась. Девочка погрёбет...

Она взяла Клавдию Петровну об руку и осторожно повела ее к воде.

— Минутку,— сказал лодочник.— Я сейчас ее посажу.

— Только не сделайте ей больно,— испуганно сказала Марья Даниловна.

— Порядок будет,— сказал лодочник, осторожно взял старушку одной рукой под колени, другой за спину и посадил в лодку на корму.

Марью Даниловну он тоже посадил, ухватив под локти. При этом Марья Даниловна дернулась, едва не свалилась в воду, взмахнула сумочкой и взвизгнула.

— Ладно,— сказала блондинка.— Я с вами... Тебя, Алка, нельзя одну отпускать. Ты тоже ненормальная.

Темноволосая девушка начала грести. Гребла она хорошо, лодка шла ровно, без толчков. От жары вода позеленела, пахивала гнилью, а ветер сильно отдавал дымом. Но Клавдия Петровна старалась дышать поглубже.

— Воздух какой,— сказала она.

— Ты простудишься,— сердито сказала Марья Даниловна,— не дыши ртом.

— Хорошо жить,— улыбнулась Клавдия Петровна.— Эх, была бы я молодая, как Маша... Ты все время недовольна, Маша... Посмотри, небо какое. Поехать бы на тот берег, лечь на траву... Я уже лет пятнадцать не была на том берегу...



Она опустила ладонь в воду. В воде ладонь полнела, а когда она вытаскивала ее, ладонь сразу как бы усыхала, становилась похожей на лапку.

— Ты схватишь воспаление легких,— сказала Марья Даниловна.

Клавдия Петровна вдруг озорно улыбнулась и ляпнула в Марью Даниловну водой.

— Прекрати,— отряхивая брызги, крикнула Марья Даниловна,— прекрати, девушек стыдно...

Но Клавдия Петровна не ответила, она сидела уже совсем другая, чем мгновение назад, тихая, кроткая, покачиваясь, смотрела на воду и бормотала или пела что-то неразборчивое. Она сняла атласную ленту и, держа ее за конец, пустила ее вдоль ветра. Седые жидкие космы рассыпались по плечам, и сквозь них проглядывали залысины.

— Сколько ей? — спросила блондинка.

— Восемьдесят семь,— ответила Марья Даниловна,— совсем в детство впала.

Темноволосая девушка посмотрела на старушку в белом платье, а старушка посмотрела на девушку, они понимающе улыбнулись друг другу. Потом старушка посмотрела на блондинку, и та почему-то испуганно отвернулась. Мимо проплыла большая лодка с парнями. Белочубый красавец стоял на корме и смотрел в бинокль.

— Богадельня на отдыхе! — крикнул белочубый.

— Дурак,— сказала темноволосая девушка.— Вы не обращайтесь внимания, я этих дураков знаю, это моего братца приятели.

Слева была болотистая заводь, росли камыши, справа река поворачивала, виднелся пешеходный мост, а за ним слышен был шум плотины. Лодка ткнулась в пологое глинистое дно метра за два от берега. Блондинка босиком вошла в воду и потащила лодку волоком, уперла ее носом в поросший травой бугор. Девушки сделали «стульчик» — взяли наперехват друг друга за руки, но Клавдия Петровна не хотела сесть, чтобы ее перенесли, она сбросила туфли и тоже босиком хотела войти в воду.

— Не пускайте ее, девушки,— кричала Марья Даниловна.— Мама, это в последний раз. Дальше балкона ты у меня никуда.

Девушки стали с обеих концов лодки, раскинув руки, темноволосая молча, а блондинку душил смех, она каждый раз всплескивала и повторяла:

— Ой, я молчу.

Марья Даниловна стояла на корме, тоже раскинув руки, на правой руке ее висела клеенчатая сумочка.

Клавдия Петровна сердито металась внутри лодки, путаясь в подоле белого платья, неумело перелезая через лодочные скамейки. Атласную ленту она уронила, и та мокла в лужице илистой воды на дне лодки.

— Ты мне не дочь,— кричала она Марье Даниловне.— Убирайся!

По прибрежному лугу ходили коровы, выскочила откуда-то собачонка и залаяла на лодку, на людей. Клавдия Петровна посмотрела на собачонку и вдруг затихла, уселась на скамейку.

— Зельма,— сказала Клавдия Петровна и добавила, обернувшись к темноволосой: — Она в комнате никогда не гадит.

Девушки взяли Клавдию Петровну, усадили на скрещенные руки и понесли к берегу. Потом они помогли перебраться Марье Даниловне.

Берег порос густой сочной травой, виднелась рощица, было очень тихо, собачонка куда-то исчезла, лишь слышен был сзади плеск воды да под самым горизонтом изредка возникал гулкий металлический звук, там были карьеры белой глины.

Клавдия Петровна пошла вначале осторожно, потом все быстрее и быстрее, затем остановилась и легла, прикоснулась лицом к траве.

— Мама, встань! — крикнула Марья Даниловна. — Ты простудишься, земля сырая.

Клавдия Петровна не ответила. Она лежала, глядя в небо, улыбалась и осторожно перебирала бусы у себя на шее. Вновь появилась лодка с парнями. Лодка плыла вдоль берега, и белочубый что-то кричал, сложив ладони рупором. Очевидно, он острил. После каждого выкрика следовал взрыв хохота.

— Болваны,— сказала темноволосая девушка.

А блондинка незаметно вынула помаду и тронула губы, провела мизинцем у краев рта. Крики привлекли внимание Клавдии Петровны. Она села, посмотрела на реку, но лодка уже скрылась за поворотом. Тогда она посмотрела на блондинку.

— Покажите,— неожиданно сказала Клавдия Петровна,— это губы красить, да?

Блондинка поспешно зажала помаду в кулаке. Темноволосая девушка вынула из карманчика свою помаду и протянула Клавдии Петровне. Клавдия Петровна начала подниматься. Вначале она стала на четвереньки. Темноволосая деву-

шка поспешно подошла, подхватила ее за плечи и выпрямила. Клавдия Петровна взяла помаду, повертела, понюхала.

— Пахнет хорошо,— сказала она.

— Мама,— сказала Марья Даниловна,— перестань, девушке, может, неприятно.

— Ничего,— тихо сказала темноволосая девушка.— Ничего, возьмите, если вам нравится.

Клавдия Петровна снова улыбнулась.

— Как я танцевала,— сказала она.— Ох, как я танцевала, девушки.

— Мама,— сказала Марья Даниловна,— прекрати, пожалуйста. Не надо смешить людей.

Клавдия Петровна мечтательно улыбнулась, сделала несколько шагов к воде и прикоснулась фиолетовым тюбиком к своим желтым костяным губам.

— Мама!— крикнула Марья Даниловна.— Мама, перестань.— И ляпнула Клавдию Петровну по руке.

Она хотела лишь выбить помаду, но концы пальцев ее скользнули по скуле Клавдии Петровны, а ребро ладони зацепило мать по подбородку так, что та дернула головой, пошатнулась и едва не упала.

Марья Даниловна была крупнее и тяжелее матери, и руки у нее были крупные, оплетенные жилами. Помада мазнула Клавдию Петровну вдоль щеки, покатила по траве и упала в воду. Жирный фиолетовый зигзаг потянулся от края рта к подбородку, и на нем набухали две красные капельки: видно, металлический футляр помады разодрал кожу.

Клавдия Петровна стояла над самым берегом, тень ее переламывалась надвое: часть на траве, а часть среди пузырьков, поднимающихся с илистого дна.

— Ничего,— тихо сказала Клавдия Петровна и посмотрела на девушек,— это просто так... Маша всегда была хорошая девочка... Веселая... Как она танцевала у Павлика на свадьбе.. Зина злилась, ревновала Павлика к родной сестре.— Старушка засмеялась хитро и озорно.— Такая глупая... Я всегда говорила Павлику, что она глупая... А Вася удачно женился. У него жена была докторша... Умная.. Я ее любила...— Старушка вдруг замолкла, осмотрелась вокруг, вздохнула и сказала просто и ясно: — Девочки, не дай вам Бог пережить своих детей.

Марья Даниловна стояла в нескольких шагах от Клавдии Петровны. После удара она внимательно и даже удивленно посмотрела на мать, потом отошла назад, раскрыла сумочку, принялась рыться в ней. В открытую сумочку закапали слезы, линиялая шелковая подкладка покрылась пятнами. Марья Да-

ниловна закрыла сумочку и заплакала громко, вытирая глаза пальцами. Клавдия Петровна подошла к дочери, прикоснулась к ее плечу, и та покорно опустила рядом с матерью на траву.

— Тише, детка,—говорила Клавдия Петровна,— тише, маленькая...

Марья Даниловна лежала в нелепой позе, раскинув ноги в босоножках, под горячим от солнца суконным платьем дряблый жирный живот ее чесался, а лопатки упирались в острые колени сидящей над ней Клавдии Петровны.

— Налетели гуси,—бормотала Клавдия Петровна, покачиваясь,— Машеньку любили, Машеньку кормили...

У Марьи Даниловны из-за неестественного изгиба разболелся позвоночник, но она не переменила позы, лежа вынула из сумочки кружевной платок и начала осторожно вытирать жирный фиолетовый след со щеки матери, набухшие капельки крови подсохли, она осторожно очищала кожу вокруг них от помады.

— Налетели гуси,—путая мотив и слова, бормотала Клавдия Петровна, иногда она обнимала голову дочери сухими лапками и прикасалась ко лбу ее губами.

Девушки сидели на борту лодки, опустив босые ноги в воду, и молча смотрели, как старушка в белом платье покачивает, баюкает на коленях седую голову своей дочери.

---

## ЗИМА 53-го ГОДА

### 1

Ким стоял пригнувшись и смотрел, как уползает в темноту скребок, металлический ковш, прикрепленный тросами к барабанам лебедки. Выработка была освещена лишь метра на два от него карбидной лампой, висящей на «мальчике» — короткой стойке, вбитой между почвой и кровлей, далее скребок вползал в сумерки, а в самом забое, где лежала руда, была полная тьма, и приходилось пускать скребок по счету. Он считал до пятнадцати, потом отпускал левый рычаг, нажимал правый, и скребок полз назад, волоча перед собой руду к отверстию, прикрытому решеткой из сварных рельсов. Он пускал скребок, как невод в пучину океана, и каждый раз с колотящимся сердцем ждал улова. Левая рука его кровоточила, вспоротая на ладони тросом, и он обернул ее платком. Поверх платка Ким натянул брезентовую рукавицу, однако она топорщилась, мешала пальцам плотно ухватить рукоять, и от этого лебедку уже несколько раз заклинивало. Волосы под каской у него слиплись, а на щеках, разъедавая кожу, щемили подсохшие капли горячей смазки, брызнувшей из разогретой лебедки.

«Могло ведь выжечь глаза,— лениво подумал Ким,— только бы скребок не притащил глыб».

Он стоял, жадно вытянув шею, и смотрел в темноту. Скребок был плотно набит влажной жирной рудой. Она легко просыпалась сквозь прутья отверстия. Глыба была одна, небольшая, с синеватым отливом, значит, мягкая. Он решил расколотить ее в следующий раз, когда подберется несколько.

К тому ж Ким нашел удобное положение тела, откинувшись назад, он больше не чувствовал боли в позвоночнике, лишь затылок изредка словно сосало что-то, натягивая туго кожу сзади, было не больно, но как-то мерзко, однако он и тут обнаружил: стоит сглотнуть слюну, и затылок отпускает.

Скребок появился наполненный синеватым чистым порошком, весело поблескивающим в свете карбидной лампы. Скребок начал появляться чаще, очевидно, мозг уже не нуждался в свете, руки автоматически жали на рычаги, они не способны были ошибиться, ибо были уже мертвы. Вряд ли живые пальцы так ловко протискивались бы меж наматывающимся тросом и барабаном, выпрямляя трос. Живые пальцы давно б расплющило, изорвало в клочья. Ленты тормозных колодок запеклись, стали гладенькими, точно полированными, барабан забуксовал. Ким подобрал с влажного грунта деревянную щепку, просунул ее меж лентой и металлом. Лебедка дернулась, дерево тлело, красноватые искры потрескивали, воспаленные дымом глаза слезились, но скребок был неподвижен. Тогда Ким один рычаг придержал ногой, а на второй навалился обеими руками, всем телом, лицо его было вровень с горячим кожухом, где изнемогающие шестеренки плевались горячей смазкой.

Когда скребок выполз из темноты и начал приближаться в сумерках, Ким увидел перед ним несколько шевелящихся теней. С пересохшим горлом он ждал их появления на границе света, они не появлялись уже давно, возможно, более часа, но позвоночник еще до сих пор не отдохнул, теперь он понял, что уговорил себя, придумав это положение тела, которое вовсе не уменьшало боли, может, только отвлекало, потому что он висел, неестественно откинувшись назад, и надо было все время думать о равновесии, чтобы не упасть. Впереди глыб полз маленький и, как ему показалось, хитрый обломок. На вид такой плоский, чешуйчатый обломок кажется легким, безобидным, однако, упав даже с небольшой высоты, он своими острыми краями легко и мягко переламывает кости. За обломком катился круглый валун, очень увесистый, в разных направлениях прорезанный синеватыми поблескивающими жилками. Если валун этот удачно ляжет на решетку, можно будет расколотить его в три удара. Ким представил себе, как от кувалды валун бессильно лопается в жилах, исчезает под решеткой, и даже улыбнулся. Но следом за валуном, подталкивая его, выползло нечто тяжелое, матово-красное, с вытянутой мордой. Оно ударило по «мальчику», карбидная лампа метнулась. Ким пригнулся, нажав рычаг, остановил магнитный пускатель и подождал, пока лебедка затихнет. Те-

ло знобило, он чувствовал, что заболевает, еще когда шел на смену. Под брезентовой спецовкой все было мокрым, слежалось, слиплось: свитер, и клетчатая рубашка, и вторая рубашка сурового полотна, и футболка, когда-то выходная, купленная на университетскую стипендию, а теперь прогнившая от шахтной пыли, истрепанная, неумело зашитая в нескольких местах.

Ким сел на теплую лебедку и снял каску.

«Завтра Новый год,— подумал он,— 1953-й... Пять и три — восемь...»

Карбидная лампа перестала метаться, он надел каску и прикоснулся к рукояти балды, тяжелого молота-кувалды. Деревянная рукоять была гладкой, отполированной ладонями, а на конце ее железная расплющенная болванка. Ким оторвал балду от земли и понял, что забыл тяжесть, посидел некоторое время, привыкая, потом встал, пошел к глыбам, перетянутый балдой вправо. Ближе всех, почти по эту сторону решетки, лежала синеватая глыба, приползшая ранее. Он поднял балду, она повисла некоторое время над левым плечом, тыльная сторона болванки царапнула лопатки.

Затем он метнул балду вниз и попал точно в центр синей глыбы. При этом каска слетела и звякнула о решетку, а концы шерстяного, некогда щегольского шарфа, которым была обмотана шея, вырвались из-под воротника спецовки. Балда прошибла глыбу насквозь, звонко ударила по рельсам. Ким поднял балду вновь и разбил одну половину глыбы, затем вторую. На месте глыбы теперь лежало несколько мягких кучек, и он ногами спихнул их сквозь рельсы решетки вниз. Затем, не поднимая каски, весь распотрошенный, он шагнул и ударил маленький плоский обломок. Балда скользнула по его чешуйчатой поверхности, обломок дернулся и придавил выставленную вперед ступню. Ким застонал, присел в нелепой позе, ему пришлось вторую ногу согнуть в колене и поставить на рельс, но металл был скользким, и колено сползло в щель меж рельсами, глубоко застряв. Теперь он был распят на решетке, и каждое движение причиняло боль. Для того чтобы освободить придавленную обломком ступню, нужно было нагнуться, но этому мешало колено другой ноги, застрявшее меж рельсов. К счастью, балду он не выпустил из рук, и теперь ему подумалось, что рукоять можно использовать как рычаг. Он повернул балду болванкой к себе и начал осторожно, стараясь сохранять равновесие и не шевелить телом, просовывать конец рукояти под обломок. С первого раза это ему удалось, однако нога, согнутая в колене, затекла, и икру вдруг сжала судорога. Ким дернулся, что-то хрустну-

ло, впрочем, хруст этот он ощутил уже некоторое время спустя, как воспоминание. Он почувствовал кислый привкус во рту, увидел свет карбидной лампы, и ему пришлось напрячься, чтобы вспомнить все, что с этим привкусом и лампой связано: лебедку, и глыбы, и, наконец, свое нелепое положение на решетке. Ким хотел утереть с висков и лба холодную испарину, однако побоялся выпустить балду из рук и сделал это не ладонями, а предплечьями, оцарапав кожу жесткой брезентовой тканью спецовки. Удивительно, что, даже потеряв сознание, он не выпустил балды, очевидно, просто навалился на нее грудью, и рукоять теперь еще глубже и удобнее вошла под обломок. Пламя карбидной лампы заколебалось, видно, где-то на верхнем горизонте включили дополнительный вентилятор, сквозь выработку потянуло свежую струю. Он жадно глотнул, уперся ладонями в болванку, рванул рукоять вверх и извлек ступню из-под обломка. Потом он прижал книзу голенище сапога на второй ноге, выпустил штанину, осторожно закатал ее и вытянул освобожденное от толстого брезента колено, на четвереньках сполз с рельсов. Он пошевелил пальцами ушибленной ступни, они странно пружинили и покалывали, пощупал колено и встал. Каска и балда остались на решетке, он заправил вылезший из нижних стеганых штанов свитер и рубашку, обмотал туго вокруг шеи болтающийся шарф, застегнул спецовку под самое горло, шагнул вновь на решетку, слегка волоча левую ногу, боль была, но вполне терпимая, поднял каску, опустил подшлемник, крепко завязал тесемки вокруг подбородка, взял балду и, невысоко подняв, ударил по краю обломка. Обломок крошился не поперек, а вдоль, слоями, словно сбрасывая каждый раз мертвую кожу и обрастая новой, еще более твердой.

«Я слишком много сил потратил на предыдущую глыбу,— подумал Ким,—слишком замахивался и стучал по рельсам. Она была мягкой, и ее можно было просто придавить скребком».

Наконец обломок треснул. Ким ударил еще раз по центру трещины, на этот раз подняв балду высоко и почувствовав соющую тяжесть в затылке. Обломок разлетелся на несколько осколков, и Ким сбросил их ногами в щели. Ким снял рукавицу и, сморщившись, отодрал сухой, покрытый пятнами платок. Тотчас же на ладони в нескольких местах появились капельки крови, быстро набухавшие. Ким лизнул их языком, натянул рукавицу, крепко ухватил рукоять обеими руками и ударил, вернее, метнул балду через валун в матово-красную тяжелую глыбу. Балда понесла его, потянула за собой, и он упал, успев, однако, ловко запрокинуть лицо и подставить



локти, а поэтому расшибся несильно. Ким очень быстро поднялся и ударил опять. Потом он лежал у лебедки на куче мягкого промасленного тряпья. Ворот спецовки его был растегнут, а ремень на брюках распушен, отчего дышать стало легче. Вначале он подумал, что его сюда перенесли и положили, однако, оглядевшись, понял, что по-прежнему один в выработке. Он лежал на спине, подняв руки кверху, согнув их в локтях, и вдруг ему показалось, что он спал и ему снился сон, женская головка вся в кудряшках, как баранчик. Он вздохнул, но не сразу опустил руки, сперва поласкал эту приснившуюся головку, проведя ладонью к маленькому, едва прикрытому кудряшками ушку. Ким сел весь разбитый, с тяжелой головой, с болью в груди, на зубах его похрустывало, и он долго отплевывался красной от рудной пыли слюной. Решетка была чистой, глыбы исчезли. Он перегнул туловище, нажал магнитный пускатель и притормозил левый барабан лебедки. Скребок пополз, Ким следил за ним, а когда он исчез в темноте, начал считать. Считал теперь Ким медленней, очевидно от усталости, и поэтому решил переключить обратный ход не на пятнадцати, а на двенадцати. Назад скребок помчался легко, совсем невесомо, и выполз обрывок троса, царапнул рельсы. Ким выключил лебедку, поднял с земли жирный от смазки трос, положил его на плечо, снял с «мальчика» карбидку и, пригнув голову, упираясь ногами, потянул трос в глубину забоя, разматывая его с барабана. Он слышал свое дыхание с хрипами, со странным свистом и бульканьем, потом он сильно ударился головой о закол, отслоившуюся провисшую глыбу, и присел на корточки. Каска спружинила удар, но все же он почувствовал его, особенно под бровями и в позвонках у основания шеи. Выработка слегка поплыла вправо, и Ким невольно повернул свет карбидной лампы в противоположную сторону, чтоб остановить вращение. Руды еще было достаточно, хоть он по крайней мере наполовину очистил забой. По центру забоя тянул сырой холодок, это дышала пустота, пятидесятиметровая бездна, очевидно, обнажилось отверстие в камере. Стараясь не смотреть вверх, на провисшие, покрытые красноватыми капельками глыбы, каждая из которых могла расплющить его, Ким ползал, осторожно нащупывая второй обрывок троса. Обрывок вонзился ему в руку, клубок распотрошенной острой проволоки охватил ладонь, как щупальца. Проволоки покороचे лишь прокололи кожу, зато проволоки подлинней, войдя в мясо, изогнулись. Киму вдруг вновь захотелось спать, тошнота убаюкивала, теплый гнилой воздух выработки смешивался возле лица его с сырым холодком из камеры, создавая

незнакомый приятный аромат, телу было удобно, а во впадине между ключицами прохладно. Ожог карбидной лампой заставил напрячься, открыть глаза. Кожа на мизинце левой руки была закопчена дымом, отвердела. Ким зажал лампу между колен и осторожно, пальцами левой руки пригнув обожженный мизинец, начал по одной вытаскивать проволочки из мякоти ладони. Затем соединил оба конца троса, перегнул их, завязал узлом, пошел назад к лебедке, включил и на малых оборотах легонько дернул трос, затянул узел.

Он работал некоторое время четко и слаженно, понимая, однако, что это должно кончиться катастрофой. Зрачки его были расширены, и «мальчик», трухлявая стойка, обросшая белым грибком, сместился в центр выработки. Он уже не ждал, он жаждал катастрофы как избавления, ибо вся жизнь его прошла в этой выработке, и он помнил каждый рельс на решетке, знал каждую зазубринку, и узор, образованный белым грибком на трухлявом дереве, был ему родным. Цель его жизни была волочить скребок сквозь темноту, сквозь сумерки к решетке, освещенной карбидной лампой, и теперь, когда цель эта осуществлялась и скребок полз, наполненный до краев чистой высококачественной рудой, он испытывал особенный страх, только лишь сама катастрофа могла избавить его от страха перед ней.

Наконец он услышал лязг в темноте, лебедку перекосило, обрывок троса пронесся у виска и высек красноватый каменный фонтанчик. Ким включил лебедку, расстегнул пуговицу спецовки у горла и глубоко вдохнул тепловатый, домашнему привычный воздух.

«Могло убить»,— подумал Ким словно о давно случившемся событии, впечатление от которого потускнело и потому доставляло ему незначительное беспокойство. Он взял карбидную лампу и пошел в забой. За последнее время здесь произошло изменение, глыбы нависли еще ниже, и передвигаться можно было лишь согнувшись, а у самого забоя ползком. Очевидно, Ким просчитался, слишком поздно переключил обратный ход, загнал скребок до конца, ударил им по груди забоя и вырвал из скалы крюк с блоком, по которому скользил трос. При падении блок раскололся, впрочем, он давно уже держался на волоске, свежий излом был лишь в конце изъеденного ржавчиной металла.

Ким подполз к самому обрыву в камеру, это был короткий лаз, некогда перекрытый решеткой, сейчас полностью сгнившей— торчали лишь склизкие куски бревен. Он упер подбородок в разбухшее бревно и попробовал посветить карбидкой. Жалкий отблеск таял где-то на первых же метрах

кромешной тьмы. Сладковатый запах серного газа шекотал ноздри. Сама преисподняя разверзла перед ним свои недра, и Ким испытал вдруг манящее чувство бездны. Руки были легкими крыльями, лишь на конце, несколько утяжеляя их, зудели две ранки, а тело стало по-птичьи горячим. Он ясно слышал звуки, незнакомые ранее, похожие на шепот. Ким повернулся на спину и опустил в бездну голову затылком вниз. С плотно заплющенными глазами, чувствуя от напряжения покалывание в ушах, он слушал шепот, хоть и понимая уже, что это шуршат камушки, потревоженные его телом и скатывающиеся вниз по стенкам. Весь вес его переместился к голове, в лоб, под кожу была вставлена чугунная пластинка, переносица тоже отяжелела, но ему было хорошо, и он лишь изредка приподымал голову, чтоб сглотнуть накопившуюся слюну. Он услышал из бездны человеческие голоса, и это его не удивило, так же, как во сне не удивляют любые нелепости.

— Ядри твою в качалку, чума собачья,— сказал один голос.

— А вон он ноги раскинул,— сказал другой.

Ким осторожно по плавной дуге поднял голову и, продолжая лежать, держа голову на весу, увидел два приближающихся к нему огонька. Тогда он сел, упираясь ладонями в грунт.

— Ты чего?— спросили освещенные карбидной лампой впалые щеки и рот, полный зеленоватых зубов, очевидно, недавно перемоловших луковицу.

— Блок сломался,— ответил Ким.

— Отчего ж ты скребок в самый забой загнал?— запрыгали зубы.— Взять бы тебя, как кутенка у заливка, и в собственное твое дерьмо... Смену срываешь, сволочь образованная... Ты сколько университетов кончил?

— Я на первом курсе был,— стараясь смотреть мимо зубов, сказал Ким.

Чуть позади начальника примостился мальчишка лет шестнадцати в новой спецовке. Он улыбался, подмигивая Киму, и, положив ладонь левой руки на сгиб правой, совал этот непристойный жест начальнику в спину.

— Ладно,— сказал начальник уже потише,— я сейчас к другим артистам слазию, а потом мы, рабочий, за новым блоком сходим... У меня на вентиляторе есть... Ты, Колюша, здесь посиди...

Колюша молча приложил ладонь к каске. Козырек каски у него был подрезан, а край козырька весь в острых треугольничках, сделанных, очевидно, перочинным ножиком для красоты.

Едва начальник скрылся, исчез в отверстии лаза, как Колюша улегся на спину, поднял правую ногу, издал непристойный звук и сказал:

— Будьте здоровы... Спасибо...

После этого он вскочил, взобрался на выступ и крикнул Киму:

— Лови веревочку!

Остро пахнувшая мочевиной струя, изогнувшись, мелькнула, так что Ким с трудом успел отодвинуться.

— По зубам хочешь? — спросил Ким, тяжело задышав.

— Ты не обижайся, — сказал Колюша. — Меня знаешь как купили... Я возле склада взрывчатки вздремнул, тепло там, а ребята кричат: «Лови веревочку»... Я вскочил и прямо руками... Понял, — он хохотнул, — ничего, сейчас мы с тобой пошухарим.

Колюша сунул руку за пазуху и вдруг вытащил полузадохшегося воробья с закотившимися глазками и судорожно открытым клювом...

— Это мужик, — сказал Колюша, переложив воробья в левую руку, полуживого. — А это баба... Видишь, у нее грудка рябая...

— Зачем ты их? — сказал Ким. — Зачем ты мучаешь?

— Я их припугал, чтобы посмотреть, как они это самое между собой... Понял? Посадил в ящик из-под посылки... В крышке дырку проделал... А они, паскуды, забились по углам — и все... Может, они время выбирают, когда я на смене...

Он разжал ладонь. Воробья лежала, уронив головку, взъерошенная, вытянув лапки. Колюша подул на нее, воробья шевельнулась, дернулась и полетела, ударяясь о скалистые стенки, кровлю, падая, снова взлетая.

— У-лю-лю! — завопил Колюша и метнул второго воробья, который тоже полетел.

В шахтном полумраке, освещенном лишь двумя карбидными лампами, шорох крыльев и попискивание воробьев казались страшными и фантастичными.

— Это что, — хохотнул Колюша, — мы однажды коту лапы в скорлупу грецких орехов воткнули... И пустили... Он клоц, клоц по коридору, как конь...

Один из воробьев вдруг камнем упал прямо Киму на руку, прижался к ладони. Теплая мягкая тушка сотрясалась, наполненная судорожным стуком. Воробей был еще молодой, с нежным желтеньким клювом. Расширенные от ужаса глазки его смотрели прямо Киму в лицо.

— Его надо вынести наверх, — сказал Ким.

— Сейчас,— сказал Колюша и неожиданно хлопнул Кима по ладони.

Воробей вылетел и исчез меж склизких бревен.

— Вот дает,— крикнул Колюша,— в камеру залетел.

— Болван ты,— сказал Ким.

— Ничего,— сказал Колюша,— у нас однажды крепильщик в камеру провалился... И не нашли... Что ты... Сто метров ширина, пятьдесят метров глубина... Понял? А воробей летать будет... Устал—сел, отдохнул... Там воды полно, может, червяки по стенам ползают... Сырость...

— Дурак ты,— тихо сказал Ким,— откуда здесь червяки... Это ведь недра...

Второй воробей где-то притих, они взяли карбидные лампы и пошли, оглядывая выработку. Воробей выпорхнул прямо из-под ног, он примостился у лебедки, она еще не остыла, и там было теплее. Колюша хотел поймать его каской, но воробей метнулся, ударился о скалу. С тихим всхлипом отслоился от кровли плоский обломок и тяжело упал, Ким успел прижаться к стене, а Колюша, пригнувшись, метнулся назад, перевалился через лебедку.

— Плюется, зараза,— поднимаясь и держась за ободраный локоть, сказал Колюша.

Ким поддел ногой обломок. К сырому кварциту прилипло красноватое, облепленное перьями месиво, несколько легких воробьиных перьев ветерок волочил по грунту. Ким и Колюша уселись на лебедке, поставив карбидные лампы рядом. По сторонам и сверху слышался треск, шорохи, иногда что-то сыпалось неясно откуда, иногда ухало коротко, казалось, вокруг идет жизнь непонятная и враждебная им, кто-то подползает, что-то готовится, и Ким с Колюшей невольно вздрогнули, одновременно прижались друг к другу.

— Ты на практике здесь?— спросил Колюша.— Ты студент?

— Нет, я работать буду,— ответил Ким.

— Кончил?

— Выгнали,— ответил Ким.

— У нас недавно из ФЗО тоже одного выгнали за хулиганство,— сказал Колюша,— он на Север завербовался... И я завербуюсь... Там деньги хорошие... Знаешь,— помолчав, сказал он,— тут бы подзаработать... Нам начальник за сегодняшнюю смену тройной наряд обещал... Приеду домой, к Насте пойду... Уборщица у нас есть в ФЗО... Она уже старая, может, тридцать лет... Или сорок... Ребята говорят, за деньги принимает... И приснилась она мне раз. А еще в автобусе,

когда народу полно, обжиматься можно... Прямо к грудям как притиснет...

Колюша поднял кверху подбородок, зубы его поскрипывали, губы шевелились, тонкая цыплячья шея вздрагивала. Наверное, ему не было еще и шестнадцати, лицо его удивительно сочетало в себе порочность с чистотой ребенка. Сквозь пятна руды на щеках просвечивала розовая кожа, а с раздувшимися ноздрями, искаженными манящей щекочущей страстью, словно боролись по-детски голубые, прикрытые длинными ресницами глаза.

Лаз осветился, видно, вернулся начальник. Вскоре показались ноги, потом он вылез и присел на корточки. Лицо его было густо усеяно каплями пота.

— Бери блок,— не вытирая лица и делая длинные передышки между словами, сказал ему начальник.

— Тормозные ленты менять надо,— сказал Колюша.— Разве ж на такой лебедке работать можно? Пацан надрывается... Опытный скреперист и то работать не сможет...

— Ладно,— устало сморщился начальник,— ты не вякай... Ты ж дежурный слесарь... Смени, пока мы за блоком ходить будем...

— Нарядик дополнительный, начальник,— подмигнул Колюша.

— Я тебе помигаю,— так же устало сказал начальник,— огрызок собачий... Говнюк...— Он обернулся к Киму.— Давай бери блок... Уставился... Один ты у меня, что ли... Возись с тобой...

Ругался он без прежней злобы, скорей устало, нехотя, с каким-то клетотом, часто отхаркивая мокроту и сплевывая.

— Это я для друга делаю,— сказал Колюша, начав отвинчивать болты на тормозных лентах,— по доброй воле... Это незаконно без наряда...

Он подмигнул Киму и, отодвинувшись назад, вновь выставил начальнику в спину непристойный жест.

Ким пошел в глубину забоя и поднял блок вместе с крюком. Вначале вес показался ему не очень большим, но постепенно, где-то на второй лестнице лаза, он почувствовал тяжесть, даже жилы на ногах напряглись, он ощутил это сквозь портянки, сквозь резиновые сапоги. Лаз, или, как его тут называли, гезенок, был ходом сообщения между забоями и откаточной выработкой. Он состоял из железных лазеек — лестниц, прибитых к деревянным горизонтальным стойкам, и некогда был освещен электрическими лампами. Однако теперь здесь была крошечная тьма, лазейки поржавели и шатались, а предохранительные полки, прибитые через каждые

8—10 метров, давно сгнили, лишь кое-где сохранились доски, угрожающе провисавшие и ненадежные. Карбидную лампу Ким укрепил привинченным к ней крюком за петлю спецовки, и приходилось взбираться осторожно, нащупывая ногами скользкие мокрые прутья лестниц, потому что от толчка лампа могла перевернуться, опалить подбородок, поджечь ткань спецовки, а то и потухнуть. Начальник давно исчез, даже звук от постукивающих за ним лазеек перестал доноситься сверху, и Ким с дрожью думал о том, что лампа может потухнуть и он останется в темноте. Правда, в кармане его лежали спички, но они, наверное, отсырели, да и руки были заняты блоком. Лампа освещала узкую ломаную полосу, красные, неровно вырубленные стены со склизким черноватым налетом, однообразно выплывающие навстречу прутья лестниц и руку, то левую, то правую, в зависимости от того, какую он в данный момент выделял цепляться за прутья, а какой прижимал к груди тяжелый блок. Он слышал хлюпанье воды, мимо плеча пролетело несколько камешков, и он прижался к кислотовому железу, втянув голову. Камешки ударились об остаток ближнего дощатого полка, брызнули в лицо грязью со стен, унеслись дальше, гулко затихая. Ким поднялся выше на несколько прутьев, к полку, сравнительно сохранившемуся, две доски плотно упирались в стенки, а снизу их поддерживало горизонтальное бревно. Он положил блок на доски, с хрустом выпрямил руки, разминаясь. Карбидная лампа освещала несколько метров вверх, бросала отблеск вниз; и участок этот, где Ким провел минуты три, как бы пожил здесь, в то время как мимо других участков он просто пролез, показался ему родным, он привык к сырому пятну справа на скале, по форме оно отличалось от других пятен, и к нагретому ладонями лестничному пруту, слегка провисшему, с двумя капельками смолы, неизвестно как сюда попавшими, и к доскам полка, на одной сохранились остатки коры, на второй была аккуратная дырочка от выпавшего сучка. Ким знал, что запомнит все это, у него была привычка запоминать случайные куски пейзажа, что ли, и потом думать о них, представлять, что там делается в данную минуту. Например, он запомнил уголок районной чайной, где обедал несколько лет назад. Это воспоминание было уже неясно, без четких контуров, скорей мираж, совершенно ненужный, и все-таки мираж этот существовал, всплывая время от времени. Ким поднял с полка блок и полез дальше. Он решил достичь конца гезенка, ни разу не остановившись более, лез, опустив голову. Все ж ему пришлось часто останавливаться, перекладывать вес, чаще он держал теперь блок в левой, потому что правую вов-

се ссадил и она ослабела. Раза два он отдыхал, но не оглядываясь по сторонам, прикрыв глаза. Наконец он увидел сверху свет, услышал грохот проезжавших вагонеток. Последняя лестница оканчивалась метра за два от выхода, Ким с тоской посмотрел вверх, виден был кусок бетонированного свода откаточной выработки, затем поднял блок, вытянув кверху руки, от усталости он уже не совсем контролировал свои действия и лишь в последнее мгновение спохватился, не разжал пальцы. Оказывается, он хотел выбросить блок в отверстие, будто волейбольный мяч, и, похолодев, представил себе, как блок обрушивается, не долетев, назад и он с раскроенным черепом падает вдоль всего семидесятиметрового гезенка, ударяясь о полки.

— Гу,— сказали сверху, и Ким узнал глядевшее в отверстие лицо начальника.— Ты что, рыбку удил? Давай сюда.

Начальник опустил в отверстие жилистые руки. Ким положил в них блок, и тяжесть, скользнув, исчезла в отверстии. После этого Ким ухватился за горизонтальное бревно у самого выхода, подтянулся, как на турнике, при этом под кожей живота у него собрались сгустки, судорожно давившие. Руки его подламывались в локтях, но он все подтягивался и подтягивался, пока голова его не поднялась над бревном. Тогда он уперся в бревно плечами, скользнул по нему и, перевалившись, упал лицом вниз на щебеночный грунт штрека, оцарапав подбородок и едва не ударившись головой о рельсы.

— Ты что,— крикнул начальник.— А если б электровоз... Отвечай за тебя...

Ким поднялся, сел, в горле у него запершило, он посмотрел на начальника и тоже крикнул со злобой:

— По технике безопасности полагается лестница до самого конца... Бардак у вас тут творится... Я в рудоуправление пойду... Сволочи.

И вдруг всхлипнул. Как это случилось, он сам не понял и сразу, опомнившись, задышал, делая вид, что просто тяжело выдыхает воздух, однако сквозь вдохи время от времени прорывались всхлипы, сотрясая грудную клетку. Не отдыхая, Ким вскочил, поднял блок, прижал его к груди и пошел на мягких ногах, но всхлипы продолжались, и блок судорожно подбрасывало.

— Эй, не в тот семафор поехал,— сказал начальник,— поменяй направление.

Обернувшись, Ким увидел, что начальник смеется, впалые щеки его разъехались, зеленоватые зубы, впаянные в бескровные десны, обнажились, а у глаз собрались морщинки. Ким повернулся и пошел вслед за начальником, глядя на его ху-



дой, поросший седым волосом затылок, и поскольку всхлипы в груди продолжались, а хрящеватые твердые уши начальника в такт этим всхлипам вздрагивали, начальник, конечно, смеялся, то Ким испытал приступ такой ненависти к ушам этим и затылку, что его обдало жаром, он придержал блок одной рукой, а вторую опустил и сильно сжал пальцы, шевеля ими, словно размалывая что-то, впившись ногтями в кожу. Вдруг возникла, представилась картина: начальник смеется, издевается над ним. Он отвечает начальнику. Начальник психует, хватает за ворот, размахивается, но, ловко увернувшись, Ким бьет начальника в челюсть, а когда тот падает, он с наслаждением топчет начальника ногами.

Ким слышит свое частое дыхание, чувствует гудящие в голове пульсы и останавливается. Ему становится до тошноты мерзко. Постепенно сердцебиение утихает. Начальник безразлично шагает впереди, худые лопатки шевелятся под его спецовкой.

## 2

В камере подземного вентилятора пахнет непросохшим бетоном и жареным салом. Вентилятор гудит за решеткой ограждения, мелькают спины маховика. Здесь уютно и чисто. На стене портрет Сталина, почтовые открытки, пучки бумажных цветов и липучие ленты-мухоморы.

— Напускают в шахту мух с крепежным лесом,— говорит машинист вентилятора, прикасаясь острием ножа к потрескивающему на электроплитке салу.

Ким садится в углу, прямо на теплый бетонированный пол. Шипенье сала напоминает ему шум дождя.

— Уже кемарит,— сердито говорит начальник,— давай блок меняй назад... Пахом, открывай кладовку.

— Ключ у Верки,— отвечает машинист,— она сейчас подойдет... Посиди, забегался... И пацанов загонял.

Он выставляет из тумбочки бутылку.

— Мне нельзя,— говорит начальник, выпивая полстакана и закусывая тюлькой. Движения его становятся более размашистыми.— Слышал, хозяин первого по радио выступает... Московский корреспондент приезжает... Новогодние успехи... Значит, такое-сякое, шахта перевыполнила план... Успехи, значит...— Он взял еще одну тюльку за хвостик, но не откусил, а облизал ее, как леденец.— А какие же успехи... Синьку-то сожрали... Отэка руду не принимает... Качество, говорят, низкое... Кварцит, говорят, возите, сволочи...

— Ну ты б на их месте что,—сказал машинист, пробуя с острия ножа сало,—они ж на свою шею брать должны... У нас, выходит, на шахте план есть, а у них на обогатительной фабрике нет... Это ж уголовщина... Где же руда девалась... Завод у них твой кварцит примет, да?

Начальник сидит уже скособочившись, просунув для устойчивости ступню за планку табуретки. Он хитро посмотрел на машиниста, опустил руку в карман спецовки, вытащил оттуда что-то зажатое в кулаке, торжественно и плавно пронес руку по дуге к самому носу машиниста и разжал пальцы. Кучка мягкого рудного порошка, отливающая синим вороненым блеском, лежала на его ладони. Тонкие струйки текли меж пальцев, аккуратные металлические кристаллики, казалось, позванивают. Лицо машиниста расплылось, глаза увлажнились.

— Вот она, кормилица,—с умилением пролепетал он, впрочем, несколько запинаясь от хмелька,—вот она, синечка... Да в нее ж можно пельмени макать...—Он вдруг наклонился и лизнул руду языком.

— Хозяин меня вызвал,—сказал начальник.—Совещание у них было... Ученые разные, с образованием, формулы разные пишут... Первого в Москве выступление по радио, успехи, значит, 1953 год встречаем, а тут план тухнет... То есть копер... На копре звезда... Я ему говорю, знаешь, Иваныч... Мы наедине по-простому... Ты, конечно, меня с главного снял, горбоносых назначил... французов, понимаешь... А вот это видал...

Он высыпал руду на стол и вытащил, вернее, как-то резко и размашисто выдернул из бокового кармана газету, начал читать, тыча пальцем и запинаясь: «Ничем иным, как ротозейством, нельзя объяснить такое положение, когда в Ленинградской академии на протяжении ряда лет кафедрой руководил некто Ханович И. Г., не заслуживающий политического доверия, преклоняющийся перед иностранцами...»

Начальник отложил газету, взял все ту же обсосанную тюльку, густо посолил ее и проглотил, поморщившись.

— Девяносто восемь процентов,—сказал он,—что ты... Хуже всего... Горим на двух процентах... Иваныч кричит: «Да попросите ребят, они вам два процента в шапках вынесут»... А откуда нести? Где черпать? У тещи под юбкой...—Начальник дернул губами, кожа на его щеках поползла, уши шевельнулись.

— Я говорю, не надо мне шахтеров... Дай мне полдюжины говнюков... фезеушников... Пойдем на сороковой горизонт...

— Врешь,— сказал машинист.— На сороковом все давно завалено.

— Завалено,— ухмыльнулся начальник,— пойди узнай, сколько я сегодня вагонеток на опрокид отправил.— Он ткнул пальцем в синюю поблескивающую кучку...

— Загубишь пацанов,— сказал вдруг машинист уверенно и тоскливо. Челюсть его по-пьяному отвисла, глаза стали щелочками.

— Ты лучше за вентилятором следи, назююкался,— сказал начальник.

— У меня Верка следит,— сказал машинист.— А ты пацанов загубишь... Гад ты, шкура... Перед начальством на цирлах ходишь...

— Поменьше варнякай,— сказал со злобой начальник и прикрикнул: — Где ключ от кладовки?

— Сейчас Верка придет,— ответил тихо машинист, утирая катящиеся по щекам пьяные слезы.

Ким чувствовал спиной горячую бетонную стенку, сидел, высоко подняв колени, слова долетали к нему издали, как звуки, ничего не значащие, просто производящие шум. Он заснул и во сне увидел чердак, метался под раскаленной солнцем жестяной крышей в пыли среди ветоши, требовал у тетки адрес матери, кричал: родной сестры адрес не знаешь! У тетки испуганное лицо, она перебирает письма, груды пахнувшей мышинным пометом бумаги. На каком-то белом клочке проступает карандашный оттиск, но разобрать нельзя. Он разглядывает этот оттиск до боли в глазах, стараясь определить, угадать адрес, хотя бы по контурам, однако усилия его безнадежны, и он начинает кричать совсем громко, так что першит горло, ругается, даже угрожает тетке. Тетка испуганно суетится и плачет.

Проснувшись, Ким моментально сам себе сказал шепотом: «Адрес — тот свет», — и усмехнулся. Некоторое время он сидит тихий, опустошенный, не понимая происходящего. Перед ним топчутся ноги в резиновых, измазанных бетоном и рудой сапогах.

— Аптечка,— говорит кто-то,— положено на вентиляторе иметь аптечку.

Красноватая капелька падает на пол. Ким поднимает глаза и видит парня в проходческой резиновой шляпе, какие носят под каской в мокрых забоях. Спецовка парня перехвачена широким брезентовым поясом с предохранительной цепью, лицо густо залито брызгами, блестят только белки, а на весу он держит окровавленную кисть, согнув руку в локте. Рядом

с парнем стоит медбрат, худосочный, в каске, напыленной поверх грязной курортной тюбетейки.

— Я акт составлю,— кричит медбрат,— в ящике аптечки пивные бутылки держите...

— А у тебя медпункт есть,— говорит машинист,— веди его в медпункт.

— У него заражение будет, пока дойдем,— кричит медбрат,— я акт составлю...

— Не преувеличивай,— говорит начальник.— Вася, чего он кричит... Дай ему в ухо второй рукой...

Парень улыбается, пробует что-то сказать, пошутить, но вдруг наклоняется, хватая себя зубами повыше окровавленной кисти, словно хочет перекусить руку и отбросить рану. Медбрат берет парня за плечо, и они уходят.

— Смена сегодня проклятая,— говорит начальник.— Спешит народ перед Новым годом,— он оборачивается к машинисту.— Ты Верку ищи, ключ давай.

— Бери,— говорит машинист и выкладывает на стол ключ,— я пацана пожалел, пусть отдыхает... Мы тут привыкшие...

— Ничего,— говорит начальник,— пусть вкалывает... Имя у него чудное: Ким... Это что, еврейское... или армянское?

— Это в честь Интернационала,— говорит Ким.

Он поднимается, идет вслед за начальником в кладовую, берет новый блок, поблескивающий, густо смазанный.

— Ничего,— говорит начальник,— я тебя не обижу... За смену тройной наряд выпишу... Кончишь, прямо в город езжай... Петушка там тебе зажарят... Полный отгул, три дня можешь на шахту не являться... Дорогу в забой найдешь?

— Найду,— сказал Ким и, прижав блок к груди, вышел. Он пошел навстречу тянущему по штреку ветерку. У поворота сидели на корточках трое и курили.

— Эй,— крикнул один курец.— Стрелку переведи, партия сзади...

Ким оглянулся и увидел приближающийся электровоз. Он положил блок, подбежал, присел возле путевой стрелки, схватился за рукоять. Стрелка не поддавалась, рукоять была словно наглухо приварена, а электровоз уже наезжал. Тугая воздушная волна, запахи горячего промасленного металла и жженой резины обдали Кима, охватили его голову, и на мгновение вновь возникло ощущение бездны, какая-то сладковатая слюна наполнила рот, дрожь прошла по телу, он откинулся назад, не выпуская рукоять, стрелка оглушительно хлопнула, и у самого его уха, прижатого к липкой шпале, по-

неслись, застучали колеса вагонеток. Когда Ким приподнялся, стал на колени, к нему уже подбегал низкорослый усач с гаечным ключом в руке. Усач взмахнул ключом, затем перебросил ключ в другую руку и хлопнул Кима ладонью по каске так, что в голове зазвенело. Ким опять присел, потом начал вяло подниматься, потряхивая головой, воспринимая все происходящее сквозь легкую дымку и колокольный звон.

— А мне тюрьма,—горячился усач, очевидно, это был машинист электровоза,—мне детей кормить...

— Он же новый,—говорит кто-то рядом,—пацан... Я издали думал, шахтер идет... На стрелке ж противовес надо перекидывать, пацан...

Ким понимающе кивнул, поднял блок, пошел дальше, все еще потряхивая головой, пытаясь сбросить звон, впрочем несколько притихший, и очень быстро нашел отверстие гезенка, уселся по-татарски, принялся разжигать, или, как здесь говорят, рассифонивать карбидную лампу. Карбидная лампа по форме напоминает небольшой кофейник: в нижнее отделение накладывают куски карбида, в верхнее заливается вода, поступающая к карбиду небольшими порциями. Образующийся газ по изогнутому носику поднимается к горелке. В рудных шахтах, по крайней мере в начале пятидесятых годов, карбидным лампам отдавали предпочтение перед электрическими. Они проще, надежнее и горят ярче. Ким вынул кусочек телефонного провода, одной из тонких проволочек, торчащих метелочкой на конце, проколол горелку, приоткрыл клапан, услышал, как захлупала, потекла к карбиду вода, чиркнул спичкой, и длинный язычок пламени вырвался из носика лампы. Вскоре пламя оторвалось от горелки, это было интересное зрелище, образовался зазор, горела как бы полоска воздуха в сантиметре от горелки. Ким улыбнулся и повесил карбидную лампу крючком на плечо, взял блок и опустил ноги в гезенок, нащупал первые горизонтальные бревна. Вниз лезть было легче, упираясь для равновесия плечами в стенку, он быстро достиг лестниц и здесь, в полном одиночестве, почувствовал себя вдруг увереннее и спокойнее. Он постоял некоторое время у двух досок предохранительного полка, вглядываясь в знакомое пятно и держась за прогнувшийся прут с капельками смолы. Правда, через десяток метров он вновь увидел такой же полок, и пятно, и прогнувшийся прут со смолой, теперь трудно было определить, какой же из полков тот самый, а может, оба были не те, однако он постоял и у второго полка. Он прыгнул на грунт своей выработки совсем не уставший, и она встретила его знакомым потрескиванием и знакомым, только ей присущим запахом. Ким погла-

дид стойку, понюхал белый грибковатый нарост и пошел в глубину забоя, пригнувшись с блоком, он привык к нависающим глыбам, и они привыкли к нему, лишь слегка царапали, скреблись о каску. Забой был очищен, глыбы отброшены к дальнему углу, видно, Колюша работал здесь некоторое время. Поднатужившись, Ким всадил крюк блока в отверстие, заправил трос, пошел назад и включил лебедку. Вдоль кожуха лебедки Колюша накопил карбидной лампой: «С тебя поллитра».

Ким тронул рычаги, тормозные ленты сейчас плотно охватывали барабаны, скребок легко пополз, приволок порцию синей мелкой руды, ссыпал ее в отверстие решетки и пополз назад. Ким ощутил вдруг власть над лебедкой, она слушала каждое его движение, тыльной стенкой скребка отталкивала глыбы, волокла руду без толчков, не рассеивая ее, не теряя по пути вдоль выработки, интуитивно, без всякого счета замирала в темноте перед самой стенкой забоя, погружаясь в мягкую рудную кучу. Ким похлопал лебедку ладонью по теплой крышке.

— Ах ты, Машка,— сказал он ласково,— давай, давай, Машенька, давай, милая...

Он работал так долго, возможно, несколько часов. Когда рвался трос, лебедка замирала, пока он исколотыми руками вязал узел.

Увлечшись работой, он вначале не обратил внимания на легкое прикосновение. Словно кто-то на цыпочках подошел сзади и кончиками пальцев пощекотал спину. Ким отстранился, подавшись вперед, ибо как раз подтягивал к решетке скребок, полный руды. Тогда сзади придавили сильнее, уже чем-то острым, Ким оглянулся и перед лицом своим увидел громадную, вставшую на дыбы глыбу. Нижний конец ее упирался в грунт, а верхний плавно плыл по воздуху. Не сознавая еще, что делает, Ким вытянул руки, уперся ладонями в мокрый кварцит, но тот надавил уже бешено, всем весом, и Кима отбросило, опрокинуло через тросы. Лежа на спине, слезящимися глазами он смотрел, как глыба терзает лебедку, расшатывает ее, потрошит, выдавливая шестерни. Теперь все глыбы, ранее присмирившие, двинулись, зашевелились, и из глубины забоя, из камеры опять послышался шепот и сладковатый запах серы. Ким быстро перевернулся на живот и, чувствуя свое тело гибким и мягким, как у ящерицы, пополз от настигающих глыб, прогибая позвоночник. Где-то посередине выработки он начал повизгивать. Его стошнило, однако он продолжал двигаться, очень быстро перебирая руками и ногами и лавируя мягким резиновым телом меж ухающих глыб.

Карбидная лампа осталась под глыбами, он полз в кромешной тьме, и, возможно, в этом было спасение, он полз по самому краю пятидесятиметровой пропасти, время от времени то рука его, то нога соскальзывала с бревен в пустоту, он выдерживал их, словно пустота была небольшим углублением, и полз дальше. Будь у него в эти мгновения хоть крупица обычного человеческого воображения, пустота увлекла б его, притянула, однако он был ящерицей с гибким телом и все полз и полз изгибаясь. Повизгивание, исходящее из нутра его, прекратилось, возможно, это повизгивание было последней данью разуму, сразу в полном объеме понявшему ужас происшедшего. Он полз успокоившийся, он почувствовал, что в текущие доли секунды ничего ему не угрожает, а он жил сейчас долями секунды, не умея соединить их воедино. Наконец он свалился в какую-то щель, проехался животом по колючим камням, отделавшись, однако, несколькими легкими царапинами, благодаря ловкому лавированию телом, ногами и удивительному для него самого удачному вращению шеи. Наконец он оказался в полной тишине, распростертый на чем-то гладком и плоском. Невдалеке приятно хлюпала вода, запахи гниющего дерева носились у лица вместе с ветерком. Прижавшись грудью к влажному грунту, он протянул руки в стороны. Левая рука наткнулась на склизкую деревянную крепь, правая нащупала железный рельс. Он лежал в старой откаточной выработке. Ким встал. Позвоночник, отвыкший от вертикального положения, ныл и похрустывал, мышцы на ногах стягивало судорогой, и приходилось мять их пальцами. Он пошел, вытянув руки вперед, как слепец, ступнями ощупывая рельсы. Постепенно начало мутить от прокисших запахов, в скреперной выработке его стошнило прямо на спецовку, но лишь сейчас, когда первые шоковые минуты прошли, он начал это ощущать. Ким пригнулся, поднял камушек, провел им по воротнику спецовки и отбросил. Он поднял целую пригоршню камушков и соскребывал ими подсыхающее месиво. Почувствовав ногами лужу, он лег, смочил губы, сделал глоток, затем намочил липкие борта спецовки. Ким шел долго, стараясь держаться по ходу свежей струи, дующей навстречу. Он увидел впереди силуэт. Ржавый электровоз и вагонетка, прикипевшие к ржавым рельсам, были освещены слабым боковым светом, проникавшим неизвестно откуда. Ким услышал шум, кто-то засмеялся рядом над головой. На мгновение суставы напряглись, легкие раздулись, прижали ребра, и, мокрый от пота, стуча зубами, он опустился у вагонетки. Он понимал, что нужно быстрее, пока люди не ушли, подня-

ться наверх по лазу, отверстие которого он уже заметил. Однако он понимал также, что слишком слаб для этого, хоть лаз, судя по ясности доносящихся звуков, был короткий. Он сидел, и мечтал, и молил судьбу, или Бога, или собственную удачу, в общем молил неизвестно кого, чтоб лаз этот оказался оборудованным лестницами, пусть даже старыми и расшатанными, потому что, подтягиваясь по горизонтальным бревнам, ему не пролезть теперь и пяти—десяти метров. Он попробовал, сидя на рельсах, потренироваться, подтянуться, охватив пальцами край вагонетки, но руки его подламывало, и пальцы соскальзывали вниз. Ким встал, опираясь о вагонетку спиной, подошел к отверстию, прикрыв глаза, сунул туда голову и постепенно, с колотящимся сердцем, расплющил, приоткрыл левый глаз. Гезенок был короткий, не более восьми метров, и к тому же освещен опущенной в него на гибком кабеле электролампой, но лестницы в нем отсутствовали. Какой смысл был оборудовать лестницами короткий лаз? Ким лишь теперь понял нелепость своих надежд. Ему надо было крикнуть, пока люди были рядом, но он забыл о такой возможности. Впрочем, когда это наконец пришло ему в голову, из груди вырвались лишь кричащие короткие всхлипы, недостаточно громкие, чтоб слышать их даже за восемь метров. Да и сверху наступила тишина, видно, люди ушли. Ким обнял руками один конец бревна, подбросил тело и охватил второй конец бревна ногами. Теперь он висел горизонтально под бревном, и приходилось напрягать мышцы шеи, иначе голова опускалась вниз, наливалась кровью, лишала тело подвижности. Раскачиваясь все сильнее и сильнее, он, улучив момент, рванулся вверх, чтобы оседлать бревно, однако не сумел удержаться и, сделав полный оборот, вновь оказался в первоначальном положении. Над ним проходили люди, он слышал их голоса, несколько размытые гулким лазом, видел кусок освещенного бетонированного свода выработки, все это было рядом и делало подобное обезьянье положение особенно нелепым. Постепенно Киму стало попросту смешно, и по скулам закапали слезы. Они текли не к подбородку, как обычно, а к бровям, смачивая волосы, выбившиеся из-под каски, потому что мышцы не выдержали и голова опустилась. Мимо него тянул наверх воздух, в узком лазе струя сжималась и довольно сильно обдувала лицо, словно освежала из брандспойта. Собрав силы, подождал, пока отольет кровь, и с коротким всхлипом взлетел, сел на бревно верхом. Он растегнул пояс, вытащил из брюк, бросил к верхнему бревну, как аркан, подтянулся, стал балансировать. Неожиданно он довольно легко преодолел остальные бревна, правда, ценой



ушибов, царапин и побелевших, ободранных пальцев с запекшейся под ногтями кровью.

— Все, — сказал он, прыгивая на щебеночный грунт бетонированной выработки. В выработке, хорошо освещенной, было холодно, чувствовалась близость вентиляционного ствола, висящие на гибком кабеле лампы покачивало ветром. Ким был весь распотрошен, расстегнут, его сразу пронзило до костей. Он запахнул полы спецовки, разорванные в нескольких местах, ту же обмотал вокруг шеи шарф, чудом не потерявшийся. Прошлое, от которого он был отделен несколькими минутами, складывалось в нелепые картины, всплывало фантастическими видениями.

Из-за поворота, вначале плавно изогнувшись в воздухе, затем по мере приближения все тверже ступая, хлюпая сапогами по лужам, вышел Колюша. Он старался поставить ногу так, чтобы обрызгать идущего сзади мальчишку. Лицо мальчишки обросло редкими вьющимися волосами, видно, мальчишка не брил еще щеки, а подрезал волосы на них ножницами. Меж Колюшей и мальчишкой на палке, которую они держали, висело несколько смазанных блочков и шестеренок. Заметив Кима, Колюша крикнул:

— Друг, беги, пока трамваи ходят... Тут начальник...

В это время мальчишка с кучерявыми щеками плюнул Колюше на каску.

— Ах ты, зараза, — захохотал Колюша, поднял пособачьи ногу, постоял так с вытаращенными глазами, потом вдруг обернулся, захватил с шестеренки горсть черной тягучей смазки и прилепил ее к носу мальчишки. Хохоча и пинаясь, они побежали, исчезли в боковой выработке. Ким продолжал стоять неподвижно, морща лоб, изредка лишь ослабляя то левую, то правую ногу. Потом из-за поворота вышел начальник.

— Ты как здесь? — крикнул начальник. — Смыться хочешь через вентиляционную...

— Выработку завалило! — словно выбив кляп, заорал Ким, чувствуя надувшиеся вдоль шеи вены. — Выработку завалило! — продолжал он орать, хоть начальник стоял рядом и отлично слышал.

— Молчи! — просипел начальник. Зеленоватые зубы его приблизились вплотную к горлу Кима. — Смену мне сорвать хочешь? — Двигались зубы, обдавая запахами, возможно, смоловшие еще одну луковичу.

Киму стало противно, он просунул ладони в узкий прозор между своей и начальника грудью, толкнул эту чужую грудь от себя.

— Я в управление пойду,— крикнул Ким,— я писать буду... Я в газету... В «Правду»... Нельзя ребят в такие выработки... Там обрушено все. Угробит ребят...

— Ты эти ерусалимские штучки брось,— подошел, размахивая руками, начальник,— эти армянские выкрутасы... Не нравится, иди шнурками торговать... Паникер...

— Я не армянин,— чувствуя тошноту и отвращение к себе и к каждому своему слову, но все-таки продолжая говорить, произнес Ким,— и не еврей... Я паспорт могу показать...

Ким и начальник стояли друг против друга, громко дыша.

— Ладно,— сказал начальник,— покричали, и ладно... Это бывает... Меня ранило когда на фронте, в госпиталь привезли... Мертвец... Списали уже вчистую... А доктор Соломон Моисеевич вытащил... Осколок прямо под сердцем давил... Думал, задавит... Среди них тоже люди попадают, ты не думай... Но с другой стороны, ерусалимские казаки... Вы ж газеты читаете,— обратился почему-то начальник к Киму на «вы».— В Ленинграде Ханович И. Г., например, продал всю академию... А вы действительно ободраны... Вам отдохнуть надо... Я сначала не разглядел. Три дня пожируете.— Начальник хохотнул и обнял Кима за плечи, ласково похлопывая ладонью.— Пойдемте, я провожу вас к вентиляционному стволу.

Ким подался телом вперед, ему хотелось сбросить руку начальника, но он не решался это сделать.

— Испуг,— говорил начальник,— испуг... Помню после войны случай... Шурф разведочный проходили... И приехали двое из треста на обследование... Не знаю, какой они нации были... Обследовали они, обследовали... Пора наверх подниматься, на поверхность... Сели они в подъемную бадью... Вдруг баламут какой-то как крикнет: «Бадья оборвалась!» Смотрим—один уполномоченный кувырк и голову закинул... Побелел... Думали—обморок, смотрим, на губах пена... Помер... А бадья ж на грунте еще стояла, только лебедку включили, трос натянулся... С испугу помер... Сердце лопнуло...

Начальник говорил, приблизив голову вплотную, и Ким задира л подбородок, чтобы дыханье начальника приходилось пониже рта, хотя б на шею. Это ему удавалось, но не всегда, они шли теперь через прорубленные в кварците выработки без крепления, скорее похожие на лаз, узкие и низкие, лишь кое-где освещенные лампами в забрызганных грязью стеклянных колпаках. Ветер дул в спину с такой силой, что приходилось напрягать мышцы ног, придерживать руками каски. Время от времени их притискивало, кидало друг на

друга, и тогда начальник, словно наверстывая упущенное, торопливо посылал Киму в лицо порцию за порцией утробного воздуха, несколько раз попав прямо в открытый рот, потому что, забывшись, Ким пытался глотнуть свежего ветра. Ким ушел вперед, однако, ударившись каской и коленями о кварцит, вернулся. Он был без лампы, а начальник освещал темные промежутки своей электронадзоркой. Под напором ветра теперь приходилось бежать согнувшись, красноватые лужи пенились и бурлили.

— Ничего,—крикнул начальник,—со мной не пропадешь... Мы этой сменой, может, три дня план держать будем... Качественная, что ты... Семьдесят процентов железа... А краснухи, дерьма разного, под руками сколько угодно. Вот и будем давать партию краснухи, к ней пару вагонеток синей... Вместе смешается в опрокиде, имеешь норму, предусмотренную разрядкой... Что ты... Это ж дело государственное... Перед Новым годом план потухнет... Ты ж учился, понимаешь... А какое ж настроение у людей будет? Опять же Иваныч первого числа по московскому радио выступает...

Ким вращал шейю, прикрывался ладонью. К счастью, порывы ветра, все усиливающиеся по мере сужения выработки, срывали дыханье начальника прямо с его губ и уносили, часть же, достигшая лица, была сильно разжижена, почти утратив утробный запах.

— Держись,—неожиданно крикнул начальник.—Сейчас понесет.

Впереди выработка переходила в узкий лаз высотой не более метра. Ким нырнул туда, и его поволокло, казалось, он тонет, подбородком касаясь колен, с болью в позвоночнике, с открытым ртом, с вытянутыми книзу руками, царапавшими пальцами щебенку. Наконец его выбросило, и он полежал некоторое время забывшись, пока рядом не выбросило начальника, сразу начавшего отплеиваться и ругать почему-то торговых работников. Ким встал, огляделся. Они находились в околоствольном дворе вентиляционной шахты. Перед клетевой частью ствола стояли на ржавых рельсах три оставленные здесь с незапамятных времен вагонетки, маленькие, ржавые, старого образца, наполненные превратившейся в жидкую грязь низкосортной рудой. Слева виднелись остатки диспетчерской, торчали доски и куски жести. Посреди двора валялась погнутая буровая штанга, оторванная штапица проходческого резинового комбинезона, а на сыром бетоне сохранилось накопченное карбидной лампой ругательство.

— Здесь когда-то работа кипела,—сказал начальник,—шум, треск... Теперь руду вычерпали, главный ствол в центре

залежи пробили... Только для вентиляции пользуемся... Сороковый горизонт с тех времен и стоял... Обрушение началось, руду бросили... А там же качество... Вызвал меня Иваныч, я и вспомнил... Ничего, смену выдержит... Это ты просто внизу был, вот и поехало... Да и ты начерпал неплохо, не обижу... Полезай, полезай...

Он вновь обнял Кима за плечи, подвел его к ходовой части ствола, оборудованной лестницами и хорошо освещенной.

— Вы долго здесь?—спросил Ким, подсознательно чувствуя, что начальник хочет быстрее избавиться, так как ему приходится напрягаться, чтоб говорить ласково, подавляя неприязнь.

— Сейчас кончаем,—ответил начальник,—пойду ребят выводить... Ладно, желаю тебе... Может, что не так, не обижайся... Шахта, сам понимаешь...

Лицо начальника было теперь неподвижным, под глазами мешки, кожа на щеках с синеватым оттенком, прорезанная множеством красных жилок. Он выглядел совсем стариком, хоть, наверное, ему еще не исполнилось и пятидесяти.

— Желаю вам,—сказал Ким, испытывая вдруг прилив жалости и сам удивляясь этому приливу, очевидно, вызванному причинами чисто внешними, попросту усталым человеческим лицом, на долю секунды утратившим конкретную принадлежность. Так даже осужденный, очнувшись после пытки, видит желтое от бессонницы, лихорадочное лицо палача и может испытать мгновенный укол жалости к нему.

Ветер, утихший в околоствольном пространстве, вновь начал выть и гудеть, попадая в вентиляционный ствол. Преодолев первые метры, Ким глянул сквозь решетку. Начальник стоял, запрокинув голову, усмехаясь. Возможно, Ким был действительно смешон, распластанный на вертикальной лестнице, в раздутой пузыряем от ветра спечовке. Ему казалось, начальник тычет кому-то пальцем вверх и хихикает. Приступ стыда и злобы заставил Кима зажмурить глаза, и он полез на ощупь, изо всех сил, а когда остановился задыхаясь и огляделся, вокруг была только бетонная крепь, поблескивающая от изморози под красноватым светом электроламп, и в клетьевом отделении ствола пошатывало на ветру оледеневший трос противовеса. Лезть теперь приходилось осторожно, потому что прутья лазеек тоже были покрыты коркой льда, подошвы скользили, а ладони коченели. Отовсюду, с бетонной крепи, с двутавровых балок клетьевого отделения, даже с гибкого кабеля, свисали глыбы льда всевозможных форм и размеров, на двутаврах они были желтоватые от ржавчины. Тяжело вздыхая, Ким чувствовал ледяные капельки, покалы-

вающие кожу. Наконец порывы ветра достигли небывалой силы, и Ким покатился вниз по ледяной лазейке, ломая ногти, однако, не успев испугаться, почувствовал под ногами прочный предохранительный полок. Он вновь полез, его приподняло, мокрые от пота концы шарфа вырвались из воротника и, мгновенно оледенев, начали больно хлестать по лицу, клевать, словно нарочно пытаясь попасть в глаза, Ким отмахивался от них, как от хищной птицы. Ветер оборвался внезапно, и Ким понял, что пролез мимо вытяжного канала вентилятора. Чем выше он поднимался, тем тише и теплее становилось. Сосульки висели изредка и были тонкими, такие свисают с крыш в мартовскую оттепель. Потом сосульки вовсе исчезли. Прутья под ногами стали мокрыми, слышалось хлюпанье воды, текущей вдоль стен. Ким увидел над собой дощатый люк, уперся в него каской, поднял и вылез наружу. Он находился в бетонированном помещении, довольно просторном, освещенном двумя электролампами. Посреди, огражденная решетками, стояла клеть. Ким прошелся по помещению, потрогал пустое ведро, опустил руку в ящик с противопожарным песком, все не решаясь подойти ни к двери, ни к окну, будто опасаясь, что за ними откроется бездна, пахнущая серой. Окно было зарешечено, сквозь толстое зеленоватое стекло с впаянной проволочной сеткой Ким смутно разглядел какие-то покачивающиеся очертания, кажется дерева, и от этого сердце его вдруг защемило, а глаза потемнели от слез. Он несмело подошел к двери, тронул ее, вспомнил, что дверь подпирает наружный воздух, так как воздух в герметически закупоренном помещении разрежен. Он отошел назад, разбежался и ударил в дверь ногой. Затем разбежался опять. Злоба душила его, каждая секунда, которую он проводил здесь, в бетонном герметическом склепе, казалась невозполнимой, отнятой навек. Ким поднял стоящую в углу скамью и, держа ее перед собой, как таран, помчался, расшиб об дверь. Когда он пробегал со скамьей наперевес мимо окна, мгновение рядом бежало отображение, он заметил его краем глаза и испугался своего дикого, словно у безумца, лица. Ким отбросил остатки скамьи, сел на землю, прикрыв глаза ладонями, в темноте его повело в сторону. Вскоре, однако, он снова бежал на дверь, пригнув голову. Ким понял, что слишком рано выставляет ногу, от этого теряется сила удара, толчок недостаточно резок. Он начал наносить удары выше, хоть это стоило ему дополнительных усилий. Несколько раз появлялась щель, однако недостаточно широкая, и дверь притискивало вновь. Наконец ему удалось метнуться, вонзить свое тело в щель меж дверью и дверным проемом. Груд-

ную клетку его прижало, однако он, стиснув зубы, давил, проталкивал руками, словно захватил горло врага, и дверь медленно поддалась, распахнулась. Не веря еще, он стоял на пороге, дрожа от недавней борьбы, ослепленными глазами глядя перед собой, зубами отрывая громадные ломти ночного морозного воздуха, заглатывая, давясь, чувствуя эти свежие ломти ползущими в своем судорожно раздутым горле, жадно набивая ими голодные, вибрирующие легкие. Он услышал за спиной щелчок, захлопнулась дверь и отсекала что-то, казавшееся ему уже нереальным и никогда не существовавшим. Густой снег валил вокруг, было не более двух-трех градусов. Где-то пыхтел паровик, лаяли собаки. Ким осторожно опустился, лег на спину и, запрокинув голову, начал созерцать бесшумно падающий снег. Удивительная, никогда не испытанная еще тихая радость овладела им. Радость, порожденная не умом, а просто существованием и потому первородная, доступная всему живому. Иногда возникал легкий ветер, хлопья, падавшие ранее отвесно, начинали кружиться, и тени их сновали по снегу в разных направлениях, точно муравьи. Недалеке, очевидно, на обогатительной фабрике, дважды коротко замычал гудок...

### 3

Ким встал, пошел, дрожа от щекочущих ощущений, глядя с восторгом на нетронутую белую землю. Снегопад несколько поутих, показались звезды. Три домика, возникшие перед ним внезапно из снегопада, заваленные сугробами, вызвали слезы умиления. Домики были действительно аккуратные, сложенные из плоского сланца, в самом дальнем горел свет, оттуда слышалось мерное гуденье.

Ким понял вдруг, что гудящий домик — это ведь здание вентилятора, а от ближнего домика ведет цепочка его собственных следов. Однако мысль эта недолго занимала, и разочарования он не испытал, потому что вообще не мог сосредоточиться продолжительное время на чем-либо, взгляд его перескакивал с предмета на предмет. Он с удивлением разглядывал белые ветвистые изваяния, но как только понимал, что это деревья, забывал о них, поворачивал голову, вглядываясь в несущиеся по ночному воздуху желтенькие одинаковые квадратики, пока он не осознал, что это поезд. Ким шел тропинкой, ранее протоптанной, однако заваленной свежим снегом. Слева изредка возникали огоньки скрытого

за бугром поселка, справа темнел карьер. Ким увидел глыбы кварцита, вывезенные из шахты и сброшенные в отвал. Здесь, среди снега и воздуха, они казались ослепшими и беспомощными.

— Что, издохли?! — крикнул Ким, пнул ногой одну глыбу и торжествующе засмеялся. Так, смеясь, он побежал вдоль тропинки, скатился с горы и долго, визжа от удовольствия, барахтался в сугробе. Наконец он вышел к шахте, ставшей совсем маленькой, непохожей. Копер втрое уменьшился, а длинные надшахтные здания, по которым Ким всегда блуждал, вовсе исчезли, вместо них были небольшие бараки. Хромой старик в ушанке водил вдоль двора двух лошадей-тяжеловозов. Лошади хрипели, бока их судорожно раздувались, морды были оскалены, желтоватая пена, дымясь, падала на снег.

— Это «Центральная»? — спросил Ким.

— Через вентиляционную вылез, — усмехнулся старик, — это «Пионерка».

Ближняя лошадь вдруг заржала, рванулась, мотнув мордой.

— Лучше электровоза тянут, — сказал старик, — на что нам электровоз, мы уже отработываемся, скоро закроют, — старик подмигнул, — по графику дышать выводим, — он провел ладонью, счищая с лошадиных спин снег, — ты влево иди, попадешь к «Центральной».

Ким пошел налево, однако оказался на тихой темной улице, среди одноэтажных домиков, окруженных сложенными из сланца заборами высотой не более полуметра. Разговор со стариком несколько приглушил его волнение и восторги, он даже устыдился их. Но постепенно, то ли внимание его опять рассеялось, то ли пустая улица действительно красиво осветилась выкатившейся луной, он опять задышал часто, по-детски радостно и несколько раз переходил на бег. Когда за заборами начинали лаять собаки, он останавливался, смотрел удивленно, прислушиваясь к лаю, шел дальше, пока вновь не забывался. У поселкового базарчика он посидел под навесом, отдыхая, положив голову на край одного из длинных дощатых столов. Потом Ким пошел переулками в направлении доносившейся музыки и вышел на главную улицу поселка, откуда знал уже дорогу к своей шахте. Улица была асфальтирована, освещена фонарями, и перекрестки ее дополнительно освещались электрочасами. Застроена она была двухэтажными зданиями с одинаковыми выступами, одинаково раскрашенными в серый и розовый цвет. На фронтонах зданий были вылеплены из гипса звезды и скрещенные мо-

лотки. В самом конце улицы, упираясь в небо, высился шахтный копер с красноватой горящей точкой у вершины. Музыка слышалась из Дома культуры, примыкающего к поселковому парку, знаменитому далеко за пределами поселка, существующему еще с дореволюционных времен. Верхушки парковых деревьев, красиво заснеженных, шевелились над забором, и вороны, потревоженные музыкой, перелетали, роняя снег с ветвей. В Доме культуры, трехэтажном, с колоннами и статуями, был предновогодний бал. На ступенях его стояли кучкой молодые парни в пиджаках и курили.

— Что это он тут в робе ходит,— сказал кто-то,— больной Алеша... Эй, Алеша вырви глаз! — сзади засмеялись.

Ким тоже улыбнулся, ребята показались ему симпатичными шутниками, а острота смешной. Он ускорил шаг, потому что ему захотелось поскорей помыться, переодеться и, может быть, даже прийти в Дом культуры. Он абсолютно не испытывал усталости, пока не вышел к железнодорожным путям, над которыми нависали бункера обогатительной фабрики. Снег здесь был нечистым, красным от рудной пыли, маневровые паровозы заталкивали вагоны под люки бункеров, грохотали, и вот тут Ким сразу вдруг ощутил горячий прилив крови к затылку, с каждым шагом тело его делалось тяжелей, и, когда он вошел в душную продолговатую раздевалку, где на полках лежали десятки пропитанных потом и рудой спецовок, сел на бурую скамью, тело начало зудеть и ныть так сильно, что он даже застонал. Ким принялся вяло раздеваться, стащил сапоги и высыпал из каждого по кучке синеватой руды, смешанной с мелкими камушками. Пальцы ног его были бескровными и гладкими, похожими на отростки, которые выбрасывает гниющая в погребе картошка, правое колено распухло, похрустывало в суставе, а когда, сняв брезентовую спецовку, он начал стаскивать через голову слипшиеся воедино свитер и две рубашки, на спине и груди его раздался скрип, липкое подергивание рвущейся кожи, потому что рубцы пропитали кровью обе рубашки и свитер насквозь.

— Ты что,— спросила, показываясь в приемном окне, дежурная,— ты ремонтник?

Ким кивнул, чтоб не вступать в объяснения. Дежурная была женщина лет сорока, с грязными полосами вдоль щек и шеи, в грязной от рудных пятен цветастой кофточке, сильно оттопыривающейся на высокой груди. Киму стыдно было стоять перед ней голым, он прикрылся левой ладонью, а правой захватил свернутый узел, с трудом приподнял его, положил на прилавок и показал свой номер, вытащив его из кармана спецовки. Дежурная рассмеялась, отодвинула узел



и внимательно посмотрела на Кима, даже приподнялась на цыпочки, упираясь локтями, круглыми и красивыми, о прилавок. Ким махнул рукой, он чувствовал себя слишком слабым, чтоб говорить, несколько раз его прошибло холодным потом.

— В бане все равно вода холодная,— сказала дежурная,— как ты мыться будешь? Ледяная вода... Хозяин запретил горячую воду до конца смены пускать, чтоб раньше времени рабочие не кидали...

Ким ничего не ответил, пошел к мокрым полуоткрытым дверям, где слышалось хлюпанье, и, поджав непослушные пальцы ног, ступил на холодный цемент. В душевой стоял сырой холодный туман, крашенные в белый цвет двутавровые балки вдоль потолка были густо усеяны каплями, мыльная вода скопилась у засорившихся сточных решеток. Дрожа, Ким положил жестяной номер на подоконник, нагнулся, поднял с пола размокший обмылок, подошел к крану, повернул и отшатнулся, тело обдало ледяным воздухом, сопровождавшим по сторонам сильные струи ледяной воды. Кожа затвердела, была стянута цветной коркой красно-бурых пятен руды и черной смазки, застывшие холодные струйки пота вьелись в рубцы. Время от времени Ким не выдерживал, прикасался к липким рубцам пальцами, начинал почесывать вокруг них, а у поясницы даже сорвал присохшие струпья, теперь там сильно щемило, кровоточило, и это было единственным теплым местом на теле. В углу душевой был сколочен железный ящик метра в два длиной для мытья ног. Ким подошел, уперся в ржавые борта, окунул руки. Вода здесь была грязной, покрытой мазутными жирными пятнами, но все ж тепловатой. Ким обрызгал ею тело, принялся натирать обмылком грудь, шею...

— Ты чего,— сказала дежурная. Она стояла в дверях.— Тут же ноги мыли, а ты лицо... Под душ иди...

— Холодно,— ответил Ким, стуча зубами.

— Сейчас горячая польет,— сказала дежурная,— я договорилась с котельной.

И действительно, душевая начала наполняться паром, стало теплей. Дежурная не уходила, стояла, смотрела насмешливо. Ким, чтоб не поворачиваться к ней лицом, начал продвигаться к душе боком. Вдруг ему вспомнились рассказы старшекурсников о женщинах рудников и геологоразведочных партий. Был на втором курсе некто Жигарев. Лицо его всегда покрывали прыщи, но периодами они высыпали удивительно густо и становились уже не красными, а синими, так что лицо напоминало гнилой кусок мяса. Вот тогда Жигарев

не ходил гулять, а, обмотав щеки полотенцем, приходил к ним в комнату, садился на койку и начинал рассказывать. Иногда он говорил о женщинах, а иногда «по политическим вопросам». «Конечно, Яков Свердлов был еврей, но учтите также Фаню Каплан... Конечно, и у нас был Николай Второй... Но учтите также спекулянтов...» И тогда, когда он говорил «по вопросам», и тогда, когда он говорил о женщинах, якобы являвшихся к нему прямо в забой, перед ним ставили теплый чайник. Чайник этот он частично выпивал без сахара, частично же смачивал им полотенце, а вообще был он парень не злой, просто переживал сильно из-за своей внешности, пудрил прыщи и связывал свои беды со спекулянтами, которые похищают витамины, нужные для обмена веществ. Вот некоторые рассказы этого Жигарева и вспомнил Ким, двигаясь боком к душе, невольно бросая взгляд на высокую грудь дежурной. Окунувшись под теплые струи, он сразу ослабел, притих, закрыв глаза, а очнувшись, увидел дежурную совсем рядом.

— Разве так руду отмоешь,— сказала дежурная,— три раза мылиться надо... Возьми,— она протянула ему кусок мыла и мочалку,— из пенькового каната,— добавила она,— все сдерет...

Ким начал мылить мочалку, но пальцы у него были вялые, и мыло выскользнуло.

— Ох ты, Господи,— вздохнула дежурная, подняла мыло, взяла мочалку. Вскоре вокруг ладоней ее образовалась целая гора мыльной пены, тогда она подошла к Киму и провела теплой пеной ему по спине. Прикосновения рук ее были твердыми, но ласковыми, и Кимом вдруг овладела усталость, он почувствовал себя беспомощным ребенком, и эти руки нужны были ему, он покорно подчинялся каждому их требованию. Дежурная намылила спину, повернула к себе и начала мылить живот, осторожно обтирая рубцы. Несколько раз она касалась тела своей мягкой мокрой грудью.

— Падлы,— сказала она,— суют мальчишек в пекло... Сына своего он тоже так сунет...

Она ушла, вернулась с бутылкой йода и смазала рубцы.

— Давай отмывайся,— сказала она,— становись под душ... Ты сам откуда?

— Издали,— тихо ответил Ким.

Теплые струи воды текли по его распаренному, хорошо протертому телу, он как бы заново рождался, грязная пена сползала, капала по ногам, обнажая чистую кожу, помимо рубцов густо покрытую синяками, ставшими теперь заметными. Он промыл волосы, сполоснулся, взял с подоконника же-

стяной номер, через дверь в противоположном конце душевой пошел в чистое отделение бани. Воздух здесь был посвежее, лампы поярче, пахло стиранным бельем. Из приемного окна выглянула старуха, пожевала губами и захлопнула, опустив деревянный щит. Ким постучал.

— Не велено,— крикнула старуха из-за щита,— хозяин до гудка запретил выдавать... Смотался, прохлаждайся голяком...

— Митрофановна,— заглядывая, позвала дежурная,— выдай ему... Ему разрешили...

— Хахали,— ворчала старуха,— всем твоим хахалям нарушай приказ...

Но щит подняла, Ким показал номер, и старуха выбросила одежду. Одежда связывала его с прежней жизнью, и прикосновения к ней были радостны. Одевшись, он почувствовал себя увереннее, потерся подбородком о сукно куртки, пересек коридор, взял у старичка свое пальто и ушанку, спустился по лестнице, ступени которой были припорошены красной пылью, и вышел из быткомбината надшахтного здания, но не к бункерам, а с противоположной стороны, к заснеженным портретам стахановцев и бюстам Маркса и Сталина на гранитных столбах.

— Хорошо как,— сказал Ким вполголоса.

Ему захотелось вдруг пойти в Дом культуры и потанцевать с девушкой-татаркой, которую он встречал в рудничной столовой и на которую поглядывал издали. Небо было чистым и звездным, лишь кое-где смутно угадывались в темноте мелкие облака. Становилось весело, хотелось подурачиться. У него бывали такие припадки необъяснимого веселья, освежавшие, приносящие наслаждение. В мозгу появилось и начало расти смешное слово, он понял, что сейчас выкрикнет его.

— Порей!— громко крикнул Ким в темноту.— Порей!— И захохотал, однако одновременно с тревогой прислушиваясь к странным попискиваниям, предшествующим каждому звуку. Он положил ладонь на горло, и попискивания прекратились, тревога рассеялась, ничто больше не омрачало радости. Впереди был железнодорожный переезд, и возле него стояло двое парней: один в короткой меховой куртке и шерстяной лыжной шапке, второй в черной шинели и фуражке с инженерской кокардой.

— Ребята,— сказал Ким,— как пройти к Дому культуры?

— Мы сами туда,— сказал парень в меховой куртке,— двинули вместе...

Они пересекли железнодорожные пути и спустились с при-

горка на темную улицу, освещенную лишь в конце отблеском фонарей.

— Слушай, друг,— сказал парень в меховой куртке,— займи червонец, выручи.

— Вот,— сказал Ким, вынимая пачку денег,— разменять надо.

— Слушай, друг, давай по-честному,— сказала меховая куртка,— половину тебе, половину мне...

— Давай,— обрадовался почему-то Ким.

Меховая куртка взяла деньги и начала делить.

— А часов у тебя нет? — деловито спросил парень с инженерской кокардой.

— Есть,— весело сказал Ким,— вот на ноге. Он приподнял штанину, глянул на парней. Лица у них были серьезные. Парень с кокардой взял Кима за левую кисть, пощупал.

— Ладно,— сказала меховая куртка,— ты, друг, сейчас налево сверни, два шага — и Дом культуры.

Пачка денег из рук его исчезла.

— Всего,— сказал Ким.

— Ты по тропинке иди,— крикнула вслед меховая куртка,— там сбоку проволока колючая, не напорись.

Ким пошел, испытывая некоторое недоумение, во рту горчило, однако, действительно очень быстро увидав Дом культуры, рассеялся, подумал про три свободных новогодних дня, совершенно еще не траченных, и подумал, что, когда они будут на исходе, он, наверно, с завистью будет вспоминать эту минуту. На ступенях по-прежнему стояли в пиджаках и курили. Ким хотел войти, дернул дверь, тяжелую, окованную медными скрещенными молотками, однако навстречу ему вывалился кто-то долговязый, обнял, дыхнул коньяком.

— Зон,— узнал Ким,— с Новым тебя, Зон...

Зон работал в техотделе рудоуправления. Познакомились они в рудничной библиотеке.

— Пойдем,— сказал Зон,— здесь скучно... Поехали ко мне. Меня такси дожидаются...

У обочины стояли две «Победы». Зон подошел к задней, снял с себя шляпу, положил на сиденье, захлопнул дверцу.

— А мы с тобой в переднюю,— сказал Зон,— так до самого города еду... От ресторана... Два такси... В переднем я, в заднем моя шляпа... Премию пропиваем... Последнюю... Смотри,— он повернулся в сторону копра,— горит,— удивленно сказал он,— потушить забыли... Перед Новым годом на мель... Это называется технически безграмотное ведение работ... Жрали что под рукой лежало... Ставили рекорды...

Они ехали вдоль улицы, застроенной новыми одинаковыми домами. Шофер поглядывал на Зона, посмеивался. Большеносая, патлатая голова Зона моталась, глаза были подпухшими и усталыми.

— Тебе приходилось когда-нибудь унижаться,— тихо спросил Зон,— чувствовать, как изгибается твой позвоночник...— Зон поднял руку, рукав его сдвинулся, обнажив тонкое запястье с золотыми часами на золотом браслете.— Хотели уволить, хозяин не утвердил... Я ему нужен... Я оклад получаю... Я премии...— Зон вдруг сморщился, сжал виски так сильно, что переносица и пальцы его побелели.

— Зон,— сказал Ким, испытывая чувство вины перед этим человеком, которому плохо, в то время как ему, Киму, так сейчас хорошо, удобно ехать, опираясь на мягкое сиденье, весело от предстоящего трехдневного отдыха, новых знакомств.— Зон, все уладится... Хочешь, я приглашу тебя к своим городским знакомым... Я останавливался у них, когда приехал сюда оформляться... Мне товарищ в университете адрес дал... Мать и дочь... Дочь красивая, сам увидишь...

— За что тебя выперли?— спросил Зон.

— За Ломоносова,— сказал Ким,— это нелепая история, смешно просто... Я делал доклад в студенческом научном обществе и сказал, что Ломоносов ошибся, считая источником подземного жара горение серы... Это написано в старом учебнике... Всякий ученый может ошибиться... А один преподаватель придрался... Он, собственно, не геофизик, он политэкономии преподает... Прицепился... Слово за слово... Я тоже психанул... Обвиняет меня в космополитизме... Какой же я космополит... Я сам разных космополитов ненавижу...

— Бедный мальчик,— сказал Зон,— у тебя даже нет возможности нанять два такси, чтоб в заднем специально ехала твоя шляпа... Почувствовать собственное «я»...

Машину мягко покачивало, Ким сидел, вытянув ноги, чувствуя блаженную тяжесть в суставах.

— Чего это у тебя лицо поцарапано?— спросил Зон.

— Я со смены,— ответил Ким,— работал.— Он сладко зевнул, притих.

Зон жил на улице, расположенной вдоль шоссе. Ким увидел шоссе очень ярко, до боли в глазах освещенным. Потом они вошли в подъезд. Лестницы были словно полами, звук, высеченный из них подошвами, убаюкивал, возникали и исчезали за спиной на поворотах двери.

— Ты на участке работал?— спрашивал Зон.

— Да,— кивал Ким, стараясь не произносить длинных фраз, чтоб не выскочить из убаюкивающего ритма шагов. Он

вошел в дверной проем, распахнувшийся плавно, и исчез, возник лишь ненадолго, чтоб потереться щекой о подушку. Затем он лежал под дощатым настилом, и давно забытый соученик стоял, упираясь в него коленями. Это был первый, короткий сон, приснившийся перед самым пробуждением. Вздрогнув, Ким открыл глаза. Он лежал в полумраке на широкой кровати, среди темного подмерзшего окна расплывалось красное пятнышко. «Копер,— понял Ким,— вытянули план... Как вчера смешно было... Впрочем, о чем это я?..» Он повернулся к стене, теперь ему снилось много снов, легких и спокойных, которые сразу забывались.

Ким проснулся окончательно уже утром, и пятнышко на стекле поблекло, стало розовым. Помимо крытой никелем дорогой кровати с гнутой спинкой и шишечками, в комнате Зона стоял на табурете приемник «ВЭФ», в углу другой табурет, чертежная доска, вешалка с одеждой и вместо стола подоконник, до отказа забитый банками, промасленными свертками, невымытыми стаканами. Одежда Кима была сложена на расстеленной по полу газете. Рядом с приемником лежала записка. Ким протянул руку, прочел: «Дверь захлопни. Будешь в городе, позвони», и указывался номер телефона. Ким включил приемник. Послышался треск, музыка, церковные молитвы, заговорил московский диктор. «Советские люди трудовыми успехами, энтузиазмом встретили 1953 год, еще один год сталинской эпохи»,— говорил диктор.

Ким лежал, морща лоб, соображая. Он вылез из шахты в ночь с тридцатого на тридцать первое, а сейчас, судя по всему, было утро первого января.

— Проспал встречу,— сказал он, потянулся, однако сразу же вздрогнул, сморщился: не подживший на поясице рубец лопнул, кожа потеплела, и он торопливо поднялся, чтоб не вымазать Зону простыней кровью.

«В беседе с нашим корреспондентом,— неожиданно сказал диктор,— начальник шахты «Центральная» товарищ Макоев сообщил: гордо горит на подъемном копре шахты яркая звезда, символ трудовой доблести, которой коллектив отвечает на отеческую заботу Иосифа Виссарионовича, на счастье жить и трудиться в великую сталинскую эпоху».

Ким встал во весь рост. Грудь его распирало, плечи раздвинулись. Его приподняло, понесло, он захлебывался от восторга. По приемнику передавали ритмичные, будоражащие кровь марши, Ким одевался, насвистывая их, время от времени он от полноты чувств начинал тереть ладонь о ладонь с такой силой, что кожа разогревалась, бесчисленные царапины зудели, кое-где даже проступили капли крови. Ким тряха-

нул головой, зажмурил глаза, посидел с колотящимся сердцем. Потом он оделся, выключил приемник, вышел, захлопнув дверь, спустился по лестнице.

«Сейчас в город,— подумал он,— постригусь, зайду к знакомым, там видно будет... Новый год проспал, фу, как глупо».

Город напоминал комету. Вдоль хвоста — сорокакилометрового шоссе — тянулись рудничные поселки, которые в основном отличались друг от друга расположением шахты. Иногда шахтные копры, бункера, породные отвалы подступали к самому шоссе, а крыша Дома культуры виднелась за одинаковыми домами с лепными эмблемами, иногда, наоборот, в глубь поселка отступала шахта, а Дом культуры — близнец, трехэтажный, с колоннами и статуями, располагался у шоссе. Казалось бы, кто-то все время перемешивает один и тот же поселок, переставляет, словно шахматные фигуры, если б пейзаж не оживлялся то речушкой, то рощицей, то оврагом. Ким вылез из автобуса, обогнувшего заснеженную клумбу и хоровод заснеженных елочек вокруг нее. Центр города был застроен в основном старыми домами, лишь против клумбы высилось пятиэтажное розовое здание железорудного треста, увенчанное шпилем со звездой, да в глубине улицы виднелась лепная башенка нового гортеатра. Ким пошел, вглядываясь в вывески. На ступенях гостиницы «Руда» стоял пьяный в телогрейке и ругал в бога мать космополитов. Милиционер лениво сталкивал ругателя вниз, пьяный скрипел зубами и кричал:

— Эх, все вы им продались! На Иудины деньги жируете!

Ким прошел мимо, потянул тяжелые двери, вошел в вестибюль, отделанный под мрамор, разделся и, поднявшись на второй этаж по широкой, клепанной медными пластинками лестнице, увидел за бархатными малиновыми портьерами парикмахерскую. Час был ранний, посетителей было мало. Двое парикмахеров, белобрысый мальчишка и горбоносый старик, играли в шашки цветными одеколонными пробками, двигали их по рисованной самодельной доске, за перегородкой в дамском зале трещала машина, делающая перманент, и виднелась в зеркале курносая дама с двойным подбородком. Голова ее, отягощенная металлическими детальками, была запрокинута. Гремело радио, передавали какую-то захватскую казачью песню.

— Пожалуйста,— сказал Киму появившийся сбоку парикмахер. Парикмахер был в крахмальном до синевы халате, с короткой раздвоенной бородкой, очки его в золотой оправе и лысина поблескивали. Ким уселся в удобное кресло, мысленно насвистывая мелодию казачьей песни. Щекочущие

прикосновения парикмахера были приятны, хотелось сидеть так подольше.

— Бокс? — спросил парикмахер, обволакивая пахучей хрустящей салфеткой.

— Конечно, — сказал Ким, жадно вдыхая свежий запах стираного полотна и радостно сжимая опущенные, прикрытые коленями кулаки. Его радовали звякающие флакончики, банка, наполненная чистой ватой, блестящая белоснежная раковина с никелированными краниками. Защелкала машинка, холодя кожу. Потом щелканье прекратилось. Парикмахер куда-то отошел... Ким поерзал, сел удобней, блаженная истома сковала тело. Сквозь опущенные веки на глаза ложились розовые пятна, разделенные темной полосой, он сидел, запрокинув голову, и над ним горела лампа, теплоту которой он ощущал. Парикмахер вернулся, вновь защелкала машинка, изредка замирая. Парикмахер бормотал или, может, напевал, наконец парикмахер что-то спросил.

— Да, конечно, — ответил Ким, не слыша вопроса.

— Странно, — сказал парикмахер, — ну-ка, поднимите голову, откройте глаза...

Ким глянул в зеркало. Парикмахер поднес сзади другое зеркальце, овальное, и в нем отражался затылок. Выстриженные участки были покрыты словно бурыми лишаями, кое-где виднелись ввевшиеся в кожу пятна смазки.

— Вот это голова, — засмеялся белобрысый мальчишка-парикмахер. Множество лиц появились, толпились над Кимом в зеркале. Горбоносый старик обнажал десны, из дамского отделения появилась дама с металлическими детальками в волосах. Теснились и другие лица, пришедшие после Кима. Киму сразу стало жарко, крахмальная салфетка намочла, прилипла к шее.

— Хватит, расходитесь, — сказал парикмахер в очках, сжимая губы, сдерживая улыбку, — парень работает в шахте... Ты ведь работаешь в шахте? — наклонившись, дыхнув мятными конфетами, спросил парикмахер.

«В шахте», — хотел ответить Ким, но из слипшейся глотки вырвалось кряхтенье, прерываемое короткими спазмами.

— Ты заплатишь? — спросил парикмахер. — Я голову помою...

Ким помедлил с ответом, он боялся, что из глотки его опять вырвутся шипящие звуки, веселившие лица за спиной, поэтому глубоко вдохнул, сосредоточился и лишь после этого произнес: «Да», — произнес ясно, твердо, отчего несколько успокоился, и кровь постепенно начала отливать, голова холодела, горели по-прежнему лишь кончики ушей.



— Вот и порядок,—весело сказал парикмахер,—расходитесь, не мешайте обслуживать клиента... Клиент — шахтер...

— Шахтеры обычно говорят: грязный, как машинист,—сказал какой-то шутник сзади,—а машинисты: грязный, как шахтер...

Засмеялись. Машинка защелкала торопливо, несколько раз прищемив кожу. Потом парикмахер прижал ладонью затылок, Ким наклонился, упер подбородок в холодный край раковины. Парикмахер намылил голову, сполоснул теплой водой. Бурные капли дрожали на бортах раковины, окрашенные рудой струи текли по белоснежной эмали, и терпкий шахтный запах смешивался с одеколонными благовониями.

— Все,—сказал парикмахер,—поздравляю... Вылез из шахты... Начинается твоя новая жизнь...

Ким сунул руку в карман. Плотной пачки не оказалось, он в недоумении наморщился, затем вспомнил, сунул руку в другой карман, где, к счастью, осталось несколько бумажек, расплатился, глядя в сторону, споткнулся о дорожку, вновь споткнулся на лестнице, оделся торопливо, несколько кварталов он почти бежал в расстегнутом пальто и с шарфом в кармане, как-то боком напялив ушанку. Наконец он остановился у решетки городского сада, прижался щекой.

— Ну все,—сказал он,—ну хватит... Ты никогда больше не увидишь этих людей... И плевать... А голову надо трижды покрывать мыльной пеной... Спешил, болван собачий... Ну и плевать... Сейчас загляну к Кате... Нет, немножко погуляю, чтоб успокоиться... Надо было б торт... Так получилось... Куплю с аванса... И плевать...

Он вынул шарф, обернул вокруг шеи, постоял, вдруг от нахлынувшего стыда его передернуло, однако, быстро успокоившись, он застегнул пальто, поправил ушанку, вынул деньги, пересчитал. Решетку сада красиво покрывал снег. Слышались крики детворы. Мимо прошла женщина в пуховой шапочке. Правой рукой она толкала перед собой коляску, а левой волочила позади себя санки, на которых лежал лицом кверху карапуз лет трех, запрокинутая головка его в меховой шапке свешивалась с санок, тянула по снегу борозду. Карапуз улыбался, глядя в небо, очевидно, радуясь, что мать не замечает баловства. Ким подмигнул карапузу, приложил палец к губам и тоже улыбнулся. Он увидел почту, вошел и написал поздравительные открытки: тетке и товарищу в университет. На открытках изображался подтянутый Дед Мороз, в упор указывающий пальцем, и надпись: «Ты соблюдаешь правила противопожарной безопасности при устройстве елок?» Ким

давно уже чувствовал: внутри бурлило, потягивало живот. Он пошел в столовую. Столовая помещалась в полуподвале. Нижняя часть окон заслонена была кирпичной кладкой, в верхней мелькали ноги прохожих. Рядом с Кимом сидел бледный мужчина и ел гречневую кашу. Против мужчины мордатый парень читал по складам газету, шевеля губами. Время от времени он поверх газеты пристально, долго смотрел на мужчину.

— Ты какой наци будешь?— спросил вдруг мордатый.

— Поляк,— ответил мужчина, низко склонившись над тарелкой.

— Вот вы поляки, а есть еще казаки, это что, разных наци?

— По-видимому, разных,— ответил мужчина, торопливо прожевывая кашу.

За соседним столиком сидел гражданин в вышитой украинской рубашке, упитанный, с животиком, и такая же упитанная гражданка в очках. Гражданин и гражданка поглядывали то на бледного мужчину, то на парня, переглядывались меж собой и громко хохотали. На обед Ким потратил час. Это был нормальный срок, он даже не огорчился. Борщ прокис. Несмотря на голод, Ким выловил лишь несколько картофелин и пососал кость, обглаживая кусочки мяса и хряща. Котлета с мучными рожками была полита каким-то белым жиром, от которого сразу обложило небо и гортань. Дожидаясь компота, он тщетно пытался слизать вязкую пленку языком. И все ж после обеда Ким почувствовал себя лучше, урчание в животе прекратилось. Он купил в гастрономе кекс, дешевый, но в красивой коробке, и пошел к Кате, придумывая на ходу первую фразу, которую произнесет, когда откроется дверь. Вернее, придумать надо было две фразы, так как дверь могла открыть и Лидия Кирилловна. Ким снова оказался на главной улице, однако, не доходя гостиницы «Руда», свернул в переулки. Адреса Кати он не помнил, знал путь лишь по приметам. Ему надо было добраться к гортеатру, служащему ориентиром, но гостиница «Руда» отрезала дорогу, и Ким никак не мог ее обойти. Сколько ни петлял, он все равно упирался в фасад. Вначале это казалось ему забавным, но постепенно он начал уставать, струйки пота текли под одеждой, поднявшийся ветер и усилившийся мороз обжигали лицо. Он сделал громадный круг, обошел вокруг гортеатра, потемневшего уже и притихшего, потому что начало смеркаться. За садом был обрыв к белой ото льда и снега реке, которая сливалась с пологим противоположным берегом, таким же белым. На противоположном берегу начиналось уже поле

и дрожали огоньки деревень. Среди снежного поля кто-то жег костры, усиливающие тоску. Ким зашагал, резко беря вправо, теперь, проделав несколько лишних километров, он рассчитывал оставить гостиницу далеко позади. И все же он уперся прямо в широкие ступени «Руды». Тогда Ким поднял воротник, побежал мимо, боясь поднять голову, однако, не выдержав, глянул мельком, увидел множество прижавшихся к стеклам, хохочущих над ним лиц. Наконец он оказался перед гортеатром, свернул и не более чем через пять минут шел уже по знакомому уютному переулку, мощенному булыжником, с тротуарами, выложенными из тертой плитки. Ким узнал двухэтажный дом из серого кирпича с фигурными балконами и вздохнул облегченно, повеселел. Катя жила на втором этаже. Дверь ее с аккуратным замочком на жестяном почтовом ящике показалась до того родной, что Ким оглянулся и, ощущая свои набухающие грудь и глаза, прикоснулся губами к прохладному замочку. Лишь в это мгновение, вспомнив одиночество на берегу, перед дальними кострами, Ким по-настоящему почувствовал, как хочется ему быть счастливым. Он наморщил лоб, лихорадочно сочиня первую фразу, в висках стучало, и слегка знобило. Постояв так с минуту, ничего не придумав, волнуясь необыкновенно, с сумбуром в голове, он нажал кнопку звонка.

#### 4

Дверь открыла Лидия Кирилловна. В передней горела синяя лампочка, и Лидия Кирилловна несколько мгновений удивленно вглядывалась, не узнавая, потом узнала, улыбнулась, но, как показалось Киму, без особого восторга.

— Вот это гость,— сказала она,— заходи, ноги вытирай...

— Я мимо шел,— стуча ботинками на лестничной площадке, говорил Ким,— решил посетить... Я, конечно, устроен уже... Общежитие получил... Работаю... Вот кекс,— он протянул коробку,— с Новым вас...

— Спасибо,— сказала Лидия Кирилловна,— тебя также... Зачем ты тратился... У нас гости... Раздевайся, посидишь.

Ким снял пальто, ушанку, одернул куртку и пошел следом за Лидией Кирилловной через переднюю, где было много вещей, которые обычно наслаиваются с годами и придают дому прочность, устойчивость, в отличие от предметов, недавно купленных, не оставивших еще даже следов на полу и стенках. Стоял резной шкаф красного дерева с вывалившейся дверцей и прислоненный к шкафу футляр стенных ча-

сов, тоже красного дерева. На том и другом были одинаковые вензеля, видно, работы одного мастера. Кованый сундук в углу отделял пространство, где валялись галоши и зонтики, там царил полумрак, и у Кима вдруг мелькнула мысль, конечно нелепая, что хорошо б забраться туда, лежать в тишине, среди уютного потрескивания. Он вошел в комнату, резко освещенную, абажур был несколько приподнят, обнажив лампу. Катя сидела за столом рядом с мужчиной в железнодорожном кителе с серебряными майорскими погонами. Другой мужчина был в форме Министерства финансов, весь покрыт кантами и с литыми гербовыми пуговицами вдоль мундира. Катя была в шерстяном платье с плечиками и рукавом три четверти.

— Вот,— сказала Лидия Кирилловна,— мальчик пришел... У нас в доме всегда было полно ребят... Катенькины соученики... Покойный муж даже ругался... Знаете, ответственная работа...

— Хватит, мама,— сердито сказала Катя, лицо ее было раздражено, хоть глаза и поблескивали от выпитого вина.— Откуда ты?— спросила она Кима.— Я думала, ты уехал...

— Нет, я работаю в шахте,— сказал Ким,— я мимо шел...

— Молодец,— оборачиваясь, сказал мужчина с литыми пуговицами,— таких люблю...

Лицо его было красным, а на лбу большие белые залысины.

— Садись,— сказал он, крепко пожал Киму руку и усадил рядом,— выпьем.— И налил водки.

Ким выпил, закусил селедкой, сняв с нее прилипший к коже волос. Железнодорожник подмигнул ему из-за Катиной спины. Оба гостя уже казались Киму замечательными людьми, и он испытывал благодарность каждый раз, когда мужчина с литыми пуговицами то подвигал вкусный печеночный паштет, то наливал тягучие наливки.

— Не надо ему мешать водку с наливкой,— издали сказала Катя. Голос ее слышался точно через стену.

— Ничего,— сказал мужчина с литыми пуговицами,— он шахтер... Между прочим, слышали, арестовали Вадима Синявского... Этого футбольного радиокomentатора... Оказывается, он связан с сионистами. Допустим, ведет он футбольный репортаж... Бобров прорывается по правому краю... Допустим... А в действительности это код... Шифер, если сказать по-простому... Его там за рубежом принимают... Бобров, допустим, обозначает военный завод... А правый край место расположения... Тамбовская область, допустим... Хитро...— Мужчина отодвинул стопку, вылил из граненого стакана ли-

монад в пепельницу, налил в стакан водки так, что переливалась через край, густо посыпал водку перцем, потряхивая перечницей, хлебнул, пригнувшись, прикасаясь губами к стоящему на столе стакану, чтоб не расплескать, затем поднял стакан, выпил залпом и шелкнул пальцами.— Хорошо,— сказал он.

Железнодорожник отбросил корпус назад и вправо, так что оказался за спиной Кати, и кивнул на нее, скорчил гримасу, вытянув губы трубочкой. Мужчина прыснул.

— Хорошо,— повторил он,— или, допустим, некоторые думают,— продолжал мужчина, размахивая ножом, кусочки паштета срывались с лезвия и падали на скатерть,— вернее, бытуют демобилизующие настроения, что космополиты— это просто мирные граждане, определенной, так сказать, национальности,— мужчина подмигнул Киму,— в действительности же они просто готовили вооруженный путч...

— Попробуйте торт,— появившись сзади, сказала Лидия Кирилловна и, отодвинув полные объедков тарелки, поставила круглое блюдо с тортом. Крем сверху подрумянился. Кое-где светло-коричневая корочка лопнула, и вязкая сладкая масса выползла наружу.

— Ах ты, мое золотце,— сказал мужчина и обнял Лидию Кирилловну. Рука его поехала по сдобному плечу Лидии Кирилловны, зацепила грудь. Лидия Кирилловна зарделась, поправила перманент. Лицо ее было напудрено, а губы ярко подмазаны.

— Мама,— со злобой сказала Катя и поднялась.

Железнодорожник взял Катю за локоть, усадил, зашептал что-то, отрезал кусок торта, налил наливки.

— А вы напрасно,— перегнувшись через стол, сказал Кате мужчина,— напрасно мать не уважаете... А еще замуж хотите...

Катя вновь поднялась, и железнодорожник вновь усадил ее за локоть, зашептал.

— Пошли мальчишку купить папирос,— сказал железнодорожник, обернувшись к мужнине.

— Сходи, брат шахтер,— сказал мужчина,— вот те деньги...

Ким скомкал деньги в кулаке и пошел к дверям, неуклюже влез в пальто. На лестничной площадке его кто-то окликнул. Ким обернулся, увидел железнодорожника.

— Слушай,— сказал железнодорожник,— возьми еще червонец. И папиросы себе возьми... Походи немного... Зайди и пригласи Катю на вечер... Скажи, встретил ребят... Приду-

май что-нибудь. Мы можем просто уйти, но неудобно... Я в одной системе с ее отцом работал... Катя ведь тебе нравится...

— Нравится,— тихо сказал Ким,— только денег не надо...

Ким пошел по лестнице, высоко подбрасывая ноги, вывалился из парадного и выбежал зачем-то к трамвайной остановке в конец переулка, плавно падая. Он постоял у трамвайной остановки, потолкался, затем свернул к магазину, ярко освещенному, там тоже была толчея, все спешили, поглядывали на часы, и захваченный веселым потоком Ким тоже спешил, глядел на пустое запястье левой руки. Он купил пачку папирос, плитку шоколада, это уже на свои деньги, у него теперь осталась мелочь со сдачи да две грязные, смятые бумажки. Ким выудил их из бокового кармана, где они были затерты среди пуговиц и разной шелухи, отряхнул, аккуратно сложил вчетверо и воткнул в маленький брючный карманчик спереди. Потом он побрел назад, вглядываясь в подъезды, так как дорогу знал лишь с другого конца переулка. Наконец он нашел свой подъезд, поднялся по лестнице и остановился в нерешительности перед дверьми, потому что оттуда слышались плач и крики. Потоптавшись, Ким все ж прикоснулся к звонку, погладил его, нажал. Крики сразу оборвались, слышались шаги, и дверь открыла Лидия Кирилловна, растрепанная и заплаканная.

— Вот и ты,— сказала она, на этот раз искренне обрадовавшись,— пойдем быстрее.— И, сильно взяв за руку, потащила в комнату. Гостей уже не было. Катя сидела перед столом, тоже заплаканная, растрепанная, шерстяное платье ее было расстегнуто у горла.

— Катенька, Ким пришел,— сказала Лидия Кирилловна.— Сейчас мы будем пить чай.

Лидия Кирилловна подошла к Кате, несмело протянула руку, пригладила Катины волосы, убрала их со лба, но Катя вдруг ударила мать по руке, оттолкнула и начала кричать:

— Ты издеваешься надо мной... Ты меня продать хочешь... Ты приводишь мужчин, и они меня разглядывают. Нравится, не нравится... Это унижает, это грязь... Но тебе наплевать... Окончу техникум и не буду... Не буду с тобой жить...

— Катенька, я хотела как лучше,— растерянно сказала Лидия Кирилловна,— он работает в управлении дороги... Оклад, машина... прекрасный семьянин... Жена его от рака померла... Помнишь, в прошлом году зимой были похороны и из Грузии самолетом привезли живые цветы... Об этом все

говорили... Если б он разошелся или что подобное, я б его никогда не пригласила.

— Он перебивал меня,— крикнула Катя,— думаешь, я не видела... За спиной показывал, какая я пучеглазая... Какие у меня вытянутые губы...

— Он шутил,— сказала Лидия Кирилловна,— и выпил немного. Напрасно ты его обозвала... Зачем этот скандал... Второй действительно неприятный тип, я его впервые вижу...

— Ах, неприятный,— крикнула Катя так громко, что изо рта ее брызнула слюна.— А зачем ты с ним флиртowała... Ты нарочно, нарочно,— уже в исступлении бормотала Катя,— ты нарочно приглашаешь ко мне мужчин, чтоб флиртовать самой... Вот... — выпалила она.

Лидия Кирилловна осторожно опустила на краешек стула, сложив руки на коленях. Голова ее запрокинулась, лицо побелело, и губы от этого стали особенно ярко-красными, словно две сочащиеся красные полосы на мраморе.

— Чего ты стоишь,— визгливо крикнула Катя застрявшему в растерянности у дверей Киму,— воды... воды... Скорей воды... На кухне, на кухне...

Ким повернулся, неловко ударился грудью о дверной косяк и побежал через переднюю. Кухня вся была забита грязной посудой, ни одного чистого стакана. Ким растерянно метался, прислушиваясь к всхлипам, голосам из комнаты, опрокинул примус, разбил чашку, наконец сорвал со стены алюминиевую поварешку, наполнил ее водой и понес. Лидия Кирилловна и Катя сидели обнявшись, всхлипывая и что-то шепотом говорили друг другу. Лицо Лидии Кирилловны уже порозовело. Увидав Кима с поварешкой, обе рассмеялись.

— Мама, попей,— сказала Катя.

— Чтоб Кимушкины труды не пропали даром,— улыбнулась Лидия Кирилловна,— спасибо, миленький.— Она взяла поварешку, глотнула. Катя осторожно принялась массировать ей виски.

— Ничего,— сказала Лидия Кирилловна,— мне хорошо... Сейчас будет чай...

Катя проворно убрала со стола, сбросила объедки в газету. Лидия Кирилловна принесла свежую, хрустящую скатерть и посреди поставила маленькую елочку с тремя серебряными шарами.

— Раздевайся,— сказала Лидия Кирилловна.— Чего ты в пальто... Будь как дома... Где ты встречал Новый год?

— В одной компании,— сказал Ким.— У нас на руднике есть хорошая компания...

Он снял пальто в передней, присел к столу, достал шоколад и протянул Кате.

— Спасибо,— сказала Катя,— какой ты заботливый... У тебя волосы торчат на макушке, как смешно.— Она улыбнулась. Щеки ее сразу округлились, носик приподнялся, нежные мочки ушек стали прозрачными, наполнились красноватым светом.

— Он и кекс купил,— радостно сказала Лидия Кирилловна,— ох, я ж его кекс в передней забыла... Кимушка, ты кем на руднике работаешь? Где ты так лицо поцарапал?.. И руки?

— Я занимаю инженерную должность,— сказал Ким,— случайно поцарапался... Не заметил проволоку... Я через год снова в университет поеду... В пятьдесят четвертом.

— Молодец,— сказала Лидия Кирилловна,— вот, Катя, тебе и кавалер... А мы ищем...

— Мама, оставь,— вновь раздражаясь, сказала Катя.

— Не буду, не буду,— торопливо замахала руками Лидия Кирилловна и ушла на кухню.

— Ким,— позвала Катя, усаживаясь против него, положив подбородок на ладони.

— Что?— тихо спросил Ким, чувствуя до сладости приятные толчки пониже сердца.

— Здравствуй,— сказала Катя.

— Здравствуй, Катя,— ответил Ким.

Лидия Кирилловна внесла электрический чайник, разрезанный торт и тоже разрезанный купленный Кимом кекс. Она поставила вазочку варенья, очень вкусного, пахучего, маленькие, размером с вишню яблочки плавали в густом бордовом желе. От чая стало жарко, Ким расстегнул было куртку, но, вспомнив о несвежей рубашке и штопаном свитере, торопливо застегнулся опять.

— Может, по рюмашечке?— спросила Лидия Кирилловна. Она достала графинчик темно-вишневой наливки.— За вас, дети,— разлив и подняв стопку, сказала Лидия Кирилловна,— мы уже отжили свое, хорошо ли, плохо... А вы только начинаете жить...

Чокнулись, выпили. Побегав на морозе, Ким полностью протрезвел от выпитых им ранее стопок водки, однако теперь наливка сразу ударила в голову, все приятно закружилось, и он начал плохо слышать, что являлось верным признаком опьянения. Лидия Кирилловна куда-то исчезла, они сидели с Катей друг против друга и смотрели в глаза, кто пере-смотрит. Потом Катя рассмеялась, заморгала, взяла шоколад и принялась разворачивать, разрывая серебристую обертку длинными пальцами. Она отломала две дольки, положила их



себе в рот, затем отломила сбоку продолговатую полоску и протянула Киму через стол, зажав один конец пальцами. Ким вытянул шею, надкусил. Ким откусывал кусочки и засовывал под язык, где они приятно таяли. С каждым разом ему приходилось все дальше и дальше вытягивать шею, потом даже приподняться, полоска исчезла, и Ким прикоснулся губами к Катиным пальцам, поцеловал их измазанные шоколадом кончики.

— Противный,— сказала Катя,— у меня под ногтями полно твоего противного шоколада...— Она сложила вдвое бумажную салфетку и принялась уголком вычищать шоколад из-под ногтей.

Чувствуя дрожь в груди и ногах, Ким обошел вокруг стола и сел рядом с Катей. В том месте, где их бедра сливались, становилось все жарче и жарче. Тело его, затянутое в суконную куртку, изнемогало от жары, от жажды, и в полубредовом состоянии он жадно припал к тугим синим жилкам у Катиной ключицы. Прохладный солоноватый привкус девичьей кожи не утолил жажду, а удесятирил ее, в воздухе завертелись фиолетовые спирали.

— Тише, тише,— сказала Катя, довольно больно толкнув в грудь локтем.— Разбаловался юноша...

Катя встала и сразу же, точно дежуря у двери и ожидая этого мгновения, в комнату вошла Лидия Кирилловна.

— Кимушка,— сказала она,— я тебе на тахте постелю... Ты ведь у нас ночуешь?

— У вас,— слабым голосом ответил Ким. Перед глазами его по-прежнему кружили спирали, постепенно затихая и меня окраску.

Тахта была застлана большим ковром. Ковер спускался по стене, переламывался, и конец его бахромой касался пола. Лидия Кирилловна подтянула ковер, так что у стены образовалась складка, сверху она положила ватный матрац, застлала простыней, принесла стеганое одеяло и большую подушку. В комнату заглянула Катя, уже в халате.

— Спокойной тебе ночи,— сказала Катя и, глянув на него, по-прежнему сидящего у стола, почему-то прыснула.

Лидия Кирилловна вышла. Тогда Катя приблизилась, похотывая, сжала пальцами его нос. Ким дернул головой, вырвался, схватил Катину руку и принялся жадно целовать, подтягивая Катю к себе, забираясь все выше: вначале он целовал запястье, потом добрался к локтевому сгибу, потом, отодвинув лбом рукав, полез к плечу. Катя не сопротивлялась, даже сама придерживала рукав пальцами левой руки, приподнимала ткань, обнажая свою полную правую руку

с оспинками на предплечье. Когда Ким жадно припал губами к оспинкам, Катя вдруг вырвалась, шелкнула Кима в лоб, убежала на середину комнаты, и вновь, точно стоя у дверей и ожидая этого, вошла Лидия Кирилловна с маленькой подушечкой.

— Я тебе подушечку под бок положу,— сказала Лидия Кирилловна,— чтоб ребра не давили,— она склонилась над постелью, выпрямилась,— ну, приятных тебе снов... Пойдем, Катя...

Они ушли, закрыв дверь. Ким по-прежнему сидел у стола, слушая, как в соседней комнате шуршит одежда, шлепают босые ноги, раздаются приглушенные голоса. Наконец там погас свет, заскрипели пружины, громко вздохнула Лидия Кирилловна. Ким встал, начал расшнуровывать ботинки, широко искусственно зевая, чтоб сдержать дрожь и подавить возбуждение. Он разделся, лег, иссеченное тело его нежилось от прикосновений свежей постели. Он закрыл глаза, улыбнулся, однако улыбка эта вместо ожидаемого покоя пробудила в нем лихорадку, усиливающуюся с каждым мгновением, и он понял, что жаждет счастья немедленного, каждая клетка, каждый кусочек тела был полон позыва, ожидал ласки. Он обхватил себя руками, сжимая все сильнее, так что пальцы правой руки упирались в левую лопатку, а пальцы левой в правую. Дыхание его стало частым, сердце сильно билось под локтем. Вдруг ему захотелось сейчас же увидеть лицо Кати. От мысли этой он сел, посидел немного, испуганно вздрагивая, собрал силы и, до боли сжав руками плечи, опрокинул себя на спину. Однако именно в это мгновение, прижатый спиной к постели, он понял, что обязательно встанет и пойдет смотреть Катю, хоть отчетливо, как никогда ясно понимал всю нелепость, весь ужас подобного поступка. Ким сбросил одеяло, опустил ступни, сделал несколько шагов, вытянул руки. В темноте поблескивало зеркало, слышался перестук часов, глушивший удары сердца. Он обошел комнату, словно тренируясь, привыкая различать в темноте предметы, осторожно прикоснулся концами пальцев к двери, она подалась, поплыла мягко, без скрипа. Разверзшееся перед ним черное пространство было подобно бездне, пятидесятиметровой камере, над которой он лежал в шахте. Бездна эта пугала и манила. Голова его закружилась, он отшатнулся, попятился, добрался к постели, лег, закутался в одеяло. Ему казалось, он засыпает, однако уже через несколько мгновений он вновь стоял среди комнаты, глядя на серебристое зеркало, безжалостно поблескивающее. Ким подошел к открытой двери, глянул в темноту. Его слегка тошнило, он открыл рот, на-

брал побольше воздуха, чтобы охладить внутренности и перебороть сладковатые спазмы. Вдруг в глубине черной бездны мелькнула рука, очень яркая, золотистая, описала полукруг и опустилась. В то же мгновение Ким метнулся, переступил порог. Колено его скользнуло по углу стула, он застыл с пересохшей гортанью, наморщил влажный холодный лоб, представил себе грохот упавшего стула, шагни он на миллиметр дальше. Глаза его привыкли, темнота посветлела. Лидия Кирилловна лежала справа на широкой красного дерева кровати. Голова ее в бигуди была обвязана платком. Она спала, полуобернувшись к стене, посапывая и причмокивая. Обе руки ее покоились поверх одеяла. Катя спала на узком диванчике возле окна. Лунные полосы переламывались, опускаясь на нее со стены. Катино лицо и плечико, перетянутое шелковой шлейкой, обнаженное сбившимся одеялом, были нежно-золотистого цвета.

«Как это прекрасно,— подумал Ким,— как это великолепно, что существуют такие люди, такие девушки... Такая красота... И эта красота моя... Я гладил ее, целовал... Она моя...»

Возбуждение исчезло, тихая радость существования, подобная радости от первых глотков чистого воздуха на поверхности земли, владела им. Он забыл свое нелепое, свое бесстыдное положение ночью среди чужой комнаты. Просто стоял и созерцал прекрасное, залитое лунным светом девичье тело. Катя заворочалась, повернулась, рука ее вновь поплыла по воздуху, осветилась бликами луны и опустилась на другой конец подушки, в полумрак. Ким осторожно пошел назад, добрался к своей тахте, лег, улыбнулся.

«Милая,— шепнул он,— славенькая, родненькая моя».

Он был счастлив, как никогда, он был богат, он был щедр. Он вспомнил Зона и подумал, что обязательно должен сделать для этого человека что-нибудь хорошее. Вспомнится начальник с зелеными зубами. Захотелось с ним поговорить по душам, купить бутылку вина, слушать начальника, степенно покачивая головой. В радостном возбуждении Ким сбросил одеяло, поднялся, чтобы прикрыть двери, однако вновь переступил порог, его потянуло еще раз увидеть Катино лицо и плечико, перетянутое шелковой шлейкой. Лидия Кирилловна лежала в той же позе. Лунные полосы выросли, концы их коснулись выглядывавших из-под платка бигуди, которые поблескивали. Катя повернулась на спину, одеяло ее было натянуто под самое горло, плечико со шлейкой исчезло, зато обнажились щечка, ранее прижатая к подушке, кожа была слегка примята, и несколько растрепавшихся волосиков, лег-

ких и мягких даже на взгляд, прилипли к ушку. Ким осторожно приблизился, улыбаясь, и вдруг кто-то в упор сказал ему твердо, хоть и негромко:

— Сволочь паршивая.

Ким оторопел, застыл, потом голова его дернулась, как от удара в подбородок. Он тихо, словно призрак, повернулся через правое плечо и пошел назад, понимая, что Катя проснулась и заподозрила его в мерзости. Он вошел в свою комнату, прикрыв дверь, и его начало трясти с каждой секундой сильнее и сильнее.

«Катя права,— подумал он,— конечно, мерзость... Как ужасно... И всегда была мерзость, каждое мгновение только мерзость, а все эти мысли о красоте, о радости я придумал, чтоб отвлечь себя... Ужасно, ужасно... Жить дальше невозможно...»

Он сел на тахту. Ноги его, согнутые в коленях, даже не дрожали, а вибрировали, он просунул руки между ними, придерживая, охватив изнутри чашечки ладонями, чтоб смягчить удары, так как боялся, что стук костяных чашечек друг о друга может разбудить Лидию Кирилловну.

«Я был пьян,— подумал он, пытаюсь себя успокоить,— я и сейчас пьян... Голова кружится... В этом причина... Все в порядке... Я извинюсь. Все в порядке... Скорей бы наступил рассвет...»

Ссадины на теле его ныли все сильнее, вокруг рубцов почесывало.

«Надо мной смеялись в парикмахерской,— подумал он,— а те двое... Та меховая куртка... Они меня ведь ограбили...»

Рассвет долго не наступал. Ким пытался задуматься или забыться, глядя на одеяло, чтоб потом, подняв голову, увидеть посветлевшее окно. Однако то ли он слишком часто смотрел, то ли еще была глубокая ночь, окно не менялось, а свет, на который он вначале возлагал надежды, был попросту отблеском уличного фонаря. Так, поднимая и опуская голову, он просидел несколько часов, уже не пытаясь унять лихорадочную дрожь, к которой привык и без которой, как ему теперь казалось, положение его стало бы особенно ужасно. Заснул Ким неожиданно. Голова его, согнувшись, прижала живот коленом.

Ему частенько снилась война, и сейчас тоже приснился лагерь смерти. Сон был сочетанием необычайной конкретности, просто натуральной подробности, с условностью, не вызывавшей ни малейшего удивления. Он, живой и голый, лежал в огромном котле, наполненном штабелями голых лю-

дей. В котел заглядывали фигуры в касках, и он пробовал притвориться мертвым, сдерживая дыхание, хоть чувствовал, что освещен пронизывающим беспощадным светом, от которого нельзя укрыться. Наступила полная безысходность, приносящая даже какое-то успокоение. Но вдруг ему начинает казаться: стоит выползти, надеть туфли, пойти, и все будет в порядке. Охваченный лихорадочной дрожью, растирая мускулы ног, сжатые от возбуждения судорогами, он выползает, надевает туфли, но не свои, а какие-то рваные босоножки и сильно этим огорчен. Он одет в странную форму, неизвестно откуда взявшуюся. Его догоняют. Он делает вид, что крики к нему не относятся. На улице полно прохожих, однако все сторонятся, уходят толпами в боковые улицы, очищают пространство вокруг него, выглядывают из-за углов. Некоторые машут руками, зовут, но свернуть он не может, движется только по прямой. Погоня уже близко. Он оборачивается ей навстречу и стреляет из кулака, согнув указательный палец, как стреляют дети во время игры. Это не удивляет никого, но не пугает. Вновь возникает чувство абсолютной безысходности. Он представляет, как будут сжигать его тело, и в этот момент, так всегда бывает в подобных снах, просыпается на грани смерти. Первые мгновения Ким видит лишь освещенные солнцем обои, пылинки тихо струятся, текут в косом луче. Короткая сильная судорога пронзает его, прилив бездумной радости спасения, прочной жизни, которой ничто не грозит. Потом Ким ощущает колючую ткань, трущую лицо, он лежит под сорвавшимся ковром.

События ночи вспоминаются во всех подробностях, особенно стыдно сейчас, на ярком солнечном свете. За спиной голоса, позвякивание посуды. Ким осторожно, стараясь не привлекать внимания, поворачивает голову. У стола сидели Лидия Кирилловна и Катя, завтракали. Волосы Кати подхвачены розовой лентой, лицо мятое от сна.

«Проспал рассвет, болван,— думает Ким,— надо было уйти... на рассвете... Нет, ночью... Нет, подумали бы, что сбежал... Особенно ночью... Пусть думают... Ох, что делать... Теперь надо притворяться спящим, пока они не позавтракают... Ковер сорвал...»

Ким вспомнил, как тщательно приглаживала Лидия Кирилловна ковер, подтягивала, поправляла... Ему было особенно неудобно, что люди из-за него едят в ночном застоявшемся воздухе, который ощущался, несмотря на открытую форточку. Вдруг он почувствовал прохладу на ступне своей левой ноги и покрылся испариной от мысли, что лежал так все время, выставив ногу. Забывшись, он дернул ногу, убрал

ее под одеяло чересчур поспешно, и Лидия Кирилловна покосилась, правда, не переставая жевать бутерброд с яичницей.

«Сказала или не сказала ей Катя? — подумал Ким. — Знает Лидия Кирилловна или не знает про ночные мерзостии?.. Боже мой, никогда мне еще не было так плохо...»

Он уткнул лицо в складки ковра, тяжелые, пахнувшие нафталином. Чтоб отвлечься, он решил понаблюдать за своим телом. Оно зудело, ныло, чесалось. Как только он начал наблюдать, оно зачесалось еще больше, зудящие точки возникали торопливо в разных концах, вначале начало пощипывать даже приятно, словно изнутри, из-под кожи, но потом Ким почувствовал, что не может более лежать неподвижно, к тому же в животе бурлило, под горлом подташнивало, и он вынужден был ладонями начать массировать живот и сердце, а также почесывать особенно зудящие места, хоть движением локтей рисковал привлечь внимание. Наконец послышалось звяканье собираемых тарелок, к которому он прислушивался с колотящимся сердцем и большой надеждой, так как окончание завтрака, возможно, облегчило бы его муки. И действительно, шаги удалились, стало тихо. Чтоб не привлечь внимания, Ким протянул щеку, не отрывая от подушки, ощутив губами прелый вкус застиранной наволочки. Предосторожности оказались излишними, он был один в комнате. Ким полежал еще некоторое время, словно парализованный, затем вскочил, ругая себя мысленно за потерянные драгоценные секунды, и начал торопливо одеваться, с беспокойством поглядывая на дверь кухни, откуда слышалось звяканье посуды и плеск воды. Белье на нем было давно не стиранное, скользкое и лопнувшее на коленях. Он надел две рубашки: под низ — шелковую, когда-то выходную, а теперь обтрепанную, неумело зашитую у воротника и на спине, сверху — плотную, еще довольно новую и приличную. Брюки у него были тоже приличные, купленные на последнюю университетскую стипендию. Застегнув брюки, он поставил голые ступни на ботинки и начал вытряхивать из носков обрывки газетной бумаги, которой оборачивал ноги от мороза. Ким осторожно потер пальцы ног ладонями, прикосновения были приятны, под набрякшей кожей появлялись белые пятна, которые медленно розовели, потом вновь заплывали воспаленной краснотой. Он посплюснул воспаленные места, вынул из брючного кармана свежую газету, специально припасенную, посмотрел на дверь кухни, где плеск воды уже прекратился.

Он лихорадочно сунул назад в карман газету, собрал ладонями с пола кучку старых газетных обрывков и также вы-

сыпал их в карман, натянул носки, свитер, ботинки. Куртка его вместе с пальто и шапкой висела в передней. Ким осторожно пошел туда, ступая с носка на пятку, он вычитал где-то: так бесшумно ходят следопыты.

«Только б не увидела,—мысленно шептал он.— Бог, милый Бог... В детской книжке, в забытой сказке так молится принцесса... Ой, какая ерунда... Только б оказаться на улице...»

Он прижался к старому шкафу, постоял, вдыхая запах прелых вещей и кошачьего помета, шагнул к вешалке. Лидия Кирилловна стояла в дверном проеме кухни.

— Здравствуйте,—сказал Ким удивительно спокойным голосом.

— Здравствуй,—сказала Лидия Кирилловна,— уходишь?.. Катя в библиотеке...

«Не знает,—подумал Ким,— не сказала...»

Он сорвал шапку, куртку, пальто, забыв попрощаться, рванул дверь, выскочил, побежал, прыгая через ступеньки, и торопливо пошел, оглядываясь на дом с фигурными балконами, ибо твердо знал, что никогда больше не появится в этом переулке. День был солнечный, но морозный. Ступни, не обернутые газетой, быстро окоченели. К тому же шнурки ботинок густо покрывали узлы; обычно, шнуруя их, Ким старался затягивать так, чтобы узлы не давили жилы, однако сейчас, впопыхах, он придавил этими узлами жилы в нескольких местах.

«Куда деваться,—подумал Ким,— поеду на рудник, полежу в общежитии, знобит».

Он захотел есть, вошел в дощатый павильон, надеясь выпить горячего кофе с пончиками, однако буфетчица в белой куртке поверх шубы торговала лишь мороженым. Ким купил двести граммов в костяной чашечке, он подолгу держал во рту каждый комок, согревая и после этого проглатывая сладковатую жижу. Рядом с павильоном располагался такой же дощатый кинотеатр. Очевидно, ранее это был летний кинотеатр, теперь же его перекрыли, утеплили, сделали круглогодичным. Зал был тускло освещен, на оштукатуренных стенах поблескивал иней. В углу уборщица в валенках топила большую жестяную печь. Когда погас свет, послышались свистки сидящих в первых рядах мальчишек, по потолку замелькали лучи карманных фонариков. Показывали хронику военных лет. Стреляли «катюши», грохотали танки.

— Тихо! — неожиданно выкрикнул пожилой гражданин, сидящий слева от Кима, и заплодировал. Аплодисменты раздались во всех концах зала. К трибуне шел Сталин. Пока-

зывали первомайскую демонстрацию. Раскаленной от солнца Красной площадью двигались по-летнему одетые люди, счастливо улыбаясь. Озноб исчез, Киму стало жарко, он выпрямился. Едва на экране вновь появился Сталин, он зааплодировал так сильно, что толкнул несколько раз локтем пожилого соседа. Вернее, локти их, вибрирующие в неистовом восторге, несколько раз больно сталкивались. Вправо от Кима узколиций парень безмолвно шевелил губами, полный радостного благоговения. Сталин был в мундире генералиссимуса, фуражка его, отороченная вензелями, была несколько сбита набок. Ким еще никогда не видал в хронике Сталина, которого бы показывали так долго, подробно, и именно потому, что Сталин существовал всегда, с тех пор как Ким себя помнил, и облик его был знаком в основном по грудь из-за поясных портретов и бюстов, которых было большинство, Ким будто впервые разглядел это привычное поясное изображение, передвигавшееся теперь на удивительно маленьких ногах, менее привычных, лишенных величия, невзирая на лампы, невольно заставлявших обнаруживать и в верхней, знакомой половине новые черты, почему-то пугавшие. Сталин оказался значительно ниже ростом, чем Ким предполагал, лицо покрывали морщины, старческие складки висели на подбородке, под глазами набрякли мешки, и вдруг, на очень короткое мгновение, Киму показалось, что Сталин исчез, а на трибуне стоит усталый незнакомый старик. Мысль эта была так ужасна, что Ким схватился за голову, огляделся.

«Все из-за ночи,— подумал Ким,— я устал, я измучен и, может, болен».

На экране продолжалась демонстрация. Крупно показывали парня, очень похожего на узколищего соседа. Парень шел, повернув голову к трибуне, подобно слепому задрал подбородок, полуоткрыв рот, вытянув губы. Лицо его окаменело, ни восторга, ни радости не было на нем, вообще с него исчезли все обычные человеческие чувства. Скорее это был смиренный экстаз перед чудом. Возможно, так пещерные люди впервые смотрели на падающий метеорит. На груди у парня висел аккордеон, о котором он, по-видимому, забыл. Сталин тоже заметил парня, улыбнулся, согнул руки в локтях, сжал кулаки и несколько раз двинул их навстречу друг другу, имитируя игру на аккордеоне. Парень спохватился, растянул мехи, и Сталин рассмеялся, зааплодировал. Зал кинотеатра неистовствовал.

— Вот это парняга,— повторял восторженно Ким,— какой Иосиф Виссарионович веселый парняга.

Вдруг он испуганно огляделся, не слышал ли кто, как он



назвал Сталина парнягой, но каждый смотрел только на экран, у пожилого соседа умильно трясся обросший седой щетинкой подбородок.

После сеанса зрители вывалили толпой в боковой двор, а оттуда через ворота на улицу. Несколько минут они шли вместе, отличаясь от согнутых морозом, торопливо бегущих прохожих. Зрители одинаково шурились, понимали друг друга с полуслова, улыбаясь общим мыслям и напевая браваурные марши. Потом зрители начали рассасываться, исчезать. Ким пошел с узколищым соседом. Сосед достал коробку «Казбека», протянул толстую папиросу, Ким взял, хоть и не курил, начал неумело прикуривать, тыкаться папиросой в огонек спички.

— Ты табак разомни,— сказал узколищый.

Ким помял хрустящий кончик папиросы пальцами, затаился, сплюнул.

— Старенький уже Иосиф Виссарионович,— сказал он вдруг.

— Да,— ответил узколищый,— я и сам заметил... А если...

— Не надо! — крикнул Ким и так сильно взмахнул руками, что папироса выпала и, шипя, погасла в сугробе.— Не надо даже об этом думать... Мне кажется, тогда все кончится... Я не представляю себе... Я в шахте работаю... Когда руду выработывают, камеры остаются... Сто метров ширина, пятьдесят глубина... Сплошной мрак... Думать об этом, понимаешь, словно в такую камеру заглядывать...

— Ничего,— обнадеживающе сказал узколищый,— еще лет тридцать проживет... А то и сто... Теперь возле него отечественная медицина дежурит... Отравителей скоро расстреляют, так что беспокоиться нечего... Отечественная медицина—это, брат ты мой... У нее приоритет... Вон артистке Орловой омоложение сделали... Так это ж артистке, а он вождь... Пересадят сердце молодого, легкие там, селезенку всякую... Любой отдаст... Я отдам, ты отдашь...

— Конечно, отдам!— крикнул Ким с жаром, даже несколько испуганно, точно боясь, что узколищый заподозрит его в нежелании отдать свое сердце.

Они шли по замерзшему бульвару, на спинках занесенных снегом скамеек сидели вороны. Бульвар был огражден железной решеткой, точно такой же, как и городской сад, видно, изготовленной по одному заказу, но оканчивался старыми гранитными столбиками, меж которыми провисали очень красиво цепи. У столбиков узколищый протянул Киму еще одну папиросу, дал прикурить, кивнул, пересек мостовую и вскоре исчез в переулке. Ким постоял некоторое время, сби-

вая снег с цепей ботинком. Возбуждение улеглось, и он почувствовал мороз, ступни ооченели, он попробовал поджать пальцы ног в ботинках, чтобы разогреть их. Вдруг прилив стыда необычайной силы возник и опрокинул его грудью на гранитный столб. Он полежа так, зарываясь лицом в снеговую шапку, покрывающую столбик сверху, словно пытаюсь спрятаться от видений ночи, не совсем ясно сознавая, что именно ищет, пока не ощупал единственную бумажку.

«Достать денег,— с облегчением подумал Ким.— Зон обещал... Уеду сейчас, полежу в общежитии на койке, посплю...»

Прямо перед ним виднелось знакомое розовое здание железорудного треста, возле которого должны быть телефонные будки.

И действительно, Ким очень скоро нашел такую будку, промерзшую насквозь, заперся там, достал записку с телефоном и, отогревая во рту коченеющие пальцы, набрал номер, ужасно волнуясь. К телефону долго не подходили, наконец кто-то снял трубку.

— Зон,— крикнул Ким.— Зон, это ты?

— Вам кого?— удивленно спросил мужской голос.

— Мне Зона... То есть Сеню,— торопливо выпалил Ким имя, Бог весть откуда выплывшее,— черненький такой...

— Сейчас он подойдет,— сказал мужчина.

— Алло,— сказал Зон.

— Здравствуй,— крикнул Ким,— это я... Узнаешь?

— Узнаю... Дверь захлопнул?

— Захлопнул... Как у тебя?

— Все в порядке... Знаешь, я поговорю с Федей... Это помощник начальника участка... Сейчас ему должны дать участок... Новый горизонт нарезаем... Он тебя возьмет... Заработки там хорошие...

— Спасибо, Зон,— сказал Ким.

— Ну, звони... Приедешь на рудник, заходи...

— Зон,— сказал Ким,— мне надо тебя видеть...

— Хорошо, заходи утром...

— Нет, Зон, мне надо сейчас...

В трубке молча дышали.

— Зон... Мне обязательно... Я... Я тебе потом объясню...

— Хорошо,— сказал Зон.— Приходи...

Ким опустил трубку, аккуратно вдев в рычажок, перебежал через дорогу, чтоб идти по противоположной от гостиницы «Руда» стороне, и, несмотря на усталость, пошел так быстро, что вскоре оказался у городского сада с розовым от солнца снегом. Но криков детворы теперь слышно не было, очевидно, из-за мороза. Какой-то закутанный башлыком

прохожий показал ему улицу. Дом был двухэтажный, однако, в отличие от Катиного, довольно ветхий. Нижний этаж каменный, верхний — деревянный, надстройка. Ким вошел в подъезд, спросил квартиру у женщины, трущей на лестнице снегом ковер.

— Это во двор надо,— сказала женщина,— второй этаж имеет отдельный вход.

Ким свернул во двор, поднялся наружной деревянной лестницей к галерее, оттуда вышел в коридор, где пахло мыльной водой и разваренной картошкой, с трудом разглядывая в темноте двери, так как свет проникал лишь в конце окна, кажется, прикрытого ставнями. Наконец он нашел наружную дверь у самого окна, которое было не прикрыто ставнями, а просто забито фанерой, кусок грязного стекла вставлен только в верхнюю часть рамы. Ким поискал глазами звонок, не нашел его и постучал в дверь, вначале костяшками пальцев, затем кулаком.

## 5

Зон был в дорогом бостоновом костюме, темно-синем, и шелковой полосатой рубашке. Он сразу схватил Кима об руку, сжал локоть так больно, точно боялся, что Ким вырвется, и поволок в коридор. Ким успел лишь заметить оклеенную газетами переднюю комнату или кухоньку, где что-то варилось на примусе. Зон подвел Кима к заколоченному окну, спросил, по-прежнему сжимая локоть:

— Что?

— Мне нужны деньги,— сказал Ким,— я отдам с аванса... Ты извини... Я, может, не вовремя.

— Что ты, что ты,— сказал Зон и выпустил локоть Кима.— Что ты... Ко мне в любой момент... Ночуй, пей... А здесь обстановка... Больной человек...

Из двери выглянула женщина.

— Сеня, позвала женщина,— он ест и успокоился... Это не припадок, он просто был голоден... С кем это ты?

— Ко мне пришел товарищ по работе,— ответил Зон.

Женщина подошла ближе. Она была курносой и голубоглазой, чем-то напоминала Катю, только сильно постаревшую и перенесшую болезнь. Впечатление перенесенной болезни создавалось коротко стриженными, спрятанными под косынку волосами да провисшими пористыми складками кожи, которые остаются после отеков лица. Губы ее тоже были с молочным, болезненным оттенком, особенно по краям,

и слегка подкрашены помадой, зато шея длинная, нежных, плавных линий, совсем молодая. Одета женщина была бедно: нитяная кофточка, юбка, прикрывающая колени. Ноги у женщины были красивыми, продолговатыми, с крепкими аккуратными икрами, обтянутыми шелковыми чулками, единственной дорогой частью туалета.

— Пригласи товарища зайти,— кивнув Киму, сказала женщина,— Матвей ест... Я-то его изучила, припадок это или просто от голода... Он ссорится с моим братом,— обернулась вдруг женщина к Киму,— мой брат несчастный человек... Шизофреник... Говорит глупости... А он с ним спорит... Обижается... Конечно, это ужасно... Но в психиатричку я его не отдам... Он там погибнет... Тем более припадки у него изредка...

— Майя,— сказал сердито Зон,— зачем ты говоришь лишнее...

— Да,— сказала Майя,— я выпила... У нас ведь гулянка... Пойдемте, даже шампанское еще есть...

Она взяла Кима за руку и потащила к дверям. Ручка у нее была маленькая, мягкая, как у Кати. В оклеенной газетами передней, которая одновременно служила и кухней, Ким разделся. Примус уже был погашен, и жареная рыба сложена в эмалированную мисочку. Следующая комната оказалась довольно просторной, в двух углах стояли ширмы, очевидно, скрывающие постели. За длинным раздвижным столом расположились гости, человек шесть, но, что особенно поразило Кима, в комнате было очень тихо, друг с другом гости не общались, молча жевали, бесшумно двигая челюстями. Иногда кто-либо наливал себе водки и выпивал в одиночку, не чокаясь.

— Почему они молчат? — шепотом спросил у Майи Ким.

— Здесь была неловкая сцена,— тоже шепотом ответила Майя,— незадолго до вашего прихода... Мой брат шизофреник. Он плюнул Сене в лицо... Он не попал,— тотчас же испуганно, торопливо пояснила она,— он оплевал себе грудь... Я говорю лишнее... Давайте выпьем...

Ким несколько оторопело уселся рядом с Майей и неожиданно жадно выпил полный граненый стакан водки, от которого сразу опьянел, но не весело, с приятным головокружением, как у Кати, а тяжело и нехорошо. Может, этому способствовала и закуска, в основном, по-видимому, остатки от новогодней встречи: затвердевшие ломтики сыра, подернутая несвежей пленкой колбаса, резанная не сегодня, искромсанный студень, возможно, даже были ранее не доеденные куски,

собранные с тарелок назад в блюдо. Кусок, который Майя положила Киму, был с угла измазан пеплом папиросы.

— У меня ведь день рождения,— сказала Майя,— конечно, отметили его вместе с Новым годом... Но сегодня тоже решили... круглая дата... Кроме того, брат... Он у меня впервые на дне рождения... После длительного перерыва... Вы почему не закусываете?

— Пепел,— сказал Ким,— студень измазан пеплом...

— Ах, извините,— Майя покраснела, отодвинула тарелку со студнем, ушла и принесла, поставила перед Кимом две жареные свежие рыбешки, приятно пахнущие, которые Ким начал обглаживать, особенно лакомясь сладковатой кожей, снаружи хрустящей, а изнутри влажной, смоченной вязким соком.

— Зон,— позвал Ким.

— Что ты хотел?— спросил Зон, появляясь откуда-то сбоку.

— Я хочу рассказать Майе о своем отце.

— Ну расскажи,— ответил Зон.

— Ты одобряешь?

— Дело твое,— ответил Зон, исчезая.

— Понимаешь, Майя,— сказал Ким,— во время войны готовилась крупная операция... Отец командовал крупным соединением,— Ким хитро прищурился,— не важно каким... Эским... Начало операции должны были возвестить ракеты... В определенном порядке, определенного цвета... Однако гестапо подослало шпионов... и, пользуясь ротозейством начальника штаба... И вот... И отец тоже пострадал... — Киму стало ужасно горько, тяжело в груди, хоть он знал, что популярно рассказывает брошюрку из «Библиотеки приключений». Ким подвинул к себе вновь тарелку со студнем и надкусил почему-то нарочно в том месте, где застывший белый жир был измазан пеплом.

— Проклятый изменник,— сказал он вдруг незнакомым голосом, твердо произнося буквы,— предатель родины... Я с ним давно ничего общего... Он и матери изменял... Он... Он... — Голос Кима сорвался, перешел на торопливое шипящее бормотанье.— Мы с ним и раньше не жили... Я... У меня вообще, может, другой отец...

И тут он заметил, что один за столом. Вернее, он и раньше видел, что Майя слушает невнимательно, а затем и вовсе ушла, еще с самого начала, когда он лишь начинал передавать содержание недавно прочитанной брошюрки из серии «Библиотека приключений». Однако он продолжал говорить сам себе, словно играя с собой в прятки, не замечая одиноче-

ства, и от этого ему сейчас стало особенно плохо, потому что, если б его слушала Майя или пусть даже кто другой, тогда все, что он говорил, имело б хоть какое-нибудь объяснение или оправдание, ибо теперь совершенная им пакость становилась бескорыстной, а потому особенно невыносимой. Неожиданно Ким услышал поскрипывание лодочных уключин, что ясно свидетельствовало о болезненном состоянии, но безликие гости тоже встревожились, значит, поскрипывание нельзя было отнести ни за счет головной боли, ни за счет опьянения.

Гости торопливо уходили, толпясь в дверном проеме, слишком узком сразу для шестерых. Ким встал, отвалился от стола, припал к стене и увидел странного человека, выезжающего из-за ширмы в кресле на колесиках, которые и издавали поскрипывание. Человек как раз поворачивал, придерживая одной рукой левое колесико и усиленно вращая второй рукой правое. Кресло скорее напоминало высокий стульчик для годовалых детей, только увеличенного размера. Концы подлокотников были соединены полочкой, мешающей выпасть из кресла вперед, другая полочка располагалась внизу, служила опорой ног. Человек был в военной гимнастерке, старой и застиранной, но чистой, аккуратно разглаженной, с ослепительно белым подворотничком. Гимнастерку перехватывал командирский ремень с португеей. На человеке были синие галифе, заправленные в блестящие от гуталина сапоги. Он был такой же голубоглазый, курносый, как и Майя, редкие русые волосы слиплись на лбу, наверное, передвижение и особенно поворот потребовали значительных усилий.

— Матвей,— торопливо становясь меж креслом и Зоном, сказала Майя,— опять, опять... Ты ведь обещал мне...

— Подожди,— сказал Матвей,— я хочу извиниться... Сеня, милый, прости мне этот плевок... Ты достоин настоящего мужского удара... Не женской пощечины, а настоящего, кулаком в зубы... Мы б подрались, потом, может, стали б друзьями... Мой лучший друг... Покойник... Мы с ним тоже... Но я парализован... Ты сам это видишь, и потому плюнул... от бессилия... А не потому, что ты гадина, достойная лишь плевка.

— Что он говорит,— сердито крикнул Майе Зон,— увези его за ширму...

Матвей вдруг улыбнулся.

— Ты похож на литовского министра,— сказал он.

— Какого литовского министра,— крикнул Зон,— у него начинается припадок...

— Министра Литвы,— улыбаясь, повторил Матвей,— мы вместе работали... Человек он дрянной, ты все-таки немного

лучше. Склочный, злой и землекоп никудышный... Но умница... Мы с ним сходились, толковали в свободное время... Буржуазной Литвы министр... Он Древним Римом занимался раньше... Я тоже, когда студентом был... До армии... Интересное дело.— Матвей сжал ладонями щеки.— Ты заметил, режим тирании возникал чаще всего от усталости, от стремления человека получить счастье наиболее простым, легким путем... Ты только не спорь... Я вижу, ты опять волнуешься... Дело не в спорах... Я над этим долго думал. Преклонение перед властью, если только оно искреннее, чисто и бездумно, приносит наслаждение необычайно сильное и значительно превышающее наслаждение властью, которое никогда не может достигнуть той полноты, того самозабвения... Искренний раб всегда счастливей своего господина, и одной из причин, толкающих тирана на репрессии и жестокости, причин подспудных, в которых он сам себе не признается, является его зависть к своим до глубины души счастливым обожателям... Тиран всегда глубоко несчастен...

Матвей говорил теперь, сосредоточенно морща лоб, изредка он прикасался пальцами к прилипшим прядям волос, точно хотел убрать их, но, забывая об этом, вновь опускал руки на полочку перед собой.

— Матвей Павлович,— сказал Зон,— я понимаю вас... Но поймите и меня... Поймите свою измученную сестру... Вы лицо безответственное... Но судьба вашей сестры для меня далеко не безразлична...

— Оставь, Сеня,— сказала Майя,— ты волнуешься, и вы опять поссоритесь...

— Нет, подожди,— крикнул Зон.— Советская власть сделала меня инженером... И что б там ни было... мне эти березки... в общем, Россия... Я готов копать землю, если потребуется... И я презираю тех, кто плюет в сторону, откуда он получает хлеб и сало.

— Да,— тихо сказал Матвей,— я знаю, что без тебя мы б с сестрой голодали... Сестра кладовщик в детсаду... Копейки, конечно... Я знаю... Думаешь, я не догадываюсь... Допустим... Но наши родственники... Они все отвернулись... И в Москве, и где угодно... А ты помогаешь...

— Матвей Павлович,— сказал торопливо Зон,— поверьте, я не намекал... Я говорил абстрактно... В основном о себе... У меня иногда тоже возникает подобная мысль... Когда я пьян или расстроен... Поэтому мне особенно неприятно слышать со стороны...

— Милый Сеня,— медленно сказал Матвей,— какой бы

ты был замечательный человек, если б у тебя для этого была малейшая возможность...

— Матвей, хочешь чаю? — спросила Майя.

— Вина, — сказал Матвей, — хоть полрюмки... Я хочу выпить за ваше счастье... А кто это? — заметил он вдруг прилипшего к стене Кима.

— Это мой товарищ по работе, — сказал Зон.

Матвей пристально посмотрел, протянул вперед руку с подрагивающими растопыренными пальцами и сказал с дрожью в голосе:

— Юноша, дай мне свою руку...

— Перестань, Матвей, — сказала Майя, — это у него на нервной почве... Он у всех просит руку... У каждого нового человека... К нам редко ходят... Гости сегодня пришли, я их предупредила, чтобы они не обращали внимания... А с водопроводчиком получился скандал. Я была на кухне...

— Да, — сказал Матвей, — он думал, я прошу папиросы, протянул пачку, а когда я хотел поддержать его руку, вырвался и начал материться... Ты ведь тоже, Сеня... Я в тебя плюнул из-за руки... Я понимаю, тут не презрение... Просто прихоть сумасшедшего унижает тебя... Прихоть слабого унижает... Юноша, — повернулся Матвей опять к Киму, — я давно не держал молодой ладони... Мы с сестрой сидим иногда вдвоем, я держу ее ладонь... Но я хочу чувствовать и другие ладони... У меня парализованы ноги...

— Не обращайтесь внимания, — сказала Киму Майя, однако Ким оторвался от стены, подошел, протянул руку, и Матвей Павлович жадно схватил ее сухими дрожащими пальцами, глядя, ощупывая. Лицо его покраснело, оживилось.

— Давайте выпьем, — радостно сказал он.

Майя налила четыре рюмки, вино было вкусным, холодноватым. Матвей Павлович выпил свою, не выпуская ладони Кима, поставил пустую рюмку на полочку перед собой. Глаза его блеснули...

— Молодость, — мечтательно сказал Матвей Павлович. — Но пасаран! — неожиданно крикнул он удивительно молодым голосом. — Они не пройдут... Это по-испански. — Он перехватил ладонь Кима левой рукой, а правую согнул в локте, сжав пальцы в кулак, тощий до прозрачности. — Смерть фашизму! — крикнул Матвей Павлович. — Испания, — счастливо смеясь, повторял он, — какие ребята... Интербригада... Танки горели, как солома, — выкрикивал он так громко, что на столе что-то звякнуло, покатилося. — Но пасаран! Знаешь, юноша, как летели головы... На тебя «хейнкель» пикирует, а ты стоишь, и хрен ему в глотку...



— Не надо было давать вина,— сказал Зон,— это начинается припадок... Я вижу по пятнам на лице...

— Матвей,— сказала Майя,— пойдём спать... Уже пора.— Она пыталась разжать его пальцы, чтоб освободить ладонь Кима, но Матвей Павлович вцепился мертвой хваткой, сжал так, что Ким вздрогнул от боли.

— Подожди,— сказал Матвей Павлович,— я сейчас сам отпущу.— И вдруг запел какую-то иностранную песню, очевидно, испанскую. Первый куплет он пропел довольно мелодично, хоть и сорванным голосом, а потом начал хрипеть, однако лицо его по-прежнему улыбалось и было полно вдохновения. Подошел Зон, и они вдвоем с Майей высвободили ладонь Кима. Потом Майя увезла продолжавшего хрипеть и улыбаться Матвея Павловича за ширму. Ким постоял, разминая слипшиеся пальцы, особенно сильно ноющие в суставах, покрутил шеей, чтоб хоть немного унять разламывающуюся от боли голову, болело полосами, тянущимися от затылка через череп к бровям.

— Зон,— сказал он, едва шевеля губами, уставая от каждого слова,— Зон, никогда мой отец не изменял матери... Какая подлая выдумка...

— О чем ты?— удивленно спросил Зон.— Ложись спать, тебе сейчас на раскладушке постелют... Если хочешь, можешь выйти, помыться и так далее... В переднюю, и налево дворца...

Ким вошел в переднюю, а оттуда в умывальник. Он долго стоял с закрытыми глазами, уткнувшись в раковину, не без некоторого удовольствия чувствуя, как из него вытекают последние остатки сил. Вдруг ему представилась чайная в районном городке, где он был мимоходом несколько лет назад, та самая, о которой он иногда почему-то вспоминал без видимой причины. В данную минуту чайная, конечно, закрыта, столы сдвинуты, царит покой и полумрак. Он грыз холодные твердые яблоки, хоть они и отвлекали. Два чувства боролись в нем: наслаждение покоем и возбуждающее наслаждение терпким яблочным соком. Кусочек яблока попал ему в дупло зуба, он принялся ковырять во рту пальцами и проснулся. Он спал стоя, согнув колени, прислонившись к умывальнику. Зуб действительно побаливал. Ким сплюнул клейкую слюну, сполоснул лицо, вытерся носовым платком и вернулся в комнату. Свет был погашен, горела лишь стоящая на полу, подключенная к розетке настольная лампа. Тихо шипела патефонная пластинка, Зон и Майя танцевали на цыпочках, чтобы не производить шума. Майя положила Зону голову на грудь, лицо ее посвежело, может, оттого, что при тусклом свете не

видны были следы отеков. Зон осторожно ласкал пальцами Майину шею, иногда он наклонялся и прикасался губами то к Майиному носику, то к виску, где курчавились русые отрастающие волосы. Увидав Кима, Майя кивнула на угол, на появившуюся еще одну ширму. Сквозь ситцевую ширму Ким некоторое время видел две ритмично движущиеся, прислоненные друг к другу тени, потом он заснул, время от времени ощущая себя во сне, наверно, из-за непроходящей головной боли и подергивания зуба. Проснулся он также с головной болью, правда, приглушенной, зуб же вовсе не болел. Было уже утро, судя по густо замерзшему окну, очень холодное.

Ким начал одеваться, прислушиваясь к непонятному плеску воды из-за ширмы. Ступни ног он обернул газетой, сверху натянул носки. Газета топорщилась и покалывала, но он знал, что минут через двадцать она притрется, уляжется по ноге. В комнате было очень чисто прибрано, стол сдвинут и застлан желтой скатертью. У противоположной стены сидел в своем кресле Матвей Павлович, командирский ремень и портупья висели на спинке кресла, рукава гимнастерки, аккуратно подвернутые, обнажали мускулистые руки. Перед Матвеем Павловичем стояла на табурете миска, полная мыльной воды, и он стирал в ней, довольно умело и ловко, белье. Рядом на стуле, покрытом клеенкой, лежала горка уже выстиранных подворотничков, майка-тельняшка и женский бюстгальтер.

— Здравствуйте,— сказал Ким.

— Здравствуй,— ответил Матвей Павлович, торопливо прикрывая бюстгальтер тельняшкой,— тебе Сеня деньги оставил... Возьми на столе... его вызвали часа два назад, он уехал.

Ким взял деньги, попрощался и подумал, что и сюда он, пожалуй, больше не придет. В коридоре у некоторых дверей прямо на полу шипели примуса, клокотало варево. Ким быстро пошел, огибая городской сад, чугунная ограда побелела от мороза. Ресторану гостиницы «Руда» привезли мясо, синие громадные куски, которые от мороза стучали как деревянные. Рабочие взваливали их на спины и несли к служебной двери, отталкивая ногами собак. Ким остановился, перебежал на противоположную от гостиницы сторону и пошел к железнодорожному тресту, возле которого останавливался автобус. Он поехал, однако поездки этой не заметил, как бы глубоко спал наяву, потеряв себя до того, что даже перестал ощущать головную боль, и вышел из оцепенения, лишь переходя железнодорожные пути под рудничными бункерами.

У Дома культуры было многолюдно, но тихо. Ким вошел в толпу, скользя мимо лиц, сплошь незнакомых и угрюмых. В вестибюле Дома культуры, тоже многолюдном, шуршали ленты новогоднего серпантина, золотистый «дождик», пересекавший ранее вестибюль от стены к стене, был сорван, свисал в углах, словно паутина. Ковровая дорожка лестницы, ведущей на второй этаж, пестрела, засыпанная кружками конфетти. Ким вошел в верхний зал, протиснувшись мимо неподвижных спин. Вереница гробов стояла среди зала на возвышенности, образованной сдвинутыми вместе, покрытыми черным бархатом столами. В первом, самом большом и полированном гробу лежал начальник, одетый в черный суконный костюм. Руки его были почему-то в перчатках, скрюченные пальцы утопали в ворохе бумажных цветов. Голова начальника была покрыта большим белоснежным платком, несколько сдвинувшимся и обнажившим часть лица, искаженного мукой, с изломанными полуоткрытыми губами. Рядом с начальником лежали в свежеструганых гробах мальчишки-фезеушники, одетые в форменные куртки с молоточками в петлицах. Здесь тоже были бумажные цветы, правда, немного, и кто-то для украшения кинул на мальчиков несколько елочных серпантинных лент. На одном из мальчиков поблескивал искусственными листьями веночек. Вдруг Ким узнал в мальчишке, покрытом венком, кучерявого, который, балуясь, пинался с Колюшей. Колюша лежал от венка через одного. Лицо его было бледным, но с каким-то живым оттенком озорства, казалось, он нарочно вставил себе вместо глаз в глазницы розовые куски ваты. Навощенный пол зала, среди которого стояли столы с гробами, тоже был густо усыпан кружками конфетти, лентами серпантина, кое-где торопливо сметенными в кучки к роялю. Неожиданно по залу прошумел ветерок.

— Хозяин,— шепнул кто-то рядом.

Коренастый человек в кожаном пальто с траурной повязкой на рукаве прошел и стал в почетный караул у изголовья начальника, скорбно склонив чуть вправо голову. Он шепнул что-то сопровождавшим его людям, один из них, лысый и низенький, кончиками пальцев натянул сбившийся платок, прикрыл лицо начальника. В то же мгновение заголосила толстая женщина в пальто с лисой-чернобуркой, очевидно, вдова начальника. Ранее отдохавшие в углу оркестранты взяли трубы, заиграли траурную мелодию. В толпе суетился фотограф, устанаивал треногу, деловито закрепляя винты. Он снял крупно начальника, потом оттащил аппарат назад, сердито отталкивая народ, расчищая дорогу, и снял всех вместе об-

щим планом, потом вновь двинулся вперед, повернул аппарат, снял крупно кучерявого мальчика, прикрытого венком.

— Этого родители забирают,— сказала женщина в пуховом платке,— остальные детдомовские... У нас похоронят...

Вдруг Ким увидел Зона, сменившего «хозяина» в почетном карауле, и пригнулся, чтоб Зон не заметил, ибо очень боялся встретиться теперь с ним взглядом. Из-под драпового, отлично сшитого пальто Зона виднелись бостоновые синие брюки, наспех заправленные в кирзовые сапоги. Оркестранты пошли к выходу, народ потянулся следом. Стали поднимать гробы.

— Подсоби, парень,— сказал Киму мужчина с носом, густо иссеченным у ноздрей красными и фиолетовыми жилками,— крайний отодвинуть надо, чтоб нашего вытащить.

Ким пошел за мужчиной, но какой-то администратор, быстро вращавший лысой головой в разные стороны и дававший указания одновременно подсобным рабочим, фотографу и оркестрантам, возражал мужчине, не позволял трогать гроб.

— После траурного митинга, пожалуйста,— говорил администратор,— у меня указание...

— Нам семьдесят километров ехать,— говорил мужчина, часто прикладывая к носу платок,— дорогу занесло...

— После митинга,— повторял администратор,— машину рудник вам выделяет бесплатно... Так или не так?.. Поставите еще от себя шоферу поллитра, довезет... Так или не так?..

Наконец они столковались, перейдя на шепот.

— Давай, парень,— сказал мужчина и вынул кошелек,— червонца тебе хватит?..

— Что вы,— сказал Ким,— не надо...

Мужчина молча спрятал кошелек, обошел вокруг стола, стал со стороны головы кучерявого мальчика и начал осторожно сталкивать гроб на руки Кима и усатого сероглазого старика. Ким следил, как гроб, остро и свежо пахнувший лесом, медленно сползает, все тяжелее наваливаясь, потому что старик поддерживал свой конец нетвердо.

— Глубже руки просунь,— покрикивал мужчина,— вот так держите... Я сейчас обойду и подставлю плечо.

Крайний гроб подняли и понесли, держать стало легче, так как можно было свободнее развернуть локти. Понесли и Колюшу. Ким заметил, Колюшин затылок плотно залеплен пластырем, из-под которого выглядывали клочки розовой ваты, такой же, как в глазницах.

— Взяли,— скомандовал мужчина,— вы вдвоем спереди...

Старик прихрамывал, гроб дергался, больно бил по плечу. На лестнице сорвался, хрустнул под ногами венки.

— Черт с ним,— сказал мужчина,— где этот шофер девался. Слушай,— окликнул он человека в полушубке,— ты шофер? Где ж ты ходишь...

— Командировку подписывал,— сказал шофер,— в путевом листе у меня перевозка грунта... Бухгалтерия цепляется... Расценку завысил... С этого и начинается все... Рабочему человеку копейку из глотки выдирать надо...

— Вот вспомнил,— сказал мужчина,— крышку ж гробовую не взяли... Шофер, поддержи, я сбегаю... Я потом администратора не поймаю...

— Ладно,— сказал сероглазый старик,— дома свою сколотим...

— Не в том дело,— ответил мужчина,— снегу насыпет...

— Брезентом прикроем,— сказал шофер,— у меня есть в кабине...

— Я тебе твоего сына, конечно, хоронить не желаю,— сказал вдруг мужчина тихо, и лицо его дернулось,— советы даешь...— Он махнул рукой и пошел вверх по лестнице.

— Шкуру с них драть,— сказал шофер, глядя перед собой,— это, может, вредительство... Падлы... Я б их всех пострелял... С портфелями ходят... Ты братуха?— спросил он Кима.

— Нет,— ответил Ким,— просто вместе работали...

Появился мужчина, прижав к груди свежеструганую некрашеную крышку гроба.

— Ну, спасибо,— сказал он Киму,— мы дальше сами...

Между тем народ уже двинулся, густо облепив три грузовика, ползущие на малой скорости. Впереди заплаканные девчонки из номерной несли венки, увитые черными лентами. Время от времени оркестр исполнял траурные мелодии. Кладбище было далеко, за поселком, за огородами с истрепанными ветром пугалами, за снежным полем, истыканным вышками разведочного бурения. На кладбище народ толпой сгрудился вокруг могилы, рядом с которой поставили полированный гроб начальника и спустили на канатах обелиск черного мрамора.

Мальчиков с грузовиков не сняли, их должны были хоронить чуть подальше в выкопанных по ранжиру могилах у кладбищенской стены. Вновь суетился фотограф, расчищая обзор, укрепляя треногу в снегу. Начался траурный митинг. «Хозяин» и группа лиц, его сопровождавших, в том числе Зон, забрались на грузовик.

— Нелепый случай вырвал из наших рядов,— сказал «хо-

зяин», выдыхая пар, комкая в руках кожаную, обшитую черным каракулем ушанку,— унес в могилу нашего хорошо потрудившегося на благо родины ветерана и эти молодые жизни... Всякий, кто работал с покойником, знает, как самоотверженно и патриотично относился он к своим обязанностям, каким замечательным товарищем и честным советским гражданином он был...

Опять заголосила толстая женщина в пальто с лисой-чернобуркой. Ее держали под руки. Рядом стоял высокий военный, наверно, сын. Он что-то говорил и вытирал женщине лицо платком. Повалил густой мелкий снег, больно хлеставший. Грузовики с мальчиками поехали дальше, буксуя на обледеневшей кладбищенской аллее. Администратор распорядился, прикрываясь от снега и налетавших порывов ветра, с каждой секундой крепчавших, предвещавших буран. Подсобные рабочие прямо в кузове торопливо стучали молотками, заколачивали гробовые крышки. К администратору подбежал однорукий человек в каракулевой папахе и длинной черной шинели.

— Что вы делаете,— крикнул однорукий,— фамилии, фамилии согласно списку...

— У меня не десять рук,— крикнул администратор, разозленный ветром и холодом, но тут же осекся, очевидно, ему стало неловко, и он подумал, как бы однорукий не счел это за намек.— Я распорядился сделать надписи на крышках чернилами, но помощники мои бездействуют... Мне приходится заниматься и оркестром, и фотографом, и легковой машиной для вдовы начальника, так как она несколько раз по дороге падала в обморок, и грузовой машиной для перевозки одного гроба по месту жительства... Причем учтите праздничные дни...

Рабочие спустили борта грузовиков и начали выносить заколоченные гробы, действительно ничем друг от друга не отличавшиеся, фамилии покойников можно было установить, лишь вновь вскрыв крышки, на что администратор пойти не мог.

— Тем более,— сказал администратор,— ограду мы заказали общую... И общую плиту из песчаника, полированного, между прочим, на которой будут фамилии согласно списку...

Уже бушевал настоящий снег, потемнело, несмотря на то, что было не более трех часов дня. Рабочие принялись засыпать могилы. Народ расходился, растянувшись по дороге от кладбища длинной цепочкой. Ким тоже ушел, но не в общежитие, куда б следовало ему пойти, так как мороз и ветер усиливались, а к шоссе.

«У Колюши глаза из орбит выбило,— подумал Ким,— в толпе рассказывали... Ударило по затылку, и глаза выпали в лужу...»

Ким вдруг представил себе голубые Колюшины глаза, плавающие в луже шахтной воды на грунте выработки, припорошенные рудной пылью, освещенные штрековыми электролампами в колпаках.

Со стороны города показался автобус, и Ким побежал к нему изо всех сил, думая, что на бегу видение рассеется. Рудник, куда он приехал, располагался километрах в десяти от рудника, где он работал. Дом культуры, точно такой, как и везде, выстроенный по типовому проекту, трехэтажный, с колоннами, лепными эмблемами и статуями, был здесь ярко освещен.

В вестибюле от стены к стене под потолком протянулись нити золотистого елочного «дождика», шуршали цветные ленты серпантина.

— Сильно ты пьян,— сказал распорядитель с красной повязкой, глядя Киму в лицо,— лучше проспись... Драку устроишь...

Но за Кима вступились курцы, которые по случаю метели курили не на улице, а в вестибюле. Один курец даже оттолкнул распорядителя, заботливо помог Киму раздеться и повел наверх, откуда слышался вальс. Дорожка, устлавшая лестницу, была усыпана кружками конфетти, и это сразу насторожило Кима, как во сне настораживает мелькнувшая незначительная деталь из другого, кошмарного сна. Ким пытался выдернуть локоть, повернуть назад, однако новый товарищ держал цепко или просто силы исчезли, тело легко несло, повинуюсь малейшему нажатию спутника. Они вошли в верхний зал, очень знакомый, с навощенным полом, черным роялем и лентами серпантина. В центре зала, в том самом месте стояла вереница белых столов, и мальчики в форменных курточках, с молоточками в петлицах сидели вокруг.

— Вот и наши,— крикнул спутник.

Ким повернул голову и, положив подбородок для опоры на плечо, так как чувствовал сильную слабость в шейных позвонках, начал разглядывать человека, приведшего его сюда. Спутник был совсем еще мальчиком, кучерявым, тоже в форменной курточке. Щеки спутника заросли редкими волосами, длинным и нежным пушком, который он пока не брил, а, очевидно, подстригал ножницами.

— Это свой,— сказал кучерявый мальчишкам,— его внизу Змей не пускал.

Мальчики раздвинулись, и Ким сел среди них, ибо пони-

мал, что пытаться уйти или хотя бы остаться стоять в дверях за спинами бесполезно.

— Ешь, кореш,— сказал Киму голубоглазый мальчик и подвинул тарелку с соевым соусом и плавающим в жире жареным картофелем,— раз в шахте работаешь, жирное есть надо...

Перед голубоглазым мальчиком стоял стакан дымящегося какао. Голубоглазый подцепил с тарелки большой кусок масла, граммов в пятьдесят, опустил его в какао, подождал, пока оно растаяло, превратилось в желтоватую пленку, а потом надпил, облизал жир с губ.

— Когда в шахте дышишь, пыль липнет к жиру,— сказал голубоглазый,— ты ее и выплевываешь...

— Пусть вина выпьет,— посоветовал сидящий с краю мальчик тоже с очень знакомым лицом,— легче пойдет...

Киму подали вина, он выпил, надкусил соус и, почувствовав внезапно проснувшийся голод, начал жадно есть.

— Здорово мнешь,— сказал голубоглазый,— ты осторожней, пупок развяжется...

Он протянул руки к самому лицу Кима, и вдруг что-то оглушительно хлопнуло, больно хлестнуло Кима по верхней губе. Запахло серой.

— Нарахался,— захохотал голубоглазый мальчик, помахая дымящейся стреляной хлопушкой. Цветные кружки конфетти осыпали соус, плавали в жире... Мальчики вокруг захохотали, кучерявый в свою очередь выхватил хлопушку и бахнул в голубоглазого так, что у того волосы взметнулись и задымились. Неожиданно мальчики притихли, переглянулись. Мимо прошел сухощавый человек, скуластый, покрытый морщинами. Рядом шли толстая женщина в бордовом платье и девочка лет пятнадцати, курносая, с нежным овалом щек и русой косой.

— Три-четыре,— шепотом сказал голубоглазый, и все мальчики разом крикнули:

— С Новым годом, товарищ начальник!

А глухо, словно из-под стола, чей-то одинокий голос добавил:

— Надя, я тебя люблю...

Начальник сердито покосился на мальчиков, толстая женщина подхватила покрасневшую девочку, и они прошли дальше, где в открытые двери виден был другой зал и тоже стояли столы.

— Это Коля животом,— повизгивая от смеха, шептал Киму в ухо кучерявый.

Ким посмотрел на голубоглазого, который корчил грима-



сы в спину уходящего начальника. Голова кружилась, испуг рассеялся.

— Колюша,—сказал Ким и обнял голубоглазого через стол,—я нарахался, Колюша... Я думал, тебя угробило... Тебе глаза выбило...

— Шухарной ты кореш,—смеясь, сказал Колюша,—мы еще с тобой погуляем... Я Надьке записку написал... Видал, какие у нее губки...

— Колюша,—повторял Ким, крепко держа голубоглазого, пригибая его, точно пытаюсь прижать к себе, но этому мешал стол,—Колюша, ты живи... Ты веревочку кидать умеешь?

Колюша захохотал.

— Ее в шахте с верхнего уступа кидать надо...

— Колюша,—повторял Ким, прислушиваясь к растущим с каждой секундой попискиваниям. Их пока удавалось остановить, потеревшись шеей о предплечье. Ладони Кима были заняты Колюшиным телом, теплота которого и шевелящиеся под пальцами мальчишечьи, неразвитые еще мышцы успокаивали. Мальчики сгрудились вокруг, он хотел потрогать их лица, удостовериться, однако его повели вниз и усадили на диван, рядом с другими фигурами, которые спали, некоторые запрокинув голову, а некоторые, наоборот, склонившись к самому полу.

Какое-то мгновение он видел комнату, словно освещенную молнией. В ней стояли балалайки, домры, барабаны, знамена, плакаты и макет шахтного копра. Потом молния погасла, стало темно, и полил дождь. Ким вышел из дому, забыв плащ, вернулся, но не мог найти плаща, потому что все лампочки перегорели. Он ходил по комнатам, по десяткам темных комнат и щелкал выключателями. Некоторые лампочки вспыхивали вполнакала, бессильные разогнать тьму, и сразу гасли, перегорая. После каждого удара грома комнаты наполнялись сладковатым запахом серы, пугающим и манящим. Несмотря на темноту, чувствовалось: комнаты эти совершенно пусты и так громадны, что стоит оторваться от стен, сразу потеряешься.

Кима разбудил толчок, хоть сидел он на диване один. Рядом с ним лежали пальто и шапка. Он оделся, вышел в вестибюль, перешагивая через серпантинные ленты, оказался на улице. Мороз ослаб. Тихо шел снег, большие хлопья. Ярко освещенные электрические часы показывали половину пятого. Вереница фонарей уходила вдаль, освещая одинаковые дома с лепными эмблемами. И вдруг падающие хлопья, ночной воздух, звезды, кое-где проглядывающие, деревья, показывающие белыми ветвями, вызвали у Кима ненависть, силь-

ную до омерзенья, и он удивился, как жил спокойно среди всего этого, а иногда даже этим восхищался. Со слезами умиления, как вспоминаются родные места, вспомнилась темная низкая выработка, покосившаяся, обросшая грибком стойка, склизкие бревна, перекрывающие камеры. Глыбы казались незначительным препятствием, тем более что от них можно было легко увертываться, если умело шевелить телом и вращать шей.

«Сегодня утренняя смена,— подумал Ким,— очень скоро я все это увижу...»

Он поднял воротник, чтоб не видать ни фонарей, ни звезд, одну лишь снежную дорогу под ногами, и пошел к автобусной остановке. Главное теперь было быстрее опуститься в шахту.

## 6

Ким приехал на рудник как раз к первому гудку. Отовсюду шли люди: мужчины, женщины, мальчишки. Некоторые были уже в спецовках, переодевались дома, хоть выносить спецодежду с рудника официально запрещалось. Рядом с Кимом шла высокая девка-откатчица, широкоплечая, похожая на красивого парня. Волосы ее, как и у всех женщин, работающих в шахте, были туго обвязаны под каской платком. Откатчица придерживала шарф, потому что справа от нее семенила клетьевая, совсем уже старушка, фигура, однако, почетная и уважаемая. Старушка распорядилась подъемными клетями главного ствола, и от нее зависел своевременный выезд после работы, который, если следовать очереди, занимал иногда не менее часа, особенно при работе в дальних от ствола выработках, когда пристраиваться приходилось в длинный хвост. Несвоевременный выезд до гудка пресекался старушкой беспощадно, за что она неоднократно отмечалась премией в приказах самим «хозяином» и, несмотря на преклонные годы, сохраняла должность. Старушка носила длинную старомодную юбку по щиколотки, из-под которой выглядывали брезентовые брюки, а каска ее без козырька, натянутая поверх собранных в клубок на макушке, обвязанных теплым платком косиц, напоминала скорей старушечий чепец. Люди здоровались, переговаривались негромко.

— Дядя Паша,— окликнула откатчица похожего на армянина человека в меховом картузе,— мы где сегодня чистим?

— Нижний горизонт,— гортанно ответил дядя Паша,— сегодня Федя наряд дает...

Ким вошел в быткомбинат, сдал пальто и шапку. «Чистое» отделение бани было хорошо натоплено. Ким разделся, двинулся дальше среди десятков голых тел, поглаживая обнажившиеся рубцы, впрочем, поджившие, приятно почесывающиеся. Он чувствовал себя механической частичкой, включившейся в ритм и знающей свое назначение на общем конвейере. Три прошедших дня попросту не существовали или существовали для другого человека, который исчез. В «грязном» отделении он с наслаждением вдохнул запах руды и пота. Знакомая дежурная кивнула ему, и он кивнул в ответ. Какой-то шахтер вынул из своей каски стеганый подшлемник, заменил его новым, а старый отдал Киму. Подшлемник, несколько заношенный, лоснился, но был теплым, подбитым ватой и пришелся кстати, так как ранее Ким носил под каской лишь фетровый берет. Из отделения спецодежды люди попадали в коридор и вереницей двигались к окошку, где выдавали аккумуляторные карбидные лампы. В ламповой орудовали женщины в резиновом переднике и мужчина-инвалид. У инвалида резиновые перчатки надеты были на скрюченные пальцы, что не мешало ему ловко управляться, кидать в лампы куски карбида, закручивать крышки, со стуком ставить заправленные лампы на обитый жестью прилавок, подхватывать аккумуляторы, щелкать выключателем, проверяя батареи. Время от времени возникала ссора, но он и тут ловко управлялся, отваживал недовольного. Ким сказал номер, инвалид глянул на стеллаж, глянул в записную книжку, глянул на Кима и сказал:

— Ты же не сдал после смены карбидку... Следующий...

— Ее завалило,— несмело сказал Ким.— Глыбами завалило...

— Принеси записку от начальника... Следующий...

— Его убило,— несмело сказал Ким,— его хоронили вчера...

Инвалид какое-то мгновение, сломав отточенный заводной ритм, глянул на Кима.

— Ты с луны свалился,— спросил он,— а если я завтра умру, что ж, лампы выдавать некому будет?

— Давай, не задерживай,— крикнули из очереди. Ким отошел.

«Ничего,— подумал он,— маленькая заминка... Принесу записку».

Получив лампы, люди спускались ниже этажом, становились вереницей в номерную за спусковыми номерами. Медленно двигаясь, Ким испытывал уже, однако, легкое посасывание в животе, может, от голода, так как он забыл позавтра-

кать. В номерной работали молодые девушки и женщины с маникюром и перманентом. Первая рудничная красавица Валя, ныне секретарша «хозяина», тоже еще недавно работала в номерной. Подойдя к окошку, Ким издала увидал на одном из гвоздиков доски с номерами белую бумажку и сразу понял, что это его номер. Посасывание в животе усилилось, начало давить в груди, поджимая к горлу. Ким сказал номер, выкрикнул его лихорадочно, и девчонка действительно пошла прямо к бумажке. Она сняла бумажку, начала читать.

— Вам номер выдавать не велено,— сказала она,— зайдите к «хозяину»...

— На участок,— переспросил Ким,— зайти на участок?

— Оглох,— презрительно подняла выщипанные бровки девушка,— не на участок, а к «хозяину»... К самому...

Ким тяжело отвалился, отошел, ноги его стягивало под коленями.

Мимо шли люди, получали номерки, направлялись дальше во двор к спуску, а он был выдернут, выброшен из общего ритма. Вдруг вспомнился сон в ту страшную мерзкую ночь у Кати. Тщетны оказались надежды на спасение, он был залит безжалостным светом, от которого не укрыться, и люди очищали вокруг него пространство, уходили в боковые переулки. Ким поднялся лестницей, пошел розовым от рудной пыли коридором. За дверьми участков слышны были телефонные звонки и голоса. Повсюду стояли или, устроившись прямо на полу, сидели шахтеры. Некоторые закусывали. Новогодняя, однако уже в розовых пыльных разводах стенгазета «Сталинский шахтер» под рубрикой «Вентилятор» изображала двух беспечно курящих лопоухих разгильдяев. Над ними висели коричневые прямоугольники с надписью тушью: «Глыбы — заколь». Кабинет «хозяина» находился в отдельном блоке. Ким никогда еще не переступал порога двери, ведущей в коридор, выкрашенный красной масляной краской, с ковровой дорожкой. Сейчас коридор освещался потрескивающими трубками дневного света, так как за окнами по-прежнему было темно. Мелькали надписи: «Главный геолог», «Отдел главного энергетика», «Начальник транспорта», «Конструкторское бюро». Дорогу перебегали молодые люди в пиджаках, девушки в кофточках, шурша кальками. Они косились в сторону Кима, который шел, все сильнее робея и поглядывая на каждого встречного в этом чистом коридоре, даже на любую девчонку-чертежницу, как на вышестоящее должностное лицо. Ему было неловко, что эти люди вынуждены прижиматься к стене, шарахаться, опасаясь испачкаться о грязную робу. Коридор оканчивался стеклянной перегород-

кой, за которой был тамбур с диванами, где курили несколько человек, чисто одетых. Ким робко поздоровался. Ответил лишь один, в ситцевых нарукавниках, и то легким кивком.

— Мне к «хозяину»,— тихо сказал Ким.

Человек с нарукавниками молча показал белым, чистым пальцем на обитую кожей дверь. Ким осторожно постучал, подождал и вновь постучал. По лбу из-под каски катились капли пота.

— Дерните,— сухо сказали сзади.

— Что?— испуганно вздрогнул Ким.

— Дерните дверь,— повторили сзади.

Ким потянул дверь. За ней оказалась лестничная площадка. Ступени с медными прутьями, прижимающими дорожку, уходили вверх. Ким миновал два пролета и вновь оказался в коридоре уже без дверей по бокам, с обтянутыми материей стенами. В одном конце коридора на пьедестале стоял громадный бронзовый бюст Сталина, в другом конце были клепаные медными шляпками раздвижные двери на шарнирах. Ким отодвинул одну половинку и увидел приемную, уставленную фикусами и пальмами в кадках. В креслах сидело много мужчин, в основном седых или лысых, с папками, рулонами чертежей и портфелями. Каждый раз кто-либо из них подходил к секретарше, и она отвечала, едва разжимая красные губы, поправляя плечики платья.

— Занят... Не может... Срочно занят...

Звякнул телефон.

— Нет, не пришел,— ответила секретарша Валя, торопливо схватив трубку...— Хорошо... Примем меры... Да, на участок я звонила...— Бережно положив трубку одного телефона, она схватила трубку другого, начала лихорадочно сердито набирать.— Чего вы заглядываете?— крикнула она Киму...

— Я,—едва слышно вымолвил Ким, облизав языком пересохший рот,—меня вызвали...

Валя быстро кинула трубку, схватила телефон, очевидно, связывающий с «хозяином».

— Пришел,— крикнула она и повернула голову к Киму.— Проходите быстрее...

Кабинет «хозяина» был громадный, как зал, и потому производил впечатление пустого, напомнил Киму одну из приснившихся этой ночью комнат. Стояло два стола в виде буквы «Г», крытый никелем сейф, диван в чехле. Помимо мягких полукресел у «нижестоящего» стола располагалась выпачканная рудой скамеечка, на случай, если кто-либо из вызванных одет в спецовку. Под скамеечкой этой лежала спе-

циальная войлочная подстилка, покрывающая часть паркета. На противоположной стене, перед глазами «хозяина», помещалось специальное контрольное устройство, автоматически связанное с подъемником шахтного копра. Каждый поднятый из шахты скип с рудой отмечался вспыхивающей красной электролампой. Таким образом остановка, заминка моментально фиксировалась «хозяином» непосредственно. На столе «хозяина» было четыре телефона, вентилятор, сифон газоды и образцы руд. Войдя, Ким остановился у порога.

— Здравствуйте, — сказал он и снял каску, потом спохватился, стащил и подшлемник.

«Хозяин» молча смотрел издали, пригнувшись, форменные молоточки в петлицах, золотые вензеля вдоль рукава и пуговицы кителя поблескивали. У «хозяина» было простое крестьянское лицо, однако располневшее, даже человек, не знавший «хозяина» ранее, чувствовал, что провисшие щеки и налившиеся жиром уши сильно изменили его облик. Рядом с «хозяином» сидел мужчина в коричневом пиджаке, поджарый и острый: с острыми плечами, острым носом и тонкими губами, плотно сжатыми, но шевелящимися.

— Ну, — сказал наконец «хозяин», — рассказывай...

Голос его был глуховатый, с хрипотцой, однако все-таки угадывалось сходство с тем, звучавшим на всю страну по радио первого января. Кимом вдруг овладело успокаивающее чувство собственной значимости, участия в каком-то серьезном деле, пока ему неизвестном. Он острожно сжал кулак, сильно пошевелил пальцами, так он всегда незаметно давал выход избытку нахлынувших чувств. Он стоял среди кабинета, следя за четко вспыхивающими через равные промежутки лампочками, за автоматическим совершенным устройством, гордясь тем, что принадлежит и подчиняется всему этому.

— Рассказывай, — повторил «хозяин» издали, — рассказывай, как ты сбежал с ознакомительной экскурсии.

— Какой экскурсии? — автоматически подождав, пока вспыхнет красная лампочка, спросил Ким, цепляясь из последних сил за равномерный ритм конвейера, который освобождал его от прошлого, от вопросов, от кошмарных видений.

— Вот полюбуйтеесь, — обернувшись к мужчине в коричневом пиджаке, сказал «хозяин», — единственный уцелевший участник ознакомительной экскурсии, так трагически кончившейся. Нам его прислали перевоспитать... В детский сад... Подключили мы его к группе фезеушников. Для ознакомления с шахтой дали им опытного руководителя... Очень знающий, опытный практик... Главным инженером даже рабо-

тал... Потом я его, правда, снял... Алкоголик... Только опьянением я могу объяснить, что он повел практикантов на сороковой горизонт, в запрещенные горнотехнической инспекцией блоки, где давно уже не велась работа...— «Хозяин» вынул из папки бумажку, протянул мужчине,— это справка... После извлечения трупа врачебная экспертиза установила признаки алкоголя...

Мужчина взял справку, быстрее зашевелил губами, по-прежнему не разжимая их.

— Разумеется, останься начальник в живых,— сказал «хозяин»,— я отдал бы его под суд не задумываясь. Но речь сейчас об этом артисте... Вместе со всеми идти побоялся, сбежал, вылез через вентиляционную... Есть свидетели, которые видели... Уехал в город гулять, а тут люди гибли... Никого не предупредил... Узнай мы раньше, возможно, удалось бы спасти народ... Приняли б меры...

Ким рассматривал рот «хозяина», выбрасывающий слова. Страх не было, была полная невесомость, потеря опоры, как в кинотеатре, когда на трибуне вместо Сталина вдруг появился незнакомый старик.

— Я не знал,— сказал тихо Ким,— мы работали каждый в отдельной скреперной выработке... Потом мою завалило... Я выбрался, и начальник меня отпустил...

— Так, так,— после паузы произнес «хозяин»,— значит, вы занимались не ознакомлением с техническими данными и геологическими особенностями шахты, а работали без минимума, без допуска... Да еще в запрещенном блоке... Наглец! — неожиданно выкрикнул он, побагровев.— Это уже политическая клевета... За что вас выгнали из университета? Кто ваши родители?

Последние фразы он произнес на «вы», может, чтоб более веско подчеркнуть ответственность.

— У меня нет,— с трудом выдавил Ким,— у меня умерли... То есть погибли...

— Весь коллектив работает напряженно,— рубил воздух ладонью «хозяин»,— пробиваемся к богатым рудам... Вследствие тяжелых геологических условий план временно не выполнен. Мы, разумеется, не будем ни спать, ни есть... Потребуется, сам пойду скреперистом... Праздники мы все-таки встретили планом... Это была б политическая ошибка— встретить Новый год сталинской пятилетки с потушенной звездой на копре... Весь коллектив несет трудовую вахту... Но в семье не без уроды.— «Хозяин» вынул платок, тяжело дыша, отер лицо, позвонил.— Проверьте в номерной,— сказал «хозяин» вопрежнему секретарше,— было ли официальное раз-

решение начальника на трехдневный отпуск.— Секретарша вышла. В кабинете стало тихо. Мужчина шелестел бумагами, «хозяин» тяжело дышал. Три окна были прикрыты шторами, сквозь них смутно поблескивали огни прожекторов на бункерах и копре, освещавшие шахтный двор. Вошла секретарша.

— Никакого официального разрешения в номерной нет,— торжественно объявила она. Чувствовалось, ей приятно докладывать «хозяину» эту весть. «Хозяин» поблагодарил ее кивком, она наклонилась, но без улыбки, по-деловому, серьезно и вышла, красиво покачивая бедрами.

— Дезертир!— крикнул вдруг «хозяин» и протянул к Киму сильную мясистую ладонь.— Убийца! Ты сбежал, не предупредив, что люди заблудились, и они погибли... Ты убийца или нет, говори сам... Убийца или не убийца? Говори!

— Я,— произнес Ким, щурясь от четко мигающих красных лампочек,— я пробовал... Я говорил... Может, я виноват... Наверно, наверно... Я говорил... А он говорит: паникер... Я говорил... Он говорит: иди, торгуй шнурками... Я говорю... Я паспорт... Это мерзко... Я согласен... Не знаю... Я говорил... Он говорит: вылезай... Ребята тоже вылезают... Выработку завалило...

— Мы таких субчиков на фронте расстреливали,— произнес мужчина, кивнув в сторону Кима,— я в трибунале работал... Через меня их достаточно прошло...

— Что ж ты так неудачно сочинил,— произнес «хозяин», как-то сразу переходя с надрыва к спокойному тону, даже несколько насмешливо. Он с притворным сочувствием вздохнул, будто разделяя неудачу Кима.— Думаешь, тут люди неграмотные, ты им басни расскажешь...— «Хозяин» с хрустом раскрыл переплет одной из книг, прочел торжественно:— «Виновные несут ответственность по Уголовному кодексу союзных республик за нарушения, содержащие признаки преступления, а также за самовольное возобновление работ, остановленных горнотехнической инспекцией».— Ясно?— отложив книгу, сказал «хозяин».— Вот чем мы руководствуемся... И пока еще неплохо, судя по достижениям. Мы не какие-нибудь космополиты... Сами руководим отечественными предприятиями... Что же мы, хазар пригласим нами руководить?.. А паршивую траву... то есть паршивую овцу с поля вон... Ладно, некогда с тобой... Напишешь подробно объяснительную... Как сбежал во время экскурсии и так далее... Хитрить будешь, пострадаешь. Честно напишешь, посмотрим, что с тобой делать... Иди...

Ким вышел в приемную, держа каску и подшлемник. Пока он был в кабинете «хозяина», вокруг произошли какие-то се-



рзные изменения, и он стремился узнать их из обрывков разговоров старичков в приемной, потом чистых людей, курящих в стеклянном тамбуре на диване, напрягая слух, однако, как ему казалось, при виде его все понижают голос либо вовсе замолкают. В пропитанных рудной пылью коридорах Ким не то чтоб успокоился, а вроде бы начал привыкать к своему нынешнему «послекабинетному» состоянию.

За столом начальника в кабинете участка сидел блондин в меховой безрукавке, надетой поверх ковбойки. Между фразами блондин делал какой-то холостой пробег губами, произнося слившиеся у него воедино начало и конец ругательства, которое, очевидно, настолько вошло в плоть и кровь, что он его не замечал.

— Инять,— говорил блондин костистому бурильщику,— шпуры редко закладываешь, инять...

Бурильщик доказывал свое, позвякивая ожерельем отточенных буровых коронок, нанизанных на надетую через голову проволоку.

— Ладно,— увидав Кима, сказал блондин,— ты, инять, парня проводишь к дяде Паше... На откатку вагонеток... Я с «хозяином» говорил по телефону,— обернулся он к Киму,— позже побеседуем,— он написал записку,— вот тебе в номерную.

— Мне лампы не выдают,— тихо сказал Ким,— глыбами завалило карбидку.

Именно теперь, когда стало немного лучше, захотелось вдруг разрешиться криком, точно вместе с этим криком удастся выбросить что-то давящее изнутри, и приходилось напрягаться, чтоб сдерживаться. Блондин, не вставая, открыл позади расшатанный шкаф, доверху набитый розовыми от рудной пыли конторскими книгами. На нижней полке лежало несколько касок и стояли лампы. Он выбрал аккумуляторную, щелкнул, проверяя батарею.

— Возьми,— сказал он,— ты на откатке сегодня... С карбидкой не подвигаешься... И пояс возьми...

Ким вдел брезентовый пояс в дужки плоской металлической коробки с батареями, застегнул пряжку. От коробки тянулся гибкий кабель, оканчивавшийся рефлекторной электролампой с выключателем. Вначале Ким положил гибкий кабель на плечо, так что лампа перевешивалась к ключице. Потом воткнул лампу штырьком в специально сделанное для этого отверстие каски.

— Выключи,— сказал бурильщик,— зачем зря жечь... Батарея сядет...

Ким выключил, посмотрел на бурильщика с благодарно-

стью. Этот простой деловой совет сейчас, в «послекабинетный» период, был так необходим, так важен. Крик внутри погасал, сползал от горла в глубину, хоть Ким отлично понимал, что окончательно исчезнуть не мог. Они спустились вниз к номерной, возле которой уже никого не было, Ким протянул бумажку и получил номер.

— Дядю Пашу знаешь?— спросил бурильщик.— У него заработаешь неплохо... Он испанец... Его как-то по-другому настоящее имя... Как-то на «О»... У себя там он большим чиновником был... Дивизией командовал, что ли... И в нашу войну партизанил... Глупый человек... Наверное, самый дурной испанец... Среди ихних есть ловкачи... В отделах кадров поустраивались... Я в Харькове на заводе видел... Но мужик приличный... Вот поработаешь с ним смену...

Шахтный двор, ярко залитый прожекторами, был заполнен народом, толпящимся у ствола. Две двухэтажные клетки ходили, подрагивая толстыми, вязкими от смазки канатами. В скиповом отделении стремительно, подобно снарядам, взлетали под вершину копра из глубины скипы, роняя куски руды, разгружались в бункерные отверстия. Ветер и мороз прижимали людей ближе к клетям, каждый хотел быстрее спуститься. У клеток привычно орудовала маленькая старушка, шелестела юбкой, отталкивала народ, одному громадному верзиле с буровыми штангами на плече, сильно напиравшему и вылезшему за положенную границу, старушка, слегка подпрыгнув, даже сунула в скуластую физиономию крохотную дульку.

Клетки были заняты спуском материалов. Грузили бумажные мешки цемента, подгоняли безбортовые, лишь по углам для упора снабженные балками-рогами вагонетки-«козы» с лесом и рельсами. Грузили электромоторы. Наконец начали спускать людей.

— ОКС,— крикнула старушка.

В первую очередь опускали строителей на нижний капитальный горизонт. Пошел ОКС. Спецовки строителей были не красными от руды, а серыми от бетона.

— Пошли с ОКСом,— подмигнул бурильщик, потянул Кима, вклинился в толпу. Бурильщик успел проскочить, а Кима старушка приштопорила, оттолкнула и дала под зад сухой коленкой. Ким отошел, выбрался из толпы. Над головой мелькали блеклые звезды. По краям неба, там, куда не достигал свет прожекторов, они были гуще. Рассвет еще не наступал. Крик вновь начал подползать, если не достиг еще горла, то уже скопился в груди, подступал к самой оконечности впадинки между ключицами. Напуганный этим, Ким ринулся

в толпу и принялся пробираться с такой силой, что оказался втиснутым в первую же поданную клеть, где его прижало лицом к чьей-то мазутной спине. Он с трудом повернул шею, чтоб прижаться к мазуту хоть щекой, а не губами. Клеть поползла, дернулась и замерла, сажали людей на верхний этаж. Вокруг застыл освещенный бетон ствола, через клеть дул теплый ветер, ибо остановилась она на уровне калориферов, подогревавших зимой шахтный воздух.

— Ташкент,— крикнул кто-то,— здесь бы всю смену провисеть...

— Говорят, следователь приехал,— сказал другой голос,— разбирается в причинах...

— Да ну,— возразила мазутная спина,— виноват покойник всегда... или стрелочника найдут... Тем более фезеушники детдомовские... Меня, например, на сороковой горизонт за сто нарядов не загонишь... Мне жизнь дороже...

— Жаль, тесно,— сказали в углу клетки,— не развернуться... Дал бы тебе по холке...

— А ты не раздавай... Бабе своей давалку оставь...

— Бабушка Ольга,— крикнули рядом с Кимом,— отправляй, передеремся...

— Помнишь,— сказала мазутная спина,— когда прошлой зимой Гомжина пристукнуло... Я его сам вытаскивал... На груди его полоса была напухшая... Два пальца толщиной и четыре пальца шириной... Красная с синим... Мы его вывезли... Положили... у него таз был раздавлен тоже... Я руки его забираю, держу, чтоб он не почувствовал, не нащупал, а он вырывается, снег гребет ладонями и в расстегнутые спереди штаны заталкивает... Пекло его, понял...

— Ладно,— сказали в углу,— завел молитву...

Ким вышел из клетки в околоствольном дворе и увидел ожидавшегося бурильщика. Околоствольный двор был новый, хорошо бетонированный, сухой. Они вышли к квершлагу, тоже очень сухому, бетонированному, освещенному лампами дневного света. Позади грохотал опрокид. Электровоз заталкивал груженую вагонетку в специальное устройство, которое переворачивалось вместе с ней, и руда сыпалась в подземный бункер, а оттуда по ленточному транспортеру поступала к ствольным скипам. Ким долго шел деревянными тротуарами-мостками среди десятков таких же, как он, спецовок. На некоторое время он даже потерял себя, ощущая только звуки, принадлежащие всем: шорох шагов, позвякивание буровых штанг.

Изредка он вздрагивал от металлического стука, который, казалось, возникал из глубины бетонных стен. Это сцепщик-

люковой подавал сигнал, колотил гаечным ключом в водяные и воздушные трубы, тянущиеся вдоль стен, стук этот разносился вперед на десятки метров, нарастал, и вслед за ним, усиливавшимся до предела, появлялась партия, электровоз и груженные вагонетки неслись, обдавая горячим ветром, роняя на стыках куски руды. Народ доходил к перекрестку, где висели светящиеся часы, и делился на три группы по трем выработкам, расходящимся веером. Часы показывали без двадцати семь.

— Пошли быстрее,— сказал бурильщик.

Они двинулись левой выработкой, тоже крепленной бетоном, но освещенной обычными электрическими светильниками, более тусклыми. Потом они свернули вновь налево, в выработку с деревянной крепью, освещенную редкими фонарями. Шло их теперь человек пять. Какой-то низкорослый, прихрамывающий шахтер тащил обернутые вокруг плеча шланги.

— Зажигай,— сказал бурильщик и показал на темный зияющий вход. Ким включил лампу, шагнул в темноту. Два светящихся зайчика прыгали по мокрым скалистым стенам. Сквозь резиновую подошву острые мелкие обломки кварцита кололи ступни, неумело, наспех обернутые толстой портянкой. Хлюпала вода. Ким осторожно вращал шеей, скользя вокруг лучом прикрепленной к каске электролампы. Он поднял голову кверху и увидел покрытые капельками нависающие глыбы, всколыхнувшие воспоминания, заставившие вздрогнуть. Впереди послышался грохот.

— Работают,— сказал бурильщик,— дядя Паша уже включился.

Вскоре мелькнул яркий луч и рядом с ним два пляшущих огонька. Ким ударился о рельс костяшкой щиколотки, сморщился, опустил голову, осветил пути. Наспех положенные шпалы торчали как попало, неровно. Что-то темное катилось, наезжало, постукивая, и над ним мелькал огонек.

— Люба,— крикнул бурильщик,— я парня привел... Я к себе иду...

Люба проехала мимо, чтоб не терять инерции. Мелькнуло ее красивое мужское лицо. Это была та самая высокая откатчица. Бурильщик кивнул и тоже ушел, полез в какую-то дырку, карабкаясь вверх, закидывая ноги. Ким стоял, растерянно озираясь. Воздух был влажным и прохладным, начало слегка знобить. Он пошел на грохот. В забое среди взорванной породы работала породопогрузочная машина «ПМЛ», несколько похожая на снегоочиститель. Мощным ковшом, снабженным победитовыми зубьями, она зачерпывала скальные

обломки, опрокидывала их на ленточный транспортер, а оттуда они сыпались в вагонетку. Освещая забой, горела яркая фара. Дядя Паша стоял спиной к Киму, держась за рукоятки управления, то посылая машину вперед, то отводя немного назад, для разбега.

— Здравствуйте,— сказал Ким, но дядя Паша, наверное, не услышал из-за грохота. Тогда Ким обошел вокруг, прямо к забою. Дядя Паша заметил, улыбнулся, протянул руку, взял Кима за кисть и потряс. Появилась Люба, подкатывая пустую вагонетку.

— Привет,— сказала она,— давай, покатили...

Ким уперся в свой угол, вагонетка, заваленная глыбами до отказа, казалось, прижавела к рельсам. Ноги скользили, ища опоры, отвыкшие от тяжести мышцы ныли, и сердце колотилось. Но постепенно вагонетка пошла легче, даже приходилось сдерживать ее.

— Тормози! — крикнула Люба.

Ким ухватился, повис, упираясь ногами в шпалу.

— Пальцы,— крикнула Люба и рванула Кима назад.

Кузов вагонетки, щелкнув, опрокинулся, скальная порода посыпалась в отверстие, перекрытое решеткой.

— Это ножницы,— сказала Люба,— так пальцы и отрежет, на капитальном горизонте строители подберут.

Постепенно Ким вошел в ритм. Вагонетка за вагонеткой сыпались сквозь решетку. Минут через сорок Ким прижился в выработке, сырой темный воздух и пещерные чавкающие звуки уже не пугали. Лужа у колес погрузочной машины была не просто лужей шахтной воды, она чем-то отличалась от других, была знакома, в одном месте в нее вдавался выступ, похожий на Крымский полуостров, и к выступу этому прилип окурок. Запомнились и колдобина на стыке под неровно положенными шпалами, и царапины вдоль решетки. Когда в выработке поплыл третий незнакомый огонек, Ким посмотрел на него с беспокойством. И действительно, огонек оказался взрывником, скуластым парнем, с родинками на щеках и подбородке и золотым зубом.

— Я мальчишку для подноски возьму,— сказал взрывник, блеснув зубом,— мне сегодня четыре забоя заряжать...

Ким пошел с неохотой, но вскоре новая работа ему понравилась. Они шли не торопясь, пару раз присаживаясь покурить, и Ким тоже тянул горькие дешевые папиросы взрывника.

— Ты сам откуда? — спрашивал взрывник. — Отец, мать есть? Братья-сестры...

Склад взрывчатых материалов располагался в светлой

теплой выработке. На скамеечке перед ним сидели взрывники и подносики, травили баланду.

По-настоящему взрывник начинает работать лишь в конце смены, когда люди очищают забои. Ким тоже уселся, вытянув ноги. От теплоты он почувствовал усталость, приятно хрустнули суставы.

— Уже кемарит, — сказал появившийся взрывник, протянул руку, расшевелил, выдернул из дремоты и надел туго набитую сумку килограммов в пятьдесят. На сгибе лоснящаяся, насквозь пропитанная потом брезентовая ляжка прижала старый рубец, окончательно еще не заживший, и Ким чувствовал, как постепенно она растревляет рану, как ползет молодая кожа и обнажившееся мясо неприятно липнет к рубашке. Он пробовал совать под ляжку пальцы, поначалу это облегчало, но потом боль усиливалась и в прищемленных пальцах, и в плече, так как пальцы передавали давление не на весь рубец целиком, предохраняя отдельные участки за счет других, где под впившимися пальцами начало кровоточить, тепловатые струйки скользнули к лопатке. Ким шагнул вбок, опер сумку о деревянную крепь.

— Ты чего? — спросил взрывник.

Взрывник ушел далеко вперед, но все-таки обернулся. Ким не помнил, может, он сказал что-то или застонал.

— У меня рубец, — сказал Ким. — Я на другое плечо переложу.

— А нам каждый день таскать, — сказал взрывник, направляя свою сумку, — натаскаешься, привыкнешь...

На втором плече рубца не было, зато сумка начала раздирать рубец, тянувшийся вдоль поясницы. Правда, в отличие от лямки, она не врезалась, а постукивала по рубцу в такт шагам и все ж вызывала щемящую боль, так как этот рубец засорился и вокруг него образовалось нагноение. Рубец и раньше был сильнее других, даже в минуты радости у Кати или прошедшей ночью, обнимая живого Колюшу, Ким, забыв о других, подспудно чувствовал рубец вдоль поясницы, но лишь теперь это понял.

— Полезли, — сказал взрывник.

Ким полез узким гезенком, цепляясь за лазейки, и сильнее усталости, сильнее боли было удивление собой, так как недавно казалось, он вот-вот упадет от тяжести среди рельсов, а теперь он лез с тяжестью вверх по скользким, прыгающим лестницам. К счастью, гезенок был не очень длинный, и Ким оказался в низкой выработке, где можно было стоять, только пригнувшись, отчего сразу заныл позвоночник. Выработка была освещена тремя тусклыми электролампами, свисающи-

ми с гибкого кабеля, по скальной стене тянулись трубы, подающие сжатый воздух и воду к буровому молотку, перфоратору.

— Скидывай сумку,— сказал взрывник.

Ким снял сумку и упал рядом с ней, тяжело дыша. Только минут через пять он ощутил покалывание острых обломков кварцита, на куче которых лежал. Взрывник возился впереди, мелькал фонарем.

— Гу,— крикнул взрывник,— иди сюда, поможешь зарядить.

Ким встал, пошел, пригнувшись, царапая каской и спиной нависающие глыбы. Взрывник вынимал из сумки патроны в пропитанных парафином картонных гильзах. Специальным, прикрепленным веревочкой к поясу ножиком он делал в патроне прокол, вставлял туда запал с огненным шпуром, закладывал патроны в углубления — шпуры, пробуренные по забою, заталкивал глубже и следом толкал другие патроны, которые должны были взрываться от детонации.

— Сейчас бахнем,— сказал взрывник и подмигнул,— ты не трепись нигде... Взрывать запрещено в середине смены... Да разве ж к концу успеешь. Из шахты на два часа позже выезжаешь всегда... Ничего, людей тут нет поблизости... Вентиляция хорошая, вытянет газ...

Ким тоже доставал из сумки скользкие от парафина патроны, толкал их в шпуры. Он торопился, обдирая о скальный забой руки. Патроны лопались, белый порошок, взрывчатка сыпалась на свежие царапины, шипала, как соль. Взрывник собрал вместе свисающие из шнурков огневые шпуры, связал их, вынул спички в резиновом мешочке, чиркнул, поджег. Пучок зашипел, словно бенгальский огонь, заметал искры.

— Побежали,— крикнул взрывник и кинулся мимо Кима, толкнув сильно плечом. Ким помчался следом пригнувшись, больно ударяясь каской и спиной о кровлю.

— Сюда,— крикнул взрывник, появившийся из какой-то боковой ложбины.

От крика Ким споткнулся, упал и на четвереньках задом сполз к взрывнику.

— Ты ж по ходу газа бежал,— сказал взрывник,— его весь туда вентиляция потянет... Его вверх всегда тянет, а мы тут внизу пересидим...

Оглушительный удар раздался впереди, и Ким вздрогнул, хоть и ждал его. Но взрывник не заметил, он считал, загибая пальцы. Удары следовали один за другим, иногда подряд, иногда с небольшими промежутками. Ким вспомнил какую-

то инструкцию, открыл рот и повернул голову так, чтоб принимать взрывную волну равномерно на оба уха...

— Рот закрой, сейчас газ пойдет,— сказал взрывник,— я однажды глотнул его... Немного, иначе б загнулся... Будто углей горячих в горло насыпали... И задохнувшегося видал... Лицо синее, язык распухший, наружу вывалился. Страшное дело... Вон полез, сволочь.

И действительно, по выработке, заполняя ее сверху донизу, полз темно-оранжевый туман. Туман был плотный, литой, по краям его клубились желтоватые завихрения. Газ наступал медленно, но непреклонно, заглатывая метр за метром выработки.

— Полезли глубже,— сказал взрывник,— дыши носом...

Вскоре вся выработка погрузилась в оранжевый мрак, словно опустилась в оранжевую бездну. Запахло сладковатой серной гарью. Так продолжалось несколько минут. Потом туман пожелтел, в нем появились серые прогалины, потом он стал синим с желтоватыми клочками.

— Двинули,— сказал взрывник,— посмотрим, как забой взял.

Они вылезли и пошли среди клубящегося под ногами дыма. Воздух все еще был сладковатым, Ким дышал, прикрыв рот полкой спецовки. В забое зияло свежее, дымящееся углубление. Дымились и обломки на грунте.

— Порядок,— сказал взрывник,— полезли обедать...

После взрыва сумка стала легче, Ким решил нести ее в руках перед собой. Это было неудобно, зато предохраняло рубцы. Взрывник и Ким спустились вниз, довольно быстро пришли в какую-то крепленную деревом выработку, показавшуюся Киму уютной и по-деревенски тихой. Легкий теплый ветерок дул навстречу, запах его был приятный, земляной, словно с распаханного поля. Фонари отражались в чистеньких, будто дождевых лужицах.

— Я летом в деревню поеду,— сказал Ким,— в отпуск... На травке полежу...

— Хорошая вещь,— сказал взрывник, поблескивая золотым зубом,— я сам из деревни смотался... Скучаю иногда... Особенно когда выпью...

Он вдруг засмеялся, свистнул, подпрыгнул, хлопнул ногой о ногу так, что от сапог поднялось розовое облачко пыли.



В выработке была боковая ниша, где располагалась какая-то участковая электроподстанция: трансформатор и щиты с рубильниками. Здесь было сухо и чисто, стоял стол и скамейки. За столом сидели дядя Паша, откатчица Люба и бурильщик. Перед ними на газете лежали толсто нарезанные ломти сала с кусочками сырого мяса, жирная селедка, пироги, яйца. Люба крошила ножиком луковицы в открытую банку свиной тушенки.

— Приятного аппетита, — сказал взрывник, — присоединяю свой тормозок.

Он выложил на стол свой промасленный пакет, открыл вентиль тянущейся вдоль крепи водяной трубы, помыл руки, лицо, сполоснул рот. Затем помылся Ким. Вода пахла ржавчиной, однако все ж приятно освежала. Ким съел два ломтя сала, пирог с рыбой, пирог с рисом, кусок селедки, кусок принесенной взрывником колбасы.

— Толковый мальчишка, — сказал взрывник, — и ест хорошо. Ему наряд прилично закрыть надо, дядя Паша...

Дядя Паша был коренастый, с небольшими, но жесткими, в буграх от мозолей ладонями. Во время еды он снял каску и подшлемник. Волосы его были черные, кучерявые, с проседью.

— Дядя Паша, — сказал бурильщик, — а в Испании шахты лучше или хуже? Ты ж работал...

— Хуже, — ответил дядя Паша, — теперь не знаю, а тогда хуже, если с этой сравнить...

— Он так говорит, потому что коммунист, — сказал взрывник.

— Ты не трепись, — оборвала его откатчица, — болтаешь...

— А вообще, — спросил бурильщик, — где жизнь лучше?.. Бабы, например, и так далее?..

— Баба, — повторил дядя Паша, — баба лучше в Испании...

— А чего ж ты на нашей-то женился, — сердито спросила откатчица, — детей прижил...

— Женился, — тихо ответил дядя Паша и посмотрел печальными темными глазами куда-то мимо собеседника, — я в Среднюю Азию ехать хотел, там земля сухая, как в Испании... Жена не хочет.

— Начальство идет, — сказал бурильщик.

В глубине выработки показались начальник участка и Зон. Зон был в очень грязной резиновой куртке-крылатке и новой,

поблескивающей черным лаком каске, на которой глыбы оставили лишь первые ржавые рубцы.

— Ты забой в середине смены рвал? — спросил начальник взрывника.

— Нет, — честно глядя и наступая Киму на ногу под столом, ответил взрывник. — Это пятый участок бахнул...

— Я тебе покажу пятый участок, — крикнул начальник, — инять, мы там были. Ты что, людей травить хочешь...

— А там людей нет поблизости, — тоже накаляясь, крикнул взрывник. — Я четыре забоя не успею в конце взорвать... Два взрывника положено... Я технику безопасности изучал...

— Вам ведь выписывают двойной наряд, — сказал Зон.

— Точно, — усмехнулся взрывник, — шея стала тоньше, но зато длинней... А если я впопыхах газу глотну... Или подорвусь...

— Ладно, инять, не кричи, — сказал начальник, — блестяшь своим золотым зубом... Парень, — обернулся он к Киму, — ты нам нужен, иди сюда...

— Пусть поест, — похлопал Кима взрывник, — я его на ваших забоях загонял...

Начальник и Зон пошли вперед, осматривая выработку.

— Ты жри, — пригнувшись, тихо шепнул взрывник, — ты не слушай... Тут вокруг одно начальство, некого на хрен послать...

— Что ты гнешь, — посмотрела на взрывника откатчица, — ты, парень, с ним компанию не води... Он тебя хорошему не научит. Он и хлеб матюком закусывает...

Ким торопливо дожевал, кивнул, поблагодарил и пошел к ожидавшим его поодаль начальнику и Зону. Они молча пошли вперед, и Ким пошел следом, полный тревожных предчувствий. Крепленная выработка кончилась, потянулись скалистые мокрые стены, освещенные редкими фонарями. Потом и фонари исчезли, это было вовсе глухое место, в темноте хлюпало, слышались шорохи отслаивающихся кусочков породы.

— За смену дядя Паша очистит забой, — сказал начальник, — бурить можно будет.

Голос его изменился, звучал гулко, словно в громадном зале.

— Да, — ответил Зон, — к концу месяца мы, Федя, пробьемся к качественной руде... Геологи говорят, как на сороковом горизонте залежь... Синяя... Семьдесят процентов железа... Вот тогда б выступил по радио...

— Не получится, — отозвался из темноты Федя, — выступление было к дате приурочено, инять...

— Полезли выше,— сказал Зон, посветив электролампой-надзоркой, которую он держал в руке,— тут лазейки должны быть...

Они полезли узким лазом, в который едва протискивалось тело, и оказались в выработке, вернее, тоже лазе, потому что здесь можно было только сидеть или ползком передвигаться. Ким привалился спиной к сырому кварциту, ему никак не удавалось удобно расположить ноги, он то подгибал их в коленях, то вытягивал так, что они упирались в противоположную стенку. Федя и Зон поставили свои электронадзорки на грунт. Лица их тонули в темноте, а животы были освещены.

— Я ради тебя, собственно, съехал,— сказал Федя. Ким узнал его по голосу, глуховатому, с хрипотцой, и по паузе, очевидно, начальник делал холостой пробег губами.— Инять,— сказал Федя,— я в следующую смену собирался ехать, а «хозяин» меня прямо дома по телефону разыскал и погнал за тобой... Ему твоя объяснительная срочно нужна...

Ким сидел, чувствуя нарастающую слабость.

— Мне «хозяин» велел подумать,— сказал он,— потом объяснительную.

— Значит, что-то изменилось,— сказал Зон,— райком, горком, кто-то там позвонил. Отец погибшего мальчика в газету написал, кажется... Конечно, «хозяина» сдвинуть трудно... Это лицо государственного масштаба...

— «Хозяин»,— крикнул Федя,— инять, «хозяин»... Знаешь, когда труп этого старого,— он замолчал, перевел дыхание,— ладно, не будем ругать покойника... Когда труп излекли, «хозяин» даже жену к нему не допустил,— в машину, и сразу на врачебную экспертизу... Установили признаки алкоголя... Бумажка есть... Теперь ему еще твоя бумажка нужна, парень... Что вы не вкалывали в запрещенном блоке, а так бродили... Экскурсия... И он чистенький... И он по радио выступал... А пацаны закопаны.

— Ты что ему советуешь,— сказал Зон,— ты что, и этого мальчишку угробить хочешь?..

— Ничего я не советую, Сеня,— тоскливо сказал Федя,— ну с мальчишками мы не знали, допустим... Рабочего наряда не было, как ознакомительную экскурсию оформили... А Гомжина-покойника помнишь?.. Который к приезду комиссии сбойку гнал... Это мы уже знали... Во всяком случае, предполагали возможный исход... А сегодняшний взрывник, он ведь прав... Это ведь, может, завтрашний покойник... В вентиляционную выработку, которую остановили, чтоб перебросить людей колупать руду... По воздуху план выполнять не надо... А легкие, иссеченные кварцитной пылью, ты

видал... Кровоточащие легкие хотя б по учебнику представляешь себе... Мы ведь с тобой, Сеня, технически грамотные сукины сыны...

— Чего ты хочешь,— сказал Зон,— заменят тебя... заменят меня... или посадят... Помнишь старичка из планового отдела, который министру написал... Он подсчитал потери от каждого рекорда в течение пятилетки... Когда в стахановские забой сгоняют порожняк со всего рудника и вагонетки там простаивают... Этого старичка я знал, он вообще был ненормальный... При обыске у него нашли куртку с царскими орлами на пуговицах... Кажется, еще у старого шахтовладельца работал.

— Подожди,— сказал Федя.

Он взял надзорку, приподнял ее и переставил. На мгновение осветилось его лицо, по которому скользнула тень козырька каски.

— Подожди,— повторил он,— ладно, инять... Его утопить надо, этого «хозяина»... Он же из раскулаченных... Я ж с ним в техникуме учился, с Петькой... Написать куда следует, инять,— неуверенно добавил Федя после паузы,— в органы...

— Милый,— сказал Зон,— он сам об этом в анкете написал... Он честный человек...

Помолчали.

— Над ним в техникуме все издевались,— продолжил Федя,— я его защищал... Он вшивый был, голодный... Стипендии не платили... Он всегда туповат был, да к тому ж сын кулака... Однажды я с гулянья ночью возвращался, на кухне его случайно застал... Он шкурки от сала собрал, которые отрезали и выбросили, ножиком их проткнул, над огнем газовой плитки держит. Посмолит, пока они мягче сделаются, и жует... Я хотел мимо пройти, на цыпочках, да он заметил... Мы с ним до утра просидели тогда, он мне жизнь свою рассказывал... Он малый был, его тетка забрала... А отец, говорит, сядет под плетнем, распухший, вши по нему ползают, ноги раскинет и бурьян жрет... А раньше еще, говорит, зимой пришел уполномоченный, пьяный, с гармошкой, ночью. Ну, говорит отцу, не хочешь в колхоз, выходи, танцуй босиком по снегу, может, откупишься... Начал уполномоченный польку играть, а отец босиком по снегу танцевать... Потом, говорит, этого уполномоченного посадили, и отец с ним в лагере встретился, даже подружились... Землячок... Первое время отец тетке писал... Рассказывает он это все мне, рассказывает, а сам посмеивается, и не то чтоб весело, а с издевкой какой-то над собой, или надо мной, или над отцом, не пойму.— Федя вновь пошевелился, переставил лампу, скользнул лучом вдоль

лица своего бледного, с прыгающими губами.— Сюда мы вместе приехали,— продолжал Федя,— Петька десятником по вентиляции работал, простудился, в чирьях был, в пластыре, зеленкой перемазан... Потом взял его военкомат на трехмесячную переподготовку. И что-то там случилось, не знаю. С переподготовки он сюда не вернулся, послали работать во «Взрывпром» почему-то. Из «Взрывпрома» через полгода на курсы повышения квалификации при тресте. Оттуда опять сюда помощником начальника транспорта. Приехал, никто не узнает. Уши еще, правда, не такие толстые были, но походка уже другая, Петра Иваныча походка. Выпрямился человек. Женился на бывшей секретарше старого «хозяина»... Назначили техноруком северного крыла. Потом старый «хозяин» в трест ушел... Появился новый «хозяин»... И все в каких-нибудь два года...

Ким сидел, запрокинув голову, левый бок его затек, и он начал медленно поворачиваться, подогнув колени. Рубец вдоль плеча, чувствовалось, крепко прилип к рубашке. «Отлепить можно теплой водой, дергая сантиметр за сантиметром,— подумал Ким,— или обрезать клоч рубашки вокруг...» Болел рубец не очень, только когда к тому месту прикасалось что-либо. Зато рубец вдоль поясницы болел и ныл беспрерывно, дремал ли Ким, шел ли, говорил ли... Там было мокро, и вокруг рубца постукивало, словно из-под кожи крошечными молоточками, набухало.

— Тихо,— сказал Федя,— сюда кто-то лезет.

Вход осветился, запрыгал огонь карбидки, и просунулась голова.

— Товарищ начальник,— сказала голова,— вас диспетчер срочно ищет, на участок звонил.

— Как ты меня нашел, инять? — спросил Федя.

— Нашел,— сказала голова,— я сам сюда иногда зазыкаюсь, сон придавить...

— Я тебе зазыкаюсь, инять,— сказал Федя.

Голова гыкнула и исчезла, вновь погрузив вход в темноту.

— Полезли,— сказал Зон.

Они спустились вниз и пошли.

— Ты, парень, со мной,— сказал Федя Киму.— Сеня, ты останешься на следующую смену? Тут главный геолог будет...

— Да,— ответил Зон,— скажи ребятам, пусть свезут нам из буфета бутерброды...

Диспетчерская располагалась в околоствольном дворе, рядом с медпунктом и телефонной станцией. Это было хорошо освещенное лампой дневного света помещение. На стенах

висели чертежи рудных залежей, схема вентиляции, схема откаточных путей, цветные графики, геологические разрезы и портрет Молотова. Диспетчер сидел у застекленного окна, так что ему виден был опрокид, где разгружались партии. Бесперывно вбегали сцепщики-люковые, выкрикивали:

— Третий учаток... Партия...

— Пятый участок...

— Первый участок... Синька... Полпартии надо приписать...

Люковые были прямыми потомками коногонов, парни все зубастые и хулиганистые, если не возникало конфликтов, они шли от диспетчера в околоствольный двор перекурить и пощупать откатчиц, которые накатывали в клетки вагонетки с породой. Если ж возникал конфликт, они скрипели зубами и, случалось, даже замахивались на девочку из ОТК, маленькую остроносенькую ругательницу, не уступавшую сцепщикам ни в чем. Когда Федя и Ким пришли в диспетчерскую, там как раз бушевал здоровенный сцепщик, весь расстегнутый: спецовка, телогрейка нараспашку, «молния» куртки опущена, рубашка вообще без пуговиц, сквозь рваную тельняшку видна мускулистая, грязная грудь.

— Подожди, Зинка,— кричал он,— притопаешь ты на танцы в Дом культуры, мы тебе шухер устроим...

Зинка, взъерошенная, злая, насакивала, растопырив ручки, довольно маленькие, с глубоко, по-детски обрезанными ноготками.

— Кавалер вшивый,— кричала она,— Алеша Вырви Глаз... Грязь вместо руды возишь...

— Зинка, иди на квершлаг долайся,— сказал диспетчер, прикрыл дверь, повернулся к Феде,— звонила секретарша «хозяина»...

— Понятно,— сказал Федя,— а где «хозяин», дома или в кабинете?..

— В кабинете,— ответил диспетчер,— велел срочно с ним связаться... Это кто?

— Это со мной парень,— сказал Федя и снял трубку.— Поверхность дайте,— сказал он,— «хозяина»... Да, Валя, это я... Да, здравствуйте, Петр Иванович. Да, парень со мной... Тот самый, который сбежал с экскурсии... Напишет, напишет...— Он замолчал, слушая.— Нет... Мы смотрели с Ниссензоном... к концу месяца... Нет, это приведет к потерям качественной руды... И техника безопасности... Я не против ударных темпов... Ниссензон, наверное, тоже не против... Не понял... Я не оглох, тут опрокид рядом...— Федя слушал, лицо его побледнело, по щекам расплылись красные пятна.—

Не понял,—сказал он резким, изменившимся голосом.— Ты слишком торопишься, Петька... Ты слова глотаешь...

Диспетчер посмотрел на Федю испуганно и удивленно. Федя сильно бросил трубку, вышел и зашагал так быстро, что Ким едва поспевал следом. Шли они долго, вначале ярко освещенным квершлагом. От ламп дневного света бетон был белым. На перекрестке часы показывали половину четвертого. Они пошли мимо красноватого бетона, освещенного лампами в колпаках, свернули и подошли к «слепой», прозванной так потому, что ствол с маленькой клетью не имел выхода к поверхности. Это был подземный лифт, связывающий горизонты. На бревнах у «слепой» сидел забрызганный грязью бурильщик.

— Давление упало,—увидев Федю, сказал он, подходя,— еле штырь вращается...

— Витя,—тихо сказал Федя,—ты сам разберись... Или позже ко мне подойди...

Бурильщик посмотрел на Федю и отошел. Федя и Ким поднялись в клетушке, пошли в выработку со стойками, обросшими грибом, с проржавевшими рельсами. Сильный ветер дул в спину, рябил лужи, покачивал фонари. Вдруг Ким остановился, узнал знакомое отверстие, лаз, вспомнил прутья, покрытые капельками смолы, полок с двумя досками: на одной сохранились остатки коры, вторая была с дырочкой от выпавшего сучка. И так захотелось ему спрятаться там, как в детстве он любил прятаться в шкаф.

— Чего остановился?—окликнул Федя.

Ким вздрогнул, двинулся дальше, все время оглядываясь и думая о дощатом полке. Они пришли в камеру подземного вентилятора, где по-прежнему пахло непросохшим бетоном и жареным салом, мелькали спицы маховика вентилятора и покачивались липучие ленты-мухоморы.

— Пахом,—спросил Федя машиниста,—ты этого парня узнаешь?

— Узнаю,—ответил машинист,—он с начальником за блоком тогда приходил...

— Ты помнишь, о чем начальник говорил?—спросил Федя Кима.

— Нет,—тихо ответил Ким,—я спал.

— Верно,—подтвердил машинист,—он спал...

— Ладно,—сказал Федя,—садись, пиши...

Федя достал из бокового кармана свернутую тетрадь, вырвал двойной лист в клеточку, положил на дощатый угловой столик, рядом положил самописку. Ким долго сидел, разглядывая пустой лист, прислушиваясь к шепоту Феди и машини-

ста, потом написал первую фразу, несколько раз прочитал ее, начал писать, не оглядываясь уж более, ничего не слыша. Он густо исписал оба листа, оставляя концами пальцев среди строчек грязные пятна-оттиски, и прикрыл глаза. Маховик уютно постукивал в теплой комнате, и возник сон, во время которого Ким одновременно бодрствовал, так как сильно болел рубец вдоль поясницы. Ким шел в родном городе, среди бульвара по крутой заснеженной улице, все убыстряя и убыстряя темп, потому что было очень скользко. Перед ним часто семенял человек, держа в руках громадную электрическую лампу, какие ввинчивают в прожектора. Человек балансировал этой лампой, как эквилибрист. Когда его клонило вправо, он судорожно выбрасывал в сторону левую руку с растопыренными пальцами, когда его клонило вперед, он для равновесия прогибался, выпячивая грудь. Наконец он как-то ловко изогнулся и стремительно упал, точно обманул собственное равновесие, собственный центр тяжести, и в падении этом ему удалось наконец разбить лампу о лед. Напряженное потное лицо его успокоилось, посветлело. Ким проснулся, очевидно, из-за рубца, который при виде острых осколков стекла занял сильнее. Федя стоял рядом и читал объяснительную.

— Ты ничего не напутал? — почему-то шепотом спросил Федя. — Ты подумал?

— Подумал, — тоже шепотом ответил Ким, — насчет ребят я не знаю... Я отдельно работал...

— Иди, — сказал Федя, — мы еще побеседуем... Иди, иди на участок...

Ким вышел. Ветер дул навстречу, потрескивала деревянная крепь.

— Слушай, — окликнул Федя, догнал, подошел вплотную, — ты сам откуда?

— Издали, — сказал Ким.

Они посмотрели в лицо друг другу.

— Ты учился там? — спросил Федя.

— Меня из университета выперли, — ответил Ким, чувствуя необходимость говорить много и словами заглушить растущее напряжение внутри, — во время собрания я вышел покаяться и вдруг произнес: «На каких помойках товарищ Тарасенко собирает эти сведения...» У меня была готова совсем другая фраза... Я даже не знаю, откуда эта взялась... Мы с другом готовили всю ночь мое выступление, репетировали... Думали, в худшем случае строгий выговор... И вдруг эта непредусмотренная фраза, она все погубила... После нее только идиот может каяться... Я уж дал себе волю, отговорился



в последний раз... Лес рук поднялся: исключить... Тарасенко для проформы спросил: кто против? Две руки поднялись: друга моего и парня не очень уж мне близкого... Простой сельский парень... Причем они не сговаривались, сидели в разных концах зала... Тарасенко усмехнулся, но когда народ расходился, я видал, лица у многих были неуверенные...

— Интересная история,— после паузы сказал Федя,— мы как-нибудь еще с тобой поговорим... Ты знаешь, где я живу? Я тебе адрес дам, ты заходи...— Вдруг он схватил Кима за плечи, и Ким локтями оттолкнул его руки.— Ты чего?— спросил Федя.

— У меня рубец,— морщась ответил Ким,— рубашка к крови присохла...

— Слушай, парень,— сказал шепотом Федя, пристально, неподвижно глядя Киму в лицо, и от напряженного сосредоточения этого мешки под Федиными глазами подергивало,— слушай, я, может, объяснительную твою «хозяину» не отдам... Я поеду с ней... В трест бесполезно, там у него опора... Я в горьком поеду... Или дальше, не знаю еще...

Федя замолчал. Они стояли среди пустого тусклого штрэка, конец штрэка тонул в темноте, лишь изредка освещался белым электроразрядом, очевидно, ветер замыкал провода электровозной откатки.

— Слушай, парень,— сказал Федя,— я, может, тебя тоже в пасть... У меня самого, правда, семья... Но это другой разговор... В общем, ты решай...

— Что решать,— спросил Ким, чувствуя почему-то нарастающую дрожь,— я написал, как было... Если надо, я товарищу Сталину напишу...

— До товарища Сталина не дойдет,— тоскливо сказал Федя,— они дело твое взяли в отделе кадров... Следовательно копается... Это я тебе между нами говорю... У тебя что там, непорядок какой-то?

— Все в порядке,— ответил Ким, ощущая каждую шероховатость рубца вдоль поясницы. Главное сейчас было выиграть время и добраться к полку в глубине гезенка.

— Ладно,— сказал Федя,— я пойду побеседую еще с машинистом. Ты заглядывай домой ко мне... Вместе подумаем...

Ким пошел, разглядывая штрэк, ужасно боясь пропустить гезенок, и, увидев отверстие, обрадовался. Он заглянул в темный лаз, вдохнул сырость и ясно, отчетливо понял, что лезть туда нельзя. Однако именно из-за этой ясной отчетливости он одновременно понял, что обязательно сейчас полезет. Ким опустил внутрь ноги, нащупал скользкие горизонтальные

стойки, уперся плечами в кварцит. Голова его еще некоторое время торчала покачиваясь, пока он протискивался меж провисшими глыбами, потом и она исчезла, поглощенная гезенком. Он полз в крошечной мокрой тьме, но в том месте, где он проползал, гезенок оживал, лампа на каске его освещала гниющие деревянные распорки, остатки резинового кабеля, разбитые колпаки погасших светильников. Давно должны были начаться лестницы, однако все не начинались, очевидно, их сняли для других надобностей, исчез знакомый лестничный прут с капельками смолы, исчезли и доски полков. И все-таки Ким чувствовал себя спокойней, точно после долгих мытарств, оставшихся теперь далеко позади, он вновь возвращался в родные места, пусть изменившиеся за время его отсутствия, и проблемы, еще недавно казавшиеся главными в жизни, которые, казалось, определяли вообще его существование, здесь, на семидесятиметровой глубине, вызывали только улыбку.

Он мягко прыгнул на грунт знакомой выработки, вращая головой, скользя лучом, осмотрел ее. Выработка была завалена глыбами, однако неравномерно, были места, где глыб вовсе не было. Сохранилась и деревянная стойка, обросшая белым грибок. Знакомая продолговатая глыба по-прежнему лежала, придавив лебедку. Ким пригнулся, навалился грудью, тяжело дыша, охватив глыбу и приподняв, рывком сбросил с лебедки в сторону. При этом концы шарфа вырвались из воротника, и он заправил их привычным движением. Он нащупал молот-балду, пригнувшись, пошел в глубину забоя, уселся, опустив лицо меж поднятых колен, вдыхая запахи дышащей камеры. Ким подполз к камере и заглянул внутрь. Чувство бездны опять овладело им. Состояние его напоминало небольшой промежуток между сном и явью, осязаемый лишь изредка, и то натурами впечатлительными, когда человек существует как бы в двух пространствах, и ощущение это настолько остро, мозг живет так жадно, что кажется, в эти мгновения ты себя полностью изживаешь, добираешься до истин, которые стережет смерть. Обессиленный и успокоенный, он удобно лежал рядом с осколками громадной лампы, и приятная боль в рубце вдоль поясницы, в набухающем рубце, ставшем крайне необходимым органом восприятия, органом, соединяющим явь и сон, успокаивала его и позволяла наблюдать за собой со стороны. Поэтому он спокойно, продолжая лежать, понесся заснеженным бульваром. У поворота стояли люди, не решаясь двигаться дальше, и за поворотом бульвар был пуст, сверкал льдом.

— Не ходи, угробисься,— сказал Киму Колюша.

Ким усмехнулся, потрогал рубец и пошел быстро, напрягая мускулы ног, сохраняя равновесие. Дорогу преградили какие-то бревна, соединенные цепями. Киму удалось миновать их, однако за счет потери ритма.

Дальше он несся все быстрее, с ужасом чувствуя, что уже не владеет собственным телом. Слева от него мелькнул, уплывающая, летний пейзаж: очень синее небо и желтые от заходящего солнца дома. Теперь он надеялся только на рубец. Боль в рубце была еще недостаточной, чтоб спасти, но набухала, и это внушало надежду. Наконец боль достигла такой силы, что Ким вскрикнул и проснулся. Во сне он повернулся на спину, очевидно, метался и прижал рубец сдвинувшейся металлической коробкой электроламповых батарей. Ким сел, отплеываясь кислой слюной. Где-то далеко глухо ударило. Ударило вновь уже поближе. Потом начало бить часто, то ближе, то дальше. Ким догадался, что смена кончилась и взрывники рвут забои. Сейчас шахта пуста, электровозы замерли, и по вентиляционным выработкам ползет отсасываемый вентиляторами ядовитый газ. Ким встал, полный странных радостных предчувствий, внезапно им овладевших, и, напрягшись, понял, что радость эта была порождена предчувствием вкуса свежих глотков воздуха, которым он жадно наестся там, наверху, среди падающих хлопьев снега. И понял, что самые страшные минуты в его жизни были не стыдной ночью у Кати, и не когда он бескорыстно обливал грязью своего незнакомого отца, и не в Доме культуры перед вереницей гробов с мальчиками, и не в кабинете перед следователем и «хозяином». Самыми страшными минутами были сегодняшние, рассветные, вызвавшие омерзение и ненависть к воздуху, деревьям и звездам, так как они, подытожив все, лишали его права на существование. «Это эффект движения,— подумал Ким,— мне стали мерзки звезды и деревья, а я стал им мерзок».

Любовь к окружающему миру, к существованию, пусть подсознательная, есть последняя опора человека, и, когда природа отказывает ему в праве любить себя, любить воздух, воду, землю, он гибнет. И чем чище и нравственней человек, тем строже с него спрашивает природа, это трагично, но необходимо, ибо лишь благодаря подобной неумолимой жестокости природы к человеческой чистоте чистота эта существует даже в самые варварские времена.

Ким опять присел, не сделав еще и шага, чтоб немного передохнуть, устав от радости колотящегося сердца, от пробуждавшихся сил внутри, слабой рукой прикоснулся он к мокрым от слез глазам, ему казалось, тело его сковано сладкими мучениями полного обновления, и центром этих мучений

был рубец вдоль поясницы. Мечта о глотке свежего воздуха, возвращенная ему сейчас, была высшей наградой и высшим прощением.

Ударило совсем уже близко. Потом начало бить так сильно, что в глубине забоя глыбы сдвинулись, и в камере послышался вибрирующий шепот. Горьковатый запах миндаля коснулся ноздрей, и Ким бессознательно вдохнул глубоко, с наслаждением. Вдох вызвал сладостное и вместе с тем леденящее ощущение глубокой пустоты, от которой голова пошла кругом и замерло сердце. Все это длилось не более нескольких мгновений. Ким вскочил, шагнул слабыми ногами, и луч электролампы осветил оранжевый туман, выползающий снизу, из щели. Туман, казалось, стоял неподвижно, но густо, отрезая вдох и слабо шевелясь. С похолодевшей спиной Ким разглядывал его, силясь собрать воедино мысли, чтоб что-то решить. Когда Ким наконец на чем-то сосредоточился, еще, правда, неясно, то заметил: туман уже поглотил стойку. Течение воздуха в выработке было слабым, однако это только могло оттянуть время, так как Ким находился в каменном мешке, щель, через которую он когда-то выбрался, была плотно завалена глыбами.

Туман подползал, неторопливо клубясь, как бы играя со своей жертвой, дыхание его было по-прежнему с запахом миндаля, но до того сгустившимся, что от тошноты выворачивало внутренности. Рот Кима наполнился голодной слюной, горло жадно глотало, похрустывая, поглощая вдруг возникшие в мираже ломти свежего воздуха. За долю секунд этого блаженного миража Ким поплатился сильным кашлем, изорвавшим ему грудь и глотку. Слегка отдышавшись, он увидел туман у своего лица. Туман этот жил какой-то своей осмысленной жизнью. Он состоял из множества клубков, постоянно перемещавшихся, двигавшихся, казалось, согласно установленному распорядку по фронту, безликих, исчезающих у стенок выработки в желтоватых завихрениях. Кашель согнул Кима, опустил на корточки, теперь, отдышавшись, он встал, прикрыл лицо полами спецовки, зажал правой рукой ноздри, сжал рот и кинулся в туман, словно слепой, вытянув левую, свободную руку, чтоб добраться к выходу. Он погрузился легко, и ему казалось, он уже у отверстия, однако короткая боль в животе исторгла всхлип, разжавший губы, и, потрясаемый изнутри, он отпустил ноздри и по-птичь взмахнул руками. Ким очнулся, лежа на куче мягкой руды в глубине забоя, рядом со скребком, покосившимся, глубоко в эту руду погруженным. Руда была высокого качества, поблескивала синим огнем под лучом электролампы. Это бы-

ли остатки, которые Ким не успел выгрести в ту предновогоднюю смену. Но Ким не думал ни о чем, даже о том, что ему не удалось прорваться сквозь туман к отверстию. Он просто дышал, и вдохи эти, прерываемые частым кашлем, приносили наслаждение. Остатки теплого грязного воздуха, скопившиеся в забое, уже пронизанные запахами тумана, но все-таки еще от него свободные, жадно захватывались губами, проникали в голодные легкие.

Вдруг в последнем приступе бешенства, встряхнув головой, сжатой чугушной болью, Ким ударил ногой по неуклонно наползающему оранжевому месиву, жрущему последние свободные метры. Нога погрузилась в нечто лишенное плоти. Тогда Ким потушил электролампу и, съевшись, начал торопливо дышать, досадуя, что, забывшись, израсходовав слишком много сил и времени на глупый удар ногой, потерял по крайней мере полдюжины вдохов. Как скупой, он кусал, не успевая проглатывать, последние крохи воздуха. И когда подползло в темноте, схватило за горло, он вспомнил Колюшу. «Веревочку,— мелькнуло,— надо кинуть веревочку».

Перевернувшись на живот, извиваясь, захватывая ртом влажную жирную руду, он шарил по карманам, выискивая платок, прикоснулся к шее, сорвал шарф, сунул его вниз под себя, разрывая пуговицы на брюках, ощутил ладонью мокрую живую теплоту, торопливо прижал к губам, к лицу потяжелевшую от мочи ткань. Это принесло облегчение недолгое, однако достаточное, чтоб, преодолев судороги, сжавшие тело, поползти и почувствовать склизкие бревна, перекрывающие камеру. Над камерой клубился туман, и Ким просовывал голову глубже и глубже, словно в польню, пробиваясь сквозь лед к воде. Мелькнуло видение воробья с ужасом в глазах, с желтеньким раскрытым клювом. Подумалось: если полететь, то не умрешь посиневши, а просто исчезнешь в бездонной глубине. Ким жадно вдохнул сырой воздух камеры, припал к нему губами и полетел, в последнее мгновение пытаясь ухватиться за бревна, исторгнув крик, давно назревший, еще перед спуском в шахту, забытый, но не исчезнувший, терпеливо ждавший своего времени. Ким ударился и потерял себя, однако не надолго. Он лежал на выступе, медленно сползая, чтоб падать дальше, и левая рука его по инстинкту скребла ногтями гладкий мокрый камень, бесполезно пытаясь уцепиться. Тело его, подобно телу висельника, которое в первое мгновение вытягивается, стремясь нащупать твердую опору, еще боролось, оно еще не признавало безысходности, которую уже понял мозг. Он пытался пошевелить правой рукой, но она была сломана либо вывихнута. Тогда он

поднял левую руку, усилием воли отодрал от спасительного камня, хоть понимал, что это ускорит падение, и начал искать слабо повинующейся рукой свою голову. Он нащупал вязкую грудь и, ориентируясь от нее, полез пальцами вверх к шее и далее, перевалив через подбородок с узлом от привязанной к голове каски, нащупал губы, нос, глаза, ногтями царапнул твердую поверхность каски, скользнув по стеклу, зажег электролампу. Оранжевый ядовитый туман, бессильный достать его, проползал над бревнами, поднимался медленно куда-то вверх. Ким сорвался и, чертя лучом лампы полосы вдоль открытых сырыми наростами стен, полетел дальше, весь живя в своем крике. Он упал на выступ, расположенный глубже, и опять медленно заскользил с мокрого камня. У него не было уже ни имени, ни прошлого, исчез и страх, тело его, вязкое от грязи и крови, с переломанными костями, торчащими сквозь лопнувшую спецовку, умерло, но мозг еще был человеком, человеком вообще, для которого понятия тоски, надежды и радости слились с чисто внешним движением. Падая, он испытывал тоску по неподвижности, а полежав доли мгновения в радости, он начинал испытывать тоску по полету и надежду, которая сбывалась. Так опускался он все глубже, и мозг его наконец тоже умер как человек, но жил еще доли мгновения как простое неразумное существо, приспособившееся к своему состоянию и реагирующее на световую полосу, мелькающую в вечной тьме. Потом то, во что он превратился, погрузилось в довольно мягкий слой руды, устилавшей дно пятидесятиметровой камеры, упало с небольшим опозданием, следом за грязными сгустками, потревоженными, сорванными с последнего уступа, и на мертвой, запрокинутой голове, менее всего пострадавшей, еще много часов горела электрическая лампа, потому что батареи были новые, недавно заряженные.

Последняя надежда Кима: исчезнуть — не сбылась. Его выудили через восемь недель, когда выпускали из камеры остатки руды. Увидав в отверстие люка ком грязи, сквозь который торчали концы пальцев, люковой вначале растерялся и струсил, но поскольку он был разбитной и опытный парень, то быстро оправился, смекнул, в чем дело, сбегал к телефону и позвонил диспетчеру. Труп сильно распух и не пролезал в отверстие. Тогда вызвали двух крепильщиков, и они, согласно выписанному наряду, сбили люк, чтоб хлынувшая в образовавшийся лаз руда не пересыпала штрековых путей, электровоз сдал партию назад, подогнал хвостовую вагонетку, и труп шлепнулся туда вместе с потоком мелких обломков и неко-

торым количеством красноватой воды. Людям, стоявшим вокруг, приходилось многое видеть в жизни, но на этот раз покойник был слишком обезображен падением и продолжительным пребыванием в камере. Даже люковой, хулиганистый малый, человек не чувствительный и не сентиментальный, сморщился, провел рукой по грязной груди, вываливающейся из рваной тельняшки, и почему-то застегнул «молнию» курточки.

Вместе с медбратом они вытащили скользкий труп и положили его на носилки. Медбрат сунул ножницы под земляной подбородок покойника, обрезал тесемки и снял каску вместе с электролампой в ржавой оправе, оставив покойника в ватном подшлемнике. Пряжка пояса тоже заржавела, медбрат перерезал и брезентовый пояс, вытащил погнутую коробку с ламповыми батареями и все это: лампу, каску и коробку — положил в ногах покойника. Подогнали открытую вагонетку-«козу», сгрузили с нее доски, поставили носилки, прикрыли брезентом, и медбрат с люковым, пригнувшись, покатали «козу» к вентиляционному стволу. В околоствольном дворе вентиляционного ствола по-прежнему было пусто, гулко и мокро, торчали доски и куски жести, валялась все та же погнутая буровая штанга и оторванная штанина комбинезона. Те же три ржавые вагонетки старого образца, наполненные превратившейся в жидкую грязь низкосортной рудой, преграждали путь к клетевой части ствола, и, подкатив «козу» вплотную к вагонеткам, медбрат с люковым сняли носилки, понесли их в клеть, уже ждавшую внизу, потому что машинист подъемника был предупрежден диспетчером. Клеть поднялась, проделав в две минуты путь, забравший когда-то у Кима столько времени и сил. Люковой ударом ноги открыл дверь, прижатую снаружи атмосферным давлением, носилки вынесли и поставили примерно в том месте, где, лежа на спине два месяца назад, Ким созерцал падающие хлопья снега. Люковой, очень кстати выехавший пораньше, так как у него были какие-то срочные дела, пошел к быткомбинату мыться, а медбрат уселся подальше от носилок, но с таким расчетом, чтоб видеть их, и в ожидании санитарной машины вынул бутерброд: черный кусок хлеба и тонкий кусочек свежей булки сверху. Подобный бутерброд — хлеб с булкой — медбрат любил больше, чем хлеб с колбасой, особенно если булку слегка поджарить.

Всю последнюю неделю февраля то наступала оттепель, то бушевали метели. Снег промерз в несколько слоев. Во время оттепели сугробы оседали, потом их охватывало ледяной коркой, покрывало новым слоем, в свою очередь оседавшим и леденевшим. Сегодня к утру погода улучшилась, хоть,

чувствовалось, ненадолго, потому что весь горизонт был плотно забит низкими тучами, предвещавшими ненастье. Однако сейчас небо очистилось почти полностью, приобрело совсем весенний голубой цвет, ветер исчез, изредка лишь напоминая о себе легкими короткими дуновениями. Выкатилось солнце, сразу изменив облик мира, придав даже замерзшим комкам грязи праздничный вид. Смерть страшной лобых земных мук, и это особенно наглядно в такие солнечные минуты, ибо даже в гнойных язвах, с внутренностями, изъеденными раковой опухолью, искалеченный раскаленным железом, терзаемый стыдом, унижением, болью по невозвратному, человек, очнувшись или забывшись, в промежутки между пытками или приступами боли, физической ли, нравственной ли, в течение часа или долей секунды, а это не важно, потому что время условно, может увидеть либо представить себе родные ему лица, глотнуть свежего воздуха, наконец, просто лечь поудобнее.

Медбрат доедал хлеб с булкой, щурился, чувствуя ягодицами нагретое, просохшее бревно. Время от времени он кидал камушки в ворон, привлеченных к носилкам трупным запахом. Показалась санитарная машина, затормозившая вдали у здания подъемника, так как к зданию над вентиляционным стволом подъезда не было. Из машины вышли шофер и санитар. Оба держали в руках газеты и, жестикулируя, говорили что-то вышедшему им навстречу машинисту подъемника. Медбрат ждал, что санитар подойдет, поможет перенести в машину носилки, но тот все размахивал руками вдали, не проявляя интереса к своим прямым обязанностям. Медбрата это начало раздражать, он поднялся и сам пошел к суетящейся группе, готовясь обругать санитаря, однако тоже застрял возле машины, начал вырывать газету, и движения его стали такими же лихорадочными. Минут через десять шофер напомнил им о носилках. Они рысцей подбежали, схватили торопливо, едва не вывалив покойника, рысцей вернулись, воткнув носилки наспех, плохо закрепив, и, когда машина поехала, покойник начал биться о борт то головой, то ногами, ерзая на ухабах. Вскоре потускнело от напозвших с горизонта туч, повалил мокрый мартовский снег. Хлопья не кружились в воздухе, а падали тяжело, вертикально, редкими, но большими комками. Потом сорвался ветер, и комки сразу превратились в мелкую ледяную крупу, больно хлеставшую. Оттаявшие было окна больницы, во двор которой въехала машина, начало подмораживать.



---

## РАЗГОВОР

Они пошли в ресторан-поплавок, расположенный неподалеку, и сели у самой ограды со спасательными кругами, канатами и декоративными якорями. Маленький оркестр играл на возвышении, напоминаящем капитанский мостик. Оркестранты были в белых пиджаках с поперечной черной полосой.

— Морской джаз,— сказал какой-то торговый моряк с бакенбардами, обращаясь к Гале,— вся душа в рябчик...— Он подмигнул, выпил рюмку водки и начал торопливо есть дымящуюся рыбную уху.

Илья Андреевич заказал суп-пюре из дичи, мясо было слегка обжарено и приправлено яйцом.

Запахи свежего крахмального белья, вкусно приготовленной еды и моря опьяняли, делали все вокруг похожим на здоровый, покойный сон. Илья Андреевич и Галя выпили по рюмочке коньяка.

— Я тебя сейчас покормлю,— сказала Галя. Она взяла суповую ложку и начала разливать суп из дымящихся металлических мисочек в тарелки, разрисованные синими якорями.

На второе был поджаренный сыр, посыпанный измельченной зеленью, густо политый растопленным сливочным маслом и с гарниром из овощей. Его подали на блюде, укрытом сверху никелированным колпаком.

Илья Андреевич с наслаждением следил, как официант ловко орудует маленькими плоскими совочками, поддевая кусочки сыра и овощей и раскладывая их по тарелкам.

— Надо выпить,— сказал Илья Андреевич.

Он налил себе и Гале еще коньяку, они чокнулись.

— За любовь и здоровье,— сказал Илья Андреевич,— это единственное, что принадлежит каждому из нас лично... Это

наш приусадебный участок... Все же остальное: труд, талант, все это принадлежит не лично нам, а обществу... Все это колхозное добро... Наверное, это и главное... Но иногда хочется посидеть на приусадебном участке... Организм человека всегда будет нуждаться в одиночестве... Это не беда, а благо... Так же, как сон, одиночество восстанавливает силу для жизни, для труда... Но оно требует души, оно требует нравственной чистоты, так же как здоровый сон требует чистоты физической... Неинтересные, убогие люди боятся одиночества вовсе не потому, что общительны, а потому что оно раскрывает им собственную мизерность... Они прячутся от собственной ничтожности в толпу...

— Навага,— сказал торговый моряк за соседним столом, вытаскивая из ухи оброненный им туда носовой платок,— навага — рыба семейства тресковых... Добывается зимой во время подхода к берегам для икрометания.— «Икрометание» он произнес протяжно, словно какое-то значительное слово на иностранном языке.— Различают навагу северную, добываемую у побережья Белого, Баренцева и Карского морей, а также в устьях рек, в них впадающих... Навагу тихоокеанскую вылавливают в Чукотском, Беринговом, Охотском и Японском морях...

Моряк считал, загибая пальцы и разглядывая их с преувеличенным вниманием.

Джаз заиграл что-то меланхолическое, несколько парочек задвигалось по дощатой палубе.

— Ты меня с логики не сбивай,— неизвестно кому говорил моряк.

Потом он встал и пригласил Гаю. Илья Андреевич не успел опомниться, как Галя уже танцевала с моряком, и Илья Андреевич совершенно забыл, как это случилось. Возможно, он даже сам сказал «пожалуйста». Он сидел, мучимый неясным еще, но неприятным чувством, и смотрел, как моряк водит своими огромными ладонями по острым Галиным лопаткам, а Галины пальчики, как бы молча одобряя это, покойно лежат на тяжелом моряцком плече, обтянутом белым кителем.

— Твоя рука, Галя,— сказал Илья Андреевич,— слишком доверчиво дремлет на чужом бушлате...

Но Галя не обернулась, впрочем, в тот момент она с моряком кружилась довольно далеко, медленно приближаясь, моряк что-то говорил Гале, а она слушала его, запрокинув голову.

— Северная навага,— тихо говорил моряк, улыбаясь радостно и нежно,— северная навага, особенно мезенская, счи-

тается наиболее вкусной, у нее нежное, нежирное мясо... В массовых уловах она достигает шестнадцати — двадцати восьми сантиметров длины и сорока — двухсот грамм веса...

— Сядь, Галя,— сказал Илья Андреевич, когда она с моряком проплыла так близко, что, увлекшись, даже зацепила столик, и на нем сейчас качалась, ударяясь о тарелку, суповая ложка.

Не дожидаясь, что ответит Галя, Илья Андреевич встал, взял ее за руку, повел и посадил рядом с собой.

Моряк несколько секунд оставался в некоторой растерянности, не ожидая, видно, такого оборота событий. Потом он приблизился, похрустывая суставами пальцев, и сказал, вежливо покраснев:

— Извините за грубость, танец еще не кончился...

Тогда Илья Андреевич вскочил, схватил моряка об руку и быстро повел его куда-то, лавируя между столиками. Моряк шел, держа руки в карманах, скорее от удивления, ибо был он на голову выше Ильи Андреевича и широк в плечах... Они пришли в какой-то закоулок, где был сильный запах обеденных помоев и из открытых окон тянуло жаром, слышался стук ножей и визжание картофелечистки. Возможно, эта обстановка и повлияла на моряка, добродушие его исчезло, и из кармана он вынул не ладонь, а кулак.

— Этот кулак видишь?— спросил он Илью Андреевича.

— Вижу,— слукавил Илья Андреевич, ибо не видел он ни кулак, ни самого моряка, а также не видел окружавшую обстановку, все погружено было в легкое хмельное марево.

— Совершенно произвольно, независимо от постороннего мнения, выбери для этого кулака любую точку на своем теле.

Марево начало рассеиваться.

— Ах, вы меня бить хотите,— догадался Илья Андреевич,— тогда не в лицо... Куда-нибудь в грудь, что ли...

— Ты баптист?— тревожно спросил моряк.

— Нет,— сказал Илья Андреевич.

— Слушай,— приблизившись вплотную, почему-то быстрым шепотом заговорил моряк.— Ну к чему тебе эта девушка... Ну сидишь ты с ней рядом, суп хлебаешь... А я как посмотрел на нее, сердце затихло... Я, может, такую больше и не встречу... Никогда в жизни... Понимаешь, старичок, вот жизнь кончится, и никогда... Мы в рейс уходим... Ты знаешь, какие сны морякам снятся?.. Эх, только моряк знает, что такое женщина... Нет ничего дороже ни на земле, ни на море... Уступи...

— Не могу, краснофлотец,— грустно сказал Илья Андреевич,— люблю я ее.

— Тогда я тебя бить буду,— уныло сказал моряк.

— Ничего,— как бы успокаивая собеседника, сказал Илья Андреевич.— Я выдержу. Давай, начинай.

— Сволочь ты,— злобно сказал моряк,— интеллигенция. Всех вас надо шваброй протереть. У, зараза...— Он замахнулся и вдруг притих, привалился к поручням.

Несвежие прибрежные волны плескались о борт ресторана-поплавка, волоча размокшие помидоры и картонные цветные коробки из-под макарон. Чайки с жадными воплями носились вокруг ресторанных отбросов. Вдали, красиво освещенный заходящим солнцем, шел парусник с розовыми парусами. Где-то в глубине кухни посудомойки гремели посудой и пели. Потом одна сказала:

— Мне вчера Ашотик письмо прислал. Вот послушай.— Она пошелестела бумагой и прочла: «Валя, ты сломала крылья голубя моего сердца».

— Он артист?— спросила подруга.

— Нет,— ответила Валя.— Он армянин из физкультурного техникума.

— Дуры,— сердито сказал моряк,— давай отойдем, что-то спросить я у тебя хотел.

Они с Ильей Андреевичем отошли еще дальше, где стояла ресторанная тара — ящики и бочки.

— Я в газете читал,— сказал моряк, усаживаясь на бочку,— вроде к Земле астероид Икар летит. И вроде бы пятнадцатого июля 1968 года он в Землю врежется силой взрыва тысячи водородных бомб. Ну, а внизу опровержение напечатано: вроде мимо пролетит. Но в том-то и заковырка. Выходит, мы случайно живы останемся... Я пьян, и силы во мне так много, что ума не хватает. Но вот ты умный, ты мне скажи, как же жить, если не жить сегодняшним днем? Где гарантия, что, например, в 1971 году он снова пролетит мимо?.. А если так, то какая разница, что вот ты умный, а я дурной?

— Я отвечу тебе, матрос,— сказал Илья Андреевич, встав на цыпочки и глядя на матроса сверху вниз.— Было время, когда города окружали стенами. Затем это делать перестали, не потому что исчезли страх и опасность, но потому что опасность стала настолько велика, что стены уже не защищали, а, наоборот, делали людей более беспомощными именно в силу своей бесполезности. Иными словами, они служили лишним напоминанием беспомощности перед опасностью. Наше время — это время быстрых перемен. Может, еще при нашей жизни глупость и невежество окончательно перестанут служить

защитой и станут невыгодны. Как ты будешь жить сегодняшним днем, матрос? Что это такое практически? Двенадцать часов по циферблату? Три килограмма жареной телятины и ящик пива, две пачки сигарет, противоположный пол? Живое и неживое состоит из одних и тех же химических элементов. Ты помнишь химию, матрос? Но живое от неживого отличается тем, что способно менять свои размеры и формы с помощью растяжения и сжатия. Равные отрезки времени мертвы, как камни. Мечта растягивает время, воспоминания сжимают его. Вчера и Завтра делают живым и непохожим наше Сегодня. Все астероиды будут пролетать мимо Земли, пока человек не научится ждать своего Завтра.

Оттого, что Илья Андреевич долго говорил, виски у него взмокли, в горле першило, к тому же слегка подташнивало от запаха гнилой капусты и мокрой древесины.

— Пойдем отсюда, здесь какая-то свалка,— тихо сказал Илья Андреевич.

— Пойдем,— сказал заплетающимся языком матрос,— ты мне теперь как брат. Ты меня сагитировал. И насчет астероида ты меня успокоил... Ты только честно признайся, может, ты все же баптист?

Они пошли обнявшись и встретили Галю, которая искала их с тревожным лицом.

— Он думает, что я баптист, Галя,— сказал Илья Андреевич.— Какой же я баптист, если знаю, что в нашей Галактике сто тридцать пять миллиардов звезд и шестьсот тысяч из них похожи на нашу Землю.

— Это верно,— сказал матрос.— Я понял, мы такие ничтожно мизерные в этой проклятой астрономии, что должны все друг дружку телами греть, словно нас в открытое море унесло. Иначе не выживем...

---

## ИСКУПЛЕНИЕ

### 1

Мать сидела на табурете, привалившись спиной к столу, и красными от мороза руками стаскивала кирзовый сапог. Всякий раз, когда мать, придя с работы, начинала стаскивать сапог, Сашенька замирала, глотая слюну, с колотящимся сердцем ожидая лакомых кусочков. Был последний день декабря сорок пятого, уже начинало темнеть, и Ольга принесла из кухни копилку.

То, что их жилища Ольга была дома, сердило Сашеньку, она знала, что Ольга не уйдет к себе на кухню, а будет торчать у стола, пока мать не даст и ей что-нибудь.

Мать левой ладонью схватила себя за согнутое, обтянутое ватными штанами колено, держа ногу на весу, а пальцами правой руки, упираясь в задник, тянула изо всех сил. Сапог упал, и из портянки посыпались на пол смерзшиеся куски пшенной каши. Мать подобрала их и сложила в заранее приготовленную тарелку. Она развернула портянку и достала тряпочку с котлетами. Было четыре котлеты: две совсем целые, подернутые хрустящей корочкой, две же были примяты ступней, и мать аккуратно сложила их на тарелку кусочек в кусочек. Затем она потянула ватную штанину и начала отстегивать пришпиленный булавками к чулку промасленный мешочек. Сладкий волнующий запах защекотал Сашенькины ноздри, под ребрами защемило, и она сглотнула слюну. Ольга тоже сглотнула слюну, да так громко, что в горле что-то хрустнуло, и Сашенька посмотрела на нее со злобой.

Сашеньке было шестнадцать лет, и была она довольно милостива, но когда начинала сердиться, а сердилась Саше-

нька часто, бледное личико ее покрывалось румянцем, глазки блестели, губки иногда вытягивались вперед, а иногда приоткрывались, обнажая мелкие аккуратные зубки. Сашенька страдала, но где-то в глубине души испытывала и удовольствие всякий раз, приведя себя в такое состояние.

Ольгу Сашенька ненавидела так, что случалось, от гнева начинал болеть затылок.

Ольге было лет тридцать восемь, но выглядела она старше. Это была тихая, покорная женщина, однако покорность ее временами переходила в наглость, так как, не помня и не чувствуя обид, она не знала и стыда. Работала она по-дому, мыла полы, стирала белье, по воскресеньям и церковным праздникам ходила на паперть и потом сортировала у себя за ширмой медяки, черствые куски пирога, застывшие вареники из черной муки. У Сашеньки с матерью Ольга поселилась тоже благодаря своей покорной наглости. Однажды она пришла работать: вымыла пол, принесла из сарая два мешка торфа, потом легла за печь и уснула. Был морозный ноябрьский вечер, а на Ольге были рваные чулки и галоши, подвязанные бечевкой. Мать ее пожалела, не стала будить. К утру Ольга расхворалась, кашляла, тяжело дышала. Дня через два кашель прошел, однако Ольга так и осталась жить за печью на кухне. Постель ее состояла целиком из вещей, днем на нее надетых. Под низ она подстилала две юбки, солдатскую гимнастерку, солдатскую байковую рубаху, телогрейка заменяла подушку, а платок — одеяло. В общем, с одеждой у нее обстояло неплохо, туго было с обувью, в одних галошах ломило от мороза пальцы, хоть она кутала ноги тряпьем и бумагой.

Но еще более Ольги ненавидела Сашенька ее ухажера Васю, которого Ольга подобрала где-то на паперти замерзающего и тоже привела в дом. Вася был крестьянин высокого роста с широкими, как лопата, руками, волосатыми ушами и толстой тяжелой шеей. Но глазки на его лице были маленькие, линия голубые, всегда испуганные и просящие.

— Как же так, Ольга? — сказала мать. — Как же ты человека в чужой дом поселяешь?... А может, он вор или заразный...

— Нам до весны, хозяйка, — отвечала Ольга, отпаивая Васю кипятком, — Христа ради, хозяйка...

Вася так замерз, что не мог говорить, лишь испуганно косился на мать и с мольбой смотрел на Ольгу, точно прося, чтобы она его защитила. Вася остался.

Сашенька после узнала, что сбежал он из села, где соседка, как сказала Ольга, по злобе написала на Васю бумагу, будто он служил в оккупацию полицаем. Вася был совсем тихий, ти-

ше Ольги, и если не ходил на заработки, то сидел на кухне за ширмой, которую им дала мать. Ольга поставила в своем уголке круглый столик, весь ноздреватый, изъеденный древесными червями, Вася из досок сколотил скамеечку, на стену они повесили бумажные цветы, иконку и портрет маршала Жукова, вырезанный из газеты.

Пока мать снимала с ноги промасленный мешочек, Сашенька с тревогой думала, на заработках ли Вася, или он сидит за ширмой. В мешочке оказались пончики.

— Это по случаю Нового года,— сказала мать.— Для комсостава пекли...

Мать работала посудомойкой в милицейской столовой, и потому руки у нее были красные, распаренные кипятком из кухонных чанов, а на морозе они краснели еще сильнее и опухали в суставах.

Сашенька смотрела, как мать достает пончики, раскладывает по тарелке, и красные, распухшие пальцы ее теперь лоснились от жира. Пончиков было семь. Мать сложила их кружком вдоль ободка тарелки и облизала с ладоней мазки повидла. Сашенька прикоснулась к пончику, он был еще теплый и такой мягкий, что палец сразу утонул в нем, а изнутри полезла колбаска повидла.

— Подожди,— сказала мать.— Сперва кашу и котлеты разогреть надо... Ольга, вот тебе с Васей.— Она положила на другую тарелку целую котлету и несколько кусочков от раздавленной. Котлета эта была с одного бока несколько пережарена, но Сашенька любила погрызть такую хрустящую мясную корочку. К котлете мать добавила три комка каши, затем, подумав, добавила еще комок.

— Вася,— радостно сказала Ольга.— Ты выходи, Вася, хозяйка угощает... Пожируем...

Вася вышел из-за ширмы, но в комнату не вошел, остановился на пороге. Сашенька почувствовала, что у нее начинает учащенно колотиться сердце.

Мать взяла два пончика и положила их на Ольгину тарелку.

— Угощайся,— сказала мать.— Первый год без войны встречаем...

Мать улыбнулась, и Вася тоже улыбнулся. От него исходил кислый запах, какой бывает в неопрятном бедном жилье. Сашенькино сердце понеслось так, что дух захватило, точно Сашенька бежала с крутой горы и не могла остановиться.

— Пусть он уйдет,— крикнула Сашенька.— От него воняет... Когда я у стола... Пусть он всегда... За ширму... И она...



Вася затих на пороге, пригнув голову, а Ольга шагнула к нему, чтоб защитить в случае надобности, и этот здоровый запуганный мужик еще сильнее разозлил Сашеньку.

— Мой отец погиб за родину,— крикнула она матери высоким голосом, как на митинге,— а ты здесь немецкого холуя прячешь.

Перед ней мелькнуло лицо матери с подпухшими глазами, мелькнул растрепанный жиденький клубок волос на макушке, и Сашенька вдруг впервые поняла, что ее сорокалетняя мать совсем постарела. На мгновение ей стало жалко мать, она ослабила грудь, напряженную от злобы. Но это позволило также передохнуть, перевести дыхание, набрать побольше воздуха в легкие и закричать громко уже нечто неразборчивое, как не раз хотелось кричать, испытывая тоскливую сладкую истому, которая уже больше года терзала Сашеньку, лишь стоило вечером потушить коптилку. А иногда, просыпаясь ночью, она стискивала зубы, ей хотелось, чтоб кто-то большой с неясным лицом взял грубыми руками ее тело и мял и рвал на части. В последнее время Сашенька начала думать о «ястребке» Маркееве.

«Ястребками» называли допризывников из истребительного батальона, который нес патрульную службу в городе.

Сашенька ненавидела Маркеева, но прошлой ночью ей приснилось, будто Маркеев прижимает ее к какой-то стене, и это было так сладко, что, когда она проснулась, все тело еще несколько минут дрожало в ознобе.

Озноб охватил ее и теперь, она сгребла кашу, котлеты и пончики из всех тарелок, вывалила на стол и начала перемалывать в ладонях, глядя, как меж залоснившихся пальцев ее ползет клейкая от повидла масса. Ольга увела Васю за ширму, они там сидели тихо, даже не шептались, потрескивала коптилка, мать стояла, устало опустив руки, босая, в ватных штанах, закатанных до колена, и Сашенька тоже начала успокаиваться, стало легче и дышалось свободнее...

— Ногами не топчи,— сказала мать.— Повидло и кашу потом от пола не отскребешь...

Раньше мать била Сашеньку, но недавно Сашенька заметила, что мать ее начала бояться, особенно когда Сашенька выпадала в ярость.

Сашенька стряхнула с пальцев остатки клейкой кашицы и пошла на кухню умываться. За ширмой шепнула что-то торпливо Ольга и быстро замолкла на полуслове, словно сама себе зажала рот.

— Попрятались, скоты безрогие,— крикнула Сашенька,— мой отец голову сложил, а эти тут прячутся...

Вода в ведре покрылась коркой льда. Сашенька взяла кружку, разбила лед, зачерпнула и, склонившись над тазом, набрала ледяной воды в рот, плеснула на руки. Она стащила нитяный свитер, закатала рукава майки-футболки, огрызком хозяйственного мыла тщательно вымыла лицо, шею и, оттянув майку, вымыла грудь. Посвежевшая и даже повеселевшая, Сашенька вернулась в комнату. Мать ложкой подбирала со стола склизкие, перемешанные вместе комки, пытаясь отделить остатки пончиков от каши и котлет. После холодной свежей воды Сашенька почувствовала такой приступ голода, что ей сжало лоб, виски и больно защемило живот. Она хотела было подойти и съесть оставшуюся нетронутую котлету и два пончика, но пересилила себя и с каменным лицом прошла мимо матери во вторую маленькую комнатку, где стоял зеркальный шкаф. Сашенька закрыла дверь на крючок, засветила свечу, накапала на табурет плавленным парафином, прилепила свечу перед зеркалом и принялась раздеваться. Она сняла футболку, мятую юбку, рейтузы и минутную другую смотрела на себя в зеркало. Сашенька была хорошо сложена и знала это. У нее были длинные ноги, широкие бедра и маленькая грудь. Правда, вид несколько портили выступающие с обеих сторон ребра.

Сашенька положила ладони на бедра и сжала их пальцами, испытывая сладостное щекочущее ощущение. Потом провела себе ладонями под мышками, потрогала налившиеся упругие соски и тихо засмеялась от внезапно нахлынувшего счастья. Она надела шелковый розовый бюстгальтер, кружевные трусики, взяла прохладную скользкую комбинацию, пахнущую духами, и прижала к лицу, потом нырнула внутрь комбинации, содрогнувшись от ласковых прикосновений шелка к коже, глянула на свое плечико, перетянутое шелковой голубенькой ленточкой, и потерялась об эту ленточку щекой. Вся одежда принадлежала когда-то матери, но теперь пришлось Сашеньке в самый раз. Затем Сашенька сунула голову в шкаф, в пропахшую нафталином темноту, и вытащила картонную коробку с туфлями. Она натянула белые фильдеперсовые чулочки, новую юбку и белые туфли-лодочки. Туфли были не по сезону и тонкая шелковая блузка розового цвета тоже, но зато все ладно сидело на Сашеньке, к тому же это был ее единственный наряд. Радостная, с блестящими глазами, Сашенька прошла перед зеркалом. Потом прошла с независимым видом, бросая презрительные взгляды, потом сделала несколько танцевальных фигур, взявшись пальчиками за край юбки. Она откинула крючок и вошла в большую комнату, вновь сердито и раздраженно сжав зубы, потому

что понимала: стоит ей улыбнуться, перестать злиться и страдать, как она потеряет власть в доме. Мать сидела за столом, увидав Сашеньку, она провела ладонью по глазам и сморщилась. Последнее время мать часто плакала по всякому поводу, и Сашеньке это было неприятно.

— Чего опять водопровод открыла? — стараясь говорить низким голосом, спросила Сашенька.

— Красавица ты у меня, — всхлипывая сказала мать, — жаль, отец не видит, какая ты теперь взрослая комсомолка...

— Отец за родину голову сложил, — сказала Сашенька, — а ты здесь в тылу воруеться...

— Специальности у меня нет, — сказала мать, — было б образование, можно было б на хорошую зарплату устроиться...

Сашенька вышла на кухню и увидела, что на ее шубке висит пыльная и грязная Васина шинель без патки, измазанная каким-то мазутом или соляжкой. Она рванула шинель, но шинельная вешалка была пришита крепко, видно, Ольга прошила ее двойным швом, и Сашенька сломала ноготь.

— Скоты, — крикнула Сашенька, повернувшись в сторону ширмы. — Если еще раз эту грязную тряпку... Если еще раз... Я в помойку... — Сашенька повисла на шинели всем телом и вырвала шинельную вешалку. Шинель упала на пол, но вместе с ней упала и Сашенькина шубка, а сама Сашенька больно ударила колено. Испуганная мать вбежала на кухню и сказала:

— Ольга, я ведь просила твои вещи класть отдельно... Вон в углу очень удобное место.

Мать наклонилась, чтобы подобрать шинель, однако Сашенька наступила на шинель ногой и вдоволь повозила ее по полу, стараясь протащить шинель там, где погрязней и намочено.

— Пусть сам подберет, — крикнула Сашенька. — Скоро тридцать лет, как лакеев нет... Это ему не гитлеровским гауляйтерам патриотов выдавать...

За ширмой тяжело вздохнули, но промолчали.

От возни и криков Сашеньке стало жарко, она торопливо надела шубку, пуховый берет, который натягивался на уши и у подбородка завязывался ленточками, надела сапожки, а туфли завернула в газету, схватила сумочку и выбежала на улицу.

В переулке было темно, и, чтоб сократить путь, Сашенька свернула на узкую тропку, прошла мимо обледеневшей водяной колонки. За колонкой были сарай и развалины одноэтажного из серого кирпича дома. Пахло здесь всегда сладковато и жутко, словно трупами. Но позднее Сашенька узнала,

что запах у сараев не трупов, а немецкого порошка от вшей. В сером домике при немцах был какой-то пункт санэпидемстанции. Там и сейчас валялось много пакетиков с изображением большой зеленой вши.

Возле развалин стоял дворник Франя, схватившись руками за покрытые инеем остатки железного крыльца. Крыльцо было сделано из фигурного железа с разными железными бантиками и завитушками. Сохранились даже высохшие прутьики дикого винограда, некогда вившиеся вокруг металлической стержней крыльца.

— Кто сказал на кума — падло? — крикнул Франя и захохотал. Он вынул из кармана луковицу и начал с хрустом перемалывать ее. Вдруг Франя схватил Сашеньку за руку и прижал свой мокрый сивушный рот к ее уху... — Тут семья зубного врача закопана... Леопольда Львовича. У выгребной ямы... Возле клозета... — зашептал Франя.

У Франи были выпуклые, то ли пьяные, то ли безумные, глаза. Сашенька вырвалась, выбежала на середину мостовой и торопливо пошла, стараясь быстрее добраться к бульвару, где было светло илюдно.

На главной улице горели фонари, и у кинотеатра шелестела украшенная бумажными игрушками и флажками большая сосна. В двухэтажном здании штаба дивизии и в расположенных рядом корпусах, где жили семьи военнослужащих, горело электричество, окна были чрезвычайно яркие, праздничные. Дворец пионеров, где начинался новогодний молодежный бал, также ярко блистал электричеством. Это было старое здание с высокими окнами и лепными потолками. До революции и во время оккупации здесь располагалась городская управа.

Перед входом стояла толпа. Мраморные лестницы были сплошь покрыты оледеневшими плевками и комками снега. Сашенька втиснулась в толпу, и ее понесли, поволокли по скользким плитам, ударили о дверь и внесли в вестибюль, очень холодный, насквозь продуваемый ветром, где цепочка «ястребков» сдерживала натиск. Администраторша ловко схватила пригласительный vareжками и надорвала. Вестибюль был украшен транспарантами, елочными ветками и цветными электрическими лампочками, которые недружно мигали. Сашенька торопливо разделась, сняла сапожки, спрятала в сумочку номерок, поднялась на верхний этаж и возле буфета увидела Маркеева с ассирийкой Зарой.

В городе жила большая восточная семья, державшая рундучки по чистке обуви и продаже ботиночных шнурков. Некоторые именовали их грузинами, а некоторые ассирийцами.

В действительности же они были то ли курды, то ли сербы. Зара одета была в тяжелую и пыльную бархатную юбку и с золотыми подвесками в ушах, Маркеев же в модном голубоватом френче, начищенных сапогах и галифе. По последней моде от пояса его к карману тянулась цепочка-шомпол от немецкой винтовки. Алюминиевые звенья скреплены были колечками, а на конце цепочки виднелся черенок отличного складного ножа, который кокетливо выглядывал из кармана. У Сашеньки пересохло сразу горло, но она сумела сделать независимый вид и пошла к буфетной стойке, виляя бедрами. Лишь краешком глаза следила она за собой в зеркале, и чем дальше шла, тем лучше ей становилось, она чувствовала, что произвела эффект фильдеперсовыми чулочками, розовой блузкой с большим декольте, в котором чуть-чуть виднелся кружевной край комбинации, что одежда эта, хоть и является единственной нарядной, тем не менее очень удачно подчеркивает все хорошее, что есть у Сашеньки, и, наоборот, скрывает дефекты, которые Сашенька знала наперечет. Так, например, у нее был немного более чем надо удлиненный подбородок, и иногда, оставаясь наедине перед зеркалом, Сашенька с досадой терла подбородок пальцами до красноты, точно он от этого станет меньше. Был у нее также на затылке шрам от перенесенной в детстве операции, но Сашенька шрам этот пудрила и прикрывала волосами, расчесывая их как бы небрежно, так что справа у шрама они ниспадали вниз. Однако теперь в зеркале она нравилась сама себе.

Это был первый Сашенькин бал. Она давно готовилась, всю неделю, с тех пор, как мать ей достала в местном спецторга пригласительный. Сашенька мылась каждый день специальным трофейным раствором, купленным на барахолке, накручивала бигуди, втирала в кожу одеколон, впервые в жизни подкрасила губы бантиком и напудрила щеки. И вот теперь сын генерала Батюни что-то шептал своему приятелю, украдкой поглядывая на Сашенькины икры, обтянутые кремовым фильдеперсом. Сашенька стала в очередь и, предъявив пригласительный, получила по коммерческой цене подарок. Выдав пакетик, буфетчица поставила на край билета штампик «Погашено».

Сашенька вошла в большую залу, где стояла елка и играл военный духовой оркестр. Множество пар кружилось — одни медленно, другие быстро, толкаясь плечами. Но Сашенька не стала останавливаться в центре, каждый шаг ее сейчас был рассчитан, будто какая-то опытная сила руководила ею. Сашенька прошла и села подальше в тень под балконом. В зале были балкон и сцена, но все происходило в центре у елки, ос-

вешенной несколькими стоваттными лампами. Сын генерала Батюни сразу же подошел, сел рядом и начал вырывать у Сашеньки сумочку.

— Противный,— певуче крикнула Сашенька и, захохотав, ударила его по руке.

Бог знает где усвоила Сашенька этот кокетливый, ласкающий удар, когда девичья ручка, совершенно расслабленная в кисти, вначале касается мужской руки запястьем, а потом прокатывается по ней ладонью, слегка трогая кончиками пальцев и царапая ноготками.

Сын генерала Батюни, восприняв покалыванье ноготками как призыв, отдернул руку и тут же ошалело сунул ее снова, но не к сумочке уже, а в Сашенькины फिल्деперсовы колени. И Сашеньке стало сладко и страшно, как во сне. Несколько мгновений она словно зачарованная сидела, вся отдавшись чужим долгожданным пальцам, которые мяли ей колени и, становясь смелее, лезли дальше. Но, очнувшись, она с такой силой толкнула юношу в грудь, что тот едва не слетел со скамьи.

— Пойдем на балкон,— шептал Батюня.

— Нет, я хочу танцевать,— твердо сказала Сашенька.

Сын генерала Батюни покорно пошел за ней к центру зала. На нем был китель, какой не снился «ястребку» Маркееву, из английского сукна и с кантами, а от пояса к карману тянулась позолоченная цепочка и виднелся кончик рукояти ножа, сделанного из кабаньей ножки с копытцем вместо черенка.

Сашенька станцевала танго, потом вальс, потом польку-бабочку. В перерывах она грызла в темноте под балконом грецкие орешки и американский посылочный шоколад с начинкой, которым угощал ее Батюня, а Сашенькин подарок, нераспечатанный, лежал в сумочке на завтра. Сашенька съела столько шоколада, что совершенно перестала быть голодной и вкус шоколада даже стал обыденным и привычным. Шоколадные обертки и скорлупу грецких орехов она складывала Батюне в ладонь, которую Батюня покорно держал на весу. Батюня прятал отходы в расщелины между паркетом.

В первом часу ночи началась какая-то драка на балконе, кого-то держали, кого-то вели, но Сашенька все это тоже восприняла весело. От шоколада она даже немножко опьянела, у нее были липкие губы и почесывало нёбо и гортань. Несколько раз мимо мелькал Маркеев с Зарой. Зара трясла своими золотыми подвесками, как коза, а Маркеев только издали выглядел сытым и красивым. У него были сапоги со стоптанными каблуками, а в перерыве между танцами Сашенька заметила, как он украдкой грыз сухарь, стоя за дверьми. Он под-

бирал крошки с рукавов и клал их в рот. Сашенька едва не покатила со смеху, когда увидела, как Маркеев растерялся, заметив, что обнаружен со своим сухарем, как, не донеся ко рту, он бросил на пол снятую с рукава крошку, а потом еще снимал и бросал на пол какие-то пылинки и ниточки с кителя, чтобы ввести в заблуждение. Сашенька подняла голову и, посмеиваясь, скосив глаза в сторону Маркеева, начала шептать Батюне на ухо. Она шептала ему, что хочет буфетного кваса по коммерческим ценам, она могла сказать это и вслух, но умышленно шептала на ухо, чтоб Маркеев подумал, будто говорит о нем. Она мстила Маркееву за сны, в которых он хватал и мял ее, и за ненавистный девичий диванчик, который она после этого терзала боками, проснувшись среди ночи.

Маркеев злобно посмотрел на Сашеньку и, толкнув дверь, выскочил в вестибюль, а Сашенька громко захохотала. От смеха и танцев Сашенька порозовела и стала такой красивой, что Батюня, позабыв обо всем, кинулся не в коммерческий буфет, а к вешалке за шинелью, оттуда через дорогу в свежоштукатуренный дом высшего комсостава и, улучив момент, выхватил из личного отцовского шкафчика бутылочку с французскими надписями и несколько мандаринок. Не переводя дыхания, он метнулся назад, и, как бежал к Сашеньке, не помнил, как раздел шинель на вешалке, не помнил, точно мгновенно перенесло его снова к Сашеньке, и он стоял перед ней запыхавшийся, всклокоченный, вымазанный штукатуркой и с сияющими глазами.

В зале играли в фанты. Ходил хромой «культурник» в кителе с петлицами танкиста, но без погон, и раздавал картонные номерки. У Батюни оказался номерок «резеда», у Сашеньки «настурция».

— Ой,— крикнула Зара.

— Что с тобой? — спросил танкист-«культурник».

— Влюблена,— сказала Зара, поправив подвески.

— В кого?

— В «незабудку».

— Ой,— нагло крикнул Маркеев, будто никогда и не грыз за дверьми сухарь, а с утра до вечера питался сгущенным американским молоком и американским пудингом с изюмом, упакованным в золоченые коробочки.

— Пойдем на балкон,— шепнула Сашенька Батюне и, посмотрев на Маркеева, довольно громко прыснула.

Сашенька и Батюня поднялись винтовой лестницей, где пахло кошачьим пометом и дул сквозняк. На балконе было пыльно и темно. Фонарик осветил сложенные кверху ножками, сбитые вместе общей планкой ряды кресел, сломанный

бильярдный стол, рваные, пущенные на сапожные бархотки портьеры. Под ногами хрустел мелкий клубный инвентарь: шахматные доски и фигурки, погнутый горн, несколько «испанок» с кисточками и масок зверей из папье-маше.

Батюня вынул ножик и ковырнул им пробку французской бутылки. Пробка хлопнула, и ароматная пена поползла, запузырилась, потекла на сложенный в беспорядке грязный хлам.

— Пей,— сказал Батюня,— французское шампанское...

Он приставил бутылку с шампанским к Сашенькиным губам, она глотнула несмело, зажмурилась и глотнула еще несколько раз. Шампанское по вкусу было немного похуже лимонада, который Сашенька пила в День Победы, не такое сладкое и без запаха фруктовой эссенции, который Сашенька обожала, но все ж оно так же приятно пощипывало в горле, а после третьего глотка Сашенька ощутила некоторое воздействие. Батюня сунул ей мандаринку, Сашенька понюхала желтую нежную кожицу и засмеялась.

— Ешь,— сказал Батюня.

— После,— сказала Сашенька и спрятала мандаринку в сумочку.

— Возьми еще,— сказал Батюня и протянул ей новых три мандаринки.

Сашеньке было жаль рвать атласную кожицу, две мандаринки она тоже спрятала в сумочку, а третью, самую плохую, не желтую, а зеленоватую, разодрала и положила дольку в рот. Закрыв глаза, высасывала Сашенька мандаринку и доглатывала ароматную слюну. В желудке ее уже давно клокотало и покалывало, видно, Сашенька объелась американским шоколадом, и раза два к горлу подкатывала легкая тошнота, после которой во рту остался кисло-сладкий привкус клейкого, нормированного карточками хлеба, какао с ванилью и пшеничного супа.

Когда Батюня потянулся целоваться, Сашенька испуганно отдернула голову, хоть ей очень хотелось впервые в жизни попробовать губами губы мужчины. Но она боялась, что Батюня ощутит этот кисло-сладкий привкус, от которого ей сводило рот. Однако, выпив шампанского и пососав мандаринку, Сашенька почувствовала себя гораздо лучше, желудок притих, перестал покалывать, а во рту теперь было свежо, прохладно и ароматно. Она ждала, что Батюня снова попытается ее поцеловать, но он был, наверно, испуган отказом и не решался. Сашеньку это разозлило, и она сказала:

— Пойдем вниз.

Батюня молча кивнул. У него был покорный и грустный нос, совсем несмелый, и грустно торчал на макушке хохолок.



Сашеньку это рассмешило, и что-то доброе тронуло ей сердце, она почувствовала благодарность к Батюне за мандаринки, за шоколад и за то, что он в нее влюбился. Ей захотелось сделать Батюне что-нибудь хорошее, но она не знала что, и к тому же в голове немного путалось и шумело.

— Я тебя поцелую,— сказала Сашенька,— только ты закрой глаза.

Батюня торопливо закрыл глаза. В губы Сашенька все же не решалась, она долго выбирала: то ли в лоб, то ли в щеку.

— Давай,— нетерпеливо крикнул Батюня, приоткрыв глаз.

— Закрой глаза, противный,— крикнула Сашенька и шагнула, чтобы поцеловать его в шею. Но едва она приблизилась, как Батюня вдруг ошалело схватил ее за плечи и ткнул несколько раз чем-то мокрым в нос и в краешек рта. Вырвавшись, Сашенька поняла, что мокрые, неприятные прикосновения и были ее первым в жизни поцелуем, о котором она так мечтала. Ей стало горько и грустно оттого, что первый поцелуй уже позади и он такой неинтересный. Она отошла к полуманному бильярдному столу, стоявшему торчком, уперлась в него ладонями.

— Ты чего?— виновато спросил Батюня.

— Ничего,— сказала Сашенька и заплакала.

— Я, может, тебя обидел,— растерянно сказал Батюня,— ты не думай... Я жениться на тебе хочу...

Сашенька посмотрела на его покорный нос и, перестав плакать, рассмеялась.

— Пойдем вниз,— сказала она.

Ей вдруг захотелось танцевать, петь, флиртовать и быть в центре внимания. Внизу снова гремел оркестр. Танцевали что-то быстрое и горячее.

— Понеслось,— кричал танкист-«культурник»,— больше пота, меньше крови.

Оркестранты поднялись со своих мест, поддавая жару. Маркеев жонглировал сапогами, а Зара терзала коленями собственную юбку так, что ясно был слышен треск поддающих швов.

Сашенька задрожала, предвидя трудную борьбу. Зара была старше ее на два года, и ноги у нее были мускулистые, сытые, какие бывают только от доброкачественных продуктов питания. Но Сашенька и не думала перетанцовывать Зару, и не думала включаться в бешеный темп фокстрота. Наоборот, она с Батюней поплыла медленно и плавно, умело пропуская несколько музыкальных тактов, топчась на месте и тем самым попадая в ритм. Это был точно рассчитанный

ход, который осенил Сашеньку мгновенно, когда она еще была на последней ступеньке винтовой лестницы. Недостаток Сашенька превращала в преимущество. Двигаясь медленно, Сашенька сразу выделилась из общего числа танцующих, которые пытались друг друга переплясать. Лица у всех, даже у девушек, были красные, искаженные, точно они выполняли тяжелую работу, рты судорожно хватали воздух, а подмышки набухали от пота. Сашенька же плыла плавно и легко, она тем самым могла показать и свои фильдеперсовы чулочки, и розовую блузку с декольте, и даже кружевную голубенькую комбинацию, которая просвечивала сквозь прозрачный маркизет. Прошло не более минуты, и Сашенька начала пожинать плоды своего умного поведения, а также своей одежды и внешности. Несколько лейтенантов, которые появились в зале лишь недавно, смотрели только на Сашеньку, прервав танцы и отойдя к стене. К стене отходили и другие парни, покрупней: «ястребки» в кителях, учащиеся машиностроительного техникума, футболисты команды «Рот-фронт» и вообще все сильное и красивое отходило в сторону, к стене. Пробовали, правда, плясать несколько второстепенных парочек, но на них никто не обращал внимания, а Зара и Маркеев вообще куда-то исчезли. Наконец танкист-«культурник» взмахнул рукой, и побежденный Сашенькой оркестр затих, музыканты уселись, вытерли платками лица и заиграли плавное танго, подстраиваясь под Сашенькин ритм. Сашенька с достоинством переждала паузу, спокойно стоя в середине круга, положив одну руку ладонью на плечо Батюне, а кисть второй небрежно, расслабленно, словно награду, вручив Батюниной правой руке. Чтоб показать свое безразличие ко всеобщему вниманию, она тихо спрашивала своего партнера о пустяках, которые ее совершенно не интересовали. Она спросила, не жмут ли его сапоги и рано ли ложится спать его мама. А вот ее мама иногда спит как убитая, а иногда ворочается всю ночь, как Ольга.

Сашенька тут же спохватилась, потому что так мимоходом можно и сболтнуть, что мать работает посудомойкой, а вместе с ними живут двое убогих нищих, которые попрошайничают на церковной паперти. Но тем не менее со стороны разговор их выглядел красиво, Сашенька была увлечена тихой беседой, о которой все эти лейтенанты и «ястребки» могли лишь строить догадки. Когда заиграла музыка, Сашенька так же с достоинством, слегка наклонив голову и грустно улыбаясь, поплыла, грациозно скользя по паркету лодочками и вся расслабившись, безразличная к известности, которой она еще вчера так жаждала, созданная лишь для того, чтобы

украшать, но не любить, как Марлен Дитрих или Эрика Фидлер из немецких цветных фильмов, взятых в качестве трофеев. Сашенька плыла и плыла по паркету, и уж ничего не интересовало ее, кроме высоких окон, которые золотили блики луны в тех местах, где они не были заколочены фанерой. Сашенька радостно взгрустнула, рассеялась чем-то сладким, неопределенным и вернулась в зал, лишь когда они с Батюней скользили мимо внутренней стены. Здесь не было освещенных луной окон, из открытых дверей видна была лестница в вестибюль, и чувствовался запах коммерческого буфета, где продукты питания продавались не по карточкам, а по повышенным ценам. Сашенька начала различать лица, точно опускалась вниз, и вдруг, еще неизвестно почему, внутренним чутьем уловила к себе неприятную перемену. Она прислушалась.

— Вошь,— сказал кто-то радостно.

— Две,— подхватил другой.

— Я уже давно за ними наблюдаю,— счастливо подхватила Зара и тут же со злобой добавила: — Сыпняк разносит.

— Я уже маршрут изучил,— объяснял Маркеев Заре, но так громко, что слышали во всех концах зала,— одна ползет по лопатке, по тому месту, где шлейка комбинации виднется, к воротнику блузки и назад... А вторая наперехват ползет... Между лопатками они встречаются...

Оркестр продолжал играть, и Сашенька сделала еще несколько движений в ритме танго, так, очевидно, иногда чувствует боль и несколько мгновений продолжает жить прежней жизнью тело убитого наповал, потому что даже среди убитых наповал есть свои неудачники и пуля поражает их не в самое сердце, а чуть пониже.

— Снова встретились,— крикнул Маркеев,— поцеловались... Батюня, сейчас на тебя десант выбрасывать будут...

Послышался смех, какой-то лейтенант сдвинул фуражку на глаза. Батюня остановился. Он все еще держал руку на Сашеньке, но лицо его было растерянным и испуганным. Потом он неожиданно улыбнулся, отдернул руку, подмигнул Маркееву и начал шутовски чесаться и хлопать себя ладонями по бокам, словно ловя паразитов. Смех стал таким сильным, что оркестр прекратил играть, и музыканты свешивались с эстрады, спрашивая, в чем дело. Тогда хромой танкист-«культурник» подошел к Маркееву и не то чтобы ударил, а скорее провел ему ладонью от уха до уха, как бы утирая, но так, что пять полос осталось на маркеевских щеках, набухая и багровея. Потом «культурник» повернулся к Сашеньке, и лицо его из тяжелого, чугунного стало мягким и тихим.

— Ну, будя,—сказал он,—бывает... Я сам в окружении тело до крови расчесывал...

Но Сашенька посмотрела на «культурника» с ненавистью, она ненавидела его сейчас больше всех в зале, она подумала, что эта курская «фотокарточка» напоминает ей чем-то Васину, и тут же вспомнила, что Васина грязная шинель висела на ее шубке.

— Будя,—повторил «культурник», приближаясь к Сашеньке.— Что сделаешь, ежели нужда и голодуха... Я ж твою мать знаю. Она спину над солдатскими котлами надорвала... Нужду и голодуху вша любит...

Этот «курский» окончательно втапывал Сашеньку в грязь, он унижал ее фильдеперсовыи чулочки, маркизетовую блузку, и ей стало ясно, что в «культурники» он попал по инвалидности, а не потому, что любит танцы и красоту.

— Ты их газеткой смахни,—шепнула какая-то дурно одетая девушка, до того худая, что кожа на лице ее была с голубоватым оттенком. На девушке был плюшевый бабушкин салоп. «По такому салопу и должны ползать паразиты, а не по маркизетовой блузочке,—с горечью подумала Сашенька,— Боже мой, почему так... Ненавижу... Как ненавижу...»

— Пошли, выйдем, я помогу,—шептала девушка.

«Если б не эта беда, я б не стала разговаривать с такой дурнушкой,—думала Сашенька,— а теперь она лезет в советчицы... В подруги... Почему такое случилось... Почему я не умерла... Это все шинель... Она грязная... С паперти... Я выброшу их всех... На улицу выброшу... Они погубили мою жизнь...»

Грудь Сашеньки полна была рыданий и стонов, но Сашенька, крепко сжимая зубы, побежала из зала, лишь легкое дрожжащее повизгивание просачивалось сквозь губы, которые Сашенька никак не могла слепить до предела, впрочем, это было и бесполезно, потому что повизгиванье вырывалось вместе с выдыхаемым воздухом. Сашенька знала, что не сможет долго удерживать стоны в груди и горле, ими полон был рот, и Сашенька раздувала щеки, надеясь выиграть этим доли секунды. Она выбежала в вестибюль и с ненавистью ударилась спиной, лопаткой о какую-то колонну.

— Уже все,—сказала снова появившаяся рядом девушка с голубой от недоедания кожей,—я их газеткой смахнула и раздушила каблуком... Ты их румынским порошком попробуй... Не немецким, а румынским... И одежда от него не портится...

Сашенька посмотрела на ее некрасивые добрые глаза и подумала: «Зачем она живет... Ее никогда никто не будет

любить... Никогда не будет кормить шоколадом.. Нам обеим теперь недоступна жизнь красивых женщин... Надо отравиться... Отравиться спичками... Серы натереть со спичек...»

Танкист-«культурник» взял Сашеньку за локоть, прямяв желтыми от курева пальцами маркизет на рукаве, и именно в момент, когда Сашенька увидела эти ползающие по своему телу корявые пальцы, напоминающие жуков, насекомых и вообще что-то некрасивое, она поняла, что погибла.

— Не трогай руку,—брезгливо крикнула Сашенька. Но тут же, с удивительной для самой себя ловкостью щелкнув зубами, отсекала стоны и рыдания, которые пытались вырваться наружу вместе с криком и совсем опозорить ее. Сашенька сильно толкнула танкиста-«культурника», он потерял равновесие и, скользя своей более короткой, не сгибающейся в колене ногой, смешно раскорячившись в нелепой позе, поехал по лестницам, пытаясь уцепиться за перила. И в это мгновение из висящего в вестибюле репродуктора послышался первый удар, возвестивший о приходе Нового, сорок шестого года. Сашенька кинулась к вешалке, она боялась, что не найдет номерок, но нашла его быстро, и перепуганная старушка выбросила ей шубку и сапожки.

## 2

На улице густо, вплотную летел снег, так что, остановившись на мгновение и запрокинув лицо, Сашенька представила, что снежная пелена неподвижна, а она, Сашенька, летит наискосок от земли к небу. У Сашеньки все закружилось, она встряхнула головой и побежала через дорогу к военным домам, держа шубку и сапожки в руках. Она хотела найти место потише, чтоб спокойно одеться, но неподалеку стоял какой-то высокий в кубанке и стрелял в воздух из ракетницы. Ракеты с треском неслись среди снежных хлопьев, тоже наискосок, как в воображении своем летела Сашенька, потом лопались, и на снегу дрожало красное зарево, будто во время пожара. Сашенька побежала назад. Около Дворца пионеров был садик, в котором во время оккупации немцы устроили свое кладбище. Кресты давно посбивали, а могильные холмики разровняли во время воскресников, но кое-где еще остались небольшие возвышенности, занесенные снегом, валялись каски, остатки крестов и могильные таблички. Сашенька села на какой-то холмик, подложив под себя табличку, исписанную немецкими буквами. С того момента, как она выбежала на улицу, прошло совсем мало времени, потому что по репродуктору на углу у трехэтажной обгоревшей коробки все еще

слышны были новогодние удары часов. Сашенька надела шубку, сбросив ладонями снег с маркизетовой блузки, и, сняв лодочки, сунула мокрые озябшие ноги в сапожки. От снега лодочки совсем разбухли, потеряли форму, и это так огорчило Сашеньку, что она уже не могла сдерживать стонов. Она стонала громко, сама удивляясь тем чужим горловым звукам, которые, оказывается, способна была издавать.

— Боже мой, что же делать? — спросила вслух Сашенька, когда стоны утомили ее и перестали приносить облегчение, — отравиться спичками... Или уйти от матери... Уехать... Или поступить на перчаточную фабрику... Но прежде отомстить этим скотам.. Эта мать... Собственную дочь она не жалела... А этих нищих... У Васи даже в бровях вши... Какая гадость... Я видела... Я видела, как Ольга мыла его... Вшивый полицейский... Мой отец погиб за родину, чтоб я могла хорошо жить... В маркизетовой блузочке кушать шоколад... Быть в центре внимания... А мать у меня подлая... Этот вшивый повесил свою рвань на мою шубку, они и переползли...

Она давно уже не сидела, а шла, миновала палисадник и вышла на заснеженную тихую площадь. Вокруг торчали одни обгорелые коробки или просто присыпанные снегом груды кирпича, сохранился лишь Дворец пионеров — бывшая городская управа, которую не успели взорвать, и несколько домов, где теперь жили семьи военных. Сашенька пошла дальше, прижав локти к бокам и безвольно уронив кисти поднятых кверху рук. На правом локте ее висела сумочка. Улицы были пусты. Лишь раз мимо проехала военная патрульная машина. Сашеньку осветили фонарем, и солдат что-то сказал, то ли окликнул, то ли сострил. Но Сашенька молча прошла мимо. У старого трехэтажного здания ходил часовой. Было оно довольно странной формы, верхний этаж был крыт жстью, не только крыша, а именно стены верхнего этажа также были крыты оцинкованной жстью, и в жести этой были прорезаны окна. Нижний этаж полуподвальный, окна лишь наполовину высывались из земли и были забраны толстой решеткой. Сашенька прошла мимо примыкавшего к зданию массивного забора, обтянутого сверху колючей проволокой. С тыльной части сразу за забором начинались довольно глухие места, пустырь и овраг. Лишь вдаль за оврагом мигали редкие огоньки. У края оврага виднелось временное деревянное ограждение, кое-где уже сломанное, и стояла занесенная снегом пирамида, сколоченная из досок. К ней была прибита табличка. «Тут похоронено 960 советских граждан, замученных немецко-фашистскими оккупантами», — прочитала Сашенька. Сашенька пошла к другому кон-

цу оврага, где лежали куски ржавой, разрезанной автогеном танковой брони. Видно, Сашенька плохо очистила блузку от снега, маркизет прилип к телу, и Сашенька дрожала под шубой, словно стояла совершенно голая на ветру.

«Что делать? — думала Сашенька. — Идти домой... Опять терзать диван... Вася будет ласкать Ольгу...»

Когда Сашенька просыпается среди ночи и слышит, что на полу за перегородкой не спят, ей становится ужасно... Хочется кричать, ругаться... И одновременно она изнывает, ее начинает мучить тоскливая истома, она с такой силой напрягает тело, вытягивает ноги, что болят суставы в коленях. Она затыкает уши ватой, обматывает голову полотенцем, точно у нее болят зубы... «Проклятые, — думает Сашенька, — из-за них я страдаю». Сашенька наливается злобой так, что лицу становится жарко, и злоба согревает ее, придает ей силы и возбуждает. Сашенька стаскивает варежки и, зажав под мышкой сверток с туфлями, до боли стискивает кулаки, так что хрустят пальцы, становится трудно дышать и темнеет в глазах. Она решительно идет домой, торопливо, словно боится не донести туда накопившуюся в груди ненависть. Снегопад прекратился. Свет луны и глубокий снег скрыли развалины, ночной город чистый и тихий. За несколько часов навалило так много снега, что Сашенька застревает в нетронутых сугробах между сараев. У выгребной ямы лежат присыпанные снегом смерзшиеся куски нечистот, картофельной шелухи, рваных тряпок, и Сашеньке вдруг становится страшно. Она вспоминает, как Ольга гадала несколько дней назад, поставив три свечи перед зеркалом, и Сашенька долго, до боли в глазах смотрела в зеркало, пока не увидела в нем чье-то незнакомое лицо. Теперь ей начинает казаться, что это было лицо дочери зубного врача Леопольда Львовича, закопанной здесь, у ямы с нечистотами. Сашенька представляет, как лежит она в этой нечистой топкой земле, и вдруг ей кажется, что сквозь тряпки и замерзшую картофельную шелуху показывается лицо молодой красивой еврейки. Щеки у нее белые, поблескивающие изморозью, а глаза горячие и большие.

— Мама, — совсем по-детски кричит Сашенька и бежит, спотыкаясь, падая, бежит, как прежде бежала к матери, чтоб спрятать голову у нее меж теплых колен. — Мама, — отчаянно кричит Сашенька. Ей кажется, что кричит она очень громко, но в действительности она едва шевелит языком и короткие бубнящие звуки вылетают из ее рта. Потом ей кажется, что она на своем диванчике, голове жарко, горло пересохло, как бывает ночью, когда надышат в комнате и пригреются. Покрытое изморозью, красивое лицо среди нечистот, конечно,

приснилось, а значит, какое счастье, приснилось и то, что по маркизетовой блузочке ползали паразиты. Сашенька видит мать. Она стоит совсем молодая, очень похожая на Сашеньку, так похожая, что Сашенька подумала с некоторым испугом, уже не она ли сама смотрит на себя со стороны. На матери новый пуховый платок и фетровые боты. Но рядом с матерью Сашенька видит танкиста-«культурника» в армейском бушлате и танковом шлеме на меху. Он держит мать за руку и что-то говорит ей, а мать смеется и, неожиданно вырвав руку, кокетливо и ласково ударяет «культурника» точно так, как Сашенька Батюню. Ручка матери, совершенно расслабленная в кисти, вначале коснулась руки «культурника» запястьями, потом прокатилась по ней ладонью, слегка трогая кончиками пальцев и царапая ноготками. Сашенька прижалась щекой, подбородком, лбом к деревянному столбу, поддерживающему балкон, и тихо застонала. Грудь налилась, снова стала тяжелой от злости и тоски, потому что Сашенька поняла: она пыталась себя обмануть и на мгновение представила себя спящей на диванчике, а на самом деле все наяву: паразиты на маркизетовой блузочке, которые переползли с Васиной шинели, и мать с «культурником», и, может, лицо красивой еврейки, дочери зубного врача, закопанной у выгребной ямы, она тоже видела наяву.

«Культурник» обнял мать, прижал ее к себе, и она с благодарностью потерлась щекой о его подбородок, смеясь, прихватила зубами край его танкового шлема. Тоскливая истома охватила Сашеньку, ноги ее напряглись, заныли в суставах, зубы были так крепко стиснуты, что болели скулы, а зрачки расширились, точно смотрели в глубокую тьму, среди которой Сашеньке чудилось нечто сладкое и ужасное, о котором она лишь смутно догадывалась. Она застонала громче и, чтоб очнуться от охватившего ее небытия, сильно ударилась о столб.

— Кто-то кричал,— тревожно сказала мать, отстраняясь от «культурника».

— Ветер,— сказал «культурник».

— Я все же беспокоюсь,— сказала мать,— Сашенька так все близко к сердцу принимает.

— Ничего,— сказал «культурник»,— она у подруги, видеть... Мало ли что бывает...

— Да,— сказала мать,— она иногда ночует у Майи, когда поругается со мной...

Танкист-«культурник» просунул руки сзади под платок матери так, что ладони его охватили материн затылок, и мать с притворным возмущением тряхнула головой, словно



пытаясь вырваться, но «культурник» прижал ее грудью к стене дома, как Маркеев во сне прижимал Сашеньку, и крепко припал губами к губам матери, а она нежно гладила его ладонями по спине, счищая снег с бушлата.

Сашенька мгновенно, с силой оттолкнувшись от столба, выскочила на середину двора, кинула сумочку и сверток с туфлями, которые ей мешали, выругалась матом в три погибели, как ругались «ястребки» и мальчишки в подворотнях. Мать отпрянула от «культурника». Повернулась к Сашеньке, выпрямилась, даже привстала на цыпочки, вскинула обе руки над головой. Брови ее поднялись, на лбу появились поперечные морщины, нижняя челюсть отвисла, и она крикнула так же отчаянно и по-детски, как Сашенька, когда она только что испуганно бежала от выгребной ямы. Однако крик этот лишь на первое мгновение остановил Сашеньку, потом ей захотелось сделать матери еще больней, даже какая-то дикая тоскливая радость охватила Сашеньку, когда она увидела, как мать ее боится, и Сашенька закричала:

— Мой отец погиб за родину, а ты здесь... Ты знаешь кто — ты прости тут, прости там, прости господи нам...

В некоторых окнах появился огонь, к стеклам прижались лица, но Сашеньке было уже на все наплевать. Она кинулась к матери с плачем и стоном и больно ущипнула ее за щеку, оттолкнув растерявшегося «культурника», который пытался заслонить собой мать. Она металась вокруг них, как злая маленькая муха, а они только беспомощно отмахивались. Потом Сашенька понеслась вверх по лестнице. Дверь не была заперта, видно, мать лишь прикрыла ее, сойдя вниз с «культурником». Кухня залита была лунным светом, поблескивали висящие на гвоздиках горшки и кастрюли. В прогревшемся, несвежем воздухе слышался дружный безмятежный храп Васи и Ольги. По-прежнему вся дрожа от возбуждения, Сашенька секунду-другую стояла, как бы собираясь с мыслями, прислушиваясь к робким шагам матери на лестнице. Торопливо, пока не войдет мать, Сашенька сдвинула ширму. Вася и Ольга спали обнявшись, оба большие и некрасивые. Ольга положила голову на поросшие волосами Васиной груди-колеса, которые мерно вдыхали и выдыхали воздух, и Ольгина голова то поднималась, то опускалась. Крестик на Ольгиной груди свешивался, касался Васиного крестика, и когда кто-нибудь из них дергался или ворочался, крестики негромко позвякивали друг о друга. Спавшие укрыты были лишь до половины Ольгиным платком, какой-то рванью, из которой вылезала вата, и Васиной измазанной мазутом шинелью. Из-под шине-

ли виднелась отброшенная в сторону большая, как лопата, голая Васина ступня.

— Вон,— трясясь и сжимая кулаки, неистово закричала Сашенька,— прячетесь... Немецкие холуи... Полицай... Мой отец был летчик, погиб... воевал... А вы здесь в тылу вшей разносите... Вон...

Вася продолжал дышать все так же безмятежно, Ольга лишь слегка забормотала что-то, и это совсем раззадорило Сашеньку. Она схватила ведро, кружкой расколола тонкую пленочку льда и плеснула на спящих ледяной водой. Оба вскочили мгновенно, бессмысленно озираясь, отряхиваясь и отфыркиваясь, как провалившиеся в полынью животные.

— Вон,— закричала Сашенька,— уходите с вашей равню... С вашими вшивыми тряпками... Вон из этого дома...

И тут Сашенька обернулась, почувствовав мать, которая стояла на пороге.

— Раздешься и заходи в комнату,— негромко сказала мать. Но Сашенька уловила в ее голосе нечто новое и разом поняла, что сделала чего-то не так, уж слишком отдалась порыву и потеряла над матерью власть.

— Ты тоже убирайся,— скорее по инерции крикнула Сашенька матери,— это дом моего отца... Отсюда он ушел на фронт... Ты не смеешь... Не смеешь с любовником...

Сашенька знала, что ей нужно как можно сильнее исказить в гневе свое лицо, чтоб глаза закатились и дергалась щека, мать страшно пугалась, когда у Сашеньки начинала дергаться щека, но сейчас Сашенька чувствовала, что злоба у нее получается какая-то растерянная, нестрашная, и мать, видно, тоже это почувствовала. Она шагнула к Сашеньке и с такой силой ударила ее наотмашь по лицу, что Сашенька упала на колени. Сашенька тут же вскочила и побежала, пригнувшись, вдоль стены кухни, однако мать преградила ей дорогу и ударила так, что зазвенело в ушах. Несмотря на это, Сашенька умело отвернулась от третьего удара и ловко прыгнула за спину Васи и Ольги. Они сидели мокрые, оступело прижавшись друг к другу, как щенки во время пожара или наводнения. Здесь, за их спинами, матери трудней было достать Сашеньку, к тому ж сзади мать схватила вошедший танкист-«культурник». Мать некоторое время стояла вся дрожа, как Сашенька несколько минут назад, затем она обмякла, уронила голову на плечо «культурника» и громко заплакала.

Сосед, живущий «прямо и налево по коридору», техник Дробкис заглянул в приоткрытую дверь. Он был в ватных штанах, домашних войлочных туфлях и меховой безрукавке, надетой на нижнюю рубаху.

— В чем дело, Катя?— спросил сосед мать.— Может, вызвать «скорую помощь»?..

— Не надо,— всхлипывая, сказала мать.— Так, небольшая ссора...

— Бывает в семье,— сказал «культурник».

Сашенька увидела, что мать размякла, и это придало Сашеньке силы.

— Неправда,— громко крикнула она Дробкису,— была она меня... Вместе с любовником... Это квартира моего отца... Она не смеет... Она воровка... Вот кто она... Воровка...

Сашенька выпрыгнула из-за спины Васи и Ольги, прошмыгнула мимо матери, оттолкнула Дробкиса и побежала вниз по лестнице. К счастью, сумочка ее и туфли по-прежнему лежали на снегу в сугробе. Сашенька все подняла и торопливо пошла в конец переулка. Она чуть ли не бежала, и сердце ее колотилось под самым горлом. К Майе идти среди ночи было неудобно, и Сашенька решила пойти на вокзал, чтобы обогреться. Она все обдумала, пока шла, и даже успокоилась. Матери у нее больше нет. Будет жить одна. Из школы уйдет, поступит на перчаточную фабрику или на почту почтальоном... Мать у нее воровка, мерзавка и проститутка... А Вася— полицай... Ах, если бы «культурник» оказался шпионом... Переодетый диверсант...

На вокзале было шумно, но тепло. Вповалку на скамьях и прямо на полу лежали демобилизованные. Воздух был сизым от махорочного дыма. Вкусно пахло свиной тушенкой и хлебом. Сашенька села на подоконник за фикусом в обросшей мхом зеленоватой кадке и раскрыла сумочку. Она вынула мандаринки, понюхала их и посидела так некоторое время, прикрыв глаза. Затем спрятала мандаринки и разорвала бумажный подарочный пакет. В пакете было два ореха, один медовый пряник, три мятных, несколько леденцов, кулечек каленых семечек, очень вкусных. Сашенька съела сперва каменные пряники, это была тяжелая работа, у Сашеньки заболели скулы и даже мускулы на шее. Потом она принялась за леденцы. Вокруг было много молодых солдат, и Сашенька боялась, как бы они не начали приставать к ней, она съежилась за фикусом и даже перестала грызть леденцы, чтоб шумом не привлечь внимания. Но прошло полчаса, прошло сорок минут на часах, которые висели посреди зала, никто не приставал к Сашеньке, ей стало обидно, скучно, она выглянула из-за фикуса и застыла в изумлении. Неподалеку от нее сидел лейтенант-летчик, но таких красивых мужчин Сашенька видела только в цветных трофейных кинофильмах. У него было точеное смуглое лицо, густые брови сходились на пере-

носице, волосы были черные, как у цыган, а глаза серые, от взгляда которых становилось сладко на сердце. Летчик лишь раз глянул в сторону Сашеньки, да и то, наверно, не заметил, потому что она была скрыта фикусом. Он оперся на свой вещмешок, положил его под голову и прилег, чтоб вздремнуть. Длинные, загнутые кверху ресницы слегка подрагивали.

«Солнышко мое»,— с тихой радостью подумала Сашенька и представила, будто расчесывает ему черные, наверно шелковые на ощупь, волосы и будто голова его касается Сашенькиной груди, приятно щекочет набухшие соски.

«Миленький мой Витенька,— думала Сашенька,— славный ты мой, только мой.— Она придумала ему имя, чтоб быть ближе, чтоб не быть чужой.— Какая я богатая,— думала Сашенька,— это все мое... Эти ресницы, эти руки...»

Когда Сашенька мечтала, лицо ее запрокидывалось, глаза становились большими и на губах появлялась улыбка зыбкая и таинственная, как при неудовлетворенной страсти.

«Миленький мальчик мой,— шептала Сашенька.— Миленький, маленький мой...»

Протянув руку из-за фикуса, Сашенька могла коснуться черных цыганских волос лейтенанта, потому что он сидел на самом краю скамейки и голова его, опираясь подбородком на вещмешок, даже свешивалась за край. Сашенька скомкала цветную бумажку, в которую был завернут орех из новогоднего подарка, кинула обертку в мусорную корзину, стоящую рядом, и рука ее, как бы невзначай даже для Сашеньки самой, скользнула по волосам лейтенанта, но так легко, что лейтенант и не пошевелился. Красивое лицо его погружено было в глубокий сон. Сашенька никогда не видела прежде, чтоб лицо человека во сне оставалось таким красивым, потому что на лице спящего обычно проступают все дефекты, которые бодрствующие ухитряются скрывать, и особенно умело скрывают дефекты красивые люди. Час и два сидела Сашенька неподвижно, из окна дуло, спина оковенела, чтоб стало теплее, Сашенька сжалась, подогнув колени, нащупав ногами какой-то выступ, она поставила на него ступни, а голову пригнула к ногам. Ей приснилось: большая кошка пытается забраться под одеяло. Сашенька подгибает под себя края одеяла, но кошка находит Сашенькину руку и начинает рвать зубами. Сашенька выдергивает руку, к счастью, на запястье лишь небольшая ранка, лишь слегка примята кожа, а кошка отбегает в сторону и смотрит на Сашеньку не кошачьими, карими, все понимающими глазами.

Сашенька проснулась мгновенно, рывком. Она с трудом разогнула позвоночник. Болели икры ног, точно она взбира-

лась на гору, болела спина. Демобилизованные ходили по залу, кашляли, зевали. Почти никто уже не спал. Край скамьи, где сидел красивый лейтенант, был пуст.

«Он оставил меня,—с тоской подумала Сашенька.— Я никогда его больше не увижу».

И сразу же злоба проснулась в ней, но это не была злоба к красавцу лейтенанту, эта была старая, забытая злоба к своей распутной матери, к ее хромоту любовнику и к двум нищим, ради которых мать пожертвовала родной дочерью. Сашенька встала с подоконника, выбралась из-за фикуса, вышла на улицу и торопливо пошла, твердо зная цель, к которой шла, и ни секунды не колеблясь.

Был уже рассвет, дворники сгребали снег, к ларькам подъезжали хлебные фургоны. Запах поднятой лопатами снежной пыли смешивался с запахом свежеспеченного теста, и, прикрыв глаза, Сашенька представила, будто завтракает теплыми кусками хлеба, остужая после них гортань вкусными, холодными до зубной боли глотками.

Сашенька подошла к трехэтажному зданию, верхний этаж которого был закован в цинковые листы, а окна нижнего полуподвального забраны решеткой. Как раз подъехала мохнатая, вся в инее, лошадка, запряженная в сани, на которых стоял укутанный рогожей большой котел. Двое арестантов в телогрейках вышли из ворот в сопровождении милиционера, также в телогрейке, кубанке и с немецкой винтовкой, надетой через плечо дулом вниз, по-партизански. Арестанты взяли котел за металлические ушки и понесли. Из котла шел пар и вкусно пахло вареной брюквой, ржаной мукой и постным маслом. Сашенька сглотнула слюну, прижала локоть к заурчавшему животу, переждала, пока урчанье прекратится, и подошла к часовому.

— Мне к начальнику,— сказала Сашенька.

— Обратись к дежурному,—с привычной скукой сказал часовой,—слева крыльцо... где народ дожидается...

### 3

На крыльце толпилось много людей с кошелками и мешками, но еще больше их было в приемной дежурного, большой, холодной комнате, разделенной перегородкой. Дежурный, белокурый молодой парень, сидел в накинутах на плечи дубленом полушубке и листал какие-то бумаги. Люди в приемной тихо толкали друг друга, стараясь не скандалить между собой громко, чтоб не привлечь внимания дежурного, который, видимо, их уже одергивал и предупреждал. В основ-

ном здесь были сельские жители, но было несколько и одетых по-городскому, даже одна модница в шубе из серого каракуля, с такой же муфтой и каракулевым капором. Было странно видеть, как она толкается среди телогреек и кацавеек, пытаясь протиснуться поближе к полке, у которой писарь и милиционер принимали мешки и кошелки. Место возле полки занял здоровенный крестьянин. Он легко отталкивал напиравших сзади, выгружая на тряпочку перед писарем куски густо посыпанного солью сала, и писарь отмечал что-то в бумажке. Женщина в каракуле ухватилась одной рукой за перегородку и, нажав плечом в глыбообразную ватную спину крестьянина, ожесточенно, сантиметр за сантиметром, протискивалась к заветной полке, неся в вытянутой руке плетеную, перевитую шелковыми ленточками корзинку, в которой булькала бутылка молока и выглядывал румяный, аппетитный кусок жареной говядины, приправленной чесночком. Капор ее съехал на затылок, по молодому лицу текли струйки пота.

«Спекулянтка,— глотая слюну, со злобой подумала Сашенька,— наворовала каракулей».

В тот момент, когда женщина была уже близко, крестьянин сделал легкое движение задом, даже не оборачиваясь. Женщину унесло далеко от полки, за спины других посетителей и ударило о стену. Перетянутая ленточками корзинка, которую женщина краешком уже успела поставить на полку, сорвалась, под ноги толпящихся потекло молоко, и женщина нырнула вниз, пачкая каракуль о кирзовые сапоги.

«Так и надо,— с радостной злобой подумала Сашенька,— спекулянтка проклятая...»

— Что такое,— сказал дежурный, поднимая голову.— Я предупреждал— прекращу прием передач... Ну и народ... Степанец,— сказал он весело, заметив какую-то старушку в конце очереди,— ты опять здесь...

— Здесь, хозяин,— прошамкала маленькая старушка, кланяясь.

Она была поверх кацавейки накрест перетянута тремя платками, выглядывавшими один из-под другого. Ноги ее поверх валенок перевязаны были вокруг ступней тряпками, из которых выбивалась солома.

— Тебе ведь сказано неоднократно, Степанец,— терпеливо и настойчиво говорил дежурный.— Сыну твоему передачи приниматься не будут... Он виновен в тягчайших преступлениях... В массовых убийствах советских граждан, понимаешь... Его народ судить будет...

— Семь километров шла,— сказала старушка, вытирая

слезящиеся глаза,— мороз печет... Я ведь что... Я ведь немного ему... Животом он слаб... И грудь у него слабая... Вот... Спасибо, добрые люди посоветовали...

Старушка начала торопливо сизыми, отмороженными пальцами распутывать узелок расшитого васильками платка. В платке была желтая, протершаяся на сгибах бумажка, которую старушка понесла, ловко лавируя между посетителями, протянула дежурному...

— Что такое,— сказал дежурный.— Что еще за филькина грамота...— Он взял бумажку брезгливо двумя пальцами и начал читать, с трудом разбирая стершиеся каракули.

«Справка. Больной Степанец П. Н. страдает отложением мочекислых солей в суставах, а также почечной недостаточностью. Нуждается в молочной диете с большим содержанием овощей и фруктов. Рекомендуются курортное лечение... Сероводородные, радоновые ванны, грязевые аппликации с одновременным питьем минеральных вод. Рекомендуются поездка в Эссентуки, Железноводск, Сочи-Мацеста, Цхалтубо. Доктор Вурварг. 1940 год».

Пока дежурный читал, старушка стояла перед ним, с надеждой моргая и вытирая глаза сизыми пальцами.

— Здесь все правда написана, хозяин,— сказала она,— по совести написано.

— Некогда мне,— перегибаясь через перегородку, сказал дежурный.— Народу у меня прорва, а ты каждый день здесь толкаешься!.. Дома б сидела... Семь километров сюда ходишь да семь обратно...

— Когда как,— сказала старушка.— Бывает — подвезут... Подвода бывает колхозная или машина... Тут в бумаге все написано, чтобы принять...

— Филькино это писание,— уже сердито сказал дежурный,— возьми бумагу... Еще придешь завтра, задержу... Арестую, поняла?

Он отдал старушке бумагу, она бережно завернула ее в платок и, спрятав на груди, отошла к подоконнику, видно, устраиваясь перекусить, достала луковицу, тряпицу с солью и хлеб.

Воспользовавшись замешательством, которое вызвала старушка, женщина в каракуле кинулась к полке в образовавшийся проход, неся перед собой корзинку, вкусно пахнущую жареной говядиной, которая, будучи пропитана разлитым молоком, приобрела особо нежный аромат. И этот запах, щекотавший Сашенькины ноздри, удвоил ее силы и возбудил злобу. Сашенька так же проворно кинулась в проход, и они сшиблись плечами с женщиной у самой полки.

— Мне не передачу,— торопливо сказала Сашенька прямо в лицо дежурному.— Мне по особому делу...

Сашенька твердо поставила локоть на полку, так что он мешал женщине не только протолкнуть корзину, но и отгораживал ее лицо от дежурного.

— Мне по особому делу,— повторила Сашенька, терпя боль, потому что женщина снизу сильно давила Сашенькину ногу коленом, а на полке царапала Сашенькину кожу у запястья каким-то металлическим острым шипом, торчавшим из корзины.

— По какому делу?— спросил дежурный, разглядывая Сашеньку.

— По особому,— в третий раз повторила Сашенька, с трудом удерживая руку на полке.

— Заходи,— сказал дежурный и открыл в перегородке небольшую калитку, откинув крючок.

Сашенька с облегчением убрала руку с полки и вошла за перегородку. Женщина с ненавистью посмотрела ей вслед, и тут же женщину вновь оттеснил высокий крестьянин, начавший выкладывать на полку перед писарем крутые яйца.

— Входи сюда,— сказал дежурный и, открыв дверь, пропустил Сашеньку вперед.

Это была небольшая, совершенно пустая комната. Даже стола в ней не было, а только два табурета, настенный телефон и портрет народного комиссара внутренних дел.

— Садись,— сказал дежурный.

Сашенька села на табурет, а дежурный остался стоять под портретом.

— Слушаю,— сказал дежурный.

— Мне известно, где скрывается полицай,— сказала Сашенька, облизав почему-то пересохшие губы и вспомнив совершенно ярко и отчетливо, как Вася и Ольга сидели, прижавшись друг к другу, словно щенки на пожаре.

— Ты не торопись,— оживленно сказал дежурный и дружески подмигнул,— и не бойся... Давай, говори подробнее...

— Он скрывается в моем доме,— глухим твердым голосом сказала Сашенька,— моя мать кормит его ворованными продуктами... Ворованными у государства... Ненавижу ее... Мой отец погиб на фронте, погиб за родину... а она с любовником...

Дежурный внимательно посмотрел на Сашеньку и положил ей руку на волосы, погладил...

— Не волнуйся,— сказал он,— ты молодец... Если б жил отец, он одобрил бы твой поступок... Я сам три года в партизанах всякое повидал... Значит, мать живет с бывшим поли-



цаем? — уже другим, протокольным голосом спросил дежурный.

— Нет,— сказала Сашенька, у которой перед глазами плыл туман и губы были мокрыми от слез,— у полиция Ольга... а мать с культурником.

— Каким культурником? — вынимая блокнот, спросил дежурный.— Какая Ольга, ну-ка фамилии...

— Не знаю,— сказала Сашенька.

— Адрес тогда,— сказал дежурный.

Сашенька назвала адрес.

— А мать где работает?

Сашенька сказала.

— Я тоже питалась этими продуктами,— добавила Сашенька.

— Ничего,— сказал дежурный.— Хорошо, что созналась... Политзанятия посещаешь?.. Сын за отца не отвечает. Какого классика марксизма эта цитата?

Не дожидаясь ответа, дежурный подошел к телефону, снял трубку и сказал несколько слов, которых Сашенька не разобрала. Потом он повесил трубку, сел на табурет, положил на колено блокнот, черкнул размашисто две фразы, вырвал листок и протянул его Сашеньке.

— Зайдешь к начальнику,— сказал он. Дежурный дал ей записку и, открыв невидимую, оклеенную обоями дверцу, пропустил Сашеньку в коридор.— Прямо иди,— сказал он.— Покажешь записку.

Сашенька прошла коридор и оказалась в светлой, очень теплой комнате, так что сидевшая в углу машинистка была в блузке с коротким рукавом, как летом. А рядом с машинисткой сидел красавец лейтенант. Сашенька вначале даже провела ладонью по глазам, не веря и удивляясь такому совпадению. Лейтенанту тоже было жарко, он расстегнул крючки на кителе, и легкая красноватая полоска прорезала шею там, где ее сжимал тугий ворот. Глаза у него теперь были не серые, как ночью, а голубые. В комнате этой было три двери, одна обита кожей, вторая войлоком, третья просто деревянная. Из деревянной двери вышел худой человек в пиджаке, поверх рукавов которого были надеты черные ситцевые нарукавники, словно у бухгалтера. В руках он держал несколько папок.

— Вот что есть в архивах,— сказал человек, подходя к лейтенанту.

Машинистка перестала стучать и подняла голову. Лейтенант также поднял голову. Густые брови сошлись у него на переносице, голубые глаза потемнели, и стал он еще красивее,

так что Сашенька стояла не дыша, забыв, зачем пришла сюда, и думая только о нем.

— Значит, по Овражной улице имеется 960 замученных граждан, и на них у нас списки есть почти на всех, поскольку они проходили через канцелярию фельджандармерии,— сказал человек в нарукавниках,— затем в районе бывшего аэродрома. И в селе Хажин... Семь километров, карьеры фарфорового завода... Кроме того, есть ряд мелких, незарегистрированных могил, поскольку кое-где убийства велись стихийно... В основном местными полициями в нетрезвом виде... Имеется рапорт врача санэпидемстанции городской управы и докладная одного из дворников... Сейчас они будут здесь... Врач этот еще у нас в предварительном следствии, а дворника мы вызвали...— тут человек заметил Сашеньку.

— Тебе чего?— спросил он.

Сашенька показала записку.

— Понятно,— сказал человек с бухгалтерскими нарукавниками,— проходи сюда, опиши все подробно и подпишись.

Он толкнул войлочные двери и пропустил Сашеньку в комнату с канцелярским столом, диваном и зарешеченным окном, стекла которого были до половины замазаны мелом, как в туалетах.

— Пиши,— повторил он.

Сашенька осталась одна. Перед ней на столе лежала куча белой бумаги и стоял мраморный чернильный прибор в виде головы Черномора, против которого скакал Руслан с копьем. Сашенька сняла крышку-шлем и, взяв одну из лежавших на столе ручек, обмакнула перо в череп Черномора. Ручка была толстой, канцелярской, Сашенька отложила ее и взяла привычную школьную, тоненькую.

«Мать моя,— написала Сашенька,— является расхитителем советской собственности. Я отказываюсь от нее и хочу быть теперь только дочерью отца, погибшего за родину...» Сашенька пробовала писать с нажимом, но перо брызгало, царапало и к тому ж бумага была линейная, как в школьных тетрадах, буквы прыгали и строчки то ползли вверх, то загибались книзу. Сашенька никак не могла придумать, что написать о Васе, Ольге и «культурнике». Она подумала, неплохо бы приписать и Батюню, и Маркеева, и Зару с золотыми подвесками, и вообще всех, кто смеялся и издевался над Сашенькой. Она отложила перо и задумалась. Кроме войлочных дверей, в комнате были еще одни, крашенные белой краской, словно в больнице. И за этими больничными дверьми слышались глухие голоса и кто-то надсадно, действительно побольному кашлял. Сашенька решила спросить, что ей писать

дальше, она встала, подошла на цыпочках к белой двери и легонько толкнула ее. Дверь подалась, приоткрылась, и в образовавшуюся щель Сашенька увидела лейтенанта. Он сидел в кресле, опершись рукой о подлокотник и опустив на ладонь голову. Рядом с ним стоял исхудавший, бледный человек, видимо, арестант. Тощая шея арестанта перевязана была шарфом, а синеватый бритый череп и виски так туго обтягивала кожа, что казалось, она вот-вот лопнет, особенно теперь, когда человек надсадно, тяжело кашлял. Рядом с этим человеком стоял дворник Франя и мял в руках шапку.

— Продолжайте, Шостак,— сказал чей-то негромкий, но пугающий голос.

Сашеньке стало страшно, однако она не решилась приоткрыть дверь, так как боялась, что дверь скрипнет. Она шагнула на цыпочках влево и увидела за столом майора в очках, который читал какую-то бумагу.

— Это ваша подпись, Шостак?— спросил майор.

Шостак вытащил из телогрейки конец грязного шарфа, вытерши рот, хрипло несколько раз вдохнул и сказал:

— Попить бы...

— Это ваша подпись?— повторил майор.

— Разрешите,— сказал Шостак и взял бумагу.— Да... Я обязан был как санитарный врач сигнализировать...

Майор взял бумагу и, подняв очки на лоб, прочел:

«В канализационных коллекторах, сточных канавах, а также в ряде случаев в дворовых местах общественного пользования обнаруживаются трупы лиц еврейской национальности, которых отдельные граждане из местного населения самовольно уничтожают в черте города, используя металлические прутья, ножи, камни и прочие средства. Подобные действия, в нарушение инструкции о сборе этих лиц в строго установленных пунктах для дальнейшего препровождения, угрожают городу эпидемией, что особенно опасно, учитывая большое количество госпиталей немецкой армии, размещенных у нас. Гниющие трупы привлекают бродячих собак и кошек, а также способствуют размножению мух и слепней, и это усиливает опасность распространения эпидемии как среди населения, так и среди армии. Санэпидемстанция городской управы не располагает ни транспортом, ни рабочей силой для вывоза трупов в места, заранее предусмотренные. Посему прошу обратиться к военным властям с ходатайством о запрещении впредь подобного нарушения инструкции, а также прошу выделить транспорт для очистки городской территории от очагов заразы. Главный врач санэпидемстанции городской управы Шостак. 17 августа 41 года».

— Мне было отказано в транспорте,— глухим, утробным голосом, как говорят в бреду, сказал Шостак.— Мы пробовали использовать двухколесные тачки, но место транспортировки было порядка пяти—семи километров, к тому ж многие трупы, особенно для транспортировки их по городу, особенно в летнее время, требовали мешков и рогож, так как иногда случалось, конечности были отделены, а в ряде случаев нарушен был кожный покров и ткань, так что внутренности оказывались выведенными наружу и подвергались в еще большей степени, чем наружные покровы, окислению, усиливая опасность эпидемии. Подобная работа по очистке не терпела отлагательств, поскольку водопровод был взорван и население города пользовалось естественными открытыми водоемами... В силу трудоемкости и вредности она требовала высокой оплаты мясными и молочными талонами... В этом мне также было отказано... Поэтому я дал указание дворникам закапывать трупы по месту жительства... То есть используя укромные места во дворах либо близлежащие пустыри, если трупы находили по месту жительства. До 24 сентября, когда объявлен был день сбора, все лица еврейской национальности жили по своим квартирам, выселение их в отдельные районы не производилось... Но были у нас случаи убийства просто на улицах... Тут возникали трудности в части уборки... Мы испытывали трудности даже с такими простыми средствами дезинфекции местности, как гашеная известь...— Шостак говорил то громче, то переходя на шепот, глаза его лихорадочно блестели, как у тяжелобольного. Он был в каком-то полубреду, едва стоял на ногах...— Попить бы,— снова сказал Шостак.

Майор налил в жестяную кружку воду из графина. Шостак схватил ее жадно, вцепился так, что слышно было поскрипыванье зубов о жезл, однако сразу же закашлялся, уронил кружку и согнулся, схватившись за живот. Вены на бритом черепе его раздулись, и видна была ясно каждая жилка, словно на наглядном пособии по анатомии.

— Садись,— сказал майор и подвинул ногой табурет.

Шостак тяжело упал на табурет, снова вытер лицо концом шарфа.

— Теперь вы,— сказал майор, повернувшись к Фране.— Тут в деле имеется ваша докладная о семье зубного врача... Вот сын их приехал.— Майор кивнул на лейтенанта, сидевшего в кресле. Лицо у лейтенанта было бледным, и он поминутно то застегивал, то расстегивал крючки на тугом воротнике под горлом. Он молча вынул фотографию, наклеенную на картон. Сашенька прильнула к самой щели и разглядела фо-

тографию довольно хорошо, потому что Франя стоял неподалеку от двери и фотографию он рассматривал тщательно. На фотографии были мужчина и женщина, празднично одетые. Женщина держала младенца. За спиной мужчины и женщины стояли юноша и девушка. Девушка была в сарафане с открытой шеей и голыми плечами.

— Я их припоминаю,— сказал Франя, который уже с утра, несмотря на полученную повестку, выпил стакан бурового самогона.— Как же, все на одно лицо. Красивая была порода... На месте они... В своем дворе... Если б они ушли в общую, тогда не найдешь... Там тысяч десять, а тут четверо...

— Конкретней, Возняк,— прикрикнул майор.

— Шума-ассириец их кончил,— сказал Франя, выдохнув,— чистильщик сапог... В газету завернул кирпич, среди бела дня головы разбил и за ноги повытаскивал в помойку... Дочку шестнадцати лет, и мать, и Леопольда Львовича, и младенчика пятилетнего... И одежду свою окровавленную в помойку выбросил... Он специально одежду старую надел, чтобы выбросить не жалко... Шаровары рваные и рабочую куртку парусиновую в ваксе... Лежала эта семья так четыре дня друг на друге, и Шума не разрешал их из ямы вытаскивать, чтоб, говорит, все соседи на них помои лили и грязь кидали... А его и боялись, он же в полицию пошел служить... Дни жаркие были, воздух гнилой, мухи летают... Я ему говорю: у тебя же самого дочь Зара этим воздухом дышит... Не обращает внимания... Ну, пошел я в городскую управу, мне там разъяснили: не слушай, мол, его и не бойся, есть указание властей бороться с эпидемией. Так что вывози в карьеры на фарфоровый завод... А подводу, говорю, где взять, семь же километров... На то ты, говорит, и дворник... Ну, вытащил я всю семью Леопольда Львовича ночью из ямы и закопал возле сараев... А младенчика в рогожу завернул и на кладбище отнес... Сторожу два куска мыла отдал и кальсоны теплые. Он и разрешил мне возле ограды закопать... Дите обижать нельзя, это невинная душа... Не знаю, что у Шумы с Леопольдом Львовичем было, пусть Бог рассудит, а за младенчика, я ему говорю, вечное адское искупление терпеть будешь... Выпил для храбрости и сказал... Он мне по морде смастерил, чуть зубы не выбил... А теперь сам мучается в Ивдель-лагере. Он не здесь попал, он в Польше, там четвертную дали. Только лучше б вышку заработать... Приехал тут один, освободился... Видал его в пересыльном... Болеет все Шума, и болезни какие-то невиданные, какие лишь в аду бывают... Мясо на ногах лопается, тело в нарывах, так что спать нельзя

ни на спине, ни на животе, ни на боках, засыпает на коленях, в стену лбом упершись, а как заснет, свалится на нары, начинают гнойники лопаться, и вскакивает с криком... Его за то другие заключенные не любят, спать мешает... И еще не любят, что как еду раздадут, съест ее быстро, словно пес миску вылизжет, и ходит просит чужие миски облизать... Кровью кашляет, а не помирает никак... Искупление ему за младенчика... Злоба у меня на него, товарищ майор, хоть он тоже человек... Я ему говорю: Леопольда Львовича кончай, раз уж припичило, жену кончай, дочку кончай, а дите не трожь...— Франя всхлипнул. Плакал он размашисто, по-пьяному, вытирая лицо, щеки и шею локтями, ладонями, так что на коже оставались полосы.

Некоторое время в комнате было тихо, майор сидел, наклонив голову, а лейтенант смотрел перед собой, и впервые лицо его поблекло, изменилось так, что он даже перестал Сашеньке нравиться. Все время, пока говорили, Сашенька стояла в каком-то оцепенении. Не то чтоб она не понимала, о чем говорили, слышно было хорошо, она разбирала каждое слово, но после этого разговора ей казалось, что она подслушала какую-то ужасную, как ночной кошмар, тайну, от которой кружилась голова и которая была вовсе не о том, о чем говорились здесь слова, это напомнило ей почему-то три свечи в зеркале во время гадания, но дело было не в свечах и не в зеркале, а в чем-то третьем, вызывающем дрожь в темном воздухе, в мелькнувших чужих лицах, приближающихся из серебристого полумрака, словно все привычное и знакомое исчезло, и Сашенькиной кожи коснулся легкий ветерок, влажный земляной запах чужого мира, и как только Сашенька ощутила его, испуг исчез, и она подумала с облегчением: «А ты разве не знала? Да, это так», и теперь ей казалось, что, наоборот, вид деревьев, снега, солнца или куска хлеба может повергнуть ее в ужас. Сколько такое продолжалось, Сашенька не знала, ее привел в чувство крик из соседней комнаты.

— Я болен,— кричал арестант, похожий на анатомическое пособие,— у меня рези в кишечнике... у меня спазмы желудка.

Майор снял трубку, позвонил, и Сашенька подумала, что она тоже больная, видно, простудилась, когда бегала в одной маркизетовой блузочке.

В соседнюю комнату вошел человек в белом халате и начал щупать арестанта, запрокинул ему голову, оттянул нижние края век. Сашенька на цыпочках отошла к столу, где лежало ее недописанное заявление.

«...Я отказываюсь от нее,— перечитала Сашенька,— и хочу быть теперь только дочерью отца, погибшего за родину...»

Вдруг Сашенька спохватилась, что с ней нету туфель-лодочек. То ли она оставила их на вокзале, то ли уронила по дороге. И Сашеньке стало так обидно, что она забыла обо всем, и слезы потекли сами по себе. Сашенька начала часто моргать мокрыми ресницами и проморгала так минут десять, пока не ощутила вдруг, что кто-то на нее смотрит. На пороге, открыв дверь настежь, стоял майор. За спиной его в соседней комнате уже никого не было, словно все то было видением и растаяло в воздухе.

— Ты чего здесь?— спросил майор. Он подошел, скрипя сапогами, и взял заявление, прочел.— Отчего ж ты плачешь,— спросил он,— мать жалко?

И вдруг Сашенька подумала, что, может, действительно ей жалко мать. Но тут же Сашенька вспомнила, как мать стояла с инвалидом, и как била ее, и как выгнала из дому не вшивых нищих, а свою родную дочь. И Сашенька обозлилась сама на себя за то, что вдруг пожалела. Сашенька сердито посмотрела на майора, ничего не ответив, быстро дописала: «Живет также у нас в квартире полицей Вася и полицейева жена Ольга». Она размашисто подписалась и протянула майору бумажку.

— Не умеешь ты еще такие бумаги писать,— рассмеявшись, сказал майор,— малоубедительно пишешь... Кроме того, дату надо и адрес...

#### 4

Три дня Сашенька пролежала у Майи с высокой температурой. Просыпалась она на рассвете и смотрела в потолок, нежась на свежих простынях, ждала, пока дворник за окном начнет царапать тротуар лопатой. Тогда Сашенька закрывала глаза, засыпала под эти шаркающие, монотонные звуки и просыпалась уже поздно утром, часов в десять. Сашенька любила ночевать у Майи. Майя была некрасивая, бледная девушка с плохим обменом веществ, отчего лицо ее всегда было в смазанных зеленкой гнойничках. Майя была доброй и начитанной девочкой, но подруг у нее не было, а мальчиков она боялась. Потому родители Майи очень были довольны дружбой ее с Сашенькой. Отец Майи работал лектором, а мать преподавала литературу в техникуме. Отец был маленький, с плешью и смешно вытянутыми вперед губами, словно он все время трубил в сказочную дудочку-невидимку.

Мать была, наоборот, высокая, рыхлая, с женскими редкими бакенбардами и усами. В доме этом Сашеньке было хорошо, спокойно и сытно, но была одна нелепая история, из-за которой Сашенька старалась последнее время здесь не появляться и даже подружилась, правда ненадолго, с Иришей, дочерью полковника. Собственно, и истории-то никакой не было, так, выдумка глупая, за которую Сашенька сама себя ругала и в конце концов решила: всякий раз, как придет эта глупость в голову, щипать себя незаметно и царапать ногтями. Месяца два назад Сашенька и Майя были в кино, смотрели трофейный фильм с такой страстной и нежной любовью, что, выйдя на улицу, Сашенька, потрясенная, шла посреди мостовой, спотыкаясь и спеша, словно торопилась на свидание и у ларька газоды на углу Махновской и Изаковской ее ждал мексиканец Френк Капра. Майе фильм не понравился.

— Ходячий наив,— сказала Майя,— почитай «Приключения в пломбированном пульмане», там наш разведчик любит разведчицу... И погибает, конечно, за родину, но родина олицетворяет для него все: и березки, и кремлевские звезды, и разведчицу...

— А может, ты мне еще «Евгения Онегина» посоветуешь читать? — с ехидным смехом спросила Сашенька...

Майя была отличница и хорошо писала изложения, а Сашенька по два года сидела в одном классе и вообще собиралась оставить школу, но про любовь Майя ничего знать не могла, ей, наверное, даже не снились ночью мальчишки. Сашенька разозлилась, что Майя с ее гнойничками вообще говорит про любовь.

Дома у Майи их ждал хороший обед. Сашенька получила глубокую тарелку, до краев наполненную перловым супом, на поверхности которого плавали ароматные пятна расплавленного свиного жира. В тарелке лежала большая мозговая кость, облепленная кусочками мяса и клейкого хряща, который Сашенька любила еще больше, чем мясо. На второе были клецки из ржаной муки с мясной подливой. Клецки были подрумянены на сковороде и пропитаны салом, стоило прижать их вилкой, и сало начинало течь, смешиваясь с подливой, делая ее гуще. И было еще третье — чай с пластовым мармеладом. Сашенька ела это все, испытывая в душе необычайную благодарность и к Платону Гавриловичу, и к Софье Леонидовне, а перед Майей она чувствовала вину за то, что вышучивала ее по дороге. Незадолго перед этим Сашенька поругалась с матерью, и теперь она думала, насколько чужие люди бывают иногда лучше родной матери. После еды Сашенька уселась на плюшевый диван и решила подумать о чем-нибудь



хорошем или смешном, потому что на душе у нее теперь было покойно, а в животе тепло. Она начала опять думать про фильм, вспомнила, как Френк Капра обнимал блондинку так сильно, что Сашенька, сидя в зале, даже почувствовала свои суставы и тело, занывшее в истоме, правда, легкой, далекой от ночной живой сладости. Сейчас, сидя на плюшевом диване в сытой полудреме и вспоминая, Сашенька вновь испытала это чувство, даже еще более усиленное, так что зашекетало грудь, и она прижалась щекой к спинке дивана, прикрыв глаза, но что-то звякнуло, Сашенька вздрогнула и вскочила. Софья Леонидовна подбирала осколки уроненной ею и разбитой тарелки. Волосы выбились из-под косынки, а капот распахнулся, обнажив желтую висящую грудь, и Сашенька просто ради шутки подумала, представила себе, как Платон Гаврилович обнимал наедине Софью Леонидовну, целовал в обросшие редким курчавым волосом щеки, и вдруг Сашеньке стало не весело, а тошно, так что кусочки пластового мармелада, который Сашенька ела в последнюю очередь, подкатились ей к горлу. Она прикрыла рот ладонью и посидела так некоторое время, стало легче, кусочки мармелада сползли, но начало побаливать в животе. Это чувство возникало несколько раз, Сашенька старалась не смотреть на Софью Леонидовну, отказалась от ужина, настоящего омлета из американского яичного порошка, и в тот же вечер помирилась с матерью. После этого Сашенька недели две не была у Майи, а когда пришла, то ей стыдно было смотреть Софье Леонидовне в глаза, точно она скрывала какой-то свой тайный, мерзкий порок, о котором та могла догадаться. Долгое время у Сашеньки не было этих ощущений, она даже начала забывать о них, но беда состояла в том, что сейчас, когда Сашенька пришла измученная и больная, они появились вновь и даже усилились. Потому, проснувшись утром и прислушиваясь к голосам в соседней комнате, Сашенька с тревогой ждала появления Софьи Леонидовны и, нервничая, несколько раз провела себе ногтем по запястью, царапая в наказание кожу. Софья Леонидовна вошла умытая, свежая, с заплетенными в косу волосами и освещенная из окон утренним морозным солнцем. Она положила Сашеньке ладонь на лоб, затем опустила руку под одеяло и нащупала Сашенькины плечи и грудь.

— Ты вся мокрая,— сказала Софья Леонидовна,— надо переменить рубашку...

Майя вошла также умытая и свежая, пятен зеленки на ее лице сегодня почти не было. Она принесла свою рубашку, шелковую, с кружевами у ворота. Майя была выше Сашеньки,

ростом в Софью Леонидовну, и Майина рубашка доходила Сашеньке почти до пят.

— А мать твоя в этот раз даже не поинтересовалась,— сказала Софья Леонидовна,— обычно она приходит ко мне в техникум, когда ты у нас, спрашивает... А сейчас ей даже неинтересно знать, что дочь больна...

— Я ее ненавижу,— низким, мужским голосом сказала Сашенька, так как была простужена,— она мне не мать... Я признаю только отца, погибшего за родину...

— Ты можешь жить самостоятельно,— сказал Платон Гаврилович, показав в дверь свое намыленное лицо, так как он брился,— за отца еще будешь года два получать пенсию... Окончишь семилетку, поступишь в техникум.

Майя внесла в комнату дымящуюся чашку бульона. Это был настоящий куриный бульон, крепкий и опьяняющий, сваренный из кур, полученных Платоном Гавриловичем в каком-то дальнем сельмаге после лекции о международном положении. С каждым глотком Сашенька чувствовала свое крепнущее тело — так ей казалось, но держать чашку еще все ж было трудно, поскольку была она тяжелой, наполненной до краев крепким, наваристым бульоном, а руки Сашеньки были слабы от трехдневной температуры. Чашка наклонилась, и жирные капли бульона плеснули на пододеяльник. Софья Леонидовна взяла чашку у Сашеньки и приставила край ее к Сашенькиным губам. Сашенька пила, испытывая необычную благодарность, и ей даже захотелось обнять и поцеловать эту добрую женщину, но одновременно знакомое беспокойство бродило в Сашенькиной голове, она вдруг поймала себя на том, что ей хочется крикнуть Платону Гавриловичу: не надо, не становитесь рядом, не подходите... Но Платон Гаврилович подошел, взял Софью Леонидовну под руку, плешь его прикасалась к ее пыльному плечу, и Сашенька со злостью отдала себя во власть своих же нелепых выдумок, которых боялась и от которых не знала, как избавиться. Она представила себе все, что делал Френк Капра с гибкой блондинкой, но вместо темпераментного мексиканца был Платон Гаврилович с лысиной и телом подростка, а гибкую блондинку заменяла Софья Леонидовна. Это видение было так смешно и так ужасно, что Сашенька с силой ущипнула свою ногу под одеялом в наказание и едва не поперхнулась бульоном.

— Пей маленькими глотками,— строго сказала Софья Леонидовна.

— Хорошо,— сказала Сашенька и, не выдержав, рассмеялась.

— Ты чего? — спросил Платон Гаврилович.

— На нее смехотунчик напал,— сказала Майя, тоже засмеявшись.

— Значит, выздоравливает,— сказала Софья Леонидовна,— не будет больше в маркизете бегать по морозу.

К счастью, во входную дверь застучали. Стучали сильно, кулаком, и стало сразу ясно, что это стук незнакомого человека.

— Кого еще несет в выходной с утра?— сказал Платон Гаврилович.— Может, ко мне посыльный из райисполкома, лекцию ехать в Хажинский сельсовет читать... Но ведь вчера перенесли на четверг.

Платон Гаврилович был в галифе, вполне пригодных четырнадцатилетнему мальчику, а сверху на нем была теплая нижняя фуфайка подросткового размера, пуговички которой на груди были расстегнуты, обнажая детскую грудь, покрытую седым курчавым волосом. Он натянул поверх фуфайки полувоенную гимнастерку ответработника и, надевая на ходу широкий командирский ремень, пошел в переднюю.

— Это к тебе, Саша,— сказал он, вернувшись через некоторое время,— навестить пришли... Это Ольга,— повернувшись к Софье Леонидовне, добавил он.— Женщина, которая помы у нас мыла... И с ней еще кто-то...

Сашеньке стало почему-то страшно, она забилась в угол дивана, натянув одеяло под горло. Войдя, Ольга тоже посмотрела на нее с испугом. Вслед за Ольгой в комнату вошел танкист-«культурник». Оба были с красными от мороза лицами. Некоторое время длилась неловкая тишина, потом «культурник» сказал:

— Здравствуй, Саша... Вот наведалься... Ольга мне адрес показала...

— А вы кто Саше будете?— подозрительно и ревниво глядя на «культурника», спросила Софья Леонидовна.

— Никто он мне,— вдруг со злостью выкрикнула Сашенька,— не знаю, чего им надо... Чего пришли... Хотят чего-то от меня выведать... Чего-то против меня хотят...

Как только Сашенька крикнула, Ольга испуганно попятилась к дверям, «культурник» посмотрел удивленно, а Софья Леонидовна быстро стала между гостями и Сашенькой, положив Сашеньке руку на голову.

— Не бойся, деточка,— сказала Софья Леонидовна.— Ты в своем доме, тут тебя не обидят... Это, видно, штучки твоей матери... Только уж лучше б она сама пришла, чем чужих людей посылать... Все ж дочь...

— Извиняюсь, конечно,— кашлянув, сказал «культур-

ник»,—мать бы рада прийти, только не может, арестована она уже третий день...

— Я так и знал,—нервно выкрикнул Платон Гаврилович,—я чувствовал, что женщина, которая не умеет воспитывать свою дочь, кончит уголовщиной... Женщина, у которой отсутствует материнство, отсутствует и нравственное начало...

— Извиняюсь, конечно,—сказал «культурник».—Уголовщина там не Бог весть какая... Ее задержали в проходной с продуктами... Я ее действия, конечно, не одобряю... Но только делала она это не для себя... Дочка нервная, ей питание усиленное надо...

— Я не просила, не просила,—крикнула Сашенька,—я говорила, что она позорит... Она позорит отца... Его память... Она не мне... Она половину... Она больше половины отдавала... Она не ради меня...

— Успокойся, Саша,—сказала Софья Леонидовна,—у тебя подымется температура... У тебя глаза лихорадочные.

— Это верно,—негромко сказал «культурник»,—чего уж сейчас... Я у нее был сегодня... Просила она, чтоб пришла ты повидать перед отправкой... Их в Гайву перевозить будут... Судить-то ее по месту жительства будут, я уж со следователем говорил... А пока в ту тюрьму перевезут... Тут тюрьма разрушена, а в КПЗ долго не продержат... К ним в пятницу допускать будут...

— Она больна,—торопливо сказала Софья Леонидовна.

— Это я вижу теперь,—ответил «культурник».

— А вы кто ее матери будете?—подойдя вплотную и поднимаясь на цыпочки, строго спросил у «культурника» Платон Гаврилович.

— Любовник это ее,—задрожав, выкрикнула Сашенька,—она память отца позорит...

Сашенька старалась не смотреть на «культурника», но неожиданно, сама не зная почему, глянула, и у нее перехватило дыхание, точно все, что она знала про себя, в один миг стало известно и ему до самых мелочей, до того, что подчас она и от себя скрывала, и сейчас Сашенька была полностью в его власти, сидела под его взглядом обнаженная и беззащитная. Это длилось недолго, может быть, не более минуты, затем Сашенька пришла в себя, однако уже не кричала, а сидела тихо, забившись в угол.

— Садитесь, пожалуйста,—неожиданно сказала Майя и подвинула стулья «культурнику» и Ольге. Они сели, «культурник» твердо опершись о спинку, а Ольга на самый краешек, боком.

— Тут вам мамаша записку передала,— переходя на «вы», тихо сказал «культурник». Он наклонился и подал Сашеньке бумагу, сложенную треугольником, как фронтовые письма от отца. Сашенька взяла, развернула и начала читать корявые, писанные чернильным карандашом строки.

«Дорогая доченька моя Саша,— писала мать,— с приветом к тебе твоя мать Екатерина. Такая, доченька, стряслась беда. Но ты не волнуйся, следовательно говорит, что много мне не дадут, если чистосердечно во всем признаюсь, подберут хорошую статью, как за мелкое хищение, а не хищение государственного имущества на военном предприятии. Дай-то Бог. И, может, учтут мое вдовство и фронтовую смерть моего мужа, а твоего отца. Доченька, я ночи здесь не сплю, когда думаю, как же ты будешь жить без меня. Тебе учиться надо, и ты болезненная, тебе питаться хорошо надо. Спасибо Софье Леонидовне, она к тебе как родная мать, даже лучше, ты цени это, потому что она все ж тебе чужой человек, а она про тебя заботится. Доченька, я тебя перед нашей разлукой ударила. Ты прости меня, сердце зашло и болело после того еще долго и сейчас еще болит. Ты не сердись и приходи в пятницу, я тебя повидать сильно хочу. Твоя мать Екатерина».

Сашенька читала долго, начиная и останавливаясь, перечитывая, доходя до конца и вновь читая первые строки. В глазах ее плыл туман, груди было тяжело, и не хотелось ничего на свете, кроме того как сидеть так с туманом в глазах и тяжестью в груди.

— Чего она там такое написала?— сердито сказала Софья Леонидовна и хотела взять письмо, но Сашенька торопливо, даже резко отстранила ее руку и спрятала письмо под рубашку на груди. Увидав, что Сашенька притихла, сидит грустная, с мокрыми от слез щеками, Ольга несколько осмелела.

— Васю тоже зарестовали,— сказала она,— жалко... Понятливый он был, тихий... Я б возле него прокормилась... А кроме Васи, кому я нужная...

— Пойдем, Ольга,— сказал «культурник»,— мы свое дело выполнили... А теперь мы, может, не к месту... В том смысле, что, может, люди перекусить хотят или мы, может, больной повредили...— Он повернулся к Софье Леонидовне.— Спасибо, хозяйка, что следите за Катериной дочкой, как никак...

Он пошел к дверям с Ольгой, но сразу же вернулся, видно, в передней у него был пакет большой, промасленный и вкусно пахнущий.

— Вот,—сказал он,—это паек... гостинец...

Платон Гаврилович, стоя за его спиной, сделал зверское лицо и мотнул головой: не бери, мол.

— Нет, нет, нет,—легко кивнув Платону Гавриловичу и отталкивая пакет обеими руками, сказала Софья Леонидовна,—мы не нуждаемся... А вы это лучше... Лучше передачу из этих продуктов...

— Ничего,—сказал «культурник»,—передачу мы тоже обеспечили.

Он положил пакет прямо на Сашенькины ноги поверх одеяла и вышел. Слышно было, как они одевались, как Ольга закрепляла, перематывала веревки на галошах, Сашенька угадывала это по сопенью и потаптыванью. Потом хлопнула входная дверь, и все затихло.

Весь день Сашенька пролежала, повернувшись к стене, в полузабытьи. Ей было жарко, и она вытащила одеяло из пододеяльника. Тогда стало холодно, однако, чтобы заправить одеяло в пододеяльник, надо было сесть на кровати и производить какие-то новые движения руками, и Сашенька предпочитала согреться, прижав колени к животу. Когда пришел доктор, Сашеньку с большим трудом подняли, и это было не то чтобы больно, а скорее раздражало, потому что она нашла наконец удобное положение с подогнутыми коленями и ладонями, охватывающими ступни. Край одеяла, прикрывая Сашенькину голову, образовывал матерчатый козырек между подушкой и стеной, и перед Сашенькиным лицом был серый приятный полумрак, а пальцами рук Сашенька поглаживала пятки и ложбинку ступней. Когда же Сашеньку извлекли на свет, на безжалостное морозное солнце, заливавшее комнату, режущее глаза, ноги Сашенькины оказались в неудобном положении, так что болел таз и ныли пятки, и руки ее оказались далеко выброшенными на одеяло, не могли ничем помочь ноющему телу. Сашенька увидела красное, замерзшее, как у «культурника», лицо доктора, но у нее уже не было сил обозлиться на него, ей могло хватить лишь сил, чтоб разжалобить доктора и Софью Леонидовну.

— Доктор,—сказала Сашенька слабым голосом,—доктор, миленький, славенький мой доктор... что мне делать... с кем посоветоваться... Софья Леонидовна... миленькая, славенькая моя...—Однако больше Сашенька ничего не могла сказать, она неудачно рассчитала свои силы и произнесла слишком много слов, без которых вполне можно было обойтись, а ведь у нее было достаточно времени, когда лежала под матерчатым козырьком в полумраке, чтобы найти два-

три слова, после которых все стало бы ясно и ей и всем. И от обиды на себя Сашенька заплакала.

Доктор осмотрел ее и, отойдя к столу, начал негромко говорить с Софьей Леонидовной и Платоном Гавриловичем, а Майя тем временем вытирала Сашенькино лицо платком.

— Простуда и нервное потрясение,— сказал доктор.

— Да,— сказала Софья Леонидовна,— девочка пережила ужасную травму...

— Ничего,— сказал доктор, выписывая рецепты,— организм молодой, пройдет.

И действительно, к вечеру Сашеньке стало лучше, она лежала с ясной, здоровой головой и здоровым телом, которому было не холодно, не жарко. Ночь Сашенька спала хорошо, с приятными легкими снами, утром она позавтракала вкусным куском холодной курицы. Через несколько дней такой жизни Сашенька полностью восстановила свои силы и сказала Майе, которая ради нее не ходила в школу:

— Ты можешь идти в школу... Я сегодня уйду...

— Но ты еще бледная,— сказала Майя,— и простуженная... А на улице мороз...

— Знаешь, Майя,— сказала Сашенька,— может, я дура, и конечно, извини, но мне кажется, что у вас имеется какой-то расчет по отношению ко мне...

Тогда вдруг Майя заплакала и сказала:

— Это правда... Я скажу честно... Я слыхала раз, как мама говорила с папой и сказала, что рядом с тобой я смогу тоже дружить с мальчиками, потому что ты красивая... Но это ведь обидно, обидно... Папа ей тоже возражал... А я, Сашенька, знаешь... Я, честное комсомольское под салютом всех вождей, я просто тебя люблю... Мне других подруг не найти...

— Найдешь,— сказала Сашенька, к которой вместе с силами вернулась приятная щекощущая тоска в груди, делавшая ее слова твердыми и сильными, и каждое ее слово разжигало ее тоску, по которой Сашенька уже соскучилась.— Я к себе домой пойду,— сказала Сашенька,— а ты найдешь... Вон Ириша, дочь полковника... Или Зара... А я дочка арестантки... Ты не плачь... Чего тебе плакать... У тебя папа живой, и мама государство не обворовывала...

От тоски у Сашеньки начала вновь побаливать голова, она торопливо надела маркизетовую блузку, юбку, сапожки, все, в чем была на Новый год и в чем пришла сюда. Красивая, она прошла перед Майей, лицо которой сегодня было особенно густо покрыто пятнами зеленки, потом Сашенька надела шубку и вышла на улицу. Был очень ясный день, сугробы поблескивали, и над трубами домов совершенно прямо, от-

весно висел белый дым, потому что ветра не было, и на голубом небе не было видно ни облачка. Мороз был небольшой, градусов пять — восемь. Посреди мостовой вели колонну пленных румын. Обычно пленные шли, согнувшись, дрожа, упрятав носы в воротники шинели. Эти же были рослые, со здоровыми лицами, и, хоть сопровождали их несколько автоматчиков, шли они весело, и впереди знаменосцы несли красный и национальный флаги, а двое несли плакат, написанный по-русски и по-своему.

«Долой реакционеров,— прочитала Сашенька.— Долой бояр и монархистов».

Сашенька свернула в свой переулочек и едва не столкнулась с Зарой. Сашенька отпрянула, увязла в сугробе, но Зара не заметила ее, она стояла спиной и выглядывала из-за угла куда-то в глубину двора, к сараям. Сашенька даже немного дружила с Зарой в первые месяцы после приезда из эвакуации, а потом они разругались из-за Маркеева и стали врагами. Странно, что Сашенька и Зара всегда влюблялись в одного, например, они вместе тайно любили военрука школы и делали это так ловко, что никто не заметил, даже сам военрук, только Сашенька заметила любовь Зары, а Зара любовь Сашеньки. Потому, лишь глянув на Зару, и то со спины, Сашенька поняла, что Зара влюблена, и не просто влюблена, а по гроб, до конца жизни, с ночными мечтаниями и такими снами, от которых ночью млеет сердце, а днем, стоит лишь вспомнить, щекам становится жарко. Видно, забыты были и Маркеев и военрук. Зара стояла, поглаживая варежкой обмерзшую льдом водосточную трубу, и черные большие глаза ее, которые так нравились мальчикам и которые так ненавидела Сашенька, теперь смотрели не насмешливо и презрительно, а полны были покорной мольбы, звали и обещали в обмен все. В глубине двора у сараев ходили красавец лейтенант, Франя и управдом. У Франи в руках была лопата, он очищал снег, постукивал по мерзлой земле, делал какие-то пометки и измерял расстояние шагами то от стены сарая, то от стены горелых развалин и, видно, путался, спорил с управдомом. Сашенька тоже остановилась, глядя в глубину двора, прижавшись к дереву с таким расчетом, чтоб дерево закрывало ее от Зары, а она могла видеть Зару и в случае надобности посмеяться над нею. Днем, освещенное солнцем, лицо лейтенанта было особенно красивым, легкая серебряная изморозь, словно седина, лежала на его выбивающихся из-под ушанки цыганских волосах, а глаза были такой густой голубизны, что на скулах лежали голубоватые тени. Разговаривая с Франей и управдомом, он прошел совсем недалеко от Зары, почти



вплотную, так что розоватое облачко дыхания его, Сашенька это видела, коснулось Зариного лица. Не заметив Зары, он сел в заиндевелый военный «виллис», сказал что-то солдату-шоферу, и они уехали. Франя и управдом пошли в сторону Сашеньки, обдав запахом махорки, самогона и примерзшего навоза.

— Леопольда Львовича я два раза закапывал,— говорил Франя.— Жара... закопал, собаки разнюхали, разрыли... Пришел санитарный инспектор Шостак... Каюк ему теперь, в КПЗ кровью харкает... А тогда кулаками возле морды мне махать начал... А я говорю: я дворник... я возле трупов караулить, стоять не согласен... Я по низшей категории получаю, а ты имеешь паек мясными и молочными талонами и еврейское барахло имеешь... Ну, разумеется, я кое-что из этого не сказал тогда, а подумал... И подумал: погоди, наши придут, холуйская морда...

— Гроба, рабсилу и транспорт лейтенанту интендантство предоставляет,— невнимательно слушая пьяную болтовню Франи, сказал управдом,— и вывоз покойников в ночное время... Тут соседи, тут дети... Только ночью разрешено вести работы...— Они свернули за угол, и некоторое время еще слышны были их голоса и поскрипывание снега.

Зара стояла, привалившись к водосточной трубе. Разгуливая по двору, лейтенант держал прутик, которым чертил что-то на снегу, наверное, механически, а уходя, он кинул этот прутик неподалеку от Зары. Сашенька видела, как Зара оглянулась, потом пошла как бы нехотя, словно случайно задумавшись, наклонилась, взяла этот прутик, вернулась к себе в укрытие и неожиданно прижала к губам утолщенную часть, которую лейтенант держал в ладони. И тут Сашенька не выдержала, рассмеялась, вспомнив, как лейтенант прошел мимо Зары, даже не заметив ее. Услышав смех, Зара метнулась, словно ее уличили в чем-то стыдном, покраснела, увидав Сашеньку, и крикнула:

— Вшивая, твою мать арестовали...

— А твой отец полицай, его повесят,— крикнула Сашенька радостно и злобно,— советский лейтенант вообще не станет с тобой водиться... Ищи себе гитлеровских гауляйтеров...

— Наплевать, наплевать, наплевать,— закричала Зара и, сломав прутик, кинула его в снег.

Из старого, покосившегося флигеля в глубине двора выбежали двое черноглазых мальчишек, братья Зары, и принялись кидать в Сашеньку снежками. Один был лет пяти, с круглой веселой мордашкой и кидал очень смешно, важно пыхтя, и недалеко, осыпая себя снегом, а второму уже было лет три-

надцать, он был гибкий, ловкий и кидал умело, беспощадно, зная, что целить надо повыше — в глаз или зубы. Он попал Сашеньке смерзшейся ледяшкой в нос так сильно, что на мгновение перед ней зарябил воздух и смеющееся лицо Зары поплыло в сторону. Второго, гибкого, то ли имя, то ли кличка была Хамчик. Все во дворе звали его Хамчик, даже родная мать. Сашенька сжала кулаки и кинулась к Хамчику, но мать братьев, жена погибающего в Ивдель-лагере Шумы, тоже выбежала из флигеля, черноглазая, большеносая, с золотыми зубами. Она схватила Зару и двух сыновей и потащила их по тропинке в дом, испуганно оглядываясь. Хамчик яростно сопротивлялся, рвался из рук, кровожадно пытаясь из-за материнской спины достать Сашеньку ногой. Когда вся семья укрылась в своем флигеле, Сашенька постояла посреди тропки, чувствуя солоноватый привкус на губе и устало дыша, потом наклонилась, приложила снег к разбитому носу и, нащупав в кармане шубки ключи, побрела к себе, тяжело поднялась по лестнице и вставила ключ в замочную скважину. Однако дверь была заперта изнутри на крючок. Сашенька вспомнила об Ольге и постучала.

## 5

Ольга встретила ее радостная, умытая, с мокрыми распущенными волосами и в халате матери.

— А Вася-то вернулся,— шепнула она Сашеньке, словно приглашая радоваться вместе и сообщая весть, которую Сашенька давно с нетерпением ждала,— выпустили, слава Господу...

Кухня была сильно натоплена, и на полу стояло несколько лоханей с грязной водой, и чувствовался запах хозяйственного мыла, видно, недавно здесь производилось купанье. На кухне появились какие-то новые бумажные салфеточки, вырезанные из газеты, с зубцами, старый хозяйственный столик со знакомыми зазубринами, на котором мать готовила еду и который Сашенька любила нюхать, потому что он вкусно пах котлетным фаршем, этот столик исчез, а вместо него был новый, прочно сработанный из свежих досок. И вообще что-то незаметно изменилось, точно Сашенька пришла в чужую квартиру. Вася сидел не за своей перегородкой на кухне, а в комнате, за столом, и, увидав Сашеньку, он улыбнулся ей приветливо, но без испуга, как раньше. Наоборот, Сашенька испытывала теперь какую-то робость, войдя, она присела на валик своего диванчика, который натирала боками в душевые,

полные мечты и желаний ночи, однако сейчас и этот диванчик показался ей чужим.

— Садись к столу,—сказала Ольга и поставила перед Сашенькой голубую миску, из которой обычно ела мать. В миске лежало два больших черных вареника, и Сашенька начала жадно есть их, хоть знала, что они добыты Ольгой на церковной паперти в виде подаяния. В варенике была начинка из всякой всячины. Здесь был мак, рис, сушеные сливы, морковь, лук, и все это показалось Сашеньке очень вкусным, она подумала об Ольге с благодарностью, и всякий раз, когда Ольга выходила на кухню, а потом снова заходила, Сашенька смотрела с надеждой, не принесла ли Ольга еще что поесть. Но Ольга больше ничего не дала, лишь убрала миску и вытерла стол. Посреди стола стояла хлебница с кусками черствого церковного кулича, и Ольга убрала его в буфет, от которого у нее теперь были ключи. Сашенька заметила, что на полках в буфете уже стояли какие-то Ольгины мешочки, торчали деревянные ложки, выстроганные Васей, и лежала непочатая свежая буханка хлеба.

— Выпустили,—улыбаясь, обнажая десны, сказал Вася,—вчистую освободили...

На Васе была свежая полосатая рубаха, которую Ольга, наверно, нашла в том отделении шкафа, где лежали вещи Сашенькиного отца. Однако ни Вася, ни Ольга не испытывали по этому поводу ни малейшего смущения, и Сашенька тоже почему-то не возмущалась, то ли у нее не было для этого сил, то ли Сашенька чувствовала, что жизнь ее вдруг изменилась так, что возмущаться она теперь права не имеет. Ольга и Вася смотрели друг на друга, гладили друг друга, похлопывали друг друга и улыбались Сашеньке, точно приглашая и ее разделить их радость. И Сашенька вдруг улыбнулась, чтоб Васе и Ольге было приятно, хоть улыбаться не хотелось и после двух вареников еще сильнее хотелось есть. Только теперь, освоившись немного с новой обстановкой и своим положением, Сашенька заметила, как Вася переменялся за эти несколько дней. Раньше это был здоровый, сильный, с мощной круглой грудью и тупым, вечно испуганным лицом мужик. Теперь же перед ней сидел изнеможенный, с бритой головой человек, с кругами под глазами, с запавшими щеками, кожа на черепе его была голубоватой, и он похож был на арестанта, которого Сашенька видела в кабинете майора, шея его также похудела и побледнела, так что ворот отцовской рубахи был велик, и, хоть рубаха застегнута была на верхнюю пуговицу, видны были костлявые Васины ключицы. Вместе с болезненностью лицо Васи приобрело какой-то покой и некоторое ос-

мысленное выражение, точно за эти несколько дней в тюремной камере он что-то понял и мог даже смотреть сам на других свысока и поучать их, так бывает иногда после тяжелой болезни либо беды, окончившейся благополучно. Человеку вдруг начинает казаться, что он великий молодец и понял, в чем суть всякого явления.

— Ты к Кайгородцеву сходи насчет матери,— сказал Вася,— тебя будут к помощнику направлять, к майору, ты не ходи... Скажи, я лучше подожду... Я лучше в другой раз... Я человек подневольный, обязан был подчиниться, я только глянул, понял... Ни-ни... К такому не попадай... Крут, ой крут... Но работа у него тоже нервная, с нашим братом повожись... А я думаю, главное потерпеть... Начальник другой придет повыше, разберется... И сразу разобрался, дай ему Бог здоровья... Ученый, видать... Полковник... Ты, говорит, не виновен, а виновен только, что не явился сам по месту жительства для разбора, раз на тебя подана бумага... Ты, говорит, советской власти не доверился... Виноват, говорю, ваша правда... А бумагу на меня Анна подала... Я у ней на квартире жил... Как пьяный мужик к бабе, так она ко мне... Я председателю сельсовета говорю: извините, почему же меня не предупредили, что такой человек, почему ж вы меня к ней поставили на квартиру? Вот Анна и подала на меня, что я полицаем был, а я ж водовозом просто в комендатуре работал... Случайно узнал, дай Бог здоровья... Народ всюду есть хороший... Да... Полковник, он сразу разобрался... Дай Бог здоровья... Ты насчет матери к нему... — Вася вдруг остановился с полукрытым ртом, с выпученными глазами, прижал руки к горлу, лицо его исказилось, и он закашлялся, словно захлебнулся воздухом. Кашлял он долго, надрывно, роняя изо рта мокроту с красными прожилками на свежий ворот рубахи Сашенькиного отца, торопливо, скрюченными пальцами растегнул пуговичку под горлом, будто она его давила, хоть ворот был велик и провисал. Ольга заметалась вокруг Васи, застучала ему кулаком по спине, точно он проглотил кость, и крикнула Сашеньке сердито, требовательно:

— За водой на кухню сбегай, чего сидишь...

Сашенька вскочила и покорно побежала на кухню. Когда она вернулась, кашель у Васи уже прошел, он сидел, улыбаясь, вытирая слезы, и Ольга сидела подле него успокоенная.

— Уже не надо,— ласково сказала она Сашеньке,— захворал вот наш Вася,— добавила она, точно Вася был так же дорог и Сашеньке,— ничего, вылечим... Ты кружку на кухню-то поставь...

— Ничего,— сказал Вася,— легкая кондрашка прохватила, главное, я теперь вольная птица... Полностью оправдан... Теперь работать буду... На перчаточную фабрику устроюсь...

В Ольгины волосы сзади воткнута была изогнутая гребенка, Вася вытащил ее и принялся расчесывать Ольгу, он осторожно подхватывал влажные ржаные пряди снизу левой рукой и проводил по ним гребенкой, расчесал посреди Ольгиной головы белый вымытый пробор. Ольга жмурилась от наслаждения, терлась рябой щекой о Васин подбородок и похожа была на старую, обрюзгшую кошку, которую давно не ласкали.

— Если б не выпустили,— сказал Вася,— сегодня б в Гайву отправили... Ты с матерью-то попрощалась? Их в двенадцать отправляют будут...

— Я болела,— сказала Сашенька.— Я сейчас...

Она торопливо надела шубку и выбежала на улицу. Возле лестницы Сашеньку поджидали сыновья Шумы со снежками. Глаза тринадцатилетнего Хамчика горели упрямо и фанатично, снежки его были хорошо утрамбованы, слегка согреты в ладонях, а потом опять заморожены, так что превратились в круглые, со свистом рассекающие воздух ледышки. Младший же сын Шумы пяти лет лепил снежки неумело, они рассыпались в пыль, и это его веселило, лицо младшего было круглое, розовое, а глаза не свирепые, а озорные. Сашенька так спешила, что ей некогда было отмахиваться от Хамчика, он гнался за ней до конца переулка и два раза больно попал ледяными снежками, один раз по ноге, а второй раз в затылок между воротником и шапочкой, видно, Хамчик бил с толком, ни один снежок его не попал в пальто на ватной подкладке, он целил либо в голое тело, либо туда, где тело было наиболее плохо защищено.

Когда Сашенька подбежала к трехэтажному зданию, верхние этажи которого были окованы цинком, ворота уже были распахнуты и провожающие родственники на другой стороне улицы волновались, видно, сейчас арестантов должны были вывести. Сашенька узнала женщину в каракулевой шубке. Она стояла, жадно вытянув шею, глядя на ворота, и в руках ее опять была вкусно пахнущая корзина. Тут же был и высокий крестьянин, он стоял, опершись на забор, спокойно покуривая. Старушка, у которой не принимали передач, тоже была здесь, глаза ее слезились, она поминутно доставала сизыми, обмороженными пальцами из-за пазухи завязанный узелком платок, проверяя, на месте ли. В самом конце толпы стоял «культурник» в подбитом мехом танковом шлеме. Сашенька едва не столкнулась с ним и торопливо спряталась за

спину. Из ворот вышел знакомый Сашеньке белобрысый дежурный. Дежурный был в полушубке, на ремне у него висел маузер в большой кобуре. Дежурный с беспокойством посмотрел на толпу и сказал:

— Граждане, ведь предупреждал, никаких передач приниматься не будет... На то было время в отведенные часы, как положено...

— Товарищ начальник, — дрожащим от уважения голосом сказала женщина в каракуле, — а я приготовила продукты мужу... Как же быть?..

— Продукты можете выслать посылкой... Адрес скажут в бюро пропусков... Острые режущие предметы и спиртные напитки не принимаются, — привычно и скучно ответил дежурный, — значит, граждане, предупреждаю, если будете создавать беспорядки, охрана применит силу... В ваших же интересах... В общем, ясно?

Несколько секунд длилось молчание.

— Ясно, чего там, — спокойно ответил за всех высокий крестьянин.

— Ну вот и хорошо, — сказал дежурный и, обернувшись к воротам, крикнул:

— Диденко, пошли!

Первыми из ворот вышли два милиционера в телогрейках и кубанках, у одного на кубанке еще сохранилась красная партизанская ленточка наискосок. Милиционер с партизанской ленточкой держал на изготовку трехлинейку без штыка, второй милиционер был с тяжелым немецким автоматом, висевшим у него на груди. Потом потянулись арестанты по четыре в ряд. В одной части здания была милиция, а в другой МГБ, где содержались бывшие полицаи, крупные бандиты и арестованные по политическим делам. Но при отправке на станцию конвой был общий. Арестанты были молодые и старые, высокие и низкие, в основном мужчины, но было и несколько женщин, однако все они были чем-то похожи, голубоватым ли цветом лица или соблюдением порядка, дистанции и правил поведения при следовании, которые незнакомы людям свободным. Арестанты были окружены плотным конвоем в разноцветных шинелях: серых армейских, синих милицеевских, а также из английского зеленого сукна. Были также милиционеры в партизанских полушубках и телогрейках. Вооружены конвойные были русскими трехлинейками, автоматами ППШ с круглым диском, немецкими автоматами с тяжелым цилиндрическим, как у пулемета, кожухом и тонким стволом. Дежурный шел впереди, помахивая маузером, который он держал дулом вниз. Была среди арестантов группа, которых

вели отдельно, и не в ряд, а кучкой. Кроме конвоя, их сопровождали две большие овчарки. В группе этой шел высокий широкоплечий человек с квадратной челюстью, багровым рубчатым шрамом у уха и мутными глазами. Руки его в двух местах в кистях и у локтей были крепко стянуты за спиной толстой веревкой. Рядом с ним шел тщедушный паренек с впалой грудью, бледный, узкоплечий, но тоже связанный не менее тщательно. Шел в этой группе и Шостака, он не был связан, но, очевидно, согласно арестантскому уставу, держал руки за спиной. Лицо у Шостака было неживого, землистого цвета, его беспрерывно душил кашель, и он время от времени вытирал свои мокрые склизкие губы о плечо. Четвертым в этой группе шел пожилой мужчина в пенсне. На нем было хорошее бобриковое пальто, а на голове никак не гармонирующая с этим пальто, явно чужая рваная ушанка малых размеров, смешно торчащая на темных с сильной проседью волосах, на самой макушке, и не прикрывающая озябших ушей. Мужчина старался держаться подальше от Шостака, брезгливо отворачивался, чтоб брызги при кашле не попали ему в лицо. Он тоже заложил руки за спину. Покосившись по сторонам, мужчина воткнул ладони в рукава, грея их словно в муфте, но молодой милиционер-конвойный заметил и крикнул:

— Ну-ка вынь... Опять балуешь...

Видно, это было не впервой, мужчина торопливо вытаскивал ладони наружу, шевеля ими, чтобы согреть пальцы. Впрочем, перчатки на нем были вполне приличные, из шерсти двойной вязки.

Сашенькина мать шла в третьем ряду крайней слева, с противоположного конца от тротуара, на котором стояли провожающие. В одном ряду с ней шли две смуглые женщины в длинных юбках, подметавших снег, очевидно, цыганки, шел молодой паренек лет 15—16 и крестьянин, очень похожий на высокого крестьянина, но пониже. Крестьянин этот отличался от других арестантов здоровым цветом лица, и его спокойный вид человека дисциплинированного и умелого работника говорил, что он на хорошем счету у надзирателей и после суда послан будет не за пределы республики, а в один из ближайших лагерей, может, даже на строительство местного вокзала, разрушенного бомбой.

Сашенькина мать одета была не в свое драное старое пальто, а в теплый армейский бушлат, который Сашенька раньше видала на «культурнике». На ногах у нее были кирзовые сапоги, те самые, в которых она носила замерзшие куски каши, котлеты, пончики, иногда мешочек риса либо сахара, продукты, которые мать утаивала при закладке в общий ко-

тел или уже в готовом виде урывала при раскладке за счет уменьшения порций личному составу.

Голова матери повязана была платком по-старушечьи низко, так что лицо ее сделалось для Сашеньки малознакомым, особенно обострившиеся скулы. Странно также Сашеньке было видеть, как мать дисциплинированно и умело выполняет команду конвоя, придерживая шаг, когда колонна поворачивала, и соблюдая дистанцию. Однако, когда колонна полностью вышла из ворот и показались два замыкающих милиционера, арестанты начали проявлять беспокойство, смотреть по сторонам, искать родных, и мать тоже смотрела, не обращая внимания на окрики конвоя. «Культурник», расталкивая окружающих, пробрался к самому оцеплению, хоть ему и мешала раненая нога, и держался он с трудом, так как вокруг толкались другие провожающие. Мать заметила его, и лицо ее сразу расцвело, стало даже красивым, молодым, несмотря на старушечий платок, и она посмотрела на «культурника» с такой любовью, что у Сашеньки больно, недобро и ревниво сжалось сердце.

Сашенька торопливо спряталась за чужие спины и, чтоб озлобить себя, начала думать, как мать ударила ее и как она опозорила героическую память отца, а квартиру отдала двум нищим, выгнав на улицу родную дочь. Раньше мысли эти наполняли все тело, особенно голову, быстрой, кипящей от злобы кровью, так что сердце не поспевало вослед и стук его отдавался всюду — в висках, в ногах, под горлом, в ушах. Теперь же Сашенька думала обо всем этом вяло и скучно и сама не знала, чего хочет, у нее сильно болели нога и затылок, в которые Хамчик попал ледяными снежками.

Лицо «культурника» при виде Сашенькиной матери тоже изменилось, стало мягким и нежным до смешного, на лбу его у бровей были следы от брызг расплавленной брони, навек застывшие, собравшие кожу в губчатые пористые пятна. Теперь же вокруг пятен появились морщинки, какие бывают у человека с ямочками на щеках, когда он хочет рассмеяться.

— Катя,— сказал «культурник» ласково, хоть шея его стала красной от напряжения, так как правым локтем он удерживал высокого крестьянина, пытавшегося протиснуться вперед, левый бок сжала впавшая в отчаяние «каракулевая» женщина, а грудью он сдерживал давление конвойного, гнувшего в три погибели.

— Катя,— сказал «культурник»,— ты не волнуйся, все будет хорошо... Я напишу своему генералу... Я ходатайствовать буду... О смягчении ходатайствовать... Учитывая твое... в общем...



«Культурник» держался с трудом, раненая нога его буксовала по утоптанному скользкому снегу.

— Сашенька как, Саша?— крикнула мать, привстав на цыпочки, так как ее заслонял упитанный крестьянин-арестант.

— Хорошо,— почти падая уже под всесторонним напором, крикнул «культурник»,— у жены ответработника она... Имя забыл... Хорошо ей...

— Увидишь,— еще более привстав и вытянув шею, крикнула мать,— передай, пусть простит... Пусть простит свою мать... Что я ее родила, но не обеспечила и опозорила...

По лицу матери текли слезы, оно сразу поблекло, стало старым и больным.

— Мама,— вдруг неожиданно для себя крикнула Сашенька и начала рваться вперед с таким ожесточением, что мгновенно уперлась в казенно пахнущую спину милиционера, стоя в распахнутой, с оторванными пуговицами шубке.

— Сашенька,— отчаянно крикнула мать,— Сашенька...

— Я здесь,— испуганно лепетала Сашенька, уговаривая, успокаивая мать будто маленькую,— я здесь, мне хорошо... Ты вернешься... Искупишь вину... Я буду работать... Я на перчаточную фабрику устроюсь...

— Сашенька,— продолжала кричать мать,— Сашенька...

Она повторяла только это, будто забыла разом все остальные слова или не хотела тратить дорогие секунды на другие слова, на длинные фразы, на придаточные, сказуемые и глаголы, которые Сашенька в школе тоже никак не могла запомнить... А тут в одном слове было все: и то, как она боится не вернуться из заключения и не увидеть больше дочь, потому что не спит уже седьмую ночь подряд, в камере тридцать человек, душно, мысли не дают покоя и болит сердце постоянно, так что даже стало привычно. А время от времени, особенно под утро, ноют суставы, шелушится кожа на распухших от мытья котлов руках, после суда будут тяжелые земляные работы, как у всех осужденных без квалификации. Хорошо, если удастся устроиться на кухню. И про свою неудачную жизнь рассказать хочется, кому ж еще, как не дочери... Как хотела она любить, как тосковала одна ночами столько времени, как уходила молодость, как от тяжелых котлов испортилась фигура, как забыла запах пудры, помады и одеколona, как отяжелели ноги в кирзе и у ступней появились костяшки-выступы, так что большой палец правой ноги вовсе вогнулся внутрь и теперь уж нельзя даже мечтать о туфлях на высоком каблуке. А дочь выросла красивая, но злая и нервная, и за это нет ей, матери, прощенья. И еще была одна вещь,

которой хотелось поделиться, потому что давила она сердце, но поделиться этим нельзя было с родной дочерью, а скорее с человеком случайным, но понятливым, лучше с пожилой женщиной, легче бы стало, однако в камере не нашла она ни одной такой, с кем бы можно было о том поговорить. Впервые после Сашенькиного отца имела она мужчину, и теперь ей было тяжело без него. Пять лет ждала она мужа, сдерживала себя, стонала ночами, мяла о подушку сохнувшие груди, а теперь разом все излила в два месяца, ей было тоскливо и стыдно от пробудившихся острых желаний, терзавших ее нездоровое, быстро стареющее тело, и было обидно оттого, что не удалось насытить его перед концом, пока оно загложнет окончательно и состарится, потому в ее возрасте каждая секунда дорога, а уйдут месяцы и годы на нарах в одиночестве. Об этом дочери сказать нельзя было, однако хотелось, чтоб она поняла эту ее тоску, хотя бы неясно для себя, вернее, именно неясно для себя, так лучше, но простила б и пожалела.

Оттого, что Сашенькина мать остановилась, закричала и сбилась с ноги, ряды арестантов сломались и возникла суматоха. Старуха Степанец нырнула вдруг ловко и бойко между цепью конвойных и, не обращая внимания на рвущуюся к ней овчарку, схватила связанного тщедушного паренька, заголосила. Женщина в каракуле пыталась кинуть своему мужу в бобриковом пальто вкусно пахнущую корзинку, но молодой милиционер-конвойный отбросил корзинку ногой, и Сашенька, рванувшаяся к матери, наступила мимоходом на отварной телячий язык, заправленный чесночком, вдавливая его каблуком в снег. Пробежал белобрысый дежурный, что-то крича, и двое конвойных схватили, повисли на высоком связанном арестанте с мутными глазами. Только высокий крестьянин не поддался суматохе, деловито и четко он передал за спиной милиционера своему брату завернутые в промасленную холстину куски сала, две буханки круглого домашнего хлеба и несколько пачек папирос «Беломор». Все это мгновенно исчезло в рюкзаке упитанного арестанта. К матери Сашеньке пробиться не удалось, арестантов оттеснили назад во двор и заперли ворота. Старушку Степанец закрыли в караульном помещении. На крыльцо вышел очкастый майор. Бледный дежурный говорил ему что-то, жестикулируя.

— Составить список,— громко говорил майор,— лишить права передач и посылок... И выяснить зачинщиков...

Он повернулся и ушел назад, не глядя на толпящихся родственников, которые сами теперь были напуганы случившимся.

Когда «культурник» подошел сзади к Сашеньке и взял ее за плечо, она рванулась, хотела убежать, но он держал ее крепко, так что от железных пальцев его ныла Сашенькина ключица. И в то же время «культурник» говорил ласково.

— Ты, Саша, не дичись... Я тебе худа не сделал, но если не нравлюсь, не признавай меня посла... А пока матери помочь надо... Я этого дежурного знаю малость... Тоже фронтовик... Подождать надо... Фронтовик фронтовика уважить должен... Майор сухой сердцем, а начальник в разъездах. Один дежурный там ничего...

— Куда вы меня ведете?—сердито спросила Сашенька.

Они шли по каким-то узким проходам, между заборами, среди запорошенных снегом огородов, на которых кое-где шелестели остатки прошлогодней сухой кукурузы.

— Вон там он живет,—сказал «культурник», кивнув на низкую, совсем сельскую мазанку с белыми стенами и соломенной крышей. Мазанки эти сплошь и рядом встречались не только на дальних улицах, но даже в центре, во дворах, за кирпичными домами. Здесь же таких мазанок в два-три оконца раскидано было с десяток среди огородов и вишневых деревьев. Кудлатые непородистые собаки рвались с цепей на чужаков, носились вдоль низких плетеных заборов-тынов. Мазанки эти с одной стороны подступали ко двору восстановленной недавно двухэтажной городской больницы, а с другой—к выстроенным в тридцатые годы красным корпусам, где жили рабочие завода «Химаппарат».

— Давай посидим,—сказал «культурник» и уселся на лавочку, сколоченную у ворот, но не перед домом дежурного, а чуть в стороне, так что подход к этому дому хорошо просматривался.

— Он на обед идти должен... Я уж раз с ним толковал здесь...

— Пустите плечо,—злбно сказала Сашенька.

«Культурник» смущенно разжал пальцы, и Сашенька поворачивала рукой, разминая похрустывающие суставы. Дурные предчувствия томили ее, а болезнь, неожиданная растерянность перед Васей и Ольгой, внезапная жалость, тоска, даже нежность к матери совсем ослабили Сашеньку, и она поняла, что должна озлобиться, чтоб окрепнуть.

— Гляди,—сказал вдруг «культурник»,— вот шельма, тоже пронюхала...

Шарахаясь от рвущихся собак, вдали между заборов пробиралась женщина в каракуле.

— Спекулянтка,— сказала Сашенька,— и муж ее спекулянт. Таких к ногтю надо...

— Нет,— ответил «культурник»,— это не уголовная... По 58-й статье ее мужа пускать будут... Враг народа... В пединституте учителем литературы был... Этих мне не жалко... Мы на фронте за родину костей не жалели, а они родиной за иностранные деньги торгуют... Знаешь, какие слухи ходят... Мне дружок говорил, фронтовичок... Умный парень... Девять классов образования... С союзниками нашими не очень чисто... Я и сам англичан не очень люблю... Американцы — те ребята ничего, я от них технику принимал... А англичане советскую власть шибко не любят... Дружок мой, он парень не промах, раз говорит, верить можно...

Женщина в каракуле между тем перебралась через мосток, проложенный над канавой, и, привалившись к плетеному забору, принялась также вглядываться в тропку, вьющуюся среди заснеженных огородов, ноги ее в фетровых модных ботах, видно, зябли, и она постукивала задниками бот одну ногу о другую.

— Перехватит дежурного,— с тревогой сказал «культурник»,— вот народ... Пройдоха народ... Ты бы здесь посидела, а я с фланга, может, пойду...

Но в этот момент послышался шорох прошлогодних стеблей кукурузы, это шел на обед дежурный, но не по тропке, а огородами сзади, и таким образом жена врага народа в каракулевой шубе оставалась при пиковом интересе. Однако дежурный был не один. Его уже перехватила где-то, очевидно, неподалеку, старушка Степанец. Лицо дежурного было растерянным и усталым, а глаза беспокойно бегали.

— Отстань, бабка,— хрипло, сорванным голосом говорил дежурный,— я чего могу... Судить его будут... Я ж не судья...

— А худой он какой, сыночек мой,— причитала старушка,— каждую косточку видать... Большой весь... Кровью кашляет... Еще до войны кровью кашлял... В область его возили... Прохвессор сказал, в тепле держать... Теплое молоко пить по утрам и перед сном... С медом...

— Чего ты мне голову морочишь,— рассердился дежурный.— К начальнику иди... К майору иди... Убийца сын твой, понимаешь... Он граждан мирных убивал... На него протокол есть... Понимаешь... Когда детей из детдома стреляли... Цы-

ган и евреев... И в районе вашего села он в расстрелах участвовал... Тоже протокол есть...

— Пустили бы меня к нему,— причитала старушка Степанец, словно не слыша, что ей говорит дежурный, и твердя свое,— мне места не надо... Я б возле него на полу спала... Большой он. Может, прибрать что от него надо или подать надо...

— Завтра приходи,— очевидно, чтоб отвязаться, сказал замученный дежурный,— приходи в час дня в канцелярию...

— И справку принести?— спросила обнадуженная старушка, несколько даже повеселев.

— Какую еще справку?— удивился дежурный.

— Где про его болезни сказано,— ответила старушка.

— Хорошо,— махнул рукой дежурный.— И справку принеси...

— Спасибо тебе,— поклонилась старушка и перекрестилась,— добрый ты... На тебя все так говорят... Дай тебе Бог удачи...— Она пошла назад вдоль по тропке.

Стало заметно холодней, подул ветер, сдувая снег с вишневых деревьев и прошлогодних сухих стеблей кукурузы. Чувствовалось приближение метельной, морозной ночи, будто и дня не было, а позднее утро сразу переходило в рано наступающие сумерки.

— Ты что же это, Степанец,— крикнул дежурный вслед старушке,— семь километров сейчас потопаешь?..

— Семь,— оборачиваясь, ответила старушка.

— Пешком?

— Подводы не найдешь,— сказала старушка,— поздно... Это пораньше бы, может, и подвез кто...

— И полем все?— спросил дежурный.

— До Райков поле,— сказала старушка,— пося лесопосадка и вниз под уклон... Пося снова поле... Из городу легко идти, а в город тяжелее... Не с горы, а на гору... А пока на гору взберешься, упреешь вся...

— Ты вот что,— сказал дежурный,— ты лучше завтра не приходи... Ты через три дня... Боюсь, начальника не будет, а без него чего можно решить...

— Нет,— сказала старушка.— Я приду... Вдруг будет... Передачу, может, разрешит... Я сыночку пряники с медом напекла... А не будет начальника, я назад пойду...

Она перекрестилась и пошла по проходу между заборами, сгорбленная, часто по-старушечьи семена огромными валенками, перевязанными по-хозяйски вокруг ступней тряпками, набитыми для утепления соломой. Семена валенками, дойдет

она до окраины города, пойдет ночным метельным полем через спящие Райки будоражить собак, через замерзшую лесопосадку под гору, скользя по укатанному санями снегу, и так семь километров до самого Хажина... А утром в город, к сыну...

Старушка давно уже скрылась, а дежурный все не шел обедать, хоть мазанка его была рядом, все стоял и думал чего-то.

— Подойти сейчас, что ли? — шепнул «культурник» Сашеньке.

Но женщина в каракулевой шубке опередила их. Стремглав, спотыкаясь и даже разок упав очень смешно, так что каракулевый капор съехал ей на ухо, женщина кинулась через огороды к дежурному. Она зацепилась пышным, с буфами, рукавом о ржавый моток колючей проволоки, свисающий со столба, и разодрала рукав так, что лоскутья каракуля повисли. У Сашеньки на мгновение радостно екнуло сердце, потому что она ненавидела женщину за то, что та тоже красивая, может, красивей Сашеньки и имеет шубку, какой у Сашеньки нет, а также еще за что-то неясное, но, как Сашенька догадывалась, в этом неясном и была главная причина нелюбви Сашеньки к этой женщине. Однако сейчас Сашенька радовалась недолго, потому что недобрые предчувствия томили ей сердце. Может, одним из этого неясного было то, что Сашенька где-то смутно в подсознании начала догадываться: женщина эта знала и успела пожить жизнью, которая не то что не была Сашеньке доступна, но Сашенька даже не умела мечтать о такой жизни, впрочем, может, о той жизни и были легкие, не имеющие формы сны, которые очень редко снились Сашеньке и в которых было не меньше захватывающего дух счастья, чем в ночных физических томлениях, когда во сне они оканчивались диким сладким восторгом, приводящим к покою. В тех редких бесформенных снах, очень редких, так что за всю жизнь Сашенька помнит, может, два или три таких счастливых состояния, а кроме состояния не помнит ничего, ни одной детали, впрочем, однажды она запомнила пейзаж какой-то местности, в которой не была никогда, залитой лунным светом, в тех редких снах тоже был восторг и была сладость, но не было дикости и тоски, и все это не кончалось покоем, который вскоре переходил в скуку, и переходил даже в неприязнь к недавней сладости, потому что покой присутствовал там всегда, и восторг, и сладость в тех снах все время были полны покоя, там ни к чему нельзя было прикоснуться, ни к окружающим предметам, ни к себе, это единственное, что Сашенька помнила твердо.

Женщина в каракуле между тем подбежала к задумчиво стоящему дежурному.

— Товарищ начальник, — сказала женщина дрожащим от уважения голосом.

Дежурный поднял голову и оторопело посмотрел на женщину. Дежурный был молод, и женщина, решив, что он разглядывает ее красивое лицо, кокетливо опустила ресницы, а левую руку, на которой был разодран рукав, спрятала за спину, зажав в ней хозяйственную сумку.

— Я хотела бы с вами говорить наедине, — шепотом, заставлявшим, может быть, биться не одно мужское сердце, проговорила женщина, — главное, выслушайте меня... Я давно добивалась свидания с вами... Именно с вами, — она сунула правую руку за пазуху своей каракулевой шубки и вытащила несколько тетрадей в колленкоровых переплетах.

— То, что произошло с моим мужем, недоразумение, — торопливо, боясь, что ее прервут, заговорила женщина, — может, он резок, может, он иногда туманно выражается, но это очень талантливый человек... Поверьте... Его не поняли... Я не хочу сказать, что его оклеветали умышленно... Его не поняли... У нас есть много знакомых в Москве... Уважаемых лауреатов... Я написала им, как только это случилось... Я уверена, они прислали характеристики... Либо пришлют... Обратите внимание... Мой муж тяжелый человек, я знаю... Я сама с трудом его временами терплю... Но он талант... Он эрудирован... Он владеет четырьмя языками... У него переводы с английского... Он переводил Байрона... И Лорку... Это с испанского... Вот смотрите, слушайте... Это талант...

Она неловко подбородком, потому что левая рука была занята, раскрыла верхнюю тетрадь и начала читать негромко, очевидно наугад, то, что оказалось перед глазами: «Дитя у тебя родится прекрасней ночного ветра. Ай, свет мой Габриэлильо! Ай, Сан-Габриэль пресветлый! Я б ложе твое заткала гвоздикой и горчицетом. — С миром, Анунсиасион, звезда под бедным нарядом! Найдешь ты в груди сыновьей три раны с родинкой рядом. — Ай, свет мой, Габриэлильо! Ай, Сан-Габриэль пресветлый. Как ноет под левой грудью, теплом молока согретой!.. Дитя запекает в лоне у матери изумленной. Дрожит в голосочке песня миндалинкой зеленой. Архангел восходит в небо ступенями сонных улиц. А звезды на небосклоне в бессмертники обернулись!» \*

Дежурный смотрел на женщину все с большим изумлением, потом лицо его потемнело, потом налилось густой

<sup>1</sup> Перевод А. Гелескула.

краской, и он впал в тот страшный гнев, который чрезвычайно редко нисходит на людей добрых и незлобивых, но который особенно бывает страшен у таких людей в те минуты и подлинные причины которого не вполне понятны ни им, ни окружающим. Впрочем, кончив читать, женщина, чтоб усилить впечатление, действительно позволила себе несколько двусмысленные взгляды и движения, которые при желании можно было принять за попытку соблазнить...

— Сука,— закричал дежурный и, выбив тетради у женщины из рук, наступил на них ногой,— использовать меня хочешь... Подсунуть филькину грамоту... Купить... В сорок втором я б тебя не задумываясь... В партизанах... Я б тебя прошил... Я б из автомата тебя...

Женщина, тоже словно потеряв страх и обездумев, упала на колени и стала с силой выдергивать тетради из-под ноги дежурного. Некоторое время со стороны они представляли странное зрелище, дежурный изо всех сил прижимал тетради ногой к земле, а женщина тянула так, что глаза ее выпучились и подрисованные брови, поверх выщипанных, размыло потом, краска потекла по лицу. Наконец то ли женщине удалось выдернуть тетради, то ли дежурный, опомнившись, отступил. Женщина торопливо спрятала тетради на груди и, очевидно, окончательно перестав ориентироваться в ситуации, протянула дежурному корзинку.

— Это вам,— пролепетала она,— здесь мяско жареное с чесночком... И печенье домашнего приготовления... С яичным порошком...

— Взятку мне давать,— крикнул несколько успокоившийся было дежурный,— да я тебя упеку... Вместе с мужем... Параша таскать будешь...

Женщина не то чтобы крикнула, а скорей пискнула, словно попавшая в силки птица, и побежала через огороды, ударилась о забор и скрылась. Дежурный дышал, как после переноски тяжестей, он расстегнул полушубок, расстегнул китель и подставил морозному ветру взмокшую от пота тельняшку. «Культурник» подошел к нему сзади, осторожно похлопал меж лопаток. Дежурный вздрогнул, обернулся и, увидав «культурника», сказал успокоенно:

— Э, это ты, фронтовичок... Ну-ка, пойдём ко мне... Я рядом тут живу... Жена борща наварила... Пообедаем...

— Я не один,— сказал «культурник» и кивнул на Сашеньку.

Дежурный глянул на Сашеньку и, кажется, узнал, но не сказал ничего.



Они вошли в небольшой дворик, а оттуда в низенькую мазанку с земляным полом, где действительно вкусно пахло только что сваренным борщом.

— Гануся,— ласково сказал дежурный жене,— ты нам дай перед обедом по стопочке... По самой маленькой, потому что мне ж еще на работу...

Жена дежурного Гануся была похожа на мужа, словно сестра, такая же белобрысая. Она легко и тихо накрывала на стол, мягко ставила алюминиевые миски, умело одинаковыми ломтями резала хлеб, и дежурный следил за ней с ласковой улыбкой, а в глазах его была вечная любовь до самого гроба, которую подтверждала надпись густой невыводящейся трофейной тушью у запястья: «Ганна» написано было большими буквами так, что «Г» верхней головкой касалось выпуклых синих жил, проступающих сквозь кожу, словно имя любимой смывалось и пропитывалось живой кровью.

— Уйду я с этой работы,— чокнувшись с «культурником» и выпив, сказал дежурный,— трое суток не спал уже... И вчера на банду ходил в Райковский лес... Кореша рядом со мной из автомата пополам разрезало... Кишки наружу...

Он скатал из хлеба мякиш, мякишем этим подобрал со стола хлебные крошки, проглотил.

— Но дело не в том... Ты меня понимаешь... Мы смертей и кишок за три года навидались... Не в том дело... Добрый я слишком для такой работы... Кто про меня этот слух пустил, не знаю... Но только идут ко мне и идут... Все прощения ко мне... Не к майору, не к начальнику... Вот старуха Степанец ходит каждый день... А сыну не меньше 25-ти лет светит... Хотя он и года, думаю, не протянет... Чахотка... Так с чахоткой и в зондеркоманду пошел... У нас показания имеются... Некоторые из трусости шли, а он добровольно, даже принимать по болезни не хотели... Добивался... Начальнику гестапо жалобу на местную полицию писал... У нас этот документ к делу приобщен... А сегодня вообще денек... И эта подвернулась, соблазняет меня... Брови навела, читает что-то, то ли русское, то ли нерусское... Арестант у нас есть, по 58-й проходит... Измена родине... Хотя много, конечно, и лишнего пишут, говоря прямо. Кто по злобе счета сводит, кто не разобравшись... А тут еще сегодняшняя неприятность. Арестантов к вокзалу не довели... Теперь ночью отправлять надо... Выговор я заработал, это уже третий у меня.

Гануся вынула из печи чугунок. Необыкновенно вкусный пар шел от него, так что от пара этого опьянеть можно было. Это и был украинский борщ, который готовился только в чугунке и только в деревенской печи, он был цвета венозной

крови, темный и тягучий, и ложка, поставленная торчком, не падала в нем, застряв меж реквизированных у спекулянтов овощей, большая часть которых, без сомнения, шла в детдом, меньшая же — в столовую органов и по желанию для семейных сухим пайком. Картошка в борще этом была не склизкая, морожена, а мягкая, маслянистая, капуста не напоминала вкусом горьковатые листья с осенних деревьев, а напоена была соком хорошо унавоженных частных огородов, бурак был не бледно-розовый, терпкий, а темно-вишневый, сладкий, мясо не резиновое с костями, а сочное, легко рвущееся на ломтики, пропитанное жирком, утаенное от немецких реквизиций и вскормленное, очевидно, лучшими кусками ворованного колхозного силоса. Съев миску такого борща, можно было день спокойно ходить сытым, только пить время от времени воду, чтоб растворить жир и облегчить переваривание. Уж на что хорошо питалась Сашенька у Софьи Леонидовны, но такой приятной сытости она никогда не испытывала. От этой сытости она и вовсе ослабела и поняла, что пропала, потому что смутно предчувствовала какой-то подвох и даже предугадывала, с какой стороны.

— Гануся,— беззвучно отрывая в ладонь, сказал дежурный,— позвони, скажи — я к вечеру буду... Вчера на облаве был, пулей рукав полушубка порвало... Залатать надо, промежду прочим... Делов сейчас никаких, я к отправке арестантов буду в половине первого ночи.— Он обернулся к «культурнику».— Давай еще по одной.— Он налил две полные стопки и до половины плеснул Сашеньке.— Ганна,— позвал он,— давай и ты... Дружка встретил, фронтовичка, однополчанина... Ты ж с Третьего Украинского?

— Нет,— сказал «культурник».— Я на Первом Белорусском.

— Ничего,— сказал дежурный,— главное, общий враг как внешний, так и внутренний...

Подошла Ганна, раскрасневшаяся, с высокой крепкой грудью под вышитой блузкой. Она взяла свою стопку двумя пальцами, отставив мизинец. Дежурный чокнулся со всеми, выпил и вместо закуски сочно поцеловал жену в губы.

— Куцый меня вчера чуть не срезал,— обиженно сказал дежурный «культурнику»,— в Райковском лесу... На мушку он меня, видать, взял хорошо, самый срез под левый бок... А собачку нажимал, дернул, не иначе, поторопился... Но я уж от такой обиды ему череп рукояткой погладил... Майор ругался, допрос даже снять нельзя... И в сознание не пришел... Но мне ж обидно, пойми... Не жизни мне жалко, а бабу такую

оставлять жалко... Никак я ей не наемся... Год уж все бежит слюна и бежит.

— Петрик,— зардевшись сказала Ганна,— ты лишнее не варнякай.

Ганна подняла белую ручку свою, расслабленную в кисти, и сначала коснулась костистой сухой руки дежурного запястьем, потом прокатилась по ней ладонью, слегка трогая кончиками пальцев, царапая ноготками.

— Меня убивать никак нельзя,— рассмеявшись, сказал дежурный,— я годовый молодожен... Слушай, фронтовичок, женись, чего ты тянешь... Бабы не найдешь?.. Не верю... Мужчины теперь подорожали... Мертвецы нам цену подняли.

— Вот о том я с тобой потолковать хотел,— сказал «культурник»,— про бабу свою... Разве не помнишь?..

— Постой, постой,— сказал дежурный, распрямляясь, словно на службе за канцелярским столом, а не в своем доме,— ну-ка, Ганна, пойди, тут разговор у меня.

Ганна встала и, вздохнув, вышла.

— Так,— сказал дежурный,— это ты насчет той арестантки приходил... А я тебя с кем-то перепутал... Но не беда... Ты фронтовик, и тот фронтовик... А насчет тебя я помню, теперь припоминаю ту историю... Трое суток не спал по-человечески, в голове кавардак.— Он отодвинул стопку и вдруг пристально глянул на Сашеньку, так что сердце ее сжалось от сбывающихся предчувствий.

— Понимаю,— сказал дежурный,— теперь все хорошо вспомнил... Ну и что ж ты хотел?— обернулся дежурный к «культурнику»,— были у нас случаи, когда истец берет назад заявление и мы закрываем дело... Но теперь-то обвинение держится не на заявлении дочери, а на вещественных доказательствах... Твою ж бабу прямо в проходной взяли с продуктами... В сапогах прятала и еще в некоторых женских местах, ты уж извини... Протокол имеется, подписи свидетелей... Заявление теперь можно даже изъять, оно роли не играет...

— Какое заявление?— удивленно спросил «культурник».

— Ладно,— сказал дежурный.— Ваньку не разыгрывай, не люблю я этого... Вы что, плохо договорились между собой?.. Я к тебе хорошо отнесся, как к фронтовику, так ты это учитывай. Я тебе просто посоветую, ты пока не хлопочи за нее совсем... Тогда получится, что она вдова летчика-орденоносца... Героя боев за Варшаву... Подвиг отмечен специально в центральной прессе... У нас все это имеется... А то, что она спит с тобой, это подчеркивать не надо для юридического документа...

— Поимели б совесть, кобеля,— неожиданно с порога

крикнула Ганна,— при дочери такое говорить... Нализались самогонки...

— Ганна,— сказал дежурный как можно строже и, поворачившись корпусом к жене, вытянул в ее сторону руку ладонью вверх с растопыренными пальцами, как бы отгораживая жену от происходящего в комнате разговора,— Ганна, ты в мои служебные дела не путайся...

— Да разве ж можно при дочери такое на мать говорить, какая она там ни есть воровка или спекулянтка?— сказала Ганна.— Дочь-то позеленела вся...

— Наплевать,— закричала Сашенька, вскакивая.

Крепкий мясной борщ, смешавшись с глотками сахарного самогона, уже не убаюкивал и расслаблял, а, наоборот, возымел обратное действие и как-то сразу выстроил новые картины в сознании, и картины эти похоронили колебания и сомнения насчет матери, которая никогда не думала о Сашенькином будущем. Мать Сашеньки была грубой, развратной женщиной, которая потеряла уже право на память героя-отца и связь с которой могла лишить и Сашеньку права на эту память. Матери у Сашеньки больше не было, но зато была Софья Леонидовна, которой можно было отдавать пенсию за отца, чтоб спокойно можно было там жить и питаться.

— Наплевать,— закричала Сашенька,— я не возьму назад заявление... Вот... Эта женщина родила меня, но не воспитала... А мать не та, что рождает, а наоборот... То есть кто выращивает... Знать не хочу... Мой отец за родину... Он сражался... Отдал жизнь...

Вдруг слезы сами потекли, да так обильно, что мокрыми стали не только лицо, но и грудь, и руки, и пряди волос, которые, растрепавшись, ниспадали на Сашенькины щеки. Ганна взяла Сашеньку за плечи, теплые руки ее пахли сушеными вишнями, но запах этот лишь в первый момент приятно повеял на Сашеньку, в следующее мгновение Сашеньке стало жаль себя, а теплые вкусные руки Ганны еще более распалили эту жалость и обиду на жизнь. Сашенька вырвалась, глянула искоса на застывшего в изумлении дежурного, а на «культурника» глядеть не стала, повернувшись к нему спиной, потом Сашенька шагнула в сени, схватила шубку, пуховый берет и выбежала на морозный воздух, побежала уже в полной тьме, между тем наступившей. Такой черной ночи Сашенька давно не припомнит, а в действительности был вечер, и не очень поздний, часов семь-восемь. Но все уже спало, только кое-где мелькали слабые огоньки, еще более усиливающие глухоту и запустение совершенно теперь неузнаваемой местности.

В страхе бежала Сашенька через темные огороды, которым не было конца, и особенно страшно было не лицу ее, так как его можно было потрогать руками, а спине, совершенно незащищенной, продуваемой снежным ветром, и к спине не то чтобы нельзя было прикоснуться, но даже подумать нельзя было о том, что делается за спиной, где сразу за шубкой начиналась ночная бесконечная тьма. Вдруг мелькнуло справа что-то белое, то ли стена мазанки, то ли снежный сугроб, однако довольно высокий, так что за ним можно было легко притаиться и взрослому сильному мужчине. Сашенька поняла это и побежала, огибая сугроб большим полукругом, вглядываясь во тьму, но ни одного знакомого силуэта не проступало ни впереди, ни с боков, а назад, где, по всей вероятности, осталась больница, от которой Сашенька знала дорогу, назад смотреть было страшно. Какие-то примерзшие кочки запрыгали у Сашеньки под ногами, стало светлей, но то луна не выкатилась из-за туч, а просто попала на более жидкое, растрепанное ветром облако и светила сквозь него белым пятном. В свете этом увидала Сашенька неподалеку канаву, видно недавно вырытую, уж после дневного снегопада, потому что глина вдоль бруствера была чистой, лишь слегка примерзшей. Сашенька решила обогнуть канаву, так как она была достаточной глубины, чтобы в ней мог притаиться человек, правда, не в полный рост, а присев на корточки. Однако проснувшееся наряду со страхом любопытство заставило Сашеньку не отшатнуться от канавы, а приблизиться к ней и глянуть внутрь. Странно, что если бруствер был свежий, комки глины не успели даже примерзнуть друг к другу, точно их буквально накануне извлекли наружу. Дно канавы было покрыто изморозью и присыпано, как показалось, густым слоем снега. Снег был мягкий, чистый, слегка подсиненный, словно накрахмаленный, и на снегу лежала в полный рост молодая еврейка, дочь зубного врача, в легком сарафанчике, в котором видела ее Сашенька на фотографии. Это была девушка редкой красоты, и она, видно, знала, что красива, потому что кокетливо обнажала красивые руки, круглые плечи и чистую гибкую шею. Только разбитая кирпичом голова искусно прикрыта была цветными лентами, вплетенными в волосы, да кожа у маленького ушка слегка была припудрена изморозью, как делала и Сашенька, чтоб скрыть оставшийся

от операции шрам на затылке. Сколько так стояла Сашенька, наклонившись над канавой не дыша, она не знает. Помнит только, что вскрикнула вдруг, словно внезапно пробудившись, отшатнулась, и сразу темные шумящие тени понеслись мимо нее от земли, едва не задевая лицо.

— Мама,— закричала Сашенька.— Мамочка...— Крик этот напомнил ей все недавнее, она глотнула холода так, что закололо лопатки, чтоб подбодрить себя, еще громче крикнула:— Софья Леонидовна... Миленьякая...

И тут она поняла, что кричать надо было с самого начала, ибо голос ее менял местность, делал эту местность не такой пустынной, безмолвной и незнакомой. Залаяли сонно собаки возле выросших по сторонам мазанок. Луна выкатилась из туч, засветила теперь на полную силу, и кто-то вышел во двор неподалеку.

— Тебе чего?— спросил темнеющий силуэт, правда, издали и с опаской, опасаясь, видно, грабителей.

— Как к больнице выйти?— сжимая челюсти и стараясь не стучать зубами, спросила Сашенька.

— А вон больница,— сказал силуэт,— перед тобой больница... Ты голову не дури...

И действительно, выкатившаяся луна осветила садящуюся на больничный забор воронью стаю, которую всполошила Сашенька, согнала с огорода. Больница была, оказывается, не сзади, а впереди, так что, сама того не зная, Сашенька правильно сориентировалась на местности.

Забыв поблагодарить, побежала Сашенька вдоль больничного забора и вскоре нашла проход, по которому выбралась на знакомую улицу. С колотящимся сердцем бежала Сашенька мимо знакомых развалин главпочтамта, мимо городского кинотеатра, где шел еще последний сеанс и виден был свет в будке киномеханика, мимо перчаточной фабрики, где тоже не кончилась еще смена и горело электричество.

«У меня опять началась болезнь,— думала Сашенька,— я слишком рано вышла на улицу, переохладила тело и истощила нервную систему... Милая Софья Леонидовна, милая мама Софья, как я хотела бы поскорее вас видеть... Простите меня... Я буду любить вас сильнее, чем родная дочь... Успокойте меня, мне страшно, мне трудно жить, я совсем одна... Будьте мне матерью... Я простужена, у меня температура, и мне кажутся разные картины... Помогите мне... Не та мать, что рожает, а та, что воспитывает... Милая мама Софья... К школе я неспособная, зачем же мне впустую губить молодость... Выздоровею и пойду работать на перчаточную фабрику, куплю себе туфли, маркизетовое платье... Может,

шубку... А то, что на мне надето, все отдам... Не надо мне от бывшей моей матери-воровки ничего...»

Так мечтая, но не громко, а шепотом, чтоб не слышали попадавшиеся навстречу прохожие, Сашенька достигла конца улицы, где за поворотом был уже дом ответработников. Сашенька долго звонила и только испуганно подумала, не ушла ли Майя с Софьей Леонидовной в кино, а Платон Гаврилович в партийный кабинет, как дверь внезапно открылась, хоть шагов в передней не слышно было, и у Сашеньки испуганно екнуло сердце, потому что она поняла: к двери давно уже подошли на цыпочках и, глядя в дверной глазок, думали: открывать ли. Мигом подавленная этим никогда ранее не случавшимся обстоятельством, вошла Сашенька в темную переднюю, и тень в халате отступила в сторону, не проявляя никакой радости. Это была Софья Леонидовна.

— Входи,— сказала тихо Софья Леонидовна.

Она пригласила Сашеньку в кабинет Платона Гавриловича, где вдоль стен стояли шкафы с красными корешками классиков марксизма, она предложила Сашеньке сесть в кресло, словно посетителю, которого не жалко, охвачена ли ознобом его спина, сухо ли в горле у него, бледно ли лицо его, все равно не здесь забéгают, всполошатся, не здесь уложат в постель и напоят питательным бульоном, здесь, может быть, только выслушают и посочувствуют из вежливости или даже искренне, если хорошо относятся.

— Я всегда относилась к тебе как к родной дочери, не так ли?— сказала Софья Леонидовна.

— Да,— покорно согласилась Сашенька.

— Я уступила тебе свою постель, а когда ты болела, я вставала к тебе ночью по три раза... И поила бульоном из рук... И давала лучшие куски... Лучше, чем Майе, хоть она болезненная девочка и нуждается в усиленном питании.

— Да,— опять покорно согласилась Сашенька.

— Но ты говоришь, что у нас какие-то расчеты,— продолжала Софья Леонидовна,— мы хотим тебя использовать... Ты очень обидела Майю, и меня, и Платона Гавриловича... Ты не думай, я и раньше замечала, как ты относишься ко мне... Тебе не нравится моя внешность и не нравится Майина внешность... Ты уже взрослый человек, и я говорю с тобой как со взрослой... Майя ласковая и доверчивая девочка, у нее хороший характер, она душу свою могла бы отдать подруге... или близкому человеку. Она преданная девочка... А ты неблагодарная... Да, можешь на меня обидеться...

Сашенька вначале слушала Софью Леонидовну, после же рассеялась. Знобить стало меньше, может быть, оттого, что

некому было Сашеньку пожалеть и никто б не всполошился, даже если б она в гриппозном состоянии съела б сейчас снега, чтоб увлажнить сухую гортань. И Сашенька поняла, что Софья Леонидовна никогда не была ей близким человеком, потому что оберегала себя и не позволяла, чтоб Сашенька делала ей больно. Все обиды и насмешки, которыми даже не явно, а тайно Сашенька тешила свое сердце, Софья Леонидовна собирала и подшивала, будто бумажки, испытывая не страдания, а справедливый гнев, она не простила Сашеньке ни одного косого взгляда, ни одной несправедливости, которыми Сашенька платила ей за заботу и усиленное питание.

Сашенька встала и пошла в переднюю. Она слышала, как вздохнул на кухне Платон Гаврилович и заплакала в столовой Майя. Но не о них думала сейчас Сашенька. Она думала сейчас, как выселить Васю и Ольгу или в крайнем случае переселить их в кухню за ширму, чтоб начать жить самостоятельной взрослой жизнью, так как несколько минут назад кончилось Сашенькино детство. Оно кончилось в тот момент, когда Сашенька поняла, что некому больше обращать внимание на ее тоску, а без постороннего внимания и волнения тоска эта была вялой, скучной и не приносила сладости, ибо один из признаков детства — это возможность кого-нибудь мучить и волновать. Иногда оно отсутствует даже в младенчестве, иногда же растягивается до старости, в течение жизни оно может исчезать и возвращаться, детство — это возможность наслаждаться своей беспомощностью...

В квартире опять было сильно натоплено, впрочем, может, повлияла поднявшаяся к вечеру от незалеченной простуды температура, которую Сашенька ощущала во взмокших висках, в горячих ушах и ознобе вдоль спины. Сашеньке было так жарко, что даже шубка взмокла, и мокрая беличья шерсть неприятно гладила шею. Ольга хлопотала по хозяйству, носилась из кухни в комнату. На кухне у нее кипело какое-то варево для Васиной груди из трав, чеснока и еще некой примеси, очень напоминающей мочу, так что у Сашеньки от удушливого запаха даже закружилась голова.

— Это мне певчая совет дала... Верить можно... Для Васи... — принялась убеждать Ольга Сашеньку, точно Сашеньку волновал правдивый совет певчей и ее, так же как и Ольгу, беспокоило Васино здоровье. — У певчей сын болел, — обстоятельно рассказывала Ольга, не замечая, как у Сашеньки кружится голова и хочется выпить холодного киселя из фруктового концентрата, который мать иногда приносила в сапоге.

— Били его сильно, — зевая и помешивая варево серебря-



ной ложкой из набора, который Сашенькина мать хранила еще со свадьбы, неторопливо говорила Ольга,—били певчего-то сына ногами, видать, хоть не рассказывал он. Почки ему от спины отбили, желудок от кишок оторвался...—Ольга зачерпнула ложкой мутно-желтое варево, попробовала, приставив ложку ко рту самым концом, чтоб не сжечь губы,—а пища-то, она идет, питание... В желудок не попадает, а возле сердца скопляется... Вот он и кашлял, и тяжело ему, и кололо его сердце-то,—монотонно, словно муха, жужжала Ольга, убаюкивая Сашеньку и вгоняя ее в ленивую духоту, так что Сашенька не имела сил поднять сейчас вопрос о выселении, а лишь стояла, поддакивая и слушая зачем-то Ольгину болтовню.

— А певчая-то говорит,—продолжала Ольга,—есть у меня средство, в старину им пользовались, сына мне это средство полностью вылечило... Только народ теперь гордый, не каждый согласится... А я говорю, мне лишь бы Вася здоров был...

Ольга взяла тряпкой за ушки кастрюлю с кипящим варевом и, распространяя солоноватый терпкий запах, понесла в комнату. Сашенька вошла следом. Бывшая материнская постель застлана была свежими льняными простынями, которые Сашенькина мать ни разу не употребляла с тех пор, как Сашенькин отец ушел на фронт. Вася сидел на кровати потатарски, подогнув под себя ноги в белом, свежестиранном отцовском белье, которое все время аккуратной стопкой лежало в той части шкафа, где были все другие отцовские вещи и куда мать не разрешала Сашеньке соваться. Васины глаза лихорадочно блестели, и приступ кашля, видно, недавно кончился, потому что грудь, видневшаяся в разрезе рубахи, дышала неровно, а губы были мокрые, и Вася вытирал их ладонью, прикладывая затем к ладони край простыни. Увидав Сашеньку, он улыбнулся ей, обнажив десны, и кивнул на кастрюлю.

— Вот он, мой самогон сахарный,—сказал Вася,—дай тебе Бог, Саша, никогда таким самогоном не опохмеляться.

— Ничего,—сказала Ольга,—ты, Васечка, выпей, это верное средство... Здоровый будешь...

Она налила варево в фарфоровую голубую кружку из Сашенькиного раннего детства. Вася выпил, морщась, вытер губы, перекрестился и снова улыбнулся.

— Ничего,—сказал он.—Хмельной самогон...

Ольга вынула из буфета целую буханку хлеба, и не магазинного, кирпичиком, с тяжелой мокрой мякотью, а круглого, домашнего, который можно было достать лишь на рынке,

с хрустящей корочкой и пружинистым сероватым телом. Вася проделал пальцами сверху в поблескивающей корке дырку, образовалась в мякоти ямка, и Ольга налила туда постного масла и посыпала солью...

— Любит он так,— сказала Ольга,— постное масло хлеб пропитывает...

— Простудилась я,— сказала Сашенька и сняла шубку.

— А ты ложись,— сказала Ольга,— кипяточку выпей с булочкой.

Сашенька поставила в маленькой комнатушке у зеркального шкафа раскладушку и принялась раздеваться. Движения ее были плавные и длинные, легкими руками снимала она с себя одежду, и ей было безразлично, куда после этого одежда исчезает, она не повесила на плечики маркизетовую блузку, а единственную нарядную юбку попросту уронила. Вошла Ольга, дала ей чашку кипятку с леденцом и черствый кусок церковной булки.

— Спасибо,— сказала Сашенька, ибо даже больной она не имела теперь права на заботу о себе и должна была за все благодарить. Булка пахла лампадным маслом. Сашенька решила намочить ее в кипятке, чтоб убить этот запах и чтоб легче было глотать, но намочила неудачно, почти весь кипяток вылился на пол. Ольга ушла на кухню, вернулась с тряпкой и вытерла насухо лужу, а с одеяла смахнула ладню крошки.

— Спасибо,— сказала Сашенька.

Она долго лежала потом тихо и одиноко. Она слышала, как Ольга задула коптилку, как Вася начал ласкать Ольгу, но все было ей теперь недоступно, и суставы ее не напряглись, и дыхание не стало учащенным, и горечь ее теперь была не живая, которая порождает злобу и жалость к себе, а, наоборот, своя судьба была сейчас безразлична Сашеньке, потому что Сашеньку никто не жалел и не любил.

Желание быть любимым присуще всем, но есть натуры сильные, нервные и чуткие, для которых жажда чужой любви так велика, что они теряют способность любить сами и, чтоб постоянно ощущать силу любви к себе, причиняют любящему страдание. Не сразу, не вдруг становятся эти несчастные такими, и одной из ярких фигур подобных является непонятый либо оболганный евангелистами иудейский юноша Иуда, самый красивый, самый страстный и самый любимый Христом ученик. Он удавился вовсе не потому, что каялся. Христа Иуде жаль не было, ибо не бывает взаиморавной любви между двумя людьми, и так сильна была любовь Христа к Иуде, что у Иуды не могло остаться и крупинцы любви

к Христу. Страшно одиноко стало Иуде, когда не стало рядом Христа, ибо только Христос со своей всепоглощающей неземной любовью способен был утолить жажду этой доведенной до иступления, страстной, ни на секунду не утихающей потребности быть любимым, которая грызла Иуду. Так бывает всегда, когда кто-либо любит чрезмерно, как любил Христос всех, а более всех несчастного юношу Иуду, ибо и в любви, если кто-либо забирает много или все, то другим остается немного либо одна лишь жажда. Такова и материнская любовь, по природе своей наиболее близкая к любви Христа, и потому дети не могут любить мать свою, а чувство, которое они испытывают, вовсе другое чувство...

Так лежала Сашенька до глубокой ночи, когда за окном утих ветер и взошла луна. Ей было теперь жаль Васю, потому что перестало быть жаль себя, и когда он начинал громко, надрывно кашлять, ей хотелось войти босой и просить прощенья. Мать же ей и сейчас жаль не было, наоборот, это был единственный человек, к которому Сашенька испытывала неприязнь и за свою болезнь, и за чужие насмешки, и за слабость, это был сейчас единственный человек на земле, перед которым Сашенька чувствовала себя по-прежнему сильной.

— Да, дорогой юноша,— говорил арестант в пенсне. Как часто бывает во сне, Сашенька видела его в неестественном положении, разрезанного пополам, и нижняя половина куда-то исчезла. На нем был солдатский мундир и поверх мундира пиджак из дорогого материала, но заношенный, потертый...

— Да, дорогой юноша,— говорил арестант,— существует и такая трактовка Иуды... Правда, чисто литературная, не имеющая успеха ни среди теологов, ни среди атеистов... Христос и Иуда — единственный пример великой любви в ее чистом виде, то есть бесполой, не опирающейся на инстинкт размножения... Иуда выдал Христа, когда потребность быть любимым, а значит, и слабость его, что одно и то же, превысила всякий наперед заданный нами, земными существами, предел... Парадоксально, что подобная трактовка перекликается с библейской притчей об Иове, но, как ни странно, это, может быть, единственный случай из Библии, когда всевышнее существо было слабее земного. Теологи трактуют эту притчу неверно. Господь вовсе не чувствовал себя тогда всемогущим, наоборот, он был слаб как никогда и жаждал любви. Потому он и обрек Иова на страдания, чтобы и «в гною» Иов любил его... Вы улавливаете общность?... Точно так Иуда предал Христа на распятие... Может, это кощунство, но слияние Христа с Иудой, а Господа с ничтожным Иовом, живущим «в гною» своим, и есть мысль о великом первобытном

хаосе, с которого все началось и к которому все придет, хаосе, царствующем и над людьми и над Богом, где едино малое и большое, добро и зло, любовь к ближнему и мучение ближнего... Нам неприятно это, мы всегда будем отталкивать это от себя, как отталкиваем от себя смерть, тем не менее независимо от нас существующую, ибо подавляющее большинство людей неспособно чисто физиологически жить за пределами своих страстей, как никто не может жить за пределами атмосферы. Но в борьбе со смертью человек стал именно тем, что он есть: отделился от животного, развил науку, религию, искусство, философию... Да, так же, как необходимо было человеку понимание своей смертности для построения той цивилизации, в которой мы с вами имеем счастье или несчастье жить, так же необходимо ему будет для грядущей цивилизации, о которой пока мы можем лишь догадываться, более ясное понимание всеобщего хаоса, наступающего за пределами наших страстей. Ибо всеобщий хаос — это всеобщая смерть и всеобщее лоно, которое и отталкивает и притягивает...

Говорящий кашлянул, чтобы прочистить уставшее от слов горло, и выпил что-то.

— Я мог бы с вами согласиться лишь в одном, профессор, — сказал чей-то голос, — страх перед смертью крайне необходим и уравнивает собой пока еще низкую степень нравственности... В ином же я согласиться не могу, мне кажется, вы хотите навязать христианскому целомудрию чуждые ему древнегреческие извращения...

— Эх, юноша, — сказал ясно видимый до половины туловища арестант, — целомудрие и несет в себе наиболее сильную страсть и наиболее сильный вызов природе... Дразнящая порочность целомудрия особенно ясно видна не в философии, а в поэзии... За эти мысли меня и вычистили до войны из Свердловского университета... Причем я произнес их не перед аудиторией с университетской кафедры, а на дружеской вечеринке по случаю серебряной свадьбы заведующего кафедрой минералогии...

— Тебе не надо больше пить, Павлик, — сказала, появляясь в проеме двери, красивая женщина, которую Сашенька когда-то ненавидела, а теперь разглядывала безразлично, — ты уже продезинфицировал желудок, в малых дозах это полезно... Но, слишком много выпив, ты разогреваешься, а в камере сыро...

Сказав это, женщина вошла в Сашенькину комнату вместе с красивым лейтенантом, о котором так мечтала Сашенька раньше, когда у нее были права на все лучшее, теперь же она

даже не удивилась, увидав его, она лишь могла смотреть со стороны, не испытывая зависти, как Майя или другая дурнушка.

— Я вам очень благодарна,— шепотом сказала женщина лейтенанту,— я знаю, что у моего мужа не было шансов попасть на работу по этому наряду... Вам нужны два сильных арестанта-землекопа... Я все знаю... Я слышала, когда вы давали заявку в канцелярию... Вы пошли мне навстречу, вы настаивали на том, чтоб послали мужа... Две ночи вне камеры и хорошая еда... Вы помогли ему, мне и, может, отечеству... Мы должны сохранить его... Поверьте, наступит время, и в таких будут нуждаться более, чем нищий в еде и теплой постели... Но будьте последовательным. Павел Данилович не может ночью при фонарях раскапывать могилы... В снегу... Не затем мы с вами вытащили его из камеры хотя бы на две ночи... С конвойным я договорюсь... Он обедает на кухне. Ему же лучше оставаться в тепле... Второго арестанта тоже придется, разумеется, оставить здесь, иначе он донесет...

— У меня мало времени,— тихо сказал лейтенант.— Днем санинспекция раскапывать могилы запрещает, а мне надо возвращаться в часть... Мне дали арестантов на две ночи... За это время я должен отыскать родных и перевезти их на кладбище...

— Согласен дворник и хозяин этого дома, который сам же нас пригласил,— сказала женщина,— они хотят заработать... Хозяин согласен даже взять обычной тушенкой и хлебом... Дворник, правда, более требовательный, он хочет молока и хозяйственного мыла, но я достану, поверьте мне, я обязательно достану...

— Я тоже согласна,— сказала из темноты Сашенька,— я могла бы поработать за банку тушенки.

Ей было страшно лежать одной, словно в могиле у края дороги, по которой течет жизнь, не задевая и не опасаясь ее.

— Здесь, кажется, кто-то есть,— вздрогнула женщина и прижалась к лейтенанту.

— Я хозяйка этой квартиры,— как можно тверже сказала Сашенька,— выйдите, я оденусь...

Лейтенант и женщина поспешно вышли, и Сашенька начала одеваться. Она думала, что тело и голова ее тяжелые, ночные, однако опасения оказались напрасными: тело было порассветному легким, особенно когда Сашенька натянула свитер и байковые шаровары.

— Здравствуйте,— сказала Сашенька, входя в большую комнату, наполненную чужими людьми и ярко освещенную двумя коптилками. Вася был уже одет и стоял в лоснящейся

шинели, туго перевязанной на груди Ольгиным шарфом, чтоб не застудить больные места. Здесь же был Франя, одетый по-рабочему, с лопатой в руках.

— Вы, девушка, не сможете работать,— тихо сказал лейтенант,— там надо долбить мерзлую землю... На ветру... И мне кажется, вы нездоровы...

Сказав это, лейтенант посмотрел на Сашеньку, и Сашенька сразу и просто, такое бывает редко на этом свете, сразу и просто, без сомнений и клятв поняла, что ради этого человека родилась, выростала, стараясь питаться получше, чтоб исчезла сутулость и округлились бедра, и ради этого человека не умерла три года назад от сыпного тифа.

— Я смогу копать землю,— сказала Сашенька, не чувствуя себя более одинокой и получив наконец возможность пожалеть себя до слез,— мне надо заработать... Мой отец погиб на фронте, а мать арестована советскими органами как воровка... Я не намерена это скрывать...

Она надела телогрейку, закутала голову платком.

## 8

На теплой, хорошо освещенной кухне сидели два арестанта и стрелок конвойный, ели разогретое мясо с хлебом. Арестант-профессор ел, задумчиво разглядывая кусочки мяса, нанизанные на вилку, а второй арестант, сильный, полнокровный мужчина, и конвойный ели, твердо жуя, ибо всей сутью своих сочных, здоровых организмов поняли то, к чему самые светлые головы приходят лишь к концу жизни ценой жертв и постоянного нервного напряжения.

Жена профессора готовила на сковороде новые порции мяса, так умело пользуясь приправами: уксусом, лучком, перчиком, толчеными сухариками, что Сашенька впервые почувствовала к ней нечто вроде признательности, ибо запах сочного мяса в такую метельную ночь пробуждает надежды и успокаивает страх. Ночь же действительно была страшная, от которой следовало прятаться всему живому: с острым ветром, с горячим морозом, черная, беззвездная, угнетающая даже сильные души. Это была все та же ночь, которая напугала Сашеньку среди заснеженных огородов, но еще более глухая, еще более оживляющая нездоровое воображение и уродующая окружающую землю.

Франя шел впереди с железнодорожным фонарем, полученным под расписку в домоуправлении. Первым делом

Франя подошел к обгоревшим одноэтажным развалинам дома, в котором ранее жила семья зубного врача, и, едва не упав и не разбив фонарь о сохранившееся железное крыльцо с всевозможными завитушками и украшениями, выругавшись в сердце, в печень, в душу Бога мать, начал мерить нетвердыми шагами расстояние от крыльца к выгребной яме и далее к сараю. Сашенька, лейтенант и Вася стояли тесно друг подле друга. Ольга тоже пошла с Васей, помочь ему работать и уследить за ним. Тихо было вокруг, все спало. Только в одном домике на краю двора, грязном, покосившемся, то освещались, то потухали окна, там было беспокойно и не было сна.

— Мальчика убило, — сказала Ольга, вздохнув, — за старой баней вчера Хамчик бомбу нашел, винтить стал... Ему-то ничего, он-то целый, а братишечку убило... Пять годов... Хороший был, бойкий...

— Сколько этого барахла еще под снегом, — подходуя и тоже поглядывая на беспокойные окна, сказал Франя, — уже третий случай на моем участке... Есть постановление исполкома об установлении надзора... А что сделаешь, — он вздохнул, — неприятно живется народу, а почему так... К нам в костел новый ксендз приехал из Эстонии... Образованный... Я его спрашиваю: почему так неприятно живется народу, почему так в нелюбви живут?.. Потому, отвечаю сам же ему, что устал человек продолжать род свой... Отец Георг меня чуть из костела не выгнал.

Франя снова пошел к сараю, шагал, отмерял и наконец воткнул лопату в снег неподалеку от выгребной ямы. Начали копать. Сперва очистили снег, потом, попеременно отдыхая, Франя, Вася и лейтенант принялись ломом долбить верхний слой мерзлого грунта. Сашенька и Ольга убирала штыковыми лопатами мерзлую землю. Попадались черепки, камни, какие-то железные обломки, комки неприятно пахнущей гнили, замерзшие ленты-липучки, усеянные мухами. Останки Леопольда Львовича нашли неглубоко, он лежал лицом вниз, тело тронута уже было гниением, но это еще не был скелет. Он лежал совершенно голый, но голова укутана была порывежвейшей рубашкой. Вдруг появился арестант-профессор в телогрейке, видно, бобриковое пальто он уступил более сильному арестанту.

— Вам ведь не жалко то, что сейчас отдаленно напоминает человека, — сказал профессор почему-то Сашеньке, — вас гложет другое чувство: ужас перед тем, что это омерзительное когда-то могло сладко позевывать, смеяться, кушать...

«Или он внушает мне, — подумала Сашенька, — или уга-

дывает мои мысли, неясные и страшные мне самой... Какое счастье, что я никогда не видала своего мертвого отца».

— Можно любить память о мертвом, но не тело,— продолжал арестант-профессор,— мертвых должны хоронить чужие... Почему люди стремятся видеть своих умерших близких... Это чудовищно... Большое горе, как и большая любовь, должно быть похоже на мечту... Человек исчезает вместе с жизнью, и остается самая страшная насмешка над ним: его мертвое тело... Помните, как сказано в одной из мудрых книг: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов».

— Идите в теплое помещение, профессор,— сказал лейтенант тихо, но постепенно все более возбуждаясь,— вы, может, не совсем понимаете ситуацию... Это не мумия этрусков... Это мой отец, убитый кирпичом по голове и закопанный в выгребной яме. Вы большая дрянь, профессор, поверьте мне... Вы хуже растлителя... Вас надо изолировать... Я с радостью набил бы вам морду, извините за грубость...

— Ах, молодой человек,— сказал грустно профессор,— подлинными гонителями философии являются не мракобесие и порок, а человеческие страдания и человеческие слезы, ибо философия делает эти страдания и слезы смешными.

— Простите его,— кинулась к лейтенанту жена профессора-арестанта,— он всегда путается в своих мыслях, говорит нелепости... Боже мой, с таким трудом удалось вытащить его из сырой камеры хотя бы на две ночи... Он сам страдал, когда умерла наша дочь... Он так страдал... Он три дня не уходил с кладбища...

Повернувшись к мужу, она сильно схватила его за рукав телогрейки и оттащила в сторону.

— Я заплатила самыми качественными продуктами за то, чтоб ты сидел в теплом помещении,— злым шепотом сказала она,— ты озлобляешь не только этого доброго юношу в трагический для него момент, но и конвойного, который вынужден топтаться с тобой на морозе, и второго арестанта... Мерзкий ты человек. Может, прибудет характеристика из Москвы... Я написала двум академикам... Я добилась... Ценой унижений я добилась, чтобы тебя не перевели в область, а оставили пока под предварительным следствием...

Все это она говорила шипя, как змея, прижав губы к уху мужа и косясь на угрюмо топающего в стороне валенками конвойного, рядом с угрюмым арестантом. Их подкупили мясом, хлебом и теплым помещением, чтоб сохранить профессора для литературоведческой науки, но профессор своим нелепым поведением мог заставить их выполнять инструкцию, согласно которой один направлялся в ночную смену для



копки мерзлого грунта, другой же для надзора. Конвойный получил это задание как наряд вне очереди от старшины, который к нему придирался. Потому он спокойно наслаждался мясом и теплом, радуясь своей везучести. «Меня в реку брось, я не потону, а с рыбой в зубах выплыву»,— радостно думал он, может быть. И вдруг старшина восторжествовал самым неожиданным образом и в неподходящий момент, причем благодаря не майору или дежурному, а личности ничтожной, обязанной подчиняться любым распоряжениям и почему-то нелепо взбунтовавшейся в том смысле, что нарушал свои собственные, дорогой ценой купленные интересы и топил других. Поскольку поведение арестанта было непонятно, оно вызывало у конвойного злобу, задевавшую самолюбие, а когда задето самолюбие, удобства отступают на второй план.

— Хватит,— сказал конвойный жестко,— побаловались... Бери, старикан, лопату, и ты тоже,— он толкнул в плечо угрюмого арестанта,— выполняйте инструкцию согласно выписанного наряда...

— Мы все уладим,— метнулась к нему женщина,— он не может копать, у него большое сердце...

— Ну и что,— сказал конвойный,— а у меня шрапнельное ранение в верхнюю часть голеностопного сустава... И те еще преимущества, что я родину не предавал... А я ж инструкцию выполняю согласно выписанного наряда.

— Тихо,— сказал лейтенант,— ну-ка, тихо... Чтоб полная тишина...

Он стоял, привалившись к стене сарая, дыша так, словно пробежал несколько километров. Сашенька подошла и стала с ним рядом. Несмотря на сердитый окрик, выглядел лейтенант сейчас беспомощно, будто искал защиты. Это был широкоплечий парень, летчик, провоевавший всю войну, трижды горевший в воздухе и дважды раненный на земле, но сейчас ему было по-детски страшно, и он нуждался в руке женщины, такое бывает даже с очень сильными, опытными мужчинами, а Сашенька Бог весть каким женским инстинктом, выработанным тысячелетиями, протянула свою руку, приласкала, не стыдясь окружающих, погладила по выбившимся из-под ушанки волосам, отерла влажный лоб, заботливо поправила кашне и впервые наяву ощутила странную сладость под сердцем, напомнившую ей сладость лишенных формы снов, в которых было не меньше счастья, чем в физическом томлении, но которые не оканчивались диким восторгом, сменявшимся покоем и позднее разочарованием, ибо восторг и сладость в тех снах всегда полны были покоя. Сашенька не догадывалась, что ее впервые посетило ощущение ма-

теринства — этой высшей мудрости, до которой способна подниматься женщина в любви, не только не требующей, но в силу полноты своей полностью исключаящей взаимность, бездонной, слепой, лишенной терзаний и сомнений, присущих любви чувственной. Любовь эта таится в каждой женщине, но не всегда бывает разбужена и возникает внезапно, подчас весьма странно, случается, она возникает и в восьмилетней девочке по отношению к сорокалетнему мужчине, так что совсем еще ребенок чувствует себя сильнее и старше взрослого, и тот даже иногда подсознательно испытывает необходимость искать у девчушки защиты. Любовь эта бывает рассеяна и в обычной общедоступной чувственной любви, словно драгоценные золотые крупинки, появляясь в моменты полного душевного единства, что случается не так уж часто в земной жизни. Так же как любовь эта в слабой степени зависит от возраста, так же не зависит она от ума и от воспитания, не зависит от нравственности и порядочности. Однако, возникнув, она может совершенно преобразить и изменить человека и всегда ведет лишь к совершенству. Может, от инстинктивных поисков ее, столь трудных, где удача бывает так редка, и страдает человек, злобствует, предает, мучается, ненавидит. Мистики, возможно, объясняют это поисками душ, тысячелетия назад состоящих в близком родстве, и наибольшее, хоть и редкое, счастье случается тогда, когда душа древней матери переселяется в тело современной молодой девушки, а душа сына ее в тело ее возлюбленного... Материалисты же, разумеется, опровергают все это, тем более что тут пахивает древнегреческими извращениями, но в последнее время некоторые из них все же признают наличие в вопросе о счастливых браках темных пятен, на которые указывают социологи...

Многие, если не все, из этих мыслей высказал арестант-профессор в ту ночь этими же, либо, во всяком случае, подобными, словами, он продолжал говорить, невзирая на то, что жена его дрожала от страха и негодования, второй арестант и конвойный, основательно замерзшие, после теплой кухни, в душе давно уже готовы были умело, по-тюремному бить его, не оставляя синяков, и даже лейтенант оскорбил его, потому что профессор красноречиво в момент, когда человеку хотелось тишины. Однако самому профессору слова эти не показались кощунственными и пошлыми, душа его давно уже томилась от слов, которые копились годами, путаных, нелепых, полных противоречий, но живых, тех слов, которые сам не знаешь куда тебя приведут и во что сложатся. Ему казалось, что долгие годы он пользовался словами, напоминающими чучела птиц, набитых тырсой, притом не обвиняя

никого и ничто, а лишь собственную вялость и практицизм, живые же слова, вследствие опять же собственной трусости, бились и метались в душе, как в тесной клетке, и вот сейчас он выпускал их в ночь, лихорадочно жестикулируя. Тощая фигура его в телогрейке, в крестьянском треухе и пенсне выглядела бы смешно, если б не метель, угрюмые лица, которые изредка, то одно, то другое, освещал фонарь, повешенный на остатке железного крыльца у развалин, да мертвое тело, которое поднимали из ямы, придерживая лопатой для создания внизу пространства, чтоб подсунуть веревку. Все это делало профессора похожим на обезумевшего колдуна, читающего заклинание-молитву над усопшим, которого ко всему еще не закапывали, а извлекали из земли, что придавало картине вовсе безумный смысл. Конвойный подошел вплотную, глянул в бегающие, быстрые глаза старика арестанта и подумал уже без злобы, скорей даже весело и по-доброму, как часто думает здоровый сельский житель, глядя на неопасного сумасшедшего: «А старичок-то лаптей ушибленный... надо бы доложить...»

Франя открыл один из сараев, где стояло четыре пустых гроба, заранее отпущенных по разрядке столярным цехом деревообделочного комбината. Останки Леопольда Львовича положили в самый большой из гробов. Лейтенант сорвал с себя шинель и прикрыл страшные нагие кости и тело.

— Это я не подумал,— отворачиваясь, моргая и сморкаясь, сказал Франя,— надо бы рогож приготовить или одежду... А голову я ему обернул еще тогда... Сильно побита была...

Ольга, всхлипывая и крестясь, ушла и вернулась с большим шерстяным платком, который Сашенькина мать ни разу не надевала.

— Ты б на себя его взяла,— сказал Франя.— Твой-то дыра на дыре... В могиле и такой сойдет...

— Ничего,— сказала Ольга,— я иной себе заработаю... А он намерзся... Пусть лежит... Прости нас, Господи...

— Помоги,— сказал лейтенант Васе,— в сарай отнести... Я лицо отца посмотреть хочу...

Они отнесли гроб в сарай, и лейтенант там остался, а Вася вышел, тоже часто крестясь, без шапки, и вдруг закашлялся, страшно выпучив глаза. Ольга кинулась к нему, и он продолжал кашлять у нее на плече, медленно успокаиваясь. Лейтенант забрал с собой фонарь, и стало совсем темно, лишь над самой Сашенькиной головой блестела одинокая звезда, Бог весть как пробивающаяся сквозь метель, впрочем, несколько поутихшую. Притихли также и все вокруг, конвойный пере-

стал чертить на снегу рожи чертей прикладом, что он делал, чтоб занять себя чем-либо. Угрюмый арестант, до этого украдкой жевавший черствый кусок ржаного пирога, спрятал его в карман и вытер губы, профессор, поникший и обессиленный собственной речью, смотрел на свою энергичную жену, стремящуюся всеми неправдами сохранить его для науки, смотрел, часто моргая и без ропота, отдавая себя на суд ее, как смотрят на хозяина добрые, провинившиеся собаки. Тишина становилась все более долгой, все более невыносимой, и Сашенька томилась сердцем у сарая, за стенами которого происходила встреча сына с отцом.

Метель тем временем вовсе утихла, небо во многих местах очистилось, и звезды усыпали всю небесную ширь, видно, утихший у земли ветер продолжал неистовствовать в вышине, разрывая тучи и гоня их прочь. Вскоре звезды расплодились так, что уже не хватало им всей шири, и звезды теснились густо, как редко бывает зимой, а лишь в августовские душные ночи. От лунного сияния вспыхнул снег, лежащий теперь покойно на земле, и этот свет, разом наступивший после тьмы, этот покой после метели не только не облегчили душу, а еще более усилили томление, ибо исчезла надежда, таящаяся помимо воли человека в душе его со времен языческого варварства, на природу как на причину своих страданий, кстати сказать, надежда, не лишенная смысла даже согласно последним научным гипотезам, и потому особенно тяжело становится, когда, успокаиваясь, природа не успокаивает душу, лишая защиты и оставляя человека наедине со своими грехами. Чем далее длился покой, этот среди праздничного сияния снега, среди роев звезд и потеплевшего от лунного света воздуха, тем томительнее становилось у Сашеньки на сердце. Ее угнетал и странный могильный покой за стенами сарая, где не слышно было ни шороха, ни вздоха, ни какого-либо другого свидетельства человеческой жизни. Сарай молчал, как и яма продолговатой формы, темно зиявшая среди чистого снега. Луна освещала эту яму, и четко видны были слои на стенах, верхний слой был сантиметров тридцать, труха, перегной, густо начиненный черепками, камнями, поблескивающими стеклышками, далее шли прослойки песка и желтоватый чистый слой глины, в котором ясно виден был след человеческого тела, пролежавшего в этой глине четыре года. Во время весенних паводков и дождей, когда почва оживала, тело, постепенно год за годом становившееся частью этой почвы, оживало тоже, в том смысле, что начинало движение вширь, разбухало от теплой воды и проникающих сквозь наносной грунт солнечных лучей, давило на стенки, на

дно, и глина уплотнялась с таким чавканьем, которое слышно иногда весенней ночью на кладбище после обильного теплого дождя.

Так, или примерно так, думал профессор, подобно Сашеньке неотрывно глядевший на яму, странно волнующий, искушаемый в свои сорок семь лет мыслями новыми, состоящими не из слов, а из каких-то трудно переводимых на человеческий язык сигналов, мятущихся в мозгу и мнущих виски. В природе между тем продолжали проходить явления необычные, понятные, разумеется, астрономам, во всяком случае, в большей части своей. Родившаяся буквально на глазах из беспокройной метельной ночи, ночь лунная, звездная была первоначально до того покойна и безветренна, что казалась не живой, а нарисованной. Но потом и в ней началось движение, правда, иного свойства. Она начала заметно светлеть и еще более теплеть, какие-то зарницы заматались вдали, так что стал виден горизонт, ранее сливавшийся с тьмой, стали видны крыши дальних домов среди позеленевшего на горизонте неба, и хоть до рассвета еще было далеко, дальние звезды поблекли, ближние же налились, засверкали бесовски весело и до того ярко, что казалось, расцветивают снег синеватым бриллиантовым огнем, играют и насмеваются над человеческими мучениями. И тогда все, даже конвойный впервые в жизни, особенно при исполнении служебных обязанностей, испытали такое странное и, главное, всеобщее усиление сердцебиения, которое бывает лишь во время кошмаров во сне. Конвойный же, который спал вовсе без снов, испытал особый страх, происходящий от незнания подобных свойств организма, и хотел было даже на всякий случай загнать патрон из обоймы в канал ствола, однако руки не повиновались ему, также впервые в жизни, и он, задрав несколько кверху подбородок и приоткрыв рот, тяжело дышал в унисон с конвоируемыми, а также с другими лицами, застигнутыми этим природным явлением врасплох. Ольга, Вася и Франя испуганно крестились, Ольга и Вася по-православному, а Франя слева направо, по-католически. Сашеньке же и профессору, как натурам нервным, хотелось то ли закричать, то ли заплакать, то ли схватить лопату и забросать землю яму, чтоб не видеть ясный отпечаток человеческого тела в глине, словно на геологическом разрезе отпечаток древних существ. В действительности же все объяснялось просто. Усилившееся в результате столкновения циклона и антициклона количество магнетизма в атмосфере воздействовало на полушария головного мозга, те же в свою очередь воздействовали на большой и малый круги кровообращения. Ритм тока крови нарушился, а имен-

но усилился, что мгновенно сказалось на тканевой жидкости или тканевой лимфе, ощутившей недостаток кислорода и питательных веществ, а также избыток углекислоты и продуктов распада. Вот почему не мог передернуть затвор конвойный, впали в религиозный экстаз дворник и Ольга с Васей, особо жуткий покой воцарился за стеной сарая, а Сашенька и профессор, почувствовав сильное внутреннее давление, жмушее сердце к горлу, хотели забросать мерзлыми комками яму, чтоб не видеть ясных вмятин плеч, ног и головы на подмерзшей уже глине. Но, видно, и атмосферный магнетизм не на всех оказывает одинаковое воздействие, одних он привлекает к месту, других же, напуганных либо терзаемых горем, поднимает и побуждает к движениям. Нарушив тишину, распахнулась дверь в дальней лачуге, и на протоптанную тропку вышла мать убитого вчера у старой бани гранатой пятилетнего мальчика. Она шла, большеносая, золотозубая, с висящими в беспорядке вдоль щек волосами, и под руки ее поддерживали два члена этой широко разветвленной восточной семьи, родные братья мужа ее Шумы, такие же темнолицые, золотозубые и большеносые. Оба они имели рундучки по чистке обуви и продаже ботиночных шнурков, один у вокзала, второй у бани, где и погиб мальчик, найдя старую гранату под снегом. Рундучок возле бани младший брат унаследовал от Шумы, который обосновался на этом выгодном месте еще перед войной. В те годы Шума был человек крепкого здоровья и большой любитель радостей жизни. Любил он, например, пить пиво прямо в бане, сидя на омытой горячей водой каменной скамье с желобками для стока, среди пара и плеска, сдувая пену в мыльные потоки распаренными губами. Пиво же приносил ему в банное помещение из банного буфета банщик за скромное вознаграждение. Тело свое Шума холил и любил, оберегал без помощи докторов, но все-таки в дальнейших его действиях не все понятно, почему, как только представилась возможность, он специально ходил по адресам именно докторов, а не людей другой профессии, и бил их, этих докторов, без жалости. Кроме Леопольда Львовича, соседа своего, он убил педиатра Лапруна с семьей, убил хирурга Гольдина и оглохшего, полуслеплого от старости невропатолога Барабана, который, несмотря на старость и слепоту, используя многовековую природную хитрость своей натуры, сумел так ловко спрятаться вместе с запасом пищи и воды, что только Шуме, хорошо знавшему окружающую местность, удалось извлечь старого невропатолога из подвальных помещений трикотажной фабрики и убить его, ударив тут же, во дворе фабрики, подслеповатую седую голову о цементный

угол склада готовой продукции... Теперь же, больной страшными неземными болезнями, Шума по частям умирал в таежном больничном бараке, а родные его скорбной вереницей шли по заснеженному двору, сопровождая мать погибшего от несчастного случая пятилетнего сына Шумы. Шли друг на друга похожие мужчины и женщины, двоюродные братья, сестры, племянники, внуки. Позади всех шли Зара и Хамчик. Зара шла, опустив голову, а Хамчик, наоборот, гордо и твердо смотрел вокруг, он увидел Сашеньку, и глаза его загорелись ненавистью. Стариков в процессии этой видно не было, они, по обычаям своих предков, остались у тела мальчика, убирая его и снаряжая в дорогу. Процессия, тихо, гортанно переговариваясь между собой, обошла двор. Когда она была метрах в пяти от сарая, открылась дощатая дверь и вышел лейтенант. Лицо его вовсе лишено было крови, которую всю отсосало сердце, снабдив ею чугунные кулаки и многотонную грудь. Даже голубые глаза побледнели, казалось, плохо различая то, что находилось неподалеку, но зато видя нечто сейчас отсутствующее, но существовавшее ранее. Мать мертвого мальчика оттолкнула братьев мужа и остановилась. Между ней и лейтенантом была яма, наполненная до краев лунным желтоватым воздухом, и на дне этого лунного воздуха виднелись отпечатки влежавшегося в глину тела. Так во всеобщей неподвижности прошли секунды, потом мать подняла руки и начала рвать, щипать свое лицо, как делают восточные женщины в страшном горе. Она захватывала кожу вместе с мясом на обеих щеках под скулами, сжимая ее сверху полусогнутым указательным пальцем, а снизу сильно упираясь в кожу вытянутым большим пальцем, так что кожа собиралась в складку, которую мать мертвого мальчика постепенно сжимала, сдавливала, тянула, точно стараясь оторвать от костей. Так скользила она пальцами по всему лицу, молча, без стопа рвала, постепенно опускаясь от глаз книзу, к подбородку, скользила к ушам и снова рвала под глазами. От ногтей и щипков лицо ее покрылось кровоподтеками и синяками, а она все не могла ощутить боли, будто рвала не свое, а чужое лицо, чужое тело. Братья и сестры, внуки и племянники ее и мужа ее, сбившись в кучку, гортанно, беспокойно переговаривались между собой. Наконец те двое, которые вели ее ранее, подошли и взяли за руки, оторвали их от лица. И тогда она дико закричала и лишилась чувств. Братья подняли жену своего осужденного брата Шумы и понесли по тропинке к лачуге. Хамчик же, сын Шумы, похожий на отца лицом и фигурой, подбежал к краю ямы и гортанно закричал что-то, поднял в ненависти кулаки. Его схватил один из племянников

в телогрейке и бараньей шапке, и поскольку племянник этот был старше дяди лет на пятнадцать, то он легко поволок его с собой, а Хамчик упирался и продолжал угрожать до тех пор, пока пришедшая в сознание мать ударила его по лицу, чтоб он криками не тревожил умершего мальчика, душа которого еще три дня будет жить в теле земной жизнью, спать по ночам и просыпаться утром. Вскоре вся процессия скрылась в лачуге, и лишь Зара не ушла, осталась в отдалении, упрямо и жадно смотрела на лейтенанта, нарушая обычаи предков, предписывающие быть скромной, стыдливой и ненавидеть врагов своего отца, а также врагов отца отца и так до десятого колена, и никогда не разделять с ними ложе свое.

— Теперь правой копать надо,— тихо сказал Франя,— я наметил... Мамаша там ваша... Или, если хотите, можно сперва сестру откопать... Она ближе к забору, возле кустарника...

— На сегодня все,— сказал лейтенант, как ему показалось, тоже тихо, в действительности же чрезвычайно громко, почти переходя на крик, что было защитной мерой организма, иной раз расходуя таким образом избыток особого рода нервной энергии, именуемой в просторечье сердечной тоской.

— На сегодня все,— сказал лейтенант,— силы мои на сегодня кончились... Мать и сестру завтра откопаем...

— Подпишите наряд,— сказал конвойный, окончательно преодолевший атмосферные явления и проявив даже при этом солдатскую смекалку, а именно, приказав обоим арестантам засыпать яму, откуда было извлечено тело, и тем самым приступив к непосредственному исполнению обязанностей, оторвал себя от бессмысленного созерцания звездного неба, что, как известно, ни к чему хорошему привести не может и превращает человека из труженика и умельца в неврастеника и фантазера. Угрюмый арестант повиновался с неохотой, профессор же неожиданно проявил необычайную работоспособность, почти вырвал у Франи лопату и начал сыпать мерзлые комья так остервенело, без роздыха, что вскоре отпечаток тела в глине совершенно исчез под слоем грунта. Лейтенант подписал наряд и пошел со двора, а Сашенька молча пошла с ним рядом.

Атмосферные явления необычного порядка в виде свечения и зарниц к тому времени вовсе прекратились, небо поблекло, скрылась луна, потух снег, и тучи снова принялись наползать, неся с собой ветер и проснувшуюся метель.



Придя в гостиницу, лейтенант лег на кровать, а Сашенька села у него в изголовье. Гостиничный номер был двухместный, но вторая койка, к счастью, пустовала. В номере стояла мебель разных времен и вкусов. Рядом с защитного цвета тумбочкой, к которой прикреплена была свеча, стояли два домашних стула с гнутыми спинками и одно полукресло, обитое протершейся кожей. Стол же, большой, прочный, но корявый, сколотили, очевидно, в столярной мастерской горкомхоза из некрашенных суковатых досок. Кровать, на которой лежал лейтенант, была никелированная с шишечками, вторая же кровать — обычная солдатская койка, низкая железная, даже с налетом ржавчины. В номере чувствовались сырость и холод. Лейтенант лег, лишь стащив сапоги, не снимая шинели.

— Сними шинель и ложись под одеяло... А шинелью укроешься сверху,— сказала Сашенька.

Лейтенант покорно повиновался, как послушный ребенок, но когда Сашенька хотела отойти, чтоб убрать со стола промасленную бумагу, крошки, жестяные коробки из-под свиной тушенки и вытереть лужу вокруг жестяного чайника, очевидно, протекавшего, лейтенант схватил ее за руку, не пуская от себя. Странно, что сама Сашенька недомогания и температуры более не чувствовала, хоть провела ночь на ветру и морозе. Наоборот, сейчас Сашенька чувствовала себя необычайно сильной и умелой. Она ловко, по-хозяйски взбила подушки под головой лейтенанта, приласкав и успокоив его, убрала со стола, вытерла досуха промокшие доски, сложила аккуратной стопкой на тумбочке остатки еды, нашла тряпку и заткнула дыру в окне, так как в том месте, где окно было забито фанерой, образовалась щель и сильно дуло. Затем Сашенька взяла чайник, вышла в ледяной коридор и в самом конце его разыскала кухоньку-кубовую, полную едкого дыма. Воды, однако, не было ни в кране, ни в большом цинковом кубе. Сашенька спустилась на первый этаж, запахнув телогрейку, повязав крепче платок, вышла на улицу и набила чайник снегом, стараясь выбирать почище и побелей из сугроба, расположенного подальше от протоптанных тропинок. Набив чайник белым снегом, Сашенька распрямила спину и оглянулась. Ночь все еще продолжалась, однако уже чувствовался близкий конец ее, но не в каких-либо рассветных бликах или светлеющих облаках, потому что по-прежнему была ночная тьма, продуваемая насквозь метелью, а в том, что кое-где в окнах мель-

кали огни, появились редкие прохожие и, громыхая, прополз громадный трофейный автобус «Фиат», который возил рабочих из окрестных сел на завод «Химаппарат». В автобусе видны были сонные мотающиеся головы в кепках, ушанках, платках. Сашенька вздохнула, поежилась и вошла назад в подъезд гостиницы. Она поставила чайник в печь, которую обхаживала старуха истопница в больших валенках, ковырялась внутри кочергой, ворошила на колосниках сырые куски тлеющего торфа, дула на этот негорящий торф, закрыв глаза.

— Керосинчику бы,— сказала старуха мечтательно,— в миг занялось бы... Подуй ты, дочка, духу у меня не хватает...

Сашенька нагнулась и дунула, запорошив себе глаза пеплом, вытерла их ладонями и снова начала дуть до боли в щеках, чувствуя на лице жар. В печи рядом с чайником стоял чугунок и варилась какая-то похлебка, которую старуха непрерывно зачерпывала деревянной ложкой и пробовала. Покуда закипел Сашенькин чайник, старуха уже успела испробовать почти полчугунка и долила его водой, которую хранила от жильцов для собственных нужд в укромном месте за печкой. Сашенька взяла чайник и пошла в номер. Лейтенант, по-прежнему лежавший в изнеможенье, привстал, опершись на локоть.

— Я беспокоился о тебе,— сказал он устало...

Сашенька налила кипятку в жестяную кружку и нашла в тумбочке банку джема, несколько пачек галет и начатую банку свиной тушенки.

— Ты тоже ешь,— сказал лейтенант, зачерпывая галетой топлёный свиной жир.

Сашенька взяла обломок галеты и вытерла им стенки банки, незаметно, как бы лейтенант не увидел, воспользовавшись тем, что он разрывал новую пачку галет. Таким образом Сашенька вполне была сыта, потому что на стенках банки сохранилась довольно плотная пленка жира и даже кое-где волокна мяса и маслянистого хряща. Лучшие же куски мяса, запаянного в жир, она оставила лейтенанту, который был чрезвычайно слаб и бледен. В тумбочке было, правда, еще несколько банок, но Сашенька поняла, что они предназначены, чтоб расплатиться с Франей, Васей и Ольгой за копку могил. После еды Сашенька легла рядом с лейтенантом поверх одеяла, прижавшись щекой к его щеке, не испытывая при этом ни возбуждения, ни сладострастия, а лишь нежность и покой. Так лежали они в холодном номере, согревая друг друга дыханием.

— Тебе холодно,— тихо сказал лейтенант,— ложись под одеяло.

На мгновение Сашенька испытала страх, ей вдруг показалось, что сейчас может произойти что-то мерзкое, ибо, как ни странно, она испытывала в эти мгновения к тому, о чем мечтала ночами, лежа на диванчике, лишь отвращение.

— Не надо,— сказала Сашенька,— я так полежу...

Ей вспомнился свой первый поцелуй на темном балконе, мокрое, отвратительное прикосновение сына генерала Батюни к ее лицу, разрушивший мечты и, как ей теперь казалось, положивший начало всем дальнейшим несчастьям.

— Не бойся,— устало сказал лейтенант.— Я не трону тебя.

— А я не боюсь,— сказала Сашенька и с колотящимся испуганным сердцем откинула край одеяла, скользнула внутрь, вся замерзшая, готовясь к самому худшему и одновременно испытывая легкое томление, возникшее в суставах. Мужское сильное тело разом обдало Сашеньку жаром, пугающим и манящим, но прошло несколько секунд, лейтенант по-прежнему лежал неподвижно, лишь рука его нашла Сашенькин затылок, осторожно лаская, Сашенька торопливо отдернула голову, потому что испугалась, как бы лейтенант не нащупал шрам от операции, который Сашеньку сильно портил. Чтоб лейтенант не нащупал шрам, Сашенька взяла его руки, сложила вместе ладонь к ладони и зажала их меж колен своих, так любила она и сама лежать, сунув свои ладони меж колен, где у нее была гладкая, совсем атласная кожа.

— Я тебя в плен взяла,— сказала Сашенька, сжимая его ладони своими коленями.

Сашенька доверчиво положила голову на грудь лейтенанта и, ощутив мерные, идущие изнутри удары, не сразу поняла, что это его сердце, так как еще не совсем привыкла к тому, что с ней происходило.

— Мне немного страшно слышать чужое сердце,— сказала Сашенька,— особенно твое...

Они лежали еще немного в тишине, прижавшись друг к другу. Свеча догорала, и лейтенант, привстав на локте, потушил ее. Стало темно, хоть за окнами, да и в коридоре ясно слышны были шаги, говорящие о том, что уже утро.

— Давай поспим,— сказал лейтенант,— мы ведь не спали всю ночь...

— Ладно,— сказала Сашенька,— я сейчас закрою дверь, чтоб нас не тревожили.

Она выскользнула из-под одеяла, побежала в чулках на цыпочках по холодному полу, опрокинула стул, на ощупь принялась искать дверь, однако забрела к тумбочке и что-то сбросила, кажется, пустую банку. Наконец она набрела на

дверь, накинув крючок, бегом кинулась назад и смело, как-то привычно нырнула под одеяло, поближе к большому, горячему влажному телу.

— Прости меня, девушка,— сказал вдруг лейтенант охрипшим голосом,— прости меня...

— За что?— удивленно спросила Сашенька.— Что ты, глупенький... Мне так хорошо с тобой...

— Прости меня,— снова повторил лейтенант,— я не могу сейчас быть один... Прости, сестрица...— Он был в лихорадке и почти бредил.— Знаешь, сестрица,— сказал он,— этот профессор, кажется, прав... Близких должны хоронить чужие... Особенно если они убиты кирпичом по затылку... Я был пять раз ранен... Я полз с обожженными ногами... Я остуживал ноги в болотной воде... Иногда мне казалось, что ноги объаты огнем все время... Мне хотелось сбить огонь... Потом я заполз в амбар... Там было зерно и крысы... Я ел зерно, а крысы ели меня, когда я терял сознание... Вокруг и без меня было достаточно мяса, но им нравилось теплое мясо... Особенно им нравились мои жареные ноги... Они прогрызли унты насквозь... Даже когда я приходил в себя от крысиных зубов, мне трудно было отогнать крыс от своих ног... Я бил их палкой, на которую пытался опираться, когда шел, а они грызли конец палки... Особенно там была одна седая крыса... Совершенно седая... Я запомнил ее морду на всю жизнь... Она умела мыслить, я в этом убежден... Она не грызла палку, не скалилась, а спокойно и терпеливо ждала, пока я потеряю сознание... Ты никогда не слышала о древнегреческой трагедии, девушка?.. Так вот глаза этой крысы отвергали познаваемость бытия... Они смеялись над теоретическим оптимизмом Сократа... В голову такой крысе вполне могла прийти мысль об убийстве целого народа из сострадания... Чтоб положить конец мучениям и унижению его раз навсегда... Вокруг меня шныряло много крыс, обленившихся от изобилия пищи, с мокрыми от человеческой крови мордами, но я собрал все силы, весь свой опыт, я перехитрил ее, преодолевая боль, стараясь не стонать, потому что я уверен, она бы поняла и отбежала дальше, но я старался не стонать, осторожно подполз ближе и убил эту седую крысу палкой... Я заплатил за этот успех дорого, у меня начали от чрезмерного усилия кровоточить ноги, но я не жалею...

— Ты весь мокрый,— заботливо сказала Сашенька,— ты весь мокрый, миленький мой, сердце мое...

— У меня упадок сил,— сказал лейтенант, тяжело дыша,— полный упадок... Смогу ли я сегодня ночью выкопать

из земли мать и сестру... Они убиты одним кирпичом все вместе...

Он схватил вдруг Сашеньку цепко за запястья и приблизил ее лицо к своему, сжигаемому лихорадкой.

— Нельзя так дешево продавать свою кровь,— шепотом сказал он,— это плохая коммерция... Так невыгодно торговать своей кровью... Надо брать за каплю литр... Два литра... Ведро... Только тогда станет меньше покупателей...

— О чем ты, миленький?— спросила Сашенька, любуясь его голубыми глазами.— Не надо себя тревожить...

— Прости,— сказал лейтенант,— это, может, минута, мгновение... Я забыться хочу... Может, в этом спасение... Я другого хочу... Погрузиться в другое... Прости меня, девушка... Этот пьяный дворник-католик говорил об искуплении... Но мне страшно, а страх ожесточает сердце... Я не могу представить, как раскопаю сегодня землю и увижу в глине мать... Я мечтаю только о том, чтоб черты ее исказились до неузнаваемости... На карьерах фарфорового завода лежат десять тысяч... Их убил фашизм и тоталитаризм, а моих близких убил сосед камнем... Фашизм временная стадия империализма, а соседи вечны, как и камни.— Он на мгновение замолк, глотнул несколько раз.— Мне рассказывал дворник, он смотрел в окно, но защитить боялся... Сперва сосед убил сестру, потому что она была молода и могла убежать или сопротивляться. Потом он оглушил отца, мать лишилась чувств, и практический ум чистильщика сапог подсказал ему, что ее можно оставить напоследок... Он начал гоняться за пятилетним братишкой и не мог догнать его довольно долго, потому что тот то на четвереньках пролезал под столом, то бегал вокруг фикуса... Сосед отодвинул в сторону стол, фикус и стулья, только тогда ему удалось убить мальчика... Потом он добил отца и убил мать. Она умерла легко, потому что отец видел все, лежа лишь оглушенный, а мать умерла, не приходя в сознание... Возможно, он просто раздробил ей череп уже мертвой, я очень надеюсь на это, потому что у матери было слабое сердце... Потом сосед связал ноги всех бельевой веревкой, вытащил во двор и так затащил в помойную яму, в нечистоты... Взяв лопату, он пачкал им дерьмом лица, набивал дерьмом рты... Сейчас он работает на лесопилке в Ивдель-лагере... И знаешь, о чем я мечтаю... Я мечтаю, чтобы он выжил эти двадцать пять лет, вышел на свободу, и я мог бы ногтями распороть ему кожу на шее... Пусть старческую кожу, все равно... Чтоб кожа эта свисала ему на плечи будто воротник, и ждать, ждать, пока он медленно истечет кровью

из порванных шейных вен... И мочить в его крови пальцы... Я знаю, что с такими мечтами долго жить нельзя...

— Миленький мой,—говорила Сашенька, сильно уже обеспокоенная хриплой торопливой речью возлюбленного своего, похожей скорей на бред.— Миленький мой,—говорила Сашенька, прижимая его голову к своей груди,—я тоже одна... Отец мой погиб за родину, а мать воровка... Мне тяжело... Но мы теперь вместе...

— Да,—сказал лейтенант,—мы вместе... Надо думать о другом, иначе у меня лопнет череп... Надо чувствовать другое, жить другим... Сейчас, именно сейчас... Все решают минуты... Знаешь, мне снилось несколько раз, как я убиваю этого чистильщика сапог... После того, как я узнал подробности... Стоит мне закрыть глаза... Сегодня тоже рассветный сон... Я стоял по пояс в крови... Стены и потолок — все было цементным... Гулкое эхо... Там был жуткий момент — я убивал детей его... Я конченный человек... Говорят о всепрощении, об искуплении. А я не только во сне, я и наяву мечтаю... Я тешу свое сердце, я испытываю сладость неопишущую от мучений убийцы моей матери... Я выламываю ему пальцы, я рву ему жилы на ногах...

Лейтенант задохнулся. Он весь покрыт был мокрой испариной.

— Пойди в кубовую,—сказал он тихо,—узнай... Я искупаться хочу... Можно ли нагреть... Работает ли душ... Именно сейчас сходи... У меня тело зудит... Я хотел бы быть чистым...

Сашенька встала, надела сапожки. Лейтенант лежал, откинувшись на подушку, успокоенный, грудь его, ранее часто вздымавшаяся, теперь дышала равномерно. Сашенька вышла в коридор, залитый солнцем, но, дойдя до первого же оконного проема, увидав кусок яркого зимнего дня в самом своем расцвете, белые от снега, поблескивающие крыши, черных спокойных ворон, небесную синь, крики детворы, доносящиеся снизу, очевидно, от старой бани, где была горка для катания. Увидав и услышав все это, Сашенька испытала вдруг страшное, непонятное беспокойство, перешедшее в испуг, и она кинулась назад, рванула дверь номера. Лейтенант лежал на боку, лицом к стене, и правая рука его была согнута в локте, прижата к голове. Сашенька схватила эту руку обеими своими руками, пытаясь разогнуть, оторвать от головы, еще не понимая зачем, но рука эта была железной, неподвижной, и через сукно Сашенька чувствовала ее бугристый, напрягшийся бицепс. Тогда Сашенька зубами вцепилась лейтенанту в запястье, торопливо, остервенело, лейтенант засто-

нал и, пытаясь оторвать Сашеньку, ударил ее левой рукой наотмашь. У Сашеньки загудело в висках, радужные винтообразные пятна понеслись в глазах, но она не выпустила запястья, еще сильнее сжав челюсти, и нечто тяжелое выпало на пол.

— Все,— прохрипел лейтенант,— все... Пусти...

Лишь тогда Сашенька откинулась и села на кровати. Ей не хватало воздуха, и она сидела, широко раскрыв рот. На полу у кровати лежал большой армейский пистолет ТТ. Некоторое время было тихо.

— Какая глупость,— сказал лейтенант,— забыл запереться на крючок... Какая мелочь...

Тогда Сашенька заплакала.

— Ты дурак,— сказала она.— Ты дурак, дурак... Ты бесовестный человек, вот ты кто... Ты хотел меня обмануть...

— Я не пережил войны, девушка... Я убит... Я, студент философского факультета, стал сторонником кровной мести, после того как увидел в сарае лицо моего отца, искаженное мукой, со следами нечистот на губах...

— Мне тоже не хочется иногда жить,— сказала Сашенька,— хочется, чтоб я лежала и все меня жалели...

— Ты хорошая девушка,— сказал лейтенант и сел.— Все неправда... Несмотря ни на что, мне хочется жить... Несмотря на то, что отцу моему, еще живому, чистильщик сапог набивал рот дерьмом... Спаси меня... Надо думать о другом... Раз ты меня спасла... Я ударил тебя... Это ужасно... Все это...

— А мне не больно,— сказала Сашенька.— Ты не беспокойся, славенький мой...

— Надо о другом...— говорил лейтенант,— совсем о другом... Оно заслонит... Оно спасет...

Он вдруг обхватил Сашеньку так, словно тонул и дотянулся наконец до предмета, обещающего спасение. Он прижал ее грудь к своим губам, и Сашенька ощутила щекочущее томление во всем теле, давно не посещавшее ее, но теперь оно было живым, все ранее испытанное было ничто по сравнению с этим, в сладости этой не было ни порока, ни испуга, она чувствовала, как неопытные и неумелые руки возлюбленного обнажали тело ее, снимая одежду, но не испытала и тени стыда.

— Мне холодно, холодно,— шепотом пожаловалась Сашенька, и он торопливо натянул на обнаженную Сашенькину спину одеяло. Все было просто и справедливо, и Сашенька старалась помочь усталому возлюбленному, также охваченная нетерпением. Суставы Сашеньки млели от тоски по желанной минуте, которая никак не наступала, и жажда этой минуты была велика и недоступна тем, кто уже перешагнул ее, ибо никакими воспоминаниями и воображением нельзя

было восстановить этой апокалиптической жажды, когда она оставалась позади. Но вот она кончилась и для Сашеньки, и наступили сладкие мучения, блаженное истязание, от которого приятно таяли силы, из груди исторгались радостные стоны, и наконец пришло невиданное доселе ощущение исчезновения, смерти души, которую хотелось бы продлить вечно, бросив бесовский хмельной вызов жизни, природе, бессильному порядку, насмехаться, торжествовать над всеми святостями этого света, плевать на Бога, издеваться над атеизмом, презирать страдания, не признавать ни отца, ни матери, ни родины, ни любви и прочее, и прочее, трудно определяемые желания, ощущения в этот миг полного торжества тела над Душой, неразумного над разумом, животного над человеком, идей дьявола над идеей Бога, момент зачатия, единственный миг, двойственный, как все во вселенной, когда жизнь, лишенная помощи фантазии и разума, показывает свою подлинную цену, равную нулю, и правдой этой доставляет наслаждение непередаваемое. Но впечатление это, при всем необычайном блаженстве, зыбко и бессловесно, бросив вызов разуму и фантазии, оно само оказывается поверженным тем, что, лишившись слов и мыслей, не способно расшифровать свою суть и соблазнить этим человека и, будучи непорочным, быстро угаснув, лишь усиливает порядок и укрепляет целенаправленность и смысл жизни. Так проходящая, гонимая, полная надуманного смысла жизнь вступает в борьбу с вечным, реальным, царящим во вселенной хаосом и побеждает.

Лишь в миг зачатия врывается этот вечный хаос вселенной в плоть человеческую, и то на одно безумное мгновение.

Сашенька, бессильная и счастливая, лежала рядом с любимым, первое время, может минуту, может пять минут, может еще более, она была так слаба, что не могла поднять руки, а ноги ее, как казалось Сашеньке, далеко лежащие, ощущались лишь в ноющих коленях. Любимый ее был также слаб и тих и даже изменился лицом, морщинки у глаз и на лбу разгладились, и, потеряв твердость, оно стало тихо-восторженным, такие лица бывают у молящихся добрых глупых баб либо мужиков, грехи которых невелики, а потому молитвы их ласковы и к себе и к Богу и не требуют вериг и экстаза. Но постепенно ощущение это начало исчезать, и вместе с силами начала возвращаться к нему озабоченность, и бледно-голубые, наивные в те мгновения покоя глаза снова потемнели и приобрели осмысленный блеск. Правда, на Сашеньку он по-прежнему смотрел с нежностью, а вместе с силами в нем снова проснулись желания, он обнял Сашень-



ку и начал целовать ее так, что оба теряли дыхание и после каждого поцелуя тяжело, глубоко вдыхали и выдыхали.

— Еще,— требовала Сашенька, тело которой также окрепло, налилось и ненасытно просило ласки.

Потом они снова потянулись друг к другу, и снова были сладкие мучения, снова таяли силы, и снова наступил миг исчезновения, который бы хотелось продлить вечно, но который быстро угас, принеся слабость и покой. Они полежали еще некоторое время, и сразу оба, точно были сейчас одним организмом, ощутили волчий голод.

— Отвернись,— сказала Сашенька,— мне надо одеться и покормить тебя.

Он вдруг рассмеялся.

— Ты чего?— спросила Сашенька.

— Я вспомнил, что не знаю твоего имени,— сказал лейтенант.— Какая чушь... Условность... Бирка... Имя и фамилия даны, чтоб отличать людей чужих, ненужных друг другу... Я чувствую тебя по запаху, как волк волчицу...

— Ты говоришь глупости,— сказала Сашенька,— нам надо немедленно познакомиться... Если Зара узнает, что мы даже не были знакомы, она распустит слухи...

Лейтенанта звали Август.

— Хорошее имя,— сказала Сашенька,— а я тебя Витей звала про себя... Это раньше...

— Когда?— удивленно спросил Август.

— Это не важно,— сказала Сашенька,— я сейчас встану, умоюсь и разогрею тушенку. Тут есть истопница, я, может быть, достану у нее заварку из сушеных цветов, перемешанных с тертой морковкой... Вкуснее настоящей.

— Пусть хоть морковная,— сказал Август,— заварку ты хорошо придумала... Дай этой истопнице джему взамен...

— Это слишком будет жирно,— по-хозяйски сказала Сашенька,— за джем можно достать муки и испечь оладьи... Я знаю где... а заварку она даст за две галеты... Еще благодарна будет...

Сашенька опустила ноги и неожиданно наступила на что-то холодное, вскрикнула.

— Как я испугалась,— держась за сердце, говорила Сашенька.— Я думала —мышь...

Это был по-прежнему лежавший на полу пистолет ТТ. Лицо Августа потемнело, он схватил пистолет двумя пальцами и ткнул быстро под подушку. Сашенька села с Августом рядом, обняла, и он положил ей голову на плечо.

— Все,— сказал он наконец,— все прошло.— И поцеловал Сашеньку в шею...

Сашенька быстро и умело соорудила завтрак. За две галеты она выменяла у истопницы морковную заварку, а еще за одну галету достала у нее тяжелую чугунную сковороду. У Августа был в рюкзаке кусок зачерствевшего хлеба, Сашенька намочила хлеб в воде, вываляла в яичном порошке и зажарила вместе со свиным жиром. Получились вкусные хрустящие гренки. Сашенька положила Августу четыре гренки и кусок разогретого консервированного мяса с мраморными прожилками, себе же взяла две гренки, ломтик хряща, который она смазала топленным жиром для аромата. Август отдал свой складной нож с вилочкой Сашеньке, а сам ел большим эзэсовским кинжалом фирмы «Золинген» с затертой на рукояти свастикой.

## 10

День был по-весеннему ярким, после метелей и холодов вдруг потеплело, так что сейчас в январе повисли на карнизах домов и развалин мартовские сосульки, а в полдень даже начало капать с крыш. На главной улице развалины были во многих местах снесены и ограждены заборами, а обгорелая трехэтажная коробка бывшего универмага почти до самого третьего этажа заслонена большим щитом с производственными показателями по нефти, чугуну, стали и углю, которые будут достигнуты в 1950 году. От кинотеатра до щита с показателями и обратно прогуливалось местное общество, мелькали шинели, танковые шлемы, франтоватые кубанки. Девушки были в сапогах. Кто победней, носил платки, кто побогаче — сшитые из шинельного сукна шапочки. Пальто у многих также были сшиты из шинельного сукна. Прямо навстречу Сашеньке и Августу шла Ирина, дочь полковника, с сыном генерала Батюни. Ирина отличалась от общей массы трофейной шубкой темно-коричневого цвета. Увидав Ирину, Сашенька спохватилась, глянула на свою телогрейку.

— Август,— сказала Сашенька,— ты извини меня, я сбегаю надену шубку... У меня есть шубка и чулки фильдеперс, я не нищая... Я через пять минут.

Август не успел возразить, как она побежала. Сашенька быстро добралась к своему переулку, но у самого входа ей преградила дорогу похоронная процессия. Хоронили мальчика, сына Шумы. Четверо носатых мужчин несли маленький гробик. Сзади женщины вели под руки мать. Время от времени они отпускали ее, словно так положено было по ритуалу, и мать монотонно, однообразно начинала рвать свое лицо. Вдруг из задних рядов процессии выбежал Хамчик и ударил Сашеньку ногой. Сашенька очень спешила, ей некогда было

заводиться, она на бегу растерла ушибленное бедро. Хамчик, удовлетворенный успехом и радуясь своей безнаказанности и силе, вернулся снова в процессию. Ольга и Вася обедали. Дымилась кастрюля затирухи: вода, постное масло, соль и ржаная мука.

— Тут к тебе материн ухажер приходил,— сказала Ольга,— вот записка.

«Саша,— писал «культурник»,— у нас радость... Я ходил к генералу, к моему бывшему начальнику, он звонил куда следует... Мать твою вроде бы переведут назад из области в местное КПЗ. Она очень про тебя волнуется, а так она здорвая. Дядя Федор».

Сашенька скомкала записку, сунула ее в карман телогрейки, потом сбросила телогрейку, платок, старый свитер и снова оделась, как на Новый год, в маркизет, в фильдеперс, в шубку, в пуховый берет и даже подкрасила губы. Сашенька выбежала на улицу и что есть духу побежала назад. Август стоял по-прежнему на старом месте, у входа на бульвар, но как раз в это время мимо него проходила похоронная процессия и из процессии вдруг вышла Зара. Сашенька была в каких-нибудь десяти шагах, когда это произошло, но и не напрягая слуха Сашенька могла догадаться, о чем Зара говорит. Она рассказывала Августу, как по Сашеньке ползали вши на новогоднем вечере. Лицо у Зары сейчас было злое и горячее, похожее на брата Хамчика, но одновременно в нем было отчаяние и тоска, Зара смотрела Августу прямо в глаза, Сашенька хорошо знала, что это значит, раньше они были подругами и вместе влюблялись. Из процессии вышел великовозрастный племянник, взял Зару за руку и повел назад, видно, больно сжав, потому что Зара сморщилась, однако, повернув голову, она отчаянно, невзирая на боль, продолжала выкрикивать Августу гадости про Сашеньку. Сашенька постояла в сторонке, вспотев от злобы и горечи. Даже впервые мелькнула озлобленность и к Августу.

«Ну и пусть,— подумала Сашенька,— пусть он с Зарой... Я буду одна... И он поймет... Когда-нибудь...»

Когда Сашенька подошла к Августу, он посмотрел на нее, как будто ничего не произошло, и это насторожило Сашеньку.

— Где ты так долго?— сказал он.— Я уже соскучился.

«Притворяется»,— решила Сашенька. Однако ей тут же стало стыдно за свою минутную озлобленность, когда рядом был он, в нем было теперь все Сашенькино богатство, весь интерес к себе, только ради него стоило заботиться о собственной внешности и собственном здоровье. Они свернули

в переулках, вошли в здание с большим количеством вывесок, где помещалось, очевидно, много городских учреждений. Снизу помещались учреждения поважнее и почище, виднелись обитые войлоком двери и откуда-то, очевидно из учреждений буфетов, вкусно пахло хлебом и кофе. Учреждение же, куда имел бумагу Август, помещалось на самом верху, туда надо было добираться по лестнице, верхние пролеты которой были вовсе грязны, щербаты и заплеваны.

— Я с тобой,— шепнула Сашенька,— больше я тебя не оставляю... Мне страшно без тебя...

— Глупенькая,— сказал Август и поцеловал ее в губы, хоть в любой момент из полудюжины дверей могли показаться посетители или совслужащие.

В комнате, куда пришли Август и Сашенька, за столом сидела энергичная женщина в кителе со следами орденов и погон.

— Сегодня ночью,— сказала она, читая бумагу,— перевозим несколько братских могил из центральной части города на кладбище... Можем вас присоединить... В войну хоронили где попало, а теперь это часто мешает строительству и хозяйственным нуждам. Сплошь и рядом строительные котлованы в братские могилы упираются... Сколько у вас мест?

— Четыре,— сказал Август.— Вернее, три... Братишку уже похоронили.

— Адрес?— спросила женщина.

Август адреса не знал, и тут пригодилась Сашенька.

— Вот и хорошо,— сказала женщина,— это как раз недалеко, заедем по пути... А то с транспортом зарез, сами понимаете... Это «Химаппарат» гужевого транспорт дает... Ему расширяться надо, а котлован нового цеха прямо в братскую могилу упирается...

Выйдя из похоронного бюро, Август и Сашенька пошли куда-то вниз по улице, спускающейся под гору к реке, вернее, пошел Август, а Сашенька семенила рядом с ним, никак не принаровясь, чтоб шагать в ногу. В поведении Августа, выражении его лица появилась какая-то торопливость, пугавшая Сашеньку. Вдоль реки развалин не было видно, здесь все было здоровым, румяным, свежим: розоватый снег, идущие от проруби женщины с коромыслами, заречные сельские ребята, хохоча бегающие у противоположного берега по льду, веселые собаки...

Это была жизнь простая, ясная, не замученная раздумьями, сочная и вкусная, у которой не было ни прошлого, ни будущего, а только сегодняшний мороз, сегодняшнее солнце и розо-

вый снег на крышах мазанок. Остановившись у самого льда, Август начал жадно вглядываться, но торопливость притом в лице его не исчезла, а еще более усилилась. Природа никогда не успокаивает по-настоящему встревоженной души, и надежды на то бывают тщетны, часто ведут к самообману, ибо глубоко встревоженная душа всегда бывает зоркой, чувственной, умной, даже если человек этот особым умом в обычном состоянии не обладал, душа человеческая, разумное, чувственное начало в нем — не творение бесстрастной природы, а ее антипод, в постоянной борьбе с природой родившийся, и потому в разбуженном больном состоянии борьба эта достигает особой остроты и становится особенно неравной, в такие мгновения исчезают иллюзии и, обратившись по незнанию либо по малодушию к врагу своему, человек получает в ответ особенно беспощадные удары, и розовый снег, и солнце, и голубое небо — все, что силой фантазии, веры и предрассудков, опирающихся на душевную слепоту, превратилось бы в приятное для него и в обычном состоянии жить помогающее, теперь, в минуту особой гамлетовской душевной старости и зоркости, становится, пусть подсознательно для человека, частью всеобщего враждебного хаоса и мстит жестоко и надругается над страданиями. Не бежать от собственной души к врагу ее, а обратиться к ней, только к ней, как бы ужасно ни было то, что открывается тебе о самом себе, — вот единственный путь к борьбе и исцелению. Однако путь этот в то же время бывает опасен и страшен, как тяжелая операция, которая может спасти, но от которой можно не выжить, особенно если боль глубока и недостаточно понятна. Потому решиться на такое нелегко, и человек, даже поняв сердцем неизбежность того, что материалисты средней руки именуют самокопанием, разумеется, из самых благих намерений отсеять нездоровые индивидуумы и вырастить физически здоровое потомство, даже поняв сердцем неизбежность самокопания, человек старается оттянуть время либо тешит себя иными надеждами, которых, к счастью, немало.

— Пойдем в кино, — сказал вдруг Август, — пойдем сейчас. Где у вас кинотеатр?..

Вскоре, очень быстро, буквально минут через десять, они сидели уже в большом холодном зале с потолком, отделанным крашеной фанерой, с экраном, покрытым серыми пятнами, и неизвестно зачем стоявшим у экрана роялем. Сашенька крепко держала Августа за руку. Он нервничал, потому что сеанс все не начинался. Зал гудел от веселой переключки молодых голосов, визга девчонок и топота. Наконец потух свет, возникла надпись: «Фильм взят в качестве трофея», а потом

появились цветные иностранные надписи и началась цветная иностранная жизнь, которая поначалу Сашеньку даже увлекла. Август же сидел, опустив голову, глядя на пол под кресло.

— Ты чего? — тревожно спросила шепотом Сашенька. — Ну что с тобой, миленький, я ведь рядом?..

— Ты смотри, — сказал Август, — я слушаю... Я люблю так иногда — не смотреть, а слушать...

Вдруг исчезло изображение, оборвался звук. Тотчас, точно ожидая этого, весело затопали десятки ног, свет электрических фонариков заметался по стенам, по экрану, по потолку.

— Витек! — словно выстрелил кто-то звонко из заднего ряда над ухом.

— Э-ге-ге...

— Брось лапшой кидаться...

— Боря, не идиотничай...

— Хошь сожрать по мордovorотью...

— Веня, шапку забрали...

— Э-ге-ге...

Из боковой двери появилась низенькая женщина, уже пожилая, но с большой грудью и накрашенными губами. Она шла неторопливо, чтоб не задуть свечу, которую несла, прикрыв ладонью. Свеча освещала только лицо ее и кидала отблеск на грудь и руки, так что издали она походила на идущую по религиозным надобностям, если бы не ярко окрашенные губы.

— Звонили на электростанцию, — объявила она, останавливаясь у рояля, — свет будет через двадцать минут.

И тут же торопливо ушла.

— Я тебя вилочкой заколю, — снова звонко выстрелило сзади над ухом.

— У-лю-лю-лю...

Кто-то в темноте барабанил на рояле, кто-то бил чечетку. Грохотали сиденья откидных кресел. Еще несколько раз приходила женщина со свечой объявлять. Веселая возня в темноте продолжалась. Прошло уже не менее часа. Кто-то толкнул Августа в лопатку довольно больно, и во мгле заднего ряда над Августа плечом повисла освещенная фонариком физиономия. В физиономии этой было что-то поросячье, пухлое, розовое, все в ней было курносое, вздернутое, ползущее кверху, и нос, и углы рта, и подбородок, все дрожало мелкой дрожью, готовое взорваться, лопнуть, захохотать, обрызгав слюной, все в ней было «трын-трава», «крой, Ванька, Бога нет». Это была словно маска, возникшая в кошмаре, и несмо-

тря на веселый нрав и внешнюю невинность, она внушала страх и возбуждала ненависть.

— Передай дальше,— сдерживая веселье,— «чтоб напосля больше не было»,— сказала физиономия и снова толкнула Августа в плечо. При этом глаза ее превратились в щелочки, щеки раздуло, нос еще выше затащило ко лбу, а подбородок к носу.

Август брезгливо толкнул физиономию от себя.

— Литер наших бьет,— крикнула физиономия моментально и глухо, потому что Август не успел еще отдернуть руку и рот физиономии был прикрыт ладонью.

Тотчас же несколько маленьких и вертких начало пробираться к Августу, так что весь ряд затрещал.

— Пойдем отсюда быстрее,— сказала Сашенька и потащила Августа к выходу.

Они вышли в голубоватые сумерки, зимний день угасал быстро. Кучка маленьких вывалилась следом. Улица была пустынна, лишь несколько фигур маячило вдаль у развалин почтамта. Некий малыш хромал, но мчался довольно быстро, опираясь на металлический шомпол. Сашенька тащила Августа, крепко схватив его за руку. Они почти бежали вдоль каменного забора, которому все не было конца. Несколько маленьких бежало параллельно, пытаясь обогнать и преградить дорогу. Августа поражала та легкость и решительность, с которой они сразу ополчились и соединились против него, точно знали его давно и вели с ним многолетнюю борьбу, поражало отсутствие малейших колебаний и единодушие, которое бывает только в тайном религиозном братстве. Будь перед ним рослый громила или даже несколько, все было бы просто, но это были щуплые подростки, и Август чувствовал себя беззащитным. Первый удар шомполом пришелся вдоль правой лопатки. Потом вскрикнула Сашенька, ей попали в ногу из рогатки металлическим шаром от танкового подшипника. Кирпич пронесся у правого виска, пущенный с такой силой, что раскрошился о стену. Август обернулся, встретился взглядом с серыми веселыми глазами хромого и понял, что хромому просто и легко искалечить или даже убить его или Сашеньку, нелепо перечеркнув их судьбы, которые складывались тяжело и долго. Снова вскрикнула позади Сашенька, хромой весело улыбнулся, нечто похожее на вдохновенье, радость творчества мелькнула в его глазах, и в это же мгновенье спасительная чугунная злоба наполнила Августу грудь, он схватил хромого за ворот ватной куртки, легко оторвал от земли, ударил головой о забор и с силой бросил, рассчитав так, чтобы хромой упал не в снег, а на обледеневший твердый

склон. Быстро обернувшись, Август ударил нового какого-то маленького, вертящегося вокруг Сашеньки, и, вырвав металлический прут, ударил еще раз куда-то в мягкое... После этого он оглянулся. Вокруг стало свободнее, мелькнуло испуганное лицо Сашеньки. У забора в луже крови лежал хромой подросток. Зубы его были сжаты, он стонал и плакал, силясь подняться, лицо его было серым, с него исчезла веселая беззаботная жестокость, и оно приобрело даже какую-то задумчивость, так показалось Августу. Тяжело дыша, Август, полный стыда, горечи и раскаяния, подошел к подростку, чтобы помочь ему, и в тот момент, когда он пожалел хромого, маленькие, которые, отбежав, скрываясь неподалеку в темноте, почувствовали его жалость и поняли, что враг их ослаб. Несколько кирпичей понеслось оттуда, и один попал в голову, сшиб ушанку. Когда Август пришел в себя, Сашенька держала его, прислонив к забору, прикасаясь платком к Августу теплому, мокрому и липкому уху, а маленькие уже были далеко, они шли тесной кучкой, неся на руках хромого, потом свернули в переулок и скрылись среди развалин.

В номере гостиницы Сашенька промыла ссадину на голове Августа чуть повыше уха и перевязала ее бинтом из индивидуального пакета, который отыскался в чемодане, перевязала довольно неумело, но все ж повязка держалась. У Сашеньки сильно болели нога и плечо, по которому ударили шомполом, однако она не стала о себе заботиться и беспокоиться, как бывало ранее, а пошла разогреть чайник.

— Ты все время хлопочешь, как квочка,— сморщившись, сказал Август,— от твоей суеты у меня мелькают в глазах какие-то полосы...

Но Сашенька не обиделась на него, она знала, как ему больно сейчас и тяжело на сердце.

— Отдохни,— сказала Сашенька и села в изголовье у Августа, который лег на кровать, сняв сапоги,— отдохни, мой мальчик... Если б тебя дали мне, когда тебе было три годика...

Она обняла его, и он притих, прикрыв глаза, положив щеку на ее ладонь.

— Ай лю-лю-лю-лю-лю,— пела Сашенька, покачивая любимого своего.

Бабка, папина мать, была у Сашеньки старого казацкого рода. В сундучке ее лежала чеканная серебром люлька ее отца, Сашенькиного прадеда, перешедшая по наследству Бог знает от какого там кошевого или казацкого сотника. Лежало также монисто из серебряных старинных монет, которое нравилось Сашеньке, и ножны ятагана. Клинок же мать сдала



в начале войны в милицию как холодное оружие. Бабку Оксану Сашенька любила. Эта набожная старушка говорила только по-украински, она рассказывала Сашеньке про чертей, домовых да ведьм. Однажды она рассказала Сашеньке, что Сашенькина мать отца Сашенькиного нечестно «причаровала» к себе травой, чистотелом и рассветной землей. Сашеньке тогда было двенадцать лет, и они жили далеко отсюда в Павлограде, где мать также работала в столовой воинской части.

— Как так причаровала? — не поняла Сашенька.

И бабушка объяснила, что мать ее пошла к ворожее, та дала ей зелье, потом Сашенькина мать вышла босиком в поле и собрала рассветной земли, мокрой от первой росы, и все это она подсыпала отцу в суп, после чего он совсем пропал. Сашенька слушала бабушку и верила ей, потому что любила ее и жалела своего отца. Умерла бабушка три года назад. Вместе с Сашенькой заболела она сыпным тифом, Сашенька выжила, а бабушка умерла.

— Ай лю-лю-лю-лю-лю,— пела Сашенька бабкину песню, потчюя любимого своего,— чужим дитяам дулю, а мою хлопчику калачи, чтобы спав вин у ночи...

За окном было совсем уже темно, приближалась опять ночь, и по тому, как дрожали от ветра стекла, как то начинало сыпать в окна мелким ледяным снегом, то вдруг наступала лунная тишина, чувствовалось, что и эта ночь будет странной, полной труднообъяснимых атмосферных явлений и беспокойной.

— Пора,— сказал Август и встал. Ушанка криво сидела на голове, давила повязку, и Сашенька додумалась подложить между подкладкой ушанки и повязкой вату, которая давление амортизировала.

Они вышли на улицу. Ночь была без луны и звезд, которые прочно скрыли напоздние тучи, и без надежды, что в ближайшее время они покажутся, беспокойство и перемены, еще недавно происходившие, казалось, навеки сменились немой глухотой. Весь окружающий мир словно застыл, вдохнув и онемев в ожидании и предчувствии чего-то, не имея сил выдохнуть, ощущая тяжесть в груди. Так думала Сашенька, когда шла она во тьме. Но это длилось все же недолго и было обманчиво, уже очень скоро тучи исчезли и засветила луна, даже зеленоватые зарницы, как вчера, мелькнули где-то на краю, высветив трубу завода «Химаппарат». Однако и зарницы быстро погасли и ослепительно яркая, праздничная луна, заставшая врасплох укрытый тьмой мир, всполошившая его, взбудоражившая, осветившая каждую неопрятную щель, за-

ставившая снег беспокойно блистать, однако и яркая луна недолго удержалась, снова закрыли ее тучи, правда, не такие уж плотные, и все пришло в равновесие, ни тьма, ни свет воцарились вокруг, эдакое малокровное марево с бледными тенями от скупо освещенных предметов, тощими звездочками, разбросанными друг от друга по небу на большие расстояния, и едва заметным среди туч зеленоватым огрызком, похожим на заплесневелый ломтик сыра, единственное, что осталось от богатой сочной луны, еще минуту назад царившей.

Весь двор: двухэтажный дом, где жила Сашенька, и несколько одноэтажных каменных домов, и обгорелые развалины, где ранее жила убитая ныне семья зубного врача, и дальняя покосившаяся лачуга, в которой жила семья убийцы Шумы, и выгребная яма, и стоящий на небольшой возвышенности среди папахивающих сугробов клозет, вокруг которого, в прогнившую от нечистот землю, была закопана семья зубного врача, все это освещено было сейчас как бы вполне, как бывают иногда освещены подвалы.

— Я тут постою,— сказал Август,— перехвачу на улице арестантов, иначе их не выгатишь из теплой кухни... Сегодня надо быстрее кончать, чтоб к трем часам, когда прибудет транспорт, гробы уже были готовы...

Он говорил спокойно, сухо и по-деловому, но это обстоятельство и насторожило Сашеньку более всего.

— Ты как себя чувствуешь?— спросила она.

Она видела, что Август себя чувствует плохо, но спросила, чтоб завязать разговор и в разговоре этом успокоить и его и себя.

— Пойди переоденься,— вместо ответа сказал Август.— И если арестанты уже пришли и на кухне, передай сержанту, я прошу побыстрее приступить к работе, чтоб успеть к трем часам... Эти наемные работают медленно, за вчера я им оплачу, а более они меня не удовлетворяют.

Сашенька поднялась по лестнице и вошла в дом. В жарко натопленной кухне сидели за столом конвойный, арестант-профессор и угрюмый арестант. Перед ними стояли миски пахучей гречневой каши, залитой молоком, впрочем, порошковым, из американских посылок, так как на столе была цветная коробка порошкового молока, опорожненная наполовину. Раскрасневшаяся жена профессора пекла оладьи. Сашенька посмотрела на нее с неприязнью, сглотнула слюну и сказала:

— Пора приступить к работе...

— Да,— сказала жена профессора,— Вася уже готов...

— Иду, иду,— сказал Вася, выглянув на кухню.

Больная грудь его была плотно завязана платком, а на голову натянута теплая шапка Сашенькиного отца из дорогого мелкого каракуля, которую Ольга разыскала в дальнем конце шкафа и извлекла из нафталина.

— Нет,— жестко сказала Сашенька,— сегодня ты не нужен.— И вдруг шагнула к Васе, мгновение назад она еще не знала, что шагнет, а тут вдруг шагнула и сорвала с него отцовскую шапку так, что завязанные под подбородком тесемки лопнули. Васины глаза удивленно округлились, и он заморгал кротко и испуганно. Тотчас же на шум выскочила Ольга, тоже испуганная, и заслонила собой Васю.

— Чего она тут распоряжается,— закричала у Сашеньки за спиной жена профессора,— тоже хозяйка... Не обращайтесь внимания, я договорилась с лейтенантом...

— Да,— сказал Август, он вошел следом за Сашенькой и стоял на пороге,— давайте, сержант, выводите людей.

— Оно и к лучшему,— сказала Ольга,— я и сама думала... Вася грудью слаб... А тушенку я завтра у полковника заработаю... Кухню белить надо.

Однако жена профессора не хотела сдаваться.

— Я хочу поговорить с вами наедине,— сказала она быстрым шепотом и подошла к Августу,— поймите, вы ведь интеллигентный человек... Ночь ветреная, морозная... Он после сырой камеры... Если надо, я все оплачу сама... Мы должны сберечь его... Это будущее нашей литературы... Нашей критики...

— В общем, пора копать могилы,— сказал профессор и, отодвинув миску с гречневой кашей, встал.

Конвойный тоже поднялся, глядя на профессора с презрением и насмешкой, а угрюмый арестант смотрел на профессора со злобой, торопливо заглатывая кашу, давась и обжигаясь.

— Это вы все наделали,— видя, что планы ее рушатся, закричала в отчаянии жена профессора и, сжав кулачки, подбежала к Сашеньке.— Ты... ты ненавидишь меня... Я знаю... Я чувствую... Но ты, ты... Ты ППЖ... Полевая передвижная жена... У него таких десятки... В каждом городе, в каждой деревне... Они развратились за войну... Научились убивать... И ты надеешься... Дрянь...— Она засмеялась.

С ней сделалась истерика, она как бы разом сорвалась, как бывает с людьми, долго крепящимися, переживающими невзгоды, сжав зубы, и срывающимися иногда на пустяке... Она выкрикивала сквозь смех и слезы еще много обидных для Сашеньки слов, но Сашенька не стала ей отвечать, она видела,

что Август устал, слаб, едва держится на ногах и крики эти мучают его.

Профессор взял жену свою за плечи, а Вася за ноги, ее понесли и положили на Сашенькин диванчик. Ольга брызнула ей в лицо водой, профессорша еще раз взвизгнула и затихла.

— Заключение на прежнее место отвести, товарищ лейтенант? — спросил конвойный. Губы его дрожали, кривились, и видно было, он хотел бы расхохотаться, но сдерживал себя, соблюдая устав, блюдя дисциплину.

— Да, ведите во двор, — сказал Август. Он подошел к Сашеньке и сказал тихо: — Может, какие-либо вещи есть старые, платье или что-нибудь... Матери и сестре...

— Хорошо, — едва слышно сказала Сашенька и пошла переодеваться.

Она надела свитер, рейтузы, суконную юбку и телогрейку. Потом она порылась в шкафу и выбрала для мертвой сестры Августа свой новенький сарафанчик, белый в красных цветочках с перламутровыми пуговичками и разлетайкой. Для мертвой матери же она выбрала платье, правда, уже не новое, устаревшего фасона с замком-«молнией», но довольно еще прочное и приличное. Все это Сашенька сложила в чемодан, закутала поплотней шею шарфом и вышла во двор, по-прежнему тускло освещенный луной сквозь жидкие облака.

## 11

Когда Сашенька подошла, угрюмый арестант и профессор уже очистили намеченный участок от снега и теперь долбили его ломом поочередно. Лом у профессора вырывался, оставляя на мерзлоте едва заметные царапины, и за него долбили то Август, то Франя, который, разметив участки и будучи сильно пьян, работал неумело. У Августа же на лице вновь появилась эта пугающая Сашеньку торопливость. Он стоял у края ямы и нетерпеливо ждал, когда покажутся останки матери.

— Пойдите погуляйте, — сказал ему профессор, тяжело дыша от физически тяжелой работы, — мы сами извлечем ее, и вы увидите мать в гробу, а не среди грязи и замерзших нечистот... Это будет честнее с вашей стороны по отношению к своей матери...

— Разговорчики, — крикнул конвойный.

— Пожалуй, это так, — сказал Август и пошел в сторону.

Сашенька взяла его за руку, они вышли на середину мостовой и ушли довольно далеко через улицы, через бульвар,

мимо заборов, мимо спящей больницы, прямо к заснеженным огородам, среди которых разбросаны были редкие ма-занки. Какая ночь была кругом них, какая мука, онемевшая, не способная даже стоном облегчить себя, была во всей природе. Тусклый свет, льющийся сквозь облака на снег, не способен был ни разгореться ярче, ни потухнуть, ничто не шевелилось, ничто не вздыхало во сне, не шелестело, не лаяло, никаких звуков ни вблизи, ни вдали, ни ясных, ни таинственных, которыми так полны живые ночи. Казалось, вспыхни сейчас пожар, застучи град, послышьясь человеческие голоса, полные ужаса, зовущие на помощь, все это только рассеяло б страх, помогло б ощутить себя человеком, которому ничто, кроме смерти, грозить не может.

Сашенька твердо держала Августа за руку, и он шел за ней послушно. Воспользовавшись этим, она свернула с тропки, вьющейся среди огородов, и пошла к больничному забору, минуя траншею, в которой прошлую ночь ей померещилась убитая кирпичом красавица, Августа сестра.

Трудно сказать, сколько прошло времени, пока Сашенька и Август вернулись во двор, но у дома стояла телега, и возница нетерпеливо поругивался, а сестра и мать все еще не были извлечены из земли. На ломовой телеге было восемь гробов, в два этажа друг на друге. Это были раненые и медсестры, погибшие во время налета в сорок четвертом году на вокзале и закопанные в заводском сквере, который ныне понадобился под котлован литейного цеха «Химаппарата».

— Ну вот,—сказал конвойный,— вот, товарищ лейтенант... А он уже уезжать хотел, возница-то...

Далее все было суетливо и не оставляло после себя твердых воспоминаний. Обе ямы уже были раскопаны, и необходимо было только извлечь покойных. Мать ссохлась, походила на мумию, и ее не извлекли, а вырубили из мерзлого грунта, густо облепившего все тело и лицо. Было опасно счищать грунт лопатами, так как тело было непрочное и могло рассыпаться, особенно в суставах. Это напоминало вылепленную из земли скульптуру, лишь седые волосы, росшие на маленькой земляной головке, были мягкие и вызывали человеческое сочувствие. Пробуждал также чувство обрывок бельевой веревки на бугристой, из песка и глины, ноге. Тело подняли осторожно и положили в гроб, отклеив волосы от стены ямы, обрезав веревку, и, разумеется, не стали обряжать в платье, принесенное Сашенькой, а просто укрыли этим платьем с замком-«молнией», точно одеялом, и заколотили крышку гроба. Сестра же удивительно сохранилась, что объяснить можно, хотя бы примерно, внутренним строением молодого

организма, а также строением грунта и расположением места захоронения. Хоть обе ямы располагались неподалеку, но сестра закопана была в чистую глину, возле забора, где не было нечистот и других продуктов гниения, а также благодаря кустам и тени оледеневший снег сохранялся особенно долго весной, будучи припорошен сверху грязью, он продолжительное время не таял, а растаяв, весь просачивался в глину и создавал вокруг тела благоприятные условия, охлаждая его. Поэтому тело шестнадцатилетней девушки оставалось цветущим и привлекательным, впрочем, отчасти, может, благодаря рассеянному лунному свету. Сестру подняли, положив на шинель, которую Август снял с себя, отнесли в сарай и там обрядили в Сашенькин сарафанчик с разлетающей и перламутровыми пуговичками.

На лице ее, в сочных пухлых губах и около набухшей девичьей груди все было мягким лишь на вид, так как ткань отвердела и окостенела, особенно на губах и груди видны были мазки нечистот, кала, которые Шума, надругаясь, кидал и лил на трупы, уже после того, как они лежали в выгребной яме.

Жена профессора, давно оправившаяся от истерики и крутившаяся здесь заботливо вокруг своего мужа, вытерла эти мазки нечистот на девичьем теле снегом. Потом оба гроба отнесли к ломовой телеге.

— Профессор, — сказал Август, — вы останетесь здесь до моего приезда с кладбища... Сержант, вы ждите здесь...

Далее Сашенька запомнила разрытый сквер, солдат с саперными лопатками, длинный обоз, груженный гробами, кладбище, внизу, у края кладбища замерзшая река и все то же тусклое, убогое небо: ни тьма, ни свет.

— Что мне делать? — спрашивал Август значительно позднее, стоя на перекрестке улиц Янушпольской и Парижской Коммуны и имея над головой своей ярко вспыхнувшую на короткое время луну. — Ужасное убийство и издевательство, но и в смерти и страданиях нет равенства... Те, кто стоял на самой нижней ступени, не имели права даже на рабство... Они не имели права и на издевательство, Шума с кирпичом скорее нарушал идеальный порядок вещей, ибо издевательство есть какое-то взаимоотношение, обещающее будущее... В идеальном случае, который, может быть, понимали несколько начитанных чиновников, знакомых с древнегреческими парадоксами и считавшихся вольнодумцами в гестапо, в идеальном случае еврейский народ должен был тихо и безболезненно умереть в четко отведенных для этого местах, выполнив тем самым свой интернациональный долг перед чело-

вечеством во имя всеобщего счастья... Несколько по-своему это понял один владелец небольшого завода по производству смазочных масел под Хажином... Он добился у оккупационных властей права часть обреченных на смерть еврейских детей переправлять ему... Он помещал их в пансион, в хорошие условия... Детям выдавали молоко, маргарин, мармелад... Потом всем делали прививки, и они умирали во сне, на чистых постельках легкой смертью... Из сытых детских тел изготавливались особые высококачественные сорта смазочных масел... На заводском дворе после освобождения обнаружили несколько ям, наполненных одними лишь детскими головками... Владелец считал, что делает хорошее и одновременно полезное дело, так как в противном случае дети не уснули бы спокойно навек, а умерли б в мучениях и страхе... Это проблема идеального служения человечеству целого народа, от которого не требуется ни изнуряющего труда, ни лишений, а только легкой смерти... Такова точка зрения культурного антисемитизма, считавшего, что гитлеровские зверства усложняют проблему... Мне пришлось читать подобную работу, напечатанную на ротаторе...

— Миленький мой,—говорила Сашенька, лоя руки Августа, носящиеся в воздухе среди хлопьев посыпавшего из туч снега,—миленький мой, тебе надо отдохнуть... У тебя воспалены глаза...

— Отстань от меня,—крикнул Август,—отстань, уйди...

Но Сашенька не ушла, она знала, что он несправедлив потому, что ему плохо...

Потом они сидели в жарко натопленной кухне.

— Профессор,—говорил Август,—дело не в убийствах, как они ни страшны... Это старый грех, при наличии которого человечество научилось продолжать свой род... Когда я увидел своего искалеченного отца и после этого... Я мечтал рвать чужое мясо убийцы... Жилы его... Ночью мне приснилось, что я убиваю его детей... Это было ужасно... Я проснулся в холодном поту, я понял, что не могу жить более... Но здесь было отчаянное сопротивление плоти моей, змеиной мудрости, делающей все маленьким, делающей смешной любую скорбь и ненависть... Я говорю много, профессор, и беспорядочно, но вы знаете, конечно, почему... Зверь в моем состоянии просто воет...

— В Библии есть место,—сказал профессор,—помните ли вы... Доколе, Господи, терпеть ты будешь наши жертвы и не поразишь мучителей... Тут не дословно, но смысл таков... И Господь отвечает: подождите, пока число жертв еще прибавится и станет таково, что наступит тот заранее уста-

новленный предел, после которого все жертвы и мучения будут отомщены.

— Вы хотите сказать,— крикнул Август, подавшись вперед, навалившись грудью на стол,— вы хотите сказать, что это было неизбежно и, может, даже необходимо... Вот она, мерзкая змеиная мудрость, которая вползает в висок... Стоит лишь забыться... Вы мерзкий человек, с вашей копеечной философией. Вам надо набить морду... Но вы говорите, я все выдержу... Я понять должен, иначе погибну...

— Я хочу сказать,— терпеливо разъяснял профессор, не обратив внимания на грубый выкрик в свой адрес,— я хочу сказать, что предел уже приближается... Возмездие, месть доступны всем, искупление же только правым, на чьей стороне истина... Приближается библейская черта... До черты искупление совершалось веками, правоту обиженных можно было порой увидеть лишь через столетие, теперь же, за чертой, пройденной ценой жизни миллионов невинных, возмездие и искупление сольются воедино...

— Этого мало,— сказал Август,— это непонятно... Не этого я от вас ждал... Еще один момент... Те, кто гибли во рвах и горели в крематориях, были далеки от совершенства... Но рано судить жертвы, пока не наказаны палачи... Однако придет время — и жертвы тоже ответят за преступления, совершенные против них...

— Приближается время,— сказал профессор громко, уже скорей себе, чем собеседнику,— идет время, когда человек завоеует у судьбы право владеть справедливостью, то есть устанавливать ее в масштабах своей жизни, так же как он завоевал у богов право владеть огнем... В этом, пусть подспудный, неосознанный ими прометеев подвиг миллионов жертв, отдавших себя на растерзание, как Прометей отдал терзать свою печень коршуну... Приближается тот библейский предел, за чертой которого либо всеобщая жизнь, либо всеобщая смерть. Вечная же память душам, взявшим на себя страдания, плевки и раннюю смерть, чтоб исчерпать отпущенную человечеству судьбой долю мучений, и приблизившим черту... Я хочу сказать, позволивших приблизиться к библейскому пределу так, что он уже виден, виден во мраке, в ночи... Виден свет... Там будет новое... Может быть, новые мучения... Космические, межпланетные, черт знает какие... Но эти маленькие, кухонные, достойные даже не ненависти и плача, а презрения и смеха, эти останутся за чертой... Наши самые страшные трагедии, по существу, комичны... Шестнадцатилетнюю девушку убивают кирпичом по голове, измазывают дерьмом и закапывают у клозета... Ведь это водевиль... А тюрьмы...



Вы никогда не видали, как спят в тюрьмах на цементном полу... Имея астму, каверны в легких и склонность к тромбофлебиту... Нет, коллега, уж увольте, скорей за библейскую черту... Может, к новым мучениям, еще более страшным, но не столь смешным...

— Всякое убийство ужасно,— говорил Август,— но неотвратимое, запланированное убийство — это уже новое качество... Кровь ребенка, которого нашли и убили... Обязательно должны были убить, и всякий другой исход тут исключался... Такая кровь смывает с народа любые пятна... И делает любой гнев врагов его, пусть даже подкрепленный так называемыми справедливыми идеями, преступным... Было б еще хоть в какой-то степени если не справедливо, то понятно, если бы неотвратимому убийству подлежал всякий, кто объявит себя евреем, как объявляли себя протестантами, например...

— Нашему поколению особенно тяжело,— сказал профессор,— не потому, что тьма стала намного гуще, а потому, что мы увидели свет, настолько приблизились к черте, к концу туннеля, и свет этот пробудил в нас нетерпение... Пока человек был полуживотным, он жил на подлинной земле, под подлинным небом... Но, став мыслящим существом, он вошел в длинный темный туннель, в котором даже небо не настоящее, а выдуманно астрономами... Может, до конца туннеля еще два-три поколения, но свет уже виден... Потому нам особенно тяжело... Впрочем, нет, одно-два поколения до конца, не более... А что впереди — трудно сказать... Может, вырвавшись на открытое пространство, очутившись не под надуманным, а подлинным небом, и назад, в укрытие, в туннель, к нашим маленьким распрям, к возможности умереть от руки себе подобного, вот в этом когда-нибудь мы будем усматривать счастье.

— После того, что со мной произошло,— сказал Август,— после всего... После этих ям... После моей вылепленной из глины и песка матери... Я не должен был бы говорить с вами. Я борюсь за свою жизнь и потому причиняю себе страдание.

Но между тем все молчали, ибо вся разношерстная публика поняла вдруг, что этим двум сейчас не надо мешать... Впрочем, каждый молчал по-своему. Жена профессора молчала, хоть была обеспокоена недовольством имеющего власть над мужем собеседника нелепыми высказываниями мужа. Однако она чувствовала, что собеседник нуждается в муже, а значит, еще некоторое время муж будет сидеть на теплой кухне, а не в сырой камере. Сашенька молчала, потому как

любила Августа и сердцем чуяла, что в данное время все идет лучшим образом, и не отвечала на глупые слова арестанта, разговор этот помогает лейтенанту окрепнуть после увиденного и пережитого. Конвойный — соблюдая дисциплину и, помимо того, сочувствуя лейтенанту: у него, у конвойного, самого сожгли в войну хату с семьей, и, увидав пепелище, он не пошел назад к станции, чтобы провести там на лавке в одиночестве ночь, а пошел и просидел ночь в шумной компании. Угрюмый же арестант молчал, потому что глотал прямо со сковороды горячие оладьи, заправляясь на два дня вперед, надеясь, что туго набитые в желудок полусырые оладьи не скоро будут переварены, разбавляемые завтра, послезавтра и дня через три тюремным варевом, они создадут продолжительную сытость и приятную отрыжку печеным тестом. Ольги же и Васи вовсе не было на кухне, они лежали в комнате на свежих полотняных простынях, которые Сашенькина мать берегла Сашеньке в приданое, и даже сквозь плотно притворенную дверь слышны были их ласки.

— Я читал исследования по определению таинственной цифры, — говорил профессор, — библейского числа жертв, после которого наступит справедливость... Работа графоманская, поверхностная, но проблема носитя в воздухе... Возможно, это будет названо по-другому... Тут имеется доля фатализма, которая и мне претит... Но обратите внимание, чем более свободным становится человек, чем более развивается наука, чем большее число людей начинает уважать себя, свою собственную личность, свое достоинство, тем более возрастает число их жертв... Эти два потока идут навстречу друг другу, чтоб остановиться на заветной черте... Столкнувшись, эти два потока образуют третий, который отклонится от русла нынешней истории и, по некоторым расчетам, будет двигаться перпендикулярно ей, по иным же — под еще не установленным углом.

— Я убедился, — сказал Август, — палач и жертва едины только в смерти. В жизни же существует четкое разграничение... С момента рождения... Целые семьи, целые нации, народы, государства... Вот в чем главная мерзость... Дышащая, поглощающая пищу, размножающаяся жертва, готовая в любой момент умереть и доживающая до глубокой старости... Жертва-праотец, жертва-производитель, она порождает особей, которые твердо знают, как остры и беспощадны клинки у палача, но не знают совершенно, какой у палача хрупкий, легко ломающийся хребет... Как приятно его перебить... Как легко он распадается на отдельные позвонки... И какими не плотоядными, блестящими, а осмысленными и даже умны-

ми, полными философского раздумья, становятся у палача глаза в те короткие мгновения... Так пусть же теперь умирают палачи, профессор, ибо каждый удар по позвоночнику на короткие предсмертные мгновения превращает их в ясные, добрые души... Ваша библейская цифра станет возрастать чрезвычайно и приблизится к заветной черте.

— Если вы после армии поступите в Свердловский университет,— сказал профессор,— я дам вам записку к одному человеку... Весьма уважаемому... Он вам поможет... Хотите, я сейчас напишу записку... Только частным образом... Передадите частным образом.

— Не надо,— тихо сказал Август,— я готовлю себя к другой карьере...

— Жаль,— вздохнул профессор и вдруг пристально посмотрел Августу прямо в глаза,— у таких, как вы... и, может, как я, наряду с легкими должны быть жабры... Когда становится трудно добывать кислород из воздуха, можно было бы добывать его из воды... Образ нелепый, поэтический, а не научный... Я ведь перевожу немного... Даже плохой поэт хоть раз да попадет в точку, в отличие от плохого ученого... Есть интересные слова одного забытого сочинителя... В общем-то забытого законно... Половое влечение родственно жестокости... Все рожденное от женщины должно умереть... Пусть они полемичны, неопытны с точки зрения нашей средневропейской морали, но в них есть красота древнегреческого мироощущения, способного любоваться пластикой трагедии, например, пластикой кровосмешения, так что забываешь о сути и этим побеждаешь страдания...

Профессор говорил бы еще долго, но в это время застучали в кухонное окно, выходящее на лестничную площадку, и чье-то лицо прильнуло к стеклу.

— Это культурник,— недовольно сказала Сашенька,— дядя Федор... Чего ему надо...

Она встала и открыла дверь.

— Записку получила?— тяжело дыша, спросил дядя Федор, видно, он торопился и прыгал по лестнице через ступеньку, несмотря на хромоту.— Мать же утренним поездом привозят... Давай одевайся...

— Я не могу,— сказала Сашенька,— я приду к ней завтра... Или, в общем, когда разрешат свидание... В четверг приду...

— Мать сильно огорчится,— почти просил дядя Федор,— сердце у нее пошаливает... Ее беречь надо...

— А у меня болен муж,— твердо и при всех сказала Сашенька,— я не могу его оставить одного...

Она подошла и обняла Августа, прижалась щекой к его колочей, обросшей щетиной щеке.

Дядя Федор некоторое время смотрел растерянно, потом улыбнулся, шагнул и протянул Августу пятерню.

— Очень приятно,— сказал он, широко улыбаясь,— примите поздравления... И Катерина, Сашина мать, будет рада... Оно конечно, неожиданность... Но в наше-то время... Теперь не советуются, и оно к лучшему... Сердце у Саши не то чтобы грубое, а скорей принципиальное... Отец ее был партийный комиссар, она в него в смысле интересов государства, даже если нарушения исходят от родной крови... Я ее не осуждаю... И Катерине сказал: так оно к лучшему... Ты ошибку совершила в том смысле, что народное добро присвоила, искупить надо... Она поняла... А мы тоже за государственные интересы и за народное добро кровь на фронте лили... Так что ты не сомневайся, Саша, что мать на тебя в обиде,— повернулся он уже к Сашеньке,— она тебя любит сильно и мужа твоего любить будет... А от меня тоже личное поздравление... — Тут он спутался окончательно и притих.

— Это что за поезд? — спросил вдруг Август, отстраняясь от Сашеньки и поднявшись.— Львовский?

— Он,— сказал дядя Федор.

— Тогда мне спешить надо,— заторопился Август,— обратиться и с людьми рассчитаться... Вещи в гостинице...

Далее все произошло быстро, лихорадочно, нелепо. Сашенька тоже заторопилась, скорей механически, не думая ни о чем, кроме как о том, чтоб помочь любимому, который так спешил, что не попадал в рукав шинели. Она помнит, как вместе с ним бежала к гостинице, а была ли при этом ночь или уже рассветало, полнолуние ли бушевало на полную силу или робкое небесное тело терялось в метели, и какие прочие явления тревожили небо, на это Сашенька не обращала внимания, но, очутившись на перроне, она, словно разом ударившись обо что-то грудью, остановилась и огляделась. Грудь ее действительно болела, как при сильном ушибе, и вокруг нее, и в небе, и на железнодорожных путях, была тревога, горели низко, освещая шпалы, огни, пахло углем, а тучи, звезды и месяц, не полный, круглый, однако довольно увесистый,— все это вместе непрерывно создавало разные причудливые картины, меняясь местами, то исчезая, то появляясь, и в каждой картине был смысл и порядок, Сашенька догадывалась о том, но вследствие кратковременности каждой небесной картины порядок этот охватить нельзя было, и потому все казалось случайным хаосом. Это-то несовершенство зрения и создавало тревогу, усиливающуюся в Сашенькином сердце.

— Почему ты не смотришь на меня,— спросил Август,— ты обижена? Ты презираешь меня?

— Я не хочу, чтоб ты уезжал один,— сказала Сашенька,— я хочу с тобой...

— Я напишу тебе,— сказал Август,— ты приедешь ко мне, как только решится вопрос о моей демобилизации... Я поступлю в университет, и ты тоже будешь учиться...

Вокзал помещался в одном из уцелевших станционных корпусов, где ранее располагался железнодорожный техникум. Оттуда сейчас тянулись пассажиры с узлами и чемоданами, стремясь заранее занять удобную позицию на перроне, готовясь к тяжелой посадке, так как стоянка поезда была кратковременной. Прежнее здание вокзала, разбитое бомбами во время налета в сорок четвертом году, сейчас оцеплено было колючей проволокой и освещено с вышек прожекторами. Там работали пленные румыны и заключенные. Заключенные уже возились в развалинах, а румын, видно, недавно привели, и у них еще была переключка.

Дядя Федор бегал вдоль перрона, буксуя раненой ногой по скользкому снегу, пытаясь разузнать, где именно, в голове или хвосте поезда, прицеплен тюремный вагон, а в руках у него был мешочек с гостинцами, которые он надеялся передать Сашенькиной матери. Несколько раз он подбегал к Сашеньке и Августу, чтоб сообщить им новые, уточненные сведения по поводу тюремного вагона, но каждый раз, увидав их странные, необъяснимые лица, робел и отходил в сторону.

Налетел ветер, принялся рвать станционные деревья, трепать лесопосадки за путями вдаль, развеял, закрутил по небу карусель из туч, звезд и луны, разбросал небесные картины. Происходящий от сгущения воздуха в одних слоях атмосферы и разжижения в других и возникший таким образом внезапно перепад атмосферного давления вспугнул пассажиров раньше времени, так что они еще минут за десять до прихода поезда принялись бегать взад и вперед с узлами и чемоданами, опасно ударяя встречных, особенно если ребром фанерного, окованного жестью чемодана-сундучка. Дядя Федор же начал бегать еще раньше, при относительном покое природы, потому что его ослабленная ранением аорта чувствовала приближение метельной грозы на самых дальних подступах. Впрочем, чувствовали это и некоторые другие, но основная масса заволновалась лишь под непосредственным воздействием метели. А на Сашеньку и Августа метель произвела странное впечатление. Сашенька подошла к Августу вплотную и смотрела на него снизу, зрачки ее поднялись вверх и внутрь, ближе к переносице, как при приближении сна, или

обморока, или смерти, и в глазах ее было благоговение, соединенное со страхом. Она видела только голову любимого и беспокойные небеса над ней, а он смотрел на нее сверху, точно с этих беспокойных небес.

— Поезд,— закричал дядя Федор.— Мать-то... машет тебе, Сашенька... Ты гляди... Привезли... Здесь она... — Он захлебывался от радости...

— Любовь моя,— сказала Сашенька Августу, не оглядываясь назад, хоть дядя Федор теребил ее, пытаясь обратить внимание на мать, зовущую ее через головы конвойных и рвущуюся к ней.— Любовь моя, навсегда ты...

Дядя Федор, скользя больной ногой, спотыкаясь, подбежал, чтоб глянуть на Сашенькину мать и попытаться передать гостинец, так как арестантов уже сажали в крытый брезентом автофургон, но мать, ухитрившаяся протиснуться в последний ряд и тем самым выгадав минуту-другую, тут же погнала дядю Федора назад к Сашеньке, чтоб дочь подбежала к оцеплению конвойных, показала, как выглядит, и сказала в двух словах, как живет, а если это не удастся, то хоть пусть оглянется.

— Мать просила,— задыхаясь от бега и морщась от боли в раненой ноге, крикнул дядя Федор,— мать зовет.. Или хоть оглянись... Скучает она по тебе...

Однако Сашенька вряд ли слышала его, а может, и не видела даже, ибо, как сказал физиолог Чарльз Белл: «Когда чувство поглощает нас целиком, для нас уже не существует внешних впечатлений, мы обращаем глаза вверх, совершая при этом движение, которому не учились и которое не приобретали».

— Всегда только ты,— радостно сказала Сашенька.

— Да,— сказал Август, и лицо его опустилось с небес к Сашеньке на грудь.

Возле вагонов рвали и били друг друга пассажиры, которых короткая стоянка поезда превратила временно в злейших врагов, стараясь протиснуть свои узлы и тела в первую очередь, они лезли, забыв о человеколюбии, так как паровоз уже дал гудок к отправлению, а до следующего поезда были сутки на полу или на вокзальных лавках.

— Я напишу,— крикнул Август уже со ступеньки последнего вагона, уходящего в пространство, освещенное низкими железнодорожными огнями.

Дядя Федор продолжал бегать от Сашеньки, стоящей в дальнем конце платформы, к почтовым пакгаузам, возле которых садились в автофуры арестанты, он очень хотел поглядеть на Катерину, подбодрить ее, передать гостинец,

если удастся, и себя порадовать ею, постояв недалеко и перекинувшись словом-другим, потому сильно он без нее тосковал, но едва Федор появлялся у оцепления, как Катерина тут же безжалостно гнала его назад к дочери, ничего не желая слушать и требуя, чтобы он привел дочь с собою.

— Мать же просит,— кричал Федор, весь в испарине, дыша со свистом и начав ощущать также боли в почках, рана там была давняя, еще с сорок первого, хорошо заштопанная в стационарном госпитале, и беспокоила редко, только когда уж очень сильно уставал и волновался.

— Мать ведь волнуется, ну,— кричал Федор,— проводила ведь ты своего... Чего еще... Мать-то увезут... Может, только на ночь тут оставят... Я слышал, в соседний район... Не в область, а в район переводить будут... Ну, посмотри хоть... Ведь мать же она тебе...

Но Сашенька смотрела не назад, где, стоя в урчащем автофургоне, рвалась к ней мать, а на заснеженные пути, где среди низких железнодорожных фонарей потерялся Сашенькин любимый...

Прошло уже минут пять, поезд, очевидно, успел пересечь мост, за мостом начинался долгий подъем, составы всегда шли там медленно, тяжело, огибая город по широкой дуге, и если любимый стоял у окна, то в свете луны вполне можно было видеть его лицо всякому, кто шел теперь по Загребельной улице, подступающей к самой железнодорожной насыпи, с Загребельной же горы возле церквушки вполне можно было видеть его совсем долго, а если в солнечный день, то и того более, пока еще паровоз обогнет гору и утянет весь состав в туннель возле Райковского леса.

Жизнь на перроне между тем затихала, те, кто не успелвтиснуться в вагоны, ушли назад, волоча потяжелевшие узлы и чемоданы, по-прежнему толкаясь и торопясь, чтоб захватить вокзальные лавки, а не лежать сутки на полу.

— Увезли мать-то,— сказал тихо Федор, лицо у него было усталым и болезненным,— гостинец я ей так и не передал, несподручно было... А ей надо бы, по ней видать, ох, как надо питание... Сала здесь кило и сушеные сливы, с ними запросто кипяток пить можно, вместо конфет или сахару... А со своим вы как, договорились? К нему ты, что ли, поедешь?

— Мы еще не решили,— задумчиво улыбаясь, сказала Сашенька, потому что ей было приятно говорить о любимом,— он мне напишет... Если его демобилизуют, то мы переедем в какой-нибудь большой город, может быть, в Москву, потому что Августу надо продолжить учебу... Он хочет, чтоб я тоже занималась, но я пока пойду работать, ведь и одеться

нужно, и питание, и жилье мне, может, дадут на фабрике... Вот только надо освоить хорошую квалификацию... Выучиться бы на портниху, на фабрике отработать, потом втихаря дома... Заработать можно, народ сейчас пообносился.

Сашенька объясняла все это обстоятельно, по-хозяйски, и от слов этих ей становилось хорошо и спокойно.

— Мать поможет,— сказал Федор.— Да и я помогу... Не чужой ведь... Я на «Химаппарат» устраиваюсь... Матери много не дадут— вдова фронтовика, я с генералом толковал... К осени домой вернется... Так что, если, конечно, у вас ребенок родится, тогда потруднее будет... Но ты не робей, живы останемся, не помрем...

Он обнял Сашеньку за плечи, и они пошли от станции по утрамбованной скользкой дороге. И пока шли так вдвоем через весь замерзший город, успели в душе простить друг другу все дурное, как давнее, так и недавнее, и даже подружиться.

Что происходит с людьми, почему они относятся друг к другу так, а не этак, понять все-таки трудно, как бы все это хорошо ни было изучено, примитивно легко объяснимо и твердо усвоено. Всегда имеется маленькое «но» в приязни или неприязни и вообще во всем том бесконечно неясном мире, который именуется человеческими отношениями, в мире, полном быстротекущих химер, цепных реакций, в мире, где в таинственном порядке взаимодействуют органы живые: кровь, лимфа, нервные волокна, семенная жидкость, желчь — с явлениями земного магнетизма, излучениями солнца и лунными фазами. Океан человеческий самый удивительный, бездонный и непознаваемый. Именно о том, по утверждению некоторых, писал Иов в книге своей, призывая не обольщаться простотой, видимой глазом невооруженным, и призывая никогда не переставать испытывать удивление перед тайнами бытия. А главных тайн бытия три. Самая большая тайна вселенной — это жизнь. Самая большая тайна жизни — это человек. Самая большая тайна человека — это творчество. И сказана по этому поводу самая большая, самая доступная человеческой душе мудрость: «Взгляни на меня и удивись и положи руку свою на рот свой» (Книга Иова XXI).

## 12

В конце сентября Сашенька родила девочку. Сашенькина мать к тому времени давно уже вернулась из заключения, ее присудили к шести месяцам, но сократили срок по беременности. Она родила летом, на три месяца раньше Сашеньки, и то-



же девочку. А Ольга родила в марте, и ее дочь уже садилась, ползала и умела больно щипаться. Сашенька с Оксанкой жила в маленькой комнатке, а мать с Федором и Сашенькиной сестрой Верочкой — в столовой, Вася и Ольга же опять на кухне, но теперь они отгородили себе довольно большой участок, и не ширмой, а кирпичной перегородкой, наняв рабочих, так что вместо просторной кухни образовалась комнатка и узкий проход, в котором едва умещалась плита. Наденька, Ольгина дочь, была не по возрасту крупная, проситься она еще не умела, и потому от нее всегда пахло кислым, зато она чрезвычайно рано поняла, что живет и крепнет тот, кто ест, и кто бы ни садился за стол и что бы ни ели: постную ли затируху из ржаной муки, суп ли из кормового бурака, картошку ли в мундире, сдобренную желтоватым, недоброкачественным жиром, вызывающим изжогу, что б ни ели, Наденька с одинаковым восторгом протягивала ручонки к валившему из кастрюли пару, и нельзя было даже сказать, что она попрошайничает, просто она радовалась виду и запаху еды, как иные дети радуются погремушке. Однажды Вася, работавший теперь в столярной мастерской и неплохо зарабатывавший, дал Наденьке лизнуть кусочек сала. Наденька пришла в такой восторг, что Ольга оборачивала кусочек сала чистой, вдвое сложенной тряпочкой, привязывала на ниточку, чтоб Наденька не сглотнула, и давала ей сосать словно пустышку, пока Катерина не увидела и не отругала Ольгу за это.

Ольга с Васей сидели в своей переделанной из кухни комнатке, большие, добрые, любящие друг друга без слов и объяснений, а одними лишь ласками, и Наденька с кроткими Васиными глазами, пуская из ротика пузыри, ползала у Ольги на коленях, стучаясь о выпуклый Ольгин живот, потому что Ольга опять была беременна.

Сашенькиной сестре Верочке шел четвертый месяц, однако и она уже в чем-то повторяла людей, давших ей жизнь. Она любила смеяться, и при этом на щеках ее появлялись крохотные ямочки, как у Катерины, Сашенькиной и Верочкиной матери, когда же делала что-либо плохое, например, сбрасывала со стола чашку или однажды пипикнула отцу своему, Федору, прямо в лицо чистой детской струйкой, не желтой, а беловатой, похожей на теплую водичку, не насыщенной еще терпкими мочевыми солями, когда пипикнула отцу, то при этом так искренне нахмурила бровки и сморщила лобик, что чувствовалось ее полное раскаяние и не глупая, а совестливая доброта. Федор засмеялся, вытер мокрые губы и сказал:

— Что там она ест... У ней и отходы еще чистые как слезы.

Сашенька назвала свою дочь в честь покойной бабки Оксаной. Первое время она никого к ней не допускала, сама пеленала, сама купала. Даже матери своей она не разрешала брать Оксану, а когда та все-таки брала, потому что Сашенька не всегда удачно пеленала ребенка и он плакал, дергал головкой, когда мать все-таки брала, Сашенька испытывала ужасное беспокойство, вертелась вокруг, словно кошка, у которой взяли котенка. Глаза у Оксанки были крошечные, как и пальчики, как ручки, как курносый Сашенькин носик, а зрачки огромные, голубые, заполнявшие все глазное яблоко, совсем взрослые, отцовские, беспокойные, нервные и в то же время любопытные, не смотрящие, а рассматривающие. Сашенька полюбила теперь ночи, когда могла оставаться с Оксанкой вдвоем и их уединению никто не угрожал. Если девочка просыпалась и беспокойно дергала головкой, собираясь заплакать, Сашенька осторожно потряхивала над ней старинным монистом бабки Оксаны из серебряных турецких и польских монет, и внучка убитого кирпичом по затылку зубного врача Леопольда Львовича глядела своими большими, не по-младенчески сильными зрачками на прабабкино монисто, казацкий трофей, точно угадывая в нем для себя какой-то скрытый смысл и противоречие и утомленная непосильным еще вниманием.

— Ой лю-лю-лю-лю,— пела Сашенька,— чужим детям дулю, а Оксаночке калачи, чтоб она спала у ночи... Вот папка напишет,— тихо говорила Сашенька,— поедем в Москву... Он будет учиться в университете... А ты вырастешь... Будешь носить маркизетовые блузочки, будешь ходить в фильдеперсовых чулочках... А мама твоя станет старенькой...

Слезы текли у Сашеньки по щекам, но на душе у нее была приятная сладкая тоска, чем-то напоминающая прошлую, девичью, однако эта тоска была более покойная и смиренная, без дерзости, ненависти и бунта. Особенно если случались теплые осенние ночи с паровозными гудками, с шелестом короткого дождя, далекими зеленоватыми вспышками неизвестного происхождения и огромным, не сентябрьским, скорее августовским небом, таким живым, таким бриллиантовым, таким бесконечно разнообразным, что просто не верилось, что все это безразлично и слепо к себе и к окружающей жизни.

Однажды Федор сходил в военкомат, куда он еще ранее по собственной инициативе написал запрос, и, вернувшись, долго крепился, отвечал невпопад, а потом не выдержал и ночью, лежа в постели на полотняных простынях, когда-то предназначенных Сашеньке в приданое, однако теперь уже засти-

ранных и вошедших в бытовую обиход с легкой руки Ольги, лежа на этих простынях и обнимая Сашенькину мать, он на ухо сообщил ей, что в военкомате о лейтенанте сказали как-то неопределенно, намеками.

— Кто его знает, — сказал, вздыхая, Федор, — эти ж летчики и в мирное время гробятся словно мухи...

К счастью, Сашенька разговора этого не слышала, ибо велся он на самых низких тонах, она, правда, слышала, как начала за стеной всхлипывать мать, но мать после заключения всхлипывала довольно часто, стала слезливой необычайно и часто не по серьезному делу, когда слезы приятно травят душу, а так, по пустякам, и Сашенька на то внимания не обратила. Она покачивала Оксанку, время от времени поднимая голову, глядела в ночное окно и думала о своем...

Как-то знойным осенним днем Сашенька гуляла с Оксанкой на бульваре. Была засушливая голодная осень сорок шестого, наступившая после горячего, неурожайного лета. Температура была такова, какой не помнили и старожилы в это время года, очевидно связанная с теми атмосферными явлениями, которые весь год трепали природу. Голод усилился необычайно, особенно в удаленных от центра местностях и, в ряде случаев, даже превысил голод военного времени, силы же, порождаемые надеждами на близкий разгром врага и счастливую мирную жизнь, ныне иссякали, сопротивляемость организмов понизилась и смертность возросла чрезвычайно. Умирили инвалиды войны, организмы которых на фронте были расстреляны по частям, умирали хронические больные, кровоточащие язвы которых, туберкулезные и прочие процессы были временно подавлены сильными эмоциями, однако теперь, после пяти лет передышки, болезни эти обострялись и брали реванш, умирали дети, живые организмы их лишены были необходимых витаминов, а кости, лишенные фосфора, хрупки, как у стариков, умирали вдовы, надорвавшие силы неженским трудом и женской тоской, ну, и, как во все времена, умирали старики, их жалели менее других, разве что самые близкие люди, ибо в их смерти было хоть какое-то приличие и естественность.

Мышцы, поднимающие плечи, анатомы иногда называют «мышцами терпения». У многих людей мышцы эти бывают развиты чрезвычайно, однако, в отличие от мифологических атлантов, держащих на плечах небо, у людей мышцы эти требуют питания свежей насыщенной кровью, полной переработанных витаминов, белков, жиров и углеводов, добываемых из пищи, нервные волокна этих мышц также обладают запасом прочности значительным, но не беспредельным. И насту-

пает момент, при котором «мышцы терпения» отказывают, плечи опадают, позвоночник сгибается, сердце начинает работать с перебоями. Такого человека узнать бывает трудно, и потому, когда на бульваре Сашеньку догнали трое — двое мужчин и женщина, и один из мужчин Сашеньку окликнул, Сашенька посмотрела на него удивленно. А между тем это был профессор Павел Данилович, бывший арестант, освобожденный благодаря ходатайству одной московской знаменитости, благодаря служебной честности дежурного, ныне покойного, убитого весной бандитами в Райковском лесу, а также благодаря душевности полковника, начальника местных органов, которому покойный дежурный представил ходатайство. Вследствие этих трех факторов и был теперь на свободе Павел Данилович. Однако, судя по внешнему виду, Павел Данилович и жена его пребывали в последней стадии нищеты, распродав все вещи и ценности во время заключения. Павел Данилович был неухожен, вшив, небрит и почему-то на костылях, правая нога его являла собой распухшую колоду, запаянную в серый, несвежий гипс. Жена его вытянулась как-то в длину и уж не посмела бы сейчас кокетничать с покойным дежурным, ибо каждая женщина знает себе цену, а цена ее ныне была самая низкая в мышиноного цвета пыльном суконном платье, отнимавшем последние силы на такой жаре, и с грудью, которая не торчала, как прежде, твердо и остро, а провисала, словно пустые продуктовые мешочки. Жалкий вид этот дополнялся тощей авоськой, из которой, однако, торчал пучок зеленого лука, стебли его увяли и согнулись, головки не были по-весеннему тоненькими, упругими, а по-осеннему разбухли и стали рыхлыми.

Вот как быстро оказывают влияние внешние события, питание и внутренняя интимная жизнь на женскую наружность. Сопровождал обнищавших супругов юноша с тощей шеей и воспаленными глазами. Впалая, измученная болезнями с раннего детства грудь юноши могла вызвать к себе отвращение, даже ненависть, а возможно и вызывала это у ряда физически здоровых землепашцев с круглой грудью, раздутой воздухом полей и лесов, да мышцами, приобретенными сельскохозяйственным трудом и естественным отбором. Поэтому, наверное, чувствовалось, что жена профессора, несмотря на свой нынешний вид, по инстинкту плохо относится к юноше и терпит его лишь как очередную прихоть мужа, ибо происходила она из потомственных землепашцев, где все мужчины были двухметрового роста и ударом кулака проламывали доску. И имя у юноши было какое-то странное, полуженское — Люсик.

— Люсик,—явно обрадованный встречей, закричал Павел Данилович,—помнишь, я говорил тебе о студенте... Мы познакомились с ним при странных трагических обстоятельствах... Весьма интересное лицо... Да... Весьма интересные высказывания у него о проблеме библейского числа... О тайне библейского предела... Это его жена... Я вас искал,— обернулся он к Сашеньке,—зайти в дом было неудобно, но я надеялся на встречу...

— Тише,—сердито сказала Сашенька,—вы разбудите ребенка...

— Прошу извинения,—смутившись, почти шепотом сказал Павел Данилович.—Это его сын?

— Это дочь,—совсем уже сердито сказала Сашенька, отодвигаясь и прикрывая собой Оксанку, точно боясь, что подобные грязные, неприятные люди сделают дочери что-либо дурное.

— Я хотел бы с вами поговорить,—сказал профессор.

— Мне некогда,—нетерпеливо ответила Сашенька,—мне скоро надо кормить ребенка... И вообще, зачем эти разговоры...

— Это касается вашего мужа,—сказал профессор.

— Вы что-либо знаете,—вскрикнула уже Сашенька, и сердце ее тяжело забилося.

— Не здесь,—сказал профессор.—Мы живем недалеко... Пойдемте, это ненадолго...

Жил профессор действительно недалеко. Комната была довольно просторной, солнечной, однако почти пустой и чрезвычайно запущенной. Стоял очень неплохой красного дерева стол с разными ногами, висело настенное яйцеобразное зеркало и стояли две железные койки, неряшливо застланные. А на полу штабеля книг. Единственно в чем чувствовался порядок—это в книгах, штабеля располагались аккуратно и в шахматном порядке, и под них была подстелена клеенка, явно содранная со стола.

— Хотите чаю?—спросил профессор.—Люсик, согрей чай...

Люсик, который сторонился Сашеньки и явно боялся ее, а когда случайно встречался взглядом, то краснел, Люсик взял чайник и вышел.

— Ваш муж оставил мне свой блокнот,—сказал профессор,—свои записки... Вернее, они хранились до недавнего времени у моей жены... Но, вернувшись, я ознакомился... Любопытно... Весьма любопытно... Но многое непонятно... Нет ли у вас чего-либо еще?... Возможно, это прольет свет...

— Нет,—растерянно сказала Сашенька,—я ничего не

знаю. Он мне не говорил... Мы не успели... И про этот блокнот я впервые..

— Любопытный блокнот, милый блокнот,— поглаживая коленкоровый переплет и радуясь, словно ребенок игрушке, говорил профессор Павел Данилович,— у Люсика совершенно независимо... В его работе... Кое-что подобное... Вернее — дополняет друг друга... Это и то...

— Люсик твой сумасшедший,— сердито крикнула жена,— он кибернетик... А в каждом справочнике написано, каждому ребенку известно, что кибернетика — это буржуазная лженаука...

— Ну кто тебе сказал, что он кибернетик? — миролюбиво сказал профессор, не давая себя спровоцировать на ссору.— Он, кошечка, не кибернетик, а с совершенно реальных позиций диалектического материализма пытается использовать векторную алгебру как инструмент анализа исторических закономерностей... Математический анализ количества и направления событий в истории.

— Это все Люсик,— чуть не плача крикнула жена, обращаясь к Сашеньке и неожиданно ища у нее поддержки,— он кибернетик, я это точно чувствую... Меня не обманешь... И этому седому человеку не стыдно возиться с ним... С этим сумасшедшим... А может быть, хитрым пройдохой... Не стыдно... Известный ученый, надежда нашей литературоведческой науки, переводчик Лорки, Байрона... Я пожертвовала ему всем... Я была обеспечена, у меня был муж ответработник... Он любил меня, он готов был на все ради меня... Но я поверила ему.

Она протянула руку в сторону Павла Даниловича, который сидел, сморщившись, точно съел что-нибудь кислое, так как боялся, что скандал и слезы жены надолго и это мешает ему сосредоточиться, а между тем что-то новое, рвущееся давно наружу, но до сих пор неуловимое, шевелилось теперь в его мозгу.

— Я поверила ему,— заливаясь слезами, кричала жена,— я считала своим долгом спасти его для России, для науки, для будущего... А он связался с чуждым нам кибернетиком, которому попросту физически не понять ни духа нашего народа, ни его стремлений...

Она замолкла, потому что Люсик принес кипящий чайник.

— Хорошо бы вина,— сказал профессор,— такие дни, как сегодня, надо отмечать вином... Сегодня ведь не просто день,— Павел Данилович обернулся к Сашеньке,— оборвалась длинная цепь размышлений и расчетов... Получен результат... Разумеется, еще черновой результат... Да, резуль-

тат как пропасть... В этом издержки всякого открытия, всякого достижения... Далее пути нет... Подождите,— говорит Господь в Библии жертвам,— пока число ваше станет таково, что терпимость моя к палачам иссякнет... Да, я не помню сейчас точно библейской редакции... Это число будет достигнуто в 1979 году... Именно об этом числе и об этой дате говорится в Библии... Дате, с которой начнется новая история...

— Я не могу с вами согласиться,— сказал Люсик, ставя чайник на металлическую подставку,— хоть работали мы вместе. Вывод этот чересчур поспешен, а результат случаен... Правда, он строен и заманчив своей определенностью, но я не сомневаюсь, что вы допустили элементарные математические просчеты... Такое бывает даже с великими математиками...

— Это Юркевич,— крикнул Павел Данилович сердито.— Я уверен, что ты опять общался с этим выжившим из ума старикашкой...

— Зигмунд Антонович научил меня любить математику,— сказал Люсик.

— Но он антисемит,— крикнул Павел Данилович,— как ты можешь общаться с этой личностью... Позор, позор...

— Эх, Павел Данилыч,— сказал Люсик и сел, задумчиво опершись подбородком на руку,— существуют местности возле железных рудников, где даже домохозяйки болеют силикозом... Туберкулезная палочка Коха проникает в организм независимо от человека, и в определенных местностях процесс этот живет во всяком... Иногда незаметно для него самого... Надо оздоровить не человека, а местность... Я думал над этим много... И в здоровой местности будут рождаться здоровые дети, которым не будет угрожать опасность заразиться... Потому чеху, французу, англичанину, бельгийцу, датчанину, например, я руки не подам, если замечу в нем хоть малейшие признаки антисемитизма... Другая местность, другой климат, другой с него спрос... А с поляком, например, я вполне могу дружить при наличии в нем этих «палочек Коха» и даже относиться к нему с любовью, если, конечно, он не преступает определенной грани...

— Тяжелый ты человек, Люсик,— сказал Павел Данилович,— ужасный человек, но жаль, что ты не был знаком со студентом... Жаль, на этом свете вы уже с ним, пожалуй, не встретитесь...

— Он жив,— задохнувшись, крикнула Сашенька, так что Оксанка проснулась и заплакала,— вы врете, врете... Вы сами сумасшедший...

— Да,— растерянно сказал профессор,— я, собственно,

вообразил себе... Вы не волнуйтесь... У меня воображение, сны... Мне приснилось, например, что я умру в сорок восьмом году... Седьмого марта... Даже дата... И причем в тюремном лазарете... Собственно, сон этот достаточно оптимистичен... Два с половиной года жизни впереди...

— Вас не надо было выпускать из тюрьмы,— крикнула Сашенька, по лицу ее текли слезы, и Оксанка тоже не могла успокоиться.

Профессор и жена его шептались, а Люсик стоял у зеркала, лицом к стене, и уши его и шея были красны от смущения и растерянности.

— Я уйду,— сказала Сашенька, сердце Сашеньки болело и ныло от причиненного в этом доме страдания, растревожившего душу, ибо она и без того ночи напролет думала о своем любимом, тосковала по нему, мечтала о его неумелых поцелуях и хотела показать ему дочь. И сейчас после слов профессора она впервые за время разлуки вдруг подумала, что любимый ее мог умереть, и вспомнила, как он лежал в ту страшную ночь, согнув свою железную руку и прижав ее к виску. Всего этого Сашенька простить не могла этим людям.

— Я уйду,— сказала со злобой Сашенька.— Вы все тут враги народа... Вы антисоветские слова тут говорили... Думаете, я дуручка, не понимаю... Мой отец погиб за родину... А вы тут... Сволочи ... Вот у вас ползают вши... Вши у вас ползают по подушке.— Она сказала это с особым удовольствием, потому что видела, как покраснела жена профессора...

Вдоль подушки, пересекая ее по диагонали, действительно ползла серая платяная вошь, и Сашеньке стало легче, хоть сердце болело по-прежнему, она толкнула ногой дверь, выскочила на лестничную площадку и немного задержалась, чтоб послушать, как жена профессора кричала.

— Это твой Люсик,— кричала профессорша,— я скажу ему в глаза... Он грязный, от него запах... У нас никогда не было паразитов... Он чешется за столом... Пусть не ходит к нам... Или я, или он...

Профессорша истерически зарыдала, а Сашенька сошла по лестнице и вышла на улицу. Сашенька не успела дойти к концу переулка, как ее нагнала профессорша. Профессорша была в мужском пиджаке, наброшенном поверх халата, и в домашних, отороченных мехом туфлях, очень красивых, единственной вещи, которая сохранила свой respectable вид, напоминая о прежней обеспеченной жизни.

— Учтите, все его высказывания, записи, бумажки, я их уничтожу... Он заблуждается, но он не враг народа... Он пута-



ник... А у меня трое братьев погибли в эту войну и отец в гражданскую... Вот так... А если вы поставите в известность органы в извращенном свете... То и ваш будет привлечен... Там имеются его записи... Думаете, я буду молчать... Вот так...

Она повернулась и рысью потрусилась к себе, а Сашенька пошла дальше. На душе у Сашеньки было грустно и беспокойно, но Оксанка начала как-то странно шевелить бровками, морщить носик, а затем чихнула и совсем по-взрослому вздохнула, так что Сашенька рассмеялась и прижала сладко пахнущее личико дочери к своему лицу.

В доме у них был веселый ералаш, купали девочек. Поскольку жили теперь здесь три семьи и это создавало тесноту на клочке, оставшемся от кухни, Катерина, Сашенькина мать, предложила купать детей всех вместе, в один день, чтоб не загромождать беспрерывно плиту. Еще по дороге Сашенька заметила, что в угловом трехэтажном доме окна яркие, электрические. Значит, электричество горело и у них, поскольку была одна с этим домом линия. И действительно, электричество горело, а керосиновые лампы и коптилки стояли погашенные и ненужные, смешные. Всякий раз, когда один-два дня в неделю давали электрический свет, настроение у Сашеньки поднималось, хоть, казалось бы, такая мелочь, но тем не менее все делалось иным и верилось, что скоро станет совсем хорошо жить, придет письмо от Августа, который не мог ранее писать по военным соображениям, а что будет дальше, Сашенька никогда не позволяла себе думать, потому что дальше могло стать уж так хорошо, что от радости начало б болеть сердце, полились бы слезы и туго сжало бы виски. Потому Сашенька думала всегда только до письма, а далее просто радовалась и была ласковая со всеми, старалась угодить то матери, то Ольге, то Федору и даже Васе, который по-прежнему хворал грудью, но положение его вроде бы улучшалось и днем кашлял он реже, так какпил отвар, рекомендованный певчей.

Сейчас в освещенной электричеством квартире царил покой, веселье и мир. Наденька и Верочка, уже выкупанные, закутанные в мохнатые полотенца, сидели рядом на диване розовые, теплые, вкусно пахнущие, чрезвычайно ныне похожие друг на друга, более, чем на родителей своих.

— Раздевай скорей Оксанку,— сказала мать.— Электричество дали вдруг, мы по такому поводу решили день купанья на сегодня перенести...

Выкупанная, распаренная Оксанка тоже порозовела и стала чем-то похожа на Наденьку и Верочку, словно на сестер своих.

Устроили общий ужин. Федор открыл хранившуюся еще с зимнего изобилия банку свиной тушенки, мать напекла ржаных блинов, а Ольга поставила на стол железную миску с твердыми варениками, черствыми пампушками и маковыми коржами разных форм и сортов. Хоть Вася и неплохо зарабатывал, но надо было и одеться, и обуться, и Наденьку покормить, а Ольга не могла теперь ходить поденно белить и мыть полы из-за беременности, потому она каждое воскресенье ходила на церковную паперть, и ей подавали неплохо, поскольку брала она с собой Наденьку и была с животом, готовясь снова рожать. Все это смягчало сердца, особенно женщин-крестьянок, и потому из подаваний Ольга могла себе позволить даже некоторый запас, часть которого сейчас выставила на общий стол. Когда все уже уселись за стол, Федор вдруг беспокойно поерзал, пошептался с Катериной, вскочил, ушел, но очень быстро вернулся с бутылкой мутной самогонки, очевидно, ходил он недалеко, во Франину комнатуху под лестницей. Все выпили, даже Сашенька пригубила слегка, и стало совсем весело, хотелось целоваться и плакать. Мать действительно обняла ее, поцеловала и сказала вдруг:

— Прости меня, Сашенька, прости, доченька, что так тебе на этом свете неласково бывает...

Легкий шум сделался за столом, но все три девочки, распаренные и успокоенные купаньем, спали рядышком на диване, не слыша того шума, набираясь сил для будущей утомительной жизни.

— Ладно,— сказал Федор,— плакать в такую минуту последнее дело... Я вот историю рассказать хочу... Во время бомбежки однажды ночью я простоял за каким-то укрытием, а когда рассвело, то убедился, что укрывался от осколков за оплетенной диким виноградом деревянной решеткой... Но я не знал этого ночью и был спокоен и, может, спасся благодаря тому, что не бегал по открытой местности искать укрытия...

Он на какое-то мгновение сморщил лоб, может, желая сделать из этой невпопад рассказанной истории какие-то выводы, однако ничего добавить не смог, а только рассмеялся. Вася же и Ольга прикорнули плечо к плечу, добрые, ширококостые, похожие на брата и сестру, и не упускали возможности ласкать друг друга даже за общим столом.

Между тем вечер был превосходный, перепада давления, красных облаков, в которых садится тяжелое солнце, и прочих неприятных признаков не наблюдалось, в природе все было мягко, лирично, на полутонах, ни усиливающегося в верхних слоях атмосферы магнетизма, влияющего на кровенос-

ные сосуды, ни разных сильных звуков, от которых может произойти замирание нездорового сердца. Но тем не менее полчаса назад профессор Павел Данилович внезапно умер. И нельзя сказать, что он как-то особенно был встревожен ссорой и разговорами, наоборот, после того, как ушла Сашенька, ссора быстро иссякла, и все сели пить чай с сухариками по коммерческой цене. За часм же у Павла Даниловича была привычка, правда, дурная и вредная для здоровья, брать книгу и читать, прихлебывая. На сей раз это был Спиноза, мыслитель, в котором материализм разбавлен примесью «теологической крови». Книга эта была сильно зачитана, истрепана, и на полях ее Павел Данилович писал своим прыгающим, труднодоступным почерком.

«Познание есть форма борьбы за биологическую устойчивость человеческого вида,— писал Павел Данилович,— форма, заменяющая собой миллионы лет эволюционного отбора. В эволюционном отборе, необходимом для существования вида, участвует масса, то есть устойчива масса и мимолетен индивид. Познание есть закрепление устойчивости индивида, отсюда не зависящая от нее биологическая ненависть обезличенной массы к индивиду, поскольку функции массы понижаются. Причем особую ненависть вызывает не познание внешнее, научное, видимое глазу, от которого можно защищаться неграмотностью либо безразличием, а познание простых нравственных истин, познание внутреннее, неподвижное, вернее, малоподвижное, невидимое глазу, в котором изменения измеряются не годами, веками, тысячелетиями, а цивилизациями, и от которого нет защиты. Мы отрицаем,— пишет Спиноза,— что Бог мог не делать того, что Он делает: то есть речь у Спинозы идет о предопределении, Бог так же не волен в своих действиях и подчинен строгим закономерностям... Это крайне важное определение заключается в совершенстве Бога. Все вещи, произведенные им, так совершенны, что совершеннее они не могут быть им произведены. Все необходимо и предопределено, иначе он был бы изменчив, что было бы большим несовершенством... Никому не известны все причины вещей, чтоб судить о них, есть ли в природе действительно беспорядок».

Далее на полях прыгающим почерком Павла Даниловича: «Вопрос вопросов — случаен ли мир, случайна ли жизнь, случайны ли события, или все закономерно, а следовательно, предопределено. Мне думается, что закономерное всегда объемлет случайное, образуя как бы систему. Внутри системы действуют свои несовершенные случайные законы, но вся система в целом совершенна и движение ее предопределено, то

есть высшие законы подчиняют всю систему в целом, но не подчиняют ее отдельные части. И такова схема для всего способного к движению. Внутри системы движение случайно, снаружи все в целом строго закономерно и движется в предопределенном направлении. Однако предопределенное направление это в свою очередь случайно, с точки зрения другой, более крупной системы, включающей в себя множество подобных систем, движущихся в разных, случайных направлениях, а вся эта объемлющая система в целом движется закономерно и предопределенно и не может изменить своего движения, которое так же случайно с точки зрения еще более крупной системы. И так до бесконечности. Этому же закону подчинены и судьбы человеческие, и события, с ними связанные, как самые масштабные, так и самые повседневные. Движения предопределены для каждого, но случайны с точки зрения более крупной системы. Однако мыслящая живая система отличается тем, что она способна расширять сферу случайного, силой воображения отодвигать тесные тюремные рамки совершенства и закономерности, наслаждаться неизвестностью, прихотью, желанием, забывать о предопределении, ощущать счастье, тоску, ненависть, честь, стыд, величие, как бы смешны они ни были с точки зрения более крупной системы... Отсюда определение Спинозы: «Честь и стыд не только бесполезны, но и губительны, они основаны на самолюбии и заблуждении, что человек является причиной всех вещей и потому заслуживает похвал или порицания» — верно лишь с точки зрения более высшей системы для всего цикла развития человечества в целом, но неверно для внутренних этапов этого цикла. Всемирный хаос — это смешение случайного с закономерным, и вопрос: что именно венчает, что конечно в несметной цепи систем, именуемых вселенной, и это, по-видимому, никогда не будет доступно конечному мозгу. Мучиться над определением подлинного смысла человеческой жизни нелепо, ибо, чтоб понять это, надо перестать быть человеком, выйти за пределы системы, потерять себя. Для того, кто сумел бы это сделать, стать нечеловеком, вопрос этот перестает иметь значение, становится мелким, смешным, ненужным. Слабость и случайность — драгоценные качества всего живого, и человек будет вопреки крайне необходимому разуму и познанию, делающему человеческую жизнь более прочной и более безличной, человек будет держаться за эту возможность, ощущать себя и быть единственным, отличающимся от всего и от себе подобных. Может, наш надуманный маленький земной смысл жизни в том и состоит. Биологически естественный отбор миллионы лет стремится к прочности, про-

стоте, объединению и закономерности, и, возможно, он совпадает с подлинным не земным, но известным человеку смыслом жизни, а надуманный, маленький человеческий смысл стремится к анархии, к неконтактности, к бунту, к непохожести, дабы сохранить вкус к жизни и не утратить аппетита к жизни через маленькое, смешное личное страдание и успокоение после маленького страдания, которое словно завеса защищает человека от большого, неземного ужаса, заставляет человека увязнуть в маленьком своем страдании и дойти до края пропасти лишь к концу жизни. Горе тому, кто раньше времени постиг неземную мудрость и сумел подняться над своим страданием и посмеяться над ним. Земное страдание — словно спасительная повязка на глазах, скрывающая от человека его короткий миг и следующее за ним великое НИЧТО».

Прочитав эти строки, Павел Данилович поднял голову и увидел Люсика, который мочил в чае сухарик. Он привстал, хотел что-то сказать, но вдруг расхохотался. Это не была истерика, это был здоровый, полнокровный смех человека, понявшего причину своих неудач и радующегося новой жизни, которая в связи с этим должна была прийти к нему. Правда, смеялся Павел Данилович недолго, ибо внезапно упал и потерял сознание. Поскольку закупорка (тромбоз) мозговых сосудов уже случалась с Павлом Даниловичем, профессорша хоть и испугалась, но не растерялась. Вместе с Люстиком она быстро раздела больного, стараясь не потревожить запаянную в гипс ногу, и положила в постель, как необходимо в таких случаях, с приподнятой головой, просунув под голову три подушки. Люстик же побежал на почту звонить в «Скорую помощь». «Скорая» прибыла не сразу, но врач сказал профессорше, что это дела не меняет, так как у мужа ее не простой тромбоз, а острое кровоизлияние, иными словами, мозговой удар, и он давно уже мертв. После этого врач уехал, а профессорша вытащила из-под головы покойного две лишние подушки, и профессор принял естественную позу, тихую, с не заломленной шеей, а с шеей, плавно вытянутой, и с опущенной низко, замолчавшей теперь навек головой.

«Можно ли осязать рукой эту сущность, заключенную в голове под черепом,— писал немецкий философ Гердер,— само божество, говорю я, покрыло ее лесом, эмблемой священных рощ, где некогда совершались мистерии. Религиозный трепет охватывает меня при мысли об этой тенистой горе, таящей в себе молнии, каждая из которых, вынырнув из хаоса, в состоянии осветить, украсить или опустошить весь мир».

И вот теперь седая гора профессора неподвижно покоилась на подушке, храня в остывающих недрах последние свои открытия, не закрепленные на бумаге прыгающим почерком, а сверкнувшие словно молнии и погубившие кровеносные сосуды. Лишь на губах профессора была жизнь, изломанные в сарказме, они насмехались над мистикой, идеализмом и вещими снами, предсказывавшими профессору еще два года жизни до марта сорок восьмого и смерть в тюремном лазарете.

Горе профессорши было так велико, что она не кричала, не плакала и вообще совершала мало движений, у нее, как говорят иногда люди, не понимающие физиологических процессов, окаменело сердце.

Если телесная боль не чрезмерна либо вовсе отсутствует, а душевная велика, то это ведет к унынию. В ожидании страдания человек испытывает тревогу. Если же нет надежды, то тревога эта переходит в отчаяние. И действительно, кровообращение профессорши замедлилось, лицо побледнело, мышцы стали вялыми, веки опустились, голова свесилась на сдавленную грудь, губы, щеки и нижняя челюсть провисли от собственной тяжести, глаза стали тусклыми и часто увлажнялись слезами, брови приняли наклонное положение, углы рта оттянулись книзу.

Профессорша сидела на стуле у головы Павла Даниловича, а Люсик сидел у ног покойного, и лицо у него сейчас было такое же, как и у не любящей его профессорши. Правда, поскольку организм Люсика был более молодым и менее опытным, он время от времени стремился к активному самовыражению, проявлялось это в таких глубоких вздохах, что вызывали они спазмы дыхательных мышц и жесткий клубок ворочался в горле, глаза его и крылья носа судорожно дергались, и складки на лбу ползли вверх, и это изламывало брови, как всегда бывает при глубоком правдивом страдании. Недаром анатомы иногда называют комплекс этих мышц «мышцами горя».

Так просидели Люсик и профессорша при свете свечи всю ночь, завесив зеркало простыней и погасив электричество, неожиданно вспыхнувшее, даже испугавшее их первоначально. Также вдвоем они скупно, лишь по необходимости, общаясь между собой, проводили Павла Даниловича на тряской горкомхозовской телеге в последний путь. При этом случилось некоторое замешательство, профессорша настояла, чтоб перед тем как положить мужа в гроб, с его больной ноги сняли гипс. Но это уже происходило к вечеру следующего дня. А пока продолжалась ночь редкой красоты, она волнова-

ла тех, кто был свободен сердцем, полнолунная, звездная, безветренная, сладкая для ласк, пригодная для зачатия крупных тяжелых младенцев.

Сашенька впервые за многие месяцы спокойно заснула в эту ночь рядом со спящей, розовой от купанья Оксанкой, и ей впервые спокойно и ясно снился любимый. У них все было хорошо и все было как тогда: сладкие мучения, блаженное истязание, от которого приятно таяли силы, из груди исторгались радостные стоны и, наконец, пришло исчезновение, слияние, хмельной вызов судьбе, разделившей их на две разные жизни. А потом пришел покой, усталость и глубокий крепкий сон. Наступила вторая половина ночи, и все живое вокруг также начало погружаться в безудержный сон, а те, кто были угнетены душой, спали сидя, с открытыми глазами, потеряв себя до первых утренних звуков. Ночь же все хороше-ла, и настал момент, когда красота ее начала внушать ужас. Несметные рои звезд шевелились, самые яркие из них разгорались нестерпимо ярко, а те, что скрыты были в космической тьме, стали постепенно проступать, обозначаться, и не было им числа. Луна же обрела яростно слепящий вид, не по-хожий на еженощный.

Ужас отличается от страха тем, что в нем особенно большую роль играет поэтическое воображение. Потому ужас и родствен красоте. Именно такая красавица ночь описана библейским Иовом в своей Книге Четвертой: «Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет и потряс кости мои, и дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он стоял, но я не распознал вида его — только облик был перед моими глазами, тихое веяние, и я слышу голос: Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли творца своего?»

Но все живое спало в ту ночь, и видение это, лишенное человеческих глаз, бесполезно и бесследно растаяло к рассвету. Лишь несчастный Иов, самый зоркий среди людей, бодрствовал в такую же ночь две тысячи лет назад. Впрочем, крупный специалист в области геотектоники, немецкий ученый Штилле, утверждал, что период длительного тектонического покоя нашей планеты подходит к концу, и не отрицал опасность раздробления земной коры, какая случилась и в конце геологического периода декабря. В связи с этим появились попытки, правда, робкие и ныне забытые, объяснить этой геотектонической гипотезой до смешного нелепую и кровавую историю человечества. Известна, например, попытка, причем не философа, не геофизика, а писателя-неудачника, еврея, принявшего лютеранство и умершего двадцати пяти лет от

роду. Метания, мучения, войны, неустойчивость, торжество невежества, кровь невинных жертв, стоны слабых, вызывающие в ответ лишь сладострастный смех палачей,— все это он пытается объяснить неясным и непростым, правда, отражением, которое ощущает живое, не отдавая себе отчета, отражением тех губительных тектонических процессов, которые, по Штилле, грозят взломать земную кору. Подобные крайние формы, разумеется, учитывать не следует, либо, при чрезвычайном стремлении быть объективным и всеобъемлющим, к ним следует подходить с большой осторожностью. Вместе с тем надо принять во внимание, что многие авторитетно-материалисты с уважением относятся к работам Штилле и считают: если освободить их от катастрофической шелухи, то в идеях, там заложенных, много справедливого. Действительно, конец декабря, в котором происходили массовые катастрофы, извержения, горообразования, создания новых материков, испарения океанов, горячие дожди лавы и магмы, губящие все живое, и неогеновое четвертичное время, в которое живет современный человек, представляют собой важнейшие революционные эпохи в развитии нашей планеты.

Комару, родившемуся в июле, не опасны снежные вьюги и морозы декабря этого же года, так же не опасны и человеку катастрофы геотектоника Штилле, хоть они, возможно, произойдут в наш четвертичный период. На основании математического закона подобия систем, в котором закономерное объемлет случайное, жизнь естественным путем угаснет задолго до того, как окружающие условия перестанут быть пригодными для нее. Тем не менее, в отличие от комара, человек разумом и воображением своим подспудно ощущает дыхание этих катастроф, волнуется, суетится, пугается не существующей для него опасности. Может, для того, чтобы убить сидящий в крови апокалипсический страх перед неопасной для человека гибелью планеты, человек нелепо стремится к смерти искусственной. Психологами установлено, что многие из самоубийц панически боялись будущей неотвратимой смерти и потому убивали себя, чтоб убить страх.

— Ой лю-лю-лю-лю-лю,— тихо шептала Сашенька, потому что Оксанка, отвалившись от материнского бока, тревожно заворковала.— Ой лю-лю-лю-лю-ли, чужим людям дули, а Оксаночке калачи, чтоб она спала у ночи...

Начинался наивный, простенький человеческий рассвет, кончалась мучительно мудрая, распинающая душу Божья ночь.



---

## БЕРДИЧЕВ

Драма в трех действиях, восьми картинах,  
92 скандалах

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Рахиль Капцан, урожденная Луцкая.

Рузя } ее дочери.

Люся }

Марик } ее внуки, сыновья Рузи.

Гарик }

Виля, ее племянник.

Злота, ее старшая сестра, портниха, живет с ней в одной квартире.

Сумер, ее брат, заведующий швейной артелью.

Зина, его жена.

Миля Тайбер, муж Рузи, фотограф на заводе «Прогресс».

Броня Михайловна Тайбер, его мать.

Григорий Хаимович Тайбер, его отец.

Быля Шнеур, двоюродная сестра Луцких.

Йойна Шнеур, ее муж, работает в лагере военнопленных, заведует  
буфетами на железной дороге.

Пынчик (Петр Соломонович), двоюродный брат Луцких,  
майор.

Бронфенмахер, сосед Луцких по дому.

Беба, его жена.

Макар Евгеньевич, сосед Луцких по дому, сапожник-кустарь.

Дуня, его жена.

Луша, мать-одиночка, уборщица во дворе Луцких.

Стаська, молодая украинская полька, живет в доме Луцких.

Колька Дрыбчик } дворовые мальчишки.

Витька Лаундя }

Сергей Бойко } соседи Луцких по дому.

Фаня Бойко, его жена }

Зоя, их дочь.

Борис Макзаник, заводской поэт.

Полковник Маматюк, герой освобождения Бердичева, позже  
отставник.

Полковник Делев, Герой Советского Союза, позже отставник.

Вшиволдина, жена полковника.

Овечкис Авнер Эфраимович } московские евреи.

Овечкис Вера Эфраимовна }

Картины 1-я и 2-я происходят в один день лета 1945 года, 3-я  
и последующие картины происходят в разные годы, начиная с 1946  
и кончая серединой 70-х годов.

---

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

### КАРТИНА 1-я

Квартира в доме из серого кирпича с пузатыми железными балконами, который выстроил еще до революции местный бердичевский богач доктор Шренцис. Большая комната, очевидно, в прежние времена, при старых хозяевах, — столовая. Под высоким потолком вдоль стен лепной орнамент, довольно аляповатый, из каких-то цветочков и птичек, сейчас к тому же пыльный и грязный. Высокая, до потолка, кафельная печь также покрыта цветным орнаментом. Окна кажутся узкими от полуторной высоты. В окна видно разросшееся дерево и электрический столб, на котором железная шляпа — абажур без лампочки. Далее — узкий булыжный переулочек, пустырь, огражденный колючей проволокой, крыши одноэтажных домов, несколько обгорелых развалин и на горизонте упирающийся в небо силуэт красивой водонапорной башни, расположенной в центре города.

Посреди комнаты стоит старый, но крепкий дубовый стол, покрытый клеенкой, несколько старых стульев и свежеструганых табуретов, очевидно, чтобы дополнить стулья, которых мало для живущей здесь семьи. Вдоль стены буфет с чашками, старый книжный шкаф и платяной шкаф. Все явно из разных гарнитуров, сборное. На буфете гипсовый бюст Ленина и два кувшинчика, из которых торчат красные бумажные цветы. На стене над продавленным диваном — некогда хорошей кожи, ныне же ободранном — висит портрет Сталина. Высокие белые двери ведут в другую комнату, там видна железная кровать и над ней коврик базарной живописи «Утро в сосновом бору».

По комнате шумно и тяжело ходит Рахиль, женщина лет сорока, в лице, фигуре и жестах которой чувствуется нечто лошадиное. Крепкими своими руками она хватает стоящие на подоконнике банки с вареньем и бутылки с наливкой, встряхивает их, нюхает, заглядывает внутрь, пробует. При этом губы ее постоянно шевелятся, а глаза быстро, по-охотничьи, смотрят на Вилю, бледного подростка, который делает вид, что не замечает метаний Рахили, и, сжав ладонями уши, читает у стола книгу. Рахиль не может затеять шумный скандал, поскольку в соседней комнате сестра ее Злота примеряет платье своей заказчице Вшиволдиной, жене полковника. Злота — маленькая, со скрюченными пальцами, оттопыренными губками, к которым всегда что-нибудь прилеплено: нитка, шелуха семечка, хлебные крошки... Злоте под 50, у нее плоскостопие, ходит она, осторожно ставя ноги, как по льду.

Злота (*напевает, делая наметки*). «Тира-ра-рой... Птичечка, пой...»

Вшиволдина. Зинаида Павловна, под рукой немного тянет.

Злота. Меня зовут Злота Абрамовна.

Вшиволдина. А мне больше нравится Зинаида Павловна... Вы согласны? (*Смеется.*)

Злота (*тоже смеется*). Пожалуйста... Пусть будет Зинаида Павловна... «Тира-ра-рой, птичечка, пой...» Тут будет встречная складка. Снимется, подрежется. Я вам сделаю комплимент: я люблю, когда у заказчицы хорошая фигура...

Рахиль (*тихо, как бы про себя*). Суют ложки... Ложки суют... Пробуют, пробуют... Нор мы квыкцех... Получают удовольствие... Мои дети никогда не берут чужое... (*Замечает, что из бутылки особенно много выпито.*) Виля, Виля, Виля...

Виля (*тихо*). Сама ты воровка...

Рахиль (*словно обрадовавшись, тихо*). Я воровка? Чтоб ты лежал и гнил, если я воровка. (*Поднимает правую руку.*) От так, как я держу руку, я тебе войду в лицо...

Виля. На... (*Дает ей дулю.*)

Злота. «Тира-ра-рой, птичечка, пой...» (*Вшиволдиной.*) Подождите, я возьму сейчас нитки для наметки. (*Выходит в столовую, тихо.*) Боже мой, ведь стыдно перед человеком...

Рахиль. Ты молчи... Вот сейчас ты схватишься за свои косичечки... Сейчас начнешь танцевать перделемешку...

Злота (*хватается за лицо*). Боже мой... (*Уходит.*)

Виля. На... (*Дает Рахили дулю.*)

Рахиль. Чтоб ты опух, так было бы хорошо... (*Ходит, встряхивает банки и бутылки.*) Суют ложки... Пробуют... Так было бы хорошо... Так было бы хорошо... (*Ругательства она произносит про себя, только шевеля губами, а вслух повторяет: «Так было бы хорошо».*)

Злота. Мадам Вшиволдина, пройдите к зеркалу.

*Вшиволдина* входит в столовую и начинает вертеться перед зеркалом.

Рахиль (*к Вшиволдиной*). Ну, как товарищ полковник? Что-то я его не видела на партконференции.

Вшиволдина. Он уехал в Западную Белоруссию, там у брата неприятности. Полюбил девушку, а родители против: за коммуниста замуж не пойдет. Они всех русских там называют коммунистами.

Рахиль. Да, что я не понимаю: политика партии ыв национальный вопрос? Вы с какого года в партии, товарищ Вшиволдина?

Вшиволдина. С сорок третьего.

Рахиль. Так вы еще молодой коммунист. Если сейчас мы имеем сорок пятый, то вы имеете стаж два года. Ну, тоже неплохо. А я, слава Богу, в партии с 28-го года. Мой муж — тоже член партии, убит на фронт. Вот я вам сейчас покажу. *(Достает из буфета старую, туго набитую бумагами сумку, вытаскивает несколько бумаг.)* Вот написано: пал смертью храбрых в районе города Изюм.

Вшиволдина. Это под Харьковом... Да, там в сорок третьем жуть что творилось.

Рахиль. Жуть, а? Так он должен был туда попасть. *(Начинает плакать.)* Я осталась с двумя сиротами. Младшая, Люся, скоро должна прийти из школы, отличница, а старшая, Рузя, учится в техникуме... И вот, племянник *(показывает на Вилю)*, круглый сирота, моей покойной сестры сын, а эта моя сестра еле ходит. *(Показывает на Злоту.)*

Вшиволдина. Не расстраивайтесь, у многих на войне погибли родные. Что ж сделаешь...

Рахиль *(всхлипывает)*. Бердичев освободили зимой 44-го года, а летом я с детьми уже была здесь. Я приехала по вызову горкома партии, как старый коммунист. Мой муж тоже был коммунист, работник типографии... Вот у меня ключи здесь в сумке, видите? Этот ключ от буфета, а этот от шкафа, которые я оставила здесь в 41-м году... Я знаю, где мои вещи, где моя мебель... Моя мебель в селе Быстрик... Рассказывают, что молочница, которая нам носила молоко, приехала с подводой и забрала всю мою мебель. Ей она понравилась. Но что, я пойду в Быстрик, чтоб мне голову сняли? Вот эта вся мебель, вот этот стол, кровать, буфет, стулья, диван — это все мне органы НКВД дали. Сначала меня горком направил завстоловой НКВД. А теперь меня направили на укрепление кадров в райпотребсоюз. К чему я это говорю, товарищ Вшиволдина? Здесь за стеной живет некий Бронфенмахер из горкомхоза, который только хочет ходить через моя кухня... Что вы скажете, товарищ Вшиволдина, он имеет право устроить себе черный ход через моя кухня и носить через меня свои помои? В землю головой чтоб он уже ходил... На костылях чтоб он ходил... Что, я не знаю, родители его были большие спекулянты, их в 30-м году раскулачили.

Злота. Зачем ты так говоришь? Его отец был простой сапожник. Я очень правильная... Я Доня с правдой...

Вшиволдина (*смеется*). А кто такая Доня?

Злота. Это была такая революционерка. Она всегда любила говорить правда. Так ее звали Доня с правдой.

Рахиль. Вот она вам скажет... Революционерка Доня была? Сионистка Доня была. А у Бронфенмахера дядя тоже был сионист, он в 20-м году уехал в Палестину... Если я за этого Бронфенмахера возьмусь, так ему станет темно и горько... Я к Свиначу зайду... Со мной нельзя начинать... Он мне будет носить помой через моя кухня. Я его сделаю с болотом наравне... Рахиль Луцкая кое-кто еще знает в Бердичеве... Я по мужу Капцан, но меня в городе знают как Луцкая...

Вшиволдина. Не надо ругаться. (*К Злоте*.) Так когда следующая примерка, Зинаида Павловна?

Злота. Зайдите через три дня.

Рахиль. Со мной нельзя начинать. Меня кое-кто в городе Бердичеве знает. Вот, пожалуйста, товарищ Вшиволдина. (*Достает из сумки бумажку, читает*.) «Мандат номер четыреста тринадцать. Капцан Р. А. дійсно является делегатом четырнадцатой районной конференции Бердичевского району вид первичной организации райспоживспилки з правом ухвального голосу...» Вы понимаете по-украински?.. Я делегат районной конференции от райпотребсоюза с правом совещательного голоса... Так этот Бронфенмахер будет носить через меня свои помой...

Вшиволдина перседевается в соседней комнате.

Всего доброго, товарищ Вшиволдина. (*Злота идет проводить, слышно, как хлопнули двери*.) Злота, ты хорошо закрыла двери? Гоем снизу придут что-нибудь украсть, а ты потом скажешь, что ты не виновата.

Злота (*к Виля*). Ну, она от меня рвет куски... Я не могу выдержать... Если б я не была больная, я б уехала куда-нибудь (*плачет*) к чужим людям.

Рахиль. Если б баба имела яйца... Вот сейчас придет Сумер или Быля со своим животом (*надувает щеки и показывает, какой у Были живот*), так ты на меня наговоришь...

Злота (*плачет*). Сумер наш брат единственный, а Быля наша двоюродная сестра... Я к ней ничего не имею... Она моя заказчица, дает мне заработать на хлеб. (*Говорит и давится от слез*.)

Рахиль. Ша, сумасшедшая... Сразу она начинает писать глазами... Сразу она танцует перделемешка. Ты знаешь, Виля, что такое танцевать перделемешка? Это когда истерика... Ты ж понимаешь, Виля, я хочу ей плохого... А ведь мо-

жно прожить тихо, мирно... Я с моими детьми, Злота с тобой, Сумер со своей семьей, кто у нас еще остался?

Виля (*Рахили*). Заткнись!

Рахиль (*к Злоте*). Ну что ты скажешь? Ты ж говоришь, что только ты опекун... Хороший племянничек... (*К Виле.*) Болячка на тебя... Я сварила немножко варенья для своих детей, немножко наливки на свои копейки, чтоб иногда немного к чаю, так он сует ложки в банки... Но нельзя говорить... Злота говорит, что это хорошо...

Виля. Чтоб ты так жила...

Рахиль. Что я таки так жила... Болячка тебе в лицо... Такой железный парень, а вынести ведро с помоями некому... (*Сердито стуча ногами, выходит на кухню, слышно, как она гремит ведром, как хлопают входные двери. Кричит.*) Злота, прислушайся... Гоем придут, украдут кастрюли или моя телогрейка, а потом ты скажешь, что ты не виновата.

Злота (*к Виле*). Зачем ты ей говоришь «заткнись»?

Виля. А что, я ей буду молчать?

Злота. Если б Рахиль все не заносила домой, нам было бы плохо... Но у нее такой характер, она нервная...

Виля. Она все заносит домой? А ты знаешь, когда она идет получать хлеб по карточкам на себя и на нас, так она часть нашего хлеба перекладывает себе...

Злота (*смеется*). Я вижу, что-то нам не хватает. А они трое кушают, и им еще остается.

Виля (*сердито*). Я вчера пошел за ней в булочную и заметил.

Злота (*смеется*). Нам только на завтрак и на обед хватает, а они и на ужин хлеб имеют... Но она такая ловкая...

Виля. Я ей скажу, что она воровка...

Злота (*испуганно*). Ой, я не могу выдержать...

Виля (*передразнивает*). Не могу выдержать... Ой, вэй... И вечно у тебя на губе что-то висит. Сними нитку с губы, смотреть противно.

Злота (*плачет*). Это за все хорошее, что я ему сделала... Я такая больная... Помни, Виля, помни...

Виля. На... (*Дает ей дулю.*)

Злота (*плачет*). Гыдейнк... Помни... Ты меня будешь искать в каждом уголочке... Чтоб мне этот час хорошо прошел... (*Слышно, как хлопает входная дверь, гремит ведро. Злота вытирает глаза, прикладывает палец к губам.*) Ша, тихо...

Рахиль (*врывается с красным лицом, с вытаращенными глазами*). Ой, быстрее... Прячь, прячь... Всюду журналы мод раскиданы, всюду нитки, катушки... Виля, закрой машину рядом...

Злота. Рухл, не бросай, ты мне все выкройки порвешь... Рахиль (*тяжело дышит*). Злота, быстрее... Тут во двор один зашел... Луша снизу говорит, что это фининспектор. Когда-нибудь я останусь с моими детьми из-за тебя несчастной. Придут и опишут мою мебель. Все гоем снизу знают, что здесь живет портниха.

Злота (*бледная*). Ой, я мертвая...

Рахиль (*кричит*). Когда-нибудь я стану из-за тебя несчастная с моими детьми! Виля, собирай быстрее журналы... Когда-нибудь я возьму все выкройки и все журналы и сожгу их...

Злота (*плачет*). Это мой заработок, на что мне жить?

Рахиль (*кричит*). Иди в артель, как все! Ты не хочешь работать на государство.

Злота (*садится на стул*). Ой, мне плохо... Я больная...

Рахиль. Я тоже больная, и все-таки я поднимаю на складе мешки и ящики...

Злота (*держится за сердце*). Ой, мне плохо...

Рахиль. Злота, ты делаешь уже свои номерочки? (*К Ви-ле*). Что ты скажешь, Виля, я хочу ей плохого?.. Боже спаси... Я снесла ведро, мне Луша снизу говорит: Рахиль Абрамовна, тут во двор зашел один, так, кажется, это фининспектор... Сидит и стонет, как квочка... Если плохо, принимают лекарство... Хочешь немножко варенья?.. Виля, походи наведи два стакана воды себе и Злоте, с вареньем очень вкусно... Какой ты хочешь варенье: вишневое или клубничное?

Злота (*плачет, к Виле*). Я имею от нее отрезанные годы...

Рахиль. Сумасшедшая... Ты думаешь, почему эти гоем снизу не присылают сюда фининспектора? Слышишь, Виля, они б давно сюда прислали, но здесь во дворе Макар Евгеньевич делает сапоги, он член партии, но он кустарь. А Дуня, его жена, вяжет на базар кофты. Они знают, что если гоем ко мне пришлют фининспектора, так я к ним пришлю фининспектора. Это ты их боишься, я их не боюсь. (*Слышен стук в дверь*.) Ой, это Люся идет из школы... Мне чтоб было за ее кости...

Быстро идет в переднюю и возвращается с двумя девочками лет двенадцати — тринадцати. Люся — темноглазая, но на Рахиль не похожа, а вторая девочка — бледная и беленькая.

Люся. Мама, можно Зоя у нас побудет, у них дома никого нет?..

Рахиль (*недовольно*). Пусть будет... Что ты имела сегодня за отметки?

Зоя. У Люси сегодня по алгебре 5, по географии 4.



Рахиль. А у тебя?

Зоя. Меня сегодня не вызывали.

Рахиль (к Люсе). Может, Рузю подождем, чтобы вместе пообедать? Она скоро должна прийти из техникум.

Люся. Нет, мамка, мы голодные.

Выходят с Зоей на балкон.

Рахиль (ворчит). Мы голодные... Разве это заметно? (К Злоте.) Фаня специально присылает сюда свою девочку, чтоб она у нас питалась... Это та еще Фаничка... Живет с гоем... Она из веселых и глухих... Ей говорили — сядь, она ложилась...

Злота (испуганно). Ша, тихо. Зоя ведь услышит.

Рахиль. Пусть слышит. Мне кисло в заднице... Виля, будешь тоже обедать?

Злота. Зачем ему обедать, что у него своего обеда нет?

Рахиль. Не хочешь, так не надо... Мне кисло в заднице...

Виля (к Рахили). Закрой пасть.

Рахиль. Сам закрой пасть... (К Злоте.) Что ты скажешь? Закрой пасть... Чтоб ты опух...

Злота. Боже мой, боже мой, смотри какие проклятья...

Люся и Зоя выходят с балкона, хохоча и хлопая в ладоши.

Люся и Зоя (вместе, хлопая в ладоши друг друга). Сим-сим-сима, мать моя Маша, к всем, к всем примерам, мой сыночек пионером...

Люся. Виля, давай с нами...

Виля. Да ну...

Зоя. Он смущается. (Смеется.)

Люся и Зоя (вместе). Работница-ница, всесоюзница-ница, синеблузница-ница. Пионеры мы! (Обе одновременно делают пионерский салют.)

Злота. Слушай-но, слушай-но, как они красиво поют. (Смеется.)

Рахиль (к Зое). Папа больше не бьет мама?

Злота. Ах, в моей жизни... Что ты спрашиваешь?

Рахиль. А что я спрашиваю?

Зоя (всхлипывает). Я пойду...

Рахиль. Сплошные сумасшедшие.

Люся. Мама, а ну тебя...

Виля (Рахили). Ты дура...

Рахиль. Ты дурак... От так, как я держу руку, так я тебе

войду в лицо. (*Кричит громко и визгливо.*) От так, как я держу руку, я тебе войду в лицо!.. От так я дам от себя!..

Злота (*кричит*). Боже мой, боже мой! (*Хватается руками за волосы.*)

Люся. Мама, перестань, мама... (*Уводит Рахиль в соседнюю комнату.*)

Рахиль (*из соседней комнаты*). Он мне будет говорить — дура, заткнись, воровка... Болячка ему в мозги...

Злота (*Виле*). Зачем ты ей говоришь — дура?

Виля (*Злоте*). Ты тоже дура... На... (*Дает ей дулю, хватая книгу и выбегает.*)

Зоя. Тетя Рахиль, он уже ушел.

Рахиль (*выходит из соседней комнаты. Сквозь слезы*). Чтоб он подавился... Без ног чтоб он остался...

Злота. Боже мой, боже мой, зачем ты его так проклинаешь?

Рахиль (*Злоте*). Уйди, чтоб тебе не видать... Вы мою жизнь погубили. Если б я жила отдельно с моими детьми, все было бы иначе... Уйди, чтоб тебе не видать...

Злота (*тихо*). Почему я не умерла... Сестра моя умерла, а я живу... (*Уходит в соседнюю комнату.*)

Люся. Не плачь, мама. (*Целует Рахиль.*)

Зоя. Успокойтесь, тетя Рахиль.

Рахиль (*всхлипывая*). Дети, сейчас я вам дам хороший суп с мука и говяжий жир... Зоя, ты любишь погрызть косточка? Мяса нет, но косточка хорошая, с хрящиками... Садитесь, дети. (*Слышен стук.*) О, как раз Рузя вовремя...

Идет открывать, слышны в передней разговоры, и она возвращается со своим братом Сумером и второй дочерью, Рузей. Сумер лет пятидесяти пяти, с оттопыренными ушами. В его лице тоже есть нечто лошадиное, как и у Рахили, но это не рабочая лошадь, а веселый, худой жеребец. Нижняя губа толще верхней, типичные губы едкого насмешника. Рузя похожа на Рахиль, но семнадцать лет придают вытарщенным черным глазам и припухлым губам какую-то наивную привлекательность.

Злота. Смотри-но... Где вы встречались?

Сумер. Какая разница... Я вижу, идет красивая девочка... Рузя, почему ты такая шейне мейделе? (*Хватает ее за руку.*) Такую красивую девочку надо щупать... Щупай, щупай... (*Рузя хохочет.*)

Рахиль (*смеется*). Сумасшедший...

Сумер. Щупай, щупай... (*Смеется.*)

Рахиль. Ну, Сумер, что ты скажешь, где взять хорошего жениха?

Злота. А я говорю, ей еще рано замуж... Рузя должна

учиться, окончить техникум... Во... Я очень правильная... Я Доня с правдой...

Рахиль (*Сумеру*). Что ты скажешь на эту Доню с правдой? Красивая Доня с правдой... Сумер, я имею от нее отрезанные годы...

Злота. Да, да... Всегда она на меня наговаривает перед людьми...

Рахиль. Сумер, я имею от нее отрезанные годы... Если я ее выдерживаю, так мне надо дать звание Героя Советского Союза, как полковнику Делеву... Ты знаешь Делева?

Сумер. А что, я не знаю Делева? У него нет глаза...

Люся. Мама — Герой Советского Союза. (*Смеется*.)

Рахиль. Да, я Герой Советского Союза, если я от нее выдерживаю.

Сумер (*смеется*). Злота, зачем ты трогаешь Рухеле?

Злота. Ты такой же, как она... Вы думаете, что оба умные, а я дура...

Рахиль. Слышишь, Сумер, ты ж меня знаешь. Если я сказала, так это сказано. Виля не такой плохой, как она его делает плохим. Ему ничего нельзя сказать. Недавно дети пришли, Люся и вот ее подруга Зоя. Это Фани Бойко дочка. Ты знаешь Фаню?

Сумер. А что, я не знаю Фаню, которая замужем за гоем?

Рахиль. Так я говорю, Виля, садись обедать с нами. Он мне отвечает — ты дура, заткнись...

Злота. Ты можешь свести эту стену с той стеной.

Рахиль. Чтоб я так была здорова.

Рузя. Мама, ты виновата сама. Надо один раз ударить, а ты только говоришь.

Злота. Пусть того ударит гром, кто Виллю ударит.

Сумер (*смеется*). Злота, зачем ты ругаешь Рухеле? Ну, я пойду. У вас здесь кричат...

Рахиль. Подожди, Сумер, ты ж только что зашел. Сядь-но, расскажи, что нового, как Зина?

Сумер. Зина любит деньги... А в квартире у меня так грязно, так воняет... Моя жена неряха, ты ж это знаешь... Что тебе еще рассказать? (*Нюхает*.) Рухеле, ты ведь такая хозяйка, почему у тебя воняет?

Рахиль (*нюхает*). Злота, ты ела редьку. (*Смеется*.)

Злота. Ну я не могу выдержать. (*Плачет*.) Всегда она на меня наговаривает.

Рахиль. Злота, чтоб ты мне была здорова, ты ела редьку... Люся, натри-но палец...

Люся смеется, натирает палец. Сжимает руку в кулак.

Люся. Зоя, тащи. *(Зоя вытаскивает один палец.)* Теперь, Рузя, тащи...

Злота *(давится от слез)*. Вы меня будете искать в каждом уголочке...

Рахиль. Ну, Сумер, так от нее можно выдержать? *(Вытаскивает из Люсиного кулака палец, выпачканный в штукатурке.)*

Люся *(смеется)*. Это не Злота, это мама. *(Рахиль смеется.)*

Злота. Ну, так ты видишь? *(Тожже начинает смеяться.)*

Рахиль *(Сумеру)*. А ведь можно прожить тихо, мирно... Сколько нас осталось? Мой муж погиб, твой сын погиб, наша сестра умерла, наш младший брат Шлойма погиб, папа и мама умерли в Средней Азии... Сколько нас осталось... Вокруг одни враги... Вот тут за стеной живет Бронфенмахер... Ты знаешь Бронфенмахера?

Сумер. А что, я не знаю Бронфенмахера из горкомхоза?

Рахиль. Так он хочет только ходить через моя кухня. Вот тут есть дверь. Раньше это была общая квартира, жил один хозяин, здесь сам Шренцис когда-то жил, а теперь мы эту дверь замуровали. Что ты скажешь, он будет носить через меня помой... Я ему голову сниму... Это Йойны Шнеура товарищ, Былиного мужа...

Злота. Она только хочет, чтоб я ругалась с Былей.

Рахиль. Если Йойна работает в лагерь военнопленных по снабжению, так он думает, что большой человек... А она дует от себя, она у себя очень большая. Всегда она водит знакомство только с докторами. Вот так она ходит и дует от себя. *(Кривит лицо, надувает щеки, выпячивает живот, ходит и дует.)*

Злота. Вы оба любите смеяться над людьми, а я нет.

Слышен стук в дверь.

Рахиль. Сегодня веселый день, дверь не закрывается.

Идет открывать, входит Фаня, соседка Рахили и Злоты.

Фаня. Здравствуйте. Моя Зоя у вас? Зоя, идем домой.

Зоя. Я еще хочу побыть у Люси.

Фаня. Папа уже лег спать, не бойся.

Рахиль. Ну посиди, Фаня...

Фаня. Ой, мне стыдно перед людьми, смотрите, какой у меня под глазом синяк... Вэй из мане юрен...

Рахиль. Ой, вэй з мир... Ну, подай в суд, чего ты молчишь... Что значит он тебя бьет... Это ж не царский режим сейчас...

Фаня (*плачет*). Ой, Рахиличка, у меня двое детей от этого голя... И во время оккупации он нас не выдал, спрятал меня с детьми...

Сумер. Где ж он вас мог спрятать?

Фаня. Сумер Абрамович, он нас в село отвез... Под Рейей... Тридцать километров от Бердичева. Там у него поп родственник. Сергей достал бумаги, что я украинка и дети украинцы. Всю оккупацию прятал. А теперь напьется, бьет меня, кричит мне — жидовка, и детям тоже кричит — хитрые жида...

Рахиль. Как тебе нравится, Сумер, такое горе?.. Так это хоть пьяный голя. А тут за стеной живет еврей, так ему могут глаза вылезти... Фаня, ты знаешь Бронфенмахера?

Фаня. А что же, я не знаю Исака Исаевича? И Бебу?

Рахиль. Это та еще Бебочка. Я помню, как она одевала большую шляпу и выходила на бульвар...

Злота. Зачем на людей наговаривать?

Рахиль. Злота, дай чтоб от тебя отдохнули уши... Это ты его боишься... Он мне говорит, если ему не разрешить похорошему носить через нас помои, он поломает стену... А я говорю, а ну, попробуй, Бронфенмахер, я хочу видеть... (*Сильный удар на кухне.*) Ой, что это! (*Бежит на кухню и возвращается, громко крича.*) Ой, Бронфенмахер ломает стену... Ой-ой-ой...

Люся начинает плакать, Злота хватается за сердце и садится на стул.

Фаня. Зоя, пойдём домой. (*Они уходят.*)

Рахиль. Уходите, все уходите. Сумер, что ты стоишь с открытым ртом? Брат называется, мужчина.

Сумер. У вас здесь всегда кричат. (*Уходит.*)

Рахиль. Я сама себя буду защищать. Я сейчас возьму топор. Я этому сионисту горло перережу.

Рузя. Тише, мама, он уже перестал ломать.

Рахиль (*громко кричит и плачет*). Я ему голову сломаю. Я осталась без мужа, с сиротами, а он будет ломать стену мне. Кто там вошел? Фаня ушла, и за ней не закрыли дверь, я одна должна за всем следить.

Входят Бронфенмахер и его жена Беба. Оба под стать друг другу, низенького роста, цепкие, с сердитыми, решительными лицами.

Бронфенмахер (*Рахили*). Луцкая, тебя все в городе знают как скандалистку, но советский закон тебе не позволять нарушать... Я старый чекист...

Рахиль. Чтоб тебе глаза вылезли, какой ты чекист. Ты гнилой спекулянт, и ты говоришь про советский закон. Ты хочешь носить через моя кухня помои. Мой муж убит на фронт...

Беба (*высовывается из-за спины Бронфенмахера*). Эйжа, но твой муж убит...

Рахиль (*к Бебе*). Она радуется, что мой муж убит... Темно и горько чтоб тебе стало, как мне сейчас.

Беба. Я тебе сейчас наплюю в лицо.

Рахиль. Кровью чтоб ты плевала...

Беба. Поцелуй меня знаешь куда...

Рахиль. Чтоб тебя туда чиряки целовали... Нарывы чтоб тебя туда целовали... Чтоб ты опухла... Чтоб ты лежала и гнила... Немая и слепая чтоб ты стала... Болячка тебе в мозги... Чтоб тебе каждая косточка болела...

Бронфенмахер. Не отвечай ей, Беба... Луцкая, ты эту квартиру вообще занимаешь незаконно... Думаешь, мы не знаем, что в 44-м году ты без ордера сорвала замок и вселилась сюда? Здесь должен жить бухгалтер горкомхоза Харик, у него восемь детей...

Рахиль. Выйди, а то я сейчас возьму топор и дам тебе по голове... Я зайду к Свинару в горком партии, так тебе будет темно в глазах... Ты сионист... Твой дядя живет в Палестину...

Беба. Чтоб тебе так дышалось, какая это правда.

Бронфенмахер. Тише, Беба. (*Указывает на входящего с книгами в руках Вилю.*) А где твой родственник? У меня в Палестине нет близких родственников, если надо, я это докажу. А где твой родственник?

Рахиль. Мой муж убит на фронте, сын Сумера тоже убит, и мой младший брат Шлойма убит... Я член партии с 28-го года, а ты сморкач, спекулянт, твоих родителей раскулачили...

Беба. Чтоб тебе так дышалось, какая это правда...

Бронфенмахер. Тише, Беба... Я спрашиваю, где отец этого парня? Он арестован как троцкист...

Злота (*хватается за лицо*). Ой, вэй...

Рахиль. Тихо... Ты только, Злота, не пугайся... Виля, ты не бойся... Бронфенмахер, это наш ребенок... Это мой ребенок, такой же, как Рузя и Люся... Ты понял, Бронфенмахер... Дядя этого ребенка убит под Харьковом за советскую

власть... А если ты еще скажешь слово, Бронфенмахер, так, как я держу руку, я тебе войду в лицо...

Беба (*Бронфенмахеру*). С кем ты разговариваешь, Иса-чок?.. Это же базарная баба...

Рахиль. А ты блядюга...

Злота. Ой, боже мой...

Беба. А ты курва...

Злота. Ой, боже мой...

Бронфенмахер. Ладно, идем, Беба, идем. Мы с ней поговорим в другом месте...

Беба (*Рахили*). Ты воровка, думаешь, я не помню, какая у тебя была растрата в торгсине в 25-м году...

Рахиль. А твоя мать была из веселых, еще при Николае...

Беба (*визгливо*). Чтоб вы все сдохли!

Рахиль. Вы через моя кухня помои не будете носить... На костылях вы ходить будете... Дерево должно упасть на вас и убить обоих или покалечить... Машина должна наехать и разрезать вас на кусочки...

Беба. Со своей рубашкой чтоб ты ругалась... С рубашкой чтоб ты ругалась...

*Под крики и плач ползет занавес*

## КАРТИНА 2-я

Двор дома, в котором живет Рахиль с семьей. Вдоль всего второго этажа тянется деревянная веранда-балкон. На веранду ведет деревянная крутая винтообразная лестница. Напротив двухэтажного дома каменный флигель, сложенный из такого же серого кирпича. Подобно к дому и флигелю деревянные сараи. У сарая возится Луша, складывает дрова. Под верандой, у одной из дверей первого этажа, сидит Стаська, молодая украинская полька, и играет на аккордеоне модный мотив из немецкого фильма. На деревянных ступеньках флигеля сидят Макар Евгеньевич, его жена Дуня, Колька по кличке Дрыбчик, Витька, по кличке Лаундя, и играют в карты. Макар Евгеньевич вида степенного, состоятельного, с золотыми зубами во рту. Дуня, жена его, выглядит старше его, круглолица, одета в капот. У Луши вид крестьянки, недавно приехавшей в город. Колька и Витька — обычные послевоенные подростки-хулиганы, в военных обносках. Стаська, модная девушка 45-го года, из тех, кто допоздна шатается по бульвару. Со второго этажа, из квартиры Рахили, слышны крики и плач.

Стаська (*смеется*). Жиды дерутся...

Луша (*возясь с дровами, устало*). Хотя б они поубивали друг друга.

Дуня (*смеется*). Что, тебе, Луша, евреи в борщ наплевали?

Луша (*мрачно*). Работать на них надо. Пусть бы сами дрова свои потаскали. Весь второй этаж евреи заняли, а снизу мы живем.

Стаська (*смеется*). Ничего, война начнется, опять они в Ташкент побегут и все свое барахло нам оставят.

Колька Дрыбчик. Анекдот слышали? Встречаются трое. Один говорит: я лоцман. Другой говорит: я боцман. А третьему нечем похвастать, он говорит: а я Кацман. (*Смеется.*)

Макар Евгеньевич. Ты брось эти анекдоты, ходи лучше с козырей... Дуня, у тебя сколько карт осталось?

Дуня. По одной не ошибешься.

Витька (*к Кольке*). Дрыбчик...

Колька. А?

Витька. На...

Колька. Жуй два. (*Смеется.*) Я тебя купил, Лаундя...

Витька. Дрыбчик...

Колька. Ты меня, Лаундя, не купишь.

Витька. Таких дешевых не покупают, их даром дают. (*Смеется.*) Я тебя купил...

Стаська. Лаундя, если я не там и не здесь, то где я?

Витька. У коровы в трещине.

Стаська. Заткни языком, чтоб я не вылезла. (*Смеется.*) Я тебя купила...

Витька (*сердито*). А ты прости тут, прости там (*крестится*), прости, Господи, нам...

Стаська. Смотри, Лаундя, Костя Кошенок тебе твой глаз на твою задницу натянёт...

Витька. А я скажу Косте, что к тебе литер ходит... Мы сегодня вечером в парк идем военных бить, поймаем на танцплощадке тебя с твоим литером...

Макар Евгеньевич. Ох, ребята, дадут вам по пять лет и пошлют на Донбасс шахты восстанавливать... (*К Дуне.*) Так не ходят... У вас черва козырь, а не крест...

Дуня. Стаська, ты их не слушай, выходи за лейтенанта...

Стаська (*поет и играет на аккордеоне*). «Завлекала, завлекала, и тебя я завлеку. Не таких я завлекала, с револьвером на боку...»

Витька. Завлечешь... Пиской по морде получишь, мойкой по глазам.

Стаська (*смеется, поет*). «Оцем, дроцем, двадцать восемь, от а зекел бейнер, аз дер тоте кишт ды моме, даф ныт высен кейнер...»



Дуня (*смеется*). Что это значит?

Стаська. «Отцем, дроцем, двадцать восемь, вот мешок костей... Когда папа целует маму, так никто не должен знать...»

Колька. Крепко ты по-жидовски говоришь.

Стаська (*смеется*). А может, я жидовка? К жиду богато-тому в жены попрошусь, как вареник в масле буду. (*Поет.*) «С неба звездочка упала, и другая катится, полюбила лейтенанта, и майора хочется...»

По лестнице вниз спускаются Фаня и Зоя.

Луша. Фаня, иди-ка сюда... Что там за крик?

Фаня (*смеется*). Бронфенмахер хочет через кухню Луцких себе черный ход сделать.

Дуня. А кто это так кричит? Рахилья?

Фаня (*смеется*). И Рахилья и Беба. Та ей говорит — ты воровка, а та ей говорит — ты спекулянтка.

Луша. Чего ты туда ходишь, Фаня? Тебя в войну Сергей спас, когда всех евреев в ямы на аэродром гнали? Спас?

Фаня. А я разве говорю, что нет?

Луша. Ты ему должна быть благодарна до конца жизни, а ты к евреям своим ходишь и жалуешься на него.

Фаня. Ой, чтоб я так жила, что я на него ничего не говорю. Зоя учится в одном классе с Рахилиной дочкой... Я ей говорю: чего ты туда ходишь? Папа из-за тебя меня ругает, что я тебя туда посылаю... И Рахиль думает, что я ее посылаю, чтоб она там кушала. Нужна нам их еврейская еда. Я зашла, чтоб Зою забрать. Чтоб ты не смела больше туда ходить, Зоя... После школы сразу домой... Думаете, я не помню, Луша, когда я до войны вышла замуж за Сережу, он был веселый такой, молодой, такой футболист, так все евреи говорили на меня, что я проститутка... Таки правильно говорят: спасай Россию, бей жидов...

Луша переглядывается со Стаськой и Дуней, смеются.

Макар Евгеньевич (*подавляя улыбку*). Иди, Фаня, тебя Сергей ждет. Он тут интересовался, куда ты пошла.

Фаня и Зоя входят в одну из дверей на первом этаже. Мимо сараев с помойным ведром проходит Борис Макзаник. Это парень-переросток с обезьяньим лицом. Сверху по лестнице спускается Виля.

Виля. Борис Макзаник нас заметил и, в гроб сходя, благословил...

Макзаник (*широко улыбаясь*). Привет... В Цесека не хочешь? В центральный ср... понял? Сра... Комитет... Ну, в уборную хочешь? Пошли вместе.

Виля. Нет, не хочу... А как дела на литературном фронте?

Макзаник. Хочешь, почитаю.

Стаська. Виля, это у вас ругаются?

Виля. У нас.

Стаська. Что ж они ругаются. Клопов бы лучше давили.

Макзаник (*Виле*). Пошли немного пройдемся. (*Отходят*.) Тебе Стаська нравится?

Виля. Так она ведь старая. Ей уже девятнадцать, а может, и двадцать.

Макзаник. Зато какие у нее ягодицы... Ну, пойдем сегодня на бульвар.

Виля. Неохота... Лучше здесь почитаем.

Макзаник (*ставит на землю помойное ведро*).

Старинный город Петроград

Теперь прозвали Ленинград,

Построен был еще Петром,

Как много было, было в нем...

Ты чего? Смеешься?

Виля. Нет, продолжай, просто закашлялся...

Макзаник.

Воспета Пушкиным Нева,

Была красива и стройна.

Но теперь река Нева

Лучше, чем была тогда...

Колька, подкравшись, бьет Макзаника под зад. Макзаник, схватив ведро, удирает.

Виля (*удирает, кричит испуганно*). Мама!

Макар Евгеньевич (*скрывая улыбку*). А ну, Коля, перестань...

Колька (*хохоча*). Так я ж Вилю не трогаю. Иди сюда, Виля, садись с нами в карты...

Витька. Он говорил, что он хусский... Ты хусский?

Виля. Я хотел сказать, что я русский еврей, но «русский» я успел сказать, а «еврей» не успел, потому что меня срочно домой позвали...

Витька (*хохоча*). Его домой позвали...

Виля. Нет, правда... Есть бухарские евреи в Средней Азии, есть грузинские — на Кавказе, а я русский... Хотя вообще-то я наполовину... Моя мать из Польши... А отец тоже не совсем ясно кто... Я был в детдоме, так меня эти евреи взяли на воспитание... Я ведь на еврея не похож...

Макзаник (*проходя мимо с пустым ведром*). Только все евреи похожи на тебя...

Виля. А ты, Бора, выйди из мора, чтоб тебе ручки и ножки обсохли, а животик я тебе вытру сама...

Макзаник. Сам жид, а на другого говоришь.

Колька (*приподнимается*). Оторвись!

Макзаник удирает, гремя ведром. Все смеются.

Виля (*к Кольке*). Дай закурить.

Колька. Сам стрельнул...

Виля. Ну дай бенек потянуть...

Колька дает окурочек. Виля курит. Слышен новый взрыв криков и плача.

Дуня. И не устанут.

Луша. Нет, это уже не там, это не у Рахили. Это Сергей Бойко опять Фаню бьет.

Из дверей на нижнем этаже, откуда слышны крики и плач, показывается Сергей Бойко. Он в майке, спортивных шароварах и босой. Похмельное лицо его искажено злобой, волосы всклокочены. Садится рядом с Макаром Евгеньевичем.

Сергей. Беркоград проклятый. Бердичев — еврейская столица...

Макар Евгеньевич. Сергей, зачем жену бьешь? Нехорошо.

Сергей. Разве жидовка может быть женой?.. Бегает к своим жидам наверх на меня жаловаться...

Луша. Что ж ты ее, Сергей, от немцев спас? Зачем прятал?

Сергей. Так это другое дело. У меня от нее дети. А детям мать нужна, потому и прятал... Ух, Беркоград проклятый...

Макар Евгеньевич (*улыбается*). Так, говорят, Бердичев скоро переименуют... Горсовет уже прошение подал в Киев, в Верховный Совет... Черняховск вроде бы будет. В честь погибшего генерала Черняховского, а кто говорит, в честь генерала Ватутина... Есть слухи, что в честь Котовского назовут, который здесь, на Лысой горе, долго находился,

там его казармы были... Или в честь Щорса... Здесь ведь музей Щорса есть... Или, говорят, в честь Богдана Хмельницкого, который Бердичев от поляков освобождал...

Сергей. Да бросьте вы, Макар Евгеньевич, ну какой русский генерал или полководец согласится дать свое имя Бердичеву?.. А который погиб, семья не допустит... Как был он Беркоград, так и останется Беркоградом.

Макар Евгеньевич. Может, найдется... Если не генерал, так полковник.

Сергей. Какой полковник?

Макар Евгеньевич (*улыбается*). Маматюк... Герой освобождения Бердичева, командир танкового полка Бердичевской дивизии... Не Бердичев теперь будет называться, а город Маматюк...

Сергей. И то лучше, хоть не по-жидовски... Откуда? Из Маматюка... Ничего. (*Смеется*.)

Макар Евгеньевич (*улыбается*). Тише... Разве не видишь, вон он идет, полковник Маматюк?.. Я еще издали его заметил и вспомнил.

Через двор проходит, гремя орденами и медалями, полковник Маматюк. Останавливается, подходит к Виле и вырывает у него из рук дымящийся окурочок.

Маматюк (*Виле*). Сопляк... Разве за это я воевал на фронте, чтоб такие сопляки курили?.. (*К Сергею*.) Ты отец его?

Сергей (*обиженно*). Ну какой я ему отец, товарищ полковник? Бойко моя фамилия. А разве он обликом похож на Бойко?

Маматюк (*Виле*). А где твой отец, говнюк?

Виля (*опустив голову, покраснев, тихо*). Погиб на фронте...

Маматюк. А разве за это погиб твой отец, чтоб ты теперь куришь? Ты в каком классе?

Виля (*опустив голову, тихо*). В седьмом.

Маматюк. А кто у вас военрук?

Виля. Степин...

Маматюк. Знаю его... Только надо говорить: майор Степин... Ну-ка, встань, повтори...

Макар Евгеньевич (*Виле*). Встань, с полковником говоришь...

Виля (*встает*). Майор Степин.

Маматюк. Посмотрим, чему тебя научил майор... Ну-ка,

вложи пять пальцев в рот и скажи: солдат, дай пороху и шинель... Вот так вложи. (*Показывает.*)

Виля вкладывает пальцы и произносит глухо фразу. Полковник бьет его по уху.

Мама тюк (*смеется*). Куряга... Где твоя военная хитрость? Тебя лобой противник обманет... Ты ж мне сказал: солдат, дай по уху, и сильнее... В следующий раз увижу, что ты куришь, не так еще дам...

Уходит, гремя орденами и медалями. Все смотрят ему вслед. Колька и Витька смеются.

Сергей. Полковник-то он полковник, а зачем рукам волю дает. Это не положено.

Макар Евгеньевич. Да он контуженный. Он когда комендантом города был, солдат лупил. За это его и сняли.

Дуня (*Виле*). Больно тебе?

Виля. Нет...

Луша. Как нет, ухо распухло... Пойди к Рахиле, пусть мокрое полотенце приложит.

Виля. Да мне не больно. (*Начинает плакать.*)

Витька. Заревел... Ты ж хусский... Хусские никогда не плачут...

Сергей (*Витьке*). Брось ты... Он не от боли плачет, он от обиды плачет.

Коля (*Виле*). Послунявь пальцы и помажь ухо...

Дуня. Иди домой, Виля.

Колька. Куда домой? Вон литер к Стаське идет... Дай ему, Виля, чтоб он к нам во двор не ходил, и ухо сразу пройдет...

Во двор входит лейтенант, оглядывается, улыбается Стаське.

Макар Евгеньевич. Бросьте, ребята, драку здесь устраивать. Идите в парк драться.

Витька (*Виле*). Ты ж хусский, что ж боишься?

Виля встает, подходит к лейтенанту, ударяет его сзади ногой и убегает.

Лейтенант. Ах, гаденыш, убью...

Вдруг в руках у Кольки появляется ружейный шомпол, а у Витьки кирпич. Лейтенант подбегает к молодому деревцу и вырывает его с корнем.

Луша. Стаська, пусти его в дом...

Стаська. Зачем он мне нужен, чтоб они мне окна побили... *(Уходит и запирает двери.)*

Сергей. Пойду с Фаней мириться, а то еще и мне дадут. *(Уходит.)*

Колька *(лейтенанту)*. Оторвись!

На веранде показываются Рахиль и Злота. Рахиль упирается локтями в перила, Злота подносит ладошку ко лбу козырьком, прикрываясь от солнца, чтоб лучше видеть.

Рахиль. Гоем шлуген зех...

Злота. Что такое?

Рахиль. Гоем дерутся...

Колька *(лейтенанту)*. Оторвись!

Злота. Вус эйст «оторвись»? Что значит «оторвись»?

Рахиль. Оторвись — эр зол авейген... Чтоб он ушел.

Злота. Ну так пусть он таки уйдет... Пусть он уйдет, так они тоже уйдут...

Рахиль. Ты какая-то малоумная... Как же он уйдет, если они дерутся?..

Злота. Чуть что, она мне говорит — малоумная... Чуть что, она делает меня с болотом наравне...

Рахиль. Ша, Злота... Ой, вэй, там же Виля...

Злота. Виля? Я не могу жить...

Рахиль *(кричит)*. Виля, иди сюда... я тебе морду побью, если ты сейчас не пойдешь домой.

Виля. Оторвись!

Рахиль *(Злоте)*. Ну, при гоем он мне говорит: оторвись... Язык чтоб ему отсох...

Витька *(лейтенанту)*. Оторвись!

Лейтенант *(озверев)*. Под хрен ударю!

Злота. Что он сказал? Хрон?

Рахиль *(смеется)*. Ты таки малоумная. Оц а клоц, ын зи а сойхер...

Лейтенант и преследующие его Витька и Колька убегают за сарай.

Рахиль *(кричит)*. Виля, ты туда не иди!

Дуня. Рахиль, не бойся, он возле нас.

На веранду выходит Люся.

Люся. Мама, что здесь такое?

Рахиль. Люсинька, зайди в квартира. Может, должны бросить камень.

Дуня. Вот хулиганы... Рахиль, иди сюда.

Рахиль. Это к Стаське приходили? Надо написать в милицию.

Макар Евгеньевич. Попересажают их скоро и отправят на Донбасс шахты восстанавливать.

Злота (Рахили). Пошли Вилю домой.

Рахиль. Как я его пошлю, если он мне говорит: оторвись! (Спускается вниз.) Ну, Дуня, ты слышала, как я ругалась с Бронфенмахером? Он хочет пробить стенку, устроить себе дверь ко мне на кухню и носить через меня поmoi... Что ты скажешь, он имеет право?

Дуня. Тебе нужен в дом мужчина.

Рахиль. Но где я возьму мужчину, Дуня? Мне сорок лет. Молодой на мне не женится, а старый зачем мне? Чтоб он, извините за выражение, мне в кровати навонял...

Дуня (смеется). Но у тебя ведь в доме молодая невеста.

Рахиль. Где же взять хороший жених? Ты же знаешь, Дуня, Рузичка у меня не тяжелая на голове... Я имею в виду, что это мой ребенок. (Всхлипывает.) Я осталась с детьми в тридцать семь лет. Я член партии с двадцать восьмого года. Мой муж погиб на фронт... Так теперь этот подлец Бронфенмахер хочет носить через моя кухня поmoi...

Дуня. Ты Тайберов знаешь?

Рахиль. А что, я не знаю Тайберов? Они жили до войны в нашем доме по Белопольской... Вы жили на первый этаж, я на второй этаж, а они жили над аптекой... Они из Одесс, но перед войной приехали в Бердичев.

Макар Евгеньевич. Совершенно верно, они одесситы.

Рахиль. Отец фотограф.

Макар Евгеньевич. Совершенно верно.

Рахиль. У них было двое сыновей—Миля и Пуля... Миля перед войной женился, а Пуля я не знаю, где теперь.

Дуня. Пуля пропал в войну... Он же на русского похож. Говорят, его в Германию отправили, и где он, неизвестно. А Миля с женой развелся... Бывает неудача... Парень хороший, не раненый. Он в войну на Урале работал. По специальности тоже фотограф, как отец. С отцом вместе в фотографии работают они на Лысой горе в воинской части. Там они имеют неплохо.

Макар Евгеньевич. Каждый солдат на фотокарточку денег не пожалеет. По себе помню.

Рахиль. Но ведь моей Рузичке семнадцать лет.

Дуня. А Миле тридцать один. В самый раз. Ты знаешь, сколько у Тайберов есть денег? Если взять нас всех на вес и поставить мешок с их деньгами, так мешок перевесит.

Рахиль. Ой, что тебе сказать, Дуня? Если б я удачно выдала Рузичку замуж, мне бы стало светло в глазах.

Луша выходит с ребенком на руках.

Луша (к Рахили). Рахиль Абрамовна, дрова я сложила.

Рахиль. Ну, зайдешь, Лушенька, я тебе заплачу... Ну-ка дай мне твоя лялька... *(Берет ребенка.)* Как его зовут?

Луша. Тина...

Рахиль *(улыбается)*. Тиночка... Агу, агу... Ой, пока эти дети вырастают... Я помню, как я была беременна Рузей, как вчера это было, а уже семнадцать лет... Мэйлэ... Ладно... Помню, как я сидела на балкон, выпила стакан молока, мне стало плохо, и Капцан, это мой покойный муж, отвез меня в роддом... Ой, вэй з мир... Тиночка, агу, агу... Луша, но это не от немца? А то как я держу ее на руках, вот так я ее брошу на землю...

Луша. Что вы, Рахиль Абрамовна... Тут один наш русский работал в комендатуре истопником...

Рахиль *(улыбается)*. Тиночка, агу, агу...

Дуня. Так, Рахиль, что мне Тайберу сказать?

Макар Евгеньевич. А что говорить? Я считаю, пусть познакомятся молодые.

Рахиль *(вздыхает)*. Пусть познакомятся, в добрый час...

Злота *(кричит с веранды)*. Рухл, мясо на мясорубку делать?

Рахиль *(отдает ребенка Луше)*. Вот она мне кричит... *(Поднимается на веранду.)* Малоумная, вус шрайсте? Что ты кричишь? Гоем должны знать, что у нас есть дома мясо?

Злота *(хватается за лицо)*. Боже мой, боже мой, она пьет мою кровь... *(Уходит.)*

Рахиль *(сердито про себя)*. Злоте-хухем... Злота-умница... Кричит на весь двор... Гоем должны знать, что у нас есть дома мясо... У меня они бы знали, что в заднице темно, больше ничего... *(Уходит.)*

Из-за сараев показывается Витька, весь в крови.

Витька *(смеется)*. Я уже получил. *(Прикасается к волосам и показывает Макару Евгеньевичу красную, окровавленную ладонь. Смеется.)* Макар Евгеньевич, я уже получил...

*Занавес*



### КАРТИНА 3-я

В большой комнате накрыт стол в духе роскоши 46-го года. Стоят эмалированные блюда с оладьями из черной муки, тарелка тюльки, несколько банок американского сгущенного молока, жареные котлеты горкой на блюде посреди стола, картошка в мундире, рыбные консервы, бутылки сидро и бутыл спирта. У окна обновка — тумбочка с выдвигаемыми ящиками, на ней приемник с проигрывателем «Рекорд». В углу елка, украшенная бумажными цветами и ватой. За столом Рахиль, Сумер, его жена Зина, Пынчик — крепкий низенький майор в орденах и медалях, Дуня, Макар Евгеньевич, Рузя, Миля, его мать Броня Михайловна Тайбер, его отец Григорий Хаимович Тайбер, Люся, Виля. Злота ходит по кухне, гремит посудой, иногда показывается в дверях.

Григорий Хаимович (*весело*). Давайте выпьем еще. (*Чокается с Дуней.*)

Макар Евгеньевич (*смеется, грозит пальцем*). Григорий Хаимович, здесь муж присутствует. Броня Михайловна, вы заметили? Тут будут две свадьбы: Миля с Рузей и Григорий Хаимович с моей Дуней.

Броня Михайловна (*смеется*). Ничего, я ему разрешаю. А я к сыну перееду и буду жить у Рахили Абрамовны.

Рахиль. Пожалуйста. Мне никто не тяжелый на голове.

Дуня (*смеется*). Люблю одесских евреев, они веселые.

Рахиль. Бердичевские евреи тоже веселые. (*Берет тюльку, начинает ее медленно жевать. К Виле.*) Возьми тюльку.

Виля (*тихо*). Не хочу.

Рахиль. Не хочешь, так не надо.

Григорий Хаимович (*с красным лицом, поет*). «Лозлыбен ховер Сталин, ай-йя-йя-йя, ай...»

Миля (*парень с бритым футбольным затылком*). Э, батя, так не пойдет. Где больше двух, говорят вслух. (*К майору.*) Правильно, Петр Соломонович? Где больше двух, говорят вслух. А тут за столом две нации.

Григорий Хаимович. Но это еврейская песня о Сталине.

Пынчик. Не Сталин, а товарищ Сталин...

Макар Евгеньевич. Раз еврейская песня, значит, надо петь по-еврейски. У нас все нации равны. А ты, Миля, переводи мне.

Рахиль. Я эта песня тоже знаю, мы ее учили в клубе «Безбожник»... Ой, вэй з мир... (*Показывает на Рузю.*) Ее покойный отец так хорошо танцевал, но когда я с ним познакомилась, я сказала: ты не будешь ходить в кружок, там сли-

шком много девушек. (*Смеется.*) Ой, вэй з мир... Такой отец у нее был.

Рузя. Ай, мама, перестань, нашла время.

Григорий Хаимович. «Лоз лыбен хOVER Сталин, ай-й-й-й-й, ай...»

Рахиль (*подхватывает*). «Фар дем лыбен, фар дем наем, ай-й-й-й-й...»

Миля (*переводит*). «Пусть живет товарищ Сталин, ай-й-й-й-й, ай... За жизнь за новую, ай-й-й-й-й...»

Рахиль. «Фар Октобер революции, ай-й-й-й-й, ай... Фар дер Сталинс конституци, ай-й-й-й-й...»

Миля. «За Октябрьскую революцию, за Сталинскую Конституцию...»

Сумер (*в такт поющим*). «Лaх, лaх, лaхес... Лaх, лaх, лaхес...»

Дуня. А это что за песня?

Сумер. Это еще при Николае, когда я служил, вся рота пела, а я кричал: лaх, лaх, лaхес... Мне унтер разрешил, потому что я иудейского вероисповедания и не могу петь русская песня. Тогда не говорили — еврей, но иудейского вероисповедания.

Макар Евгеньевич. Так это ведь еврейская песня.

Сумер. Еврейская? Я ее не знаю. (*Смеется.*) Я знаю одну хорошую еврейскую песню про неряшливую жену.

Рахиль. У меня брат очень веселый... Он хойзекмахер... Он большой насмешник.

Зина. Но когда над кем-то надо смеяться. Когда над ним смеются, он не любит. Сейчас я вам расскажу про мой муж. Когда я с ним иду в кино, и, только тушат свет, чтоб пустить картина, он сразу засыпает. Недавно он во сне раздел в кино галоши и забыл их там.

Сумер (*Зине*). Ты лучше расскажи, как ты прятала мои папиросы... Она не хочет, чтоб я курил, так я спрятал папиросы в ее туфли, и она не могла найти. (*Смеется.*)

Макар Евгеньевич. Товарищ майор, скажите тост, а то народ заскучал.

Рахиль. Пынчик, скажи тост, чтоб мы были здоровы...

Макар Евгеньевич. Тосты нельзя подсказывать со стороны.

Рахиль. Мы не со стороны. Он майор, но для нас он Пынчик. Это наш двоюродный брат из местечка Чуднов. Ой, боже мой, там всех его родных убили, а он был на фронт и остался живой. Ты помнишь тетю Элька, Пынчик?

Пынчик. А что же, я не помню тетю Эльку?.. Колхозница, передовик.

Рахиль. Ой, какая она была колхозница... Чуть что, она председателю колхоза кричала: «Ты мне з Эльки не скинешь...» Она только по-украински говорила и по-еврейски. По-русски она говорить не умела... Вот Злота ее хорошо помнит... Злота, чего ты там на кухне сидишь? (*К Рузе.*) Рузичка, чего ты молчишь?

Броня Михайловна. Она показывает свою скромность.

Григорий Хаимович. Молчаливая жена — это клад. (*К Миле.*) Мой сын, тебе повезло.

Миля. Мне всегда везет... Знаете анекдот?.. «Арон, ты играешь на тромбон?» — «Я нет, но мой брат да...» — «Что да?» — «Тоже не играет». (*Смеется.*)

Дуня. Люблю одесситов.

Макар Евгеньевич (*запевает, все подхватывают, кроме Сумера*). «Если на празднике с нами встречается несколько старых друзей, все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей».

Рахиль (*у двери, тихо*). Злота, куда ты несешь котлеты? Ведь есть на столе.

Злота. Это твои котлеты, а это мои котлеты.

Рахиль. Вэй з мир... Ведь стыдно перед людьми... Болычка на тебя, ведь перед людьми стыдно.

Пынчик (*поет*). «Встанем, товарищи, выпьем за Сталина, за богатырский народ, выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот...»

Рахиль. Я совсем забыла одеть свои медали... В прошлый месяц меня вызвали в военкомат и вручили две медали: «За победу над Германией» и «За доблестный труд». (*Достает из ящичка медали.*) Всю войну я работала в пехотном училище. Я мыла на кухне такие котлы. Каждый котел как гора. Но зато мои дети имели лишний кусок каши.

Люся. Мама дай я тебе одену медали. (*Цепляет медали на платье Рахили, смеется, целует Рахиль.*)

Рахиль (*смеется*). Ну, Сумер, что ты скажешь? Ну, Пынчик... Ну, дети... Вы думаете, что ваша мама какой-нибудь елд... Какой-нибудь дурак... Ну, Сумер, что ты скажешь?

Сумер. Я скажу, что я уже забыл, ты никогда не будешь знать.

Рахиль. Что мне надо, я знаю, а что мне не надо, я не хочу знать. Правильно я говорю, Пынчик? Ты ж майор, был на фронт, живешь в Риге...

Пынчик (*с красным от спирта лицом поет*). «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто погибал на снегу; кто в Ленинград пробирался болотами, в горло вгрызаясь врагу...»

Злота (*ставит перед Вилей котлеты*). Кушай, Виля...  
И вот, пей ситро.

Виля. Не хочу.

Рахиль (*Злоте, тихо*). Хорошо он тебе сказал, я довольна. (*Сумеру*.) Она ему дает котлеты, он ей говорит: не хочу...

Виля (*тихо*). Заткнись.

Рахиль. Чтоб тебе рот вывернуло.

Миля (*Рахили*). Теща, может, вы к нам подойдете... А то вы где-то ходите... Сядьте рядом со мной и Рузичкой...

Пынчик (*встает*). Товарищи! Уже месяц, как первый послевоенный 1946 год вступил на нашу советскую землю. И так радостно, что сейчас именно создается счастливая послевоенная семья. За это мы воевали, за это, Рузя, погиб твой отец, за это я имею пять ранений... Рузя и Миля, за ваше здорье!

Макар Евгеньевич. Горько!

Миля и Рузя целуются.

Рахиль. Ой, вэй з мир. (*Плачет*.)

Дуня. Ничего, материнские слезы святые.

Рахиль (*сквозь слезы*). Ой, Дуня, мне так тяжело на сердце. Если б ее отец дожил... Мне так тяжело...

Дуня. Ничего, тяжело, да приятно... Своя ноша — дитя...

Макар Евгеньевич. Горько!

Миля и Рузя целуются.

Виля (*исподтишка*). Борька!

Миля и Рузя целуются.

Борька!

Миля и Рузя целуются.

Рахиль (*тихо*). Болячка на тебя... Мы шрайт «горько!», а он кричит «Борька»...

Виля (*смеется*). Я Борьку Макзаника зову... Борька!

Миля и Рузя целуются. Люся что-то говорит на ухо Рахили.

Рахиль. Сейчас моя младшая дочка Люся, чтоб мне было за ее кости, устроит концерт.

Люся (*поет*). Эх, чиш, чиш, чиш, ну-ка, Люся, начинай... «Над странною вьются флаги, украшают дали, нам зажиточную жизнь дал товарищ Сталин...»

Рахиль (*аплодирует*). Мне за тебя, как она хорошо поет.

Зина. А мама цветет. Ничего, хорошая невеста растет. Двери от женихов не будут закрываться.

Дуня. Хорошая у тебя тюлька, Рахиль Абрамовна. И спирт хороший.

Рахиль. У меня все есть, я умею угостить. Я когда работала в столовой НКВД, так начальник НКВД, товарищ Сниткин, очень любил, когда я накрывала на стол. Я ставила всегда много тарелок. Пусть на тарелке дуля была, но много тарелок. *(Смеется.)* Вот здесь за стеной живут некие Бронфенмахеры, так прошлым летом они хотели пробить на мою кухню стенку и ходить через меня с помойными ведрами... Но я им дала помойные ведра...

Рузя. Ой, мама, к чему ты это сейчас говоришь?..

Рахиль. Я знаю к чему, моя доченька. Ты только теперь выходишь замуж, а я знаю, почем фунт лиха.

Миля *(Рахили)*. Действительно, мама, непонятно, что вы имеете в виду? При чем тут Бронфенмахер? Мало ли плохих людей на свете, так при чем тут мы, правда, Рузя? *(Смеется.)*

Рахиль. Я в том смысле, что, когда мы были молодые, у нас была компания. Был этот Бронфенмахер и Капцан, Рузичкин отец, работник типографии, и Велвел Файнгелерент, и Зюня Фарштейндикер... Я всех помню. Так эта Беба меня так ревновала к Бронфенмахеру *(смеется)*, а теперь она говорит: эйжа, но твой муж убит. *(Плачет.)*

Рузя *(сердито)*. Мама, перестань.

Миля. Действительно. На свадьбе полагается рассказывать анекдоты, а не вспоминать неприятности.

Зина. Сейчас я вам расскажу анекдот про мой муж Сумер. Когда он идет со мной в кино, он всегда спит. Потом на экране выстрелили, он проснулся... Сумер, про что картина? Он говорит: «Мы гейт арайн, мы шлуфцех ойс, мы тит а шис, мы гейт аройс». *(Смеется.)*

Миля *(смеется)*. Вы поняли, Макар Евгеньевич? Про что картина? Заходят, высыпаются. Когда выстрелят, тогда выходят...

Сумер. А я вам сейчас про моя жена Зина спою еврейскую песню... «От ци гехопт ды олте шкробес, ын ыз авек цым тотен аф дым шобес... От а ид а вабеле, отер гройсе цурес, аз зи ыз ашинкерын, тейг зи аф капурес...»

Миля *(смеется)*. Вы поняли, Макар Евгеньевич? «Она схватила старые туфли и побежала к отцу своему на субботу», и припев: «Имеет еврей женушку, так имсет он большое горе, когда она неряха, она годится только, чтоб ее выбросить...» Вернее, чтоб принести ее в жертву... Ну, тут непереводаемо... В общем, она никуда не годится. Я правильно перевожу, дядя Сумер?

Сумер (*смеется*). Правильно, правильно.

Макар Евгеньевич. А вы эту еврейскую песню знаете: «Ой, разменяйте вы мне сорок миллионов и дайте мне билетик на Бердичев». (*Смеется*.) Я ведь среди евреев вырос.

Григорий Хаимович (*поет и стучит вилкой по металлической тарелке с блинами*). «Их бын гефурен кын Одесс, лечын ды мазолис. Чай пила, закусила тейглех мыт фасолис...»

Миля (*смеется*). Вы поняли, что мой папа поет, Макар Евгеньевич? «Я поехал в Одессу лечить свои мозоли, чай пила, закусила галушки с фасолью».

Дуня. Люблю одесских евреев. (*Хочочет*.)

Сумер. Злота, дай мне твою котлету... Я котлету Рухеле кушать не хочу.

Рахиль (*Миле*). Ты знаешь, сколько Сумер и Зина уже живут вместе? С 23-го года. А какой у них был сын Изя, золото, а не сын, такой мальчик... Ой, убили на фронт... (*Плачет*.)

Рузя (*сердито*). Мама, перестань... У меня свадьба или похороны? Что ты меня оплакиваешь...

Миля. Ты, Рузя, тоже не права. Это мы виноваты, что маме на нашей свадьбе грустно. У нас в Одессе всегда на свадьбе рассказывают анекдоты.

Сумер. В 23-м году я имел свой магазин, как поворачивают на Житомирскую, на углу. Как заходят в переулок, сразу стоит дом. Так было раскулачивание. Так пришли босые шкуцем... Босые жлоба из села, и один говорит другому: это твой размер, Иван,— одевай. А это твой, Степан,— одевай. А это твой, Мыкыта?.. У меня висели в магазине хорошие кожаные куртки, так они все надели на себя.

Рахиль. Ай, Сумер, ты еще не изжил психика капиталиста. Но советская власть ведь дала тебе работу. Ты заведующий в артель. Правильно я говорю, Пынчик? Вот Пынчик при советская власть сделался большой человек, майор. Он живет в Риге. А кем был его отец до революции? Бедняк. Ты, Сумер, помнишь, что в двадцать третьем году содержал магазин от вещи, но ты не помнишь, как наша мама лышулэм, покойная мама поставила сколько раз в печку горшки с водой, потому что варить ей было нечего, и было стыдно перед соседями, что ей нечего варить. Так что ставила горшки с водой, чтобы соседи думали, что у нас что-то варится.

Злота. Таки до революции были бедные и были богатые.

Сумер. А при советской власти разве нет бедных и богатых? (*Смеется*.) Я одно знаю, что в 23-м году меня хорошо поломали. Пришли босые жлоба...

Рахиль. Сумер, если ты так будешь говорить, Макар Евгеньевич подумает, что ты большой контрреволюционер. Что ты враг народа. Тебе надо горе?

Сумер. У Макара Евгеньевича отец до революции держал извоз, гужевой транспорт. Что я, не помню?

Макар Евгеньевич (*с красным от спирта лицом*). После революции я всех лошадей советской власти передал, а сам в Первой Конной служил. Стрелять я не любил, а вот ближний бой я любил... Рубка. (*Кричит.*) Шашки наголо!

Злота. Ой, вэй з мир... Я спугалась...

Рахиль. Злота, человек же рассказывает, что ж ты кричишь: вэй з мир.

Макар Евгеньевич. А лучше всего атака с казачьими пиками наперевес. Только надо уметь колоть, иначе руку собственная пика поломает. Какпустишь пику вперед и чуть приподнимешь, белополяк летит через тебя...

Злота (*кушает котлету*). Я помню, как в пятнадцатом году в гастроном у Суры Кац на Поперечной улице была забастовка. Рабочие хотели иметь больше зарплату и ходили с плакатами из дикта...

Броня Михайловна. Это я тоже помню. Говорили, что Сура Кац спросила, почему они бастуют. Ей говорят: у них нет хлеба. Нет хлеба, так пусть кушают булочки. (*Смеется.*)

Рахиль. Что ты говоришь про Суру Кац? Это капиталистка. Но у нас есть двоюродная сестра Быля, так она даже не пришла к Рузичке на свадьбу. Так не надо.

Злота. Ай, Рухл, я не люблю, когда так говорят. Она беременная на последнем месяце.

Пынчик. Я был у них, она скоро должна рожать.

Злота. Я к ней ничего не имею. И к Йойне я ничего не имею.

Рахиль. Быля думает, что если ее Йойна работает в лагере военнопленных по снабжению, так она большой человек. Чего она к нам придет, мы же не доктора. Она только с докторами имеет дело. Слышите, Макар Евгеньевич, она очень большая у себя. Она дует от себя. А кто она такая? Клейнштытэддыке... Она местечковая...

Макар Евгеньевич. Да, есть такие люди. Как говорится у нас, у русских: «Не дай бог с хама пана».

Злота. Она очень хорошая. Я Доня с правдой...

Рахиль. Злота, не говори с полным ртом.

Злота (*Сумеру, тихо*). Ну, она рвет от меня куски.

Сумер. Кушай, Злота, кушай.

Миля (*смеется*). Рузичка мне рассказала очень смешной анекдот. Рузя, ну, расскажи всем!

Рузя. Ай, всем я не могу...

Григорий Хаимович. Ну, расскажи, Рузя... А после анекдота еще выпьем.

Рузя. В общем, один еврей пошел в баню...

Дуня (*смеется*). Уже смешно...

Рузя (*говорит медленно, глядя перед собой*). В общем, он приходит... И ищет свою жилетку... Нет, он сначала помылся, оделся, пришел домой... Его спрашивают: где жилетка? Он говорит: я не знаю. Тогда его спрашивают: где ты был? Он говорит: в бане...

Сумер. Ну, дым шпыц... Конец...

Миля. Что вы ее подгоняете, дядя Сумер...

Макар Евгеньевич. Это один набожный еврей, раввин, приходит домой и кричит: разве это дом, это бардак... Ой, я вспомнил, где забыл свой зонтик. (*Смех.*)

Рузя. Нет, когда еврей этот одевался после бани, он одел жилетку на голое тело. А сверху рубашку. И приходит домой. Его спрашивают: где ты был? В бане...

Сумер. Ну, дым шпыц... Конец...

Злота. Я тоже знаю анекдот... Это еще до войны, когда Молотов встретился с Гитлер, так Молотов зашел: «Страна моя...», тогда Гитлер сзади его выставил ему язык и зашел: «Москва моя...» (*Смеется.*)

Пынчик. И все-таки не Гитлер в Москве, а мы в Берлине.

Рахиль. Злота, ты что, пьяная? Ди быст шикер? Что за анекдоты ты рассказываешь?

Злота. Ну, я не могу... Она всегда хочет быть надо мной хозяйкой... У нас был сосед, так он очень смешно рассказывал этот анекдот.

Миля. А кто по национальности был этот сосед?

Злота. Что? Он был парикмахер.

Рахиль. Она совсем глухая.

Злота. Почему я глухая?

Миля (*смеется*). Действительно, почему она глухая? Она очень правильно ответила на мой вопрос. Я ее спросил, какой он национальности, она говорит — парикмахер...

Рузя. Я вспомнила... Этот еврей, когда пошел опять в баню, он нашел свою жилетку. Она была одета на голое тело под рубашкой. Но в баню он пошел только через год.

Миля. Нет, Рузичка, вот я закончу. Один еврей потерял жилетку, а нашел ее только через год... Почему? Потому что



он надел ее на голое тело, а через год, когда пошел опять в баню, так он ее нашел.

Григорий Хаимович. А этот анекдот вы знаете? Хотя это не анекдот, а загадка... Штейт эйнер ун флвйшн ын ун бейнер. Мы титт а кик, ыз ныту кэйнер...

Миля (*смеется*). Макар Евгеньевич, вы поняли? Стоит один без мяса и костей, когда посмотрят, так никого нет. Что это? Я вам сейчас задам русскую загадку, так вы поймете еврейскую. Разреши загадку и реши вопрос, что стреляет в пятку, а попадает в нос... (*Смеется.*) Вы поняли, без мяса и костей, но это чувствуешь носом. (*Смеется.*)

Люся. Рузя, давай лучше про Хаима и Хайку.

Рахиль (*Люсе*). Ой, чтоб мне было за тебя, моя сладкая девочка...

Рузя. Ты начни.

Люся. Хаим и Хайка сидели на дах. И объяснялись в любях. Хаим, ты меня любишь?

Рузя. Обязательно.

Люся. Хаим, я красивая?

Рузя. Очаровательно.

Люся. Давай же поженимся.

Рузя. Сиди и не гавкай, как собака. (*Смех, аплодисменты.*)

Рахиль. Ой, чтоб то, что должно быть вам на одном пальчике, мне было на всем теле.

Зина. Ён ды моме квелт... Мама радуется...

Злота. Ну, она мама... Слава богу, что дожили Рузю выдать замуж.

Миля. Давайте танцевать.

Рахиль. Вот я сейчас включу проигрыватель.

Миля. Поставьте какой-нибудь вальс.

Рахиль (*Рузе, тихо*). Рузя, но он тебе нравится?

Рузя. Ничего паренек...

Миля. Поставьте «Темная ночь»...

Виля (*поет*). «В темную ночь по Бердичеву страшно ходить, потому что разденут тебя до последних штанишек...»

Пынчик (*Виле, строго*). Только не надо глупить... Эта песня помогала нам воевать... Мальчишка...

Рахиль. Ой, Пынчик, что я от него имею. Он мне кричит: заткнись, кричит: дура, кричит: оторвись...

Злота. Ай, Рахиль, я не люблю эти разговоры.

Рахиль. Вот так она его всегда защищает.

Пынчик. Я б его отправил в ФЗУ. Пусть научится труду, приобретет специальность токаря или слесаря.

Злота (*сердито*). Пусть ваши дети будут слесари, а Виля

еще будет большой человек, большой врач или большой профессор, как его отец. Люди еще лопнут, глядя на него.

Рахиль. Пынчик, ты ж майор, у тебя столько орденов, и ты ничего не можешь сказать... Так что я могу сказать, если у меня только две медали. *(Смеется.)* Я у него не имею авторитет.

Пынчик. Если б это был мой сын, я б его научил труду. Еврей должен трудиться в два раза лучше русского, тогда его будут уважать.

Сумер. Почему в два раза лучше, у нас же равноправие?

Миля. Включите, Рахиль Абрамовна, проигрыватель.

Рахиль включает, ставит пластинку. Звучит «Темная ночь», Миля и Рузя танцуют. Макар Евгеньевич танцует с Дуней.

Люся *(Виле)*. Пойдем потанцуем.

Виля. Не хочу.

Рахиль *(тихо)*. Ох, этот шмок... Люсинька, пригласи Григория Хаимовича. Я надеюсь, Броня Михайловна не будет ревновать. *(Смеется.)*

Григорий Хаимович. С такой красивой девочкой я танцевал последний раз сорок лет назад.

Люся и Григорий Хаимович танцуют. Григорий Хаимович спотыкается.

Сумер *(тихо)*. Он умеет танцевать наравне со мной.

Пынчик *(Рахили)*. Прошу...

Рахиль. Ой, я уже все забыла. *(Танцуют.)* Ничего... Что ты думаешь, Пынчик, я всегда была такая... Я когда шла танцевать с Капцаном, так все смотрели. Почему, ты думаешь, Люся так хорошо танцует, чтоб мне было за ее кости? Это папа ее хорошо танцевал. *(Стук в дверь.)* Ой, кто это?

Злота. Ой, это, кажется, ко мне заказчица...

Рахиль *(кричит)*. Что значит заказчица, что ты, не могла ей назначить на другой день? У Рузички свадьба, где ж ты ей будешь мерить?

Злота. Я никому не назначала, но может человек перепутать. *(Стук в дверь сильнее.)* Сейчас я открою, я посмотрю. *(Уходит.)*

Рахиль. Ой, я имею от нее с ее заказчицами отрезанные годы. Когда-нибудь придет фининспектор и сделает меня несчастной. Перепишет всю мебель. *(В передней крик Злоты.)* Ой, что такое, Злота... Вэй з мир...

Рахиль бежит к дверям, но раньше чем она успела подбежать, в дверь входит Сергей Бойко. Вид его страшен. Несмотря на мороз, он

в одних трусах, длинных до колен, на нем нет даже майки. К голой своей груди он прижимает грудного младенца, закутанного в одеяло, и при этом постоянно монотонно кивает головой. Немая сцена.

Пынчик. Это кто такой?

Рахиль. Ах ты, сукин сын... Вот так, как я держу руку, я тебе войду в лицо. Это один пьяница снизу... Ах ты, сукин сын, что ты ко мне пришел? Что тебе от меня надо? Это тут внизу живет Фаня, еврейка, так она замуж за этим пьяниц... Как он ее бьет, кричит ей: жидовка... Ах ты, сукин сын, уйди, чтоб тебе не видать... И ребенок с собой принес... А где Фаня? Во время войны он ее прятал от немцев, а теперь он ей кричит: жидовка...

Рузя. Эту Фаню тоже надо гнать... Она к нам приходит, жалуется на него, а потом идет вниз и кричит, что мы жида...

Миля. Я его сейчас вытащу за шиворот.

Макар Евгеньевич. Так у него же шиворота нет, он же голый... Что, Сергей, до чертиков допился? Он, наверно, Фаню пришел искать. Здесь Фани нет, иди домой, Сергей, проспись... Чего ты головой все время киваешь, как контуженный?

Дуня. Надо забрать у него ребенка, а то уронит. Ах, бесстыжий, в одних трусах по морозу бегать. Чего молчишь? Давай ребенка... Здесь Фани нет...

Сергей, продолжая кивать головой, отдает Дуне ребенка.

Сергей (*заикаясь*). Тетя Дуня, Макар Евгеньевич, Рахиль Абрамовна... Фаня повесилась... Я просыпаюсь, она висит... Я Мишку взял и сюда пошел...

Рахиль (*кричит*). Ой-ой-ой!

Общий крик и замешательство.

Дуня. Когда повесилась? Побежали, может, спасти можно?

Сергей (*кивает все время головой*). Нет... Холодная уже... Синяя...

Сергей. Зоя у Луши ночевала. Она не знает еще... Ой, она без матери не сможет... (*Кивает головой.*)

Макар Евгеньевич. Побежали быстрее, может, спасем... «Скорую» надо...

Сергей (*плачет*). Нет, синяя уже...

Дуня. Пойдем, Сергей, пойдем...

Макар Евгеньевич, Сергей и Дуня с ребенком на руках уходят.

Пынчик. Я пойду, может, помочь надо...

Рахиль. Пынчик, чтоб ты мне был здоров, без тебя обойдется... Так это должно было случиться в день Рузичкиной свадьбы. *(Плачет.)*

Злота *(плачет)*. Такая хорошая женщина была Фаня, такая молодая, такая красивая. Я ее помню совсем девочкой. При немцах выжила, а теперь повесилась. Боже мой, Боже мой, такая хорошая женщина. Она мне всегда говорила: здрастье, как ваше здоровье, тетя Злота?..

Рахиль. Так это должно было случиться на свадьбу моей Рузи. *(С улицы слышны крики и плач.)* Ой, Боже мой, Боже мой, это Зоя плачет. Раньше этот гой кричал Фане: жидовская морда, а теперь он прибежал голый... Чтоб его убило деревом...

Злота *(плачет)*. Зачем ты его проклинаешь? Он гой, но он отец двух детей. Он их теперь должен воспитывать. Боже мой, боже мой, эта Фаня стоит мне перед глазами.

Рахиль. Ой, майн мозел... Мое счастье... Люся, выключи пластинка, поломается проигрыватель.

Миля *(Рахили)*. Успокойтесь, мама, ничего нельзя поделать... Тем более говорят, что покойник — это к добру... Значит, мы с Рузичкой будем счастливы...

*Занавес*

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

### КАРТИНА 4-я

В большой комнате сделаны перестановки. У окна стоит старая швейная машина с ножным приводом, перенесенная из спальни. Здесь же две железные койки, отчего комната стала теснее. Из спальни видна спинка новой никелированной кровати с шишечками. Исчезла тумбочка со стоящим на ней приемником «Рекорд», очевидно, перенесенная в спальню. За столом сидят Виля и Люся и играют шашками в чапаевцев, то есть щелчком по своей шашке стараются вышибить с доски шашку противника. Рядом за столом сидит Сумер в зимнем пальто, в ушанке и спит, опустив голову на грудь. Тут же сидит Рахиль. Перед зеркалом Злота примеряет платье Быле, своей двоюродной сестре, черноволосой женщине лет 35-ти.

Злота *(поет)*. «Тира-ра-рой... Птичечка, пой...» Тут будет встречная складка...

Рахиль. Быля, ты ж меня знаешь, если я говорю, так это сказано. Рузя должна была избавиться от этого одесского вора еще два года назад... Чтоб ему сохла и болела каждая косточка...

Злота. Ай, Рухл, перестань проклинать...

Рахиль. Вот, Быля, защитник. Если б не этот защитник, моя дочка давно б от него избавилась.

Злота (*сердито*). Это ты хотела, чтобы Рузя вышла замуж, я была против. Я сказала, Рузя должна кончить техникум.

Быля. Злотка, не нервничай, Злотка...

Рахиль. Кончать техникум... Разве это заметно, кончать техникум?..

Злота. Да... Я очень правильная... Я Доня с правдой... Рузе тогда было семнадцать лет, а ты сказала, я не имею откуда ее содержать. (*Плачет.*)

Быля. Злотка, не нервничай, Злотка...

Рахиль. Быля, ты же знаешь, если я сказала, так это сказала. Ты Злоту не слушай. Рузя не хотела учиться, она имела одни двойки. Если б она хотела учиться, я б нашла, откуда ее содержать. Я б ела кусок хлеба с водой. (*Плачет.*)

Быля. Рахилька, что можно сделать, Рахилька?.. Это еще не самое плохое... У людей бывает такое горе... Возьмите ваших соседей, Бронфенмахеров...

Злота. Ой, я не могу выдержать. Когда пришли и сказали, что на них наехала машин и разрешила Беба на кусочки, а Бронфенмахер лежит в больнице, я три дня плакала. (*Плачет.*) Как раз на Первое мая... А уже декабрь...

Рахиль. Ой, вэй з мир, Беба уже восемь месяцев лежит в земле... Я Беба и Бронфенмахера знала с 1926 года...

Злота (*кричит Рахили*). Это ты их прокляла... Я Доня с правдой...

Рахиль. Ну, Быля, так от нее можно выдержать... Если б моя сестра могла на меня сказать, что я Гитлер, так она бы это сказала... Тут два года назад, как раз на Рузичкиной свадьбе, в недобрый час повесилась Фаня Бойко... Так если б Злота могла сказать, что я ее повесила, она б сказала.

Быля. Да, я слышала, в городе говорили, в городе... Он ее прятал при немцах, не выдал ее, а потом он ее бил и кричал ей: жидовская морда, он ей кричал... Я слышала...

Злота. Ой, эта Фаня стоит мне перед глазами... И как этот гой прибежал поздно вечером голый по снегу и плакал...

Рахиль. Вот так Миля должен бегать... Только без моей Рузи. Моя Рузя пусть будет жива и здорова, а Миля должен танцевать перделемешка...

Злота. Ах, ну она его ненавидит...

Люся (*смеется*). Сумер, перестань храпеть.

Рахиль. Это называется, что он пришел в гости к сестрам... Раньше этого не было. Вот так, Быля, он приходит

иногда в семь часов утра, иногда вечером, когда у него есть время. Так одетый сядет, выспится у стола и уходит. Сумер, перестань храпеть...

Злота (*подходит и трогает Сумера за плечо*). Сумер, разденься, ляжь на диван. Ты же выйдешь на улицу и простудишься.

Сумер (*просыпается и кричит сердито*). Идите вы обе к черным годам... Чего вы меня трогаете...

Злота. Ой, вэй з мир...

Рахиль. Вот вы имеете еще одного сумасшедшего.

Сумер. Если б этот сумасшедший не кормил вас в Средней Азии, вы бы все сдохли с голоду. Я их нашел в чайхана, когда их привезли. Они все сидели закутанные в тряпки, в старые одеяла. (*Смеется.*)

Виля (*нервно кричит*). Ты и твоя Зина во время войны жрали булочки и шоколад.

Злота. Ша, Виля, ты не кричи...

Виля (*Злоте*). Сама заткнись...

Рахиль. Что ты скажешь, Быля... Хорошо, я рада... (*К Виле.*) Ты, сморкач, вот так, как я держу руку, так я тебе войду в лицо.

Злота. Ша, Рахиль... Чуть что — я тебе дам, я тебе дам...

Рахиль. Ну, раз так, пусть он тебе сядет на голову, я ничего не скажу.

Виля разбрасывает шашки и идет на кухню, слышно, как он одевается. Злота идет след.

Злота. Куда ты идешь, надо ведь ужинать?

Виля. Не твое дело, куда надо, туда иду. (*Выходит.*)

Рахиль. Пусть он идет, станет голодным, придет... Это второй Милечка растег... Несчастливая женщина, которая попадет к нему в руки...

Злота. Про своих детей так говори. Виля еще будет большой человек. Люди еще лопнут, глядя на него.

Быля. Здесь-таки сумасшедший дом, здесь-таки...

Сумер. И они еще меня называют сумасшедшим. Я еще плохой. Если б я не кормил их в Средней Азии, они б все подошли с голоду.

Рахиль (*Сумеру*). Азой... Ты нас кормил? Быля, когда Злота была больная, он не дал ни копейки...

Сумер. А кто ей купил швейную машинку? (*К Злоте.*) Кто тебе купил швейную машину?.. Человек должен сам себе зарабатывать...

На улице слышен смех, топот, два голоса, мужской и женский, затанули песню: «Наливайте мне да кружечку чаю, до свидания, да я въезжаю... И-и-и-и, до свидания, да я въезжаю...»

Рахиль (*смотрит в окно*). Это Сергей Бойко со Стаськой... А, реформа на вас... Чтоб из десяти стал один...

На улице Бойко поет: «Азохен вэй, сказал еврей, куплю штаны за пять рублей».

Рахиль. Как тебе нравится... Еврей азохен вэй. (*Становится на стул и кричит в форточку.*) Ты Гитлер, Гитлер!

С улицы слышен смех, и Стаська запела: «Оцем, дроцем, двадцать восемь, от а зекел бейнер...»

Злота (*Рахили*). Что ты ему говоришь: Гитлер? Если ты ему скажешь: Гитлер, он тебе скажет: жид.

Рахиль. Ничего. Это ты их боишься, а я их не боюсь... Реформа на них... Тут снизу живет Стаська, полячка, так она говорит по-еврейски... Я не люблю, когда гой говорит по-еврейски.

Быля. Злотка, через три дня на примерку, через три дня?

Злота. Через три дня... Пока их нет, переоденься в спальне...

Рахиль. Боже паси... Быля, чтоб ты мне была здорова, лучше на кухне переоденься. Потом Миличка скажет, что мы у него что-то взяли.

Злота. С тех пор, как они здесь живут, моим заказчицам негде переодеваться.

Быля. А где они теперь?

Рахиль. Они пошли в гости к его родителям. К Броне Михайловне и Григорию Хаимовичу. Дурное известие на их обоих: и на Броню Михайловну и на Григория Хаимовича... Плохой сон на них обоих... С тех пор как была свадьба, уже два года назад, они, может, раза три здесь были... Очень хорошо... Как я на него не могу смотреть, так я на их лица не могу смотреть. Я их ненавижу, как паука на стене.

Быля. Уже два года, уже два... Время летит... Моей Мэрочке уже полтора года... Тут как раз Пынчик был из Риги, когда я рожала...

Рахиль. Боже паси, Быля, такого зятя, как Миля.

Быля (*улыбается*). Ну, пока Мэрочка вырастет, мне чтоб было за ее кости.

Рахиль. Моя Рузя сама виновата. Когда я ее спросила: Рузя, но он тебе нравится, она мне ответила: ничего паренек... На Миля она говорит: ничего паренек... На Миля... Чтоб сей-

час, когда он возвращается от своей мамы, пусть поломают обе ноги...

Злота. Ах, смотри на эти проклятия... Я была против их свадьба, а теперь я считаю, надо все сделать, чтоб было хорошо. Рузя скоро должна рожать, у ребенка должен быть отец. Мало в нашей семье сирот? *(Плачет.)*

Быля. Злотка, не нервничай, Злотка. *(Уходит на кухню переодеться. Злота идет за ней, вытирая глаза.)*

Рахиль. Чуть что, она писяет глазами. *(К Сумеру, показывает на Люсю.)* Зато эта у меня тихая сладкая девочка. *(Целует Люсю.)*

Сумер. Люся — вылитый Капцан из типографии, его не слышно было.

Рахиль. У меня был муж — золото. Так надо было, чтоб его убило на фронт. *(Плачет.)* Если б он был жив, Рузичка никогда б не попала в плохие руки. Он имел бронь, так он сказал: я коммунист, я должен идти на фронт... Ах, Сумер, ты же помнишь, Капцан был хороший, но все годы я, а не он, вела дом, я всегда больше зарабатывала. Что он имел — зарплата из типографии.

Сумер. Давай-ка я пойду. У вас здесь кричат...

Рахиль. Сиди, Сумер, ты ж только что зашел. Я хочу с тобой поговорить. *(Понизив голос.)* Я при Быле не хочу говорить, будет знать весь город, она же сплетница.

Быля *(заглядывает)*. До свиданья, Рахиль, до свиданья, Сумер.

Рахиль *(Быле)*. Иди здоровая... Привет Йойне...

Быля. Спасибо. *(Уходит.)*

Рахиль. Как тебе нравится, Сумер, какая она большая у себя. Ходит и дует от себя.

Злота. Она всегда любит наговаривать на людей. Быля очень хорошая, я к ней ничего не имею.

Сумер *(смеется)*. Как раз попасть к Рухеле в рот...

Рахиль. Беспочуйся про свой рот, беспочуйся... Конечно, мой муж лежит в земле, а она мадам Шнеур. Вся крупа, и вся мука, и все жиры, и все, что есть хорошего в лагере военнопленных, так это у них дома. А сейчас, когда лагерь военнопленных ликвидируют, Йойна, говорят, получает назначение на вокзал, начальником ресторана. И буфеты у него будут по всей линии до Казатина. Там уже он будет иметь...

Сумер *(смеется)*. Рухеле, ты всегда завидовала чужим деньгам.

Рахиль. Боже паси. Я завидовала только чужому счастью. Так с этим Милей, с этим негодяем, меня должно было так поломать.



Сумер. Мне пора идти. Если ты это мне хотела сказать, так это я уже слышал.

Рахиль. Ах, брат называется. Ни о чем с ним нельзя поговорить.

Злота. Что-то Вили долго нет, я уже беспокоюсь.

Рахиль. Никуда не денется твое сокровище, не волнуйся. Он еще тебе и мне сегодня даст пару дуль и скажет: дура, заткнись.

Злота. Ничего... Он хороший, только он слишком быстрый... Если б его мать и отец были живы, все было б по-другому... Я б жила с ними в Киев. *(Плачет.)*

Рахиль. Злота, дай, чтоб отдохнули от тебя уши... Сумер, я имею от нее отрезанные годы.

Сумер. Так ты будешь говорить, или я ухожу...

Рахиль. Ты помнишь, что я рассказывала тебе про мое несчастье, что залезли в магазин ко мне и украли продукты?

Сумер. Ну, помню. Так ты же говорила, что уже все в порядке.

Рахиль. Подожди, что я тебе скажу. У меня не может быть беспорядка... Что я, воровка? Если мне надо что-нибудь взять, так они у меня могут знать, что темно в заднице. *(Смеется.)* Перед реформа был как раз партактив по поводу работа с населением во время реформы... Так ты ж понимаешь, что на партактив завезли те еще продукты... Так залезли и взяли водка, колбаса, вино... Сахар не взяли, сукно тоже не взяли...

Сумер. А воров поймали?

Рахиль. Нет, их пока не поймали... Ничего... Мы закрылись на переучет... Пошел Фрум, ты знаешь Фрума?

Сумер. А что, я не знаю Фрума? Мы еще были пацаны, так я его знал... Мы с ним писали в одну ямку. *(Смеется.)*

Злота. Ты и Рахиль — два грубияна.

Рахиль. Все у нее грубияны, только она хорошая.

Сумер. Ты будешь рассказывать, или я пойду...

Рахиль. Пошел Фрум, чтоб он ходил в последний раз, чтоб на него наехала машина и разрежала на кусочки, пошел Фрум и привел ОБХСС.

Сумер. Ну он же обязан как заведующий.

Рахиль. Ты слушай дальше. В тот день, когда было воровство, я торговала шестьдесят тысяч рублей. Ты же знаешь товарный учет. Деньги должны равняться товару.

Сумер. Ну, дым шпыц... Конец.

Рахиль. Когда Фрум, чтоб он ходил на костылях, привел ОБХСС, так мне говорят: сколько денег украли? Я говорю, деньги не взяли... Как вы знаете? Вот они... Я говорю —

вот они... Вот деньги... А я взяла в тот вечер деньги домой, и все дети у меня вместе со мной считали деньги... И Люся, и Виля, и Рузя... Вот здесь, за этим столом. Они думали, что деньги украли, а деньги есть.

Сумер. Старые деньги?

Рахиль. Конечно, старые... Это ж было перед реформой. А я ж не имела права столько торговать перед реформой. Была инструкция — перед реформой не торговать. Но если секретарь горкома Свинарец, и секретарь райкома, и прокурор, и работники горсовета набирали товар в долг на базе в течение длительного времени, и промтовары, и продукты, так они постарались перед реформой отдать долг старыми деньгами, чтоб не отдавать новыми... Ты меня понимаешь? Ой, Сумер, что я имела... Мильмана арестовали, это да.

Сумер. Про Мильмана я знаю, он имеет четыре года.

Рахиль. Но ко мне они прицепиться не смогли... Они ко мне прицепятся... Чтоб к их заднице чиряки прицепились...

Сумер. Так ведь хорошо.

Рахиль. Подожди... На прошлой неделе меня вызывают в райком... Ты Комара знаешь, инструктора райкома партии?

Сумер. Что я, не знаю Комара? Он у нас в артели шил себе пальто, так он заказал из хорошего сукна, а заплатил за третий сорт.

Рахиль. Болячки на него, чтоб он лежал парализованный... Так он меня вызывает и говорит мне: товарищ Капцан, у нас есть сведения, что вы получили из Америки от родственников пять посылок... Я ему говорю, товарищ Комар... Он меня перебивает: я не Комар, а Кóмар, ударение на «о». Я про себя думаю, чтоб тебя уже гром ударил: Это я думаю, а говорю: товарищ Комар, я никаких посылок из Америки не получала. Я там никого не имею. Я только имею коммунистическое сердце... Хорошо я ему сказала?

Сумер (*смеется*). Почему нет? Ты хорошо сказала...

Рахиль. Я говорю, здесь возле базара живет семья Капцан, но ко мне они никакого отношения не имеют, однофамильцы. Это они, наверно, получили посылки, вы проверьте. И что ты думаешь, это, действительно, так оно и есть. Почта дала в райком неправильные сведения. Фамилию назвала правильно, а имя-отчество перепутала.

Стук в дверь.

Злота. Это Виля идет, слава Богу.

Рахиль. Ша, Злота, не спеши так. Я всегда боюсь, что она упадет.

Злота (*возвращается*). Это не Виля, это Бронфенмахер. Рахиль (*тихо*). Вот ты имеешь гостя в задницу.

Входит Бронфенмахер на костылях.

Бронфенмахер. Добрый вечер.

Рахиль. Ой, когда я вижу его на костылях, я не могу жить. Я ж его знаю с двадцать пятого года, я его отца помню, они тогда жили на Малой Юридике. Хороший был еврей, красивый... Бронфенмахер, дай я помогу тебе сесть. (*Помогает ему, тот осторожно садится, ставит рядом костыли.*)

Бронфенмахер. Ничего... Гурнышт... Это оно есть... Азой идыс... Ну так, когда снимут гипс, я буду хромать... Но плохо тому, кто лежит в земле. (*Плачет.*)

Рахиль. Ой, вэй з мир. (*Плачет.*)

Злота. Беба стоит мне перед глазами. (*Плачет.*)

Сумер. Так ты на больничном, Бронфенмахер?

Бронфенмахер (*вытирает глаза платком*). Я совсем ушел из горкомхоза. Человек нужен, пока он здоров.

Рахиль. У каждого свое горе... Ты хоть знаешь, на тебя и на Беба, пусть земля ей будет пух, наехала машина, а моя Рузя... Ой, Боже мой... Так она должна была попасть в руки этих Тайберов...

Бронфенмахер. Что я, Тайберов не знаю?.. Это одесские воры... Они перед войной переехали в Бердичев, потому что на отца в Одессе готовилось дело.

Рахиль. Воры хоть должны иметь деньги... Мне говорили, что у них много денег... Где же эти деньги? Раньше они работали на Лысой горе в воинской части, теперь их оттуда выгнали... Так Миля пошел фотографом на завод «Прогресс», а сделалась реформа, так их деньги стали вообще, извините за выражение...

Бронфенмахер. Ничего, пусть развяжут чулок, у них еще должны быть золотые пятерки от Николая... Как тебе нравится, Сумер, у Тайберов нету денег? Не смешите меня... Другое дело, что это большие копеечники.

Рахиль. Ой, если б только копеечники. (*Плачет*). Моя дочь не успела...

Бронфенмахер. Ты сама виновата. У меня для Рузи был хороший жених, товарищ моего сына, тоже инженер... Рузя жила бы в Москве.

Рахиль. Кто же знал, Бронфенмахер, что такое получится?.. Разве человек хочет себе плохо? (*Плачет.*)

Бронфенмахер. Зачем тебе было спешить с замужеством Рузи?

Злота. Рузя вышла замуж в семнадцать лет. *(Плачет.)*  
Бронфенмахер *(к Рахили)*. Тебе самой, Рахиль, надо поспешить.

Рахиль. Мне? Куда мне спешить? Сумасшедший. Я уже свое отспешила. *(Смеется.)*

Бронфенмахер. Ты слышишь, Сумер, она уже отспешила. Сорок пять — баба ягодка опять.

Рахиль. Мне всего только сорок два. *(Смеется.)*

Люся *(смеется)*. Мама невеста, мама невеста...

Рахиль *(смеется)*. Они мне не позволяют... Дети...

Бронфенмахер. Вся жизнь строить на детях? Надо жить для себя тоже. Вот у меня в Москве сын, так я вижу, как он любит папу, который инвалид и ничего не может ему дать больше.

Сумер. А кто тебя обслуживает, Бронфенмахер?

Бронфенмахер. Тут одна женщина заходит, она каждый день едет из Семеновки в Бердичев мыть полы. Покупает то, что мне надо... Валя ее зовут.

Рахиль. Если она недорого берет, пришли ее ко мне. У меня сил нет мыть полы, а Рузя сейчас беременная, а Злота больная... Если бы был хороший зять, так он бы был хозяин в доме. А это пустое место. И он недоволен. Я устроила свадьбу за свой счет, я им отдала ту комната с мебель, купила новую никелированную кровать, дала радиоприемник, простыни, наволочки. Что у меня было. Так он недоволен. Он хочет, чтобы мы перебрались в маленькая комната, а ему отдали большая. *(Сгибает локоть, выставляет его перед собой и ударяет себя ладонью по локтю.)* О, фын дым бейн... Из кости он может у меня иметь... И еще он говорит, что ему здесь скучно... Ему здесь скучно... Если ему здесь скучно, пусть ползет Пайдучеру в задницу...

Сумер *(смеется)*. Люся, ты знаешь, кто такой Пайдучер? Это был знаменитый еврейский музыкант, он всегда играл веселую музыку.

Рахиль *(смеется)*. Пусть ползет Пайдучеру в задницу. Он хочет у меня большую комнату...

Злота. Это не может быть. А где мне работать? А если ко мне приходят заказчицы?

Рахиль. Ша, Злота, ты не кричи... Большую комнату он хочет у меня получить... Хочет, пусть делает губами.

Люся *(открывает и закрывает рот, смеется)*. Мама, я делаю губами.

Рахиль *(смеется, целует Люсю)*. Сладкая моя девочка... Хочет, пусть делает губами. Если я вижу какую-нибудь вкусную еду, но это не мое, я могу только делать губами.

Бронфенмахер (*смеется*). Рахиль если скажет, так это сказано.

Рахиль. Бронфенмахер, он кричит, что Рузя дает нам его деньги. (*Плачет.*) Чтоб он имел столько денег себе на похороны, сколько он нам дает.

Стук в дверь.

Злота. Это Виля. (*Уходит и возвращается с Вилей.*)

Рахиль (*плачет*). Мои дети остались без отца. (*Показывает на Вилю.*) Этот парень остался круглый сирота, сын нашей покойной сестры... Так он нам дает...

Злота. Виля, будешь ужинать? Я сейчас нагрēju котлеты с квасоля...

Рахиль. Что у нас есть, это для детей... Сумер, помнишь, до революции, когда мама сварила суп из картошки, так у нас был веселый день... Но чужого мы не брали. (*Плачет, показывает на Злоту.*) Она такая больная...

Злота (*плачет*). Я должна каждая копейка зарабатывать своими пальцами.

Рахиль. Так он нам дает... Чтоб Бог дал ему болячку в лицо... Чтоб Бог дал ему кольку в бока... Чтоб упало дерево и его покалечило... Чтоб наехала машина и разрежала его на кусочки... Я если проклинаяю человека, так это еще то проклятие...

Бронфенмахер (*начинает кашлять*). Я пойду...

Рахиль. Куда ты спешишь, Бронфенмахер? Дай я тебе помогу подняться.

Бронфенмахер. Ничего, ничего, я сам. (*Встает, опираясь на костыли, и выходит.*)

Злота (*всплескивает руками*). В моей жизни...

Рахиль. Злота, что ты плещешь в ладони? Я хотела, так я так сказала... Ты думаешь, я не помню, как два года тому назад он хотел носить через моя кухня помой? Как он подбежал и стучал в стенка, чтоб поломать и сделать на моя кухня своя дверь?.. Ты думаешь, я не помню?

Сумер (*смеется*). Но он же пришел, чтоб свататься к тебе...

Рахиль (*смеется*). Мне нужен этот старый инвалид, чтоб он мне навонял в кровати... (*Стук в дверь.*) Ша, вот они уже идут... Чтоб было тихо, чтоб никто не отзывался...

Рахиль идет открывать. Входит Миля с упрямым крепким бритым затылком. Стрижен под бокс. Рузя беременная, с большим животом. Оба, ни слова не говоря, проходят через большую комнату к себе и закрывают дверь. Слышно, как они там шепчутся. Рахиль при-

кладывает палец к губам. Злота ставит перед Вилей тарелку и сама садится к столу со своей тарелкой.

Злота (*тихо*). Виля, хочешь колбасу? (*Берет кусочек колбасы, приставляет к нему нож острой стороной, пальцем упирается на нож сверху и стучит ножом вместе с колбасой по столу.*)

Рахиль (*тихо*). Ну, я этого еще не видела, Сумер... Злота, что ты делаешь? Чтоб рубить колбасу, как рубят сахар? Злота. Как мне удобно, так я и делаю.

Рахиль. Люся, подвинься, дай им поужинать.

Сумер. Я пойду.

Злота. Сиди, куда ты спешишь? Хочешь колбасу?

Открывается дверь, на пороге появляется Миля, смотрит, как ужинают Злота и Виля.

Миля. Я уже вижу, куда денежки мои идут... На кормление тетушки и племянника.

Рузя (*сердито*). Закрой дверь! (*Подходит, втаскивает Милю за руку и закрывает дверь.*)

Рахиль. Ну, Сумер, ты слышал?

Злота. Ша, тихо...

Рахиль. Что значит — тихо... Он нас кормит. Мы всю жизнь сами кормили своих детей... И Люся, и Рузя, и Виля...

Миля (*резко открывает дверь*). Дядя Сумер, вот вы из их семьи, скажите честно, у меня здесь жизнь? В этой комнатухе?..

Рахиль. Ну, другой у меня нет... Твоя мама богатая, а я бедная... Я вдова...

Миля. Моя мама не богатая, она просто добрый человек, она гуманный человек... Если мы будем жить у нас, никогда к Рузе не будет такое отношение, как здесь ко мне... Здесь вообще невозможно жить... Тетушка, племянник, крики, скандалы...

Рахиль. Кроме тебя, здесь никто не кричит.

Миля. Вы слышите, дядя Сумер, кроме меня, здесь никто не кричит?.. Скажите честно, разве здесь у меня жизнь?

Сумер. Он таки прав.

Миля (*Рахили*). Вот ваш родной брат со мной согласен.

Рахиль. Что ты говоришь, Сумер? Он прав? Он нас кормит?

Сумер. Когда я служил при Николае, так один солдат сказал на другого, что тот съел его порцию каши... Тогда унтер велел тому сесть на параша и как скомандовал: «На-

дуйсь!», и тот таки сделал больше, чем от одной порции каши. *(Смеется.)*

Миля. Ваши семейные анекдотики мне надоели. *(Кричит.)* Я вам не мальчишка, который учится в седьмом классе... Я вам не мальчишка!

Виля. Заткнись!

Миля *(заходит в комнату)*. Я тебе дам заткнись, сопляк... Я тебе так дам, что месяц лечиться будешь...

Рахиль *(загораживает дорогу к Виле)*. Миля, если ты тронешь сирота, так что у меня есть в руке, я тебе дам по голове.

Рузя *(кричит)*. Миля, иди сюда!

Сумер. Дай-ка я уйду. *(Встает и быстро уходит.)*

Миля. Видишь, Рузя, даже их родной брат не выдерживает... В общем, так. Я здесь жить больше не могу... Одевайся, пойдем к моим родителям, будем жить там...

Гаснет свет.

Рахиль. Вот как раз электричество потухло. Это знак, что Рузе никуда не надо идти. Она беременная, куда она пойдет! *(Выглядывает на улицу.)* На всей улице темно. Только в военном доме есть свет. Сволочи, эта электростанция, то она дает свет, то выключает. Злота, где свечи?

Злота. На кухне, за печкой.

Миля. Одевайся, Рузя.

Рахиль *(входит с зажженной свечой)*. Куда она пойдет беременная, в темноту?.. Ты хочешь, иди... Тому, кому тесно, тот уходит...

Миля *(к Рахили)*. Я не с вами разговариваю.

Рахиль. Я с тобой тоже меньше всего хочу говорить... Рузя, ложись спать, уже поздно.

Миля. Рузя, так я ухожу...

Рузя. Иди, иди. *(Кричит.)* Иди!

Миля молча одевается, проходит через большую комнату и в передней сильно хлопает дверью.

Рахиль. А чтоб ему стучало в голове, как он хлопнул дверь... Давайте ложиться спать, света нету, надо спать... А он пусть идет. Но чтоб он туда не дошел и назад не вернулся. Виля, ну-ка положи книгу, у меня нет откуда платить за свечи... Надо спать... Злота, стели... *(Продолжает говорить все время, пока стелется постель.)* Пусть он идет... Ребенка мы сами воспитаем... Когда я спросила на свадьбе: «Рузичка, но он тебе нравится?», она говорит: «Ничего паре-

нек...» На Миличку она говорит: ничего паренек... Почему он не сдох до того дня, как я его узнала?

Рузя (*из соседней комнаты*). Мама, замолчи.

Рахиль. Теперь она говорит: замолчи, а тогда она сказала: ничего паренек... Если б она хорошо училась в техникум... Я б ее так рано не выдала замуж... Но она ж была двоечника...

Рузя (*кричит из соседней комнаты*). Мама, замолчи, слышишь!

Рахиль. Что ты кричишь? Я тебя боюсь?

Злота. Рухд, дай спать. Ты ж сама говорила, что пора спать.

Рахиль. Пора спать... Как будто я могу спать... Ему здесь скучно... Пусть залезет Пайдучеру в задницу... Он хочет — пусть делает губами...

Рузя (*кричит*). Мама, замолчи! (*Выбегает босиком в рубашке, садится на пол и начинает бить себя кулаками в беременный живот, кричит.*) Замолчи, замолчи, замолчи! (*Кричит в такт ударам кулаками в живот.*)

Рахиль пытается схватить Рузю за руки. Между ними борьба. Люся начинает плакать. Все мечутся в белье по темной комнате.

Рахиль (*кричит*). Злота, зажги свечу... Свечка на кухне... Ой, она бьет себя кулаками в живот...

Виля. Не надо, Рузя... Я за тебя, я за тебя...

Злота. Ой, мне плохо... (*Идет на кухню.*)

Рахиль. Рузя, не бей себя. (*Слышен звук рвущейся материи.*) Ой, она порвала на мне рубашка! Ой, она порвала на мне рубашка! Ой, она порвала на мне рубашка! Ой, она порвала на мне рубашка!

Злота (*кричит на кухне*). Свечка упала у меня из рук... Ой, пожар, пожар!

Рахиль. Гвалт! Пожар!

Отсвет дрожащего на кухне пламени освещает комнату. Виля хватается за тумбочки какое-то одеяло и бежит с ним на кухню.

Виля. Сейчас я наброшу одеяло на огонь, сейчас потушу... Ой...

На кухне еще большая вспышка огня.

Злота (*кричит*). Вата горит! В одеяло была завернута вата... Я не могу жить... Пожар... Гвалт!

Рахиль. Пожар! Сы брент!



Люся плачет. Рузя сидит молча на полу. Сильный стук в дверь.

Подождите открывать, я в порванной рубашке.

На кухне слышна суета и голоса соседей. Рузя быстро уходит к себе и закрывает двери. Появляется Бронфенмахер. Он в кальсонах, валенках, телогрейке. Прыгает на костылях.

Бронфенмахер. Я думал, у вас убийство.

Рахиль (*в пальто поверх белья*). У нас пожар... Мальчик бросил одеяло на огонь, а там была Злотина вата, что ей принесли заказчики...

Бронфенмахер. Разве можно так кричать? Пожар, значит, надо тушить. Вот уже потушили... Вот горелая вата валяется, соберите...

Рахиль (*садится на стул, начинает громко плакать*). Ой, у нас пожар, ой, у нас пожар, ой, у нас пожар...

Люся (*плачет*). Мама, не надо...

Бронфенмахер (*Виля*). Мальчик, дай своей тете воды, чтоб она успокоилась. Уже ночь, люди должны спать.

Виля приносит воду, Рахиль пьет и затихает, сидя на стуле. Рядом с ней садится Злота, держась за сердце.

*В тишине и полумраке ползет занавес*

#### КАРТИНА 5-я

В большой комнате опять перестановка. Очевидно, недавно был ремонт. Под потолком новая люстра, железные койки исчезли, нет старого, продавленного дивана, в углу трехстворчатое зеркало. Рядом со старым буфетом новый зеркальный шкаф, книжный шкаф, на котором по-прежнему старый гипсовый бюст Ленина. Осень. Там, где был огражденный колючей проволокой пустырь, теперь двухэтажное здание в духе архитектуры 50-х годов, закрывающее перспективу, так что за ним виден только верх водонапорной башни в центре города. Рахиль сидит за столом в очках, перед ней счеты, на которых она перебрасывает костяшки и что-то записывает. Тут же куча накладных. За столом спит Сумер в кепке и синем китайском плаще. Злота примеряет перед зеркалом платье жене полковника Делева.

Злота (*поет*). «Тира-ра-рой, птичечка, пой...» Подними-те руку... Не тянет?

Делева. Нет, хорошо.

Рахиль (*снимает очки*). Товарищ Делева, что вам муж говорит насчет венгерские события? Все-таки он большой человек, Герой Советского Союза, хоть у него нет один глаз.

Делева. Глаз он под Кенигсбергом потерял.

Рахиль. Ах, чтоб эти контрреволюционеры уже голову потеряли... Я говорю, была такая война, ваш муж потерял глаз, а мой муж потерял жизнь... В нашей семье столько убитых... Так теперь в Венгрии контрреволюционеры должны такое вытворять... И эта Надя, Надя... Там что, женщина — главный враг народа?

Делева (*смеется*). Имре Надь... Это мужчина.

Рахиль. Мужчина? Что-то у них все наоборот.

Злота. Уже, наверно, будут присылать посылки из Венгрии.

Рахиль. Вот, пожалуйста, она скажет. При чем тут посылки, когда убивают людей?.. Столько честных коммунистов убили, столько чекистов убили...

Злота. Когда началась польская война в тридцать девятом году, так присылали посылки. Хорошие польские материалы мне заказчики приносили... Креп-гранат, креп-жоржет... И после этой войны тоже присылали посылки из Германии...

Делева. Ну, войной это назвать нельзя, но жертвы есть.

Рахиль. Вы говорите, есть много жертв? Я сегодня смотрела газеты, как лежат убитые люди и как нож торчит во рту и рядом разбитый портрет Ленина... Что я, не понимаю? Я с 28-го года в партии... И, говорят, среди бердичевских военных есть убитые...

Делева. Полковника Вшиволдина вчера привезли... Завтра хоронить будут.

Рахиль. Я ж его знала, мы виделись на партконференции... Такой человек... Ой, боже мой, боже мой... Злота, это ж твоей заказчицы муж...

Злота. Вшиволдина? Ой, я не могу жить...

Делева. Какой-то мальчишка его в Будапеште застрелил.

Злота. Ой, я не могу жить...

Делева. Весь гарнизон по тревоге подняли, как раз кино было... Думали, учебная тревога, а как выдали каски, гранаты, боевые патроны, сразу заскучали.

Злота. Ой, я не могу жить... Когда стало немного легче, так опять началась война...

Делева. Ну, войной это нельзя назвать, скорей контрреволюционный путч.

Рахиль. Как вы сказали? Пуч? А я вам скажу, в чем дело... (*Понижает голос.*) Во всем виноват этот кукурузник. Сначала ездили по всему миру эти Хрущев и Булганин, а теперь сидят дома и не знают, что делать. Сталин никуда не ездил, но у него был порядок. Говорят, культ, культ, а он у меня висит. (*По-*

казывает на портрет Сталина в кабинете.) Взяли и демобилизовали старых полковников, что они таки давали польза...

Делева. Это верно. Наш знакомый полковник Маматюк вполне мог бы еще служить, а его в отставку.

Рахиль. Что я, не знаю Маматюка? Товарищ Маматюк теперь на сахарном заводе работает. Его жена всегда со мной здорова...

Сумер начинает храпеть.

Злота. Сумер, разденься, ляжь на тахта.

Сумер (*сквозь сон*). Ай, чепе мех ныт... Не трогай меня...

Делева (*смеется*). Да, есть такие мужчины, я тоже знаю таких...

Рахиль. Нет, он раньше таким не был. Ну я вам скажу, уже годы... Я сама устала... Вот должна дома делать отчет.

Делева. А сколько вам до пенсии?

Рахиль. Я еще должна поработать четыре года... Как раз моя младшая дочка кончит пединститут. Она в Житомире учится. Отличница... Мы хотели поступать в Винницу в мед... Но не приняли... Ладно... Так она будет учительница, а не доктор...

Делева. Она замужем?

Рахиль. У нее есть один... Он сам из Житомира. Тут у нее было много женихов, но она никого не хотела.

С улицы вбегают двое мальчишек-подростков и начинают со смехом гоняться друг за другом.

Тут у Люси много было, но она никого не хотела. (*К мальчишкам, кричит.*) Марик и Гарик! Это старшей моей дочки Ружички дети.

Делева. Они близнецы?

Рахиль (*смеется*). Нет, этот старше... Скажи тете, как тебя зовут.

Марик (*хохочет*). Звать — разорвать, фамилия — лопнуть.

Рахиль (*смеется*). Это Марик... А тот Гарик... Чтоб мне было за их кости.

Злота. Один второго старше на год.

Марик (*запрокидывает голову, закрывает глаза и открывает рот*). Я жертва венгерской контрреволюции. (*Хохочет.*)

Делева. Как тебе не стыдно, над чем ты смеешься... Ты пионер или комсомолец?

Рахиль (*Марику*). Вот я маме скажу, так она тебя так налупит, что задница красная будет.

Марик. А в чем дело?

Гарик. В шляпе.

Марик. А шляпа?

Гарик. На папе...

Рахиль (*смеется*). Ну, бандиты. Что вы скажете, товарищ Делева?

Гарик (*толкает Сумера*). Сумер, проснись, дай на мороженое.

Сумер (*просыпается*). Иди к своему папе проси...

Рахиль. Вы уже уроки выучили? Выучите, я вам дам... От папы они дождутся... Я дам... Ты же знаешь, что если баба сказала, так это сказано...

Гарик. Я выучил... Часть речи, которая упала с печи и ударилась об пол, называется глагол. (*Хохочет.*)

Рахиль. Я тебе дам такие слова говорить при постороннем человеке.

Марик (*Рахили*). Заткнись, баба... Закрой пасть...

Рахиль. Я тебе дам — заткнись... Вот так, как я держу руку, так я тебе войду в лицо... Собака такая... Я маме скажу...

Марик и Гарик убегают.

Теперешние дети разбалованные, у них все есть. Мои дети если имели кусок хлеба, так они были рады. Вы ж помните, товарищ Делева, как было после войны. Но мои дети никогда мне плохого слова не сказали. Ни Люся, ни Рузя, и здесь жил у нас племянник, что он теперь на Урал... Никогда плохого слова не сказали... Боже паси!

Сумер (*проснувшись, улыбается*). Это как раз так, она права...

Рахиль. Вот брат мой подтвердит... Ни Рузя, ни Люся, ни Виля никогда мне плохого слова не сказали.

Делева. Да, теперь дети балованные растут, в роскоши. А дочка с вами живет?

Рахиль. Нет, она живет с родителями мужа, но дети все время здесь. И они тоже часто здесь бывают. Оба они работают на заводе «Прогресс», так им на обед далеко идти домой. Так они варят обед здесь и на перерыв приходят сюда. Что мать не сделает ради своего ребенка? Вот Миля скоро должен прийти сюда обедать, у них на заводе в час начинается перерыв.

Делева (*смотрит на часы*). Ой, уже скоро час, мне пора... Когда на примерку, Злота Абрамовна?

Злота. Через три дня. (*Провожает Делеву, та переодевается в соседней комнате и уходит.*)

Рахиль (*надевает очки и считает, потом снимает очки, говорит тихо*). А как тебе нравится Виля?

Сумер. Где он сейчас?

Рахиль. Где-то Нижний Тагил. Ай, он никогда человеком не был. Но нельзя сказать, Злота кричит... Да, кончил, так работай, женись... Нет, он бросил работа... По-моему, он вообще не работает, где-то ездит... Ой, боже мой, что мне про него думать, у меня есть свои дети... Но Злота переживает... Она такая больная, послала ему посылку.

Злота (*входит из кухни, кричит*). Думаешь, я глухая? Сумер, она рвет от меня куски... А ты своим детям не посылаешь, что они устроены и в тепле... Ты Люсе посылаешь каждую неделю, а я Виле тоже пошлю, когда смогу... А Рузе ты не даешь? Ты ей дала мебель, и купила ковер, и кормишь ее детей, а я за ними убираю и варю Рузин обед...

Рахиль. Злота, чтоб ты таки стала немая и глухая, как ты кричишь.

Злота (*Рахили*). Чтоб тебе самой рот набок вывернуло, если ты на Вилю плохо говоришь. (*Плачет*.) Люди еще лопнут, когда посмотрят на него... Он будет большой человек.

Рахиль. Да, большой человек он будет... Пусть он хотя бы женился и имел собственную крышу. (*Плачет*.)

Злота. Когда он прошлый год приехал такой худой и бледный, как мертвец, я неделю плакала. (*Плачет*.) Ой, там Рузин суп кипит.

Рахиль (*Злоте*). Сиди, я сама посмотрю... Слышишь, Сумер, мы еще должны варить Миле обед и убирать за ним, за этот подлец... Ему далеко от работы ехать домой, что ты скажешь. Миле далеко, он на диете... Сы тит им вэй дер бух... Ему живот болит... Сейчас я посмотрю суп, и я тебе расскажу про Милю, так ты будешь смеяться. (*Уходит на кухню*.)

Злота (*Сумеру тихо*). Она рвет от меня куски... Чтоб я не посылала Виле посылки... Что я ему посылаю? Немного перетопленного сала, коржики... Ему так плохо. (*Плачет*.)

Сумер. Ай, что ты, Рухеле не знаешь?

Рахиль (*возвращается из кухни*). Слышишь, Сумер, Миля прошлой зимой ехал в Кисловодск лечить живот. Так он там жил в одной комнате с несколькими гоем. Так ночью, чтоб не выходить на холод, он себе имел бутылочку, и он туда писал... Эр от гепышт ин дым флешеле... (*Смеется*.) Ты ж понимаешь, Сумер, гоем любят, когда при них писают в бутылочку... Он думает, что это он здесь садился на ведро, так можно было задохнуться...

Злота (*смеется*). Но он и Рахиль друг друга ненавидят.

Рахиль (*смеется*). Так когда эти гоем увидели, что он писяет у бутылочку, они взяли его вещи и выбросили их на улицу... Так он быстро приехал назад... Но почему он не подал под паровоз, когда он ехал назад?..

Злота. Зачем ты так говоришь? Он отец двух детей...

Рахиль. Отец... Хороший отец... Храбрец большой... Ты знаешь, что он подал заявление, чтоб ехать как доброволец воевать против Израиль... Он же знает, что его не возьмут, так он подал, чтоб заслужить авторитет... Хороший коммунистический доброволец с язвой желудка.

Сумер. А что, принимают такие заявления? Куда же он подал?

Рахиль. В военкомат, как офицер запас... Ты, Сумер, как будто на небе живешь... Ты что, не читаешь... Ты что, не читаешь газеты, что сейчас делается в Венгрии, какая там контрреволюция?.. Так надо, чтоб евреи тоже выступили... Эти сионисты... Иделе-как... Так был митинг на завод «Прогресс» два дня назад, и молодежь, комсомольцы, коммунисты, начали подавать заявления, чтоб ехать добровольно защищать Египет от сионистов... Это не только в Бердичеве, это по всему Союзу, так Миля тоже подал заявление. Ой, Рузя переживает, она так плачет. А я ей говорю, кто его возьмет, кому он нужен? Когда была та война, так он был на Урале... Мой муж таки погиб на фронт, а он был на Урале. Я говорю, Рузя, что ты волнуешься про Милю, он никуда не поедет. Туда, где стреляют, он не идет.

Злота. Ой, Сумер, ты знал Вшиволдина? Его жена была моя заказчица.

Рахиль (*перебивает*). Так его убили в Венгрии... Сы ци цы им гоешер шейгец ын от им дараргет... Подбежал в Будапеште гоешер пацан, его убил... Как тебе это нравится?.. А я слышала, за то, что евреи напали на Египет, арабы в Израиль устроили такие погромы на евреев, что дым шел... А я рада... Гит... Пусть сидят тихо... Иделе-как...

Сумер. Ой, Рухеле, ди быст клиг зейве ман бобес циг... Ты умная, как моей бабушки коза...

Рахиль. Ничего, зорг сех... Беспокойся про мой ум...

Вбегают Марик и Гарик.

Гарик. Сумер, дай три рубля на мороженое.

Сумер. Я тебе уже давал... Теперь я дам Марику.

Сумер достает мешок килограмма на два, в котором хозяйки держат крупу, и вытаскивает из битком набитого мешка пачки денег, дает три рубля Марику.

Рахиль. Сумер, что это за мешок с деньгами у тебя?

Сумер (*смеется*). Ты что, не видела мешок с деньгами, ты думаешь, что это мои? Это из артели выручка. Но когда я его беру домой, так я его должен прятать... Если Зина хочет идти на базар и видит у меня этот мешок, так она сует туда руку, и сколько денег может набрать в кулак, столько берет. (*Смеется.*)

Марик (*смеется*). Чем торгуешь?

Гарик (*смеется*). Мокрым рисом.

Марик. Чем страдаешь?

Гарик. Сифилисом.

Рахиль. Вот как я держу руку, так я обоим войду в лицо.

Марик. На... (*Дает Рахили дулю.*)

Рахиль. Чтоб тебе рука отсохла...

Злота. Смотри на эти проклятия... Баба так может проклинать своих внуков?

Рахиль. Хорошие внуки... Миличкины дети... Детей надо иметь? Камни надо иметь.

Гарик. Баба, закрой пасть...

Рахиль. Подожди, я маме скажу, она вам морду побьет...

Злота. Ой, я не могу видеть, когда Рузя их начинает бить.

Рахиль. Подожди, я маме скажу.

Гарик. Баба, заткнись...

Марик. А в чем дело?

Гарик. В шляпе.

Марик. А шляпа?

Гарик. На папе.

Марик. А папа?

Гарик. На маме.

Рахиль. Ах ты, сволочь, какие слова говоришь... Я тебе дам — мама на папа...

Марик (*хохочет*). А мама?

Гарик (*хохочет*). На диване.

Марик. А диван?

Гарик. В магазине.

Рахиль. Уйди, чтоб тебе не видать.

Марик. А магазин?

Гарик. В Берлине.

Злота (*Гарик*). Марик, не прыгай в лицо.

Гарик (*хохочет*). Я Гарик, а ты, Злота, заткнись.

Марик. А Берлин?

Гарик. В Европе.  
Марик. А Европа?  
Рахиль (*встает*). Уйди, чтоб тебе не видать...

Гарик и Марик, хохоча, бегают вокруг стола.

Гарик (*кричит, хохочет*). А Европа в жо... в жо... Желудь зеленый...

Марик (*поет, бегают вокруг стола*). Я сегодня был в садок, соловей мне сел на бок, я хотел его поймать, он удрал к Бениной матери...

Рахиль. Ну, что ты скажешь, Сумер? (*Смеется*). Одесские воры. Этот младший типичный зейделе... Это дедушка, Григорий Хаимович... А это Миличка с костями... Это отец... Миличка...

Марик. Заткнись!

Гарик. Закрой пасть... (*Убегает*.)

Рахиль. Ну что ты скажешь, Сумер? Потом Рузя имеет ко мне претензии, что они здесь во дворе учатся от хулиганов. У нас таки жуткий двор. Тут есть Колька Дрыбчик и Витька Лаундя, как тебе нравятся эти имена? Так сколько есть тюрем, они уже в них были... А тут внизу есть Стаська, полячка, так она ночует теперь на чердаке... И соседи имеют ко мне претензии, что я ее пускаю на чердак... Как я ее не пушу? Чтоб она мне разбила окна? Вызовите участкового и не пускайте ее сами.

Злота. Ой, эта Стаська мне так жалко.

Рахиль. Отца клоц... Ей жалко... Эта Стаська завербовалась на Донбасс, получила подъемные и уехала. Так в ее комнату поселили другую семью. А теперь она приехала, она удрала оттуда, но комнаты нету. Так она ночует на чердаке. Когда холодно, так она лежит возле труб.

Сумер. Что мне эта Стаська? Ты лучше про Люсю расскажи. Она таки выходит замуж?

Злота. Я скажу... Я Доня с правдой... Рахиль ее держала возле себя, а всех, с кем она ходила, выгоняла.

Рахиль. А что ж, мне нужен второй Миличка?

Злота. А теперь Люся поехала учиться в Житомир и сразу там познакомилась с парень.

Рахиль. Его фамилия Лейбензон... Петя Лейбензон. На Октябрьские они уже должны были расписаться. Так Рузя сказала...

Злота. Какая Рузя?

Рахиль. То есть Люся... Так Люся сказала, что она не хочет брать фамилию Лейбензон, она хочет быть Капцан. Тог-



да Петя говорит, если тебе не нравится моя фамилия, так, значит, я тебе тоже не нравлюсь. В общем, они поругались. А теперь они уже опять помирились.

Сумер. Но он тебе нравится?

Рахиль. Ой, кто может знать. Так ничего парень, но он некрасивый... Большой нос...

Злота. Я не люблю, когда так говорят... Он тебе должен нравиться? Он должен нравиться Люсе.

Сумер. А какая у него специальность?

Рахиль. Он по истории... Кончил во Львов университет... Но пока работает физкультурником по баскетбол... Ты ж понимаешь, а ид... Еврей, так он не может устроиться по истории...

Злота (*возле окна*). Вот Миля уже идет на обед с каким-то товарищ.

Сумер (*встает*). Я ухожу. Я не хочу его видеть... Я к нему ничего не имею. Он обыкновенный солдат по характеру... Простой солдат. Он должен кушать кашу из котелка, а ты ему варишь куриный суп.

Рахиль. Что ты скажешь, Сумер? Мало того что мы его должны обслуживать, так он еще товарища ведет. Отраву чтоб он ел, чтоб его вырвало кровью...

Злота. Ах, боже мой, боже мой, что ты его так проклинаешь?.. Он нехороший, но он отец двух детей.

Рахиль. Давай-ка я тоже выйду, мне надо вынести ведро.

Злота. Рухл, убери свои бумаги со стола. Мне ведь надо им дать обед. (*Надевает передник*.)

Рахиль (*убирает бумаги и счета*). Я б ему дала обедать помои. Чтоб его уже черви ели.

Уходит с Сумером. Злота суетится на кухне, гремит посудой. Входит Миля. Он несколько постарел, но по-прежнему стрижен под бокс. Молча проходит мимо Злоты, не поздоровавшись, ставит на стол бутылку водки, две банки овощных консервов, колбасу. Злота осторожно переступает вывернутыми от плоскостопия ногами, держа обеими руками полную тарелку супа, ставит этот суп перед Милей.

Миля (*сердито глядя на Злоту*). Вы мне обед не подавайте. Я сам себе возьму. Мне противно, когда вы мне подаете. У вас всегда пальцы в супе вымазаны.

Хватает тарелку супа и уносит ее назад на кухню. Злота молча подымает руки к голове и торопливо уходит к себе в комнату.

Миля (*открывает балконную дверь, кричит*). Толик, сю-

да... Во двор и на второй этаж по деревянной лестнице... Ну, хорошо, я тебя встречу. (*Уходит.*)

Приходит Рахиль, гремя пустым ведром.

Рахиль. Он привел сюда какого-то пьяницу, я его видела во дворе, возле туалета. Я Рузе скажу. Привести в дом пьяницу...

Злата. Бог чтоб спас. Ты хочешь крики. Мне Миля сказал: вы мне не подавайте, мне противно, когда вы мне подаете.

Рахиль. Болячка ему в лицо. Я Рузе скажу.

Злата. Ты хочешь, чтоб тут было убийство... Я тебя прошу, ша, вот они идут... Давай немного выйдем на балкон, я сейчас одену платок.

Входит Миля, ведя за плечи выпившего мужчину спортивного вида.

Миля. Толя, ты легко нашел?

Толя. Туалет? Запросто. Только он у вас весь в поносе. (*Хохочет.*) Анекдот слышал: один пьяный спрашивает у другого пьяного: почему у тебя журчит, а у меня нет? Тот отвечает: потому что ты писяешь на панель, а я на твою шинель. (*Хохочет. Видит Рахиль и Злоту, которые проходят на балкон.*) Здравсьте, девушки.

Рахиль и Злата проходят мимо.

Миля (*тихо*). Не обращай внимания... Две обезьяны...

Толя. Хороший был митинг на заводе против израильской агрессии... Макзаник хорошо выступил из отдела технической информации.

Миля. Борис? Это из нашего отдела. Я не знаю, почему над ним смеются, почему говорят, что он сумасшедший. Этот город — одни сплетники. Беркоград.

Толя. Беркоград. (*Смеется, разливает водку.*) А приятно, когда еврей все-таки за советскую власть... В защиту Египта. Макзаник хорошо выступил. Я, говорит, советский гражданин, готов плечом к плечу со своим арабским братом... Хорошо... Ну, пошли... (*Чокаются, выпивают.*)

Миля (*торопливо грызет колбасу*). Над этим Макзаником в городе все время смеются. Сами идиоты, а смеются над

хорошим парнем. Кричат ему: Пушкин, Пушкин... Ну и что, если он пишет стихи? У него таки есть неплохие стихи. Вот сегодняшняя многотиражка «Прогрессовец». Смотри карикатуры и стихи Макзаника к ним... «От священных основ ленинизма рушатся стены капитализма. От пролетариата всего мира мечутся в тисках железных банкиры...» Смотри, молодом по шляпе (*хохочет*), клещами за горло.

Голя. Это кабачковая икра?

Миля. Хорошая икра.

Голя. Я раньше за команду житомирского «Динамо» играл, левым крайком. Крепко я по краю тянул. А потом нас вместо черной икры начали кабачковой кормить. Я говорю: какая икра, такая игра. (*Хохочет.*) Выпьем...

Чокаются, выпивают, Голя целует Милю. С балкона в свою комнату проходят Рахиль и Злота.

Рахиль (*Злоте, тихо*). А гой, а хозер...

Голя. Миша, что она сказала?

Миля. Не обращай внимания.

Голя. Она меня выругала. Что такое гой, я понимаю. Сказать на русского «гой» — все равно что сказать на еврея «жид»... Нехорошо так, мамаша, у нас все нации равные.

Миля. Не обращай внимания на этих старух, они уже отжили свое.

Рахиль (*из соседней комнаты*). Я еще тебя переживу.

Злота. Рухл, ша...

Голя (*смеется*). А мне нравится, боевая мамаша... А вот ты мне скажи, что товарищ Дзержинский чекистам советовал?

Миля. Что? Быть преданным своей родине.

Голя. Быть преданным родине... Что это, пионеры или школьники, чтоб им детские советы давать? Товарищ Дзержинский чекистам советовал: берегите нервы... берегите нервы... Я когда за житомирское «Динамо» играл, наш тренер всегда перед игрой нам говорил: что товарищ Дзержинский чекистам советовал? Берегите нервы... Но ты не обижайся, ты молодец, записался добровольцем...

Рахиль (*из соседней комнаты*). Хороший доброволец... Туда, где стреляют, он не идет...

Злота. Рухл, ша...

Голя (*целует Милю*). Молодец...

Рахиль. Ман тухес ин дер мытен... Моя задница посередине...

То ля (*жует колбасу*). И Макзаник хорошо сказал... Плечом к плечу...

Ми ля. Стихи он хорошие на митинге прочитал, свои стихи из многотиражки... Здорово он написал о палестинском мальчишке, в сердце которого целит сионистский штык... Я, Борис Макзаник, прикрою тебя, мальчик...

То ля. Он прикроет... Мы пахали, но плуга не видали, мы стояли на подножке и толкали паровоз... Борис Макзаник прикроет... Русский солдат, вот кто прикроет... Что Суворов говорил? Где олень не пройдет, там русский солдат пройдет. Кто Европу от Гитлера прикрыл? А какая нам благодарность?.. Венгерская контрреволюция голову подняла... Мне друг рассказывал... Подъехали на танке — выходи... Стреляют... Дали раз из пушки — вышли... Мал мала меньше, пацанва... Эх, правильно маршал Жуков говорил: закрасить все страны народной демократии в красный цвет.

Ми ля. Ничего. Есть Киевский обком партии, есть Житомирский обком, есть, к примеру, Новосибирский обком... Когда-нибудь еще будет существовать Палестинский обком партии.

То ля. Во главе с товарищем Тайбером... Твоя фамилия Тайбер? Миша, ты только не обижайся...

Ми ля. Я не обижаюсь... Найдется поумней меня человек в Палестинский обком.

То ля. Миша, я тебе честно по-русски сказал: выступил ты правильно, а стихи — дерьмо...

Ми ля. Так это ж не мои стихи, это стихи Макзаника Бориса.

То ля (*хохочет*). Писать на стенах туалетов, увы, мой друг, немудрено. Среди дерьма мы все поэты, среди поэтов мы дерьмо... (*Хохочет.*) Вот я тебе лучше про Хаз-Булата прочитаю... Или спою... Вот это толковые стихи. (*Начинает петь.*) «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя...» (*Замолкает, сидит некоторое время молча.*) А дальше как? Ты не знаешь, Миша?

Ми ля. Нет...

То ля. Как же так, я ведь вчера эту песню весь вечер пел...

Ми ля. Толя, ты не расстраивайся, я тебе другую песню спою. (*Начинает петь.*)

Когда немцы на Бердичев наступали,  
В Биробиджане был переворот,  
И жида с чемоданами бежали,  
И кричали: «За Родину, вперед!»

(*Смеется.*)

Рахиль (*из соседней комнаты*). Ды цейн зол дир аройс...  
Чтоб тебе зубы выскочили...

Злота. Рухл, ша...

Толя. Мамаша опять нас ругает... Может, пойдём?

Миля. Сиди, сиди, не обращай внимания, я тебе сейчас мясо принесу... (*Уходит и возвращается с мясом.*)

Толя. Свинина? Ничего. Но я больше вареную свинину люблю... Как говорил один знакомый белорус: сварыл. Сало обрззал и в холодильник.

Миля. Я тоже сало люблю, но мне нельзя.

Толя. Брось, плюнь на докторов. (*Поет.*) «Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов...»

Миля (*подхватывает*). «Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров...»

Толя. Чуть приморозит, пойдём на реку. Я тут секцию моржей организую, купанье в ледяной воде. Лучше любого курорта, про все болезни забудешь.

Миля. Да, эти курорты... Я в прошлом году был в Кисловодске, так я оттуда раньше срока убежал.

Рахиль (*из соседней комнаты*). Конечно... Аз мы пышт ин флешеле, ыз а гитер курорт... Если писяешь в бутылочку, так хороший курорт. (*Смеется.*)

Злота. Рухл, ша...

Миля. Что-то Рузя задерживается... Рузя должна прийти...

Толя. Ладно, пора уже... Мне что-то опять хочется. (*Хочет*).

Миля. Проводить тебя?

Толя. Сам найду... Я тебе только по секрету... (*Громко говорит на ухо, почти кричит на ухо.*) Скоро Израилу крышка, поставят со всех сторон «катюши»... Понял? Все самолеты, которые им американцы дали, уже сбиты... Там новые летают... И их собьем...

Миля. Ну ты, Толя, иди. Я тебя сейчас догоню.

Толя (*встает, шатаясь, идет и поет*). «В огонь и дым стальным ударом, грозой зовут тебя недаром». Я брюки хочу купить. Третий рост, шестое место... (*Выходит.*)

Миля (*поворачивается в сторону соседней комнаты*). Что вы все время говорите: гой, гой. Вам же не нравится, когда вас зовут «жид». Что ж вы других зовете «гой»? Он вам правильно сказал: все нации одинаковы. Главное, какой человек.

Рахиль. Что ты меня учишь политику партии ы в национальный вопрос. Я член партии с 28-го года.

Миля. Гнать надо таких из партии.

Рахиль. Таких, как ты, надо гнать. У тебя стаж три года, ты еще в яслях. А ну-ка, зайдем в горком к Свинарцу, кого больше уважают? Ты думаешь, если ты выступил сегодня на митинге против сионистов, так ты уже большой человек? Мы, старые коммунисты, еще 25—30 лет назад боролись против сионизм...

Злота. Рухл, ша... Я тебя прошу...

Толя (*с улицы*). Миша! Миша! (*Поет.*) «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня. Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня».

Рахиль. Вот иди, тебя твой пьяница зовет.

Миля. Это не ваше дело. Вы не стоите мизинца этого человека. Старая карга...

Рахиль. Чтоб ты не дожид до моих лет... Ну, до моих лет тебе десять лет осталось. Ты ведь уже старый...

Толя (*с улицы*). *Поет.* «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная червонцев и рублей. Самая нелепая ошибка — то, что ты по паспорту еврей». (*Хочет. Кричит.*) Мишка, давай быстрее...

Миля (*Рахили*). Не хочется с вами заводить. (*Быстро уходит, хлопая дверью.*)

Рахиль. А чтоб тебе ударило в голове, как ты бросил дверь... Он думает, что это ему 47-й год, когда он бросил Рузя, беременная Мариком... Поэтому Марик такой прибитый... Злота, ты помнишь, как Рузя себя била кулаками в живот? Она Марика прибила в животе...

Злота. Я не понимаю, зачем тебе надо спориться? Уже было немного тише...

Рахиль. Тебя я не спрашиваю, это ты его боишься... Она ему дает суп, он ей говорит: вы мне противны. Привел сюда алкоголик, поют здесь...

Злота. Как писают на жесь, так они пели. (*Смеется.*)

Рахиль. Чтоб им зубы вылезли...

Злота (*смотрит в окно*). Ша, вот они идут назад, зайдем-ка к себе.

Рахиль. Опять мыт дым гой?

Злота. Нет, гоя не видно... Только Миля и Рузя...

Входит Рузя и ведет Милю, который держится обеими руками за глаз.

Рузя. Сволочь этот Толя, ударил Милю в глаз... Сядь. (*Кричит.*) Пусти руки, надо посмотреть, может, кровоизлияние... Надо в поликлинику...

Миля (*морщится от боли, кричит*). Лучше намочи быстрой в холодную воду полотенце.

Рузя (*Рахили*). Я иду, я вижу: этот Толя, этот алкоголик, лежит на земле, а Миля его поднимает. Зачем он тебе был нужен? Зачем ты его поднимал?

Миля. Зачем, зачем... Я его поднимал, чтоб он не лежал на сырой земле... Можно быть умным... Раз он со мной пришел, значит, я за него отвечаю... Пусть он будет свиньей...

Рузя. Пусть бы он сдох там, зачем ты его поднимал? Он его поднимает, а тот не хочет подниматься... Тогда Миля его силой хотел поднять, а он вдруг при мне ударил Милю в глаз... Чтоб ему рука покорчило... Он его ударил в глаз... Чтоб этому гою рука отсохла...

Рахиль. Ну что же я могу сделать?.. Бывает...

Миля (*кричит Рузе*). С кем ты разговариваешь? Кому ты рассказываешь? Почему мы вообще ходим сюда, почему здесь торчат дети? Что у нас, дома нет? Чтоб они больше сюда не смели ходить, в этот хулиганский двор к Дрыбчикам и Лаундям...

Рузя. Миля, не кричи...

Миля. Не кричи... Ты намочишь полотенце или я ослепну?..

Рузя уходит на кухню. Вбегает Гарик, за ним гонится Марик.

Рузя (*с мокрым полотенцем в руках*). Что? Что такое?.. Марик, Марик! (*Марик догоняет Гарика и ударяет его. Гарик плачет.*)

Злота. Ах, боже мой, я не могу жить...

Рузя. Ты чего его бьешь? (*Ударяет Марика, Марик плачет.*)

Злота. Боже мой...

Рахиль. Злота, ша...

Марик (*плачет, Гарика*). Я тебя убью!

Гарик. Козел... Казлык...

Рузя (*Гарика*). Ты чего его дразнишь? (*Ударяет Гарика, тот плачет.*) Это из-за тебя все дети Марика дразнят. Ты его назвал: козел, и вся улица его зовет: козел.

Марик (*плачет*). Я его сейчас убью!

Рузя (*не пускает Марика к Гарика*). Тише, Марик... За-молчи, Гарик... Вы что, не видите, что папа заболел? Папа упал, ударился...

Миля (*держит полотенце у глаза*). Вот я сейчас обоим так дам, что их надо будет водой отливать... Почему вы сюда

ходите? У вас своего дома нет? Я вам запрещаю сюда ходить...

Рахиль. Я их не заставляю. Наверное, им здесь больше нравится.

Миля. Больше нравится... Они здесь окончательно распустились... Ну-ка, немедленно домой.

Рахиль. Пусть идут... Тому, кому тесно, тот уходит... Баба с воза, коням легче...

Миля. Ты идешь, Рузя? Марик и Гарик, ну-ка, домой...

Выходят с детьми.

Рузя (*Рахили*). Мама, что ты ехидничаешь? Что ты радуешься чужому горю?

Рахиль. Зачем мне думать про чужое горе, у меня свое есть...

Рузя. Мама, ты всегда была людоед... (*Выходит, сильно хлопнув дверью.*)

Рахиль. В голове чтоб тебе стучало, как ты бросила дверь...

Злота. Ах, боже мой, разве так говорят на свою дочку?

Рахиль. Дочка... Хорошая дочка... Когда я ее на свадьбе спросила: ну, Рузя, он тебе нравится? Она ответила: ничего паренек... Ничего паренек... Миля ничего паренек... Угробила свою жизнь и мою жизнь... Я людоед... Пусть я буду людоед. Они ж хотели жить у его мамы, пусть там живут. Мне сейчас меньше всего надо про них думать, мне надо про Люсю думать, она студентка... Да... (*Подходит к столу.*) Набросали, и убирай за ними... Я людоед... Рузя, наверно, думает, что это сорок седьмой год, когда она порвала на мне рубашку. (*Вместе с Злотой убирает грязные тарелки.*) Но этот гой стоит миллионы. (*Смеется.*) Чтоб этому Толе никогда рука не болела за то, что он Миле вошел в лицо... (*Убирают объедки, грязную посуду.*)

*Занавес*

КАРТИНА 6-я

Часть бульвара в центре Бердичева. У входа на бульвар гранитный обелиск и горит «вечный огонь». У «вечного огня» два пионера с учебными автоматами. Вдали крыши домов, шпиль церкви и над всем — водонапорная башня. Через бульвар — лозунг-транспарант: «Привет ветеранам Бердичевской дивизии. 1944—1969 гг.». И второй лозунг: «Да здравствует 9-е мая — День Победы». Теплый солнечный день, на каштанах бульвара свежая майская листва. Бульвар полон пожилыми людьми, бряцающими орденами и медалями, и прочей празднично одетой публикой. Слышна музыка. Среди гуляющих



Рахиль и Злота. Рахиль сильно постарела, Злота постарела меньше, выглядят почти так же, как и тринадцать лет назад, но двигаются еле-еле, опираясь на руку Рахили.

Рахиль. Ну, Злота, как ты себя чувствуешь?

Злота. Ой, что-то мне кружится голова. Зачем ты меня вытащила? Лучше б я сейчас сидела себе на балкон.

Рахиль. Злота, ты делаешь уже свои номерочки? Ты ведь сама хотела идти...

Злота. Я хотела, но у меня нет здоровья. Дай бог, чтоб мне конец был хороший... *(Всхлипывает.)* Я раньше так хорошо ходила.

Рахиль. Ша, Злота, люди ведь смотрят... Чтоб ты онемела... Вот она сейчас сделает мне праздник... Ну, сядь на скамейку, давай посидим. Хорошая скамейка. *(Садятся.)* Отсюда мы всех будем видеть.

У обелиска выступает культмассовик.

Культмассовик. Товарищи, сейчас наш заводской поэт Борис Макзаник, инженер отдела технической информации, прочтет свои стихи, посвященные Бердичевской дивизии.

Рахиль *(Злоте)*. Как тебе нравится, Макзаника назвали: инженер. Какой он инженер, он же машиностроительный техникум кончил.

Злота. Я к Макзанику ничего не имею. Он, когда меня видит, всегда говорит: здарсьте, тетя Злота, и всегда про Вилю спрашивает, как он.

Макзаник *(читает)*.

Приказом Сталина ты возвеличена,  
Сияет солнце на орденах,  
Моя дивизия у стен Бердичева  
Себя прославила в грозных боях...

Аплодисменты.

Рахиль. О, вот же его тоте и моме... Йойна Макзаник и Соня Макзаник. Смотрите, как они радуются, что их сын выступает... А ыц ин паровоз... Духота в паровозе.

Проходит низкорослый, лысый мужчина с медалями и орденом Красной Звезды и маленькая, подслеповатая пожилая женщина.

Смотри, как они радуются, как будто их сын работает в ЦК.

Злота. Ты радуешься за своих детей, так и они радуются. Я не люблю, когда говорят...

Рахиль. Здравствуй, Макзаник, здравствуй, Соня. Ну, как хорошо ваш сын выступает.

Макзаник. О, Рахиль. Поздравляю с праздником. Главное, чтоб войны не было.

Соня Макзаник. Народ не допустит... Народ не допустит... (*Смеется.*)

Народ проходит к обелиску.

Рахиль. Народ не допустит... Что ты скажешь? (*Всхлипывает.*) Но мой муж таки лежит в земле, а этот Макзаник был политруком в госпитале, а теперь ходит по бульвару с медалями... У меня тоже медали. (*Показывает себе на грудь, где висят две медали.*) Макзаник теперь тоже человек. Кто он такой? Он сторож на заводе «Прогресс». Стоит в проходной.

Злота. Йойна Макзаник имеет образование. До войны, когда я работала в артель, когда начались эти большие налоги и я ушла в артель, так Макзаник у нас читал лекции о международном положении на еврейском языке.

Рахиль. Это я помню. Он был инструктором райкома партии. Но когда он начинал лекцию, он не мог ее закончить. (*Смеется.*) По-еврейски он читал хорошо, но когда он хотел сказать что-то по-русски, так он не мог. Он хотел сказать про положение Китая и Германии, так он сказал: «Катай Германия, Германия в положении». (*Смеется.*)

Злота (*тоже смеется*). Вот идет Йойна и Быля... Йойна Шнеур...

Рахиль. Смотри, какую он одел шляпу. Его шляпа держит меня в Бердичеве. А Быля идет и дует от себя. Конечно, если ее муж заведует буфетами на железной дороге, то можно быть большой у себя.

Злота. Я Былю очень люблю...

Рахиль. Сейчас я их позову, и ты сможешь наговорить на меня.

Злота. Я еще такого человека, как ты, не видела.

Подходят Быля и Йойна. Он в орденах и медалях.

Йойна. С праздником. (*Здоровается с Рахилью и Злотой за руку.*)

Быля. Злотка, ты вышла немного на бульвар, Злотка?.. Слава Богу... Надо немного проветриться...

Рахиль. Она вышла... Это я ее вывела. Так она уже устроила мне концерт, почему я ее вывела. Ой, Быля, я имею от нее отрезанные годы.

Злота. Ну, она любит на меня наговаривать. Мне кружится голова.

Рахиль. Ой, что я от нее имею. На прошлой неделе, после майских праздников, когда стало тепло, она мне говорит: я хочу в баню... Гит, ты хочешь, идем... Пока мы раздевались, все было хорошо. Но как только мы разделись и вошли в самую баню, ну, уже где моются, как она села, и все... И ей плохо...

Злота (*сердито*). Это какой-то жид не вир. Да, мне стало плохо... Этот пар, эта духота, эти голые женщины...

Рахиль. А что ж ты хотела? Ты ж пошла в баню. (*Смеется*.)

Быля. В нашей бане здоровому человеку может стать плохо, может стать... А Злотка ведь сердечница...

Злота. Я такая больная, еле живу...

Рахиль. В общем, я должна была взять ее на руки, как ребенка, зейве а кынд, и вынести из бани. (*Смеется*.)

Злота. Хороший смех, я могла там кончиться. Я такая больная...

Рахиль. Я тоже больная, и все-таки я хожу и таскаю такие сумки на лестницы... Ой, Быля, с тех пор как я на пенсии, я особенно тяжело работаю.

Злота. Кто тебе виноват, что ты едешь каждую неделю в Житомир и таскаешь там сумки с продуктами? Ей нельзя. У нее астма, но что можно сделать, она такая...

Рахиль. А как же... Это ж мои дети... У Люсиньки после родов что-то с желчный пузырь... Ой, горе... Когда она родила Аллу, так ей сказали, что больше рожать нельзя... А Петя хотел еще ребенок, он хотел мальчик, так родилась Эллада... Чтоб мне было за каждую их косточку...

Йойна. А сколько младшей?

Рахиль. Ладушке... Ей уже три года, чтоб все, что должно быть плохого у нее, было б мне... Как она поет песня про колокольчик и вот так делает ручками. (*Показывает ладонями*.) Дилинь-дилинь... Ой, чтоб мне было за нее... А Алла тоже хорошая девочка, учится музыке. Она хочет быть балерина. Ну, Люся тоже красиво танцевала. Это у нее от папы. Ой, папа... Когда наступает День Победы, я всегда плачу. (*Плачет*.)

Йойна. А как зять?

Рахиль (*вытирает глаза*). Зять ничего, Петя ничего... Он Люсю любит. Он считает, что она самая красивая. Люся в Житомир пользуется большой авторитет. Есть полковник, есть врачи, есть один, что он работает в юстиции, есть подполковники. Все они уважают Люсю. Но Петя всех их ре-

внует. Он говорит: моя жена самая красивая... Ну, все-таки Люся учительница по математике, чтоб мне было за ее кости...

Быля. Рахилька, а к тебе он хорошо относится, к тебе он?

Рахиль. Ко мне? Ничего... Он только сказал: теща, когда вы у нас жили, у нас ушло много картошка. (Смеется.) Ты ж понимаешь, я оставила там всю свою пенсию...

Быля. А как Рузя?

Рахиль. Ничего. Они живут у его мамы. Отец умер, Григорий Хаимович... Ничего... Умер, так на здоровье... Ребята большие... Марик в армии, Гарик тоже должен быть в армии, но он получил отсрочку по болезни. Ой, сколько мы переживали, когда прошлый год, в август месяц, началась эта война в Чехословакии. Рузя чуть с ума не сошла. Марик ведь в Чехословакии.

Быля. Я знаю. Моя Мэра переписывается с ним. Слава богу, он работает телефонистом и в таком месте, где не очень опасно.

Йойна. Кто боится пыли, грязи, приходите в роту связи.

Злота. Мэра уже большая девочка. Ой, я помню, как ты была беременна. Мэра ведь с Мариком однолетки.

Рахиль. Извините, Марик моложе на год, извините... Ой, когда его послали в Чехословакию, я неделю не могла спать. А про Рузю я уже не говорю. Мне за нее болит сердце. Ты думаешь, ей там легко жить с его мамой, в этих маленьких комнатках?

Злота. Ты знаешь, Быля, к чему она это ведет? Чтоб они назад к нам перебрались... Этого не может быть... Дус кем ныд зан...

Рахиль. Азой... Я тебя буду спрашивать... Это ведь мой ребенок... Я им отдам большую комнату, а мы с Злотой будем в маленькой. Что нам, не хватит? Люся имеет, слава богу, хорошую квартиру в Житомире, а Рузю я хочу обеспечить.

Злота. Ты уж забыла, как вы дрались, когда жили вместе?.. Я Доня с правдой. Когда вы жили вместе, было убийство. Я с ним не спорилась, это ты с ним спорилась.

Рахиль. Он должен лежать парализованный. Я не про него думаю, я про дочь мою думаю. Броня Михайловна ее там съедает.

Злота. Это Миля хочет сделать ради Брони Михайловны, ради своей мамы, чтоб две комнаты поменять на одну в центре, против башни. Чтоб они перебрались к нам в большую комнату, а квартиру поменять. Это не может быть. А если ко мне приходят заказчицы?

Рахиль. Ничего, придут заказчицы, так они будут с нами в маленькой комнате... Что ты скажешь, Быля? Рузя мой ребенок, не так ли, Йойна? Что ты скажешь?

Йойна. Рахиль права. Дочка — это дочка.

Рахиль. Я им всю свою жизнь отдала. Я свою жизнь ради них потеряла. Я после Капцана осталась вдовой в тридцать семь лет.

Йойна. Вот это ты напрасно сделала. Кстати, ты знаешь, Исак Бронфенмахер приехал.

Рахиль. Что ты говоришь?

Быля. И как приехал, на своей машине из Москвы... На «Волге»... Вместе с женой. Он ведь там женился, взял жену с большими деньгами.

Рахиль. Ничего... У меня никогда не было больших денег, я всю жизнь работала, чтоб иметь лишнюю копейку для детей.

Злота. Сколько ж его жене лет?

Быля. Шестьдесят. А ему шестьдесят пять.

Злота. А как ее зовут?

Быля. Вера Эфраимовна.

Рахиль. Она Вера Эфраимовна, а я у себя Рахиль Абрамовна.

Быля. Фамилия ее Овечкис. Очень хорошая женщина. Ей шестьдесят, но выглядит она на сорок пять, красиво одевается, туфли на шпильках, как девушка. И брат с ней приехал, научный работник.

Злота. Наш Виля еще когда-нибудь будет научный работник.

Рахиль. О, вот ты имеешь. Кто бы что ни сказал, она с Вилей.

Быля. Как у него?

Рахиль. Ничего... Тяжело... Ой, цурес... Ой, горе...

Быля. Он не женился?

Рахиль. Нет... Ой, горе...

Злота (*сердито*). Что за горе?.. Он должен учиться.

Рахиль. До скольких же лет учатся?

Йойна. Вечный студент. (*Смеется*.)

Рахиль. Да, вечный студент. Что ты скажешь, Йойна? А? Лишь бы она посылает ему посылки.

Злота. Это не твое дело... Ты своим детям все отдаешь, ты Рузе хочешь отдать большую комнату, и Петины родители построили им с Люся квартиру, а я не могу послать посылку с перетопленным салом? Я не твое посылаю.

Рахиль. Ша, Злота, не кричи... С ней же нельзя начинать... Ой, я от нее не могу выдержать.

Злота. Она хочет быть надо мной хозяйкой. Она хочет меня взять себе под ноги.

Рахиль. Ша, Злота, сегодня же праздник, День Победы. Может, ради праздника мои уши от тебя отдохнут?

Мимо проходит с песней группа молодежи.

Быля. Вот же Мэра пошла, вот же... Мэра, подойди сюда, поздоровайся с Рахилькой и с Злоткой, поздоровайся... Она, наверно, не услышала. Молодежь, им весело.

Рахиль. Пусть им будет весело. Ничего. Мы со Злотой обойдемся без ее «здрасьте».

Злота. Я еще такого человека не видела.

Быля. Рахилька, чтоб ты мне была здорова, вечно ты недовольна, вечно ты...

Рахиль. Чего мне быть довольной, если все ходят с медалями по бульвару, а мой муж лежит в земле где-то под Харьков?

Быля. Только он один лежит?

Рахиль. Мне от этого не легче.

Йойна (*смотрит на часы*). Ну, пойдём, Быля. У нас возле башни встреча с Исаком Бронфенмахером.

Быля. Мы еще увидимся. (*Они идут дальше.*)

Рахиль (*смотрит им вслед*). А если нет, так тоже не страшно.

Злота. Боже мой, боже мой... Как мухи в уборной, так ты шумишь...

Рахиль. Ша, Злота, закрой пасть... Мне нужна эта Быличка... Ходит и дуёт от себя. А Йойна в шляпе. Если б не его шляпа, я б давно уехала из Бердичева. Его шляпа держит меня в Бердичеве... (*Смеется.*) Ты ж понимаешь, ее Мэра переписывается с Мариком... Рузе как раз нужна для Марика такая жена, как Мэра...

Злота. Что ты смеешься над Мэрой? Она учится в зубо-врачебный институт, она будет зубной врач.

Рахиль. В институте она учится? В Житомирском училище по зубным протезам она учится. Зубной техник. Быля ее устроила, чтоб она имела золото... Хорошо она прошла мимо и даже не поздоровалась... Так мне кисло в заднице... Ты ее видела? Разве это Мэра? Это петух. (*Смеется.*) Одно горло, а больше ничего ни спереди, ни сзади...

Мимо навеселе проходят ветераны.

Первый ветеран. Самая легкая деталь танка весит 64 килограмма.

Второй ветеран. А ты обмотки носил?

Третий ветеран. На фронте мы раз в пять дней ели... Газы распирают... Просто схватишься за живот и по земле катаешься.

Первый ветеран. Из-за живота я раз чуть к немцам не попал. Во время отступления приступ аппендицита. Санитар подбегает: ты ранен? Нет, живот болит. Ах, живот, ну, это ерунда, сам иди. А меня скорчило, идти не могу.

Проходят ветераны, среди которых полковник Маматюк и полковник Делев, без глаза, со звездой Героя. Рядом с ними жены. Увидав Злота и Рахиль, Делева поздоровалась.

Злота (*кричит*). Мадам Делева, вам завтра можно на примерку.

Рахиль. Ты уже совсем сумасшедшая. Какая мадам, если она член партии, а ее муж Герой Советского Союза? И что ты кричишь, чтоб все знали про твою работу? Чтоб тебе рот скривило, как ты кричишь.

Злота. Ой, ой, я не могу жить...

Рахиль. Тише, немая и глухая чтоб ты стала. Люди смотрят. Еще схватись за свои косичечки, начни танцевать перделемешке.

Проходят четвертый и пятый ветераны.

Четвертый ветеран. Израиль насыпал стену песку перед окопами. Но наши огненный луч применили...

Пятый ветеран. Я положительно относился к еврейскому вопросу, пока не узнал, как после революции евреи разрушали русские церкви. Каганович руководил. Ворошилов Климентий Ефремович, как узнал, к Сталину кинулся. Сталин Кагановича вызвал, тот ему глаза замазал... Знаешь, они умеют.

Ветераны поют: «Непобедимая и легендарная, в боях познавшая радость побед...»

Культмассовик. Товарищи, на этот мотив наш заводской поэт Борис Макзаник сочинил новый текст... Песня называется «Марш Бердичевской дивизии». (*Поет.*) «Приказом Сталина ты возвеличена, сияет слава на орденах, моя дивизия у стен Бердичева себя прославила в грозных боях».

Милиционер ведет Кольку Дрыбчика.

Колька (*поет*). Братцы, за що я воював? Тільки спрыгнув я в окопу, навернули мэнэ...

Милиционер. Я тебе наверну...

Колька (*хохочет*). Три часа без памяти лежав... Я здесь хочу идти...

Милиционер. Пойдешь куда положено.

Колька (*вырвался*). Здравствуйте, Рахиль Абрамовна, здравствуйте, Злота Абрамовна.

Милиционер хватает его и уводит.

Злота. Ой, я так спугалась...

Рахиль. Испугалась, держись спереди... Он поздоровался, что ты испугалась? Даже Колька поздоровался, а Мэра прошла мимо.

Проходит группа комсомольцев в униформе защитного цвета, которые поют: «Когда суровый час войны настанет и нас в атаку партия пошлет...»

Полковник Маматюк (*кричит, покраснев, дергая головой*). Неправильно поют. Надо петь: «Тогда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет...» Почему слова переделали?

Жена Маматюка. Идем, Харлампий, идем. (*Уводит его.*)

По бульвару идет Бронфенмахер, сильно поседевший. Одет он по-столичному. Рядом с ним полная молодящаяся старуха с крашеными волосами и мужчина средних лет в очках.

Рахиль. Злота, вот же Бронфенмахер. А это, наверное, его жена. Смотри, как они одеты, как большие профессора. (*Кричит.*) Бронфенмахер!

Злота. Ша, что ты так кричишь?

Рахиль (*кричит*). Бронфенмахер!

Бронфенмахер. Ой, это же Луцкая... (*Подходит, целуется с Рахилью и Злотой.*) Ты, Рахиль, потолстела... А Злота не изменилась... Ты потолстела...

Рахиль. Старость.

Бронфенмахер. Я тоже так говорил, пока не женился. Познакомься, это моя жена.

Вера Эфраимовна. Овечкис Вера Эфраимовна.

Рахиль. Луцкая Рахиль Абрамовна. А это моя сестра Злота.

Злота. Я Злота Абрамовна. (*Смеется.*) Я тоже у себя большая.

Бронфенмахер. Молодец, Злота Абрамовна. Вы же старше Рахили на семь лет, а выглядите моложе.

Злота (*обиженно*). Почему я старше? Я еще хочу жить.



Бронфенмахер. Живите до ста лет, я просто помню, что вы девяносто восьмого года, а Рахиль — пятого.

Злота (*обиженно*). Зачем считать чужие годы?

Рахиль. Вот пожалуйста... Ой, Бронфенмахер, я железная, что я от нее выдерживаю.

Вера Эфраимовна. Злота Абрамовна права, если она выглядит молодо, значит, она молодая.

Злота. Правильно, я не считаю себя бабушкой. (*Смеется.*)

Бронфенмахер. Когда человеку хорошо на душе, он всегда молодой. Как вы тут живете? Как дети?

Рахиль. Дети уже имеют детей, чтоб мне было за их кости. У Рузи двое мальчиков, так это золото, а у Люси двое девочек, так это бриллианты.

Бронфенмахер. А как они живут?

Рахиль. Замечательно... Рузя в Бердичеве, а Люся в Житомире.

Бронфенмахер. А как ваш брат Сумер? Где он?

Рахиль (*вздыхает*). Где Сумер... Сумер в тюрьме...

Бронфенмахер. Что вы говорите?... И по какой статье?

Рахиль. Не за воровство. Ты же знаешь, Бронфенмахер, что вором он никогда не был. У нас в семье это не принято. Мы всегда жили бедно, но честно. Когда до революции наша покойная мама сварила суп из картошки, так у нас был веселый день.

Злота. Что ты рассказываешь? Что мы были нищими? Какие булки мама пекла.

Рахиль. Булки мама пекла на Пасху. А сколько раз она ставила в печку горшки, налитые водой, чтоб соседи думали, что у нас варится обед, чтоб мне было столько радостных известий... Но ворами мы не были, боже паси...

Бронфенмахер. За что же все-таки сидит Сумер?

Рахиль. За халатность.

Овечкис. Плохо спрятал. (*Смеется.*)

Рахиль. Зачем вы так говорите, извините, не знаю, кто вы?..

Вера Эфраимовна. Он шутит. Это мой брат.

Бронфенмахер. Извините, совсем забыл познакомиться. Это брат Веры Эфраимовны, научный работник. А это Рахиль Абрамовна и Злота Абрамовна.

Овечкис. Овечкис Авнер Эфраимович.

Рахиль. Товарищ Овечкис, наш брат всегда работал на ответственной работе, он всегда был заведующий, но государственную копейку он никогда не брал.

Бронфенмахер. Как же все-таки получилось?

Рахиль. Зашел один, чтоб он ходил на костылях, и заказал себе в артели у Сумера, чтоб ему уже заказывали гроб, этому гою, заказал костюм... Так ему костюм испортили... Бывает. Так он написал в газету, и была проверка, и Сумеру дали три года... Ему еще три месяца сидеть... В прошлом году он заболел. *(Плачет.)* Еще хорошо, что здесь знакомые, так его на час привезли домой, чтоб никто не знал... С конвойным... Его сначала хотели отправить под Винницу, но, слава богу, он тут на сахарном заводе... Ты думаешь, это так просто?

Бронфенмахер. Я понимаю.

Рахиль *(плачет)*. Все деньги, которые были, уже ушли. Мы помогаем чем можем, но у меня самой нету и у нее нет.

Овечкис. Не расстраивайтесь, три месяца не такой уж большой срок, тем более здесь, в Бердичеве. Люди сидели в Сибири по 17—20 лет в концлагерях... Здесь у вас, в Бердичеве, как я заметил, вообще любят все преувеличивать, здесь все громко... Говорят громко, смеются громко и вообще бердичевские нервы.

Рахиль. А мне Бердичев нравится. Мы здесь родились.

Злата. Зачем ты так говоришь? Мы родились в Уланове, в местечке. Я Доня с правдой.

Рахиль. Вечно она меня перебьет. Мы родились в Уланове, но нас маленькими детьми привезли в Бердичев.

Овечкис. Да, здесь очень любопытно. Я решил, проедусь на праздник с сестрой. Когда говорят: Бердичев, все равно что говорят: еврей... Слышишь, Бердичев, Бердичев, а что такое Бердичев, не знаешь. У Чехова в «Трех сестрах» один из персонажей говорит, что Бальзак венчался в Бердичеве.

Злата. Чьи сестры?

Рахиль. Она совсем глухая.

Злата *(обиженно)*. Почему я глухая? Она любит на меня наговаривать.

Рахиль. Товарищ Овечкис говорит, что в книге у Чехова... Что я, Чехова не знаю, это такой писатель... Когда моя Люся, чтоб мне было за ее кости, окончила 8 классов, так ее премировали книгой Чехова за то, что она отлично училась и хорошо танцевала в самодеятельности. А если б вы знали, товарищ Овечкис, как ее отец танцевал... Так к чему это я говорю?.. У этого Чехова написано про Бердичев, что здесь женился один большой человек...

Злата. Я когда-то читала книга про Бердичев. Я раньше очень любила читать, а теперь у меня глаза болят. Так там описано, какие в Бердичеве были погромы. Но зачем мне чи-

тать, что я это, не видела, эти погромы стоят у меня перед глазами.

Рахиль. Что ты говоришь, Злота, при чем тут погромы?

Овечкис (*смеется*). Ничего, ничего, очень интересно. Мне рассказывали, что как-то недавно сюда приезжали французы, чтоб узнать, где венчался Бальзак. Так они зашли в башню в центре города, а это, оказывается, водонапорная башня... В Париже Эйфелева башня, а Бердичеве — водонапорная. (*Смеется*.) Там сидел водопроводчик, который понятия не имел, кто такой Бальзак. Он думал, что Бальзак — это какой-то бердичевский еврей, к которому приехали родственники. (*Смеется*.)

Рахиль. Эта башня уже стоит девяносто лет.

Овечкис. Сейчас мы шли мимо дома, где венчался Бальзак. Бывший костел святой Варвары... Возле двери большая вывеска: «Детская спортивная школа», рядом поменьше: «Этот дом посетил Бальзак». Когда он его посетил, по какому поводу — неясно. Создается впечатление, что Бальзак в детстве посещал Бердичевскую спортивную школу.

Бронфенмахер (*Рахили, тихо*). Клигер ид... Умный еврей...

Рахиль. Ну, у вас в больших городах все по-другому.

Злота. А с Былей и Йойной вы виделись? Они шли вас искать.

Бронфенмахер. Мы, наверно, разминулись. Они нас на обед сегодня пригласили.

Злота (*Вере Эфраимовне*). А какие фасоны теперь носят в Москве? Я про свое спрашиваю. (*Смеется*.)

Бронфенмахер (*Рахили, тихо*). Рахиль, я тебе честно скажу, я раньше не знал, что такое жена... Пусть Бебе земля будет пухом, но я не знал, что такое жена. Был молодой и не знал. А теперь, когда я женился на Вере, я понял, что такое жена.

Вера Эфраимовна. Ну, мы пойдем.

Рахиль. Идите здоровые.

Бронфенмахер. Мы еще увидимся. (*Уходит*.)

Рахиль (*вслед, тихо*). Если нет, так тоже не страшно... Ты думаешь, я забыла, как он хотел пробить в моей стене дверь и носить через меня помой... На обед они идут... Он уже забыл, как ходил на костылях, и его жена и ее брат тоже будут ходить на костылях... Москвичи... (*Смеется*.)

Злота. Зачем ты проклинаешь людей?

Рахиль. Ничего, он над Бердичев смеется, а эта жена Бронфенмахера одела туфли на тонкий каблук и думает, что хув-сим будет ей шестнадцать лет... Как тебе нравится, он ра-

ныше не знал, что такое жена... Кавалер, хороший кавалер у своей Верочка. Сразу видно, что в молодости эта Верочка была глухая. Мужчина ей говорил: садись, а она ложилась.

Злота. Я помню, как до войны носили фасон, который назывался «мужчинам некогда»... «Молния» спереди от верха платья донизу. (*Смеется, потом хватается за сердце.*) Ой-ой-ой...

Рахиль (*испуганно*). Что такое?

Злота. Что-то сердце колет.

Рахиль. Злота, я железная, что я от тебя выдерживаю... Идем-ка домой. (*Встают и идут к выходу с бульвара.*)

На бульваре продолжается гулянье, песни, смех.

Злота (*подносит ладонь ко лбу*). Это Гарик идет навстречу?

Рахиль. Ой, я не могу выдержать... Гарик опять ходит с Лушиной Тинкой... Если Рузя узнает, она ему побьет морду... (*Кричит.*) Гарик, иди сюда... Гарик...

Гарик (*подходит*). Что ты кричишь, баба?

Рахиль. Гарик, ты уже забыл, как тебя мама и папа били? Что ты ходишь с этой шиксой... этой гойкой?.. Ты хочешь горе?..

Гарик. Баба, закрой пасть... А с кем чтоб я ходил? С толстой маланкой?

Рахиль. Ах ты, сволочь. На еврейку он говорит: маланка. Так твоя же мама тоже маланка. Вот так, как я держу руку, так я тебе войду в лицо.

Гарик. Заткнись, дура. (*Подходит к Тине, берет ее об руку.*) Баба, слышишь? (*Поет.*) «Скажите ей, что я еврей, что я женюсь, женюсь на ней». (*Гарик и Тинка, хохоча, уходят.*)

Рахиль (*кричит вслед*). Гарик, я маме скажу...

Злота. Боже мой, боже мой... Тинка очень вежливая, хорошая девочка... Красивая, кончила медучилище...

Рахиль. Вот вторая сумасшедшая... Пусть она будет красивая, но не для нашего Гарика... Валя, которая ездит к нам из Семеновки мыть полы, говорит, что Луша имела Тинку от немца... Она при оккупации жила с немцем.

Злота. Тише, вон Рузя и Миля идут... Чтоб ты не смела им говорить про Гарика.

Рахиль. Боже паси. Что, мне нужен крик. Ой, горе, горе! Где только есть горе, оно цепляется к нашей семье... А Миличка тоже в шляпе. Теперь где кусок, извините за выражение, так оно носит шляпа... Смотри на Милю, его шляпа держит меня в Бердичеве.

Миля (*Рахили*). С праздником.

Рахиль. Тебя тоже... Ты в Житомире купил эту шляпу?

Миля. Глину меси, а шляпу носи. (*Смеется.*)

Рузя. Вы Гарика не видели?

Рахиль. Нет, он, наверно, с товарищами.

Рузя. Если я его увижу с Тинкой, так я ему разобью морду при всех людях.

Миля. Тише, Рузя, не кричи.

Рузя. Ты мне брось тише... Отец... Я б на твоём месте давно бы пошла к этой Луше и ей устроила черную жизнь.

Рахиль. При чем тут Луша, Луша мне сама говорила, что это ей не нравится, она не хочет иметь еврейского зятя, тем более что Тинка старше нашего Гарика на пять лет.

Злота. Рузя, ты видела Бронфенмахера?

Рузя. Ай, зачем мне этот Бронфенмахер, мне Гарика найти надо.

Рахиль. Ну где ж я тебе его найду? Что ты имеешь ко мне претензии? Что это, я его сосватала с Тинкой?

Рузя. Ай, мама, с тобой говорить, так надо гороху накопаться... Идем, Миля. (*Уходят.*)

Рахиль. Что ты скажешь, Злота? Горох она хочет кушать... Я тебе скажу, Злота, она хуже Мили... Он не такой плохой, как она его делает плохим... Это та еще Рузичка. Она думает, что я не помню, как в 47-м году она порвала на мне рубашку.

Злота. Ты же хочешь опять с ними жить.

Рахиль. Подожди, я еще не решила... Чуть что, они прыгают мне в лицо... Чтоб из них душа выпрыгнула...

Злота. Боже мой, боже мой, эти проклятия... (*Они идут по бульвару.*)

Макзаник (*читает у обелиска нараспев, подражая московским поэтам*).

Тонны камня и металла бросив ввысь,

Обелиски, как по команде «смирно!», поднялись.

Они стоят, как символы отваги, как символ непокорности людей,

Защитавших родину когда-то от армии, в которой главный был злодей...

Отстояли! Но какой ценою! Сколько не вернулось назад!

Именно для них, как по команде «смирно!»,

Обелиски эти и стоят...

Аплодисменты.

К обелиску подходят полковник Маматюк и полковник

Делев с женами. Они обнажают головы, смахивают ладонями слезы.

Маматюк (*Делеву*). Здесь лежат похоронены все нации, защищавшие родину... Все нации, кроме жидов...

Рахиль (*Злоте*). Ты слышала, что он сказал?

Злота. Идем домой, Рахиль, что-то мне колет сердце...

Рахиль. Нет, ты слышала, что он сказал, этот гой? Чтоб его гром убил и второго тоже вместе с их женами и детьми.

Злота. Идем домой, он же не тебе это сказал.

Рахиль. Ничего... Мой муж убит, а он будет говорить такие слова... Я ему морду побью...

Злота. Ой, я не могу жить. Она хочет иметь горе... Вот они уже ушли.

Рахиль. Ничего, я пойду за ними... Я не посмотрю, что Делева твоя заказчица, а Делев Герой Советского Союза... Мой муж убит, а он так будет говорить... (*Плачет.*) Ты здесь стой.

Злота. Ой, мне плохо...

Рахиль. Ничего, теперь всем плохо... Я сейчас приду. (*Уходит.*)

Проходят Овечкис, Бронфенмахер, Быля и Йойна.

Овечкис. Город мне нравится. Много старых красивых домов, как где-нибудь на Западе. Напоминает австрийские или польские города.

Йойна. Ну, здесь же была когда-то Литва, а потом Польша.

Овечкис. Да, приятно погулять под каштанами Бердичева. Если б только бердичевские евреи все время не кричали... Сплошные скандалы... Бердичевские нервы... Вот опять скандал, опять кричат...

Быля. Злотка, что ты плачешь, Злотка? Ой, вэй з мир... Что случилось, где Рахилька?

Злота (*давясь слезами*). Она пошла... Я не могу жить... Она пошла спориться с полковник...

Быля. С каким полковником? Что случилось?

Злота (*плачет*). С полковник... Ой, ее же могут арестовать...

Входят полковник Маматюк и полковник Делев с женами. За ними Рахиль.

Жена Маматюка (*Рахили*). Что вы ходите за нами, базарная баба?.. Что вы к нам привязались?..

Рахиль. Ваш муж будет говорить, что здесь лежат все нации, погибшие за родину, кроме жидов... Негодяй... Мой муж убит, а он будет так говорить. (*Плачет, кричит.*) Негодяй. Контрреволюционер...

Маматюк (*побагровев, дергая головой*). Бы... Жи... Сионистка!

Жена Делева. Замолчи, Харлампий, пойдем...

Рахиль. Я сионистка?! Сморкач... Я член партии с 28-го года... Мой муж типографский рабочий, член партии с 30-го года... Убит на фронт. Так ты говоришь, что я сионистка?..

Злота (*плачет*). Быля, Йойна, заберите ее... Я вас умоляю...

Овечкис (*Йойне*). Жуткая сцена... Когда евреи, особенно бердичевские, начинают реагировать на слово «жид», это еще хуже, чем когда это слово говорят... Это так скандально...

Йойна. Да зачем она связалась?.. Он же хочет уйти, а она ему не дает.

Овечкис. Оба стоят друг друга.

Рахиль (*плачет*). Ах ты, Гитлер... Ты думаешь, я тебя боюсь, что ты бросаешь головой...

Маматюк (*хрипит, дергает головой*). Спекулянтка... Бы... Жи... Я из тебя мясо сделаю...

Рахиль. Ты из меня сделаешь мясо?.. Вот так, как я держу руку, так я войду тебе в лицо...

Жена Маматюка. Харлампий, уйдем... Я тебя прошу... (*К Делеву.*) Филипп, помоги его увести, у него рана в голове может воспалиться. (*К Рахили.*) Ты, базарная скандалистка, мой муж имеет пять ранений за родину...

Рахиль. А мой муж совсем убит за родину... Так твой негодяй будет говорить, что в братской могиле все похоронены, кроме жидов... Он мне будет кричать — сионистка... Чтоб упало дерево и убило вас обоих... Чтоб наехала машина и разрезала вас на кусочки... Ты блядюга...

Бронфенмахер. Да, Рахиль ничуть не изменилась... У нее рот как помойная яма... Уйдемте отсюда, здесь неприятно находиться...

Йойна. Идем, Быля, идем...

Быля. Но ведь Злота тут... Ой, Злотка, сколько она от этой Рахильки терпит, сколько... Злотка, иди сюда... Злотка...

Злота (*плачет*). Куда я пойду, когда здесь моя сестра. (*Подходит к Рахили.*) Рухл, идем домой, мне плохо.

Рахиль, ничего не отвечая, плачет. Полковник в отставке Делев, его жена и жена Маматюка уводят дергающего головой полковника в отставке Маматюка.

Рухл, идем домой, я тебя прошу.

Рахиль. Иди, я тебя не держу. Иди с Былечкой, с этой блядюгой...

Злота (*хватается за лицо*). Ой, боже мой, люди ведь смотрят...

Рахиль. Пусть смотрят, это ты их боишься, я не боюсь. (*Плачет.*) Я сейчас пойду за этим Гитлером, возьму камень и ему разобью голову... Одер ойт, одер тойт... Или кожа, или смерть...

Возвращается полковник Делев, поблескивая звездой Героя.  
Подходит к Рахили.

Делев (*Рахили*). Товарищ Капцан, Маматюк неправильно поступил, я ему сделал внушение. (*Рахиль стоит молча, ничего не отвечая. Делев уходит.*)

Злота (*тихо*). Рухл, идем домой... (*Берет ее об руку, и обе сестры медленно идут с бульвара.*)

По бульвару идет группа ветеранов и немзыкально поет: «Моя дивизия у стен Бердичева себя прославила в грозных боях...»

*Занавес*

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

### КАРТИНА 7-я

В большой комнате тесно от мебели. Старая мебель Рахили зажата новой полированной мебелью Рузи. Появилась тумбочка с телевизором, раскладная диван-тахта, крытая ковром, холодильник. Бюст Ленина по-прежнему стоит на книжном шкафу, но портрета Сталина уже нет. Зимнее утро. М и л я, седой, полуголый, с распаренным потным телом, играя мышцами, в спортивных штанах и тапочках делает зарядку. Из соседней комнаты изредка выглядывают то Злота, то Рахиль. Злота смотрит исподтишка, с улыбочкой, а Рахиль смотрит прямо и беззвучно смеется. Сделав приседания, Миля начинает выбрасывать вперед поочередно то левую, то правую руку, сжимая при этом пальцы. После этого выбегает полуголый на кухню. Слышно, как хлопает входная дверь.

Рахиль (*хохочет*). Ну, так можно жить? Голый он побежал на улицу тереть тело снегом. Может, с божьей помощью он уже начнет бегать по улицам и бить окна? Может быть, его увезут в Винницу в сумасшедший дом и мы от него избавимся?



Злота (*продолжая улыбаться*). Ах, Рухл, что ты говоришь?.. Ну, он физкультурник...

Рахиль (*смеется*). Хороший физкультурник... Бегает с гоями купаться на речку в проруби... Физкультурник... И Рузе не стыдно перед городом за такого мужа... Физкультурник. Вот так вот он делает. (*Выбрасывает вперед руки и сжимает пальцы, кривит лицо, надувает щеки.*) Вот так вот... Хопт ды флиген... Вот так вот... Ловит мух...

Злота. Ша, Рухл, зайди-но сюда... Вот он уже идет назад.

Рахиль заходит в маленькую комнату. Слышно, как хлопнула дверь, и вбегают Миля с красным, мокрым телом. В руках его комки снега, которыми он трет тело, кричит и поет: «Румба, закройте двери, румба, тушите свет, румба, да поскорее, румба, терпенья нет...»

Рахиль. Злота, не смотри, а то ты простудишься.

Злота. Ша, Рухл...

Миля выбежал на балкон и поет там.

Рахиль. Злота, что ты скажешь... А лидеде... Песенка... У него нет терпения...

Злота. Перестань, Рухл. Это песня такая.

Миля вбегает, покосился на дверь в маленькую комнату, но ничего не сказал. Звонок.

Рахиль. Вот я открою. (*Идет и возвращается с Гариком.*) Ну, где ты был, Гарик?

Гарик. Какое твое дело?

Рахиль. Что мне до тебя за дело... У тебя есть папа и мама... Если они тебе ничего не говорят, так что я буду говорить.

Гарик. Баба, закрой пасть.

Миля (*продолжает делать зарядку*). Гарик, перестань грубить.

Гарик. А чего она лезет?

Рахиль. Зачем ты мне нужен, чтоб я лезла? Лучше выйди-ка и раздень в передней пальто и шапку. Чего ты идешь в комнату в пальто?

Гарик (*кричит*). Это не твоя комната, твоя комната та маленькая, иди туда и закройся.

Рахиль. Закройся сам... Ты ж понимаешь, это его квартира.

Гарик (*кричит*). Баба, заткнись!

Миля. Гарик, я тебе сейчас дам по губам. (*К Рахили.*)

А вы тоже не вмешивайтесь, вы же видите, в каком он состоянии.

Злота. Рухл, я тебя прошу, иди сюда...

Рахиль (*шепчет, произнося громко только вторую половину фразы*). ...так было бы хорошо... так было бы хорошо... (*Уходит в маленькую комнату.*)

Гарик. Ну, как зарядка, батя?

Миля. Полный порядок. Вот снегом натерся. Я тебя тоже в это дело втяну. Сразу другим человеком станешь. Я ведь помню, как раньше себя чувствовал, мышцы как кисель, желудок больной. Это лучше любого курорта — зарядка, зимнее купание. (*Кряхтя, вытирает тело махровым полотенцем, надевает майку, спортивный свитер.*) Пойди, сынок, раздень пальто, я тебе кое-что подарить хочу.

Гарик уходит на кухню, раздевает пальто и возвращается.

(*Садится к столу.*) Сядь, сынок, я тебе фотографии хочу подарить зимнего купания. (*Достает пачку фотографий.*) Вот видишь, я в плавках и купальной шапочке на снегу босыми ногами. Вокруг народ в тулупах мерзнет, а мне не холодно. На этой фотографии я тебе делаю такую надпись: «Здоровье на снегу не валяется, его надо укреплять». И расписываюсь. А вот другая. Я по горло в ледяной воде. Пишем: «Не холодная вода страшна, а страшно, когда об этом рассуждают». Понял, сынок? А вот я с Мариком. Это когда Марик был в отпуску. Видишь, он в шинели, в шапке и сгорбился, а я в одних плавках, даже купальную шапочку снял, и ничего, прямо стою... Пишем: «Оттого, что ходишь босой по снегу, насморка не будет! Скорей бывает наоборот». А я вот стою голыми ногами на льду у проруби и держу в руках кусок льдины, как букет. Пишем: «Я люблю физическую культуру, она мне отвечает взаимностью». Подпись... Вот так... Начнешь заниматься физкультурой, все свои глупости забудешь... Сейчас мы с тобой на речку пойдём... Одевайся...

Рахиль (*высовывается из маленькой комнаты*). Что значит на речку? Он же еще не завтракал...

Гарик. Баба, закрой пасть...

Рахиль. Сам закрой пасть. Что мне за дело до тебя...

Злота. Рухл, ша...

Миля. Ты голодный, сынок?

Гарик. Нет, батя, я пил чай и ел хлеб с маслом.

Миля. Ну, тогда одевайся потеплей. (*Уходит и возвращается в полушубке и шапке с каким-то приспособлением в ру-*

ках.) Это, сынок, для разравнивания сугробов... Похоже на сачок для ловли рыбы, но вместо сетки решетка... Возьми там в передней топор... Топором рубят майну, ну, прорубь, а сеткой вытаскивают обломки льдин... Понял, сынок, ну, пошли. *(Они уходят.)*

Рахиль. Путь идут, что мне за дело... Рузя будет кричать, что он Гарика взял с собой на речку, но при чем здесь я?..

Злота. Ша, Рухл, зайдем-ка к себе... Вот они возвращаются, дверь хлопнула.

Входит Сумер с кошелкой.

Сумер. Что у вас дверь открыта?

Рахиль. Почему ты заходишь и никогда не здороваешься?

Сумер *(смеется)*. Слышишь, Злота? Рухл уже хочет со мной ругаться... Я спрашиваю, почему дверь открыта?

Рахиль. Физкультурник ушел. Он же ходит на речку и раздевается голый и бегаёт там, как сумасшедший, по снегу. И купается в прорубь. *(Смеется.)* Пусть он купается, но зачем он ребенка берет с собой, зачем Гарика берет с собой?..

Сумер. А что слышно у Гарика?

Злота. Ой, несчастье... Он только хочет жениться на Тинке...

Рахиль. Ой, Сумер, я железная, что я все это выдерживаю. Лучше находиться в тюрьме, где ты был два года, чем это выдерживать.

Сумер *(смеется)*. Ты хочешь в тюрьму? У меня там осталось много знакомых. Даже попки, что сидят на вышке с оружием, мои знакомые. У меня там был швейный цех. Мышили мешки, спецодежда, все, что надо, мышили. Баланду я не ел, у меня всегда был лишний кусок балясины.

Рахиль. Сумер, вус эйст балясина?

Сумер *(смеется)*. Воры на колбаса говорят: балясина.

Рахиль *(смеется)*. Сумер, ты ж в тюрьме стал настоящий гонэф... Настоящий вор...

Сумер *(смеется)*. В тюрьме я тоже был заведующим. А ты помнишь, когда во время войны меня мобилизовали на трудовой фронт и послали в Киров на лесоразработки? Так меня там тоже сделали заведующим. Мне выдали хорошие валенки, хороший полушубок, сани с лошастью, возчика... Я пользовался авторитетом.

Злота. Сумер, что ты стоишь в дверях, сядь к столу.

Сумер (*садится к столу прямо в пальто и шапке, рассказывает очень громким, веселым голосом*). Слышишь... Так среди мобилизованных был на моем участке один еврей... Мне его стало жалко, думаю, пусть сидит в тепле и топит печки в бараках и конторе. Так этот еврей начал лениться, начал мне грубить и вообще так себя вести, будто я ему что-то должен. Ды гоем приходят с работы, бараки не топлены, в конторе не топлено, грязно... Я ему говорю: чего я тебя взял? Что ты мне Грыцько за кум, а Мыкита за сват... Я вместо тебя возьму гою, так он мне будет благодарен, и я буду уверен, что он меня не подведет. Будет чисто, вытоплено всегда. Я с этим евреем год мучился, пока меня на другой участок не перевели.

Рахиль. Есть еврей, что они должны харкать кровью. В прошлом году, когда ты, ой вэй з мир, сидел в тюрьму, так на День Победы мы с Злотой немного вышли на бульвар... Ты же знаешь, в День Победы я всегда плачу, ибо муж мой лежит в земле.

Сумер. Ну дым шпыц... Конец...

Рахиль. Ничего... Мы выходим, а Злота еле идет... Ты же знаешь, как Злота ходит и какая она хорошая, ты тоже знаешь.

Злота. Вечно она на меня наговаривает. Я такая больная. С тех пор я еще ни разу не была на улице. (*Плачет.*)

Рахиль. Вот она уже плачет. Ничего... Было гуляние... Йойны Макзаника сын вышел читать стихи, так его объявили: инженер Макзаник... Какой он инженер, если он кончил Бердичевский техникум?

Сумер. Дым шпыц... Конец... Конец рассказывай...

Рахиль. Так приехал Бронфенмахер из Москвы с новой женой.

Сумер. Красивая жена?

Рахиль. Как моя жизнь, красивая. Ты любишь, когда старуха надевает туфли на тонкий каблук?

Злота. Она очень красивая дама... Я не люблю, когда говорят.

Рахиль. Сумер, ты меня слушай... И с ней приехал ее брат, который очень большой из себя... Московский еврей... Так он над Бердичевом смеялся... Я ему говорю, что вы смеетесь?.. Да, ты же знаешь, что я могу сказать.

Сумер. О, попасть в твой рот...

Рахиль. Ничего, беспокойся про свой рот...

Сумер. Так ты расскажешь конец?

Рахиль. Подожди, а что я делаю, к чему я веду? Была вышла с Йойной, который носил такую шляпу, что она меня держит в Бердичеве... И Миля тоже одел шляпу... Ты пони-

маешь, Миля одел шляпу... И они все идут... А в это время подходит к братской могиле Маматюк... Ты знаешь Маматюка?

Сумер. Отставник, это он работает на сахарном заводе?

Рахиль. Этот, этот... Так Маматюк подходит и говорит Делеву... Знаешь Делева? Герой Советского Союза...

Сумер. Знаю, дым шпыц...

Рахиль. Подходит Маматюк и говорит: здесь, в братской могиле, лежат все нации, погибшие за родину, кроме жидов... Так я ему дала жида... Он стал у меня синий... И этот Герой Советского Союза потом подошел и извинился передо мной.

Злата. Его жена была моя заказчица. Но с тех пор она у меня больше не шьет.

Рахиль. Вот ты имеешь... Так, по-твоему, я должна была молчать?.. Этот Маматюк мне кричал «сионистка», и какие только ни хочешь плохие слова он мне кричал. А я должна ему молчать?.. Мой муж убит на фронт, а он будет так говорить? *(Плачет.)* Так все евреи на бульваре говорили, что я скандалистка. Что я не должна была отзываться, когда этот Гитлер, чтоб он уже лежал и гнил вместе со своей женой, этот Гитлер кричал «сионистка»... Этот, что он приехал из Москвы, и Бронфенмахер, который хотел носить через моя кухня помои, и Быля, которая дует от себя... Чтоб я молчала, когда этот подлец сказал, что здесь закопаны все нации, кроме жидов...

Сумер *(Рахили)*. Ты помнишь, где в восемнадцатом году в Бердичеве было ЧК?

Рахиль. А что ж, я не помню?.. Возле нас, там, где мы жили по Житомирской улице.

Злата. Что ты говоришь... По Житомирской улице был Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Сумер. Злата лучше тебя помнит... А ЧК было возле еврейского кладбища, из которого потом сделали городской сад имени Шевченко.

Рахиль. Недалеко от базара...

Сумер. Да, там базар... И там на углу есть дом точно такой, как этот, в котором ты живешь, такой же серый кирпичный и с такими же пузатыми буржуазными балконами.

Рахиль. Что я, не знаю?.. Это доктор Шренцис построил. Он построил городской театр и несколько таких домов.

Сумер. Так в этом доме было ЧК, а во дворе этого дома были сараи. И тех, кого ЧК расстреливало, оно закапывало в те сараи. Теперь братская могила на бульваре, а тогда была

братская могила в сарае... Когда в город вошли петлюровцы, так стало известно, где ЧК расстреливало.

Злота. Что я, не помню?.. Я помню... Йойна первый комсомолец... Раньше он был портной, а потом стал чекист... Жена у него была такая грязная, паршивая... Его в тридцать седьмом году самого убили... И еще был Срулык, что у него на глазу было бельмо... Его все звали Срулык Слепой... Тоже чекист...

Рахиль. Срулык потом стал не только слепой, но и хромой, но пенсию он не имеет. (*Смеется.*)

Сумер. Вы дадите мне рассказать?.. Когда вошли в город петлюровцы, так они ловили евреев и посылали их выкапывать убитых... Так меня тоже поймали...

Злота. Я помню... Ой, как мы все переживали тогда... Мы были маленькие дети. (*Смеется.*)

Сумер. Когда мы выкапывали, вокруг нас собрались православные бабы и плакали, и кричали, что всех нас, евреев, которые выкапывают, надо убить... А тех, кого ЧК расстреляло, хотели хоронить с хоругвями... Так среди расстрелянных нашли не только православных, но и евреев... Этот Йойна родного брата расстрелял, который имел магазин... Его тоже там нашли. И других... Так петлюровцы не знали, что делать... Перед нами, правда, не извинились, как перед тобой, Рухл, сейчас, но зато нас отпустили... Так что тогда говорили, что в братской могиле закопаны все, кроме евреев, и теперь так говорят. (*Смеется.*)

Звонок телефона.

Злота (*берет трубку*). Что? Кто? Кто? Кто?

Рахиль (*подбегает, вырывает трубку*). Да, девушка, я заказывала Житомир... Хорошо, я подожду. (*К Сумеру.*) Слышишь, Сумер, как курица кудахчет, когда за ней бежит петух, так Злота говорит по телефону.

Злота. Боже мой, боже мой, все время она меня перебивает. Я имею от нее отрезанные годы...

Рахиль. Ша, Злота, я ведь ничего не слышу... Да, девушка, я жду... По талону... Куплен на Бердичевской городской почт... (*К Сумеру.*) Я звоню каждый день, если я Люсе не позвоню, я не могу. Ой, эти Алла и Лада — я без них не могу.

Злота (*смеется*). А сюда они редко звонят.

Рахиль. Ну что делать... Петя очень бережливый. А мне не жалко. Полпенсии у меня уходит на телефон... Да, девушка... Я слушаю... Это Алла? Люся... У вас один голос... Здравствуй... Как вы живете? Ну, вчера я звонила вчера, а се-

годня—это сегодня. Я здесь вам купила мешок картошки, я приеду, так я привезу. Неужели Петя не может подъехать? Где? В командировка? На соревнования в Днепропетровск... Ну, пока он вернется в Житомир, я привезу... Возьму такси и привезу картошка, мне не тяжело, ты же знаешь... Как Ладаина рука? А Алла? Ой, боже мой, у Аллы есть чирий... У моих детей никогда не было чирий... Ладочка... Где Ладочка, чтоб мне было за ее кости... Я приеду, я привезу ей киевский торт. Чирий надо лечить, это может стать фурункул... Как Лада кушает? Я ей куплю торт за три рубля... Если она не будет ходить боса по полу, я ей куплю. А кефир вы покупаете? Не надо его искать, надо идти и купить. Я имею еврейскую привычку не искать. Вэй з мир... Масло ты кушаешь, колбаса? Словом, я сказала, я приеду, я привезу киевский торт и мешок картошки... Рузи нет... Миля на речке, купается в ледяной воде. *(Смеется)*. А с Гариком несчастье. Он только хочет жениться на Тинке. Ой, я не живу... Здесь Сумер... Привет тебе. И от Злоты... Я завтра опять позвоню... Зай гезынт... Будь здорова... *(Кладет трубку, радостно улыбается)*. Ты слышишь, Сумер? Лада сидит и плачет. Алле на именины я купила большой торт, а ей я купила маленький торт... Ой, чтоб мне было за каждую ее косточку... Ой, это сладкая девочка...

Сумер. Ничего, пусть она только станет чуть постарше, так ты начнешь с ней ругаться. *(Смеется)*.

Рахиль. Ой, я до этого не доживу. *(Вздыхает)*. Но когда я там жила, мой зять сказал мне, что я у них съела много картошки... Это Миля номер два... Я нянчила ребенка, я варила обед, я ходила на базар... Но ничего, надо молчать... Для своих детей я должна быть хорошая, а для всех остальных я не хочу быть хорошая... Пусть про меня говорят что угодно, мне кисло в заднице... Это Злота хочет для всех быть хорошая...

Злота *(смеется)*. Вот так она ко мне цепляется.

Сумер *(смеется)*. Я тоже хотел быть хорошим... Когда я служил при Николае, так унтер выстроил нас, вызвал одного жлоба из строя, а потом он вызвал меня и говорит: Луцкий, дай ему в морду... Я не хотел... Тогда он говорит жлобу: ты дай ему в морду... И что ты думаешь, он дал мне в морду. *(Смеется)*. Но так дал, что я на всю жизнь запомнил.

Злота. Ой, что я, не помню, как ты рассказывал?.. Когда началась война, это еще до революции, так ты качался по земле, качался, и так по земле ты домой прикачался с фронт. *(Смеется)*.

Хлопает дверь.

Рахиль. Это Рузя, у нее ключ.

Рузя (*входит сердитая, испуганная, встревоженная*). Гарик дома?

Рахиль. Его твой муж забрал с собой на речка...

Рузя. Я ему дам водить Гарика на речку! Гарика надо раздеть, разуть и посадить дома. Ты знаешь, Тинка приехала из Винницы?..

Злота. Ой, я не могу жить...

Сумер (*достает из кошелки сверток*). Рузя, смотри, какое я мясо купил. Правда, хорошее? Я стоял в очереди, но я был первый.

Рузя. Ай, Сумер, отстань со своим мясом. Я сейчас зайду к Луше, так я ей устрою черный день...

Рахиль. Боже паси, при чем тут Луша? Луша сама плачет. (*Стук в дверь*.)

Рахиль (*заходит на кухню*). Вот она сама идет. (*Возвращается с Лушей*.)

Рузя (*кричит*). Луша, я вас предупреждаю.

Луша. Что вы кричите?

Рузя (*кричит*). Я не кричу, я предупреждаю. Если я увижу вашу Тинку...

Луша. Следите за своим Гариком.

Рузя (*кричит*). Если я увижу вашу Тинку с Гариком, я ей голову поломаю.

Луша (*кричит*). Я тебе поломаю, что своих не узнаешь... На кой хрен мне нужен в доме твой еврейский сопляк...

Рахиль. Ша, Луша, ты так не говори... Что значит еврейский сопляк... Ну-ка выйди-но отсюда. Уйди, чтоб тебе не видеть... Гарика мы разденем и разуем, и он будет дома сидеть... Он не женится на твоей Тинке.

Луша. Рахиль Абрамовна, дай вам бог здоровья, если вы так сделаете. (*Плачет*.) Эта Тина у меня все силы отняла. (*Уходит*.)

Сумер. Что это за Луша?

Рахиль. Луша — это одна из нашего двора, что она спала с немцами... Тинка ведь от немца... Валя, которая едет к нам из Семеновки мыть полы, говорит, что эта Луша при немцах голая танцевала на столе...

Злота. Ай, то, что тебе Валя скажет...

Рахиль. Вот ты имеешь защитника...

Сумер. А что это за Тинка?

Злота. Тинка хорошая девочка... Она окончила Бердичевский медтехникум, а теперь она учится в Виннице в медицинском институте на доктора.



Рахиль. Что ты скажешь, Сумер?.. Мою Люсю в Винницкий мединститут не приняли, а Тинка, которая родилась от немца и что мать у нее безграмотная уборщица, так та учится... Гой всегда имеет счастье... Тинку взяли, а Люсю нет... Что это за власть?.. Это-таки гонейвише мелихе... Воровская власть.

Сумер (*смеется*). Разве член партии так может говорить?..

Рахиль. А что я, тебя боюсь?.. Ты кому-нибудь расскажешь?..

Рузя. Давно ушел Миля с Гариком?

Рахиль. Не очень... Ты иди за ним, а я тоже пойду в одно место... В общем, я знаю, куда мне идти.

Рузя уходит.

Злота, давай я тебе включу телевизор, ты же любишь. (*Сумеру.*) Это их телевизор, так мы его можем смотреть, пока Миля нету дома. Ничего, я еще куплю телевизор. Зайду к Балиной в «Культтовары», так я возьму в рассрочку... Мне дадут... Ты думаешь, этот телефон ему дали? Это мне дали... Еще слава богу, что меня в Бердичеве уважают. (*Включает телевизор.*) Слышишь, Сумер, Миля не дает Злоте смотреть телевизор... Это что, Киев показывают? Это площадь Богдана Хмельницкого... Вот он сидит на лошадь.

Сумер. Когда я был в Киеве, так я подошел к памятнику Богдана Хмельницкого и плюнул, только чтоб никто не видел, и сказал, только чтоб никто не слышал: идешер койлер... убийца евреев...

Сумер и Рахиль уходят. Злота наливает себе чай, садится перед телевизором, берет нож и рубит кусочек сахара, приложив нож к сахару и стуча ножом вместе с сахаром об стол. Входит Миля и какой-то парень спортивного вида. Миля выключает перед Злотой телевизор. Злота молча встает, берет стакан чаю и уходит в свою комнату.

Миля (*парню*). Андрей, посиди.

Андрей. Нет, Миля, мне пора. Дай мне фотографии, и я пойду.

Миля. Вот они, твои фотографии. (*Достает пакет.*) Вот ты в проруби, вот вылезает на лед, вот массовый заплыв моржей... Видишь — это я, это ты, это Дзивановский... С тебя пятерка... (*Включает телевизор.*) Посиди...

Андрей. Ну ладно... Толковая передача?

Миля (*смотрит телевизор*). Балет. (*Пауза.*) Танцуют.

(Пауза.) Ушли. (Пауза.) Занавес. (Пауза). Дикторша... Светочка, здравствуй... Хорошая баба...

Андрей. Баба ничего, а балет я не люблю... Если б хоккеей показывали... Ну, я пойду, будь здоров.

Миля. А я хоккеей не люблю, я футбол люблю... В хоккее мяч маленький, следить трудно, куда он летит... Хоккеей у нас вчера на льду был, медсантруд и кожзавод.

Андрей. Какой счет?

Миля. Два — ноль в пользу бедных. (Смеется.)

Андрей уходит. Миля молча смотрит телевизор. Злота осторожно выходит из своей комнаты, наливает еще один стакан жидкого чая и осторожно уходит. Шумно и быстро входит Рузя.

Рузя. Гарик дома?

Миля. Нет...

Рузя. Он же пошел с тобой?

Миля. Так пока я переодевался для купанья, он куда-то делся.

Рузя (кричит). Чтоб ты провалился со своим купаньем! Зачем ты взял с собой ребенка?

Миля. Рузя, не кричи... Рузя, Рузя... Пока я переодевался, он был с Колей Рабиновичем.

Рузя (кричит). С Колькой Рабиновичем?! Чтоб он сдох, этот Колька... Ты разве не знаешь, что у этого Кольки Рабиновича Гарик встречается с Тинкой?

Миля. Рузя, не кричи...

Рузя (кричит). Чтоб ты пропал, а не Гарик... Гарика нельзя было выпускать на улицу, зачем ты взял его с собой?.. Сволочь! Негодяй!

Миля. Рузя, замолчи...

Рузя. Сам замолчи... Хватит... Двадцать три года я живу по выражению твоего лица... Сволочь! Одевайся и иди искать Гарика!

Быстро входит Рахиль.

Рахиль. Я только что была у Раи из загса. Гарик подал заявление, чтоб его расписали с Тинкой.

Злота. Ой, я не могу выдержать...

Рузя (Миле). Одевайся, и идем искать Гарика... Я его закрою дома голого...

Злота (смотрит в окно). Ой, вот он сам идет.

Миля. Тише, только не кричите на него, я сам с ним поговорю.

Входит Гарик, бледный, возбужденный.

Рахиль. Где ты был, Гарик, что мы тебя все искали?

Гарик. Не твое дело.

Миля (*Рахили*). Вы не вмешивайтесь. (*К Гарик*у.) Разденысь, сынок, сядь, я с тобой поговорю.

Гарик. Говорить нечего. Мы с Тинкой подали заявление в загс... Я люблю ее, она любит меня...

Рахиль. Но ведь она старше тебя на пять лет... Папа ее был немец, что он убивал евреев, а мама ее уборщица, что она здесь во дворе мало разве кричала: жида!

Гарик. Баба, закрой пасть.

Рахиль. Закрой пасть... Сморкач... Подожди, Тинка еще тебе крикнет: жид... И Луша тебе крикнет: жид... Луша тебя ненавидит...

Гарик. Я женюсь на Тинке, а не на тете Луше.

Рахиль. Тетя Луша... Злота у него не тетя Злота, ей он кричит: заткнись, а Луша, что она ненавидит евреев, у него тетя... Луша, что она при немцах танцевала голая на столе.

Миля (*Рахили*). Зачем такое говорить при молодом парне?.. Вы это видели?

Рузя (*Миле*). Ты еще будешь Лушу защищать! Отдай Гарика в ее руки, отдай! Гарик, я тебя голого раздену. (*Хватает его, тот пытается вырваться, борьба. От толчка падает с книжного шкафа и разбивается бюст Ленина.*)

Рахиль. Осторожно, сейчас вы разобьете зеркало... Взяли и разбили... Этот Ленин у меня с 45-го года стоял, и был целый.

Рузя. Молчи, мама... Людоед... Я тебе заплачу за бюст Ленина... Гарик, стой, Гарик... Миля, что ты сидишь?..

Миля. Сядь, сынок, поговорим...

Гарик (*плачет, кричит, хватается за хлебный нож, представляет его к запястью*). Я себе удеры перережу... Вены вспорю...

Рахиль (*кричит*). Заберите у него нож... Ой-ой-ой...

Злота. Ой, мне плохо...

Миля и Рузя хватают Гарика, забирают у него нож, стаскивают с него пальто, раздевают один ботинок. Он вырывается, брыкает ногой, не дает Миле снять второй ботинок, попадает ему пониже живота ногой.

Миля (*хватается за пораженное место руками*). Ой... Темно в глазах...

Рузя (*кричит*). Что ты скорчился! Держи Гарика!

Миля. Не могу... В глазах темно... Он мне попал ногой...

Гарик отбрасывает Рузю, бежит к дверям в одном ботинке, но Рахиль успевает подбежать, тяжело, астматически дыша, и загородить дорогу. Гарик толкает ее в грудь. Она пошатнулась, но устояла. Тогда он хватается за халат у горла, но в это время Рузя и оправившийся Миля вцепились в него. Слышен треск материи.

Рахиль (*кричит*). Ой, он порвал на мне халат! Ой, он порвал на мне халат! Ой, он порвал на мне халат! Ой, он порвал на мне халат!

*Под крики, плач, звон разбивающейся посуды ползет занавес*

#### КАРТИНА 8-я

В большой комнате стало гораздо свободнее, исчезла Рузина полированная мебель. Вместо старого телевизора стоит телевизор другой конструкции. Майский теплый вечер. Дверь балкона приоткрыта. За столом сидит Рахиль, совсем уж сильно растолстевшая, обрюзгшая, но по-прежнему с живым, острым взглядом. Рядом сидит полный бородатый человек, в котором с трудом можно узнать Виллю. Злота у зеркала примеряет платье Быле. Злота с жидкими седыми волосами, с выцветшими, слезящимися глазами. Тонкие косички торчат у нее, как козлиные рожки. Двигается Злота совсем медленно. Быля еще молодится, но старость уже явно проступает на ее лице и еще больше подчеркивается пудрой и крашеными губами.

Злота (*поет слабым голосом*). «Тира-ра-рой, птичка, пой...» Здесь будет встречная складка...

Рахиль. Слышишь, Быля, так я пошла и дала за ковер задаток три рубля... Мне дадут в рассрочку, чтоб повесить над Злотиной кроватью вместо ее тряпки... Что ты скажешь, Виля, я правильно сделала?

Злота. Я тебе свою стену не дам. Ты потом отдашь ковер детям, а я останусь с голой стеной. У меня тряпка как тряпка...

Рахиль. Ой, она кричит... Виля, у вас в Москве тоже так кричат?

Виля. Ты имеешь от нее отрезанные годы? (*Смеется*.)

Злота. Она потом отдаст ковер Рузе, а я останусь с голой стеной.

Быля. Ну, как Рузя, довольна квартирой Рузя?

Рахиль. Ничего. Они получили там, где был раньше роддом. Однокомнатная, зато есть удобства — уборная, отлив... У меня уже нет сил таскать с лестницы ведро, особенно зимой.

Быля. Так Рузя довольна, Рузя?

Рахиль. Им хватает... Ей и Миле... Ребята уже женились... Марик в Ленинграде, а Гарик в Минске... Ничего...

Быля. А кто их жены?

Рахиль. Кто они? Марикина жена учительница, ее зовут Надя... А Гарикина жена еще студентка, вместе с ним учится в строительном институте, но ее тоже зовут Надя... Ничего. Она будет экономист, а он будет строитель.

Злота. Я к Марикиной Наде ничего не имею и к Гарикиной Наде ничего не имею... Они очень хорошие.

Рахиль. У тебя все очень хорошие... Ничего. (*Вздыхает.*) Как бы там ни было, но таки плохо тем, кто лежит в земле. (*Начинает плакать.*) Как говорят ды гоем: колы нэ умыраты, то треба дэнь тэраты...

Быля (*вытирает глаза*). Я слышала, что Сумер умер на улице, я слышала... Так говорят...

Рахиль. Чтоб у того выкрутило рот, кто так говорит... Что он, нищий, чтоб умереть на улице...

Быля. При чем тут нищий, при чем тут?.. Слушай- но... При чем тут нищий?.. Каждый может умереть где угодно... Даже царь может умереть на улице, даже царь...

Злота (*плачет*). Он стоит мне перед глазами... Он был такой хороший брат... Он недостает мне в каждом уголочке... Уже пять месяцев скоро, как он умер...

Рахиль. Чтоб у того выкрутило рот, кто говорит про нашего Сумера, что он умер на улице... Он умер не на улице, а в этом новом универмаге, что построили возле церкви. (*Плачет.*) Слышишь, Виля, 26 январь, ой, я хорошо запомню это число, он пошел покупать ведро в универмаге. Я его встретила на улице и говорю: Сумер, зайди к нам... Он говорит, я сейчас пойду, куплю ведро в универмаге и на обратном пути зайду к вам... Так он только поднялся на лестницу, чтоб войти в универмаг, сразу упал... Тогда какие-то люди его занесли внутрь, потому что на улице мороз... А эти гойки, продавщицы, сейчас же продавщицы все гойки из села у нас, евреев сейчас в торговой сети нету, так гойки начали кричать: вынесите этого пьяницу... Но в универмаге была Векслер, что она когда-то работала со мной в торгсин... Ты знаешь, Виля, что такое торгсин? Это где дефицитный товар продавали не на деньги, а на золото и драгоценные камни... Так эта Векслер говорит: нет, это не пьяница... Это Луцкий...

Злота (*плачет*). Он стоит у меня перед глазами... Он пережил Зину почти на год... Зина умерла от сахарной болезни...

Быля. Да, я слышала, от диабета.

Рахиль. В общем, как рассказывают, Сумер пришел

в себя, сел, вынул конфетку, положил в рот, вынул платок, вытер губы... Ему говорят — позвать сестру? Это про меня... Меня ж в городе все знают... Позвать сестру, Рахилю Абрамовну. *(Плачет.)* Он говорит: не надо... Это были его последние слова... Потом я пришла в больницу, так он лежал и спал. Но одно ухо у него было синее. Я его поцеловала... И еще один там лежал и спал. Так тот проснулся, а Сумер нет... Три дня ему не хватало до восьмидесяти лет... Мы ему устроили похороны... Но в больнице хотели, чтоб он еще лежал... Некому было копать яму... В тот день было шесть покойников... Тогда товарищ Сумера дал из свой карман двадцать рублей, и яму выкопали... Виля, ты помнишь Сумера?

Виля. Как же... Бердичевский Вольтер...

Рахиль. Что значит Вольтер? Что значит, ты говоришь на Сумера — Вольтер?.. Я не понимаю.

Быля. Это такой писатель.

Рахиль. Он не был писатель, но он был очень умный.

Входит шумно Валя с половыми дорожками в руках. Одета она в обноски, повязана рваным платком, но веселая, с маленьким носиком и круглым лицом.

Валя. Луша каже: ты чего дорожки трепаешь?.. Пыль на ней идэ... От зараза, вредная... Кажэ: она менэ вдарыть... *(Смеется.)*

Рахиль. Пусть попробует... Луша думает, что это ей при немцах, когда она голая танцевала на столе... Ты знаешь, Быля, что это за Луша? Гарик ведь хотел жениться на ее дочке Тинке... Ой, тут было несчастье... Эта же Тина от немца... Правда, Валя?

Валя. От немца... Луша кацапка с нимцами гуляла из коммандатуры... *(Смеется.)*

Виля. А вы откуда знаете? Вы из одного села?

Валя. Нет, я из Семеновки. *(Смеется.)*

Рахиль. Что, ты не помнишь Валю? Она у нас уже, может, десять лет пол моет... У нее сестра есть в Виннице, тоже уборщица, а больше никого нет... Я правильно говорю, Валя?

Валя. Правильно. *(Смеется.)*

Виля. Вы в колхозе работаете?

Рахиль. Как же она в колхозе, если она ездит мыть полы... Ой, вэй з мир...

Валя. Я без матэри колы зусталась, пишла на стройку подсобницей. Далы мени паспорт. А скоротылы, паспорт в мене видибралы, пишла поденно.

Злота. У нее в селе есть землянка... Она содержит соба-

ка, кошка, несколько куриц. *(Смеется.)* Я ей всегда для собачки кости собираю.

Валя. Собака гавкает, а кот мышей и горобцов ловит... Я иду на работу, и он идет на работу. *(Смеется.)*

Быля. Сколько же вы ей платите за то, что она убирает, сколько?

Рахиль. Я ей даю рубль и покушать...

Злота. У Вали главное картошка... Я ей покупаю тюльку, я ей покупаю капусту... Уже десять лет она моет у нас полы.

Рахиль. Но у меня нет сил, я не могу согнуться.

Виля. А сколько же вам лет, Валя?

Валя. Шестьдесят три... Поки не хвора, то добре, а як захворію, хто мене буде годувать... Подохну. *(Смеется.)*

Злота. Як помрешь, то задницю не забачишь. *(Смеется.)*

Рахиль. Валя, возьми дорожки, что под ноги кладут, и потрепай... Но больше их не стели возле кровати.

Злота. Как это не стели... Мне холодно в ноги.

Рахиль. Я не имею сил трепать, а Валя вместо всех этих тряпок лучше пускай хороший ковер выбьет.

Злота. Но мне холодно в ноги.

Валя *(смеется)*. Злота хоче, щоб чисто було и щоб не трипаты... Цю Злоту треба начальником посадыты. *(Смеется.)*

Рахиль. Да, на чужих плечах она молодец.

Злота. Ну, я не могу, вот так она на меня наговаривает.

Быля. Злотка, не нервничай, Злотка...

Виля *(к Вале)*. А пенсия у вас есть?

Валя. Нема... Ничего... Ци пенсионеры вже смердят. А я як хвора стану, краще помру. *(Смеется.)*

Рахиль. Валя, что-то ты сегодня много говоришь... Вынеси-ка ведро. *(Валя уходит.)* Зи даф эсен дрек... Она должна кушать, извините за выражение, то, что в уборной... Такая грязная... и она живет, а Сумер умер. *(Плачет.)*

Быля. Вечного ничего нет, правда, Виля? Виля очень хорошо выглядит.

Рахиль. Ну что ты хочешь, научный работник.

Виля. Я не научный работник.

Рахиль. Ну все равно, большой человек... Ой, сколько мы пережили, сколько Злота плакала... Теперь уже слава богу... Быля, ты видела, какое у него красивое пальто?

Быля. Я видела, московское... Моя Мэра тоже должна скоро поехать в Москву... У нее там знакомые, у нее там... Овечкис. Ты не слышал, Виля, Овечкис? У него труды опубли-

кованы. Этот Овечкис тоже сейчас приехал, он у нас гостит... Ты не слышал Овечкис?

Виля. Я не слышал.

Рахиль. Откуда он знает? Что, Москва — это Бердичев?

Быля. Злотка, так когда на примерку, Злотка?

Злота. Через три дня.

Быля (*переодевается в соседней комнате, выходит*). Когда ты едешь, Виля?

Злота. Он же только приехал.

Быля. Ну, слава богу... До свидания. (*Уходит*.)

Рахиль. Злота, быстрее переверни стакан... Зи кен гибен а гытойг... Она может сглазить. (*Дает дули в дверь*.) На, на... Соль в глаза, камни в живот.

Злота. Зачем ты так говоришь?.. Это наша родственница...

Рахиль. Родственница. Троюродная пуговица от штанов... Виля, ты меня слушай, если я говорю, так это сказано. Ты ее Мэру видел? Петух. Одно горло, и больше ничего ни спереди, ни сзади... Когда Мэра ездила в Крым, так у нее ушло триста рублей. Но нельзя говорить. Она ходила кушать только туда, где музыка играет... Еще хорошо, что она из Крыма не привезла сифилис...

Злота. Боже мой, что она говорит?.. Мэра очень честная девочка...

Рахиль (*смеется*). Девочка... Олте мойд... Старая дева, а не девочка... А Быля скрывает, что ее отец был простой бондарь... всю жизнь она хотела дружить только с докторами... Она хотела мужа для Мэры доктора... Но ее Мэра поехала в Крым, и, говорят, она там жила с одним узбеком... Еще хорошо, что она не привезла сифилис, как дочка Иванова.

Злота. Где есть сплетня, так она приносит.

Рахиль. Злота, чтоб бог помог прекратить твои крики... Ты меня слушай, Виля... Ты Иванова знал?

Злота. Откуда он знает Иванова?

Рахиль. Его фамилия Иванов, но он еврей... Закупщик скота... Богатый... Кооперативная квартира... А у его дочки уже ребенку десять лет. Так она поехала на курорт, познакомилась с киевлянином и привезла сифилис. (*Смеется*.) Ничего... Мужа у нее нет, с мужем она разошлась... Но в квартире надо делать ремонт, так пришли маляры. Так она легла с одним маляром и заразила его. А он разнес сифилис по городу. (*Смеется*.) Такая сволочь... А этот Иванов был при немцах...

Злота. Рухл, что ты рассказываешь всякая ерунда, дай ему покушать. (*Ставит на стол яички и котлеты*.)

Рахиль. Злота, что за маленькие котлетки ты сделала?



Большие люди едят эти котлеты, а ты сделала как для маленьких детей...

Злота. Ну, я не могу... Только она хочет быть надо мной хозяином, только она хочет взять меня себе под ноги... Виля, не бери масло из этой масленки, это Рахилино... Вот наше. *(Подвигает точно такую же масленку.)*

Рахиль. Виля, если я от нее выдерживаю, так я железная... Ну так что, если он возьмет немного моего масла? Что я, обеднею?

Злота. Зачем, когда у него есть свое?..

Виля. А как же вы различаете? Ведь масленки совершенно одинаковые, обе из синей пластмассы?

Злота. У моей здесь прикреплен бумажный кружочек от катушки.

Рахиль. Виля, посмотри на нее с этими косичечками. *(Смеется.)* Зи кен аф мынен... Она может пригодиться для мынен... Ты знаешь, что такое мынен? Это в синагоге нужно десять человек, чтоб состоялась молитва. Если девять, это не годится... Тогда искали десятого, кого угодно, даже идиота. *(Хочет.)*

Злота. Если б не мое горе, я б твоего лица не видела... Я бы уехала в Москву... Что, у меня там не было бы заказчиц? *(Плачет.)*

Рахиль. Ша, Злота, дай Виле спокойно покушать... Большой деатель... Она уже пять лет не выходит на улицу, так она поедет в Москву.

Злота. Она мне не дает слова сказать, она меня все время перебивает... Я раньше так хорошо ходила, у меня были такие крепкие ноги...

Рахиль. Ты всегда имела плоскостопие, сколько я тебя помню... Виля, ты меня слушай... До революции мы жили как бедняки. Кто был наш отец? Простой шорник... Так если покойная мама сварила суп из картошки, у нас был веселый день. Боже паси, чтоб дети ели когда-нибудь яйца. Но Злоте запаривали яйца.

Злота. Мне давали яйца потому, что я самая первая из детей начала работать... Раньше Сумера... Мне еще было восемь лет, когда я пошла работать ученицей к портному. *(К Виле.)* Раньше портних не было, только портные... Раньше лучше одевались, а сейчас барахло... Мне лежит в памяти, когда после революции покойный Сумер держал магазин от вещи. *(Садится, наливает себе чай, берет яблоко, кусает.)* Я люблю чай пить с яблок... Так про что я говорила?

Рахиль. Злота, когда пьют чай, так молчат, а то можно, не дай бог, подавиться... Ты помнишь, как ты подавилась ко-

стью от рыбы? Ой, Виля, я железная... Если б Дуня снизу не прибежала и не начала Злоту бить по спине, так кость бы не выскочила... Ты бы видел кость... Как человек может проглотить такую кость?.. Эта кость, когда выскочила, так ударила о миску, что звон пошел.

Злота. Ну, она не дает мне слова сказать... Я помню, как в Варшаве была еврейская религия.

Рахиль. Она помнит... Ты что, была в Варшаве? Злота, что-то с годами ты стала лыгнерын... обманщица...

Злота. Но она меня только хочет плохо поставить перед людьми... Я не была, но я помню, как дедушка рассказывал... Я помню нашего дедушку, он был такой красивый, у него на всех пальцах были кольца... Сколько было пальцев, столько было колец... Он имел теркешер пос... Турецкий паспорт... Так как только начиналась война, так приходили эти красные колпаки и его арестовывали... Я помню, как мы все дети сидели и обедали и пришли красные колпаки и его арестовали... Ой, мы так плакали...

Рахиль. Вот она тебе скажет... Красные колпаки, это же гайдамаки, они в гражданскую войну были... А до революции был пристав. Это пристав пришел, чтоб арестовать дедушку, что я не помню...

Злота. Я лучше тебя помню... Дедушка был приказчик. Он ехал в Варшаву за товаром. Раньше евреев не пустили в Киев и Москву, а только в Варшаву. Мне лежит в памяти. О, какие платья тогда были! Теперь не платья, а барахло. Они ездили в Варшаву покупать... В Киеве жили только первогильдники, капиталисты и ремесленники... Тогда портних не было, только портные...

Рахиль. Злота, что ты повторяешь одно и то же...

Злота. Ну, она не дает мне слова сказать... В Варшаве евреи ходили с бородами, шапки с козырьком, женщины носили парик...

Рахиль. Злота, что за вареники ты сделала? Котлеты ты делаешь маленькие, а каждый вареник как Эгдешман... Тут был такой большой грузчик Эгдешман, так каждый вареник как Эгдешман.

Входит Валя с дорожками.

Валя (*смеется*). От зараза... Луша знову каже, что мене вдарить, бо я дорожки трепая и роблю пыляку... Зараза ни мамци... Кацапка погана... Ии позавчора з церкви пип выгнав...

Рахиль. Ты слышишь, Злота, что такое Луша... Валя го-

ворит, что Луша обделалась перед попом и он велел ее выгнать из церкви.

Злота. Зачем такое говорить на человека?

Валя (*смеется*). Я сама бачыла, як ии з церкви выгналы...

Рахиль. Ну, иди, Валя, здоровая... Так ты придешь в пятницу? Иди...

Валя уходит.

Злота (*зовет*). Валя... Валя... Ой, если я сяду, я уже не могу подняться. (*Хватается руками за стол, поднимается, берет с подоконника газетный сверток*.) Я забыла ей дать... Эти кости я собираю Вале для собаки.

Рахиль. Дай-но сюда... Выброси их... Валя должна знать, что ты кушаешь курицу?

Валя (*заглядывает*). Вы мене клыкалы?

Рахиль. Нет, ничего, иди, Валя. (*Валя уходит*.) Она потом пойдет вниз и все расскажет о нас госм, как мы живем, что мы кушаем курицу. Но у меня они могут знать, только что в заднице темно...

Виля. А где Дрыбчик?

Злота. Дрыбчик? Ой, он помнит Дрыбчика... Дрыбчик еще два года назад утонул.

Рахиль. Он поспорил на поллитра, что переплывет Гнилопять... Так туда он переплыл, а назад — нет... А тут был во дворе еще один бандит, Витька Лаундя, ты помнишь? Так ему отрезали обе ноги, у него гангрена... А ты помнишь муж Дуня, что они были на Рузиной свадьбе?

Злота. Фамилия его Евгеньевич, нет, Евгений... Чтоб я так знала про него...

Рахиль. Вот она тебе скажет... Евгеньев его фамилия... Так пять лет назад он застал у Дуни одного пенсионера, что он за этой старухой ухаживал, и так крикнул от ревности, что у него оборвалось сердце. (*Смеется*.)

Злота. Зачем тебе надо смеяться? Человек умер...

Рахиль. Чтоб он раньше на тридцать лет ушел головой в землю... Это он нам порекомендовал Милю... А когда я спросила Рузю: Рузя, он тебе нравится, она ответила: ничего паренек...

Злота. Рухл, перестань. Миля совершенно переменялся. Он теперь совершенно другой, после того как с ним случилось несчастье.

Виля. Какое несчастье?

Рахиль. Ой, ты еще не знаешь... Ему же отрезали палец...

Злота. Боже мой, что тут было... Он ходил купаться зимой на речку, и на него упал лед... Думали, что отрежут всю руку, но отрезали только палец... Еще слава богу...

Рахиль. Так одним пальцем он уже на том свете. *(Смеется.)*

Злота. Рухл, перестань, он еще молодой... Ему недавно отметили шестидесятилетие, в прошлом месяце. Так вечеринка была здесь у нас, потому что у них негде. Он пришел и говорил со мной и говорил с Рахилей... Шестьдесят лет... Он еще молодой...

Рахиль. Молодой... Собака в его возрасте уже давно сдыхает...

Злота. Ой, боже мой. *(Смеется.)*

Рахиль. Когда они здесь жили и Злота хотела смотреть телевизор, так Миля его выключал, когда она выходила, так он опять включал.

Злота *(смеется)*. Ну, он такой человек... Плохого человека надо поднять...

Виля. Что? Понять?

Злота. Нет, не понять, а поднять... Плохому человеку надо сделать почет, тогда ему будет приятно.

Рахиль. Это ты им делай почет... Ты хорошая, а я не хочу быть хорошей... Быля, вот Злота сейчас будет кричать, но Быля теперь говорит, что ты хорошо выглядишь и у тебя хорошее пальто. А раньше она смеялась над тобой.

Злота. Это неправда. Она всегда спрашивала, как Виля.

Рахиль. Ты меня слушай... Йойна тебя назвал «вечный студент»... Я ему говорю, что значит «вечный студент»?.. Как вы так говорите, Йойна. Вот вы сейчас смеетесь, а еще будет время и люди лопнут от зависти, когда посмотрят на нашего Вилю... Я и Злота всем так говорили... Мы наши дети не бросаем... Если надо посылка, так посылка. Сегодня мы Виле дадим, завтра он нам даст... Правильно, Злота?.. А Йойна за то, что он так говорил, теперь вырезали из носа кусок мяса.

Злота. Зачем ты радуешься, это же несчастье...

Рахиль. Ничего. То, что я сказала Виле, так Виля никому не расскажет. Говорят, что у Йойны рак, но Быля это скрывает. Слышишь, Виля, каждый год Быля с ним едет в Киев, и у него из носа вырезают кусок мяса... Это стоит еще тех денег... Ай, я не хочу о них думать, у меня есть про что думать. Виля, посмотри лучше на Алла и Лада, чтоб мне было за них. *(Достаёт с буфета альбом.)* Это Алла, ой, как она красиво танцует, она будет балерина... А это, ты думаешь,

Люся в детстве? Нет, это Ладушка... Смотри, с воздушным шариком. Это я ей купила, думаешь, это Петя ей купил?

Виля. Современный Бердичев в третьем колене.

Рахиль. Чтоб мне было за их коленки... Ой, надо же позвонить Рае в загс... Алла не хочет быть Пейсаховна... Она хочет быть Петровна... И Лада тоже от нее учится... Когда Петя родился, так его родители записали не Петя, а Пейсах... А я им говорю: о чем вы раньше думали, идиоты?

Виля. Да, проблема сложная, но временная. Это последние Пейсаховичи и Исааковичи... В жизнь вступило поколение Анатолиевичей, Эдуардовичей, Алексеевичей, Александровичей...

Рахиль. А ему дали имя Пейсах... Так я зашла к Рае в загс... Ой, Рая, ей ниоткуда прожить день... Сколько у нее зарплата? Она собирает бутылки, что их оставляют пьяницы, и сдает... Так Рая мне говорит, когда Алле исполнится пятнадцать лет, надо написать заявление и пятнадцать рублей... Но я думаю, что за пятнадцать рублей я им обеим «Пейсаховна» поменяю на «Петровна». Что ты скажешь, Виля?

Виля. Нет, за пятнадцать рублей только Алла будет Петровна.

Рахиль. Ну, что ж, мэйле... Возьму в кассе взаимопомощи тридцать рублей... Ради своих детей надо делать все... Кто-то звонит... Злота, забери-но свое трико... Всегда она посадит свое трико на палку, что я открываю задвижку в печке, и выставит это свое трико на видное место сушить...

Злота. Она рвет от меня куски. (*Снимает трико с палки и уносит его.*)

Входит Борис Макзаник.

Макзаник. Ну, где тут ваши гости?

Рахиль. Какие гости?

Макзаник. Где здесь знаменитый человек? Ах, вот он, бородатый... Ну, здоров...

Виля. Борис Макзаник нас заметил и, в гроб сходя, благословил.

Макзаник (*хохочет, выпучив глаза*). Ну, как Москва?

Злота. Садитесь, выпейте с нами чаю... Я теперь вам не могу говорить «ты».

Макзаник. Да, мы повзрослели. (*Хохочет.*) И побородели. (*Хлопает Вилю по плечу.*)

Рахиль. Как папа, как мама?

Макзаник. Ничего, болеют... Старшее поколение...

Злота. Я помню, как ваш папа, еще до войны, читал лекции о международном положении на еврейском языке.

Макзаник. Отец у меня хороший, батя... Конечно, возраст, но продолжает, несмотря на пенсию, работать в области журналистики. Внештатный корреспондент «Радянской Житомирщины». Вы читали недавно его большую статью «Жертвы сионизма», про евреев, которые уехали из Житомира в Израиль и теперь хотят вернуться назад?

Рахиль. Я только местную газету выписываю «Радянский шлях».

Злота. А как ваш сын? Извините, я вас расспрашиваю...

Макзаник. Сын... Вот мой сын. (*Достаёт фото.*) Уже семь лет мальчику. (*Виле, тихо.*) Может, прогуляемся, а тут тут тетушки.

Виля. Нет, гулять не хочется.

Макзаник. Э-э, да ты, я вижу, скис. А вот смотри фото: мы с тобой, какие молодые ребята, и вот твоя надпись: «Другу по надеждам и мечтам»... Молодость...

Виля. Мао Цзедун прав. В молодости человек — это чистый лист бумаги...

Макзаник. Странные у вас в столице мысли... Пришел бы на завод, пообщался бы с рабочим классом, тогда и дети появятся. (*Хохочет.*) Это ведь очень просто... Не получается, передохни, погуляй немного по комнате, скушай ложку меда... Ну, а если всерьез, я стихи своему сыну Саше недавно написал. Хочешь послушать?

Виля. Прочти.

Макзаник. Стихи обычно приходят вечером после трудного дня... Вот, послушай: «Сыну Саше. Эпоха целая прошла с тех пор, как мама на горшок тебя сажала, а ты кричал «уа-уа» и ничего не понимал. Теперь ты взрослый человек, не делаешь сырых пеленок, но я хочу, чтоб целый век был жив в тебе, мой сын, — ребенок». (*Последнюю фразу произносит дрогнувшим голосом.*)

Виля. Ничего. (*Начинает кашлять.*)

Макзаник. А вот совсем другая тематика, скоро будет напечатано... «Страна советская большая, нет в ней бесчисленных врагов, живет прекрасно, расцветая среди полей, лесов, лугов. А если враг захочет снова Россию пеплом всю обжечь, не надо им влезать в Россию, им надо голову беречь». (*Хохочет.*) Это я по проблемам мирного существования.

Виля. В общем неплохо. (*Начинает кашлять.*) Что-то я простудился.

Макзаник (*смотрит на Вилю искоса*). Тогда, чтоб рабочему вылечить тебя от интеллигентской простуды, я тебе

прочитаю кое-что другое... Вот афоризмы, которые, может быть, пойдут тебе на пользу... «Душа — это алмаз, а ум — это инструмент, который обрабатывает алмаз»... «Подавляя свою душу или не связывая ее с умом, с действительностью, человек углубляется в мир иллюзий и мистики, следствием чего является презрение к людям».

Виля. Ничего. (*Кашляет.*) А это ты один писал или в соавторстве, как Козьма Прутков?

Макзаник. О человеке можно судить не по тому, что он говорит, а какие вопросы он задает. (*Вскакивает.*) Ты был дурак и остался дурак, хоть что-то там вытворяешь в Москве.

Рахиль. Ой, вэй з мир... Что? Кому ты говоришь: дурак? Сморкач паршивый. Так, как я держу руку, так я тебе войду в лицо.

Макзаник (*кричит*). Негодяи, сволочи... У меня нервы как струны! Ты думаешь, я не видел, как ты надо мной насмеялся... Кашляет, кашляет...

Рахиль. Ты сам сволочь... Твой папа всегда имел любовниц, и ты такой же... Уйди, чтоб тебя не видеть... Кто тебя сюда звал? Ты сам звонил каждый день, спрашивал, когда Виля приедет... Что ты нам нужен?.. Даже, когда я сижу в уборной, я о тебе не думаю...

Макзаник. Когда мне надо будет, я уйду... Пусть ваш Виля не думает, что только он один человек, а все вокруг него клопы... Он был дурак и остался дурак... Вот он показал сейчас себя во всей красе. (*Быстро уходит, хлопает дверью.*)

Рахиль. В голове чтоб ему стучало... Виля, что ты ему не ответил? Он тебе сказал: дурак, надо было сказать: от дурака слышу... Что ты так побледнел, Виля, что ты переживаешь? Что, ты не знаешь Макзаника, это же идиот... Его весь Бердичев считает за идиота.

Злота. Боже мой, Виля, ты себя что-то плохо чувствуешь? Может, ты ляжешь и я тебе дам чаю в постель?

Рахиль. Такое горе... Это твоя идея, Злотеле... Я сказала — он здесь не нужен, а ты говоришь, надо пригласить, неудобно... Макзаник просит... Он просит... Чтоб он уже себе смерти просил...

Злота. Она от меня куски рвет. (*Плачет.*)

Виля (*встает*). Может, действительно мне сегодня уехать? Я еще успею на казатинский поезд, а ночью из Казатина идет много поездов на Москву.

Злота. Как это ехать? Что-то я тебя не понимаю. Ты же только приехал, ты не был пятнадцать лет. (*Плачет.*)

Виля. Но я вас повидал, побыл день... Достаточно...

Рахиль. И за то, что Макзаник сказал тебе: дурак, так

ты хочешь уехать? Смотри-ка, Злота плачет. Я тебе сейчас расскажу, так ты поймешь. Тут в Житомире есть один, так его имя Израиль. Так его все зовут «Агрессор». Так он смеется. А ты переживаешь, что Макзаник сказал тебе: дурак...

Виля. Он смеется? Тогда другое дело, тогда я просто погуляю по Бердичеву.

Злота. Виля, куда ты идешь? Ведь поздно, дождь начинается.

Виля. У меня есть зонтик. *(Выходит.)*

Рахиль *(кричит вслед)*. Только не ругайся с гоем здесь во дворе... Ты себе уедешь, а нам с ними надо жить... Злота, ты не переживай, не переживай... Этот Виля всегда был раскрученный... Цыдрейтер... Мышигинер... Сумасшедший...

Злота *(кричит)*. Ты и дети твои сумасшедшие. *(Плачет.)*

Рахиль. Злота, чтоб тебе вывернуло рот... Он ушел, так я виновата... Такое горе... Дети мои ей не нравятся... Дети... Макзаник таки прав, хоть он идиот... Что я, не знаю, что Виля смеется надо мной, над моей Люсей, над моей Рузей, над Мариком, над Гариком, над Петей, над Аллой, над Ладой, над всеми?.. Только он умный... Но где он работает — неизвестно, и какая у него зарплата — неизвестно, и кто он такой — неизвестно... Моя Люся таки правильно про него говорит...

Злота. Твоя Люся такая же, как твой муж Капцан... Она молчаливая собака, собака с закушенным ртом...

Рахиль. Ты сама собака... Мой муж ей не нравится... Надо было иметь своего мужа...

Злота *(кричит, плачет)*. Ты говоришь, что у тебя был муж, а у меня не было... Если б я хотела, я б имела мужа... Но я должна была кормить маму и папу, они были больные.

Звонит телефон.

Ой, что-то мне плохо, что-то мне колет сердце, что-то мне схватил живот...

Рахиль. Ну, иди на ведро... Тихо, это Житомир... Немая чтоб ты стала. *(Берет трубку.)* Девушка, але... это Житомир? Да, я заказывала... *(К Злоте.)* Иди на ведро... Тихо... *(В трубку.)* Люся... Здравствуй... Ой, я без детей не могу, я каждый вечер звоню, ты же видишь... Ой, я только что имела... Виля приехал, так пришел Макзаник и сказал ему «дурак»... Что ты смеешься?.. Так Виля побелел, как стена, и хочет ехать назад в Москву... Ничего... Слава богу... Так он хорошо выглядит, у него красивое пальто... Он привез лимоны, так десять он дал мне, а шесть я взяла так, может, я возьму еще несколько...



Я приеду, так я привезу вам лимоны... Злоте нельзя, у нее кислотность... Так он хорошо выглядит, но где он работает и какая у него зарплата, когда я буду знать, так я тебе скажу. (Смеется.) Он пошел гулять, этот елд... А Злота на ведро... Что у вас? Что слышно... Ты, наверно, ходишь босая... Отвари детям кусочек курицы, я приеду, я привезу еще куры... Лада, чтоб мне было за нее, как она... Но про Вилю ты не рассказывай мансы в Житомире... Дай Ладочку... Здравствуй, моя сладкая девочка... Как баба тебя учила стихи? От а елд а копелеш... Имеет дурак шляпу... Мыт ды ланге пеес... И длинные пейсы... (Смеется.) Вот он идет, этот елд... Целую тебя, чтоб мне было за тебя... Нет, это Рузя и Миля пришли... Я целую... Я завтра позвоню. (Вешает трубку.)

Входят Рузя и Миля. Рузя сильно поседела, потолстела и стала похожа на Рахиль. Миля, наоборот, похудел. Рука его перевязана.

Рузя. А где Виля?

Злота. Он пошел немного погулять.

Миля. В такой дождь гулять?

Рахиль. Ну так он гуляет в дождь, что можно сделать? Ой, я тебе скажу, Рузя, я железная, что я это все выдерживаю...

Злота. Я не могу жить. (Плачет.)

Миля. Не надо ругаться, главное — здоровье...

Рахиль. Как твой палец?

Миля. Какой палец? Пальца нету.

Рахиль. Я спрашиваю, как рука.

Миля. Ноет... Вот сегодня дождь, так она ноет особенно, и палец, хоть его нету, тоже ноет.

Рахиль. Что пишет Марик? Что пишет Гарик? Чтоб мне было за их кости.

Рузя. Слава богу, все хорошо... Марик скоро должен получить квартиру, а Гарику я послала посылку.

Рахиль. Злота, куда ты идешь?

Злота. Выйду на балкон, может, Виля надойдет.

Рахиль. Сумасшедшая, хочешь простудиться... Ой, я железная, я уже не могу... Виля поругался с Макзаником, так он хочет уехать... Что я, виноватая?.. Я сказала, Макзаника не надо приглашать, а Злота хотела.

Злота. Ты все говоришь, как тебе выгодно.

Миля. Этот Макзаник к юбилею прислал мне стихи... «Лично вас поздравить рад, должен вам признаться, что вам на вид не шестьдесят, а три раза по двадцать»... Так потом

я выяснил, что Макзаник посылает эти стихи всем юбилярам, только меняет цифры... Так разве можно на него обижаться?..

Рахиль. А что я говорю, на идиота нельзя обижаться... Так ведь Виля, Вилечка... Виля такой горький, как желчь... И нельзя сказать, Злота кричит... Он поругался с Макзаником, так он хочет уехать... А Злота плачет.

Миля. Взрослый человек, а ведет себя, как мальчишка. Вы помните, как я однажды пришел с товарищем, а он был пьяный и ударил меня в глаз... Мало ли что бывает?..

Рахиль. Это было в 56-м году... Я хорошо помню.

Миля. Так я с ним месяц не разговаривал, а он ходил за мной и просил прощения... Так как надо поступать.

Рахиль. Ой, боже мой... Чем дальше, тем нам труднее жить вдвоем... Две старухи... Если б уже найти какой-нибудь хороший вариант и поменять вашу комнату и наши две на отдельную двухкомнатную квартиру с удобствами.

Злота. Я скоро умру, так тебе будет легче.

Рахиль. Ша, Злота, вот Виля идет... Злота, нашлась твоя пропажа... Злота, ты сиди, я открою. *(Рахиль уходит и возвращается с Овечкисом, одетым по-столичному, в очках.)*

Овечкис. Извините за позднее вторжение, мне нужен Вилли Гербертович.

Рахиль. Кто?

Овечкис. Вилли Гербертович.

Злота. Ну, Виля нужен... Он пошел погулять, заходите, пожалуйста, садитесь.

Овечкис. Спасибо. Нас когда-то знакомил Бронфенмахер. Несколько лет назад, когда я сюда приезжал. Но я не знал, что вы родственница Вилли Гербертовича.

Рахиль. Я помню... Вы у Были остановились?

Овечкис. Да, у Были Яковлевны. Приехал в Киев в командировку, дай, думаю, навещу.

Злота. Хотите чаю?

Овечкис. Спасибо, я чай почти не пью...

Злота. Что вы говорите?.. А я без чаю не могу...

Рузя. Ой, я была в Москве, так там все ходят с собаками. Такие красивые собаки... В Бердичеве я не видела таких собак... У вас тоже есть собака?

Овечкис. Есть.

Миля. Я люблю немецкую овчарку. Боевая собака, может защитить хозяина. Ее стоит кормить... У вас овчарка?

Овечкис. Нет, у меня доберман-пинчер.

Рахиль. Как? Доберман-пинчер? Что ты скажешь, Злота? В Москве уже собаки имеют фамилии, как люди... У моего покойного брата была собака, так ее звали Шарик... Он

с ней только по-еврейски говорил. Он ей говорил: «Шарик, штэл зех ин угол...» Значит, Шарик, становись в угол... Он шел и становился... По-русски он не понимал.

Овечкис. Шарик вполне русское имя... Странно, что он понимал только по-еврейски. *(Смеется.)*

Миля *(смеется)*. Ну, теща, вы даете... *(К Овечкису.)* Ну, люди всю жизнь прожили в Бердичеве... А как вообще Москва?

Овечкис. Стоит на своем месте.

Миля. А как «Аннушка», как «Букашка»... Я имею в виду кольцевые трамваи.

Овечкис. Скажу откровенно, я трамваем не пользуюсь, у меня машина.

Рахиль. Там в Москве у многих машины... А как Виля живет? Вы в Москве часто видите?

Овечкис. К сожалению, мы в Москве не были знакомы... Действительно нелепость: приехать из Москвы в Бердичев, чтоб познакомиться...

Злота. Вам про него Быля рассказывала?

Овечкис. Почему Быля? Я в Москве о нем много слышал.

Рахиль. А что случилось?

Овечкис. Случилось? Именно случилось... Может быть, именно случилось... Поэтому мне и хочется познакомиться с этим человеком.

Рахиль. Что-то я вас не понимаю! Он работает, у него хорошая зарплата? Мы же ничего не знаем, он нам ничего не рассказывает.

Овечкис. Вилли Гербертович пользуется авторитетом в нашем кругу...

Рахиль *(смотрит, выпучив глаза, подперев щеку ладонью, пожимает плечами)*. Ну, пусть все будет хорошо.

Злота. Дай вам бог здоровья за такие хорошие слова. Я всегда говорила, что люди лопнут от зависти, глядя на него. *(Плачет.)*

Рахиль. Злота, что же ты плачешь? Ты же слышала, что все уже хорошо. *(К Овечкису.)* Вот так мы живем... Что делать, старые люди... Пенсионеры...

Рузя *(медленно говорит, глядя перед собой)*. Сейчас-таки много пенсионеров... Если бы я своими ушами не слышала и своими глазами не видела, я б никому никогда это не рассказала. Один лежал в больнице, так пришла комиссия и сказала, почему так много пенсионеров занимают койки.

Миля. Я скажу честно: простому человеку, простому рабочему так плохо, пенсионер он или нет... Вот я на бюллете-

не... Придешь к завкому, так он тебя обругает, и ты уйдешь ни с чем.

Рузя. Завком у нас таки грубый. Я работаю в электро-монтажном цеху уже десять лет, мой муж в отделе технической информации — уже двадцать лет, но что у завкома ни попросишь, он отказывает... Он говорит: откуда я возьму, что я, подоюсь?..

Миля. Он таки грубый.

Рузя. А если б вы видели жену завкома. Никто она, никто. Но она жена завкома. Пойдет в гастроном — самую лучшую колбасу, конфеты... Миля видел, какое мясо ей дали.

Миля. А он никому ничего не делает... Ну, пойдем, Рузя, уже поздно.

Рузя. Да, мы пойдем... Спокойной ночи. *(Уходят.)*

Овечкис. Я завтра утром уезжаю, а мне хочется познакомиться с Вилли Гербертовичем. Вы не возражаете, если я еще посижу?

Злота. Сидите, сидите... Может, вам включить телевизор? *(Включает.)*

Рахиль. Злота, только сделай потише, я хочу позвонить на почт. *(Набирает номер.)* Будьте добры, вчера вечером в половине двенадцатого позвонили из почты и сказали, что я два раза звонила по одному талону, номер 84... Нет, дорогая моя, в половине двенадцатого я звонить не могла. Я ложусь после последних известий по телевизору, после передачи «Время»... Жалко шестнадцать копеек... А вейтек вам... Я вам не дам лишнее... Я пенсионер... У меня шестнадцать копеек — это один хлеб... Я позвоню начальнику... Что вы бросили трубку? *(К Овечкису.)* У вас в Москве тоже такие телефонистки? Ой, это ужас, что за телефонистка... Такой ужас, что нет примера... У вас тоже такие есть?

Овечкис *(улыбается)*. Всякие есть.

Злота. Вот, кажется, идет Виля. *(Входит Виля.)*

Виля. Дождь, но воздух хороший... Я обошел весь город, был за греблей... Оказывается, башню снесли... Город как без носа.

Рахиль. Она девяносто лет стояла. Болячка на них... Ее не могли снять, так военные ее взорвали.

Злота. Вот к тебе пришли.

Овечкис. Очень рад познакомиться. Много о вас слышал в Москве, но странно, что встретились мы в Бердичеве... Овечкис Авнер Эфраимович...

Виля. Очень приятно. *(Садится.)*

Овечкис. Ну как вам Бердичев?

Виля. Бердичев? *(Достает блокнот, читает.)* «Уезд-

ный город Киевской губернии на реке Гнилопяти. По переписи 1897 года 80 процентов евреев. Селение Беричиков, входившее в состав Литвы, упоминается в акте 1546 года. В 1793 году присоединен к России в качестве местечка Житомирского уезда Волынской губернии».

Овечкис. Это словарь Граната?

Виля. Да... Но вот я сейчас ходил в дождь, смотрел и думал... Я не был здесь пятнадцать лет, я ходил и думал, что есть Бердичев? И я понял, что Бердичев — это уродливая хижина, выстроенная из обломков великого храма для защиты от холода, и дождя, и зноя... Так всегда поступали люди во время катастроф, кораблекрушений, когда они строили себе на берегу хижины из обломков своих кораблей, во время землетрясений или пожаров, когда они строили хижины из обломков разрушенных или сгоревших зданий... То же самое происходит и во время исторических катастроф, когда людям нужно место не для того, чтоб жить, а для того, чтоб выжить... Вся эта уродливая хижина Бердичев человеку, приехавшему из столицы, действительно кажется грудой хлама, но начните это разбирать по частям, и вы обнаружите, что заплыванные, облитые помоями лестницы, ведущие к покосившейся двери этой хижины, сложены из прекрасных мраморных плит прошлого, по которым когда-то ходили пророки, на которых когда-то стоял Иисус из Назарета... В столичных квартирах вы никогда этого не ощутите.

Овечкис. Все, что вы говорите, очень интересно и поэтично, день-два еще можно находиться здесь, в этой хижине, но потом хочется уйти, убежать, спрятаться. Во всяком случае, у меня такое чувство. Неужели вам не хочется обособиться от всего этого?

Виля. Величайшее благо человека — это возможность личного обособления от того, что ему неприятно. А не иметь такой возможности — величайшая беда. Но личное обособление возможно только тогда, когда нация скреплена внутренними связями, а не внешними загородками. Русский может лично обособиться от неприятных ему русских, англичанин — от неприятных ему англичан, турок — от неприятных ему турок. Но для евреев это вопрос будущего. До тех пор покуда мы скреплены внешними загородками, а не внутренними связями, я не смогу внутренне обособиться от Макзаника.

Овечкис. Кто это Макзаник?

Рахиль (из соседней комнаты). Это один бердичевский дурак.

Злота. Рухл, ша... Дай людям поговорить...

Виля. Одним из главных признаков всякой несамом-

стоятельности, в том числе и национальной несамостоятельности, является придание чрезмерного веса чужому мнению. Отсюда панический страх перед тем, что о нас подумают в связи с тем или иным событием, что о нас скажут... Отсюда чисто мифологический страх перед детско-обезьянней кличкой «жид»... Этот страх — результат придания чрезмерного веса чужому мнению... Научиться пренебрегать чужим мнением — вот одна из основных национальных задач... Все достигшие исторической устойчивости нации в прошлом и настоящем поступали именно так.

Овечкис. Говорите вы интересно, но не призываете ли вы к национальной ограниченности?.. Ведь мы с вами люди другой культуры, другого языка, другого мировоззрения...

Виля. Можно отречься от своих идеологических убеждений, но нельзя отречься от собственного носа... И если идеологический перебежчик выглядит непорядочно, то национальный перебежчик ко всему еще выглядит и смешно. (Пауза.)

Овечкис. Извините, но то, что вы проповедуете, мне глубоко чуждо... Мои родители были русские интеллигенты, мой дед был русский врач и лечил русских крестьян, за что был ими горячо любим... Я никогда не думал, что вы человек подобных взглядов... Проповедь национального обособления в сегодняшнем мире — это нелепость.

Виля. Я ничего не проповедую... Я скорей не проповедую, а исповедую... Я считаю, что покуда не будут восстановлены внутренние связи, не могут быть сломаны многовековые внешние загородки. Это все самообман... А только когда будут сломаны внешние загородки, взойдет над нами и над народами, среди которых мы жили обособленно веками, взойдет общее солнце, и мы вместе позавтракаем крашеными пасхальными яйцами с мацей...

Овечкис. Да, не ожидал, что вы человек таких взглядов... Мне всегда был чужд национализм... Но я надеюсь, что в Москве мы побеседуем менее сумбурно... Вот моя визитная карточка... Всего доброго.

Злота. Вы уже уходите?

Овечкис. Пора... Всего доброго... (Уходит.)

Рахиль. С этим ты тоже поругался? Что он тебе оставил за картонка? (Читает.) «Овечкис Авнер Эфраимович, доцент...» Духота в паровозе...

Злота. Почему он поругался? Я еще такого человека не видела... Ты же слышала, что этот доцент о Виле самого лучшего мнения... Он пришел и такое про тебя тут рассказывал,

он говорит, что ты в Москве большой человек и он специально пришел с тобой познакомиться... Он таки умный человек?

Виля. Он идиот...

Злота. Идиот? Как это идиот, когда здесь написано: доцент?.. Что значит идиот? Он о тебе такого хорошего мнения, а ты говоришь на него: идиот... Ты и Рахиль таки похожи.

Рахиль. Мы таки с Вилей похожи... Это у Злоты все хорошие... Этот Овечкис приехал несколько лет назад, но я не хотела ему напомнить... Ин ди вайсе эйзеленх... В белых брючках... Да... Эпес а вейдел... Это какой-то хвост... Слышишь, это второй Макзаник, хоть он пишется «доцент»... На Макзаника тоже говорят, что он инженер, а что он кончил?.. Он кончил в уборной и знает, извините за выражение... Что я, не понимаю?.. Для того, чтоб писать стихи, надо кончить какие-нибудь хорошие институты, а он кончил Бердичевский техникум...

Злота. Ай, идут они все к черту... Давай включим телевизор и будем пить хороший чай с хорошими коржиками, с вареньем и пирогом... Хочешь чай?

Рахиль. Что ты его спрашиваешь? Конечно, он хочет... Этот телевизор я взяла в рассрочку... Когда они тут жили, так Миля не давал Злоте смотреть телевизор.

Злота. Ты же хочешь поменять квартиру и опять вместе с ними жить...

Рахиль. Ай, моя сестра, чтобы ты мне была здорова... Я железная, что я тебя терплю... Буду я с ними жить или не буду, еще посмотрим. Ты ж понимаешь, я люблю Милю... Виля, ты помнишь, как в 47-м году Миля стал здесь в дверях (*поднимается, становится в дверях*) и сказал (*меняет голос под Милю*): «Теперь понятно, куда мои деньги идут. На кормление тетушки и племянника...» (*Опять садится к столу*). Ты помнишь? Ты тогда маленький был... Ой, вэй з мир...

Злота. Рухл, дай спокойно попить чаю. Миля теперь сильно изменился к лучшему.

Рахиль. Да, он изменился... Он должен лежать парализованный и спрашивать, что делается на улице. (*Смеется*.) Слышишь, он и Рузя неделями не разговаривали между собой... Сейчас они пришли вместе, а на прошлой неделе они не разговаривали... Они не разговаривают, а спят вместе. (*Смеется*.)

Злота. Какой он ни есть, а Рузя его любит.

Рахиль. Ой, ди шмоте кер цы дым тухес... Слышишь, Виля, эта тряпка от этой задницы... Если я скажу, так это сказано... Здесь лет восемь назад был праздник в День Победы... Так Маматюк, что он уже лежит в земле, пусть себе лежит на

здоровье, так этот Маматюк начал кричать, что в братской могиле лежат все нации, кроме жидов... Так я ему дала — «жиды», он синий стал... Тогда Овечкис, что он приходил сейчас спорить с тобой, и Бронфенмахер, что он хотел носить через меня помои, и Быля, что она дует от себя, сказали на меня, что я скандалистка...

Злота. Давай лучше смотреть телевизор... Слушай, этот артист что-то так кричит...

Рахиль. Когда этот артист приходит домой, так ему болит в горле. Правда, Виля? Ой, это тяжелая работа...

Злота. Что это за передача, Виля?

Виля. Это Шекспир... Гамлет...

Злота. Смотри, какая рыба на столе?.. *(Смеется.)*

Рахиль. Ах, я б кушала кусок рыба.

Злота. Как это все составляют? Наверно, выкручивают себе голову. *(Смеется.)*

Рахиль. Хорошая кастрюля... Тебе эта передача нравится, Виля?

Виля. Нет.

Рахиль. Ну, давай переключи на последние известия... Хороший телевизор... Миля думает, что я ему дам этот телевизор... Я ему могу дать от раввина яйца...

Злота. Боже мой, какие выражения, мне темный стыд за твои выражения... Ты таки большой грубиян.

Рахиль. Ничего, пусть я буду грубиян... Я ему могу дать, ты ж понимаешь... Нет, буфет я им обещала, и этот шкаф, но свою кровать я им не дам... Ой, моя кровать, она стоит миллионы, когда я в нее ложусь... Я им достаточно давала, и это все равно что ничего... Они все равно неблагодарны... Было время, когда они жили у его мамы, болячка ее отцу, где он лежит в земле перевернутый...

Злота. Ой, вэй з мир. *(Смеется.)*

Рахиль. Да... Так им было далеко ходить на обед с завода... Так мы им варили здесь обед... Так Злота ему подала, так он ей сказал: «Не подавайте, мне противно, когда вы подаете...» Что ты смеешься, Злота... А сейчас они с Рузей пришли, и Миля был такой голодный, я же видела... Но что значит голодный, он бы съел лошадь... Но я ему ничего не дала. И всегда, когда он придет, у меня для него стол будет голый, как задница без штанов...

Злота *(смеется)*. Это с первого дня так... Они друг с другом воюют уже двадцать семь лет... Ты помнишь Рузина свадьба?

Виля. А где Пынчик?



Злота. Ой, что ты вспомнил про Пынчик?.. Пынчик таки был на Рузиной свадьбе.

Рахиль. Что мне этот Пынчик? Я его в моей жизни, может, три раза видела... Кто он мне такой? Троиородная пуговица от штанов...

Злота (*тихо*). Про Пынчик нельзя говорить, он уехал в Израиль со всеми детьми... Когда ты его видел на Рузиной свадьбе, после фронт он был майор... А потом он уже был полковник и в Риге имел хорошая квартира. Так он все бросил и куда-то поехал...

Рахиль. Ай, что мы будем про него говорить... Я про него не думаю, даже когда сижу в уборной... Пусть едет... Я никуда не еду... Пусть едут те, у кого большие деньги... Я люблю Бердичев... Ой, вэй з мир... (*Вздыхает.*) У меня есть моя пенсия от советской власти.

Злота. Ой, смотри-но, смотри по телевизору... Что это так много людей?.. Что, они что-то покупают?

Виля (*смеется*). Это митинг показывают... Борьба за мир...

Рахиль. Борьба за мир... А что нового говорят в Москве? Раньше говорили: в Москве есть три знаменитых еврея. Один молчит, другой говорит... Нет, не так... Один пишет, второй говорит, а третий молчит... Пишет Илья Эренбург, говорит диктор Левитан, а молчит Каганович... Что ты думаешь, я не понимаю, я елд?.. Я ыв партии с 28-го года... Я еще помню, как писали в газете: Ленин, Троцкий, Луначарский строят мир по-пролетарски...

Злота. Завтра на рынке надо купить два свежих бурачка, я хочу варить борщ.

Рахиль. Споц с тобой... Ты мне не говори, что покупать, я без тебя знаю.

Злота. Так она не дает мне рот открыть... В Средней Азии я была здоровая, так я сама ходила на рынок... Я помню, там был Куриный базар, Капан базар... Когда я подходила и спрашивала: нич пуль, мне отвечала: бир сум... Так я говорила: их зол азой высын фын дир... Чтоб я так про тебя знала. (*Смеется.*) Ой, Виля, в Средней Азии ты сказал, что хочешь винегрет... Я взяла карандаш и подсчитала, сколько стоят бурачки, и морква, и огурцы, и постное масло, и соль, и все вместе. И получилось, что винегрет должен был стоить пятьсот рублей. Разве себе можно было такое позволить? Но завтра я тебе сделаю хороший винегрет...

Рахиль. Вот уже кончились последние известия, уже спорт. Вот уже эта женщина вышла рассказывать про спорт. Когда никого нет, мы двое, и она выходит рассказывать про

спорт, или еще мужчина есть, что он рассказывает про спорт, мы выключаем телевизор и ложимся спать... Спорт меня не интересует, а завтрашнюю погоду я увижу в окно... Смотри, Злота, она в той же самой кофточке... Больше она не имеет.

Злота. Эта вот, что она говорит про спорт, похожа на Марикину Надю. Я к Марикиной Наде ничего не имею. И к Гарикиной Наде тоже ничего не имею.

Рахиль. Все наши невестки из села, крестьянки. Ни одной, чтоб отец ее был доктор. Ах, лучше бы уже Гарик женился на Лушиной Тинке. Ты знаешь, Виля, где теперь Лушина Тинка? В аспирантуре в Москве. Мама у нее сволочь, паршивая уборщица, имела Тинку от немца, а Тинка в аспирантуре. И какая она красивая, если б ты видел... Гой все годы имеет счастье.

Злота. Я к Марикиной Наде ничего не имею. Она очень вежливая дама.

Рахиль. Дама... А гое... Крестьянка из села...

Злота. Ну, так что такое, она из хорошей семьи... Отец у нее очень хороший... Его зовут Иван Иванович. Когда он тут был, он сидел со мной и говорил. Он рассказал мне свою автобиография... Когда он был маленький ребенок, их было восемь детей, и его отдали пану служить во двор. Он был батрак. Потом, когда началась революция, ему уже было двенадцать—тринадцать лет. Он поступил в комсомол, но не знал ни одной буквы. Его отправили на железную дорогу. Он был способный. Его выдвинули. Он получил два ордена Ленина. И сказал: когда у меня будут дети, они получают высшее образование.

Рахиль. Злота, не говори с полным ртом... Сидеть с тобой за столом, так может вырвать... У тебя все падает из рта...

Злота. Ну вот так она рвет от меня куски.

Рахиль. Ты слышишь, я рву от нее куски. Злота же в раю, и это для нее равным счетом ничего. Я с астмой таскаю те еще сумки, я все заносу. Или Рузя приносит, когда у Рузи есть время... Злота в раю, ей все заносят в дом, но она это не признает, ей еще не нравится, она еще устраивает мне скандалы: почему я плохо покупаю? Почему дорого?.. Иди сама на рынок...

Злота. Ну вот так она на меня наговаривает... Я такая больная, я уже не могу работать... Я уже еле хожу... *(Плачет.)* Здесь в квартире у меня ничего нет. Я только имею швейную машину, и эти два стула мои, и кровать, и за полшкафа я заплатила. А холодильник ее, телевизор ее. Мне неудобно смо-

треть телевизор, я не имею, откуда дать ей за телевизор половину.

Рахиль. Сумасшедшая... Что я, Миля, что он закрывал перед тобой телевизор... Я тебе что-нибудь говорю? Смотри себе на здоровье... Ой, Виля, я железная, что я от нее выдерживаю. Можно ведь прожить тихо, мирно эти немножко лет, что остались... Что бы ни было, Виля, но лишь бы ты любишь свою квартиру и свою жену... Я свою квартиру люблю, а свою жизнь я не помню. *(Вздыхает.)* Злота, ты знаешь, кто мне этой ночью снился? Цолек Мардер мыт ды крыме фис... Цолек с кривыми ногами, что он был директор торгсина в 25-м году... Почему он мне приснился? Когда я сижу в уборной, я про него не думаю.

Злота. А мне в прошлую ночь Фаня приснилась, что она повесилась в день Рузиной свадьбы. Ты помнишь, Виля? Ее муж был гой. Он ее очень бил. Сначала он ее прятал от немцев, он ее спас, а потом он ей кричал «жидовская морда» и бил, и детям кричал «жиды». Но его тоже нет. Он ехал на мотоцикл и убился к черту.

Рахиль. В день свадьбы, когда она повесилась, он прибежал голый по снегу, с ребенком на руках... Этот ребенок уже в армии. А Зоя, Люсина подруга, не за еврея замуж не хотела выйти. Тут один хороший парень за ней ухаживал.

Злота. Эта Фаня стоит мне перед глазами... А Стаська, ты помнишь, полячка снизу... Так пришли и ее арестовали... Она жила на чердаке, потому что квартиры у нее не было... Где-то она далеко выслана.

Рахиль. Ой, что я буду про нее думать. Если мой муж лежит в земле, и младший брат наш Шлойма в земле, и Вилины родители в земле, и Сумер в земле... Ой, Сумер... Теперь уже можно рассказать... Тут был Перель, председатель артели, так он Сумера не любил, потому что Сумер знал, что этот Перель берет взятки... Ничего... Так когда Переля сняли, Сумер купил веночек и ночью поставил его возле Переля дома. Перель вышел из дома и видит веночек и надпись: «Вечная память Арону Михайловичу». *(Смеется.)*

Злота. Ой-ой-ой...

Рахиль. Что такое?

Злота. Что-то мне стрельнуло в голову...

Рахиль. Ой, Виля, я железная... Злота, что ты держишься за голову?.. Ты мне не делай номера... Ты же видишь, что от человека ничего не остается. *(Вздыхает.)* Только запах, если он полежит лишний день...

Виля. А Луша где работает?

Рахиль. Черт ее знает, где-то уборщицей.

З л о т а. Луша кормит коза. Я ей всегда собираю лушпайки от картошки.

Ра х и л ь. Злота ей собирает лушпайки, а она Злоте кричит: ты труп, и ко мне бежит с палкой и кричит: жида... А потом она приходит мириться и говорит, что она за меня молится в церкви... Вчера она подошла ко мне во дворе, обняла меня и говорит: я больше не буду с вами спориться, в городе говорят, что вы хороший человек... Я ей отвечаю: ко мне цепляться может только сумасшедший... Она мне говорит: Рахиль, я за твоё здоровье буду молиться в церкви, потому что за врага полагается по нашей религии молиться. А я ей говорю: я в Бога не верю... Я только верю в день рождения и в день смерти.

З л о т а. Что значит она бежит к тебе с палкой... Надо вызывать милицию.

Ра х и л ь. Мне милиция не нужна, я сама милиция. Все годы я сама себя защищала. Только от детей своих я не могла себя защитить. Рузя, когда она была беременна Мариком, порвала на мне рубашку, а Гарик, когда он хотел жениться на Тинке, порвал на мне халат. А больше никогда в своей жизни я порванного белья не имела. А Быличка, что её муж имеет все буфеты на железной дороге, когда приходит к Злоте мерить и раздевается, так у неё порванное бельё. Ей на бельё не хватает, такая она вонючая...

З л о т а. Она только хочет, чтоб я спорила с Былей. Кто у нас ещё остался? Мало мы пережили?.. Ты помнишь, когда был погром, а мы лежали под стенкой и прятались от эти красные колпаки, и деникинцы, и другие бандиты. Тогда бомб не было, но были пули... Ой, и куска дров нельзя было достать, мы не топили, но мы все были здоровые и молодые. У папы нашего были большие ботинки, я их одела и пошла искать дрова и хлеб... Ты помнишь дедушку?

В и л я. Помню.

Ра х и л ь. Ой, когда он умирал в Средней Азии, так он был доволен, что земля эта, где он будет лежать, похожа на Палестину... Он был религиозный.

З л о т а. Пекари, которые пекли тогда хлеб, были бедные, а стали богатые, потому что хлеб стоил дорого. Даже у кого был капитал, тоже не имели где купить... Я взяла мамин платок и поменяла его на полный мешок пшено... Шлойма наш, что его потом убили на фронт в 42-м году, был самый маленький, маленький... Но на Песках был лес, назывался «маленький лесочек», и мы ходили все и рубили ветки, и Шлойма тоже ходил. Но мы все боялись красные колпаки. Это такие бандиты. Кроме красные колпаки, они ещё пелерины носи-

ли... Это было в 18-м году. Мы слышим крики, открываем ставни, смотрим: напротив вышли красные колпаки, грабли... А на другой день опять менялась власть.

Рахиль. Злота, не кричи так. У тебя железный голос.

Злота. Ну, она не дает мне слова сказать... На Пылепылер гос, на Белопольской улице, потом на Малой Юридке, за греблей и всюду люди бегали и кричали: гвалт! Но когда вошли поляки, они резали евреям половину бороды... Все евреи ходили с половиной бороды. *(Смеется.)* Они хотели обрезать папе борода, я начала кричать, и поляк не обрезал, но ударил меня нагайкой... Во всем городе Бердичеве был гвалт. Этой ночью очень много убивали людей... Были богачи, что они имели деньги и удрали в Киев. Но там тоже был погром, и их всех убили в Киев. Но когда у нас наверху, там, где мы жили, был Совет рабочих и крестьянских депутатов, тогда легче стало, укрепились немного власть. Туда без мандата не пускали. Там были Фаня Ниренберг и Котик Ниренберг... Ну, его звали Котик, такое имя... Они были большие богачи, а потом стали большевики. И были Стадницкие, три сестры. Их отец держал на Житомирской фирму «Гуталин». Одна была эсерка, одна большевичка, а одну убили... Ой, как они выступали на собрании... Я по целым дням сидела на собрании, мне было интересно все знать... Меня пропускали. Когда появился Совет рабочих и крестьянских депутатов, так уже стало немного тихо.

Рахиль. Как Христос с ферц, так она со своими историями. *(Смеется.)* Ты знаешь, что такое ферц, Виля? Это когда кто-нибудь навоняет.

Злота. А почему нельзя это рассказывать? Что я, анекдоты рассказываю? Я это видела своими глазами.

Рахиль. Я всю жизнь не любила анекдоты... Ты в Москве рассказываешь анекдоты?

Виля. Рассказываю.

Рахиль. Рассказывай, рассказывай, так ты останешься без куска хлеба... Я анекдоты не любила, но что ты думаешь, я елд, я ничего не понимаю?.. Тут у нас был в Бердичеве Свинарец, секретарь горкома, что когда была реформа в 47-м году, он покрыл долг старыми деньгами, чтоб не отдавать новыми. Так теперь он на пенсии. Ты бы видел, какой у него двухэтажный дом, какая мебель из Чехословакии. И сыну он построил дом. А Ленин тащил из карманов куски хлеба и ел их... Кабинет у Ленина был красивый, но что было в этом кабинете? Он и кошка. Когда Ленин лежал больной, так Крупская читала ему детские сказки... Что ты думаешь, я глупая, я не понимаю?.. Я помню, что делалось здесь в 29-м году во

время коллективизации. И когда в 37-м году Капцана должны были арестовать, так он быстро уволился с работы и уехал в Чуднов. *(Звонок в дверь.)* Что это еще за сумасшедший идет? Злота, ты сиди... Я всегда боюсь, что она пойдет открывать дверь и зацепится и себе что-нибудь побьет.

Виля. Я открою. *(Идет и возвращается с мальчиком, который держит в руках лист бумаги.)*

Рахиль. Вусы, ингеле? Что такое, мальчик?

Мальчик. Подпишите.

Рахиль. Что такое я должна подписать? Я ничего не подписываю.

Мальчик. Подпишите... Свободу патриотам Испании.

Рахиль. Что, что? Что-то я не понимаю.

Виля *(смеется)*. Ты должна подписаться, чтоб из испанских тюрем выпустили патриотов.

Рахиль. Так у вас в Москве тоже ходят такие мальчики? У нас первый раз... Кто тебя послал, мальчик?

Мальчик. Учительница.

Рахиль. И мама тебя пускает так поздно ходить?

Мальчик. Я не успел днем собрать все подписи, я был на тренировке. Мне надо три дома обойти.

Рахиль. А шейн ингеле... Красивый мальчик... Как твоя фамилия?

Мальчик. Иванов.

Рахиль. Ой, это же твой дедушка работает в промкооперации заготовителем скота. *(Смеется.)* Это Хаима Иванова внук. Виля, я тебе про них рассказывала, про эту семью... Это про ту, что приехала с курорта.

Злота *(подходит с паспортом)*. Я когда-то сама ходила на участок, а теперь мне ноги болят. До войны я в шесть часов утра уже была на участке.

Рахиль. Куда ты идешь с паспортом?.. Ты думаешь, это выборы?

Злота. Как, это не голосование?

Рахиль *(смеется)*. Она привыкла... Ей все заносят домой... Даже бюллетень по голосованию ей заносят домой и коробку, куда его надо бросить... А если бы ты жила при капитализме, об тебе бы никто не заботился. Ты сама должна была бы идти на голосование.

Злота. Смейся, смейся... Я такая больная... Я ходила на выборы, в шесть утра я уже была на участке, а теперь я не могу...

Рахиль. Нет, что-то мне эта история не нравится... Я пойду во двор к Дуне узнать, или она подписала.

Злота. Мальчик, на тебе коржики.

Мальчик (*берет коржики*). Спасибо, бабушка...

Злота (*обиженно*). Почему я бабушка? Я тетя. Что ты мне говоришь «бабушка»! Я тебе дала коржики, а ты мне говоришь «бабушка».

Рахиль (*Виле*). Вот ты имеешь... Ой, от нее невозможно выдержать... Мальчик, идем, я у соседей узнаю... Если они подписали, так и я подпишу... Идем... (*Уходят.*)

Злота (*смотрит фотографию на своем паспорте*). Ой, здесь фотография моя, может, лет двадцать назад. Я очень постарела. (*Плачет.*) Я ничего не могу кушать. Что бы я ни покушала, мне кисло во рту... Ой, если б ты мне не помогал и если б не Рахиль, я б давно была на том свете... Рахиль очень хорошая, но она слишком быстрая...

Виля. Когда она тебе покупает, как и раньше, берет лишнее?

Злота. Сколько она там берет?.. Пятнадцать—двадцать копеек... (*Смеется.*) Она иначе не может... Иногда она мне одалживает деньги и хочет заработать на своих собственных деньгах... Колбаса стоит два пятьдесят, она говорит: два шестьдесят... Или за маргарин берет с меня лишние пять-шесть копеек... Она должна выгадать, это ей нравится... Но это же моя единственная сестра, пусть она получает удовольствие, на здоровье... (*Смеется.*) Она думает, что я не понимаю, сколько стоит колбаса...

Возвращается Рахиль.

Рахиль. Я таки не подписала... Пусть Дуня подписывает, пусть все подписывают... Откуда я знаю, что это за патриоты Испании? Пусть с этой бумагой придет кто-нибудь из исполкома, тогда я подпишу... Что ты смеешься, Виля?

Виля. Я не смеюсь. (*Смеется.*)

Рахиль. Смейся, смейся надо мной... Ты хойзекмахер... Насмешник... Над всеми он смеется... Смеется над Рузей, смеется над Люсей, над Петей, над Мариком, над Гариком, над Аллой, над Ладой...

Злота. Боже мой, боже мой, она уже опять хочет крики...

Рахиль. Ша, Злота, какие крики... Кроме тебя, здесь никто не кричит... Виля, что ж ты не пьешь чай? Покушай что-нибудь...

Виля. Я не голоден...

Рахиль. Не хочешь, так не надо...

Злота. Он устал. Иди спать, Виля... Сделать тебе на утро котлеты из куриного бейлека?

Рахиль. Разве он знает, что такое бейлек?

Виля. Знаю. Я ведь еврей. Бейлек — это белое мясо курицы.

Рахиль. Ой, он таки знает... Ты иногда берешь в столовой котлеты? Ой, я люблю котлеты из столовой.

Злота. Фэ, они же делаются из свиной...

Рахиль. Ну, я не религиозная...

Злота. Я тоже не религиозная, но свиное мне воняет в нос...

Рахиль. Виля, а про что ты говорил с этим Овечкисом? Что-то я не поняла.

Злота. Что ты вспомнила, он хочет спать... Идут они все к черту.

Виля. Про что я говорил? Я говорил, что вы свой бердичевский дом сами себе сложили из обломков библейских камней и плит, как бродяги складывают себе лачуги из некогда роскошных обломков автомобилей и старых вывесок... А Овечкис живет в чужих меблированных комнатах... Но скоро весь Бердичев переедет тоже в меблированные комнаты, а библейские обломки снесут бульдозерами...

Рахиль. Так вы про квартирный вопрос с ним говорили?

Виля. Что-то в этом роде... По сути, про квартирный вопрос.

Рахиль. Ты таки прав. Я таки хочу переехать. У меня нет сил таскать ведро с помоями по лестнице... Так Злота рвет от меня куски... Она говорит, что она хочет здесь умереть...

Злота. Ай, вечно она хочет меня плохо поставить перед людьми...

Рахиль. Ша, Злота, закрой пасть... Ты же видишь, Виля спать хочет...

Злота *(вздыхает)*. Ой, вэй з мир...

Рахиль *(вздыхает)*. Ой, вэй з мир... Каждый день имеет свою историю... Я тебе скажу, Виля, что год для меня прожить не трудно. Год пролетает, и его нет... А день прожить очень тяжело. День так тянется, ой как он тянется... И после каждого дня я мертвая... Спасибо моей кровати, она стоит миллионы... Я мою кровать никому не отдам... Ой, дыс бет...

Злота. Что ты ему говоришь, ты видишь, у него слипаются глаза. Виля, иди спать.

Виля уходит.



Рахиль (*выключает телевизор*). Давай, Злота, подсчитаем, сколько я тебе денег потратила... Что ты вздыхаешь? Что тебе плохо? На улицу ты не ходишь. Тебе даже коробочку спичек в дом заносят...

Злота. Рухл, перестань меня грызть...

Рахиль. Ша, Злота, голос, как у грузчика... Виля ведь лег спать... Чтоб ты онемела...

Злота. Она делает меня с болотом наравне...

Рахиль. На рынке все так дорого, и вообще все так дорого, так я виновата. Вот сейчас я начну подсчитывать, ты опять начнешь кричать: гвалт.

Злота. Говорит, и говорит, и говорит... Цепляется и цепляется...

Рахиль. Ша... Значит, пишем: мясо — два рубля сорок пять копеек, огурцы — шестьдесят, капуста — пятьдесят, морковь — пятнадцать, бурак — двадцать, редька — десять, резка петухи у резника — двадцать пять копеек... Имеем четыре рубля двадцать пять копеек... Это на рынок... Потом магазин: колбаса — два шестьдесят, сегодня колбаса дороже, масло — один рубль пять копеек, маргарин — восемьдесят шесть, сыр — семьдесят, хлеб — тридцать две, молоко — двадцать шесть. Имеем пять семьдесят девять... На, проверь... За ситро у тебя не беру... На, проверь...

Злота. Зачем мне проверять, у меня нет времени проверять... Я хочу сделать на утро фарш для котлеты...

Рахиль. Дай лучше я быстро сделаю... Я не могу смотреть, как ты поцеяся и поцеяся возле мясорубки...

Злота. Я не люблю мясорубку, котлеты не сочные, я буду мясо рубить секачом....

Рахиль. Хочешь рубить — руби... А на первое свари бульон из гуся... Крылья, пулки, лук, морковочка, немного фасоли... Все есть... Что, тебе не нравится, какой гусь я купила? Чтоб я имела такой год, какой это гусь.

Злота идет на кухню, там слышен грохот.

Рахиль (*испуганно вскакивает, бежит на кухню*). Тьфу на твою голову, на твои руки и ноги, как ты меня перепугала. Ты, если не разбиваешь что-нибудь, так сама падаешь. Я тебя боюсь одну оставить дома.

Злота (*ее голос слышен из кухни*). Где бы взять еще, чтобы мне было пятьдесят лет, так я бы лучше ходила...

Рахиль. Сделай меньше огонь...

Злота. Куда ты сыпешь соль? Ой, я думала, это соль...

Рахиль. Что за тряпку ты надела на голову? Вус ыс фар а шмоте?

Злота. Мне болит голова.

Рахиль. Бынд дым тухес... Когда болит голова, завязывают задницу... У меня астма, но я таскаю на лестницы каждую сумку, что дым идет...

Злота. С тобой стоять за плитой, лучше умереть... Я такая больная, что нет примера. (*Входит в темную комнату с перевязанной полотенцем головой, берет стаканы со стола и опять уходит на кухню.*) Мне надо в фарш немного молока и булку... Я всегда так делаю...

Рахиль. Ты делаешь, а Бог чтоб помог прекратить твои крики...

Злота. Смотри, молоко не свежее, а булка как камень...

Рахиль. Злота, ты, наверное, хотела бы, чтоб здесь, в квартире, стояла корова и жил пекарь. (*Смеется.*)

Злота. Эцем-кецем... Рухл, перестань ко мне цепляться... Цепляется и цепляется, как мокрая рубашка к заднице...

Большая комната — темная и пустая. Свет падает только из кухни, откуда доносятся голоса сестер.

*Ползет занавес*

Москва  
1975

---

## С КОШЕЛОЧКОЙ

Авдотьюшка проснулась спозаранку и сразу вспомнила про кошелочку.

— Ух ты, ух ты,— начала сокрушаться Авдотьюшка,— уф, уф... Вчерась бидон молока несла, ручка подалась, прохудилась... Успеть бы зашить к открытию.

И глянула на старенький будильник. Когда-то будильник этот будил-поднимал и Авдотьюшку и остальных... Кого? Да что там... Есть ли у Авдотьюшки ныне биография?

Советский человек помнит свою биографию в подробностях и ответвлениях благодаря многочисленным анкетам, которые ему приходится весьма часто заполнять. Но Авдотьюшка давно уже не заполняла анкет, а из всех государственных учреждений главный интерес ее был сосредоточен на продовольственных магазинах. Ибо Авдотьюшка была типично продовольственной старухой, тип, не учитываемый социалистической статистикой, но принимающий деятельное участие в потреблении социалистического продукта.

Пока усталый трудовой народ вывалит к вечеру из своих заводов, фабрик, учреждений, пока, измученный общественным транспортом в часы «пик», втиснется он в жаркие душегубки-магазины, Авдотьюшка уже всюду пошнырять успеет, как мышка... Там болгарских яичек добудет, там польской ветчинки, там голландскую курочку, там финского маслица. Можно сказать, продовольственная география. Вкус родимого владимирского яблочка или сладкой темно-красной вишни она уже и вспоминать забыла, да и подмосковную ягоду собирает как помощь к пенсии, а не для потребления.

В еще живые лесочки с кошелочкой пойдет, как в продовольственный магазин, малинки-землянички подкупит у мату-

шки-природы, опередит алкоголиков, которые тоже помичурински от природы милостей не ждут, малинку на выпивку собирают. Так лесочки оберут, что птице клюнуть нечего, белке нечего пожевать. Оберут братьев меньших, а потом на братьев-сестер из трудящейся публики насыдут.

Продаст кошелочку подмосковной малинки — пятидесятиграммовую стопочку по рублю, купит килограмм бананов из Перу по рупь десять кило. Продаст чернички по рупь пятьдесят стопочку, купит марокканских апельсинов по рупь сорок кило. Чем не жизнь при социализме? Правильно говорят западные борцы за мир. Жаль только, что в наглядной своей агитации не используют они Авдотьюшкин баланс, Авдотьюшкину прибавочную стоимость.

Социализм — это распределитель. Каждый кушает по заслугам. А заслуженного народа при социализме множество. Едоки с правительственных верхов, или с ледовых арен, или с космических высот, или из президиумов творческих союзов общеизвестны, и они вне нашей темы. Наш рассказ не про тех, кто ест, а про тех, кто за ними крошки подбирает.

Справедливости ради следует сказать — трудная это работа. Вот уж где принцип социализма полностью соблюден: кто не работает, тот не ест. Только работа эта не в том, чтоб производить продукты, а в том, чтоб добывать продукты. Принцип, собственно, не новый. Испокон веков продукт можно было либо купить, либо взять разбоем. Но в период развитого социализма оба эти элемента оказались объединенными. Продукт и надо сначала взять разбоем, а потом уж его купить. Ибо не в лесу мы, не на большой дороге. Соловью-разбойнику здесь делать нечего. Кистень, гирька на веревочке, привязанной к палочке в качестве орудия труда, здесь не проходит. Гирька теперь в товарообмене используется не для проламывания черепа, а для взвешивания-обвешивания. Хотя череп проломить могут, если как следует «пихнут». Однако про «пихание» ниже. Следует только добавить, что, как при всяком труде, нужен профессиональный опыт и соблюдение техники безопасности. Авдотьюшка, продовольственная старуха, в торговом разбое участвовала давно, опыт имела, а орудием труда у нее была кошелочка. Любила кошелочку Авдотьюшка и, готовясь к трудовому дню, приговаривала:

— Ах ты моя кормилица, ах ты моя Буренушка.

И план у нее был заранее составлен. Сперва в «наш» — это магазин, который рядом с домом. Посля в булочную. Посля в большой, универсальный. Посля в мясной. Посля в молочный. Посля в «килинарию». Посля в магазин возле горки. Посля в другую «килинарию». Посля в магазин, где татары

торгуют. Посля в овощной ларек. Посля в булочную против ларька. Посля в магазин возле почты...

Нехороший магазин, опасный. Скорее всего, там «пихнуть» могут. Народ там неснисходительный, из ближайших домов завода резиновых изделий народ. Но тамбовский окорочок двести граммов Авдотьюшка именно там добыла. Полмесяца назад это приятное происшествие случилось. Однако авось опять повезет. А пихнут, падать надо умеючи, не так, как Мартыновна. До сих пор в больнице лежит. Полезла к прилавку, а там продотряд пригородных, прибывших на автобусе.

Подобные автобусы в большом количестве направляются местными фабрично-заводскими комитетами из подмосковных городов для ознакомительных экскурсий с культурными объектами столицы: Третьяковская галерея, достопримечательности Кремля, Большой театр... Народ приезжает крепкий, широкоплечий или юркий, хитрый. И до зубов тарой вооруженный. Организованный народ. Но о культурных экскурсиях сообщим по ходу...

Время уже на будильнике позднее. Вот-вот откроются продовольственные объекты, и начнется у Авдотьюшки рабочий день. Собрала Авдотьюшка кошелочку, яблочко припасла пососать, валидолчик для спасения, перекрестилась, пошла...

Зашла в «наш» и сразу в горячее дело попала — кур дают... Да не мороженных, каменных, а охлажденных и полупотрошенных... Кабы курочку Авдотьюшке. Стара уже Авдотьюшка, острого организм не принимает. Огурчика-помидорчика соленького съест — так рыгает, так рыгает...

Намедни побаловалась помидорчиком соленьким с картошечкой. Вышла подышать. Ноги старые быстро устали. Села на скамеечку. А рядом молодые, он да она, сидят шепчутся-оговариваются и в промежутках целуются. Он ее поцелует, Авдотьюшка рыгнет. Он снова, и Авдотьюшка опять. Он подходит и шепотом:

— Уйди, старая, а то последний зуб выбью.

Ух, ух, напужал Авдотьюшку, уф, уф.

Но Авдотьюшка не пужливая.

— Я по закону организма рыгаю,— говорит,— а ты против закона общества фулиганишь! Сейчас милиционера позову...

Сильна Авдотьюшка, сильна. Социализм ее права ограждает, старость бережет. Молодежь доцеловываться на другую скамейку ушла, а Авдотьюшка здесь свое дорыгала помидорчиком.

Хорош помидорчик-огурчик, да сердит. А бульончик старые косточки пожалеет, погладит. От куриного мяса голова не тяжелая и поноса нету. Как бы курочку Авдотьюшке, чтоб силы поддержать, не уступить прежде времени место в жизни наглой молодежи.

Пригляделась Авдотьюшка опытным глазом. Очередь хоть и большая, да мирная, вялая, народ говяжий стоит. Лицо — затылок, лицо — затылок... Пошла потихоньку Авдотьюшка, пробирается и к курам приглядывается с любовью. «Цып, цып, цып,— про себя приговаривает старая лисица-сестрица Авдотьюшка,— поем курятинки, поем. Народ говяжий, шуметь не станет. Объем народец на одну курочку». Вот он, курятник, на прилавке. Которую курочку цап-царап Авдотьюшка? Которая в кошелочку ляжет?

Да вдруг беда... Беда-злосчастье — слепая идет... Авдотьюшка слепую эту знала и избегала в своей борьбе за продовольствие. Слепая эта была женщина средних лет или даже ниже средних лет, и лицо имела обычное, говяжье, из очередей. Но имела привилегию, не видела окружающую действительность и гордилась этим перед народом, словно она депутат или Герой Союза. Придет, сразу вперед лезет, толкается, на народ сердито кричит. Если бы попросила или хотя бы молча подошла, народ бы смолчал. Но идет специально свое превосходство и привилегию показать и набирает много.

— Сколько надо, столько и беру,— кричит,— и еще если слепой придет, возьмет по закону сколько надо, а вы, зрячие, здесь стойте до охрещения.

Кричит и гребет курицы с прилавка... На весы и к себе, на весы и к себе... В руках не кошелочка, рюкзак... Руки крепкие, жилистые... Волчица... И ту курочку сгребла, которую Авдотьюшка себе приглядела. Разозлилась Авдотьюшка, забыла, что сама не в очереди.

— Не по закону,— кричит,— не по закону.

Заволновалась и очередь. Мирная-то она мирная, да ведь кастрюли, миски, ложки за спиной — семья. Задние зашумели — не достанется, и передним обидно — два часа в духоте на ногах.

— Не положено,— кричат,— пусть слепым, кривым, глухим отдельный магазин организуют.

А слепая волчица с очередью скандалит.

— Ты сама такая,— кричит.

— Не такая, а такой,— отвечают ей.

Глазами не видит, а когда очередь шумит, мужской голос от женского не всегда отличишь.

— Дура,— кричит.

— Это ты дура, — отвечают ей, — а я дурак, раз третий час на ногах стою.

Сама Авдотьюшка виновата. Не закричала бы, может, и очередь смолчала бы... Ох, беда-злосчастье... К такой очереди не подступишься, не выпросишь у такой очереди курочку... Да и слепая волчица слишком много награбила... Ушла с пустой кошелочкой Авдотьюшка. С горя в булочную зайти за-была, сразу зашла в большой магазин.

В большом магазине покою никогда нет. Человек туда нырнул, волны подхватили, понесли... Из бакалеи в гастрономию, из гастрономии в мясной... И всюду локти-плечи, локти-плечи... Одно хорошо — пихнуть здесь не могут, падать некуда. Но локтем в обличье-морду — это запросто.

Вот вывезли на тележке горой плоские коробки селедки. Для Авдотьюшки такая ситуация мед-печенье... Очереди-порядка нет, разбой в чистом виде. Кто схватит. Тут не лисья хитрость Авдотьюшке нужна, а мышьяная. Как в цирке: раз, два — тележка уже пустая. Оглядывается народ, смотрит, что у кого в руках. Мужчины схватили одну-две... Некоторые схватили воздух, стоят злятся. Лидируют крепкие, умелые домохозяйки — по три-четыре коробки. Есть и одинокие старушки среди лидеров. У Авдотьюшки три коробки в кошелочке...

Вообще, если продовольственные старухи объединяются — это грозная сила. Однажды семь старух, в том числе Авдотьюшка, перли к прилавку, друг на друга опираясь цепочкой. А передняя, Матвеевна, которая ныне с переломом в больнице, опиралась на палку-клюку. Всех раскидали, добыли польской ветчинки. Правда, предварительно ситуацию оценивать надо. Например, в такую ситуацию, которая у мясного отдела, лезть нельзя... Что-то вывезли, а что — не ясно. Полутолкучка, полупотасовка. Некоторые натянуто улыбаются. Это те, кто пытается свое озверение превратить в шутку. Однако большинство лиц серьезные и злые. Работают...

Ой, уходи, Авдотьюшка. Схватила селедочку, уходи. Селедочка не бульончик, по кишкам плывет щекотно, и отрыжка у ней болезненная... Но ведь хочется. Не докторам же все угождать, и себе угодить надо. Картошечка соль возьмет, а сладкий чаек вовсе успокоит. Схватила жирной селедочки, уходи, Авдотьюшка, пока цела. Уходи, Авдотьюшка...

Да день неудачный, все не так... Поздно спохватилась Авдотьюшка. Было не повернешься, стало не вздохнешь... И новым запахло — махрой-самосадам, дегтем, дегтем посадским... Вот и автобусы их экскурсионные возле универсама.

В каждом автобусе передвижной штаб продотряда. Сюда купленное-награбленное сносят. Весь автобус в кулях, мешках, авоськах. В разных направлениях движутся бойцы — крепкорукие мужчины и женщины. А в разведке верткая молодежь. Бежит деваха конопатая.

— Дядя Паршин, тетя Васильчук велела передать, растительное сало дают.

— Какое еще сало, лопаухая?

— Желтое,— радостно кивает конопатая,— я влезла, смотрю, дают... А тетю Васильчук какой-то как поддал плечом...

Но дядя Паршин уже не слушает.

— Ванюхин, Сахненко! С бидоном!

Побежал боевой расчет с бидоном на сорок литров... Ох, много посадских, ой, моченьки нет... И еще бидон вперли.

— Ой, помо... помогите! Помо...гите!

Лихо работает посад. Колбасу, сыр, крупу по воздуху транспортирует. Жатва идет. Не пожнешь, не пожужь. А не пожужь, возьмешь партийную газетину — раздражаешься. Худо, если в посадке идеологические шатания начнутся. Посад, это ведь кто? Это лучшие драчуны России... «Мы если хоть как-то сыты будем, кому угодно накостыляем... Чехам-полякам во имя борьбы за мир на лысину плюнем, чтоб остыли... Мы ж раньше велосипедными цепями, смоченными в керосине, дрались, а танками-ракетами любому империалисту морду набьем. Ты только свистни, ЦК, ты только крикни: «Товарищи, полундра!» Но вовсе без еды никак нельзя, ЦК. Посад твоя опора, батька ЦК, а ты шлюху Московию кормишь... Хотя у тебя и в Московии не всегда водка в наличии для заправки организма».

Вот трое московских пролетариев. Одутловатый в очках митингует.

— Надо председателю Моссовета звонить, что нет водки и мяса.

Это уже в другом месте. Это магазин возле горки.

— В Моссовет звонить надо!

Пролетарий поумней.

— А разве он виноват?

— Кто? А как же? Он обещал сделать Москву образцовым городом... На бумаге... На бумаге!!! — третий раз крикнул, чуть не раскололся.

Седой пролетарий, по виду общественник, к работнице магазина:

— Почему ничего нет?

Работница магазина:

— Нигде нет.



— Неправда... Вовремя заявку не дали. Где заведующая?

— Идите,— усмехается работница магазина,— в отделе бакалеи.

Пошел... Пошел русский человек правду искать... Любимое занятие. Долго ходить будет... Мы за ним не пойдем, мы за Авдотьюшкой.

Спаслась Авдотьюшка. И кошелочку спасла... Авдотьюшка вдоволь на свете пожила, умная. Она не правду ищет, а продукты питания. Да день такой, что уж не по плану. Зашла в одну «килинарию». Тихо, спокойно, воздух чистый, и прилавки чисто прибраны. Хоть бы что туда положили для виду. Хоть бы кость собачью. Продавщица сидит, рукой щеку подперла. Народ входит, ругается-плюется. А Авдотьюшка вошла, постояла, передохнула и спрашивает:

— Лангетика посвежее не найдется, милая? Или антрекотика помягче?

— Ты, видать, бабка, адресом ошиблась,— отвечает ей продавщица,— тебе не в кулинарию надо, а к главному врачу... Не видишь разве, что на прилавке?

Авдотьюшка не обиделась.

— Спасибо,— говорит,— за совет.

И в другую «килинарию». Заходит — есть! У какой-то «шляпы» почки отбила.

Почки эти как в анатомичке одиноко мокли на блюде, и «шляпа» их изучал-нюхал. То снимет очки, то наденет. Авдотьюшка быстро к кассе и отбила.

— Как же,— кричит интеллигент,— я первый.

— Вы нюхали, а мамаша отбила,— говорит торговый работник.

— А другие?

— А других нет... Вот купите деликатес, редко бывает.

Глянул интеллигент — что-то непонятное. Прочитал этикетку: «Икра на яйце». Пригляделся, действительно, не свежее, но яйцо вкрутую, пополам разрезанное. А на сероводородном желтке черный воробьиный навоз.

— Где же икра?

— Сколько положено, столько есть. Тридцать грамм. А сколько вы хотели за такую цену?

Цена такая, что еще при волонтаристе Хрущеве, еще накануне исторического октябрьского пленума 1964 года, внесшего перелом в развитие сельского хозяйства, за такую цену двести грамм хорошей икры купить можно было в любом гастрономическом магазине. Быстро же движется Россия, словно за ней собаки гонятся... А куда спешим? Сесть бы передох-

нуть, подумать, отереть пот со лба. Но попробуй скажи. Политические обозреватели засмеют.

Каждый вечер обозреватели-надзиратели в камеру заглядывают телевизионную, как в тюремный глазок. Про западные неудачи рассказывают и про восточные успехи. Успехи, конечно, есть, отрицать нельзя. Икру эту, например, для яйца только на электронных весах взвесить можно, как элементарные частицы.

Так рассуждал язвенник-интеллигент. А Авдотьюшка отбитые у интеллигента почки в кошелочку, и пошла. Оно и лучше. Интеллигент этот почки на сковородку бросит, обуглит, прожует вместе с горечью, сглотнет комками, а потом к нему ночью «скорую помощь» вызывай. Авдотьюшка же почки в холодной водице вымочит, горечь сольет, проварит. Мягонькие станут. Потом на сковородку с маслицем, ложечку мучицы, лучку добавит. Если и пойдет от почек отрыжка, то спокойная, аппетитная.

Вот так живет Авдотьюшка, продовольственная старуха без биографии. Приспособилась. Заглянет в ее маленький телевизор политический обозреватель — а она почками лакомится. Искажится, перекоится лицо политического обозревателя, заорет он не своим голосом, поскольку телевизор давно неисправный. Да что поделаешь. Икорку или колбаску сырокочпеную уже употреблять запретили, а почки еще жевать разрешено. И иные продукты все ж еще окончательно не реквизированы. Обильна, обильна Россия. В одном месте очередь за индийским чаем, в другом за болгарскими яичками, а в третьем за румынскими помидорами. Стой и бери.

Вошла в молочную Авдотьюшка. Мирный и покойный продукт молоко, безалкогольный напиток. Его младенцы и диетчики потребляют. Случаются здесь и спокойные очереди. Да только не сегодня, когда финское масло в пачках дают.

Голоса из очереди — это не голос очереди. Вообще очередь, как коллектив, еще недостаточно изучена социологами. Очередь формирует психику человека, его отношение к жизни. Да где взять этим социологам опыт Авдотьюшки.

Вошла Авдотьюшка, послушала: очередь звенит, как циркулярная пила, когда на предельных оборотах она на камень натывается... Лицо у очереди гипертоническое, бело-красное. Вот уж поистине кровь с молоком... Авдотьюшка задком, задком и к татарам в магазин, где татарин заведующий, а его жена сок продает...

А на татар украинский степной набег... Махновцы... Форма у всех одна: платки, плюшевые тужурки-кацавейки. Руки тяжелые, багровые, лица малиновые и чесноком дышат...

Хотя и русский человек, особенно почему-то милиционер, в последнее время чесноком дышит... От колбасы, что ли, некачественный состав которой хотят чесноком заглушить?

Перекликаются махновцы.

— Текля, де Тернь?

— З Горпыной за шампаньским пишов.

Если посадские-пригородные грабят предметы первой необходимости, то махновцы грабят предметы роскоши. Привезут на рынок мешки тыквенных семечек или груш-скороспелок, набьют мешки деньгами, а потом в те мешки дорогие деликатесы.

Вот Горпына помогает взвалить Текле на плечо мешок шампанского. Вот у Терня в обеих руках раздутые рюкзаки с плитками шоколада, с коробками шоколадных конфет.

Вспоминаются смазанные дегтем партизанские тачанки с награбленным дворянским имуществом. Но теперь грабеж особый. Не по Бакунину, а по Марксу. Товар—деньги—товар...

Советский магазин—это и история, и экономика государства, и политика, и нравственность, и общественные отношения.

Деревянный ларек. Торговля овощами.

— Сейчас закрою, не буду отпускать!

— Не закроешь, это государственная торговля, не частная лавочка. И люди стоят государственные.

Лучшее применение овощам из государственной торговли—выбросить их. Но стоит народ, надеется, что не все сгноили, не все привезли зеленым, незрелым.

Рыбный.

— Две рыбки.

— Я буду еще две рыбки...

— Хулиганка!

— Кто?

— На...

— Себе возьми...

— Пошел...

Идем дальше... Какой-то еще отдел.

— Сколько дают?

— Все равно всем не достанется...

— По два кило...

— Вы стоите?

— Нет, я лежу...

— Что?

— Пошел...

Перманентная холодная война горячего копчения не зати-

хает. Вот где раздолье борцам за мир. Вот где бы иностранным дипломатам изучать проблемы. Взять авоську, набить пустыми кефирными и винно-водочными бутылками, надеть грязную рубашку, постоять перед калорифером, вспотеть и идти в магазин. Надо уметь толкаться локтями, зло пялить глаза и знать по-русски одну фразу:

— Пошел ты...

А конец фразы можно произносить на своем языке. Все понимают, куда посылают. Но иностранец в России личность привилегированная. Они или в «Березку», или на Центральный рынок.

На Центральном рынке изобилие высококачественных продуктов и иностранные марки автомашин. Страна умеет выращивать крепкие солнечные помидоры и прохладные пахучие огурцы, десертные груши с маслянистой мякотью и ароматные персики, которые так красивы, что могут не хуже цветов украсить праздничный стол. Страна может выложить на прилавки нежные желтовато-белые тушки гусей, уток, кур, индеек. Груды свежего мяса. Куски малосоленного, тающего во рту сала, пряной рыбы, жирного бело-кремового творога, густой сметаны... Здесь, на Центральном рынке, время нэпа, здесь нет поступательного движения вперед к коммунизму, нет перевыполнений плана, грандиозных полетов в космос, борьбы за мир. Здесь приобретенный по обмену руководитель чилийской компартии мирно копается в горах пахучей грузинской зелени, напоминающей ему родную латиноамериканскую.

Хорошо на Центральном рынке. Но и обидно до слез. Хочется подойти к генеральному секретарю чилийской компартии, пока у него лицо не злого пулеметчика, а доброго повара, и сказать:

— Уважаемый камрад Лучо, гражданин начальник,— мы б польстили даже ему, на тщеславие бы ставку сделали,— вы же боретесь за освобождение угнетенных и голодных от эксплуатации. Так помогите Авдотьюшке как интернационалист. Пожалейте Авдотьюшку, раз она сама себя пожалеть не может. Она старая, больная, у нее катар желудка, плохое зрение, больная голова и другие недостатки трудной старости, как следствие трудной молодости. Скажите там, наверху вашим друзьям, товарищам по мировой революции, нашим непосредственным руководителям про Авдотьюшку. И про дураков посадских скажите, их тоже жалко. И про интеллигента в шляпе. И даже про «махновцев», которые мешками шампанского себе сосуды расширяют, сердце надрывают. Вы не обижайтесь, камрад, не зеленейте от гнева, не искажайте свой

известный профиль пламенного революционера. Если про эксплуатацию мы неудачно сказали, то берем свои слова назад. Мы не с крайних позиций выступаем. Мы не согласны с теми, кто считает, что Политбюро умышленно мучает Авдотьюшку в очередях и морит ее голодом. Можно было бы расстелить какое-нибудь красное знамя-самобранку и сказать: «Кушайте-наслаждайтесь, Авдотьюшка»,— политбюро бы это с радостью сделало. Конечно, гонка вооружений мешает. Но ведь и на Западе гонка, однако берлинские и лондонские старушки в очередях не мучаются. Почему? Сталинский колхоз Авдотьюшку притесняет, главное наследство Сталина нынешним начальникам партии и правительства. Чтоб накормить Авдотьюшку, нужны коренные изменения, равные реформам 1861 года, отмене крепостного права. Конечно, это потяжелей, чем танки куда-либо послать или в космос интернациональный экипаж запустить. Такие реформы и в прошлом не под силу были одному лишь правительству. Ныне тем более не под силу, какой бы внешней неограниченной властью оно ни обладало. Для таких реформ необходима помощь правительству со стороны живого свободного общества.

Мы умеренно с Лучо говорить будем, а он возьмет да и вытащит из кармана милицейский свисток. Потому что каждый из партийных функционеров, какую бы должность он ни занимал, остается постовым партии.

Вот те раз... Мы ведь еще конкретное предложение внести не успели. Пока до великих реформ дойдет, Авдотьюшке сегодня жить надо. И посадским. И интеллигенции. На Западе немало теневых сторон, там пособия по безработице. А здесь при развитом социализме, может, пособия ввести для работающих? Чтоб хоть иногда Центральный рынок посещать могли, рядом с вами в грузинской зелени покопаться, рядом с неграми свежего мяса выбрать...

Да где там, уже свистит Лучо, камрадов-интернационалистов из ближайшего отделения милиции зовет... Бежать, бежать надо... А то поведут. Глянет Авдотьюшка из ближайшей очереди и скажет посадским:

— Вона, карманника поймали...

Нет политического сознания у Авдотьюшки, нет потребности в свободе слова и свободе шествий у посадских. Об этом еще старик Плеханов говорил. Но потребность в мясе у них есть. Хотя в настоящее время на Центральном рынке потребность эту классово чуждый элемент удовлетворяет. Племенные вожди-дипломаты из африканских стран. Колониальное

прошлое позади, как бы к людоедскому позапрошлому не вернулись...

Говорят, вкусно человеческое мясо. Молодую свининку напоминает. Один прогрессивный негр-гурман своими соображениями поделился... Может, преждевременно минули времена каннибализма? Может, лучше было бы, если б Гитлер был не вегетарианец, а людоед? Да и Сталин удовлетворился бы тем, что съел зажаренного Зиновьева под соусом «ткемали» и похлебал бы супец из крови Бухарина Николая Ивановича. Есть чернина, польский супец из гусяной крови. А чем человечья хуже? Точно так же можно смешать ее с уксусом, чтоб она свернулась, добавить в бульон из потрохов Николая Ивановича, туда же сушеные фрукты, овощи, лист лавровый... Вкусно... Позавтракает товарищ Сталин кем-нибудь из Политбюро, пообедает парочкой пожирней из ЦК, а поужинает представителем ревизионной комиссии... Съест один состав, другой на партсъезде выберут. Жалко и этих, но что ж поделаешь, если человеческая история жертв требует. Только раньше их ели, а теперь их жгут или закапывают. Вот и негры теперь уже не те, прогресс свое взял. Покупают свежей свининки, говядинки, баранинки, а кого убьют, в землю закапывают. Продовольственный продукт даром пропадает.

Про негров Авдотьюшке как-то Матвеевна рассказывала.

— Первым,—говорит,—к нам Поль Робсон приехал... Но тот хоть пел, а эти только зубами блестят и зубочистками наш хлеб выковыривают...

Несознательная Матвеевна, интернациональных принципов не понимает. И Авдотьюшка несознательная.

— Ух, ух... Ух ты, ух ты... Бестии какие...

А где же она, наша Авдотьюшка? Совсем ее потеряли... Да вот же она, в передвижной очереди... Имеются и такие... Подсобник в синем халате тележку везет, на тележке импортные картонные ящики. Что в ящиках, непонятно, но очередь сама собой построилась и следом бежит. А к очереди все новые примыкают. Авдотьюшка где-то в первой трети очереди-марафона... Должно хватить... Взмокли у Авдотьюшки седые волосы, чешутся под платком, сердце к горлу подступило, желудок к мочевому пузырю прижало, а печень уже где-то за спиной ноет-царапает. Но отстать нельзя. Отстанешь, очередь потеряешь. Подсобник с похмелья проветриться хочет на ветру, везет, не останавливается. Кто-то из очереди, умаявшись:

— Остановись уже, погоди, устали мы, торговлю начинай...

А толстозадая из торговой сети, которая в коротком нечистом халате сзади за тележкой ступает:

— Будете шуметь, вовсе торговать не стану.

Тут из очереди на робкого бунтаря так накнулись, затюкали.

— Не нравится, домой иди прохладиться... Барин какой, пройтись по свежему воздуху не может. Они лучше нас знают, где им торговать. Им, может, начальство указание дало.

Бежит дальше Авдотьюшка вслед за остальными. А пьяный подсобник нарочно крутит-вертит. То к трамвайной остановке, то к автобусной... И толстозадая смеется... Тоже под градусом... Измываются, опричники...

В нынешней государственной структуре имеют они непосредственную власть над народом наряду с участковыми, управдомами и прочим служивым людом... Авдотьюшка как-то в Мосэнерго приходит, куда ей добрые люди дорогу указали, плачет. Девчонки молодые там работали, еще не испорченные, спрашивают:

— Что вы плачете, бабушка?

— Бумажки нету, что за электричество плотят. Выключат, говорят, электричество. А как же я без электричества буду? В темноте ни сварить, ни постирать.— И протягивает старую книжечку исписанную, которую добрая соседка заполняла.

— Ах, у вас расчетная книжка кончилась? Так возьмите другую.

И дали новенькую, копейки не взяли. Как же их Авдотьюшка благодарила, как же им здоровья желала. И сколько же это надо было над ней в жизни поизмываться в разных контрактах, чтоб такой страх у нее был перед служивым народом. А здесь не просто служивые, здесь кормильцы.

Бежит Авдотьюшка, хоть в глазах уже мухи черные. А подсобник вертит, подсобник крутит. Куда он, туда и очередь, как хвост. На крутом повороте из очереди выпал инженер Фишелевич, звякнул кефирными бутылками, хрустнул костями. Не выдержал темпа. Но остальные с дистанции не сходят, хоть силы уже кончаются. Спасибо, подсобник перестарался, слишком сильно крутанул, и картонные ящики прямо посередине мостовой повалились... Несколько лопнуло, и потек оттуда яичный белок-желток. Обрадовалась очередь — яйца давать будут. Легче уже. И товар нужный, и бежать за ним более не надо. Стоит очередь, дышит тяжело, отдыхает, пока подсобник с толстозадой совещаются-матерятся. Выи-

скались и добровольцы перенести ящики с середины мостовой под стенку дома. Началась торговля...

Отходчив душой русский и русифицированный человек... Быстро трудности-обиды забывает, слишком быстро забывает.

В связи с катастрофой приняли подсобник с толстозадой на совещании решение: по просьбе трудящихся отпускать — десяток целых, десяток треснутых яиц в одни руки. И вместо «яйца столовые» присвоить звание и впредь именовать их «яйца диетические» с повышением цены на этикетке. Но при этом будут выдаваться полиэтиленовые мешочки бесплатно. Хорошо. Авдотьюшка целые яички в один полиэтиленовый пакетик, треснутые, уже готовые для яичницы, — в другой пакетик, расплатилась по новой цене, все в кошелочку сложила и пошла довольная. Зашла в булочную, хлеба прикупила. Половина черного и батон. За хлебом в Москве пока очереди нет. Если еще за хлебом очередь, значит, уж новый этап развитого социализма начался. В целях борьбы с космополитизмом запретят американское, канадское, аргентинское и прочее зерно потреблять. Но пока еще в этом вопросе мирное сосуществование. Хорошо выпечен хлебец из международной муки. Мясца бы к нему. Курятины-цыплятины не досталось, так хоть бы мясца... Мясной магазин вот он, перед Авдотьюшкой. Шумит мясной, гудит мясной. Значит — дают. Заходит Авдотьюшка.

Очередь немалая, но без буйства. Обычно мясные очереди одни из самых буйных. Может, запах во времена пращура переносит, когда представители разных пещер вокруг туши мамонта за вырезку дрались? Человеку одичать легче, чем кружку пива выпить. Каждый знаком с некими неясными позывами, с неким томлением в груди. Хорошо еще, если на основании подобных позывов человек принимает решение облить кипятком тещу. А то ведь и важные государственные решения принимаются: газами удавить, расстрелять, в тюрьме сгноить. А дали б такому гражданину, вождю-фюреру, возможность без штанов на дерево залезть, может, история народов выглядела бы по-иному.

Вот такие мысли приходят в московской мясной очереди, когда ноздри щекочет запах растерзанной плоти. Принюхалась и Авдотьюшка, хищница наша беззубая. Пригляделась... Она кусочек какой лежит... Не велик и не мал... Эх, достался бы... Авдотьюшка б уж за ним как за ребеночком поухаживала, в двух водах обмыла, студеной и тепловатой, от пленочек-сухожилий отчистила, сахарну косточку вырезала и в супец. А из мякоти котлетушек-ребятушек бы понаделала... Выпро-



свить бы мяса у очереди Христом-Богом. Не злая вроде очередь.

Только так подумала, внимательней глянула — обмерла... Кудряшова в очереди стоит, старая вражина Авдотьюшкина... Кудряшова, матерая добытчица, становой хребет большой многодетной прожорливой семьи, которую Авдотьюшка неоднократно обирала... У Кудряшовой плечи покатые, руки-крюки. Две сумки, которые Авдотьюшка и с места не сдвинет, Кудряшова может на далекие расстояния нести, лишь бы был груз-продовольствие. Кудряшова и роженица хорошая. Старший уже в армии, а самый маленький еще ползает. Сильная женщина Кудряшова, для очередей приспособленная. Кулачный бой с мужчиной обычной комплекции она на равных вести может. Но если схватить надо, а такие ситуации, как мы знаем, в торговле бывают, тут Авдотьюшка расторопней Кудряшовой, как воробей расторопней вороны. То кочанчик капусты из-под руки у Кудряшовой выхватит, то тамбовский окорок в упаковке.

— Ну погоди, ведьма,— ругается-грозит Кудряшова,— погоди, я тебя пихну.

— А я мильцинера позову,— отвечает Авдотьюшка,— ишь пихало какое.

А сама боится: «Ой, пихнет, ой, пихнет».

Теперь самое время сообщить, что ж это такое — «пихнуть». Есть старое славянское слово — пхати, близкое к нынешнему украинскому — пхаты. По-русски оно переводится — толкнуть. Но это не одно и то же. Иное звучание меняет смысл, если не в грамматике, то в обиходе оба слова существуют одновременно. Толкнуть — это значит отодвинуть, отстранить человека. Бывает, толкнули — и извините, говорят, пардон. А если уж пихнули, так пардону не просят. Потому как пихают для того, чтоб человек разбился вдребезги.

«Ой, пихнет,— думает Авдотьюшка,— ой, пихнет».

Но очередь тихая, не воинственная, и Кудряшова тихая. Исподлобья на Авдотьюшку косится, но молчит. В чем тут причина? Не в мясе причина, а в мяснике.

Необычный мясник появился в данной торговой точке. Мясник-интеллектуал, похожий скорее на ширококостого из народа профессора-хирурга в белой шапочке на седеющей голове, с крепким, налитым, упитанным лицом, в очках. Мясник веселый и циничный, как хирург, а не мрачный и грязный, как мясник. Очередь для него объект веселой насмешки, а не нервного препирательства. Он выше очереди. Огромными, но чистыми ручищами берет он куски мяса и кладет их на витрину, на мясной поднос. И в ответ на ропот

очереди, требующей быстрее обслуживать, без запинки читает «Евгения Онегина».

— Чего там,— ропщет некая с усталым лицом, видать, не впервой сегодня в очереди стоит,— чего там... Вы для обслуживания покупателей поставлены.

— Глава вторая,— отвечает ей мясник,—

Деревня, где скучал Евгений,  
Была прелестный уголок;  
Там друг невинных наслаждений  
Благословить бы небо мог.  
Господский дом уединенный,  
Горой от ветров огражденный,  
Стоял над речкою. Вдали  
Пред ним пестрели и цвели  
Луга и нивы золотые,  
Мелькали села; здесь и там  
Стада бродили по лугам,  
И сени расширял густые  
Огромный, запущенный сад,  
Приют задумчивых дриад.

Странная картина. Странные она вызывает идеи. И неожиданные из нее проистекают выводы. Первый вывод — Пушкина мясной очереди должен читать мясник. Собственно, это главный вывод, ради которого есть смысл немного поразмышлять в духоте магазина. Цинично, вульгарно бречит мясник на пушкинской лире, но все же чувства добрые пробуждает. Народ безмолвствует, соответственно финальной ремарке из «Бориса Годунова». Тихо стоит. Не слушает Пушкина, но слышит. Попробуй прочесть мясной очереди Пушкина крупный профессор-пушкинист или известный актер-исполнитель. Хорошо, если это вызовет только насмешки. А то ведь еще злобу и ненависть. Нет, культуру народу должна нести власть. Скажете, что ж это за культура, что ж это за Пушкин? Ответим на это совсем с иного конца. Ответим тоже вопросом. Вам приходилось наблюдать, как восходит солнце? Не над пышной субтропической зеленью, которая знает, что такое солнце, которая сознательно живет им и которая академически солидно ждет его восхода. И не над тихой, поросшей травой лесной поляной, которая сама составляет крупницу солнца, которая верит в него и для которой восход солнца есть ее собственное интимное чувство. Мы имеем в виду восход солнца над безжизненными северными скалами. Казалось бы, зачем мертвому жизнь? Зачем холодным камням солнце? Спокойно, тяжело, монотонно лежат камни в глухой ночи, покрытые льдом и снегом, безразлично встречают камни серый, короткий день, принимая на бесчувственную грудь

свою острые порывы ветра. Но восходит над ними солнце, слабое подобие жаркого, плодоносного или ласкового, мягкого, знакомого нам солнца, восходит солнце, от которого субтропической зелени или лесной полянке стало бы страшно и тоскливо. А скалы вдруг меняются. Розовеют камни, мох да лишайник появляются, и какое-то невзрачное насекомое выползает из расселины навстречу этому короткому празднику. Хоть и не осознает, может, откуда пришел свет, почему утих ветер, почему нет безразличия к холоду и что это за новое не чувство даже, а ощущение теплоты и покоя. А взойди над северными камнями южное или даже мягкое умеренное солнце, это была бы катастрофа. Потрескались бы холодные камни, высох лишайник, погибло бы, сгорело невзрачное насекомое. Холодному северу нужно холодное солнце.

Вы скажете, пример слишком уж отдален от поставленного нами вопроса. Слишком много разного смешано. Природные явления, очередь в мясном магазине и приобщение народа к культуре. Однако нет здесь эклектики. Души человеческие так же разнообразны, как природа, но способны к большим переменам. Холодное солнце официальной культуры может сделать эти перемены плодотворными. Вот где б только найти просвещенных мясников, помнящих наизусть «Евгения Онегина»? Остро отточенный топор редко сочетается даже с дурно настроенной лирой.

Так думал интеллигент-«шляпа» без почек, стоя в мясной очереди и наблюдая, как под брэнчащие, но все-таки звуки пушкинской лиры народ получает мясо. Притих народ. Размяк народ.

— Мы согласны с вами,— кто-то из очереди размякший мяснику,— нам бы мяса.

Глаза мясника сверкают насмешкой за стеклами профессорских очков, но хирургически чистое ручище держит тяжелый мясной топор. Решается Авдотьюшка.

— Мне б мяса,— говорит жалобно,— стоять не могу, ноги не держат.

Народ устал, настоялся народ, недоволен народ. Но просвещенный мясник учит народ деяниями своими.

— Вам какого, бабушка?— соизволил проявить милость монарха мясник.

— Мне бы этого.— И пальцем в облюбованный кусок.

Берет мясник кусок своими белыми ручищами. Хорош, сочен кусок. И косточка рафинадная. Глазам своим не верит Авдотьюшка. Счастье-то какое.

— С праздничком вас.— Это она мяснику польстить хочет, чтобы не передумал.

— Я вам признателен,— отвечает мясник,— с каким? Партийным или церковным?

Ропот рассеивается. Весело народу, хоть и тесна очередь. А вместе с весельем и сознание появляется.

— Нам тяжело,— говорит кто-то,— а старикам одиноким как же?

Тянется к мясцу Авдотьюшка. Не дает мясник. Даже разволновалась Авдотьюшка. И напрасно.

— Разрешите, я вам в кошелочку положу,— говорит мясник.

Легло мясо в кошелочку. Повернулась радостная Авдотьюшка уходить, а мясник ей вслед:

— Спасибо за покупку.

— Дай бог здоровья,— отвечает Авдотьюшка.

Вышла Авдотьюшка, идет — улыбается. За угол зашла, из кошелочки мяса кусок вынула, как ребеночка понянчила и поцеловала. Может, цыплятина и лучше, да цыплятина не родная, Авдотьюшкой не куплена, а это мясо свое. Плохо день у Авдотьюшки начался, да хорошо кончается. Раз везет, значит, этим попользоваться надо. Решила Авдотьюшка в магазин сходить далекий, который редко посещала. «Ничего, там по дороге скамеечка, посижу и дальше пойду. Авось чего либо добуду...»

Пошла Авдотьюшка. Идет, отдыхает, опять идет. Вдруг навстречу дурак. Знала она его в лицо, но как зовут, не знала.

Дурак этот был человек уже не молодой, голову имел обгорелую и потому всегда кепку носил. Ездил этот востроносый дурак городским транспортом и из бумаги профили людей вырезал. Похоже, кстати, но за деньги. А ранее работал дурак на кожевенном комбинате художником. Однако раз вместо лозунга: «Выполним пятилетку за четыре года» написал: «Выполним пятилетку за шесть лет». Чего это ему в голову пришло? Впрочем, родной брат дурака, герой-полковник, ордена, квартира в четыре комнаты, почетный ветеран Отечественной войны — и вдруг публично заявил: «Сегодня по приказу Верховного главнокомандующего товарища Сталина в городе выпал снег». А товарища Сталина к тому времени не то что на этом свете, но и в мавзолее-то уже не было. Как же он мог снегу приказать? Думали, неудачно шутит полковник, пригляделись: искренне излагает, и глаза нехорошо блестят. Одним словом, дурная наследственность. Может, оно и так, дурак-то он дурак, но говорят, что младший брат полковника, художник, подальше от своего района, там, где его знают поменьше, подошел к самой пасти кровожад-

ной свирепой многочасовой очереди на солнцепеке, выстаивавшей к киоску, где продавали раннюю клубнику, и произнес: «Именем Верховного Совета СССР предлагаю отпустить мне три килограмма клубники». При этом он предъявил собственную правую руку ладонью вперед. Ладонь была пуста, но народ ему подчинился, и он взял три килограмма клубники... Вот тебе и дурак...

Увидел Авдотьюшка дурак и говорит:

— Бабка, а в пятнадцатом магазине «советскую» колбасу дают... И народу никого.

Мужчина, который рядом шел и тоже услышал, говорит:

— Что это вы болтаете... У нас вся колбаса советская, у нас еврейской колбасы нету.

— Вкусная колбаса,— отвечает дурак,— пахучая. Я такой давно не видал.

— Да он же того,— шепотом Авдотьюшка мужчине и себя по платку постучала.

— А,— понял антисемит и пошел своей дорогой.

Пятнадцатый же магазин тот, куда Авдотьюшка шла. Приходит. Магазин длинный, как кишка, и грязней грязного. Даже для московской окраины он слишком уж грязный. Магазин, можно сказать, сам на фельетон в газете «Вечерняя Москва» напрашивается. Продавщицы все грязные, мятые, нечесанные, стоят за прилавком, как будто только что с постели и вместо кофе водкой позавтракали. И кассирша сидит пьяная, а перед ней пьяный покупатель. Лепечут что-то, договориться не могут. Она на рязанском языке говорит, он на ярославском. А подсобники все с татуировкой на костлявых руках и впалых, съеденных алкоголем грудях... У одного Сталин за пазухой сидит, из-под грязной майки выглядывает, как из-за занавески, у другого орел скалится, у третьего грудь морская — маяк и надпись «Порт-Артур».

Знала Авдотьюшка про этот магазин, редко здесь бывала. Но ныне пошла. Заходит Авдотьюшка озираясь, видит всю вышеописанную картину и уже назад хочет. Однако глянула в дальний угол, где написано: «Гастрономия». Глянула, глазам не поверила. Правду сказал дурак. Лежит на прилавке красавица-колбаса, про которую и вспоминать Авдотьюшка забыла. Крепкая, как темно-красный мрамор, но сразу видно, сочная на вкус, с белыми мраморными прожилками твердого шпига. Чудеса, да и только. Как попало сюда несколько ящиков деликатесной, сырокопченой партийной колбасы, словно бы прямо из кремлевского распределителя? И почему ее сам торговый народ не разворовал? Видать, по пьянке в массовую торговлю выпустили. И этикетка висит: «Колбаса «со-

ветская». Не соврал дурак. Цена серьезная, но те, дешевые, с крахмалом и чесноком. Матвеевна говорила, в колбасу мясо водяных крыс подмешивают, из шкур которых шапки шьют. А здесь мясо чистокровное, свинина-говядина. И мадерой мясо пахнет... Чем ближе Авдотьюшка подходит, тем сильнее запах чувствует. Это ж если тонко нарезать да на хлеб, надолго празднично можно завтракать или ужинать.

А ведь было время, ужинала Авдотьюшка не одна. Самовар кипел червонного золота, баранки филипповские. Он красавец был. И у Авдотьюшки коса ржаная. В двадцать пятом году это было... Нет, в двадцать третьем... Колбаски полфунта в хрустящем пакете. Колбаска тогда по-другому называлась, по это она самая... Принесет, говорит: «Употребляйте, Авдотья Титовна. На мадере приготовленная». И балычку принесет... «Употребляйте»,— говорит.

— Ну что, девка,— говорит Авдотьюшке пьяная нечесаная продавщица,— покупаешь колбаски? Раз в десять лет такую колбаску достать можно.

А Авдотьюшка не отвечает, ком в горле.

— Какую берешь,— спрашивает продавщица,— эту?— И поднимает крепкий сырокопченый батон.

А Авдотьюшка не видит, слезы в глазах.

— Чего плачешь,— спрашивает продавщица,— зять из дому выгнал?

— Нет у меня зятя,— еле отвечает Авдотьюшка и всхлипывает и всхлипывает.

— У ней, видать, украли что-то,— предположил подсобник с морской грудью,— украли у тебя что-нибудь, старая?

— Украли,— сквозь слезы отвечает Авдотьюшка.

— Ты, что ль, Микита?— И к тому, у которого Сталин из за майки-занавески выглядывает...

Микита этот, кстати, Сталиным своим очень гордился и в разных местах, за разными бутылками одну и ту же историю рассказывал про сержанта, которого в сорок пятом году расстреливать должны были, так как он немку-малолетку изнасиловал... Отомстил немецким карателям, которые сожгли его хату со всем, что в ней было живого и неживого. Насилует сержант немку и плачет и кричит: «За мать мою, Василису Тихоновну! За деда Прокопа! За сестру Надьку! За пацанят Надькиных Леньку и Женьку и за пацанку Надькину Людку!» А в конце вогнал немке в то самое место бутылку с криком: «Смерть немецким оккупантам!» Умерла немка, а сержанта приговорили к расстрелу. Вывели его расстреливать, он рубаху на груди разорвал, там Сталин. И не расстре-

ляли, послали в штрафной батальон... Правда, всякий раз по-новому Микита рассказывал. Иногда сержант этот был из другого полка, иногда из соседней дивизии, а иногда он сам, Микита, этим сержантом и был...

— Ты, что ль, Микита?

— Да я ее в глаза не видел,— отвечает Микита,— у ней, старой, только геморрой украсть можно.

— Украли,—говорит Авдотьюшка, и слезы льются, льются... Давно так не плакала.

— Украли, в милицию иди, не мешай торговле,— говорит продавщица и сырокопченный батон на весы кладет, антисемиту вешает.

Видно, опомнился антисемит, вернулся, поверил дураку. И другой народ подходит все более и более. Растрезвонил дурак про «советскую» колбасу.

О «советской» колбаске следует сказать особо. Колбасные очереди наряду с очередями апельсиновыми являются главным направлением торговой войны между государством и народом. Мы с вами в настоящих колбасных и апельсиновых очередях не стояли, потому что Авдотьюшка их избегает. Хитра Авдотьюшка, и посадские хитры. И украинцы-«махновцы» редко там попадают. Они больше по окраинам, где какой дефицит выбросят. Кто же стоит-воюет в тех очередях? Вокзалы. А что такое вокзалы? Это сам СССР. Но за апельсинами СССР поневоле стоит. Выращивает СССР в обилии вместо груш-яблок автомат «калашников», а «третий мир» апельсин выращивает. Натуральный обмен вне маркова капитала. Не свой, не привычный продукт— апельсин. От него у СССР отрыжка горько-кислая. Не серьезный продукт апельсин, под водку не идет. Детишкам дать погрызть разве что. Иное дело колбаска...

В колбасных Москвы вокзальный дух, вокзальная духота... Кажется, вот-вот прямо в московских колбасных, вызывая головную боль, закаркает диктор: «Внимание, начинается посадка на поезд номер...»

И пойдут поезда прямо из московских колбасных на Урал, в Ташкент, в Новосибирск, в Кишинев... Вокзальный народ не буйный. Посад хитер, а вокзал терпелив. Хитрость— она резиновая, а терпение— оно железное.

Раньше в московских колбасных приятно пахло копченостями. Теперь там запах давно не мытых дорожных тел. Да не просто тел. Ногами в колбасных воняет. Намученными, взопревшими ногами. Не на час, не на два, на целый день вокзал устраивается. Садятся некоторые передохнуть, разуваются. Железо ждать умеет. И свое соображение у железа тоже

есть. Знает, какие продукты на какие расстояния везти можно. Ведь образование в СССР шагнуло далеко вперед. Высок в очередях процент образованного народа. Инженеры стоят, химики-физики... Стоят, рассчитывают... До Горького мясо доезжает и маслице. А до Казани мясо протухает, но колбасы вареные выдерживают. За Урал копчености, чай, консервы везти можно. Апельсины те же для баловства ребятишкам. Но лучше нет настоящей копченой колбаски. И терпеливо железо стоит. Стоит СССР в очередях за колбасой. «Эх, милая, с маслицем тебя да с хлебцем, как в былые времена».

Опомнилась и Авдотьюшка.

— Я первая,— кричит,— я очередь первая заняла.

Куда там, оттерли. Обозлилась Авдотьюшка, уж как обозлилась: «Народ нынче оглоед, народ нынче жулик». Разошлась Авдотьюшка от обиды. Платок с головы сбился. Об кого-то кулак свой ушибла, об кого-то локоть рассадил. Поднатужилась Авдотьюшка, попробовала пихнуть. Да тут ее саму пихнули. Какой-то, даже не оборачиваясь, задом пихнул. А зад у него передовой, комсомольско-молодежный, железобетонный.

В больнице очнулась Авдотьюшка. Очнулась и первым делом про кошелочку вспомнила.

— А где же моя кошелочка?

— Какая там кошелочка,— отвечает медсестра,— вы лучше беспокойтесь, чтоб кости срослись. Старые кости хрупкие.

Но Авдотьюшка горюет — не унимается.

— Там ведь и мясо было, и селедочка, три короба, и хлеб, и яйца, два пакета... Однако пуще всего кошелочку жалко... Где ж она теперь, моя кормилица, где ж она теперь, моя Буренушка?

В той же больнице, где Авдотьюшка, инженер Фишелевич лечился, кибернетик низкооплачиваемый. В больнице, как в тюрьме, люди быстро знакомятся.

— Юрий Соломонович.

— Авдотья Титовна.

— У вас, Авдотья Титовна, что?

— Пихнули меня.

— А что это такая за болезнь,— иронизирует Фишелевич,— у меня, например, перелом правой руки.

Пригляделась Авдотьюшка.

— Точно,— говорит,— тебя из очереди в правую сторону выбросили, я вспомнила. Но не горюй. Без яиц остаться не так обидно, как без колбасы.

Среди больных заслуженная учительница была с тазобедренным переломом. Начала она обоих стыдить:



— Как вы можете вслух такие анекдоты рассказывать.

— Какие анекдоты,— говорит Авдотьюшка,— все правда святая... Яйца болгарские, а колбаса «советская».

— Вы еще и антисоветские анекдоты про Варшавский договор здесь рассказывать вздумали,— возмущается учительница и еще более стыдит, а особенно Фишелевича, того по еврейской линии стыдит и обещает выполнить свой гражданский долг.

— Позвольте,— пугается Фишелевич,— слова Авдотьи Титовны советская печать подтверждает.— И достает из тумбочки большую книгу в коричневом переплете.

Часто читал Фишелевич эту книгу, и все думали — роман читает.

— Вот,— говорит Фишелевич,— вот сказано: «К наилучшим деликатесным сырокопченым колбасам заслуженно причисляют колбасу «советскую». В ее фарш, приготовленный из нежирной свинины и говядины высшего сорта, добавляют очень мелкие кубики твердого шпига, который дает на разрезе привлекательный рисунок. Обогащает вкус и аромат «советской» колбасы коньяк или мадера и набор специй. Перед использованием рекомендуется нарезать колбасу тонкими полупрозрачными ломтиками».

— Вот оно как,— говорит шофер, который с переломом обеих ног в кресле на колесиках передвигался,— вот оно, значит, как ее начальство нарезает.

Тут опять учительница.

— Это,— говорит,— диссидентская книга... Эту книгу диссиденты распространяют, чтоб над нашими временными трудностями поглумиться... Негодяи, сионисты... Но знаете, ироды, что я старая контрантисоветчица.— И зарыдала от обиды и от невозможности всех приговорить к расстрелу.

Дали ей успокоительную таблетку. Но ведь права, ведь права депутатка райсовета. В нынешний период развитого социализма кулинарная книга о вкусной и здоровой пище есть самая диссидентская, подрывная и насмешливо-сатирическая. Однако и Фишелевич хитер. Хитер Фишелевич.

— Извините,— говорит,— книга одобрена Институтом питания Академии медицинских наук СССР. Главный редактор академии Опарин.

— Раз одобрено академиком СССР,— говорит шофер,— значит, читай дальше.

И с тех пор часто читал Фишелевич книгу вслух. Много нового узнал из нее больной народ. И про сервелат, и про колбасу слоеную, и про уху из стерляди, которую лучше всего

подать с кулебякой или расстегаем. В тарелку с ухой можно положить кусок вареной рыбы.

— Любите рыбку, Авдотья Титовна?

— Уважаю...

— А я люблю мясо с лапшой.

Это уже неизвестно кто реплику вставил. Даже неизвестно, какой у него перелом. А подавай ему мясо с лапшой.

— Ваша фамилия?

— Шаргомыжский.

— Отлично... Читаем дальше.

А дальше про ростбиф целая новелла. И про индейку жареную поэма. И про заливную ветчину по-русски. Причем было сказано: хрен подается отдельно.

— Это верно,— сказал шофер,— по-русски теперь хрен подается отдельно.

От такого чтения у учительницы поднялась температура, и она перестала выходить из своей палаты. А Авдотьюшка слушает, слушает. «Эх, все бы это да в кошелочку». Кошелочка-кормилица ей родным существом была. Она ей по ночам несколько раз снилась. Привыкла Авдотьюшка к своей кошелочке. Как это она другую сумку возьмет, с ней по очередям ходить будет... Печалится, горюет Авдотьюшка. Однако раз медсестра говорит:

— Родионова, вам передача.

Родионова — это Авдотьюшки фамилия. Глянула Авдотьюшка — кошелочка... Еще раз глянула — кошелочка... Не во сне, наяву — кошелочка... Мяса нет, конечно, и яиц, да и из трех селедочных коробок — одна. Но зато положена бутылка кефира, пакетик пряников и яблочек с килограмм...

Как Авдотьюшка начала свою кошелочку обнимать, как начала Буренушку гладить-баловать... А потом спохватилась — кто ж передачу принес? Одинокая ведь Авдотьюшка. Полезла в кошелочку, на дне записка корявым почерком: «Пей, ешь, бабка, выздоравливай». И подпись — «Терентий». Какой Терентий?

А Терентий — это тот подсобник с морской татуировкой, с «Порт-Артуром» на груди.

Значит, и в самых темных душах не совсем еще погас Божий огонек. На это только и надежда.

*Апрель 1981 г.*

*Западный Берлин*

---

## ИСКРА

### 1

Киносценарист Орест Маркович Лейкин ехал на своем автомобиле «Запорожец» забрать из школы сына, восьмилетнего Антошу. «Запорожец» последней конструкции был куплен недавно, но уже барахлил, мотор тарахтел, точно в него насыпали гвоздей. К тому ж видимость была ужасной и дорога скользкой, что неудивительно для холодного, сырого московского октября... Впрочем, был уже ноябрь, первое число и до праздников четыре дня, потому что уже четвертого никто работать не будет, начнется суета и одновременно какой-то праздный покой, приятная предпраздничная обломовщина, а все дела будут откладывать на «после праздников».

В этом году долго стояла теплая зелено-золотая осень, однако девятнадцатого октября ночью внезапно ударил мороз, и листья, многие еще зеленые, не успевшие пожелтеть, дождем начали опадать с деревьев, устилая землю. Это было не увядание, а гибель, и листья не опадали, кружа, а падали тяжело, без опьяняющего сухого запаха, сопровождающего золотой осенний листопад. На следующий день, двадцатого октября, к вечеру повалил снег, и, поскольку на деревьях еще осталось много листвы, ветви начали гнуться и многие ломаться. Снег, правда, пролежал недолго и вскоре растаял.

«Вот так и излишне молодящийся человек,— подумал Лейкин, вспоминая октябрьский листопад.— Надо готовить себя к старости постепенно. Если же молодиться, худеть, вести молодую жизнь, а время будет идти своим чередом, то с человеком может случиться то же, что и с деревьями, во-

время не сбросившими листву и не подготовившимися к зиме».

Школа, где учился Антоша, располагалась в новом микрорайоне, из давно уже взявших старую Москву в глухое кольцо, отгородивших ее от подмосковных лесов и полей. Стоило лишь отъехать от центра, как начинались и бесконечно долго тянулись окраины, так что, по сути, Москва в основном состояла из окраин или, как говорили, мест массового заселения. В нижних этажах стандартных девятиэтажных домов из кирпичных блоков или шлакоблоков во всю длину первого этажа размещались магазины. Продольная надпись из литых букв — «Продукты», такая же надпись сверху вниз, перпендикулярно, бывает часто на торце зданий. С противоположного же торца надпись поменьше, красными или зелеными — «Вино». И повсюду еще много месяцев после заселения было не убрано, лежали кучи мусора и не было удобных дорог. Но зато было зелено, просторно, и у околиц микрорайона начинались лесопарки, кое-где переходившие в леса. А зимой было много снежной целины для лыжников и снежных горок для детских санок.

Орест Маркович, припарковав «Запорожец» у почты, через дворы пошел к школе, подняв воротник кожаного пальто, прикрываясь от ветра. Осенью и ранней весной, конечно, лучше в городе, то есть в центре, среди обжитых улиц и тесно стоящих старых домов. Здесь же непогода бушевала вольно, как в поле. Эта Москва представлялась Оресту Марковичу советским подростком, не имеющим памяти, среди этой Москвы трудно было себе представить Чехова или Ленина.

Орест Маркович часто думал об этих двух личностях, меж которыми находил внутреннюю связь. Когда за год до революции Ленина спросили: «Сколько вам лет, Владимир Ильич?» — он ответил: «Я старик, старик. Мне сорок шесть лет». Это, конечно же, чеховская фраза из «Чайки». А ведь «Чайка» пьеса салонная, семейная, написанная на некоем местном наречии определенного узкого круга. Сталин политически, а Маяковский эстетически исказили ленинский образ, поставили во главе страны Лжевладимира, и наш долг восстановить законного Ленина, ибо то, что Ленин жив, — не пустая фраза, и от того, какой Ленин будет стоять во главе страны, зависит судьба народа. Лейкин остановился, вынул блокнот и записал понравившиеся мысли. «И так ли уж важно сегодня, какой был Ленин в действительности. Это было важно для его современников, а для нас он жив сегодня как художественный образ, от которого зависит судьба народа. Поэтому сталинисты создают свой художественный образ,

а мы, демократы, должны создать свой. Те же, кто объединяет Ленина и Сталина, особенно за границей это модно, лишь укрепляют сталинизм внутри страны».

Конечно, не все в этих мыслях Лейкина было вполне легально, но намеки и подтексты вполне могли быть использованы в легальных очерках и легальных сценариях. В этом Орест Маркович убедился, став лауреатом ленинской премии женского пола, то есть лауреатом премии имени Крупской, за свой сценарий для юношества «Субботник». Речь шла не о кремлевском субботнике, а о семейном рукописном журнале, который маленькие Ульяновы издавали под руководством матери своей Марии Александровны. И вот теперь, после «Субботника», Лейкин приглашен для участия в закрытом конкурсе, посвященном супругу Надежды Константиновны. Так Лейкин иронизировал в кругу друзей, но не над супругами Лениными, к которым относился серьезно и с волнением, а над самим собой.

Лейкин считал, что единственной фигурой, способной эффективно бороться со Сталиным, был Ленин и то немногое, что было сделано во время оттепели, совершилось ленинским именем. В последний год своей жизни Ленин писал, пока еще мог писать, что он готовит под Сталина бомбу. Бомба оказалась невзорванной. Смерть помешала Ильичу высечь искру, нужную для воспламенения сталинизма, как он высек искру для воспламенения царизма... Вот тема сценария. Поймет ли Юткин?»

Юткин был кинорежиссер и соавтор Лейкина. Юткин Лейкина утомлял, и когда он размышлял, сидя против Лейкина, то тому казалось, будто в чугунной, поросшей курчавым волосом голове соавтора тяжело ворочаются камни-жернова, а он, Лейкин, рабочая лошадь, вынужденная ходить по кругу и вращать эти жернова, чтобы они мололи юткинскую мысль. Впрочем, иногда этот тяжелый труд даже приносил удовлетворение, и из юткинской мельницы являлось нечто свежее и упругое. Хоть такие моменты скорее напоминали рыбную ловлю, а не мельничный процесс. Ловлю лещей, которых сам по себе Лейкин, при всей своей «моцартовской легкости», не схватил бы. Так они и работали вместе, чаще перемалывали чужое: первоисточники марксизма, воспоминания, дневники, протоколы, и в этом труде Лейкин был потной рабочей лошадью, вращающей жернова в голове Юткина. Но иногда охватывало вдохновение, и тогда рыбачили. Лейкин был крючком, а Юткин грузилом, без которого рыбку не поймать. Талант ли так отличал соавторов — Лейкина и Юткина, — ум ли, трудно понять, но темперамент уж точно. А темперамент че-

ловека более других его качеств связан с происхождением. Так, у многих астраханских русско-калмыцких полукровок можно было заметить веселый ленинский блеск хищника в раскосых глазах, и у многих мелитопольских мещан такие же, как у Юткина, большие, сильные, травоядные тела, напоенные соком сладких мелитопольских помидоров и арбузов. Ну а Лейкины были «те самые Лейкины», «из тех самых Лейкиных», которые занимали видное место в российско-литературной жизни конца прошлого века. Над письменным столом Ореста Марковича в его кооперативной квартире висела репродукция с карандашной зарисовки Николая Чехова, старшего брата Антона Павловича, — «Гуляние первого мая 1882 года в Сокольниках». На этой картине сам Антон Павлович — пухленький, круглолицый, с едва заметной бородкой и букетиком цветов в руках. А рядом, среди других лиц, прадед Ореста Марковича А. П. Лейкин, издатель знаменитого журнала «Осколки». Журнала, в котором сотрудничал Антоша Чехонте. А. П. Лейкин протезировал молодому Чехову и помог ему опубликоваться в «Петербургской газете». В семье Лейкиных хранилось письмо Чехова к прадеду: «Насчет «Петербургской газеты» отвечаю согласием и благодарственным молебном по вашему адресу. Буду доставлять туда расказы аккуратней аккуратного».

Таким образом, Орест Маркович был в тени своего прадеда, а прадед в тени Чехова. И к Ленину Орест Маркович пришел через Чехова, ибо Лейкин считал Ленина чеховским персонажем. Каким? В нем было от разных, что-то от Астрова, что-то от дяди Вани... Он был несчастен в любви, и его всемирный псевдоним навеян несчастной любовью. Тургеневской любовью. Любовью на приволжских бульварах, как в пьесах Островского. Ему было семнадцать, ей двадцать три... Это была первая любовь, и она была отвергнута. Потом его любовь отвергла другая женщина, подруга жены, Надежды Константиновны. А его последнюю любовь отняла могила...

Он умел любить, но он умел и ненавидеть, умел наслаждаться своей ненавистью не хуже фон Корена из чеховской «Дуэли».

Нет, Орест Маркович не заблуждался, не идеализировал, он читал достаточно книг из «спецхрана», читал меньшевиков, эсеров и прочих ленинских недругов. Но даже если они в чем-то правы — это правда мертвых. А Ленин живее всех живых, ясный и понятный. Как сказал один из его недругов: «Он объяснил мне, почему я с ним не согласен». В этом бы направлении подумать, в этом бы направлении сосредото-

читься. Но уже перебивали, уже не давали думать. Прямо по снежной целине, загребая валенками снег, бежал к отцу Антоша, весело, беззаботно крича и неся суету на своем здоровеньком глупеньком личике. Антоша внешне был удивительно похож на Ореста Марковича, точно не сын, а близнец, но уменьшенного в несколько раз размера. Он был похож и спереди, и с затылка, с затылка даже еще более. Похож был и жестами.

— Папа,— кричал Антоша,— мы сегодня в классе решили Ленина оживить.

Слова эти неприятно прозвучали для Ореста Марковича и даже его несколько напугали, как напугало бы человека любое внутреннее размышление, которое вдруг произнесено вслух. Не в мозгу, а среди вот этих глупых домов и деревьев и ставшее глупым в устах младенца, да еще собственного сына. Впрочем, удивительного тут ничего не было. Антоша слышит разговоры в доме, размышления и споры Ореста Марковича с Юткиным. А дети любят играть во взрослое, тем более подражать отцу. Но как-то неловко при посторонних слышать сокровенные свои мысли, которыми играет ребенок, выбалтывая их как семейные тайны. Вокруг уже было многолюдно. Младшеклассники с ранцами в сопровождении родителей выходили из школы. Мать одного из мальчиков, дородная женщина с лисьим воротником, услышав слова Антоши, засмеялась и сказала:

— Вот хорошо бы было. А как же вы это сделаете?

— Очень просто,— бойко ответил Антоша,— нальем в мавзолею на Ленина много лекарств, и все.

Женщина с лисьим воротником посмотрела на Ореста Марковича, как смотрят взрослые друг на друга, когда дети болтают милую чепуху, и Орест Маркович вынужден был в ответ улыбнуться, а чего это ему стоило, сын узнал уже в автомобиле. Всю накопившуюся горечь Орест Маркович излил на свою маленькую копию, на свою маленькую головку, с таким же, как у папы, пробором в рыжевато-серых волосах, и когда Антоша плакал, то Оресту Марковичу казалось, что это он сам вопит, размазывая по лицу слезы и сопли. Настроение было решительно испорчено, и все Оресту Марковичу не нравилось ни в себе, ни в сыне. Хотя сына он наказал, накричал на него за порванный ранец и чернильное пятно на штанишках, а вот за что хотелось наказать себя, было не ясно, и это особенно тревожило. Приехав домой, Орест Маркович, как чеховский фон Корен Лаевского и как Ленин меньшевиков, продолжал терзать свою жертву, не идя с ней ни на какие компромиссы и желая с ней раскола, по крайней мере, до вечера. Уже и жена, мать Антоши, по наущению мужа отхле-

стала мальчика ремнем, уже Антоша приходил два раза в кабинет просить прощения, а Орест Маркович все не унимался, не оборачиваясь даже к сыну и глядя перед собой на ленинский портрет. Подлинную причину своего гнева Орест Маркович не решался почему-то сказать даже жене, и от этого ему было перед собой стыдно, а от стыда досадно. Чуть утихло лишь к обеду, но, когда сели за стол, жена вдруг начала рассказывать свой сон.

— Видно, оттого, Орест, что вы вчера с Юткиным допоздна говорили о Ленине, спорили и ругались, мне приснилось, будто иду я по улице, и возле молочного магазина вдруг Ленин навстречу... Представляешь, Орест?— И жена засмеялась.— Знаешь, идет навстречу точно такой, каким его изображают в кино. Он меня увидел и почему-то обрадовался, точно знает меня давно. И я обрадовалась и удивилась, даже спрашиваю: «Откуда, Владимир Ильич, вы меня знаете?»— «А мне,— отвечает,— о вас очень много ваш муж рассказывал». И в этот момент выскакивает из молочного магазина какой-то жлоб и Ленина топором по голове. Я как крикну в ужасе: «Скорая помощь!»! «Скорая помощь!»!— И она засмеялась.

— Что же здесь смешного,— сказал Орест Маркович и раздраженно отодвинул тарелку,— что смешного, если топором по голове?

— Так это ведь во сне,— сказала жена, удивляясь его гневу,— во сне я кричала от ужаса, а теперь это мне кажется смешным. Я не понимаю, почему ты сердиться.

— А если б при мне дедушку Ильича ударили топором по голове, я бы заплакал,— сказал Лейкин-младший, очевидно желая польстить отцу и тем заслужить поощрение.

— Ах, оставьте меня оба в покое,— сердито сказал Орест Маркович, он встал из-за стола и начал рыться в ящиках буфета.— Где у нас таблетки от головной боли?— крикнул, уже не сдерживая себя и сдавшись на волю своему гневу.— Что у нас творится в доме? Какое-то дерьмо круглосуточное.

— Дурак!— крикнула ему вслед жена перед тем, как он захлопнул двери кабинета.— Такое при ребенке говоришь. Интеллигенция!

Скандал был полный, дома оставаться было мучительно, но и бродить без цели по сырой, холодной Москве не хотелось. Правда, сегодня вечером Лейкин был приглашен в гости к художнику Волохотскому. Но до вечера было еще далеко. К счастью, зазвонил телефон, и судьба, чтоб как-то уравновесить события, голосом редакторши известного москов-



ского журнала сообщила приятную новость: очерк «Вулкан на Каменноостровском проспекте» принят к публикации.

— Но кое о чем надо еще поговорить. Когда вы можете, Орест Маркович? Сейчас? Чудно.

Очерк был написан Лейкиным в излюбленном им диапазоне — «между Чеховым и Лениным». Издатель Чехова А. С. Суворин, конкурент А. П. Лейкина, незадолго до революции изрек: «Я скорее поверю в появление на Каменноостровском проспекте огнедышащего вулкана, чем в возможность революции в России». А в 1917 году Ленин произнес речь с балкона дворца Кшесинской на Каменноостровском проспекте.

Очерк в редакции понравился, но редакторша кое-какие моменты попросила исправить. Так, например, у Лейкина было сказано, что Владимир Ильич, хорошо знавший и любивший Некрасова и Тургенева, часто использовал их образы для обличения политических противников. Многих дурных людей Ленин называл Ворошиловым. Чуть что, говорил: «Да это ведь Ворошилов».

— Но у меня речь идет о Ворошилове из тургеневского «Дыма».

— Знаете,— сказала редакторша и посмотрела в лицо Лейкину своими кругленькими птичьими глазками,— дым рассеется, а Ворошилов останется. Подумают о Климентии Ефремовиче. Зачем это нам с вами?

Редакторша была пухленькая курносая женщина, жена писателя, публикующегося, но не очень известного, и в разные времена любовница нескольких очень известных, обладавших высокими должностями. Теперь она постарела, поблекла, но свои люди, журнальный актив и члены редколлегии, ее звали не по фамилии, не по имени-отчеству, а просто — Пуся. Пуся попросила также вычеркнуть фразу «Любимое дерево Ленина — липа» и цитату: «Ленин — мессия, который вывел пролетариат из египетского рабства».

— Кто автор цитаты? Вы не указываете автора, и цитата может быть использована для нехороших намеков.

Цитату Лейкин согласился вычеркнуть. Автором цитаты был Карл Радек. Впрочем, Лейкин вычеркнул и «липу», и «Ворошилова», чтоб дать возможность Пусе пустить очерк в ближайшем номере. У Пуси было острое чутье старой охотничьей суки, и она вынюхивала даже незначительные мелочи. Говоря о большой схожести Владимира Ильича с отцом своим Ильей Николаевичем, Лейкин перечислил высокие лбы обоих, рыжеватые бороды, лысые головы и короткие ноги. Оба не выговаривали «р». «Короткие ноги» она попросила

вычеркнуть, а возле «р» поставила красную птичку, на усмотрение зам. главного редактора. Кстати, зам. главного редактора скоро сам заглянул в кабинет.

— Работаете? — спросил он.

— Мы уже заканчиваем, Евсей Тихонович, — мармеладно пропела Пуся, — хочу вас познакомить с автором ленинского очерка — Орест Маркович Лейкин. Обещал нам и очерк о прадеде А. П. Лейкине, который работал с Антоном Павловичем Чеховым.

Лейкин пожал протянутую начальством руку. Рука была большая, сытая, мягкая, словно пузатая, и лицо зам. главного редактора было добродушно-сытым.

— Могу вас подвезти на редакционной машине, — сказал зам. главного Лейкину, — вы домой?

— Нет, мне еще надо по делу. — И сказал куда.

— Ничего, я подвезу, — сказал зам. главного, — я люблю те места. Там с возвышенностей вид замечательный на Москву.

По-ноябрьски рано темнело, и сырая Москва в сумерках выглядела более уютно, городские огни светили подомашнему. Ехали и молчали.

— Мне здесь, — сказал наконец Лейкин, — мне здесь выходить.

Зам. главного вышел вслед за Лейкиным, вдохнул сырой воздух и, посмотрев вокруг, пропел умиленно:

— Москва предпраздничная, Москва октябрьская, — потом подумал и добавил: — Москва кумачовая.

У Волохотского Лейкин застал большое общество, и это его покорило, поскольку Волохотский сказал, что приглашает «избранных». Но хуже всего было, что среди «избранных» оказался Паша, Павел Часовников, черносотенец, антисемит и монархист, что не мешало ему участвовать в производстве многих революционных и даже ленинских фильмов. Впрочем, художником он считался неплохим, и Юткин даже собирался пригласить его на фильм, о чем Лейкин уже с Юткиным спорил. Когда-то, еще до ссоры с Часовниковым, Лейкин был у него дома, чтоб посмотреть коллекцию фотографий, нужных для работы. Одна такая фотография увеличенного размера — царская семья Николая II — висела у Часовникова на стене, и он рассказал, что картины, написанные по этой фотографии, весьма бойко и за приличные деньги покупают «монархисты». Кто были эти «монархисты», Часовников не сказал. Возможно, среди них даже попадались лауреаты Ленинской премии. Сам Часовников несколько лет назад выдвигался на Ленинскую премию вместе со съемочной

группой очередного революционного фильма, но не получил ее,— правда, может быть, по моральным соображениям и за пьянство. Пил он часто, иногда был выпивший, иногда пьян, а трезвым встречался редко. Однажды Лейкин видел, как Часовников выходил пьяный, громко матерясь, из магазина подписных изданий, держа локтем свежеизданные тома собрания сочинений Лескова. Сейчас Часовников тоже был пьян и, увидав входящего Лейкина, зашел: «Я к Владимиру Ильичу, здравствуйте! И лечу, вот так кричу, здравствуйте!»

— А вот и биограф вождя,— сказал Волохотский, но не зло, а добродушно, очевидно, желая превратить злую выходку Часовникова в шутку.

Волохотский носил фамилию матери, может быть, чтоб его отличали от знаменитого отца, ныне покойного, действительно хорошего композитора, автора множества песен, музыки к кинофильмам и оперетт. Квартира у Волохотского была просторная, богатая, с большой кухней.

— Пойдем, Орест,— сказал Волохотский,— я хочу тебе кое-что рассказать, может, пригодится.

Видно, он хотел отделить Лейкина от Часовникова и жалел, что пригласил обоих, опасаясь, как бы это не кончилось дракой. В этой уважаемой среде, случалось, дрались, причем даже в общественных местах, где-нибудь в Доме кино или Доме творчества. Дрались, конечно, младшее и среднее поколения, старики полемизировали. Дрались с руганью и гримасами, со злым ожесточением, не уступающим дракам в сельских клубах и рабочих общежитиях, круша все вокруг. Вот почему Волохотский, опасаясь за свое дорогостоящее имущество, поспешил развести соперников.

На кухне у Волохотского остро пахло майонезом, вареными яйцами и кофе. Лейкин почувствовал голод, поскольку обеда из-за ссоры с женой не доел.

— Я сегодня был в Музее Ленина,— сказал Волохотский,— там реставрационные работы предстоят, осматривал чердак. Представляешь, весь чердак забит венками с похорон Сталина. В стеллажах укрыты. На одном даже цена сохранилась, к венку прикреплена бирка — 1500 рублей. В старых, конечно. Но если ты учтешь, какая инфляция за это время произошла, то это почти одно и то же. Как символично, весь чердак в венках Сталину, а с похорон Ленина два-три венка где-то в углу, и надписи скромные, от рабочих такой-то губернии.

Послышался шорох за спиной.

— Подслушивать стыдно,— сказал Лейкин, зло посмотрев на настойчивого от опьянения Часовникова.

— Мне стыдиться нечего, я за пепельницей пришел,—

сказал Часовников,— как говорят: вы верующий? Нет, я курящий. А насчет реставрационных работ в ленинском музее я бы посоветовал добычу кирпича по способу Ильича — из церкви. Но вообще тема интересная, главное, как ее решить. Я, например, предлагаю эпизод: первомайская или октябрьская демонстрация, и вдруг из мавзолея выходит Ленин, проходит мимо оторопевшего почетного караула, поднимается на мавзолей, расталкивает членов Политбюро и произносит речь. Но для того, чтоб сцена стала похожа на Великого инквизитора из «Карамазовых», члены Политбюро должны начать Ленину рот затыкать и от микрофона оттаскивать. Потом поднять как бревно и во внутреннюю часть мавзолея понести, назад в стеклянный гроб. Но тут может с треском отвалиться могильная плита с надписью «И. В. Сталин», и генералиссимус, который тоже ведь набальзамирован, из могилы появляется. Его из мавзолея вытащили, но в могиле он нетленный лежит. От появления Сталина все члены Политбюро, включая Генсека, в страхе на землю упали и Ленина уронили, не донесли, а Сталин им пальцем погрозил и говорит: «Продолжайте субботник, товарищи».

Кто знает, как далеко завела бы Часовникова горячая фантазия и чем бы все кончилось, но тут, к счастью, раздался звонок в дверь, и пришел запоздалый гость.

## 2

Гость этот, по фамилии Склют, был мужчина лет шестидесяти, грузный, тяжелый, одноногий, опирающийся на палку и стучащий протезом. Когда-то в молодости он написал сценарий известной советской кинокомедии, к которой отец Волохотского сочинил ставшую крайне популярной музыку. Теперь же Склют давно уже занимался общественной деятельностью мелкого пошиба. Впрочем, для кого что мелко, а что крупно. Так, Лейкин был член художественного совета Дома кино, а Склют — член совета ресторана Дома кино. Ну и выпиливал где-то какие-то сценарии для научно-популярных и документальных фильмов.

Поздоровавшись со всеми, а с Волохотским даже поцеловавшись, Склют раздел свое просторное, старого образца пальто-реглан, снял потертую пыжиковую шапку, причесал перед зеркалом в передней остатки волос и тяжело сел на стул, мертво стукнув протезом. Тут же стул карельской березы стоимостью в сто рублей, не выдержав нагрузки, сло-

мался. Склют упал и подбил консоль, на которой стояла ваза стоимостью в триста рублей. Ваза разбилась на голове у Склюта, а консоль, продолжая движение, разбила стекло балконной двери. Но это уже, правда, на меньшую сумму убыток. Все цены разбитого и поломанного сообщены были Волохотским позднее, здесь же даны по ходу действия для наглядности. Таким образом, менее чем за полминуты Волохотскому был нанесен ущерб более чем в четыреста пятьдесят рублей. А ведь еще и двух недель не прошло, как сантехник, вызванный Волохотским для ремонтных работ, выпил стоящий в ванной флакончик французских духов стоимостью в сто пятьдесят рублей. И снова подобный случай в ухудшенном варианте.

После случившегося гости и хозяин затихли, не зная, что говорить и что делать, так что грузный одноногий Склют, который не в состоянии был подняться сам, некоторое время продолжал лежать навзничь на полу, оглушенный ударом хрустальной вазы. Но, по крайней мере для Лейкина, это происшествие заслонило неприятную выходку пьяного Часовникова. Вообще, Лейкин очень скоро ушел, как, впрочем, и другие гости, которых хозяин, огорченный убытками, не удерживал.

Дома на столе лежала записка жены: «Три раза звонил Юткин и один раз Сыркин». Сыркин Исаак Петрович — администратор, или, как вежливо говорят, — директор фильма. Было уже поздно, начало первого ночи, и Лейкин решил перезвонить в ответ рано утром. Он разделся, долго чистил зубы, глядя на себя в зеркало, и лег. Но не спалось. Вдруг пришла в голову дикая мысль, что сцена с выходом Ленина из мавзолея, издевательски изложенная Часовниковым, может быть своеобразной и интересной, если сделать ее лирично, по-чеховски, а не злобно-сатирически. Но мешали члены нынешнего Политбюро во главе с Генсеком. Во-первых, как их изображать? Портретно или через собирательные образы советских руководителей? И каковы их взаимоотношения с ожившим Лениным? Если они встретят воскресшего Ленина аплодисментами, это так же банально, как если бы они встретили его возгласами: «Ленин воскрес! Воистину воскрес!» А каков другой вариант? В варианте Часовникова, при всей его злобной, змеиной ненависти, есть какая-то психологическая правда. Но разве можно доверять психологии? Психологии подчиняются только злые мелкие чувства. Добрые, лиричные чувства вне психологии. Потом в голову полезла совсем уже кисельная муть.

«— Простите, пожалуйста, вы император?»

— Да, а что?

- Николай II?
- Нет, третий.
- Как третий?
- Психиатр в третьем подъезде живет.
- Хо-хо-хо-бум-дзынь... Звонкий смех.

Звонил телефон.

Лейкин с трудом выдрался из сна и сел на тахте. (После ссор с женой он спал на тахте в своем кабинете.) Сел на тахте, глядя в темное мокрое окно. За окном была бездонная мрачная ночь. Звонил телефон. Лейкин окончательно пришел в сознание, вскочил, побежал в одном тапочке к письменному столу, ибо второй тапочек второпях не нащупал, и взял трубку. Среди ночи по телефону, как по репродуктору, помладенчески свежо зазвучал голос Юткина. Такими голосами обычно исполняли песни тридцатых годов: «Нам нет преград на суше и на море...»

— Ты Алексеева знаешь? — пел телефон.

— Какого Алексеева?

— Николая Алексеевича. Имя его во всех книгах о жизни Ленина, во всех учебниках истории. Алексева, который встречал молодого Ленина в Лондоне. Помнишь, первая поездка Ленина в Европу.

— Как же, — речитативом Лейкин, — вот у меня даже написано. — Он пошарил на столе в ворохе бумаг. — «Вчера получил свидетельство от местного полицмейстера». Ленин тогда в Пскове жил. «Потомственному дворянину Владимиру Ильичу Ульянову, проживающему: улица Архангельская, дом Чернова. Не имею препятствий к отъезду вашему за границу». Далее Ленин к матери. Из его письма: «Внес пошлину десять рублей и через два часа получил заграничный паспорт».

Юткин молчал. Это значило — песенное вдохновенное рыболовство кончилось и началась работа мукомола. Лейкин чувствовал, как вращаются тяжелые жернова в голове Юткина, а он, Лейкин, рабочая лошадь, идущая по кругу.

— Этот момент нам следует опустить, — наконец смолело у Юткина, — зачем нам всякие аллюзии. Мы делаем честный, искренний фильм, без кукиша в кармане. И, представляешь, как нам повезло. Живой свидетель. Оказывается, Алексеев жив и здоров. Точнее, жив, но вряд ли здоров, потому что ему девяносто лет.

— Тот самый Алексеев, — обрадовался Лейкин. — Представитель газеты «Искра» в Лондоне?

— Да, тот самый. — Опять полегчало, опять вдохновение. — Алексеев сейчас живет в Доме востранов революции.

Тут друзья познакомили меня вчера с Бертой Александровной Орловой-Адлер, старой большевичкой. Точнее, не друзья, а мой зять Альберт... Алик... Ты его знаешь, главный инженер табачной фабрики «Ява». Начальник Ростабакпрома, сейчас в больнице Четвертого управления Совмина РСФСР. Мировой мужик, очень Алику помогает. Алик его навестил и там познакомился с Бертой Александровной, а через Алика я с ней познакомился. Рассказал о нашей работе. Она отнеслась с большим вниманием и интересом, сообщила много для нас любопытного и прежде всего про Алексеева, с которым дружит. Короче, надо действовать, пока горячо. Я уже подключил Сыркина. Тебе Сыркин звонил?

— Звонил, но меня не было дома.

Разговор затягивался, а Лейкин стоял в одном тапочке, вторая нога на холодном паркете.

— Завтра в девять ты должен быть в вестибюле больницы Совмина. Пропуск тебе заказан. Берта Александровна тебя встретит, а у меня студийная машина с одиннадцати. Мы за тобой заедем. Алексеев — последний человек, у которого из первых рук можно Ленина получить. Главное, успеть к юбилею. Или мы кончим этот фильм, или этот фильм кончит нас... Ха-ха-ха... — открытым звуком в телефон.

— А-а-а-а... Ич... а-а... ич... а... ашхи! — И тоже в телефонную трубку.

— Ну вот видишь, я правду говорю.

— Ич... а-а-а... ич... ич... ичашхи...

— Ложись в постель, ты где-то простыл. Обнимаю.

«Вот тебе и один тапочек». Лег в постель. Полночи прочитал, потекло из носа, заснул под утро. Проснулся — пятнадцать минут девятого. В горле болезненно сухо, во рту липко.

— Где галстук? Не этот, темно-синий в полоску! Где крем для бритья?

— Что с тобой, — спросила жена, — шляешься до глубокой ночи, а потом к тебе не достучишься. Антошу я сама должна была в школу везти, а если гаишник остановит? Я ведь без прав.

— Ич... где запонки?

— Куда ты так спешишь? Совсем с ума сошел со своим Юткиным.

— Я работаю... Ич-ш-ш...

— Куда ты несешься простуженный и без завтрака?

— Некогда... Ашхи...

— Ну и черт с тобой.

Опять скандал на целый день.

В вестибюле больницы Четвертого управления Совета Министров РСФСР мрамор и зеркала. Предъявил в окошко удостоверение с киностудии, которое действовало лучше паспорта,—выписали пропуск.

— Вас уже ждут.

Пошел по устланной ковровой дорожкой лестнице, оглядываясь. Спросить не у кого, а обстановка роскошная, мрамор и зеркала не кончаются, и до головокружения вкусно завтраком пахнет. Не просто едой, как в столовой, а именно завтраком: свежими булочками, свежесваренным кофе, свеженарезанной ветчиной. По сути, второй день без еды. Вчера обед не доел из-за ссоры с женой, вечером рассчитывал в гостях у Волохотского покушать, но ушел голодным из-за проклятого Часовникова, сегодня ушел без завтрака, поскольку опаздывал. И все-таки опоздал на пятнадцать, даже на двадцать минут. А они, старые большевики, привыкли к точности. Годы подполья приучили.

— Товарищ Лейкин?

Оглянулся. Навстречу ему выскочила старуха.

— Товарищ Орлова, тысячу извинений, сына в школу отвозил, и, понимаете, по дороге задержка.

Зачастил, зачастую, одно слово другое догоняет, и со стороны стал похож на Антошу, который недавно чашечку разбил. Но со стороны себя не видел, а Орлова-Адлер с Антошей сравнить не могла, поверила.

— Что ж, дети—уважительная причина.

Руку пожала крепко, по-мужски. И походка мужская.

— Чаю хотите? Или кофе?

— Спасибо... Выпил бы чаю... Или лучше кофе...

В конце коридора был небольшой вестибюль. Сели за удобный столик. Смотрит Лейкин, а вокруг полно сельских бабушек ходит в валенках, кацавейках и платочках. Лейкину и раньше одна-две бабушки на лестницах попадались, думал, обслуживающий персонал—нянечки. Пригляделся—нет, обслуживающий персонал другой. Хоть тоже сельские лица, но крепкие, молочно-молодые. Дочки. Одну такую «дочку» в белом халате Орлова-Адлер подозвала, сказала ей что-то, та кивнула головой, ушла. Не удержался Лейкин, спросил:

— Эти бабушки здесь что делают?

— Как что,—говорит Орлова-Адлер,—лечатся они, поскольку матери и родственники ответработников. Вот та, Надежда Прокофьевна, мать генерала, а та, Надежда Пантелеевна, мать замминистра приборостроения. Этот факт лучше любых трактатов доказывает, что правительство у нас народное. А то, что к валенкам своим привыкли,—не беда. Ва-



ленки вещь удобная. Я сама в девятнадцатом году летом, в июле, в жару три дня от денкинцев в валенках по ржи бежала.

Уже позднее Лейкин узнал, что Орлова-Адлер в гражданскую была политкомиссаршей, но потом слишком далеко не продвинулась, зато и репрессиям не подвергалась. Работала в провинции преподавателем марксизма-ленинизма. Любопытная деталь — за всю жизнь ни разу не посетила колхозный рынок, чтоб не поддерживать частный сектор.

Сочная, откормленная «дочка» принесла на подносе кофейник и чайник, две пустые чашки, свежие булочки, свежее масло, свежую ветчину — коммунистический завтрак из какой-нибудь трехсотой пятилетки. Изголодавшийся Лейкин с трудом заставлял себя есть деликатно, выпил две чашки кофе, съел два бутерброда, с сожалением глядя исподтишка на несъеденное и невыпитое. Может, это отвлекло, и он слушал Орлову-Адлер без внимания. Позавтракав, Орлова-Адлер вынула листки и начала читать отрывки из своих воспоминаний.

— Я не литератор, — предупредила она, — и у меня, не скрою, проблема с литературной обработкой. Мне как-то порекомендовали одного молодого человека, но он начал со мной спорить, будучи совершенно политически неграмотным, и мы с ним расстались.

Из воспоминаний выяснилось, что Орлова-Адлер начала не как большевичка, а как эсерка, правда, левая, однако еще до левозэсеровского бунта перешла к большевикам.

— Знаете, увлечение крестьянством. Лидера эсеров, Чернова, называли Лениным в селянской одежде. Но когда я послушала Ленина, то поняла — нет, Ленин у нас один. Правда, я считаю и пишу об этом в своих воспоминаниях, у Чернова была важная заслуга перед революционной Россией. Чернов воспротивился назначению Плеханова министром труда во Временном правительстве. Теперь это кажется незначительным эпизодом, но тогда это было важно. Если б Плеханов с его энергией, авторитетом и эрудицией занял такой ответственный пост, большевикам стало бы гораздо труднее вести свою работу. А представляете, если б Плеханов заменил Керенского. Такого тоже исключить нельзя. Если б первый марксист России, один из создателей «Искры», стал премьером Временного правительства и начал осуществлять свою старую программу сотрудничества рабочей партии с буржуазией?

Лейкин посмотрел в высокое больничное окно. Мокрые

крыши домов вызывают озноб. Лечь бы сейчас в теплую постель на правах больного, разнежиться, раскиснуть, начихаться вволю. Но надо крепиться, сдерживаться. Скорей бы приехал Юткин. А впереди еще целый день, зябкий, дождливый, и если похолодает, то снег возможен. Где этот Дом ветеранов революции? Наверно, у черта на куличках.

— Простите, Берта Александровна, где этот Дом ветеранов революции? За городом?

— Да, местность там хорошая, большой парк. Правда, сейчас погода не для прогулок. Но вы, как я понимаю, едете не гулять, а собирать материал для ленинской работы. Тут вам, конечно, Николай Алексеевич Алексеев очень-очень может помочь. Я видела и слышала Ленина на митингах, но, к сожалению, никогда с Владимиром Ильичем не встречалась. А Николай Алексеевич начал свою нелегальную деятельность чуть позже Владимира Ильича, и тоже студентом.

— А как Николай Алексеевич попал в Лондон? — спросил Лейкин.

— Ну не так, конечно, как нынешние борцы за права человека. Без иностранных корреспондентов, без американских долларов. Нельзя сказать, что нынешние за права советского человека борются успешно, но за свои права и здесь и на Западе они борются хорошо. А Николай Алексеевич при нелегальном переходе через границу долго пролежал в болоте и простудился. Больной, он вынужден был заниматься физическим трудом сначала в Берлине, а потом в Лондоне. И никакие фонды, никакие американские дядюшки, никакие радиостанции его не кормили.

Орлова-Адлер с сарказмом засмеялась, а затем, пошелеств бумагами, сообщила, что собирается читать о Каплан, террористке, стрелявшей в Ленина. Новые сведения.

Действительно интересно. Жаль, голова в тумане. Орест Маркович садится поудобней, подпирает голову рукой и старается слушать внимательно. Но ничего нового из записок Орловой-Адлер не извлекает. Человек говорит будто о лично пережитом, а такое впечатление, будто все переписано из много раз читанных книг и учебников. Единственно новое — это попытка доказать, будто Каплан никогда не была эсеркой, как всюду о ней пишут, а всегда была анархисткой. Господи, да какое это теперь имеет значение? От скуки не удержался.

— Ич... ич... ич... вините... Ашхи!

— Оказывается, вы, товарищ, простужены... Вам дома переболеть надо. У нас здесь посетителям с насморком, а тем более гриппом, вход запрещен.

Всполошилась старуха, выпроваживает. Руки не подала, лишь головой кивнула. Впрочем, в ее возрасте надо беречься. В могилу коммунистический завтрак не подадут. И тут же опомнился: «Уж как у Часовникова мысли».

Вышел на дождь, смотрит, а автомашина у подъезда, и в автомашине Часовников сидит. Значит, Юткин пригласил. Сам Юткин из автомашины выходит, улыбка в любую погоду. Тут же Сыркин и шофер Костя. Но Часовникова зачем взяли?

— Орест, вы знакомы? Паша Часовников, художник наш.

На большом лице Юткина детский ротик, аккуратненький, мокренький, и носик детский, аккуратненький, точеный.

— Ладно, поехали, времени мало, — скороговоркой Сыркин. Понял ситуацию опытный администратор.

Только выехали из центра и углубились в окраины, как остановил гаишник. Костя выругался, выбежал, но тут же вернулся.

— Рубль отдал, — сказал он, когда свернули в соседнюю улицу, — гаишники тут за каждым углом, на них не напасть... Всюду деньги давай. Когда работал на такси, чтоб получить такси-пикап, дал взятку диспетчеру. То холодильник, то телевизор подвезешь — приработок. А однажды — мечта — гроб попался пустой. Гражданин попросил в Смоленск отвезти. Девятьсот рублей счетчик выбил. Назад ехал — три ГАИ останавливало. По пятерке дал. Теперь же у них еще электронные пистолеты появились, которые скорость определяют. Определил превышение — гони монету. Старшине-каптерщику, который эти электронные пистолеты выдает, все милиционеры-гаишники по двадцать пять рублей платят...

Говорит Костя, но уж осторожней едет, пока доехали, спина у Лейкина заныла, не разогнешься.

Дом ветеранов революции окружен был глухим забором. По предъявлении удостоверений машине разрешили въехать в ворота, но, чтоб войти в дом, требовались пропуска. Юткин пошел хлопотать, а Часовников предложил:

— Пойдемте туалет поищем, кто нуждается. Здесь у них в парке должен быть туалет.

Парк большой, ухоженный, с кормушками для птиц и белок. По-зимнему перекликались вороны.

— Когда-то такое заведение называлось богадельня, — сказал Часовников, — а теперь Дом ветеранов.

Часовников был трезв и делал вид, что из вчерашнего ничего не помнит. Помнил, конечно. Когда нашли туалет, расположенный на берегу небольшого озера, он сказал:

— Что-то туалет у них на шалаш Ленина в Разливе по-хож.

Нервная корниловская злоба бродила в нем, как сусло в самогоне. Но, честно говоря, туалет действительно был сделан в форме шалаша, остроконечный и обложен сучьями. Появился Юткин с пропусками.

— Пропускают только двоих,— сказал он,— я пойду и Орест.

— Ну и хорошо,— обрадовался Сыркин,— мы на воздухе погуляем, а вы поработайте. Хотя не знаю, что здесь можно сделать. На эту тему уже столько сделали. Вот надо бы что-нибудь историческое.

— Достоевского, например,— сказал Часовников.

— Ну, Достоевского или Толстого взять,— ответил Сыркин,— тут большого ума не надо. Там уже все готово, потому что эти книги писались по пять лет каждая. А вы возьмите что-нибудь оригинальное. Например, про Сакко и Ванцетти, двух американских революционеров, которые забастовку устроили на карандашной фабрике. Вот вам и совместная постановка, вот вам и поездка в Америку, вот вам и советский какой-нибудь Джеймс мистер Бонд.— И засмеялся Сыркин, обнажив зубы в никотине.

Здесь за городом воздух хоть тоже был сырой, но свежий, и голова у Лейкина прояснилась, а насморк утих. Больше не чхалось. Улеглось и раздражение, тем более что предстояла встреча с человеком, который не просто видел Ленина, но общался с ним.

В Доме ветеранов революции нечто было от больницы Совмина, но и нечто от изолятора. Зеркала, мягкая мебель, хоть всего поменьше и победней. И обслуживающий персонал — те же откормленные «дочки» с сельскими лицами, но, пожалуй, менее любезные. В коридоре пахло сладкими лекарствами. Навстречу Лейкину и Юткину две широкоплечие «дочки» в белых халатах катили инвалидную коляску с парализованным ветераном. У ветерана нос был заострен, как у покойника, лицо мертво-лимонное, рот перекошен. Лейкину показалось, что санитарки обращались с ветераном непочтительно, говорили с ним пренебрежительно, а между собой в его адрес насмешливо. Неужели это Алексеев из учебников по истории партии? К счастью, это был не Алексеев.

— Алексеева комната в центре коридора,— ответила одна из санитарок на любезный вопрос Юткина,— я сейчас к нему постучу.

Лейкин и Юткин поспешили следом за широко шагавшей «дочкой», которая, постучав, вошла и заговорила с кем-то,

очевидно, с Алексеевым. И вдруг послышался старческий ссрдитый голос:

— Что такое? Никого не принимаю, я ведь предупредил, что никого не принимаю.

Неловкая ситуация. Юткин, стараясь скрыть растерянность, которая на его наглom лице особенно обнаруживалась, как светлое пятно на темном фоне, заговорил, заговорил, зачастил.

— Извините, Николай Алексеевич,— обратился он к закрытой двери,— режиссер Юткин Юрий Иосифович. Заслуженный деятель искусств. А это киносценарист Лейкин. Работаем над фильмом о Владимире Ильиче. Любые сведения из ваших рук, человека, лично знавшего Владимира Ильича, для нас драгоценны. Привет вам от Берты Александровны Орловой-Адлер.

Имя Орловой-Адлер подействовало, но соавторам все равно не было разрешено войти.

— Пусть подождут в коридоре,— проскрипело, как плохо записанный на пленку звук.

Вышла санитарка, и в приоткрытую дверь мелькнул белоголовый, белоусый, белолицый, в белой рубашке и белых кальсонах. Призрак бродил по комнате, призрак коммуниста. А Юткин и Лейкин, как выгнанные за дурное поведение школьники, толкались перед дверьми в коридоре.

— Нет,— обиженно пробормотал Лейкин,— все эти живые свидетели великих событий только во вред работе.

— Я с тобой не согласен,— сказал Юткин,— в кино нельзя ждать милостей. Взять их наша задача.

Творческий спор соавторов был прерван Алексеевым, который вышел в черном похоронном костюме с орденом Ленина на груди. Из истории партии и прочих книг Лейкин знал, что когда-то Алексеев, молодой студент-эмигрант, проживавший в Лондоне, встретил молодого Ленина, впервые выехавшего в Европу. Два молодых человека, два русских чужака шли в английской вокзальной толпе. И вот они оба, спустя столько лет, опять появились здесь. Какой замечательный сюжет в духе чеховского «Черного монаха». Черный монах несколько тысячелетий назад шел по пустыне, но его отражение, его мираж, из-за нарушений законов оптики продолжает неприкаянно блуждать по земле и в космосе и все не может погаснуть, не может исчезнуть. Так природа мстит за нарушение ее законов. Лейкин теперь понимал, что заболевает всерьез и надолго, а временное улучшение было обманом, к которому прибегает болезнь, чтобы сильнее скрутить, как после ленинского нэпа, потому что политика тоже поддается

физиологическому анализу. Пока маленькие Ульяновы находились под надзором их мамы, Марии Александровны, они вполне соответствовали честным законам святочного рассказа. Но потом мальчик вырос... А был ли мальчик?

— Товарищи, вы не вовремя приехали,— проскрипела плохая запись голоса Николая Алексеевича. А больному, испытывающему головокружение Лейкину даже почудилось, что кое-какие слова произнес не серебряный анфас Николая Алексеевича, а позолоченный профиль Владимира Ильича.— У меня такси заказано,— проскрипела запись.

«Ни одного «р»,— подумал Лейкин,— трудно понять, кто говорит».

Но тут на помощь крючку устремилось грузило.

— Николай Алексеевич, у нас машина во дворе. К чему вам такси?

— Я, товарищи, всегда в предоктябрьские дни посещаю Красную площадь.

«Не картавит»,— почему-то разочаровался Лейкин-крючок.

А Юткин-грузило:

— С удовольствием. Наша машина в вашем распоряжении. И не только Красная площадь, вся предпраздничная Москва встретит вас. Для нашего ленинского фильма такая поездка с человеком, лично знавшим Владимира Ильича,— огромная творческая удача.

— Что ж, товарищи, принимаю ваше предложение.

Лейкину показалось, что орден тоже улыбнулся.

Дождь и ветер утихли, показалось ноябрьское скудное солнце, и те ветераны революции, которые могли самостоятельно ходить, вышли на прогулку. Некоторых санитарки везли на инвалидных колясках. Юткин бережно вывел об руку Николая Алексеевича и повел его к машине. Сыркин наблюдал за этим неодобрительно, ему машина нужна была для личных нужд.

— За что боролись, на то и напоролись,— сказал Часовников Косте,— революция пожирает своих детей.

Однако все это шепотом, а в машине и вовсе молчали. Заговорил Николай Алексеевич, да так, что Лейкин едва успевал в блокноте пометки делать.

— Встретил я Владимира Ильича на лондонском вокзале, поскольку он в английском был не силен. А на следующий день на omnibusе поехали в Примроз-хилл, на могилу Маркса. И вот когда произошла в России революция, потом окончилась гражданская война, в двадцать втором году я подал в ЦК проект о перенесении могилы Маркса в Москву на

Красную площадь и о создании у Кремля мавзолея Маркса. Владимиру Ильичу идея понравилась, и ЦК ее поддержал. Послали меня в Лондон, вести по этому поводу переговоры. Я обратился от имени советского правительства к английскому правительству. Мне ответили, что для них Карл Маркс лицо частное и перевоз его тела с лондонского кладбища зависит от родственников покойного. Но внук Карла Маркса Жан Лонге отказался дать такое разрешение.

Часовников хмыкнул, предвкушая, как будет рассказывать этот анекдот в среде себе подобных.

— Да, молодые люди,— продолжал Алексеев, погруженный в воспоминания и не замечая исходящих от Часовникова идеологических подвохов,— да... Приехал я в Москву расстроенный и написал большую статью, которая называлась: «Жан Лонге — недостойный внук Карла Маркса». Владимир Ильич, как мне известно, прочел и одобрил. Меня Ильич помнил хорошо, как хорошо помнится все, что было в молодости.— Алексеев чем больше говорил, тем больше словно пробуждался, в стеклянных прозрачных глазках появился темный блеск, на щеках если не румянец, то розовые пятна.— Любили мы с ним повеселиться, попеть, поесть. Помню, как-то два килограмма вишен съели в один присест. Владимир Ильич это событие даже мамаше своей в письме описал. «Вчера два килограмма вишен схрамкал». Так и написал. Это потом у него нервы испортились, а тогда веселый был. Пели мы в два голоса. Помню, из «Фауста» Гуно... Ла-ла-ла-ла... Романсы Чайковского пели... Покуривали... Историки пишут, Владимир Ильич не курил. Да, не курил, но иногда покуривал. Раз мать, Марья Александровна, прислала Владимиру Ильичу сто рублей, большие деньги по тем временам. Пошли вместе получать почту, поскольку я лучше заполнял бумаги по-английски, а на обратном пути купили две гаванские сигары. Накурились так, что голова кружилась. А навстречу идут две девушки, англичанки. Одна, помню, повыше, Владимиру Ильичу понравилась. Он говорит: мы все равно прогуливаемся, пойдем за ними... Ох, времена... Даже самому покурить захотелось... Был я тогда представителем газеты «Искра» в Лондоне. Идея огня, искры — основная у Ленина. Партия — искра, зажигает страну, страна зажигает Европу, Европа зажигает мир... Что? Где мы едем?

— Калининский проспект,— услужливо сказал Юткин.

— Отчего глаза краснее рож, — продекламировал Часовников, — что с Калининым? Держится еле... В тридцать седьмом году чудом удержался. А вы, Николай Алексеевич, как в тридцать седьмом?

— Не надо задавать глупые вопросы,— сердито сказал Сыркин,— мы не развлекаемся, а работаем.

— Ну так, может быть, время перекурить,— сказал Часовников,— и нам, и вот Николаю Алексеевичу по старой памяти. Могу предложить новые сигареты— марка «Искра».— И он протянул Алексееву пачку сигарет.

— Как?— спросил Алексеев.

— «Искра».

— Как?!— уже во все стариковские легкие, по-граммофонному закричал Алексеев.

— «Искра»!— заорал в ответ трамвайным хамом Часовников.— Сигареты «Искра», московской табачной фабрики «Ява».— И положил пачку сигарет на стариковские колени.

Алексеев схватил пачку и как будто даже смял ее, но тут же безвольно выпустил из рук.

— Поворачивай,— испуганно закричал Сыркин,— старик, кажется, умер...

Все были перепуганы, даже Часовников понял, что перестарался, но, когда выяснилось, что старик все-таки дышит, он осмелел и сказал Юткину:

— Спасибо за приглашение, только я в вашем фильме участвовать не буду.— И Косте:— Высади меня у метро.

Костя притормозил у метро, и Часовников вышел, попрощавшись только с шофером.

— Я тоже выйду,— сказал Лейкин и пожал ледяную руку Алексеева.

— Завтра созвонимся,— крикнул ему вслед неунывающий Юткин.

Было темно и безлюдно у этой небольшой станции метро. Лейкин ускорил шаг и догнал Часовникова у входа, потянул его за плечо. Часовников все понял и охотно пошел с Лейкиным. Когда они свернули за пустой киоск, который вместе с каменным забором создавал глухой угол, Часовников ударил первый, без предупреждения, умело, прямо в глаз. Потом он замахнулся ногой, но не попал, потому что было скользко, и Часовников лицом сильно ударился о забор. Прерывисто, негромко, как бы нехотя, затарахтел свисток. Свистел не милиционер, а какая-то женщина в брезентовом плаще, видно, дежурная. Оба побежали рядом, высматривая место, где бы можно было продолжить драку.

— Тут стройка,— на бегу сказал Часовников,— на стройке никого.

Они вбежали на стройку и продолжили драку. Потом стояли, тяжело дыша, сплевывая кровь.



— Ты, Часовников, монархо-сталинист,— сказал Лейкин, пробуя пальцами, целы ли зубы.

— А ты, Лейкин, белоеврей. Есть белофинны, белополяки, а ты белоеврей-сионист... Понятно, что вам Сталин не нравится, но он свое дело сделал. Он, грузин, вернул нам, русским, нашу Россию, которую ваш Ленин отдал евреям и прочим нацменам. Мой отец, как дворянин, в двадцать четвертом году был выселен из своего дома и жил в номерах. В январе, рано утром, к нему постучала дворничиха: «Барин, жидовский царь умер». — «Какой царь?» — «Ленин». Это, Лейкин, голос народа. Учти, может пригодиться для работы над ленинским фильмом.

— А ты знаешь, Часовников, что такое по-кавказски джуга? Что такое по-мусульмански джуга или джугут? Джуга по-кавказски — еврей. Джугашвили — сын еврея. Мусульманско-го еврея-сапожника... Так что сдавайтесь, вы окружены.

Сказав это, Лейкин глянул в лицо Часовникова и понял, что выиграл рукопашно-идейную схватку. Решающий удар он нанес врагу его собственным, трофейным оружием.

Молча покинул Лейкин стройплощадку, не сказав более ни слова, лишь глядя время от времени через плечо на стоящего Часовникова. Да, как ни опасен идейный сталинизм, с ним можно бороться. Хуже сталинизм безыдейный: омещанившийся народ, обуржуазившееся мещанство. Вспомнились сельские бабушки в дворницких валенках, по-хозяйски расхаживающие в правительственной клинике. А сыночки их тем временем, омещанившиеся и обуржуазившиеся извозчики, вершат судьбы страны и мира. А кто у них за спиной? Кто идет следом за ними?

Лейкин шел по ветру и холоду домой пешком, держась темпоты, ибо в метро нельзя было войти с разбитым глазом и в истерзанном пальто. Несмотря на холод, начиналось предпраздничное гуляние. Народ валил толпами, на сооруженных временных эстрадах пели и плясали.

— Лада,— пела в микрофон какая-то самодеятельная певчиха из публики. Какой-то гражданин, также из публики, взобрался на эстраду и начал плясать вприсядку, свалил микрофон и потерял шапку.

— Плясал вне конкурса,— объявил ведущий, восстанавливая микрофон,— допляшется.

Вокруг было глупо, пошло и страшно. Лейкин свернул в переулочек, но там было еще страшнее. У забора ворочалась, клубилась, пыхла тесная драка. Больше друг друга остервенело валили наземь, чем били, может, из-за цепких захватов «за грудки». Все участники драки были в одинаковых кро-

личьих треуголах и от этого казались животными одной породы. От драки долетали нечленораздельные междометия и отрывистые глаголы, произнесенные по-собачьи. От вида драки сильнее заныл подбитый глаз, точно опять бьют, но уже не в одиночку, а толпой. Метнулся назад из переулка, опять на проспект. Однако и там повсюду мелькали хищники, повсюду звериное дыхание, повсюду винные запахи. Кто способен их усмирить? Кто способен спасти от этого рогатого будущего? «Есть такая партия»,— сказал Ленин. И сейчас, как и более чем шестьдесят лет назад, от этих страшных народных кулаков могут спасти только ледяные руки ленинских мертвецов.

### 3

С тех пор как Лейкин вернулся домой больной, избитый и пессимистически настроенный, до истерики напугав жену, прошло уже более месяца, уже торжествовала морозная зима, и до Нового года недалеко, а последствия встречи с соратником Ленина все ширились и разрастались.

В ЦК было подано письмо-жалоба, подписанное группой ветеранов революции. На первом месте подпись Алексеева, а среди иных подпись Орловой-Адлер. Письмо было рассмотрено и с соответствующей резолюцией спущено по инстанциям в Министерство пищевой промышленности РСФСР. Резолюция ЦК на письме ветеранов была столь грозной и категоричной, что министр не стал спускать письмо далее со своей резолюцией, а вызвал начальника главка Ростабакпрома и директора табачной фабрики «Ява» к себе. Но поскольку директор табачной фабрики был в Болгарии, в деловой командировке, вместо него к министру явился главный инженер Альберт Пинхасович Злотников, зять кинорежиссера Юткина. Вот как тесен мир.

— Нам ко всем прочим заботам еще не хватало в пищевой промышленности идеологических ошибок,— сказал министр, потрясая перед подчиненными письмом ветеранов с резолюцией ЦК,—немедленно прекратите выпуск сигарет, название которых, как сказано в письме...— и он прочел: — «...кошунственно повторяет дорогое нашим сердцам название первой ленинской газеты «Искра».

— Простите, товарищ министр,— сказал Альберт Пинхасович,— но ведь сигареты утверждены главком, они имеют знак госта, им присвоен первый класс, и для них специально

заказана большая партия болгарского табака. Продукция находится на конвейере.

— Вы меня неправильно поняли, или я неправильно выразился, — сказал министр, — поменяйте этикетки.

— Но ведь этикетки оплачены бухгалтерией. Кто спишет убытки?

— Это решайте в местных, фабричных условиях, — сказал министр, — министерство не может и не должно вмешиваться в мелкие производственные вопросы каждого предприятия. И чтоб больше я к этой проблеме не возвращался.

— Вы, товарищ Злотников, не усложняйте простого и не упрощайте сложного, — сказал начальник Ростабакпрома, — вот когда я вернулся с фронта после тяжелого ранения в сорок третьем году и работал на этой же фабрике «Ява» начальником смены, мы получили специальный заказ особого назначения — изготовить к приезду Черчилля несколько коробок наших отечественных сигар под названием «Салют». Работали день и ночь, перепортили горы дорогого табака, но изготовили к сроку. Во время встречи со Сталиным Черчилль взял нашу сигару, закурил, и вдруг из нее с шипением посыпались искры. Опыта-то у нас все-таки не хватало. Черчилль, правда, все в шутку обратил, сказал: «Вот и салют». И Сталин посмеялся. Но что такое сталинский смех в таких случаях, вы, конечно, догадываетесь. У нас на фабрике все начальство сменили. Я был раненый фронтовик и работал недавно, потому уцелел... Так что не сетуйте, Альберт Пинхасович, на нынешние трудности. Идите и работайте.

Человек, однако, живет не в прошлом, а в настоящем, и прошлые трудности его не успокаивают. Лейкин, например, был очень огорчен, когда узнал, что его ленинский сценарий Госкино не утвержден из-за каких-то идеологических ошибок. Юткин, который ранее звонил по многу раз днем и ночью, звонить перестал вовсе. Волохотский сообщил Лейкину, что Юткин теперь работает над ленинской темой с Мишей, опытным богомазом-конкурентом.

Внешне, да и внутренне Миша похож был на Григория Зиновьева, ленинского соратника и жертву сталинских чисток. Толстый зад чревоугодника, тугие ляжки, провисающие щеки, пухлые женские губки обжоры и сластолюбца, копна седеющих черных волос. В ранний, послереволюционный период, когда не только такие блестящие личности, как Троцкий, но и местечковые талмудисты, а то и просто малограмотные сапожники становились людьми государственной важности, Миша, безусловно, достиг бы политических высот. Такова печальная логика жизни. За общую беду, за общие

унижения и страдания компенсацию в первую очередь требуют и в первую очередь получают худшие. Худшие из потерпевших своими действиями и своей моралью дают возможность свергнутым преследователям и палачам оправдаться и снова вернуться к прежним замыслам. Так местечковые сапожники с маузерами опошлили муки погромов и унижения черты оседлости. И так же сменившие их вскоре сыновья и дочери сельских старух в валенках опошлили бессердечную жестокость крепостного права и унижения русского «черного» народа. О всяком явлении надо, однако, судить не по его началу, а по его концу. Евреи, которые были изгоями в царское время, естественно стремились изменить это положение революционным путем, и, когда революционная партия пришла к власти, многие из них заняли ведущие места. Но революционная партия десять лет спустя была заменена мешанской, а ленинизм — сталинизмом — джугашвилизмом, замещенным не на романтическом мессианстве, а на российском мамаевом бытии. И тогда евреи потеряли не только свои привилегии, но и покатались назад, за пределы своего дореволюционного изгойства, и к пятьдесят третьему году почти перешли на положение унтерменшей, в то время как кавказцы на деле, а русские на словах стали привилегированными нациями. И опять среди общей беды «миши» сбалансировали, худшие удержались и перестроились. Хотя «мишам» тоже было трудно в периоды остервенелые, но в периоды более умеренные для них всегда находили зазоры. Если же говорить конкретно о данном Мише, то всю нерастраченную энергию политического функционера он сосредоточил в единственно доступном ему направлении и давно уж зарекомендовал себя твердым ленинцем на творческом поприще. Никакие чеховские соблазны его на этом поприще не подстерегали, поскольку чеховские соблазны опасны лишь таким индивидуальностям, как Лейкин. В политическом смысле к чеховским соблазнам более склонен демократический меньшевизм, чем большевистский централизм, и при государственном кораблекрушении в семнадцатом году чеховские соблазны сыграли свою роль. Но и ныне чеховские соблазны не давали покоя таким, как Лейкин.

Иногда по вечерам, когда сидел в тепле и уюте за своим письменным столом в своем любимом мягком кресле, вдруг кошмарным видением являлся тот предоктябрьский вечер и ночная тьма казалась черной, народной ненавистью, прилипшей к окнам, а обжитая кооперативная квартира и весь кооперативный дом, наполненный друзьями и сослуживцами, казалось, плыл в безднах, в пучинах этого черного народного

океана, плыл, защищенный не столько своими кирпичными стенами и запираемыми подъездами, сколько своими телефонами. Когда давление черного океана становилось угрожающим, надо было лишь набрать краткий номер и связаться с поверхностью, то есть вызвать милицию.

Конечно, правительство совершает несправедливости, часто ведет себя неправильно, неумно, но другого правительства нет и не предвидится. По крайней мере, без внешнего катаклизма правительство в России заменить нельзя, как без внешнего катаклизма нельзя было заменить царское правительство. Но если произойдет катаклизм, перестанут работать телефоны, и черный океан через окна и двери ворвется внутрь дома, затопит кабинет с полками книг, спальню с широкой кроватью, столовую, детскую комнату Антоши...

От этих чеховских полуночных, туберкулезных мечтаний начинал сверлить, набухать подбитый глаз. Была повреждена роговица, и пришлось обратиться к врачу.

— Что случилось? — спрашивали друзья и соседи.

— Стал подкулачником, — пробовал шутить Лейкин, — попал под кулак.

Но дома, в любимом кресле, думал всерьез. «Только ледяные ленинские руки способны раскулачить народ, это проклятое кулачье, бьющее по живому. Если б с целью полного разоружения черных масс был издан указ, запрещающий им сжимать пальцы в кулаки. Но такое возможно лишь в волшебных сказках.

Страх перед народом всегда прижимал в России общество к правительству, и в восемнадцатом веке это спасло страну от пугачевщины. Но когда заблуждения девятнадцатого века развеяли этот страх, общество отбилась от правительственных рук и попало в народные когти. Однако те, кто выжил, должны учесть уроки. Теперь у нас снова правительство, которое, слава Богу, так же, как и мы, боится народа. И если это правительство по глупости своей не хочет опереться на нас, мы должны быть умными и опереться на него...»

Разумеется, этими своими мыслями Лейкин не делился ни с кем, даже с женой. Даже с лучшим другом Волохотским. «Наша интеллигенция именно так живет, но так не думает, даже наедине с собой. Думает она в противоположном направлении, для того чтоб считаться «приличным» человеком».

— Вот она, наша жизнь, — говорил художник Волохотский, которого Юткин пригласил работать над ленинским фильмом, — ничего, Орест, не поделаешь. Можно только декламировать: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленитель-

ного счастья...» А больше, как я уже говорил, ничего нельзя сделать. Здесь не только больше не во что верить, но и не в чем больше разочаровываться. Слыхал, Часовников женился на Наташке Шойхет и теперь ожидает разрешения на выезд по израильской визе.

Сообщение о Часовникове подействовало на Лейкина осежающе. Он громко рассмеялся, а ночью, проснувшись, опять рассмеялся, разбудив и напугав жену и Антошу. Вообще, по натуре Лейкин склонен был к чеховскому нытью и меньшевистской панике, поскольку дела его шли не так уж плохо. В журнале очерк «Вулкан на Каменноостровском проспекте» напечатали. Вскоре позвонили со студии юношеских фильмов и попросили приехать подписать договор на сценарий «Чехонте» о молодом Чехове. Это тем более радовало, что, по неофициальным сведениям, сценарий «Сосо» о молодом Сталине, предложенный одним генацвали, отклонили. Во всяком случае, в плане на ближайший год «Сосо» не было.

Слух о «Сосо», конечно же, был «не телефонный» и сообщен шепотом на ухо Лейкину в коридоре Дома кино.

Был вечер отдыха московских киностудий. На сцене юродствовал «известнейший, популярнейший», лицо которого ежедневно покупалось миллионами зрителей и читателей. На сцене он выглядел как бы старшим и более бедным братом того, с экранов и цветных фотографий, но зато «свой», но зато «по-домашнему», но зато «Леша». «Что, мы не можем повеселиться в собственном доме?» И звонко, напевно: «А сейчас выступит. Человек. О котором недаром говорят. Что он. Печет блины. Играет на тромбоне. Но в основном. Работает в кино!» Широкий жест в сторону правой кулисы, и на сцену выходит, скромно улыбаясь, тигр — патриарх советского кино, втянув когти в мягкие лапы. Мастер на все лапы, о котором известно в кинокругах, что он и кулинар отличный, и на музыкальных инструментах играет, однако, как сказал Леша, — в основном работает в кино. Лейкина, кстати, шепотом информировал, что «тигр» за «Чехонте» и против «Сосо». Лейкин об этом далее, шепотком, жене в ушко с бриллианتيном. Так что аплодировали Лейкины «тигру» от всего сердца. Вышли в антракте в хорошем настроении. На Лейкине кожаный пиджак, на жене, Жанне, блазер. Вдруг навстречу Юткин с Мишей. Оба коротконогие, низкозадые, большеголовые, жирноплечие, румяные. Юткин чуть повыше. Хорошая пара. Эти по одному факту выуживать не будут, эти оба одинаково по вязкому дну тянут. Прошли, не заметили. Но тут же Волохотский, добрая душа:

— Сегодняшнюю газету читал?

Газета республиканская, но солидная. И в ней приятная рецензия на фильм «Субботник» по лейкинскому сценарию. Смотрит Лейкин, в той же газете некролог на смерть Алексева. Повлияла ли на эту смерть история с сигаретами «Искра», трудно сказать, тем более что Алексеву оказалось не девяносто, а девяносто два года.

В Доме ветеранов революции вообще умирали часто, и похороны эти были для стариков чем-то вроде праздничных торжеств, позволяющих вспомнить молодость и, хоть ненадолго, заняться общественной деятельностью. Так, недели за две до Алексева умер ветеран Хетагуров, старик сравнительно молодой, шестидесятисемилетнего возраста. Он возвращался от своего племянника, у которого был в гостях, и на улице его избили пьяные хулиганы. Вот он в красном гробу, а еще недавно пел в хоре ветеранов революции. Объявлял: «Терская походная»,— и запевал вместе с Орловой-Адлер:

Газыри лежат рядами на груди,  
Ярким пламенем алеют башлыки.  
Красный маршал Ворошилов, погляди  
На казачьи богатырские полки.

И хор подхватывал: «Красный маршал Ворошилов, погляди...»

А когда запевали:

Смело, товарищи, в ногу,  
Духом окрепнем в борьбе.  
В царство свободы дорогу  
Грудью проложим себе,—

Хетагуров речитативом после каждого куплета повторял: «Смело, товарищи, в ногу! Смело, товарищи, в ногу! Смело, товарищи, в ногу!»— причем так громко, на пределе голоса и сил, побагровев в песенном экстазе, и казалось, еще раз крикнет — не выдержит, упадет... И вот упал.

Было много речей, полных гневного пафоса, не меньшего, чем после террористического покушения. Но хватать людей на улице и расстреливать в отместку уже нельзя было. Возраст не тот, и время не то. Поэтому говорили речи. Один из ветеранов дрожащим от гнева голосом произнес:

— Преступная рука и преступная нога поднялись на нашего боевого товарища.

Как выяснилось, хулиганы били ветерана не только руками, но и ногами. А бывший пролетарский поэт, как он о себе некогда писал: «Рядовой пролетарского строя», прочел стихи:

На старика обрушились удары.  
Упал старик, ушибленный в висок.  
Так погибают наши комиссары,  
Когда приходит их последний срок.

Хотел выступить и ветеран Прищепенко, тот самый, которого везли «дочки»-санитарки в инвалидной коляске навстречу Лейкину и Юткину и которого соавторы первоначально приняли за Алексеева. Но поскольку Прищепенко был почти парализован, он сумел отрывисто произнести лишь три слова:

— Ленин... Ильич... Брежнев...

Больше ему говорить не дали, по медицинским и прочим соображениям.

Ну а самого Алексеева, лично знавшего Ленина и бывшего как бы звездой Дома ветеранов, хоронили уже вовсе торжественно. Зачитали некролог, подписанный, среди прочих, несколькими членами ЦК, зачитали телеграмму-соболезнование Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, принесли венок от Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Выступила Орлова-Адлер, которая произнесла речь, полную боли и печали. В конце речи она сказала:

— Николай Алексеевич Алексеев, твердый ленинец, выдающийся деятель международного рабочего движения, наконец переселился из этого мира в наши сердца.

Да, долгую жизнь прожил ветеран, но если говорить по-цыгански, то отправился он в дальнюю дорогу, оставив после себя большие хлопоты. Действительно, что делать табачной фабрике «Ява» с затраченными на этикетки средствами? Позвонил Злотников покровителю своему, начальнику Ростабпрома.

— Посоветуйте, что делать, сам решения найти не могу.

Договорились встретиться в субботу в ресторане «Узбекистан». Время назначить дополнительно, по телефонному звонку, чтоб успеть к свежему плову. Ибо оба уже не раз сидели в этом ресторане, будучи любителями восточной кухни, и знали: плов сохраняет свой аромат не более двух часов с момента приготовления. После этого его уже можно скармливать тульским командировочным.

— И вот что интересно,— говорил начальник Ростабпрома, выпив за пловом несколько рюмок узбекского коньяка специального разлива и закусив вместо лимона зеленой узбекской редькой, смоченной в виноградном уксусе,— вот что интересно, эти ветераны революции не возражают против выпуска нашей фабрикой «Ява» папирос «Беломор», не пишут жалобы в ЦК на сталинский «Беломор». А я, между про-



чим,—сказал он, понизив голос,—после двадцатого съезда ставил этот вопрос. Тем более папиросы устаревшие, пятого класса. Знаешь, Алик, что мне ответили? Папиросы «Беломор» для нас такой же символ, как и Магнитка...Символ чего? У меня, между прочим, на Беломоре родной раскулаченный брат погиб.

Они выпили еще, закусили сочной редькой.

— Вот он, символ,—сказал начальник Ростабакпрома и вынул из пиджака шероховатую пачку «Беломора»,—сам курю. От многого отказался, а от этого отказаться не могу. Что уж говорить о других людях моего поколения? О простых курильщиках? Наш народ, особенно послевоенное поколение, отравлен сталинизмом еще сильнее, чем правительство. А какой же народный сталинизм без «Беломора», чем же еще забавляться на перекурах?

Пачка папирос «Беломор» была сделана из грубой плотной оберточной бумаги грязновато-белого цвета, и самый вид этой бумаги напоминал тридцатые годы, нечто байковое, портяночное, рабоче-солдатское. С одной стороны пачки строго канцелярски сообщались все данные: «МПП—РСФСР. Ростабакпром. Папиросы пятый класс «Беломорканал». 25 штук—цена 25 копеек. Табачная фабрика «Ява». Москва. ГОСТ 1505—81». Но с противоположной стороны пачки была картинка. Надпись «Беломорканал» сверху по дуге белыми, снежными, ледяными буквами на синем фоне, точно ледяная наколка по посиневшему телу. А под наколкой географическая карта России, закрашенная розоватым, воспаленным. И по этому розоватому, воспаленному, пятиконечной рваной ранкой—Москва, выше—темно-синим рубцом—Беломорский, ниже рубец поменьше—Волго-Дон.

— Вот,—сказал начальник Ростабакпрома и пальцем постучал по пачке в том месте, где ее следовало распечатывать,—вот нас обязали писать здесь: «Минздрав СССР предупреждает: курение опасно для вашего здоровья». А если б с другого торца пачки писали бы: «Комитет памяти жертв Беломорстроя предупреждает: курение «Беломора» опасно для вашей совести», тогда, может, и я бы на другие папиросы перешел. Да вот не пишут, и все мы курим «Беломор», все поколение. А это ведь все равно, что курить сигареты «Освенцим». И от чего отвыкнуть не можем, от папирос или от названия? Если от папирос, то почему бы не сменить этикетку? Хотя б «Волго-Дон» назвать. Все ж не так тенденциозно.

Начальник Ростабакпрома был человек не совсем типичный для подобного ранга руководителей, к тому ж в данный момент выпивший и ведущий разговор с подчиненным, кото-

рого давно знал и испытал. Но с другой стороны, не следует смотреть на этих людей как на общее серое пятно. Их мало, потому что они нынешнему времени не нужны, изменится время — их станет больше. Некоторые из них не глупы, даже умны, а многие циничны, качество, которое в данном случае должно внушать надежду.

— Борис Иванович,— спросил Злотников, когда обед закончился и он заплатил по счету,— а как же быть с «Искрой»?

— С «Искрой» все будет в порядке,— ответил Борис Иванович и посмотрел на Злотникова веселым хитрым взглядом, голубизна которого была слегка замутнена хмелем,— по поводу «Искры» примем энергичные полумеры. Ты, Алик, должен научиться читать приказы и постановления высших инстанций, иначе из тебя хорошего руководителя не выйдет. Ведь даже партийный лозунг сегодня, если его читать внимательно, имеет в конце не восклицательный знак, а запятую.

И долго еще, несколько месяцев, до самой весны, пока не кончились оплаченные бухгалтерией этикетки, в многочисленных табачных киосках нелегально распространяли «Искру».

*Декабрь 1984 г.  
Западный Берлин*

---

## УЛИЦА КРАСНЫХ ЗОРЬ

### 1

Улица Красных Зорь была главная и единственная в поселке. От нее отходили неглубокие тупички в несколько домов каждый. В ширину поселку расти некуда было. С одной стороны железная дорога, узкая колея от мочально-рогожной фабрики, рядом с ней грунтовка, а за дорогами лес, сосняк-брусничник на сухом песке. Другая сторона была речная, и крайние дома тупичков стояли на обрывистом берегу реки Пижмы. За Пижмой, на суглинистой влажной почве, сосняк-черничник. Этот лес был пострашней, и ходить туда за черникой в одиночку, без поселкового народа, было опасно. Чем далее, тем угрюмей становилось, и деревья выше, сильнее — сибирская лиственница, кедр, пихта — деревья таежные. В самой чаще лес заболочен, почва торфяная, и из мхов, из лесных злаков росли ели, ольхи, березы, осины, хвощи, осоки. Но это совсем уж далеко от улицы Красных Зорь, и Тоня о тех страшных местах только слыхала, однако никогда там не была, хоть в поселке на улице Красных Зорь жила давно, лет шесть, с тех пор, как родилась.

Тоне казалось, что в болотистых местах и прячется самое страшное слово для поселковых — амнистия.

Поселок был последним пунктом, ближе которого ссыльных к Москве не пускали, и когда случалась амнистия, начинались грабежи и убийства. Другое страшное слово — война, было далеко, на краю света, и могилы военные были далеко. Вместо убитого человека присылали бумажку, и взрослые эту

бумажку оплакивали. А амнистия жила хоть и далеко от улицы Красных Зорь, однако в этой местности, в болотистой чаще, и жертв ее хоронили в сосновых и еловых гробах на поселковом кладбище у сосняка-брусничника. К тому ж амнистия пришла тогда, когда война кончилась и стала не опасной. Сама Тоня, правда, амнистии не помнила, но слышала, как взрослые, Тонина мама Уля, и тетя Вера, и муж тети Веры, дядя Никита, вспоминали про кассира с мочально-рогожной фабрики, которого нашли в Пижме без головы, и про семью Ануфриевых, которую зарезали и обокрали. Зарезали всех, кроме парализованной бабушки. С бабушки только сняли одеяло, вытащили из-под головы подушку, а из-под бабушкиного тела простыню. Но когда амнистированных переловили, время стало спокойное, хоть и голодное.

С тех пор как Тонин отец уехал от них, мама Тони и трехлетнего Давидки работала на станции, мыла товарные вагоны. Уйдет, оставит на столе миску с пареной свеклой, а рядом чугунок с соленой водой. Поедят дети свеклы, попьют соленой воды и лезут на печку. Как и во всех поселковых домах, в Тонином доме была большая русская печь с лежанкой. А меж окон висело зеркало, в которое Тоня любила смотреть, и на зеркале много бус, нанизанных на нитку, красивых, разноцветных, которые Тоня любила перебирать. На подоконнике стоял цветок в горшке, который весной красиво расцветал, а в углу висела балалайка с красным бантом. Балалайка досталась Тониной маме от ее отца, дедушки Григория.

Тонина мама, Ульяна Зотова, была поселковая красавица и певунья. Тоня любила, когда мама в сорочке до пола расчесывала перед зеркалом свои светло-русые косы гребнем пепельного цвета с ручкой, а она, Тоня, сидела рядом, прижимаясь к теплому мягкому материнскому телу. К Ульяне Зотовой многие сватались в поселке, но вышла она замуж за Менделя, рыжего еврея из сосланных, и родила от него двоих детей. Мужа она любила и, когда была в хорошем настроении, то звала — Мендель. Но когда ссорилась с ним или была в плохом настроении, то звала Миша. Работал Мендель шофером на мочально-рогожной фабрике, начальство его уважало, поскольку был он умеренно пьющий, и после того, как кончился срок его ссылки, предоставило ему оплаченный отпуск. Мендель уехал к себе на родину, на Украину, потом вернулся, увидел здешнюю нищету, от которой он за месяц жизни у своих родственников отвык, увидел двух малых детей, жену, простую таежную бабу, взял расчет и опять уехал. Поступил так, как ему родственники советовали.

— И хорошо,— успокаивала Ульяну ее сестра Вера,— не нужен тебе еврей-жид.

Но Ульяна отвечала:

— Я Менделя люблю, все равно он ко мне вернется.

Когда говорила про Менделя, то всегда улыбалась чуть-чуть, уголками губ, таинственно, точно знала про него такое, чего другие не знали.

— Я знаю,— говорит,— что нам с Менделем вместе через реку по жердочке еловой идти. Вместе по досточке сосновой. Мне на станции ссыльная цыганка нагадала. А вместе по жердочке через реку— это любовь до гроба.

Про Менделя говорила только с улыбкой, но когда пела, то плакала. Поэтому петь старалась не при детях, а в одиночестве.

Подросла Тоня, и Ульяна начала пускать ее погулять с меньшим Давидкой, но наказывала далеко от дома не идти. К брусничнику не идти, потому что там поезда проезжают, а по грунтовке телеги и грузовики-полуторки. К черничнику тем более, мост подвесной через Пижму шаткий, малому, некрепкому свалиться можно. А не свалишься, перейдешь, и того хуже. Хоть амнистированных всех давным-давно переловили, но кто знает, может, какой засиделся в чаще, на болоте. Говорят, недели две назад краснопогонники в черничник нагрянули с собаками, кого-то искали. А дедушка Козлов, дом которого самый дальний с речной стороны, слышал ночью в черничнике выстрелы, да не двуствольные охотничьи— из нарезного оружия. Поселковый народ, особенно старый, в таком деле понимал и умел отличить гулкой охотничий хлопок от короткого, ясного голоса военного карабина. Потому Ульяна, отпуская детей, наказывала гулять только по улице Красных Зорь. Была, правда, и на улице Красных Зорь для детей опасность, о которой шептались поселковые женщины,— дядя Толя.

Дядя Толя жил в поселке давно, с незапамятных времен, но на поселковых похож не был, поселковые его старались избегать и детям своим наказывали с ним не говорить, а если заговорит, то не отвечать и ничего у него не брать. Дядя Толя был высокого роста, худой, в пенсне. Любил он с детьми на улице заговаривать и гостинцы им дарить, а бабушка Козлова и тетя Вера и другие поселковые женщины шептались, будто дядя Толя детей, которых гостинцами подманивал, колот иголкой и от этого они помирали. Будто шестилетняя дочка Митяевых от иголки померла. Куда-то писали, жаловались, но жалобу оставили без последствий и разьяснили: дочка Митяевых померла, мол, не от каких-то иголок, а от

скарлатины. Однако женщины продолжали шептаться и хотели писать в Москву Сталину жалобу на местное начальство, при котором дядя Толя работал садовником. Дядя Толя жил в единственном на весь поселок трехэтажном каменном доме у мочально-рогожной фабрики. В доме этом помещался также поселковый Совет и фабричное управление, а вокруг дома был сад, огражденный высоким забором.

Ульяна не верила шепоту поселковых, по своей сестре судила и понимала, что верить поселковым нельзя, однако на всякий случай все ж наказывала детям, если увидят дядю Толю, идти прочь, ничего не брать у него, с ним не говорить и ему не отвечать.

Отправит детей, завесит окна черными шторками, возьмет отцовскую балалаечку и поет в одиночестве, сама себе, чтоб поплакать и облегчить сердце. Песни пела грустные, но сладкие. Начинала с «У муромской дороги».

У муромской дороги стояли три сосны,  
Прощался там мой милый до будущей весны.  
Недавно мне приснился тяжелый страшный сон,  
Мой миленький женился, нарушил клятву он.

И когда пела, так сладко плакалось. Понимает, скоро дети придут с прогулки, пора умыться да утереться, а все не может остановиться, плачется и поется, поется и плачется. Вдоволь наплачется, и веселей становится, вспоминаются песни, которые певал ее покойный отец, Григорий Зотов, под эту балалаечку. «Три ключи» споет.

Три ключи золотые  
На аловой на ленточке,  
На фарфоровой тарелочке,  
На дубовом столике,  
На фабричной салфеточке.

И конечно же, любимую, свадебную плясовую: «Жердочка еловая, досточка сосновая». Поет и приплясывает. Уж повеселела, уж улыбается, а из веселых глаз слезы по-прежнему текут. Случилось, в таком виде ее дети застали, дверь забыла запереть. Детям всегда страшно видеть свою мать плачущей, особенно когда плачет она одна, сама по себе, по-детски, не делаясь ни с кем своим горем. Испугались дети, заплакали, но мать успокоила.

— Это я лук резала, глупые, сегодня будем похлебку есть с картошкой и пшеном.

— А мне хлеба хочется,— говорит Тоня,— я по хлебу скучаю.

Взяла тогда Ульяна Тоню на руки и поднесла к календарю отрывному за 52-й год. Календарь этот к репродукции с картины был укреплен — Сталин в полный рост в военном мундире и военной фуражке.

— У Сталина хлеба проси,— говорит Ульяна.

Начала Тоня просить хлеба у Сталина, просила, просила, потом говорит:

— Мама, Сталин не отвечает.

— Ну вот видишь,— говорит Ульяна,— даже у Сталина хлеба нет, а ты у меня просишь.

Мытье вагонов — работа тяжелая, а платят мало, как за неквалифицированный труд. Приносила Ульяна домой деньги и говорила Тоне:

— Давай аванс делить.

Садилась за стол и начинали делить. Ульяна раскладывала деньги и приговаривала:

— Это на то-се... А это на еду.

Тоня брала деньги на еду, перебирала рублевки, червонцы и говорила:

— Я буду аванс кушать.

Седьмого апреля, в день рождения Ульяны, заехали тетя Вера и дядя Никита, гостинцев привезли, а встретить гостей нечем. Постелила Ульяна на стол чистую скатерку, поставила миску жареных семечек. Все сидели лузгали семечки, а шелуху с пола Тоня подметала. Тетя Вера и дядя Никита были не поселковые, а совхозные. Не очень далеко, но все ж поездом ехать надо или по грунтовке на полutorке. Можно, конечно, и бесплатно, пешком по шпалам, но в летнюю погоду. Лето здесь теплое, хоть и короткое, а зима суровая и долгая. Только в мае начинает лед на Пижме ломать. Седьмого апреля пурга была, улица Красных Зорь вся в сугробах, а в доме тепло, уютно, взрослые все выпившие, дядя Никита в особенности. Конечно, тетя Вера дяде Никите много пить не позволяла из-за склонности к алкоголизму, но при закуске семечками и полстакана самогона хватало.

Выпил дядя Никита и начал опять про Молотова, как уже бывало.

— Молотов,— говорит,— Молотов... Ненавижу,— говорит.— Я мальцом у купца работал, отца Молотова. Порядочный человек, он сына своего проклял.

А Ульяна, мать Тони, русская добрая женщина, за Молотова заступается:

— Он не виноват. Зачем его ругать? Его назначили. Он же должен где-то работать.

— Ох, беда моя,— говорит тетя Вера,— как увидит Дом

культуры имени Молотова или проезжали мы Молотовск, так прямо при людях ругается и проклинает. Как еще цел, не знаю. Семью имеет, пятеро детей.

А Ульяна, мать Тони, чтоб семейный скандал унять, говорит:

— Хватит вам посторонним себя расстраивать. Вот Тоня сейчас вам кабардиночку спляшет, развеселит.

Все в ладоши хлопают: асса! — а Тоня танцует. Ульяна не налюбуется, на дочь глядя, и, тоже подвыпивши, говорит:

— Звездочки мои небесные, — говорит, — детки мои, Тоня и меньшей Давидка. Вот погодите, — говорит, — новые цеха открывают при мочально-рогожной фабрике — веревочный да войлочный. Устроится мать ваша на хорошую работу, купит подарков: сарафан праздничный, калоши новые. Тоня у меня девочка умненькая, добренькая, тороватенькая.

Тороватенькая на местном наречье значит — щедрая. Слышит Тоня такие похвалы себе и еще лучше танцует, старается. Кончила танцевать, тут мать ей вопрос задает, чтоб похвалиться гостям, какая у нее дочка уже взрослая и умная.

— Кто ты есть, — спрашивает, — какого возраста и где проживаешь?

— Тоня Пейсехман, — отвечает, — шесть лет. Улица Красных Зорь, дом десять.

Вдруг тетя Вера как разозлится.

— Какая ты Пейсехман! Ты Тоня Зотова.

А дядя Никита, чтоб только с тетей Верой поспорить, говорит:

— Правильно, одобряю. Она фамилию сменила, чтоб товарные вагоны не мыть, как мать ее, и чтоб на тракторе не надрываться, как дядька ее с рассвета допоздна в мазуте и тавоте. Отец ее, Миша, шоферюга, может, самый дурной из них. У него брат родной кто? Доцент всесоюзных знаний — вот кто.

Тут Ульяна как крикнет:

— Ты Менделя моего не тронь! Не позорь отца при ребятах.

— Какой же он отец им, — говорит тетя Вера, — если сбежал. Ты б лучше на алименты подавала, чем грязные вагоны скоблить. Погляди на руки свои. Тебе только двадцать семь, и статная, нашей породы. Тебя и с двумя детьми возьмут. Вот Лука Лукич, главбух наш совхозный, вдовец, герой войны, к тебе интерес имеет.

— Нет, — отвечает Ульяна, — я Менделя люблю. Вернется он ко мне.



— Когда вернется,— спрашивает Вера,— письмо от него, что ли, получила?

— Я и без письма знаю. Будущей весной вернется.

— Это она из песни своей придумала,— засмеялась Вера,— пойдем Никита, пойдем. Пора уж, а то детей на суседку оставили. Пора уж... А ты, Ульяна, сестрица, гляди, как бы при твоём упорстве слезами не облиться.

На такие слова тети Веры Тоня рассердилась, затопала ножками и крикнула:

— Ты Менделя нашего не тронь.

— Вот, значит, чему тебя твоя маманя учит-балует,— говорит покрасневшая тетя Вера,— гляди, глупых детей дядя Толя иголкой колет.

И ушли не попрощались. Вера даже на пороге плюнула. Однако потом помирились и в гости к себе пригласили, в совхоз. Это уж летом, правда. Но с детьми раньше лета все равно в совхоз не выберешься.

Дни стояли погожие, лето теплое, а у Ульяны как раз двухнедельный отпуск подоспел. Посоветовалась Ульяна с Тоней, и решили — пешком пойдем по шпалам. Пораньше встанем, с передышками пойдем, еду, какая есть, с собой возьмем. По дороге в брусничнике малинки нарвем, как раз подоспела, водицы из ключа попьем.

Утро было чистое, солнечное, облака легкие и высокие, как всегда в погожие дни. А меж облаков такие же легкие и высокие птицы. Лесные или поселковые птицы шумят, а этих не слышно — истинно небесные птицы.

— Это жаворонки,— говорит Ульяна,— вот мы сейчас у них здоровья попросим.

Стала, подняла голову и заговорила:

— Ой вы, жаворонки, жавороночки. Летите в поле, несите здоровье. Первое — коровье, второе — овечьё, третье — человекье.

— Они ведь высоко,— говорит Тоня.

— Ничего... Они добрые слова сердечком слышат.

Пошли дальше. За переездом началось ржаное поле. Ульяна поцеловала колоски и, взяв детей на руки, велела и им целовать колоски.

— Ржаной колосок — медовый пирог. Приехал на сохе, на броне, на кобыле вороне.

Хорошо, весело, красиво вокруг, и по шпалам легко идти. Поезда редкие, раз только пропустили, и по грунтовке изредка полуторка пыль поднимет или телега прогрохочет. Люди совсем уж редко навстречу попадают. Шли мимо поля — ни одной живой души. Уж миновали поле, когда из брусничника

по тропке бабушка Козлова с полным кузовом лесной малины. «Куды да раскуды?» Сели вместе передохнуть.

— День какой солнечный,— говорит Ульяна,— лето славное. Вот рожь как поднялась. С хлебом будем.

— Верно,— смеется бабушка Козлова костяным белогубым ртом,— был бы хлеб, а мыши будут. И мышь в свою норку тащит корку. Мышей развелось невидимо. Это к голоду, к беде. Я, еще солнца не было, иду, а мыши развозились и пищат, беду закликают. А ты далехонько?

— В совхоз, к сестре.

— К сестре— хорошо. Только в брусничник глубоко не ходи. У моей кумы тесть молодой, а уже в чинах. Кажись, главный лейтенант. Так говорит— поберечься надо.

— От чего поберечься, бабушка?

— От чего?— И опять костяным белым ртом шелкнула.

Дети дружно заревели.

— Ты, бабушка, детей мне не пугай,— говорит Ульяна,— иди своей тропкой, а мы своей дальше пойдем.

— Ты не торопись,— говорит бабушка Козлова,— ты молодая, тебе беречься— не мне. Хоть и старым беречься не грех. Вон Саввишна Котова, моя одногодка, в черничник ходила. Черницы захотела. И встретили ее у мохового болотца два огольцы. Говорят, подымай, бабуся, сарафан. Зачала она их стыдить да ублажать. «Вы молоды, вам молодка потребна». Так, думаешь, они Саввишну послушали?

— Пойдем, дети,— говорит Ульяна,— пора нам. Тетя Вера да дядя Никита ждут.

— Ребят пуще себя береги,— кричит вслед бабушка Козлова,— дядя Толя иголкой колет, а сестра его Раиса, волосы длинные, на крови пельмени варит.

«Чтоб ты сдохла, шука старая»,— подумала про себя Ульяна и скорее прочь пошла. Тоне велела за юбку держаться, а меньшого Давидку на руки взяла. Но уж день не таким чистым казался и за малинкой в брусничник идти перехотелось, хоть дети клянчили.

— Лучше скорее в совхоз доберемся, там с народом совхозным за малинкой сходим.

Но дорога неблизкая, умаялась Ульяна меньшого Давидку на руках нести, умаялась Тоня ножками топтать по шпалам. Было уж за полдень, утренние облачка улетели, и в бесконечном небе осталось только солнце да жаворонки. Начался зной, солнце пекло, а еще сильнее солнца пекло от шпал и гравия, покрытых черными мазутными пятнами. Душный запах мазута глушил лесные и полевые запахи. Хорошо— грунтовка свернула и унесла свою пыль к понтонно-

му мосту через Пижму. Ульяна решила держаться железной дороги, которая выведет прямо к совхозу. Да и безопасней, чем к брусничнику спуститься. Дорога пошла на закругление, и уж солнце светило в спину, а сосняк-брусничник был с обеих сторон. Перекусить бы, попить, но боязно было среди леса с обеих сторон. Наконец вышли к Пижме. Шли в другую сторону, а вышли все к той же реке, потому что Пижма река длинная и извилистая. Здесь уж былолюдно, слышались людские голоса, у пристани причалена была баржа и плоты сплавщиков. На барже сушилось белье, а какие-то подростки ради баловства, видать, жгли на отмели смоляную бочку.

— Ну вот здесь мы и перекусим,— сказала Ульяна,— здесь и со шпал сойти можно. От дороги железной отойти. Здесь место людное. Расстели, Тоня, скатерку, я сейчас на пристань за водой схожу.

— Из ключа попить хочу,— заняла Тоня.

— Попьешь и водопроводной,— сердито сказала Ульяна,— ключ в сосняке остался, который мы миновали. Слыхала, какие страхи бабушка Козлова рассказывает.

Пристань называлась: «Поселок Светотехстрой». Никакого поселка еще не было, но земля во многих местах была очищена от травы и лежало много срубленных деревьев.

Перекусили спеченными накануне Ульяной холодными блинами из пшена и ржаной муки, а для Тони и Давидки Ульяна припасла на закуску яблочко, каждому половинку. Попили водопроводной воды, пахнувшей речной тиной. После того как перекусили и попили, не сразу пошли, а еще посидели.

— Ты почему на бабушку Козлову «щука» сказала?— спросила Тоня.

— Вот-те раз, разве я сказала?— удивилась Ульяна.— А сказала— тоже не беда. Щука— рыба умная, она своими острыми зубами все болезни и все беды загрызает. Если укусит невзначай— пенять нельзя, за дело укусила.— И, увидав, что ребята от усталости приуныли, от еды разомлели, а дорога еще не кончилась, пропела, чтоб подбодрить: «Щука шла из Новгорода. Она хвост волокла из Бела-озера. Как на щуке чешуйка серебряная, что серебряная, позолоченная...»

## 2

В совхозный поселок пришли уж под вечер, усталые, запыленные, потные и продрогшие, поскольку, когда побагровевшее солнце пошло на закат, от леса и Пижмы потянуло холо-

дом, а одеты-то все по-летнему: на Ульяне легкая кофтенка и юбка, на ребятах платьица. Меньшой Давидка, хоть мальчик, тоже платьице носил старое Тонино.

Совхозный поселок быстро разрастался, и дома здесь все были свежие, недавно сложенные, а улиц много, не то что одна — Красных Зорь — да тупички. Зато каждый тупичок на другой не похож, а здесь улицы, как одна мать родила. Хоть была Ульяна у сестры не однажды, но с трудом нашла. Подходит Ульяна к дому, узнает по воротам да по резной фигурке над кровлей, которую дядя Никита вырезал и прибил, узнает и нажимает звонок. Не отпирают. Тогда стучит. Не отпирают. Что за страсть? Уж беспокоиться начала. Но в окна свет — значит, дома. Опять звонит и стучит. Зинка, старшая, отпирает.

— Тетя Ульяна? Мама еще с работы не пришла.

— А отец?

— Папаня есть, только он спит. Вы проходите.

Проходит Ульяна с ребятами в дом и видит такую картину. Никита лежит на полу навзничь с открытым ртом и храпит пьяным храпом. Штаны, пиджак, рубашка — все мокрое и грязное, точно он долго в канаве плескался. Ноги босы и тоже грязны, а рядом ботинки, облепленные комьями грязи, в грязной лужице мокнут. Лицо разбито, в запекшейся крови и засохшей грязи. А вокруг него ребята возятся все пятеро, оравой — Зинка, Бориска, Сергейка, Матвейка и меньшой — Влас, Давидкин ровесник. Мочат ребята тряпицы в ночной горшок и тряпичами этими отцу лицо обтирают. Тут же кот Барсук трется, слушает с любопытством храп, подойдет, понюхает открытый Никитин рот, понюхает и лапками на полу у Никитиной головы закапывает, понюхает и закапывает. Всплеснула руками Ульяна.

— Ах ты чертова беда.

Попробовала перетащить Никиту на лавку — тяжелый. Набрала миску воды, обмыла лицо, нашла йод — смазала ссадины. Ребята всей оравой, теперь уж всемером, ей помогали. Смех, визг, толчея — весело. Пока так возились, Вера с поля пришла. Увидела — ничего не сказала, только рукой махнула. Перенесли сестры Никиту на лавку — пусть храпит. Вера одежду стащила грязную в стирку, все привычно, все как водится. Управилась и стала на стол накрывать — сели ужинать. Поужинали сытно: грибами вареными и хлебом, а на сладкое лесной малиной. Поужинали и спать легли. Вера ребятам всем вместе на полу постелила. Ульяна с Верой в кровать легла, а Никита так до утра на лавке и прохрапел. Точнее, до рассвета. Когда проснулись — его уж не было, уж дав-

но на тракторе своем. Потому и ценили в совхозе: пить пьют, а в работе не подведет. Утром уселись всей оравой за стол, поели холодца.

— Я кость от окорока варю, когда достану,— говорит Вера,— шкурки, кусочки хрящика. Ребята любят, и мой поест тарелку, трехлитровую банку кваса выпьет и доволен. Его если хорошо кормить, он меньше пьянствует, только иногда срывается. А иной раз я кость с горохом варю.

Потом поехали в поле, на покос. Было очень красиво, много людей, и в большом котле варился вкусный обед. Ульяна пошла вместе с Верой трудиться. Серпом работать умела, хоть и отвыкла. Работа нелегкая, с непривычки особенно, но радостная. Не то что грязные вагоны мыть. От земляных запахов кружится голова и петь хочется.

— Петь здесь можно? — спрашивает Ульяна.

— А чего ж нельзя,— отвечает Вера.

И запели в два голоса:

— «А на шейке-то платок, точно аленький цветок, а в кармане-то другой — итальянский, голубой...»

— Продавай дом, переезжай в совхоз,— говорит Вера,— я тебе уж давно советовала, да ты все думаешь, будто я свою половину денег тороплюсь получить.

— Жалко,— говорит Ульяна,— отцовский дом. Да и Мендель вернется, куда ему в совхоз. Он на мочально-рогожной фабрике опять работать захочет, его там начальство любит.

— Что тебе этот Мендель,— сердится Вера,— чем тебя этот Мендель к себе прилепил? Он уж и думать про тебя перестал, он уж, поди, давненько с Сарочкой живет. Ты лучше про Луку Лукича думай, если не ради себя, то ради детей, Тони и Давидки. Сегодня Лука Лукич у нас ужинать будет. Это знаешь какой человек? Герой войны, весь пиджак в золоте и серебре. И справа висит, и слева висит. Семейю свою в войну потерял и потому из тех мест уехал от тяжелых воспоминаний подальше в наши места. А здесь туз тузом. Сам Куцепалов, директор совхоза, перед ним спину гнет, поскольку все финансы у него, а он лицо материально ответственное перед городским банком. И человек добрый, редко кто теперь согласится с двумя детьми взять.

Пока взрослые беседовали и трудились, дети веселились, бегали по траве, забирались в скирды. Потом появился дядя Никита и каждому дал по птичьему яичку в желтых крапинках. Тонино яичко разбилось, и она заплакала, но дядя Никита тут же дал ей другое. Пообедали в поле крестьянской по-

хлебкой с говядиной и капустой. Каждому досталась полная алюминиевая миска похлебки.

Вечером перед ужином Вера говорит Ульяне:

— Я тебе свое платье дам, ты приоденься. У нас, кажись, один размер. Ты чуть худее, но можно где надо булавкой зашпилить. И туфли мои одень на каблучках. Ежели велики, в носки тряпок набей. Это лучше, чем когда давят. И духами побрызгайся «Красная Москва». Я на особые случаи флакончик берегу. А это и есть особый случай в твоей судьбе, Уля.

Приделалась Ульяна, посмотрела на себя в зеркало в полный рост, ахнула: точно по волшебству из жабы-лягушки стала царевной. А Тоня как увидела свою маму такой — засмеялась от радости, в ладошки захопала. Тут же и тетя Вера радостная суетится, где лишнее, булавками подкалывает. Взмахнула Ульяна руками и пошла перед зеркалом каблучками притопывать.

Вниз по озеру гагарушка плывет,  
Выше бережка головушку несет,  
Выше леса крылья взмахивает,  
На себя воду заплескивает.

— Хороша невеста,— смеется дядя Никита,— пора свадебную баньку топить. У нас в деревне Лобаново над рекой Истрой, откуда я родом, накануне свадьбы топили баню, и подружки мыли невесту. Косы переплетали. Пока девушка — с одной толстой косой, а замужняя — уж две косы... Хороша наша деревня. Над кровлей каждого дома резная фигурочка, на окнах узорные наличники.

— Ладно,— оборвала его Вера,— и наши не хуже ваших. Гляди на Улю, какая рыбка плывет. Надо только шелковы невода, чтоб ее изловить.

Лука Лукич пришел в седьмом часу вечера, как и условились. Принес бутылку водки «Московская», полфунта масла и банку красной кетовой икры. Торговля с Западом тогда велась незначительная, и икру черную и красную пускали на внутренний рынок. Стояла она на прилавках свободно, даже и в захудалой провинции, и была гораздо меньшим дефицитом, чем обычная чайная колбаса. Стоила икра по сравнению с нынешними ценами не дорого, но народ зарабатывал еще меньше, и была икра, как и ныне, мало кому доступна. Однако Лука Лукич, главбух совхоза, мог себе позволить.

— Вчера в горбанке был,— сказал Лука Лукич, усаживаясь за стол и расправляя свою хорошо выращенную, по грудь бороду, черную с седой искрой,— в горбанк ездил,

а там напротив гастроном большой... Был в горбанке, купил икру в банке,— пошутил Лука Лукич.

Лука Лукич был человек тяжелого веса и уважение к себе имел увесистое. Вера устроила так, что за столом Ульяна оказалась рядом с Лукой Лукичом.

— Вы, Лука Лукич, уж поухаживайте за моей сестрой,— сказала Вера, сахарно улыбаясь,— а то она у нас несмелая.

— Рад стараться,— шутливо ответил Лука Лукич, и когда он потянулся вилкой к блюду с холодцом, то ордена и медали на его груди зазвенели, как колокольчики, которые вешают в здешней местности на шею козам и коровам, чтоб легче было отыскать их в тайге. Положив кусок холодца Ульяне, он положил кусок и себе на тарелку.

— Хренка бы,— обратился он к Ульяне,— и вам советую.

— Я острого не люблю,— сказала Ульяна.

— Напрасно,— сказал Лука Лукич, принимая от услужливой Веры посудину с тертым хреном и накладывая себе побольше.— Способствует,— добавил он, но чему способствует, не объяснил,— а стюдень хорош,— сказал, положив кусок в рот и прожевав,— это говяжий стюдень со свиными губами?

— Точно,— умилилась Вера,— вы, Лука Лукич, знаток. Вам холодец из хрящей жена не подсунет. Да и было б за что, мы, женщины, все раздобудем.

Действительно, побегала Вера многовато, и в станционном буфете переплатила, и мясника в совхозном магазине отблагодарила, пока достала три говяжьих ноги и пол свиной головы. Ребятам, всей ораве, накрыли стол отдельно, на кухне, и потому разговор у взрослых после второй рюмки пошел серьезный и не стеснительный.

— Вчера в городе кино смотрел,— сказал Лука Лукич,— «Иван Грозный». Хорошая картина, только с названием я не согласен. Для кого он, понимаешь, Грозный был? Для боярства и купечества, а не для народа. Я считаю, самое ему подходящее название не Иван Грозный, а Иван Серьезный.

— Это верно,— сказала Вера, сворачивая на свое,— серьезному мужчине жена всегда рада. А у сестры моей муж попался никудышный. Мендель — еврей. Бросил ее с двумя детьми.

— Не в том дело, что еврей,— медленно, рассудительно шевелил губами Лука Лукич,— это я не согласен, как у нас некоторые к евреям относятся. Маркс был еврей и Яков Свердлов. Какой человек, важно, а не нация.

Такие слова Луки Лукича Ульяне понравились, она подняла глаза и посмотрела на него уже мягче. Луке Лукичу было

лет сорок пять, и если б сбрил бороду да нос был бы не так толст, то имел бы лицо даже приятное.

— Двое детей, говорите,— боролся со словами выпивший Лука Лукич,— я люблю малых... Семейю мою немцы-фашисты сожгли в сарае вместе с другими односельчанами за то, что в деревне немца убили... Жену и троих маленьких.— Он вынул платок и приложил его к глазам.

За столом притихли. Никита дожевывал кусок холодца, но Вера его дернула, и он остался сидеть с полным ртом, пока Лука Лукич не отнял платок от глаз.

— Воспоминания,— сказал Лука Лукич, утер слезы и громко в этот платок высморкался.

Только после этого Никита дожевывал кусок.

— «Не в шумной беседе друзья узнаются,— сказал Лука Лукич,— друзья узнаются с бедой. Коль горе настанет и слезы польются, тот друг, кто заплачет с тобой».

— А мы, Лука Лукич, все плакали,— сказала Вера.— Верно, Никита? Когда вы начали про деток...— И она приложила платок к глазам, громко всхлинула.

— А где же детки?— спросил Лука Лукич.

— Нету деток,— сказал Никита,— деток немцы в сарае сожгли.

— Тю на тебя,— сказала Вера,— он когда выпьет, Лука Лукич, не помнит, что говорит. Лука Лукич про Ульяниных деток спрашивает.— И через стол быстро шепнула Ульяне:— Позови Тоню и Давидку.

Когда позвали детей Ульяны, из кухни пришла вся орава.

— Ай, хорошо,— умилился и повеселел Лука Лукич,— люблю, когда полный дом детей.

— Это дело наживное,— сказала Вера и рассмеялась.

— Которые из них?— спросил Лука Лукич, тоже смеясь.— Которые Ульяны? Этот, что ли?

— Нет,— сказал Никита,— это наш. Это Макарка.

— Макарка,— умилился Лука Лукич,— ты чей будешь, Макарка?

— Я? Матерный сын.

— Матерный?— захохотал Лука Лукич, снова прижимая платок к глазам и утирая слезы, но уже от смеха.— Именно что матерный... Так нехорошо, так не надо... Матерный...

Если пьяного и сытого человека что-то рассмешит, то уже остановить невозможно, пока не высмеется.

— Матерный... Ах ты, ах ты... Ах ты, цыцкин сын... Цыцкин сын — это приличней. Кто из нас не цыцкин сын, тот цыцкина дочь... Все мы цыцкины дети...

Было уже поздно, в окна светила яркая луна. Лука Лукич



глянул на свои карманные часы-«луковицу» в хромированном стальном корпусе.

— Пора... Завтра мне на работу пораньше... дебит-кредит...

— Проводи Луку Лукича,— сказала Вера Ульяне,— а то, может, его кто обидит... Я детей сама уложу.

— Сделайте любезность,— сказал Лука Лукич Ульяне,— сперва вы меня проводите, потом я вас провожу.

— Ты куда, мама?— спросила Тоня, увидав, что мать ее направляется к дверям с Лукой Лукичом.

— Иди, иди спать,— вмешалась тетя Вера и повернулась к Ульяне,— гуляй, не беспокойся, я с детьми сама управлюсь.

Ульяна вышла на улицу. После душного, спиртного застоя сырой холодный воздух был вкусен, хотелось стоять и дышать, не думая ни о чем. Черную мглу вокруг освещали лишь слабые отсветы из окон. Во тьме лаяли собаки, что-то скрипело и гудело.

— Это на Пижме паром скрипит,— сказал Лука Лукич,— никак мостом не разживемся. Я, как депутат, уже несколько раз ставил вопрос в исполкоме. И фонари необходимы, улицы осветить. Здесь местность таежная, людишек хватает, которым во тьме удобней... Был у меня случай в прошлом месяце. Подходит ко мне — часы давай. Я ему говорю: сволочь, не успеешь опомниться, как я тебя ударю по голове. Причем дважды. Он меня ударил по верх головы. В том смысле, что я пригнулся... Я же после партизанщины и фронта все приемы знаю... Главное в драке — бухгалтерский расчет... Шаг назад, и яйца сохранены...

Про яйца с перепюю сказал, поскольку еще не выветрилось, но тут же опомнился и извинился.

— Я, знаете, никогда не ругаюсь, хоть работа у меня нервная, ответственная. Если уж припечет, скажу: ах ты хрен перловый — и все.

Ульяна ничего не ответила. Шли молча. Подошли к Пижме у скрипящего во тьме парома.

— Похолодало,— сказал Лука Лукич,— вот пиджак мой позвольте, а то платье на вас легкое.

И повесил на худые плечи Ульяны свой тяжелый пиджак с позвякивающей металлической грудью.

Меж тем Тоня все не могла заснуть, хотела дожидаться матери. Вера с ней замучилась и даже на нее прикрикнула. Остальные дети уже спали, а Тоня все ворочалась, поднимала голову и глядела в окно.

— Спи,— прикрикнула тетя Вера,— мать твоя тоже человек, погулять хочет. Она не скоро придет.

Однако вернулась Ульяна, к радости Тони, через какие-нибудь полчаса.

— Ты чего?— тревожно спросила Вера.

— Ничего,— ответила Ульяна и добавила тихо:— Не люблю, когда у мужика борода водкой воняет.

— Э-эх,— сказала Вера,— только мое платье студнем забрызгала. Вон пятно, теперь не отстираешь.

— Это Лука Лукич забрызгал, когда за мной ухаживал,— ответила Ульяна.

И больше о Луке Лукиче разговора не было. Утром Вера ушла на покос сердитая, не попрощавшись, а Никита, у которого был отгул, отвел Ульяну с детьми на полустанок и купил им билет на поезд. Так, на поезде, уже без всякой усталости, быстро и удобно приехали они назад, на свою улицу Красных Зорь.

### 3

Улица Красных Зорь осенью непроходима. Ноги не вытащишь. А вытащишь — калошу в грязи оставишь. Осень для Тони — худшая пора. Этой же осенью совсем худо — старые калоши порвались, а на новые мама Ульяна деньги не заработала. Получила Ульяна аванс, сели они с Тоней за стол деньги раскладывать: на то, на се, на то, на се и на еду отдельно. А на новые калоши не получается.

— Ты, может, потерпишь, дочка?— говорит Ульяна.— В слякоть все равно далеко не пойдешь, а вот замерзнет скоро, снега наметет, валенки наденешь. Они у тебя новые и теплые.

Согласилась Тоня, что поделаешь. Согласиться-то согласилась, но все равно обидно. Сидит Тоня на заборе и плачет. Калош нет — гулять не может. Вдруг видит Тоня, дядя Толя идет. Испугалась, еще сильнее плачет. Подходит к ней дядя Толя и спрашивает:

— Чего ты плачешь, голубушка?

А лицо у него бледное, пенсне блестит, и все покашливает. Спрашивает и покашливает силло. Хочет Тоня с забора соскочить, хоть бы и в грязь, да от страха как будто к доскам приросла. Полез тогда дядя Толя рукой в карман свой.

«Ой, сейчас иголочку вытащит,— думает Тоня,— ой, сейчас уколется».

А дядя Толя вынул из кармана бордовую ленту и подарил. Взяла Тоня, побоялась не взять, да и лента шибко краси-

вая. Пошел дядя Толя своей дорогой, вреда Тоне не причинив, даже наоборот, несколько раз останавливался и рукой ей махал. И Тоня тоже раз в ответ рукой махнула — не удержалась. Потом, когда дядя Толя скрылся, слезла Тоня с забора, пошла в дом, матери все рассказала и ленту показала. Узнали про ленту бордовую соседи, и тетя Вера, которая проведать сестру заехала, и бабушка Козлова, и прочие поселковые женщины. Все говорят — выкинь ленту, выкинь. А бабушка Козлова даже посоветовала: спали ее. Послушала Ульяна эти советы, послушала и бант завязала. Красив бордовый бант в Тониных темно-русых волосах. Ахнул народ поселковый, как узнал, что Ульяна совершила.

— Ульяна сама порченная, — говорят, — она с жидом жила, от жида детей прижила. У ней кровь тифозная.

А дедушка Козлов сказал:

— Раньше с жидом, а теперь с контрой. Дядя Толя ведь непокорный враг революции. Он дворянского звания.

Меж тем дядя Толя еще подходил и заговаривал с Тоней, поскольку Тоня не гуляла, а сидела на заборе и ее встретить было нетрудно. Тоня уже не пугалась, не плакала и брала у него гостинцы, какие раньше и не чудились: то шоколадку, то печенье мятное, то две мандаринки. А раз принес новенькие калоши. Подкладка ярко-красная, мягкая, резина тугая, пахучая. Натянула Тоня калоши — в самый раз. С забора соскочила, по грязи пошла: ноги сухие и калоши прочно сидят — высшее качество. Не областной фабрики, а Мосрезинотреста. Клеймо имеется. Ульяна вместе с Тоней со всех сторон новые калоши осмотрели — хороши. Тоня их перед сном рядом с кроватью аккуратно ставила, а не в передней, где иная, старая обувь. Вымоет, высушит и поставит. Пусть стоят, блестят, резиной вкусно пахнут. Радуетя не нарадуется вся семья, даже меньшей Давидка подойдет к Тониным калошам да погладит. Однако у Ульяны имелись и сомнения: отчего дядя Толя такой тороватый к Тоне, что у него за умысел и откуда он про калоши догадался? Говорит Ульяна Тоне:

— Если еще дядя Толя появится, кликни меня, я подойду.

Тоня и сама уж ждала дядю Толю — что подарит? Уж привыкла к подаркам. Ждала, когда на улице Красных Зорь послышится сиплое покашливание, и потому она не обращала внимания на крики соседских ребят, которые ее дразнили.

— Дядя Толя, дядя Толя, — кричали они ей, — Тоню иголкой колет!

— На-козь выкуси, — кричала им в ответ Тоня, — больше не дам никому ни кусочка пряника, ни кусочка шоколадки.

Дразнить дразнили, а уйдет дядя Толя, подбегали и лакомства выпрашивали. Вот приходит дядя Толя и приносит два пирожка. Вкусные, медовые, с орешками. Берет Тоня пирожки, пробует и наслаждается, а соседским ребятам незаметно кукиш показывает. Ест Тоня пирожки и спрашивает, пережевывая сладкие, липкие кусочки.

— Можно,— спрашивает,— я свою маму, Ульяну, позову, поскольку она просила ее позвать, когда вы придете?

— Буду весьма рад,— отвечает дядя Толя,— я твою мамушку издали наблюдал, и для меня большая радость с ней познакомиться.

Позвала Тоня Ульяну, и дядя Толя действительно весьма обрадовался, улыбается и смущенно покашливает.

— Разрешите представиться,— говорит,— Мамонтов Анатолий Федорович.— И Ульяне руку поцеловал.

Ульяна сначала от такой необычности растерялась, а потом освоилась, себя назвала.

— Ульяна Григорьевна, в девичестве Зотова, по мужу Пейсехман.

— Весьма приятно.

— И мне приятно. Только вас спросить хочу: почему вы нам подарки делаете? Ведь мы же чужие.

— Я верующий,— отвечает,— и по моей вере полагается чужих любить как своих. Слышал я, как соседские ребята Тоню дразнят, что у нее калош нет, вот и подарил калоши.

Подивилась Ульяна таким речам, они ей непривычны были. И человек дядя Толя непривычный. Издали опасным казался, а вблизи улыбку имел тихую, беззащитную. Нищую улыбку, которая словно что-то выпрашивала, будто в состоявшемся знакомстве не дядя Толя одаривал, а его одаривали.

— Буду весьма признателен,— говорит,— если вы с мужем согласитесь принять приглашение мое на обед.

— Хорошо,— отвечала Ульяна,— только муж мой Мендель Пейсехман в настоящее время в длительном отъезде, и жду я его возвращения не раньше весны. Но с Тоней приду.

И начали они с Тоней с того времени к дяде Толе в гости ходить. Первый раз пришли — обомлели. Дядя Толя с его сестрой Раисой жили в большой пятикомнатной квартире на нижнем этаже трехэтажного дома из серого кирпича, словно перенесенного сюда из Москвы, Ленинграда или, в крайнем случае, из области. Впрочем, к внешнему виду дома поселковые привыкли и не дивились, поскольку стоял этот дом еще с давних, дореволюционных времен. И конечно, подобно иным поселковым, Ульяна видала высокие внутренние ком-

наты, когда приходила на верхние этажи дома в поселковый Совет или фабричное управление. Однако те комнаты были уж переоборудованы в присутственное место с канцелярскими столами и побеленными стенами. Каждое жилье имеет свою душу, свой дух, который исчезает вместе с прежними обитателями. Потому так быстро обращались в пропахшие керосином хижины-коммуналки бывшие квартиры-дворцы аристократии, буржуазии и купечества. А из всех насекомых наибольшим классовым сознанием, как известно, обладают вошь да клоп, которые сразу сообразили, куда им из полуподвалов переселяться.

Однако в пятикомнатной квартире Мамонтовых прежний дух был сохранен полностью и обитателями и обстановкой. Все пять комнат были тесно уставлены мебелью такого вида, которая не то что Ульяну, столичного советского гражданина удивила бы. Ульяна, как и прочие поселковые, привыкла к рундукам, сундукам да ларям, дощатым, крепко сколоченным из сосны и ели, прямым, угловатым. Здесь же мебель словно текла, изгибались не только ножки, но и ручки и спинки кресел и стульев. И обивка сидений и спинок кожаная, бархатная, шелковая, атласная. Прибито все гвоздиками с блестящими головками, отделано бахромой и тесьмой. Множество резных шкафов и шкафчиков шоколадного цвета, посудные буфеты, и на них изображены разные плоды, цветы, листья, фигурки детей, животных. Уж на что Никита в свободное время искусно резал по дереву и даже над кровлей дома фигурку прибил, да разве сравнить тонкую столярную работу с работой плотника.

Но как же не разбили все это во время революционной бури, как не конфисковали во время классовой борьбы? Заступники нашлись. Сначала из революционной интеллигенции, а потом из совмещанства, поскольку красивая мебель отечественного производства для революции безопасна, а для новых любителей роскоши даже полезна. Конечно, много побили, много пропало, и в итоге мебельную фабрику Мамонтовых переоборудовали в мочально-рогожную фабрику, но эти пять комнат сохранили как музей, и при музее жил бывший владелец, который ныне работал садовником. В начале двадцатых годов, еще при покойном Федоре Евгеньевиче Мамонтове, был на мочально-рогожной фабрике мебельный цех, снабжал губкомы, райкомы, исполкомы, посылал и в центр. Федор Евгеньевич работал в этом цехе спецом. Однако давно уж и этот цех закрыт, а Федор Евгеньевич давно уж покоится на сельском кладбище села Абрамцева, близ подмосковного городка Хотькова, покоится рядом с женой своей, которая,

как выразилась Раиса Федоровна, «имела счастье умереть в 1916 году».

— В селе Абрамцеве у нас имение было,— рассказывала Раиса Федоровна, после того как пообедали и сели за полированный столик чай пить с домашним пирогом.

Обед был куриный, пахучий, поскольку Анатолий Федорович садовником при начальстве зарабатывал неплохо и ценился особенно за земляные вазы из цветов, которые он по заказу делал. Даже в область ездил и перед обкомом такую вазу соорудил. Обед был непривычен и вкусен, однако ведь и Ульяна умеет вкусно приготовить, если есть за что. Не курицу тушеную с вином, но зато пельменей налепит — сами в рот просятся. Пельменей-то налепит, а вот подать их, кроме как в алюминиевых мисках или в глиняных тарелках, не в чем. Поразил Ульяну и Тоню не так обед, как поразила посуда. Большие тарелки с золотым ободком, с лазурью, с розовыми цветами. Ноготком по краюшку постучишь — они так тихо звенят, так музыкально отзываются. Что еще понравилось Ульяне у Мамонтовых, так это гитара, тоже шоколадного, густого цвета, с краснотой. На гитаре не то что на балалайке, пальцы с непривычки путаются, но попробовала, наиграла мелодию «У муромской дороги». А Раиса легко струны перебирала, мягко, полузакрыв глаза, и пела в своем шелковом красном капотике, сидя на шелковом зеленом диванчике, потряхивая длинными, до плеч, распущенными темными волосами. Пела романсы:

Тихо, так тихо  
На землю спускаются грезы.  
В темную летнюю ночь  
Росой наполняются розы.

Попела, помолчала и неожиданно начала рассказывать, как их старшего брата Костю в семнадцатом году убили.

— Мы с Толей тогда еще в гимназии учились, а он студент. Ехали из Петербурга в Москву, домой. Как сейчас помню, ведь столько лет, а помню, стояли в тамбуре и вдруг видим, в тамбуре соседнего вагона по стеклу кровь потоком, будто на стекло ведро крови выплеснули. В соседнем вагоне солдаты ехали пьяные и меж собой драку затеяли. Костя наш был романтик, народолюбец, у него на груди красный бант висел. Да и у меня тоже. Простой народ мы любили, на этом воспитаны были. У нас в Абрамцеве отец организовал учебно-показательную столярную мастерскую. Набирали деревенскую молодежь, были подростки, были и столяры поопытней. Народ талантливый, милый, славный. Если и выпьет

кто, так попляшет, попоет, проспится и опять работать. Работали с любовью. Отец и здесь, когда перед революцией фабрику построил среди местных лесов, собирался кустарно-художественную мастерскую открыть и столярному делу народных умельцев обучать. Земство нас активно поддерживало. Дело шло хорошо. Помню, отец говорил: перед мебельным делом стоит задача создать обстановку русского жилого дома, русской церкви и русской школы. Помимо фабрик, и артели организовать хотел с использованием старой русской резьбы по дереву. Мебель наша призы брала на Нижегородской ярмарке и за границей, в Лейпциге. Вот Костя и решил, что дерущиеся солдаты — это те же столяры, только перепившиеся не в меру и кем-то обманутые, стравленные. Пошел к ним: товарищи, не лейте свою революционную кровь на радость врагам России — и хотел разнять. А они сразу — наших бьют! — объединились и на Костю. Опомниться никто не успел, как на куски разорвали и начали эти куски по ходу поезда из вагона выбрасывать. Поезд остановили, но левую Костину руку так и не нашли. Хоронили без левой руки.

Раиса Федоровна вдруг сжалась в комочек в углу дивана, подобрала под себя ноги и заплакала, задрожала, а вслед за ней испуганно заплакала Тоня. Анатолий Федорович сел привычно рядом с сестрой, видно, эти припадки были не впервой, и начал гладить по плечам и голове.

— Перестань, Раиса, что старое вспоминать. Как давно было. Вот ты гостей напугала, девочку...

— Старое,— крикнула Раиса,— а сейчас нас здесь по-старому и ненавидят, точно революция не кончилась! Только что на части не рвут, поскольку это запрещено властью. Мы как будто и не высланы, сами сюда приехали, а уехать отсюда не разрешают, особенно брату. Сначала отказывали, будто мы родственники белого генерала Мамонтова. Не знаю, может, и родственники — все дворянство меж собой в родстве. Но теперь уж генерала не упоминают, отказывают просто так. У Толи легкие больные, а климат здесь болотистый, сырой. Но народ здесь еще хуже климата. Выдумали, что Толя детей иголочками колет... Ох, ненавижу... Хамы! Волки!

Анатолий Федорович взял сестру за плечи и увел ее в соседнюю комнату. Ульяна уж жалела, что пришла. Ей Тоню успокаивать, да хоть бы кто ее самое успокоил после рассказа Раисы и ее припадка. Ульяна была местная, поселковая и по себе знала, что такое поселковое мнение, которое передается от соседа к соседу, от родителей к детям и в котором жертва может утонуть не хуже, чем в моховом болоте. Но все ж это было привычно, с этим можно было сжиться, если ступать не

в глубину, а идти по кромке, как вдоль болота. А в ненависти Раисы было чужое, она слепила, как пришедшая с небес молния, и сжиться с этим было нельзя, обойти невозможно. Попадет — испепелит.

Успокоила Ульяна Тоню и решила: больше сюда ни ногой. Хоть поселковые и темны и злобны, но в чем-то правы: гусь свинье не товарищ. Так решила, однако решения своего не исполнила. Слишком уж ее после поселкового однообразия, после домашней бедности и тяжелой работы по мытью вагонов привлекли эти, может, как раз всеобщей поселковой нелюбовью сохраненные в первичном своем виде люди, эти тарелки и эта мебель. К тому ж больше подобных разговоров не было. Первый раз прошумело от новизны встречи, от накопившегося с обеих сторон однообразия. Тем более, минут через десять после припадка вышла Раиса Федоровна умытая, одетая по-иному, хоть и богато, но как одеваются барышни в советских конторах — юбка, жакет, белая блузка с манжетами. Волосы не распущенные, а собраны, заколоты клубком, губы слегка подкрашены. Красивая, хоть и в годах. Видать, и сама чувствует эту свою красоту, женщина всегда свою красоту чувствует. Рассказала, что главный инженер мочально-рогожной фабрики ее сватал, но она отказала, невзирая на то, что мужчина он заметный и на десять лет ее моложе.

— Зачем? За областного начальника или московского тем более, может, и вышла бы ради брата. Однако мы ведь ссыльные. Областной даже и захочет — побоится. А просто так быть наложницей, терпеть возле себя хамский запах, который никакими дорогими духами не заглушишь, — уж извините. Особенно после моего жениха — поляка. У меня в начале двадцатых была в Москве любовь с одним польским художником. Точнее, дипломатом, но и художником. Другом Анатолия. Прочти, Анатолий, стишок, который ты про Збышека сочинил.

Анатолий Федорович, который более молчал, слушая свою властную, обожаемую сестру, подчинился и прочел:

Он был не в меру польский,  
Он был не в меру псих.  
Он был Збышек Раздольский,  
Моей сестры жених.

— Замечательно, — сказала Раиса Федоровна, — и после всего этого с хамом? Мы ведь сюда приехали не совсем добровольно. Точнее, бежали в глушь, опасаясь ареста, после



того, как Збышека выслали в Варшаву... И после всего помянуть Збышека на хама,— снова повторила она,— вы знаете, какой слух они про меня пустили? Теперь уж забылось, а когда я была помоложе, то многие из них меня хотели... Тут был начальник поселковой милиции Восрухов... Фамилия замечательная, княжеская. Так этот Восрухов меня изнасиловать хотел... Вызвал как будто для проверки паспорта.

— Оставь, Раиса,— умоляюще сказал Анатолий Федорович,— здесь же девочка.

— Ребенок все равно не понимает, о чем речь... Дай ей конфет... Вон ту коробку. Это московские конфеты фабрики Бабаева, бывшей фабрики Абрикосова. Купцы больше любили от Абрикосова, а аристократия от Эйнема, ныне фабрика «Красный Октябрь»... Теперь ведь все красное... Зори покрасили, осенний месяц перекрасили... Но чего я все о конфетах? Чтоб подсластить нашу горечь, что ли? Знаете, какие слухи обо мне этот Восрухов пустил? Будто я живу со своим братом не только как сестра, но и как женщина...

— Умоляю тебя, Раиса,— сказал Анатолий Федорович,— не понимаю, отчего ты сегодня так разговорилась при гостях.

— Потому и разговорилась, что при гостях. У нас ведь гостей не бывает.

— Верно, мы уж засиделись,— заторопилась Ульяна,— меньшого из садика время забирать.

Вышла с Тоней и решила: сама сюда больше не пойду и Тоню не пущу. Однако и сама ходила, и Тоню пускала, поскольку более опасных разговоров не было и время проводилось приятно и полезно. Тоня полюбила книжки с картинками разглядывать, которые ей Анатолий Федорович показывал. И Ульяна этому радовалась: ведь уже большая, через год в школу. А сама Ульяна полюбила слушать, как Раиса Федоровна поет, поскольку тоже была певунья. Петь, правда, при Раисе Федоровне и Анатолии Федоровиче стеснялась, но слушала пение с удовольствием. Пела Раиса Федоровна всегда с надрывом.

Астры осенние, грусти цветы,  
Тихо- задумчивы ваши кусты.  
Тихо качаетесь, грустно склоняетесь  
Осенью поздней к земле.

Когда Раиса Федоровна так пела, то у Ульяны каменело в груди и было жаль чего-то непонятного, о чем раньше не думала никогда.

Сад весь осыпался, все отцвело,  
Листья опавшие вдаль разнесло,  
Лишь одинокие астры осенние  
Ждут не дождутся весны...

4

Выпал и растаял первый снег—это значит, зима уже рядом, хоть валенки надевать еще рано и Тоня по-прежнему ходила в подаренных дядей Толей калошах. «Осенний снежок — не лежок. Выпал да тает. От первого снега до санного пути шесть недель срока». Когда минули эти шесть недель, когда запуржило, замело в поселке, когда Пижму льдом сковало, совсем уж Ульяна и Тоня привыкли к Мамонтовым и, случалось, даже с меньшим Давидкой приходили, которого Мамонтовы угощали молоком и медом. И случалось, уж сама Ульяна приходила без детей, поскольку нравилось ей с Анатолием Федоровичем говорить, точнее, слушать его. Говорили о разном, о таком, о котором ранее Ульяна и представления не имела. Но слушала с интересом и удивлялась, как много меж собой связанного в мире, что ни возьми. Растения ли, которыми Анатолий Федорович увлекался, поскольку работал садовником, мебель ли, которая как будто стоит и молчит,—все тревожит и радует, если взглядеться и вдуматься.

— Меня давно уж волнуют чувства растений,—говорил Анатолий Федорович,—их смерть от холода и жары, их страдания от ранений. Вот бухарник, или медуница, медовая трава.—И он показал стоящие на застекленной теплой террасе среди прочих цветов маленькие бледно-лиловые колоски.—Они меня узнают, когда я подхожу. Меня они любят, а мою сестру не очень, потому что она слишком уж грубо ломает их стебельки. Я же стараюсь это делать осторожно и всегда с молитвой прошу прощения. Стебельки мне необходимы для настоя, поскольку это хорошее, старое средство при нездоровье легких. У меня легкие давно уж нездоровы, и, может, потому больше иных поэтов я люблю Надсона. Я понимаю, Александр Сергеевич Пушкин лучше, а люблю все равно Семена Яковлевича Надсона. Сейчас он забыт, а в наше время его все мое чахоточное поколение любило. Как он о себе писал: «Болезнь груди да пламень личного желания»...

И Анатолий Федорович осторожно прикоснулся к руке Ульяны своими холодными пальцами. Прикосновение больных пальцев было неприятно, но Ульяна вытерпела, чтоб не

обидеть этого милого человека. Они сидели в странном кресле, двойном, спиной друг к другу. Слышно было, как в соседней комнате Раиса Федоровна брэнчала на гитаре и тихо пела:

Целый день спят ночные цветы,  
Но лишь солнце за рошу зайдет...

— Это кресло так и было обозначено в рекламе: «Для более укромного и тайного поцелуя»,— сказал Анатолий Федорович. Он блеснул глазами и улыбнулся таинственно. Пенсне по-чеховски висело у него на ухе, на шелковом черном шнурке.— «Я тебе ничего не скажу...»— игриво пропел Анатолий Федорович, повторяя куплет, который из соседней комнаты пела его сестра.— «Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть...» Теперь Надсон забыт, а во времена моей юности он был любимцем. Он искал успокоения от надвигающихся потрясений на лоне чистого счастья, в мире грез, в мире чистой красоты... «У меня не песни, а намеки»— очень образно сказано... Он сейчас забыт, а тогда его любил Чехов, Бунин считал его своим учителем... Знаете, человек, прежде чем сделать решительный выбор, желает не только мыслью, но и сердцем осознать предстоящий ему путь... Вам скучно меня слушать, Ульяна Григорьевна?

— Нет, очень, очень интересно... Я и не думала, что возможно так говорить... Но только извините, кресло слишком неудобное... Отчего это спиной надо сидеть один к другому?

— Для большей интимности,— тихо сказал Анатолий Федорович,— впрочем, если вам неудобно, мы можем пересесть в то кресло, тоже сдвоенное, но друг против друга. Оно в рекламе называлось: «Для чинной беседы и покойного обмена рассудительными разговорами».

— Давайте пересядем,— сказала Ульяна, чувствуя беспокойство от прикосновения к ее спине худых лопаток Анатолия Федоровича,— то кресло удобней.

— «Не говорите мне, он умер, он живет,— продекламировал Анатолий Федорович Надсона, когда они пересели,— пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает, пусть роза сорвана, она еще цветет, пусть лира сломана, аккорд еще рыдает».— Он снова блеснул глазами, потом надел пенсне и тихо пропел вслед за сестрой:

И в большую усталую грудь  
Веет влагой ночной, я дрожу,  
Я тебя не встревожу ничуть,  
Я тебе ничего не скажу...

Приехали мы сюда давно, а вот впервые я так с местным человеком говорю... Помню, поселок был маленький и улица называлась — Брусничная. Потом, к десятилетию Октября, ее в Красных Зорь переименовали... Сколько лет прошло, а вражда вокруг меня и сестры так и осталась. Поэтому я вам благодарен, Ульяна Григорьевна. И Тоне... Хорошая у вас дочка, берегите ее. Она должна учиться.

— Отчего ж меня благодарить,— сказала Ульяна,— это я вас благодарить должна. Но мне пора, Тоня одна дома управляется.

— Погодите,— умоляюще сказал Анатолий Федорович,— я вам собирался нечто сказать, но вот запамятовал.

— В следующий раз вспомните.

— Нет, Ульяна Григорьевна, в следующий раз я, может, и не решусь... Скажите, Ульяна Григорьевна,— он опять снял пенсне и посмотрел ей в лицо, близоруко щуря голубые, влажные глаза,— Ульяна Григорьевна... Отчего... нас ненавидят?

Чувствовалось, что он спросил вовсе не то, что хотел, и в последнее мгновение вопрос свой подменил. Ульяна знала, какой это вопрос, она слышала его уже произнесенным: согласитесь ли вы выйти за меня? «Конечно, нет, потому что я люблю Менделя». Но, по счастью, Анатолий Федорович не спросил и она не ответила, по счастью, он вопрос о любви подменил вопросом о ненависти.

— Сестра моя человек с больными нервами, но ведь она права. Выросли новые поколения, а ненависть к нам осталась прежняя. Отчего так?

— Оттого, Анатолий Федорович, что они Надсона не читали.

— Но ведь и вы Надсона не читали?

— Я живу одна, а они живут все скопом. Они и меня не шибко любят за то, что я не живу вместе с ними скопом.

Пришла Ульяна после этого разговора домой, покормила детей, управилась по прочим бытовым нуждам, а когда дети заснули, окончательно решила: больше к Мамонтовым не пойду. Тоня пусть ходит, а я не пойду. Анатолий Федорович умный, душевный человек, он поймет отчего и не обидится. Жаль, конечно, да что поделаешь.

И действительно, больше не ходила. Тоню посылала, а сама не ходила. Раз увидела на улице Красных Зорь Анатолия Федоровича со спины, так в тупичок торопливо свернула, переждала.

— Раиса Федоровна про тебя спрашивала,— говорит как-то Тоня,— отчего ты не приходишь?

— Скажи — захворала,— отвечает Ульяна,— я туда, доч-

ка, больше не пойду, а отчего, тебе еще не понять, поскольку мала слишком. Ты же ходи, люди они хорошие и хорошему тебя научат. А я папу нашего, Менделя, ждать буду, тем более до весны уже недалеко.

Такой срок сама себе внушила и в него поверила. Однако гораздо ранее весны, под новый, пятьдесят третий год, прибывает поздравительная открытка. Глянула Ульяна и затряслась — от Менделя. Что написано, прочесть из-за слез не может, да и буквы от волнения не складываются, а просто прижимает открытку то к губам, то к сердцу и целует. Как взяла открытку у почтальона, села с ней на лавку, так и не поднялась, пока Тоня с прогулки не пришла.

— Случилось что? — спрашивает Тоня, глянув на мать.

— Папа приезжает, папа Мендель приезжает! — как закричит Ульяна.

А ведь открытку-то так и не прочла. Начали они с Тоней открытку разглядывать. С одной стороны елка в золоте и серебре и Дед Мороз с подарками среди зайцев. А с другой стороны корявым почерком Менделя написано поздравление жене и детям, а про то, что приедет, — ни слова. Однако Ульяна не унывает: раз вспомнил, написал, значит, приедет. Ульяна ответить не могла, поскольку обратный адрес указан не был, однако ждала, и действительно, в феврале — новая открытка: крейсер «Аврора», по углам красные знамена, а с обратной стороны корявым почерком Менделя: «еду» и прочее, разное — «люблю», «соскучился». Но главное — «еду», а то, что «люблю, соскучился», и без того понятно.

В начале февраля прибыла открытка с крейсером «Авророй», а двадцать шестого февраля, в метельный, морозный день приехал Мендель.

Встречать на станцию на санях поехали Ульяна и Тоня, меньшого Давидку дома закрыли. Сани с лошастью выделил профком мочально-рогожной фабрики, поскольку Ульяна известила о приезде мужа и фабричные тоже были рады — хороший шофер и первоклассный слесарь возвращается, а людей не хватает. Увидели Ульяна и Тоня Менделя, повисли на нем. Он еще с вагонных ступенек на снег не спустился, а они уже повисли, другим пассажирам мешают выходить.

— Подождите, — смеется Мендель, — давайте дома доцеуемся, а то на морозе друг к другу примерзнем. — Потом вдохнул воздух. — Ах, — говорит, — ну и вкусный же здесь воздух, как брусника замороженная, со снежком.

Дорога от станции и улица Красных Зорь были в сугробах, лошадь вязла, сани боком шли, и Мендель выскакивал из саней, вместе с возницей лошади помогал. Пуржит, ветер

в лицо снегом хлещет, но весело, радостно, и, что б Мендель ни сказал, Ульяна и Тоня хохочут. Мендель, кстати, себя шутником считал. Был он мужчина сильный, с большими руками, упитанным квадратным лицом, нос имел широкий и курносый, уши оттопыренные, и если взглядеться, то чем-то Луку Лукича напоминал. Был тяжелодум и каждое слово произносил значительно, так что брат его, Ося, даже дал ему кличку «философ». Однако, в отличие от Луки Лукича, был Мендель добрый и обаятельный, а в сочетании с некоторой туповатостью это создавало характер спокойный, веселый, ласковый. Недаром Ульяна так по мужу тосковала. И Мендель соскучился по жене и детям.

— Как Давидка,— спрашивает, когда к дому подъезжали,— узнает ли меня, признает ли?

— Признает,— отвечает Ульяна,— он тебя тоже ждет не дождется. Ему уже четыре года, все понимает.

Когда Мендель вошел в дом, Давидка стоял у окна.

— Давидка,— сказал Мендель и протянул к нему руки.

Давидка повернулся лицом к окну, спиной к отцу. Глаза мальчика наполнились слезами.

— Давидка,— снова, уже с некоторой тревогой, позвал Мендель.

Давидка по-прежнему стоял отвернувшись и молчал. Мендель сам подбежал, схватил сына на руки, поцеловал, и тогда лишь Давидка заплакал громко и сказал:

— Папа, чего ж ты так долго не ехал?

Однако и Давидка вскоре уж смеялся, веселился и вместе с Тоней помогал матери мыть отца. Ульяна крепко натопила печь, постелила у печи солому, поставила на солому деревянную, склепанную обручами бадью, наполнила бадью горячей мыльной водой и поливала сидящего в бадье Менделя из деревянной шайки. Мендель был человек рыжий, и белое тело его все покрывали веснушки.

Так вернулся Мендель к своей жене и детям, и поселок как бы ни злословил ранее в его адрес, как бы ранее ни обзывал, но возвращение встретил одобрительно.

— Какой ни есть, а муж законный

Может, из двух зол выбирали меньшее. Слишком уж разозлила и напугала поселок связь Ульяны с Мамонтовыми. Об этой связи быстро Менделю донесли, и он решительно стал на сторону поселка против Мамонтовых. Наверно, и ревность свою роль сыграла, потому что уж наговорили с полный короб. Пошел Мендель в фабком, на работу устраиваться, идет по улице Красных Зорь, ему с разных сторон:

— Здравствуй, Миша.

— С приездом, Мендель Моисеевич.

Бабушка Саввишна Котова встретила.

— Ты, Миша, то... это... Ты молоду жену более без при-  
смотра не оставляй. Тут кобельков хватает... то... это... В чер-  
ничник не зайдешь, старух лапают, а уж молоду и подавно...  
то... это...— И рассказала, как Ульяна к Мамонтовым ходи-  
ла.

— Как, Уля, такое понимать?— спрашивает Мендель.

— Понимай, Миша, как понимается.

— А понимается так, что напрасно я приехал. Прав был  
мой старший брат Ося, недаром он доцент-историк. Прав  
был мой брат Ося, который сказал мне: Мендель, ты делаешь  
роковую ошибку. Права была моя мама, которая сказала  
мне: на мои похороны не приезжай и за моим гробом не иди,  
потому что буду проклинать из гроба.

— Ты, Миша, хотя бы при детях такие слова не говори,—  
отвечает Ульяна,— ты поселковых не слушай, они и на тебя  
знаешь что плели? Мамонтовы люди хорошие, деликатные,  
ученые, они многому научить могут.

— И чему ж тебя это Мамонтов учил? Приставал к тебе?

— Это здесь, в поселке, да в черничнике пристают, и, мож-  
жет, там, на родине твоей, такие же уличные пристают. Ана-  
толий Федорович имел серьезные намерения насчет меня. Но  
я ж тебя люблю, Менделечек мой. Я туда давно уж ходить  
перестала.

И обняла Менделя, размякла, и размяк Мендель. Однако  
против Мамонтовых не остыл.

— Пусть Тоня тоже туда не ходит. В поселке говорят, они  
детям вред могут причинить. Уколы какие-то детям делают.

— Какие еще уколы? Лают это поселковые, а ветер носит.  
Он Тоне книжки давал с картинками. Ей же скоро в школу.

— Пусть книжки в библиотеке берет. У нас на мочально-  
рогожной фабрике в клубе библиотека большая. Не ходи туда  
больше, Тоня.

— Не пойдет она,— соглашается Ульяна,— раз отец за-  
прещает — не пойдет.

Уж очень ей хотелось с мужем поладить. Соскучилась по  
нему и все не могла привыкнуть, что муж у нее, как и у всех,  
и ничего в том особенного нет: живет в доме, ест да пьет, хо-  
дит на работу, когда дети заснут, то побалуется с полчаса  
и спать до утра. Все ей чего-то особенное в муже своем виде-  
лось. А раз виделось, значит, и было это особенное. И жить  
хотелось по-особенному, тем более деньги в доме завелись,  
как Мендель на мочально-рогожную фабрику вернулся. За  
время отсутствия Менделя дом пообносился, пообнищал, на-

до было сызнава достаток добывать. Мендель работал смену шофером и еще полсмены слесарем. Однако Ульяне велел со своей работы уволиться и более вагоны не мыть.

— Хватит тебе надрываться. Ты лучше дома по хозяйству хлопочи и за ребятами следи.

Трех-четырёх месяцев не минуло — окреп дом, приделся, отъелся. Ульяна была хозяйка хорошая, стряпуха неплохая. И времена чуть лучше стали, кое-что в продуктивном появилось, кое-что в промтоварном. Хлеб всегда уж купить можно было, колбасу чайную, с яичками куриными стало полегче и даже с маслом сливочным.

— Давай, — говорит Ульяна Менделю, — вторую свадьбу устроим, поскольку у нас с тобой вторая жизнь началась и должна она быть лучше первой. Тем более общий достаток увеличился и народ повеселел.

А это были первые месяцы после смерти Сталина, и кое-что еще к лучшему менялось. Дедушка Козлов, к примеру, на Маленкова сильно надеялся, который «в Бога верует православного и для народа православного истинно коммунистическую жизнь собирається устроить».

— Попляшем, — говорит Ульяна, — да и попоем, раз такое дело. И выпить можно по такому случаю.

— Согласен, — отвечает Мендель.

И сыграли Ульяна с Менделем вторую свадьбу, собрался народ поселковый, все разодетые, все веселые да певучие. И тетя Вера с дядей Никитой на свадьбу приехали. Ульяна напекла, наварила, насолила, выпивки накупила. Лица у всех красные, как праздничные флаги. Все веселы, один лишь дедушка Козлов от выпивки помрачнел и громко начал какую-то историю рассказывать.

— Он мне кричит: разойдись отсюда! Я ему: ах ты, смердячий рот! За такие вещи, говорю, не в морду бьют, а в висок.

— Ладно тебе, дед, — говорит дядя Никита, — ладно настроение портить... Жизнь пошла веселая. — И запел: «Я другой такой страны не знаю, где так долго дышит человек...»

Дядя Никита если запоет, то обязательно хоть слово, да вставит не то. В спортивном марше пел не «закаляйся, как сталь», а «напрягайся, как сталь». Мендель же умышленно слова коверкал, шутки ради: «Две гитары за стеной жалобно заныли, кто-то свистнул патефон, милый мой, не ты ли?...»

Тут тетя Вера, в свою очередь тоже выпившая, заявляет:

— Подсладить бы...

И сразу несколько догадливых голосов с разных сторон:

— Горько!

Припала Ульяна губами к губам Менделя — не оторвешь.



— Будя,— кричат,— задавишь.

А дедушка Козлов ладони у рта сложил лодочкой.

— Брысь! — кричит.

Отпустила Ульяна Менделя, сняла с гвоздика отцовскую балалаечку, и начался общий свадебный перепляс с припевками. Уж кто как мог, так и плясал, а уж пел, кто в каком голосе. Даже бабушка Саввишна Котова запела, а дедушка Козлов говорит:

— Голосина как волосина. Так тонка.

Жердочка еловая, досточка сосновая.

По той жердочке никто не хаживал.

Перешел наш Мендель-свет.

Перевел Ульянушку...

Напоминаем, в народных песнях переход по жердочке-досточке через реку всегда означал любовь. Хоть и без песни всем было понятно, что Ульяна да Мендель — это любовь. Поздней ночью, когда уж все утомилось, все разошлись и легли Ульяна с Менделем в лунном полусвете, спросила Ульяна:

— Менделечек, не боязно тебе, что у меня родинка слева?

— Что ж мне боязно должно быть?

— Старые люди говорят, родинка слева у женщины приносит несчастье мужчине.

— Бабские сказки,— говорит Мендель и целует родинку у левого плеча Ульяны.

Тогда припала Ульяна к Менделю и забылась надолго. Очнулась от детского плача. Давидка плакал, видно, приснилось ему что-то. Плакал уж несколько минут, да Ульяна не слыхала. Вот как любила мужа, даже о детях забывала, точно, кроме ее и Менделя, на свете пустота.

Однако, люби не люби, а каждый день жить надо. Пошли дни один за другим. На Пижме лед раньше времени сломало — значит, лето будет теплее обычного. И действительно, расцвело раньше. Брусничные кусты вечно зеленые, как хвойные деревья, а черничные меняют листву. Но и они к концу мая зеленью покрылись, и уж ягоды начали наливаться. В июле можно было чернику потреблять.

Как-то утром собралась Ульяна печь черничный пирог. Растопила печь, замесила тесто, помяла чернику, когда вдруг в дверь стучат. Мендель был на работе, Давидка в детском садике, Тоня к соседским детям пошла, кто б это? Отпирает дверь — Раиса Федоровна. Сразу в глаза бросилось: на улице

жарко, а она вся в черном — туфли черные, платье черное, длинное, шляпка черная. Поздоровалась.

— Извините,— говорит,— я попрощаться пришла и кое-что передать. Меня Анатолий Федорович просил. Вот вазочку Тоне завещал и вот записку написал. Больше ничего не осталось, всю мебель в область забрали. Говорят — в музей.

— А что с Анатолием Федоровичем? — спрашивает Ульяна.

— Умер.

— Умер? — Ульяна от неожиданности и печали рот ладонью прикрыла, помолчала.— Когда умер? Я и не слыхала.

— Не удивительно. Вы ведь счастливая, а счастливые часов не наблюдают, газет не читают, ничего вокруг не видят. Я знаю, к вам муж вернулся.

— Да, вернулся,— растерянно говорит Ульяна, точно она виновата в своем счастье перед этой женщиной,— вы проходите... Извините, у меня руки в тесте, пирог черничный печь собралась.

Села Раиса Федоровна у стола, вынула из темной сумочки вазочку фарфоровую и на стол поставила, а рядом записку положила.

— Это Тоне,— говорит.

В записке были две строчки нетвердым почерком: «Я тебя люблю. Ты должна учиться».

— Когда это случилось?

— Неделю назад.

— Я и про похороны не слыхала.

— Хоронить буду в Абрамцеве, там, где мама, и папа, и Костя похоронены. Добилась. Мертвому выезд разрешили. Так что Анатолий Федорович теперь в дороге на родину. И я уезжаю. Слава Богу, никогда больше не увижу эти места, этих людей.

— А вот Мендель мой соскучился по этим местам,— сказала Ульяна,— я ему предлагала: если хочешь, продадим дом, поедem жить к тебе на Украину. Нет, говорит, мне здесь больше нравится.

Раиса Федоровна сидела у стола сгорбившись, подперев голову тонкими своими, аристократическими пальцами.

— В Абрамцеве я жить не собираюсь,— сказала она после паузы,— что мне там делать? Старого народа давно уж нет, отцовских столяров. Всюду одна и та же рвань, а руководят разжиревшие комбедовцы. Всюду светят красные зори, всюду красная астрология, от которой зависят наши судьбы.

— Где ж вы жить будете? — спросила Ульяна.

— Поеду в Литву, все-таки ближе к Польше, к Европе.

Может быть, приму католичество. Мой брат был православный, верил в русского Бога, а мне это азиатское христианство не по душе... У вас муж еврей, я вам завидую. Я б и сама вышла замуж за еврея, за поляка, за литовца, только не за русского. Не люблю русских, ненавижу русских. Народ грубый, злой, а если доброта, то юродивая.— Она вдруг закашлялась, может быть, от подступившего к горлу кома ненависти, и кашляла долго, все не могла остановиться. Ульяна налила ей в стакан брусничной настойки. Раиса Федоровна сделала несколько глотков, вытерла губы кружевным платочком.— Я, конечно, на личное счастье больше не надеюсь. Как поется: только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою вьется нить...

Глаза ее были измучены злобой и страданием, а губы дергались, извивались, точно жестокая насмешка и горький плач боролись меж собой и каждый пытался вылепить из этих дрожащих губ свое, но ни того, ни другого не получалось.

Когда Раиса Федоровна ушла, Ульяна долго не могла успокоиться. От этого беспокойства пирог с черникой не получился, подгорел, лопнул, черника вытекла, что еще более Ульяну расстроило. Пришел Мендель с работы, сразу увидел — жена не в духе.

— Что с тобой?— спрашивает.

— Пирог подгорел,— отвечает.

— Не беда, новый спечешь.

Сходила Ульяна за Давидкой в садик, кликнула Тоню — сели обедать. Поели щей, Тоня спрашивает:

— Где же пирог?

— Пирог сгорел,— говорит Мендель,— но ты не расстраивайся, Тоня, я вам с Давидкой в поселковом магазине конфет-тянучек купил.— И дал тянучек.

Дети успокоились, а Ульяна все не может.

— Тебе тоже тянучек дать?— шутит Мендель.

— Возьми, Тоня, Давидку,— говорит Ульяна,— и пройдишь после обеда. Погода, гляди, хорошая.

Ушли дети, и говорит Ульяна:

— Пирог жалко, но не в пироге дело. Тут Раиса Федоровна приходила, сестра Анатолия Федоровича.

Потемнел сразу лицом Мендель.

— Ей что надо здесь?

— Пришла проститься, она уезжает, Анатолий Федорович ведь умер.

— Ну и что,— говорит Мендель,— знаю я, что умер. В поселке слышал.

— Знал и мне не сказал,— говорит Ульяна.

— А что в этом интересного? В поселке говорят: скатертью дорога. Воздух станет чище.

— Нельзя так, Миша, против мертвого. Это был добрый человек. Он вот Тоне вазочку передал и записку.

— Какую еще вазочку и записку?— совсем обозлился Мендель, взял у Ульяны записку и прочел вслух: — «Я тебя люблю. Ты должна учиться». Чего это он чужих детей любит и им советы дает? Своих надо было завести, контрик недорезанный. Эту вазочку вместе с запиской я в Пижму выброшу. Незачем Тоню расстраивать.

— А греха не боишься, Миша? Все-таки воля покойного.

— Ты, я вижу, у меня верующая. Это он тебя религии обучил, бабским сказкам. Ты, я знаю, к нему бегала.— И выразился грязно.

Может, впервые за их жизнь так выразился, и впервые в их жизни был день несчастливый. Даже когда Мендель оставил ее, Ульяна его продолжала любить, а в этот день любить перестала и не любила его до следующего утра. Спать легла отдельно на лавку и всю ночь проворочалась. Понимала, что ревнует, понимала, что насплетничал поселок, понимала, что расстроен письмом от матери, прибывшим накануне, а все не могла простить.

«Мендель,— писала мать,— что ты наделал, куда ты уехал, с кем ты живешь? Ты укорачиваешь мне жизнь, я не сплю ночами, и если б собака сейчас лизнула мое сердце, она бы сдохла».

Первую половину ночи Ульяна злилась на Менделя, а когда начало рассветать, подумала, как бы хорошо поехать на родину к Менделю, познакомиться с матерью Менделя и братом Менделя, Иосифом. Да так удачно съездить, чтоб им понравиться.

Мендель тоже всю ночь ворочался, лежа один в постели, соскучился по Ульяне, еле дождался рассвета, пришел к ней босой, стал на колени и попросил прощения. Ульяна тут же его простила, и опять зажили хорошо. А вазочку с вложенной в нее запиской покойника Мендель все-таки в Пижму выбросил. Так никогда Тоня и не узнала про то, что ей Анатолий Федорович завещал. Зато вместо сторовенного черничного пирога решила Ульяна настряпать пельменей с мясом и луком. Мясо в совхозном поселке раздобыла у знакомого Вере мясника. Специально в совхоз за мясом ездила.

— Можно, конечно, и пельменей с редькой налепить,— говорит Ульяна Вере,— я. случается, и с редькой делаю. На-

тру редьку, с маслом смешаю и леплю. Но мои более с мясом любят. Еще бы сметанки достать.

— Балуешь ты своего,— говорит Вера,— смотри, мужчин баловать нельзя.

— Мой Мендель мужчина особенный. А покушать кто не любит? Помнишь, как семечки вместо хлеба грызли? Теперь, слава Богу, не то, Мендель у матери жил, хорошо питался, и я его питать не хуже буду. Зачем же мне уступать?

Так побывала у сестры, поговорила, мяса достала и назад. По дороге на станцию Лука Лукич встретился.

— Доброго здоровья,— говорит, словно ничего не случилось, словно не рванула она его за бороду, когда он этой бородой ей в лицо полез целоваться.

— Здравствуйте, Лука Лукич,— отвечает, а потом, дорогой, как вспомнит, так смеяться начинает. Однако одновременно думает: о Луке Лукиче надо б Веру предупредить, пусть при Менделе его не упоминает. Мало ли что Мендель себе в голову возьмет.

На следующий день, прямо с утра, взялась за пельмени, поскольку работа эта серьезная, если ее с толком делать. Мясо от сухожилий и пленок очистить, фарш приготовить, не пересолить, лук измельчить, потом тесто приготовить на яйцах, раскатать и прочее. Полдня провозилась, спины не разгибая. Вдруг вспомнила: надо бы к Козловым за посудинной сходить. В кастрюле варить долго, и слипнуться могут, а у Козловых специальная низкая широкая посудина для пельменей имелась. Глянула в окно — льет не переставая. Хорошо, хоть Тоня калоши надела. И тут же подумалось: как бы Мендель не узнал, кто Тоне калоши подарил. Может, предупредить Козловых, чтоб не говорили, а может, не надо — зачем напоминать, авось забудется. Так в мыслях и заботах накинула Ульяна плащ и, скользя по грязи, побежала в тупичок к Козловым.

— Пельмешки задумала? — говорит дедушка Козлов.

— Задумала,— отвечает Ульяна,— у меня недавно черничный пирог сгорел, не углядела, жалко. Дай, думаю, взамен пельмешек налеплю.

— Черничный пирог — это жалко,— говорит дедушка Козлов,— вкусна черница... Вкусна, да дорога. Слышала, в черничнике скелет обнаружили.

— Какой еще скелет? — испугалась Ульяна.

— Человеческий.

— Все б тебе, старому, пугать,— ворчит бабушка Козлова,— может, этот скелет еще с царя Гороха лежит...

— Может, с Гороха и лежит,— говорит дедушка Коз-

лов,— да череп проломлен и истлевшая одежда рядом. Обувь валяется.

Ульяна уж и не рада, что за посудиною пришла. Взяла да быстро домой. А там Мендель дожидается с детьми. Он с работы зашел в детский сад и Давидку взял. Тоня у соседских ребят была, увидала в окно — отец с Давидкой возвращается,— выбежала.

— Хорошо, что вся семья в сборе,— говорит Ульяна,— сейчас пельмени будут готовы.

Но начала лепить — и видит, уж не к обеду поспекает, а к ужину.

— Давайте,— говорит,— я к обеду картошки сварю со шкварками, а пельмени — к ужину. Я их налеплю, они постоит, соку наберутся, еще вкуснее будут.

И действительно, удались пельмени. Съел Мендель алюминиевую миску — еще просит. Съел Давидка блюдо — еще просит.

— Сейчас, мои милые Пейсехманы,— говорит Ульяна, довольная, что пельмени удались,— сейчас вон папе еще полмиски наложу, поскольку он по делу торопится, а потом и вам, как сварятся.

Мендель действительно куда-то после ужина собрался и Ульяну попросил калитку не запирать, поскольку он не надолго. Поел Мендель добавку, полмиски, губы от сметаны отер салфеткой, рыгнул культурно, прикрыв рот ладонью, встал, кепку надел.

— Плащ надень,— кричит вслед Ульяна,— моросит ведь.

Хлестать к тому времени дождь перестал, но моросило.

— Я мигом,— говорит Мендель,— скоро вернусь и еще пельменей поем, если останутся. Вкусны пельмени.— И вышел.

Ульяна отварила пельменей для детей. Те поели. Дала им на сладкое по конфете, а сама принялась варить новые пельмени для Менделя. Пельмени варятся быстро — семь минут, и всплывают в подсоленном кипятке, но ведь и Мендель обещал быстро вернуться. Пельмени всплыли — Мендель не вернулся. Ульяна выловила пельмени и сложила их в миску, а чтоб не остыли, накрыла другой миской. Поставила чайник, чтоб чайку попить. Чайник вскипел — Мендель не вернулся.

Уже потемнело, точнее, более тускло стало, поскольку на Севере летние вечера светлые. Далеко на станции прогудел паровоз — пришел вечерний поезд из совхозного поселка. Дождь стал опять хлестать, но уж с ветром. От ветра сильно хлопнула форточка, и Давидка испугался, заплакал. Ульяна успокоила Давидку, дала ему еще конфету и, чтоб не сидеть без

дела, начала мыть посуду, все поглядывая в тусклое окно, но уже с беспокойством. Надо бы детей уложить спать, однако хотелось дожидаться Менделя, чтоб уложить их со спокойной душой.

— Что-то мне кажется, папы нашего долго нет,— сказала Ульяна.

— Он, может, опять уехал от нас?— спросила Тоня.

— Ты пустое не говори... Куда уехал? Встретил, наверно, кого. Я пойду посмотрю и плащ ему захвачу. Ты, Тоня, гляди, чтоб Давидка чего не натворил. К печи пусть не подходит, и чайник вон горячий. Лучше у стола посидите, пока я с папой не вернусь. И не отпирай никому, пока не спросишь, кто и зачем.— Сказав так, надела Ульяна плащ, взяла в руки плащ Менделя и ушла.

Сколько просидели дети — не знают. Чайник остыл, пельмени остыли, печь уж холодная, а за окном темнота сгустилась. Начал Давидка на стуле ерзать.

— Ты чего?— сердито говорит Тоня.— Не балуй, сиди тихо, пока мама с папой не вернутся.

— Я пипи хочу,— говорит Давидка.

Повела Тоня брата в угол, где горшок стоял, пописал Давидка, и обратно его к столу привела, как мать наказывала. Давидка уж спит на ходу. Сел на стул, ноги поджал, голову свесил и посапывает. Тоня крепилась, крепилась — зажмурится и уплывает. Поплаывает так в темноте, в покое, глаза откроет и опять возвращается к столу, за которым они с Давидкой сидят. Последний раз открыла — рассвет уж, солнце за окном, а мамы и папы нет. Давидка на стуле спит калачиком, на столе те же остывшие пельмени да остывший чайник. Только разволновалась от этого Тоня, загрузила, как в дверь стучат.

«Вернулись»,— обрадовалась, но спрашивает, как мать наказывала: кто это и зачем?

— Тетя Вера,— отвечают.

Отперла Тоня дверь тете Вере и говорит:

— наших папы и мамы нет дома. Они еще с вечера ушли, и мы с Давидкой одни.

— Знаю,— отвечает тетя Вера,— бери Давидку, веди его в детский садик и сама там оставайся, так как ваших отца и мать убили.

Тут только заметила Тоня, что лицо у тети Веры красное, распухшее и мокрое. Напугалась Тоня таких слов тети Веры и такого ее лица, под кровать полезла, и Давидка вслед за сестрой туда же. Тогда тетя Вера села к столу и стала с громким плачем жадно холодные пельмени есть прямо руками. Съела

тетя Вера пельмени, холодным чаем запила, вытащила детей из-под кровати и повела их в детский сад. А по поселку, по улице Красных Зорь, по тупичкам уже несло страшное слово — амнистия. И в разных направлениях, до Свердловска ли, до Мурома ли, по поездам, по станциям, по городам и поселкам: амнистия, амнистия. Это была ворошиловская амнистия, выпустившая на свободу тысячи матерых «ворошиловских стрелков», действующих, впрочем, в основном холодным оружием.

Горе маленького ребенка или животного не сердечно, не душевно, как у взрослого, оно в глазах. Заплачет, заскулит по мертвому, как по отнятому лакомому кусочку или разбитой игрушке, однако глаза живут самостоятельно, и они непередаваемы и непереносимы.

Пока шла Тоня по поселку и вела за руку Давидку, то более ныла, чем плакала, но когда пришли в детский садик, посадили Тоню на стул и подошел к ней седой дядя в очках с иголкой, то Тоня закричала совсем громко.

— Дурочка,— сказал очкастый,— тебе прививку сделать надобно, поскольку ты теперь будешь жить не в семье, а в коллективе.

Он велел воспитательнице крепко держать Тоню и больно уколол Тонину руку. Впервые в жизни осталась Тоня одна в чужом месте и среди чужих людей. Хорошо, хоть Давидка с ней был и спали они вместе на одной койке, обнявшись. Давидке Тоня сначала говорила, что мама уехала вслед за папой, чтоб его вернуть. Но когда через два дня пришла тетя Вера с дядей Никитой и взяли их на похороны, то уж вынуждена была сказать правду. Да и что говорить, даже четырехлетнему ребенку все стало ясно, когда вынесли из их дома, где теперь хозяйничала тетя Вера, два гроба, один — побольше — Менделя, второй поменьше — Ульяны. Вынесли и понесли их рядом. Впереди шел и играл оркестр мочально-рогожной фабрики, а позади за гробом среди родственников семилетняя Тоня вела за руку четырехлетнего Давидку.

Два момента наиболее страшны в похоронах: когда выносят гроб из дома и когда опускают гроб в могилу. Пока же несут гроб, пока он в пути, то есть в этом какое-то последнее праздничное торжество. Похоронная процессия растянулась далеко по улице Красных Зорь, передние уж были на кладбище, а задние все шли. Почти весь поселок провожал Ульяну с Менделем, поскольку давно уж не было такого зверского убийства, чтоб сразу отца и мать. Весь поселок провожал, но Менделя родных не было, поскольку не знали их адрес и нельзя было известить. В кармане Менделя, правда, обнаружи-



ли неотправленное письмо, но оно было так сильно запачкано кровью, что могли разобрать только отдельные фразы и слова, которые, как всякая предсмертная речь, звучали страшно, особенно повторенное три раза: «Чтоб я так жил». Видно, кому-то в чем-то клялся Мендель, а кому клялся и в чем клялся — не разобрали. Ясно было только, что клятву эту Мендель нарушил, не выполнил, выскочив из дома на минутку в тот дождливый вечер. Может, Мендель как раз и выскочил опустить в почтовый ящик это письмо, которое забыл отправить днем. Точно напомнил кто-то: письмо матери забыл отправить. Кто в таких случаях напоминает, тоже ясно — костлявая. Напоминает и дорогу указывает.

В поселке было три почтовых ящика. Один у почты, возле мочально-рогожной фабрики, второй с противоположного конца улицы Красных Зорь, там, где она уже переходит в грунтовку, и третий посредине, у пятого тупичка, по которому если пойти, выйдешь к подвесному мосту через Пижму и далее по этому мосту прямо в черничник. Недалеко от этого среднего почтового ящика Менделя и нашли. Кололи Менделя либо неумело, либо с слишком большим остервенением, в два, а то и в три саксона, три мессера, одежда его была залита кровью, и потому ее не взяли. Забрали кепку, забрали ботинки, забрали швейцарские ручные часы, подаренные братом Осей. Забрали и новый Менделя плащ, который несла ему Ульяна. Ульяна лежала тут же в кустарнике, изнасилованная и убитая. С нее тоже сняли плащ, забрали туфли и шерстяную кофту.

## 5

Круглосуточная группа в поселковом детсадишке была дошкольной, потому Давидку оставили, а Тоню отправили в область. Перед отъездом пришли с ней проститься дядя Никита и тетя Вера, обнимали, обещали навещать Давидку и писать Тоне письма. Тетя Вера сильно плакала, но когда вышли после прощания и муж ее, Никита, начал в который раз говорить: «Надо бы детей к нам взять, родные ведь», Вера покраснела, нос ее заострился и глаза сами по себе высохли.

— Куда взять? Ты мне пятерых смастерил и Менделя еще двух на меня повесить хочешь. А жить как?

— Ведь дом Ульяны нам достался, продадим.

— Не дом, а полдома. Полдома и так мне принадлежит по праву наследства.

Уже после отъезда Тони в поселке появился Иосиф, брат Менделя, лысый, с толстым, как у Менделя, носом, но с со-

вершенно иным лицом. У Менделя лицо было глуповатое и доброе, а у Иосифа задумчивое и хитрое. Иосиф привез подарки: Давидке барабан, Тоне куклу в розовом платье, которая закрывала глаза и говорила «мама». Но поскольку Тони не было, куклу Иосиф подарил Зине, дочери Веры. Иосиф приехал, чтоб забрать Менделя и перевезти его в родной город, на Украину, на еврейское кладбище. Он обратился в поселковый Совет, и там ему объяснили: требуется согласие ближайших родственников, родной сестры жены. Сначала Вера согласия не давала, а потом дала. В поселке говорили: Иосиф ей хорошо заплатил.

Так после смерти разлучили все-таки Менделя с Ульяной, и осталась Ульяна лежать одна на поселковом кладбище. Тоня, как и отец ее Мендель, тоже из этих мест уехала далеко, и тоже не по своей воле. В области пробыла недолго, и вместе с ребятами-сиротами из других районов отправили ее в город Владивосток поездом, а из Владивостока автобусом в детский дом села Барабаш, Приморского края. Прошла Тоня дезинфекцию, надели на нее кремовое с цветочками, сшитое из кашемировых платков платье, какое носили в детдоме все девочки, и стала Тоня здесь жить.

Здесьние места были совершенно не похожи на родные, климат морской, весной теплый ветер, летом ветер освежающий, но зимой бешеный, порывистый, штормовой. Снега зимой мало, только кое-где тонким слоем. А деревья росли и знакомые и незнакомые. Например, весной красиво цвела маньчжурская черешня. Пожила Тоня год, и пока еще не прижилась, пока все новым было, то думалось меньше, а больше гляделось. Но как осмотрелась, как привыкла и пошла учиться в школу села Барабаш, вдруг овладела ею сильная тоска по родным местам, а особенно по родителям своим. Придет из школы, сядет у дороги на камень и провожает глазами каждого прохожего или прохожую. Хотела увидеть женщину, хотя бы похожую на ее мать, или мужчину, хотя бы похожего на ее отца. А оттого, что изо дня в день прохожие мимо нее шли всё чужие и даже отдаленно ни мать, ни отца не напоминавшие, появилась у Тони какая-то апатия, безразличие ко всему, особенно по утрам, начало у нее болеть под ложечкой, сосать что-то, давить. Была она уж в школе и в детдоме на плохом счету, учителей и воспитателей слушала невнимательно, с детьми общалась плохо и имела кличку «Матерь Божья Курская». Заведующая Нина Пантелеевна ей как-то сказала:

— Чего ты сидишь у дороги, как мать Божья Курская? Как икона святая. Прохожие думают, что ты нищенка-

попрошайка, и этим ты позоришь звание советской детдомовки.

С тех пор Тоню дети дразнили: «Мать Божья Курская». Ругала Тоню Нина Пантелеевна также и за то, что она ногтями себе на лице прыщики расковыривала, сидит и ковыряет, а также выщипывала нитки из белья, простыню порвала. Нина Пантелеевна считалась воспитательницей строгой, но справедливой, детей своих детдомовских любила, говорила им:

— Я мать ваша. Не та мать, что родила, а та, что вырастила, выкормила и на коня посадила.

Часто так повторяла, и ребята соглашались — все, кроме Тони, которая однажды застонала, задрожала и крикнула Нине Пантелеевне:

— Вы мне не мать!

За это лишена была Тоня права на Праздник весны, который устраивался каждый год в детдоме к первому прилету птиц. На детдомовской кухне повариха пекла из теста «жаворонков». Каждому доставался такой «жаворонок». Дети привязывали сладких «жаворонков» к шестам, бегали с ними по улицам и кричали, как им велела Нина Пантелеевна:

— Жаворонки прилетели! Весна, весна пришла!

Потом они этих «жаворонков» съедали. А наказанная Тоня сидела запертой в тесной кладовой среди грязного белья и, слушая веселые крики с улицы, вспоминала, как шли они с мамой и Давидкой по шпалам в совхоз к тете Вере и вокруг по обе стороны был лес, а в небе тихо высоко летали жаворонки.

«Ой вы, жаворонки-жавороночки,— вспомнилось Тоне,— летите в поле, несите здоровье, первое — коровье, второе — овечье, третье — человечье».

— Нина Пантелеевна,— крикнула Лида Неизвестных, круглолицая, розовощекая отличница, наушница и любимица заведующей,— а Мать Божья Курская в кладовке молится.

Нина Пантелеевна отперла кладовку и сказала окружавшей ее веселой, разгоряченной игрой в «жаворонки» детворе, указывая на сидящую в уголке Тоню:

— Смотрите, дети, она ждет не прилета птиц, а прилета ангелов.

Ребята смеялись, кричали:

— Мать Божья Курская, вот ангелочек полетел!

— Пойдемте, ребята, песни петь,— сказала Нина Пантелеевна,— а ей пусть ангелы песни поют.— И опять закрыла Тоню в кладовке.

С тех пор начала Тоня думать не только про свою мать Ульяну и отца Менделя, но и про ангелов. Ангелы казались

ей похожими на серых певчих дроздов. Много дроздов летает на улице Красных Зорь в конце теплого лета, когда поспеет черная рябина, отчего их прозывают «рябиновики». Подлетит, усядется на дерево повыше и осматривается, нет ли кого в огороде, потом вниз пикирует через частокол, начинает сладкую рябину клевать. Бабушка Козлова, или бабушка Саввишна Котова, или иная бабушка выскочит, в ладоши хлопает, пугает дрозда, ругает его, стыдит, а он уже поел свое, уже насладился. Хорошо в родных местах. Жаль, писем Тоня не получала, тетя Вера написала одно письмо, а Давидка писать не умел. Но приснилось Тоне, что она опять на улице Красных Зорь. Хоть мать ее и отец по-прежнему мертвые, даже и во сне, зато вокруг множество знакомых с детства людей и летают ангелы, которых Тоня кормит из рук черной сладкой рябиной. Приснился такой сон Тоне, и затосковала пуще прежнего.

Однажды пришел в детдом некто Машков. Он хотел взять на воспитание мальчика, но Тоня подбежала к нему с криком: — Папочка, папочка, ты пришел за мной!

Машков совсем не был похож на Менделя, однако слишком уж было Тоне в детдоме плохо и одиноко. Машков разволновался, взял Тоню на руки, поцеловал ее и оформил у Нины Пантелеевны, забрал с собой. Повез он Тоню во Владивосток.

Владивосток — город с гористыми крутыми улицами, а если смотреть из окна вечером, то огней масса, словно звезд на небе. Одни неподвижны, другие ползут на гору либо с горы, дрожат, третьи плывут в разных направлениях, искрятся.

— Это бухта Золотой Рог, — объяснил Тоне Машков, — это катера и буксиры. А вон, гляди — теплоход.

Во тьме плыла гора разноцветных искристых огней, которая словно таяла, как льдина, растекаясь в разные стороны по темным волнам. Как жаль, что папа Мендель и мама Ульяна этого не видят, а брат Давидка далеко, на улице Красных Зорь. Тоня любила стоять у окна, упершись в стекло лбом, и смотреть. Но новая мама Тони, Светлана Машкова, стоять долго не разрешала и отправляла спать. Спала Тоня в мягкой хорошей постели, в отдельной комнате. Квартира у Машковых была большая, с белым роялем, на котором Светлана Машкова играла скучную музыку. Новая Тонина мама еще меньше, чем Машков на Менделя, похожа была на маму Ульяну. Это была черноволосая, гладко причесанная женщина маленького роста, с зелеными камушками в ушах. Мама Светлана учила Тоню правильно держать нож и вилку во время еды и учила, что с чем когда едят.

— К рыбе какая подливочка?— спрашивала мама Светлана.

— Беленькая,— отвечала Тоня.

— А к мясу?

— Красненькая,— отвечала Тоня.

Хоть Тоня по-прежнему тосковала, но было ей здесь лучше, чем в детдоме. Однако через месяц Машков вновь отвез Тоню в село Барабаш и сдал в детдом. Видно, не понравилась. Уехал, не попрощавшись, и Тоня его быстро забыла. Из всей жизни у Машковых запомнилось: к мясу подливочка красненькая, к рыбе подливочка беленькая. Нина Пантелеевна встретила Тоню с досадой, думала, избавилась от дурной овцы. А дети кричали:

— Матерь Божья Курская вернулась,— и весело пели ей вслед:

Уродилась я на свет горькая сиротка.  
Родила меня не мать, а чужая тетка.

Зато к дороге, у которой сидеть любила, пошла Тоня как к знакомому месту, и камень, на котором сидеть любила, тоже родным показался. Когда сидела теперь Тоня у дороги, то смотрела не только на прохожих, но и в небо — не летят ли ангелы.

Холодало, задули с моря ледяные ветры, собрались птицы в большие стаи и улетели к другой далекой весне и другому далекому лету. Стало пусто в белом небе, да и на земле озябшие прохожие старались быстрее промелькнуть мимо Тони по сначала мокрой, а затем скользкой дороге. И все-таки приходила Тоня, смотрела и ждала: может, просто из упрямства, а может, уже догадывалась, что стаи ангелов всегда летят навстречу птицам, от весны и лета к осени, от осени к зиме. Не туда, где радость и пение, а туда, где вера и терпение.

Минуют необъятные российские годы, пройдут бесконечные российские дни, и опять наступит тот дождливый вечер с пельменями, который переломил Тонину жизнь у самого корня. Но на сей раз вечер перейдет не в ночь, а сразу в рассвет, станут блекнуть земные зори, как блекнут горящие свечи, освещенные сильным заревом, и услышит Тоня чистый, заоблачный голос, как бы единый голос Ульяны и Менделя:

— Прийди, ближняя моя, прийди, голубица моя.

Тогда ответит Антонина радостно:

— Готово сердце мое, Боже, готово.

*Апрель-май 1985 г.  
Западный Берлин*

---

## ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО НА ВОЛГЕ

Волга! Волга! Весной многоводной  
Ты не так заливаешь поля,  
Как великою скорбью народной  
Переполнилась наша земля...

*Н. А. Некрасов*

### 1

После июльских сильных дождей уровень волжской воды быстро поднялся, и река на много километров вглубь залила левый низкий берег. Полои, залитые места, были особенно широки, потому что не успела полностью схлынуть вода весеннего половодья, которое продолжалось в этом году до начала июня. Только лишь весенний разлив пошел на убыль, как начался летний паводок, еще более бурный.

Обычно ежегодные половодья или внезапно случающиеся паводки — это время, наиболее благоприятное для судоходства, но в этом году паводок сопровождался такими сильными ветрами, такой непогодой, что расписание движения теплоходов нарушилось и мне пришлось застрять в одном из небольших волжских городков.

Лет десять назад попав в эти места, на верхнюю русскую Волгу, я более не ездил на традиционные — престижные, обжитые — курорты, а лето за летом приезжал сюда. Так минуло девять лет, и наступило лето десятое, последнее перед переменой жизни.

Когда видишься с кем-либо или видишь что-либо в последний раз, становится понятной, как ученический сти-

шок, сложная теория Шопенгауэра о мировой воле, о «вещи в себе».

Я всегда беру с собой в подобные поездки несколько книг — философию и поэзию. Прозу не беру никогда. Проза требует неподвижности, тогда как философия и поэзия хороши в движении. Книги эти за некоторым исключением я беру бессистемно. Вот случайно задержал взгляд на Шопенгауэре, когда собирал дорожный саквояж, и оказалось в этой своей последней поездке по Волге без Шопенгауэра хоть плачь, хоть караул кричи. Оказалось, невозможно понять даже волжский пейзаж, не говоря уже о волжских впечатлениях, без учения Шопенгауэра о созерцании. Учение о созерцании как о совершенном акте познания. «Спокойное лицезрение непосредственно предстоящего предмета: дерева, скалы, ландшафта, теряется в этом предмете и остается лишь чистым субъектом, чистым зеркалом объекта. Предмет как бы остается один, без того, кто его воспринимает, и даже нельзя отделить созерцающего от созерцаемого». В этом учении Шопенгауэра я бы только слово «спокойное» подменил словом «отрешенное», когда от печали тяжелеет сердце. В прощальном взгляде всегда горечь, всегда тоска умирания, представление о том, как окружающий тебя мир будет жить без тебя, и вдруг наступает радостно-тоскливое языческое чувство потери себя и слияния с этими заболоченными котловинами, с этими красно-бурыми суглинистыми холмами, как и котловинами, поросшими лесом — осиной, ольхой, березой и елью... Ель, ель, ель без конца. Изредка сосна, но главным образом ель. Лес редет у прибрежных сел, где холмы очищены от деревьев и обращены в пашни, а за селами опять ель, ель, ель...

Плывешь мимо волжских берегов — правого нагорного, торжественно-высокого, о который с силой бьются волны, и левого, обыденного, лугового, затопляемого в половодье. Тишина, только слышно на палубе: «Чего?» — «Ничего...» Русь чирикает...

Я люблю верхнюю, болотисто-лесистую, сырую, озерную, русскую Волгу больше низовой, азиатской, с песчано-глинистой степью по берегам и с пряным запахом близкой пустыни. Да и сама-то Волга в верховьях имеет вид длинного мелкого извилистого озера, затопляющего во время половодья леса и луга. На низовой Волге, где река по-морскому широка, а берега низки, разливы редки. Конечно, истинная Волга — низовая, та «широкая да раздольная», та «Волгаматушка». Колонизированное азиатское низовье, которое стало хребтом империи, которое принесло богатство и славу

государству и великие тягости народу. Доимперская Русь кое-где еще теснится в верховьях среди болотцев со своими худыми костлявыми отечественными щуками, окунями, ершиками. А белуга, осетр, стерлядь — это уже имперский товар, колониальный, ныне главным образом валютный. Единое богатство, которым издавна одаривает всякого человека Волга, это богатство созерцания ее. То самое богатство, о котором писал Шопенгауэр. Познание через созерцание. «Тогда то, что познается, уже не отдельная вещь, как таковая, а идея, вечная форма и сам предающийся созерцанию уж более не индивидуум, а чистый, безвольный, бесполезный предмет познания».

Таким безвольным, бесполезным предметом чувствовал я себя в свое десятое, последнее лето на Волге среди не национальных, а племенных рек и озер — Стерж, Пено, Волга, Нерль, Сог, Сить, Молоч, из которых как бы истекала изначальная счастливая идея доимперской Руси.

Плывешь неторопливо мимо многочисленных мелей. Долина реки не широка, оба берега не далеки, ясно различимы, играют, меняют свой облик. За топкими низовыми берегами озер появляются возвышения, мощные пласты горного известняка, затем берега опять понижаются, русло реки становится песчаным, берега все более удаляются, появляются острова. Волга круто меняет свое направление, принимая слева и справа многочисленные притоки, становится многоводной, берега более многолюдны и обжиты. Чаше пристани. «Телячий Брод» около переката, пристань «Соколы горы» у известкового «Царева кургана», бугор Степана Разина близ деревни Лапоть... Это нутро, это чрево России. Это идея России, поддающаяся созерцанию. «Созерцание есть временное взаимное равновесие субъекта и объекта, проникновение друг в друга и превращение вещи в идею».

Так и я в то последнее мое, десятое лето на Волге, плывя на маленьком, неторопливом колесном пароходике «Герой Тимофеев», одном из тех, которые сохранились еще кое-где в верховьях на местных линиях, находился посредством созерцания во взаимном равновесии с покидаемой мной навсегда страной. Точнее, с ее идеей, ощущаемой в разлитом вокруг речном воздухе, в переключке чаек, в плеске о судовые борта серо-желтой воды и, конечно же, в берегах, словно окликающих меня своими названиями — село Кадница, город Тетюш близ Тетюшских гор, Щучьи горы... Пароход «Герой Тимофеев» здесь поворачивал назад, и мне предстояло пересесть на современный теплоход, чтоб плыть до Астрахани. В Астрахани у меня уже были заказаны билеты на самолет



в Москву, где я рассчитывал в августе—сентябре получить выездные документы. Поэтому в последней своей поездке стремился я запечатлеть окружающий меня волжский мир, найти в нем самое существенное, ибо «все существенное каждой вещи и есть ее идея. Познание идеи и есть суть художественного творчества».

Пока плыли озерами, дождь утих, посветлел волжский мир и начал рассказывать о себе весело, словно под балалаечку, словно сам себя вышучивая, как в давние, доимперские времена, когда смеялись легко, разумным смехом, высмеивая самих себя более, чем иных. Но затем все потускнело, потухло, опять заунывно, однообразно забубнил дождь, и окружающий волжский мир стал серьезно-угрюм, агрессивно-обидчив, уж его не тронь, на него не глянь с иронией или усмешкой.

Правый берег был необычайно высок, темнел каменным гранитным обрывом, левый луговой терялся в серой рассветной мгле, хоть по часам было уже за полдень. Когда плыли «под балалаечку» солнечной Волгой, берега словно плясали. То оба берега возвышались, то поочередно правый или левый. Теперь же в дождливом сумраке все разом застыло, и чувствовалось, будет таким бесконечно, до сердечной тоски.

Пароход медленно, неуверенно приближался к пристани, как мне объяснили, оттого, что здесь на дне Волги много каменных гряд и гранитных валунов. Прошла уж целая вечность, а он все поворачивался, поворачивался, не приставал и, временами даже казалось, удалялся от берега. Наконец матросы в мокрых резиновых плащах, гремя цепями, то весело, то сердито перекликаясь со стоящими на дебаркадере, начали готовить сходни. Под холодным дождем, шлепая по скользким лужам, я еще с пятью-шестью высадившимися здесь пассажирами пересек дебаркадер и начал долго, долго, перенапрягая сердце, подниматься по крутой деревянной лестнице с шаткими перилами, проложенной вдоль гранитного обрывистого берега к виднеющемуся далеко в вышине, почти на небесах речному вокзалу.

Впереди меня свободным широким шагом шла, поднималась какая-то колхозница в кирзовых сапогах и мужской куртке, державшая большими красными руками на плече плетенную из веревочных нитей мешок-авоську, похоже, сделанную из обрывка рыболовецких сетей. Авоська была до отказа наполнена уловом, за которым обычно колхозники отправляются в города. Идя сзади, я разглядывал улов, чтоб отвлечься и тем облегчить тяжелый труд подъема по лестнице. Бы-

ло четыре бутылки шампанского, три отдающих в синеву булыжника мороженых куриц, два батона варено-копченой колбасы, килограммов пять апельсинов. Несмотря на такую тяжесть, колхозница, точно двужильная, бодро, привычно поднималась по лестнице, а я все более от нее отставал, хоть имел в руках лишь легкий дорожный саквояж. Это, как казалось мне, унижало мое мужское достоинство, я усилил темп, стараясь ее догнать или обогнать, но тщетно. Она, даже не замечая моих усилий, даже не замечая меня, легко выигрывала это наше соревнование.

Может быть, из-за моего обостренного прощального взгляда и прощального чувства мне во всем мнились символы. И в этом своем безуспешном соревновании я тоже увидел некий символ, тем более что колхозница просто просилась в бронзу. Подумалось: установить бы ее перед сельхозвыставкой на площади в Москве, там, где стоит ныне устаревшая скульптура Мухиной — колхозница и рабочий. Но вместо бронзового серпа дать колхознице в руки бронзовый мешок с купленными в городе продуктами.

Такими язвительными размышлениями пытался я успокоить себя, остановившись на одной из лестничных площадок и пропустив вперед уже всех пассажиров, даже сгорбленного древнего старичка с кошелкой и клюкой. «Нет, не годен я для жизни в этой стране, — подумалось с тоской и раздражением, — все эти обогнавшие меня — профессиональные жители России. Ведь жить в современной России — это профессия. Я же всегда жил в этой стране непрофессионально, и потому быстрее бы уехать». Иногда какая-нибудь глупая мелочь, подчас мной же придуманная, может совершенно испортить мне настроение и окрасить все в черные тона, тем более если окружающая действительность этому способствует. Преодолев в одиночестве наконец остаток этой устремленной в небо мучительницы-лестницы и войдя в здание речного вокзала, я узнал в справочном бюро у красногубой девицы в синем берете, что из-за паводка и непогоды расписание движений теплоходов нарушено и придется ждать...

Российское ожидание неразрывно связано с российскими пространствами и является другой ипостасью одной и той же российской идеи, которая, как верно кем-то замечено, ясно выражена в народной песне, полной глубокой сердечной тоски или отчаянного веселья. Российские часы и российские километры бесконечны. Идешь ли, едешь или сидишь, ждешь — конца не видно. Время ожидания своим ужасающим образом наводит на душу тоску, как ровная степная природа, как дремучий однообразный лес, как осенняя ночь, как

суровая зима. Шопенгауэровское созерцание в таких случаях только усиливает тоску, я в этом лишний раз убедился.

В зале ожидания было пусто и скучно, не за что зацепиться глазом. Единственный предмет, достойный, как мне показалось, созерцания, сидевший неподалеку на скамейке полковник-артиллерист в шинели и почему-то в папахе. Полковник этот, имевший очень красное лицо, боролся со своей головой. Голова его медленно, тяжело опускалась — вот-вот упадет с нее папаха, а то и сам полковник ткнется головой об пол. Но в последний момент усилием воли полковник преодолевал стремление своей головы и с явным напряжением тянул ее назад, поднимал по дуге. Так маятником, вверх — вниз, вверх — вниз... Вначале это меня забавляло, потом начало утомлять и даже раздражать. «Свалилась бы наконец папаха, думалось, или лучше упал бы сам». Но не свалилась и сам не упал. Полковник вытащил из-за спины почти пустую четвертинку коньяка, допил ее из горлышка и, окончательно победив свою голову, утвердил ее на своей шее, встал и вышел. И тогда воцарилась уж такая удручающая скука, что и жужжанию мухи будешь рад. Потому я тоже решил встать и пройтись, несмотря на дождь. Впрочем, дождь к тому времени кончился и даже ненадолго стало появляться солнце.

Под этим выныривающим из облаков солнцем взору моему предстал вполне ожидаемый обычный волжский городок. На высоком крутом берегу березовый парк, крайне запущенный, беспризорный, густо поросший кустами коротышника, ветвистого кустарника с длинными прутьевидными ветвями, усыпанными колючками. В обиходе кустарник этот именуется также держидерево, и неспроста — колючие ветви несколько раз хватали меня за плащ, и, пытаясь освободиться, я сильно оцарапал ладонь. От парка начинался также березовый бульвар все с тем же держидеревом меж березами. Одноэтажные домики по сторонам улицы были ограждены этим же держидеревом. Впрочем, как живая изгородь он весьма кстати, достигая в высоту трех метров, особенно в Крыму и на Кавказе, где его именуют по-татарски «кара-текен». Это давнее однообразие, которое по крайней мере было живым и природным, ближе к центру теснилось однообразием современным, мертвым, типовым, блочным — многоэтажными домами и стеклянными торговыми предприятиями.

В прошлые мои приезды на Волгу я с моим другом редко забредали в подобные городки. Жили в палатках, в верховых мшистых лесах, варили уху на костре или меняли у браконьеров банки дефицитной польской ветчины на домашнего приготовления малосольную черную икру. Точнее, проделывал

все это мой друг, умевший жить в России профессионально, но тем не менее уже два года как покинувший ее. Мать моего друга Матрена Васильевна, кстати, коренная волжанка из волжских верховьев, где в деревне Изведово у нее был дом, ранее редко покидала свою деревню, и то не далее Рыбинска. Ныне же она отлично прижилась в чужих краях и писала оттуда по-детски радостные письма. «На другом берегу Женевского озера стоит Лозань. Мы поехали на пароходике. Было очень красиво. Вокруг огни. Крестьяне здесь богатые, но добрые».

Вообще понятие — коренной житель — состоит не столько в том, что человек издавна живет в здешних местах, а в том, что у него есть корень, выращенный в результате этой своей жизни, и если корень прочный, неповрежденный, то такой человек легче приживается в чужой земле и даже еще лучше расцветает, если эта земля богата соками. Мы, по крайней мере такие «мы», как я, тоже живем здесь веками. Но обстоятельства и условия, созданные для нас, были таковы, что мы остались бескорневыми. Вот отчего, как я слышал, многие так трудно приживаются на новой земле. Нечем ухватиться, корня нет. Впрочем, иные расцвели там искусственным оранжевым цветом, как и мы, случается, цветом здесь, цветом даже пышно на злобу и зависть непородистым коренным. Но малейший заморозок, малейший холодный ветер, и нас, вместе с нашим цветом, как будто и не было. Поэтому главная задача нас, бескорневых, на новой земле, как мне думается, не расцвести торопливо, лихорадочно, а обрести корень неброским, кропотливым трудом.

Так размышлял я некоторое время, глядя в себя, и когда, опомнившись, глянул вовне, огляделся вокруг, то заметил, что забрел неизвестно куда. Неподалеку на столбе была прибита доска-указатель с надписью. Я решил, что это указатель, как пройти к речному вокзалу, однако это была обычная провинциальная глупая надпись: «Женская парикмахерская работает. Вход через баню». Надо было спросить у кого-либо дорогу. Огляделся — у кого бы? Вот показалась старушка, несущая в авоське мороженую голову осетра. Не успел рта раскрыть, как она глянула на меня испуганно-враждебно, так глядят на чужака, и засемила прочь. Затем из-за того же дома, откуда показалась первая старушка, вышла вторая, тоже с осетровой головой в авоське, потом пожилая женщина с осетровой головой, завернутой в газету. Некоторые стороны нашего быта для непосвященного мистичны. В Москве, например, я как-то встретил множество прохожих, несущих одинаковые зеленые чайники. По опыту знаю, несущие дефи-

цит обычно бывают усталые и неприветливые. Поэтому я не стал делать новых попыток узнать дорогу у несущих осетровые головы, стал искать людей праздных, не утомленных очередями. Однако из праздных людей вокруг я увидел только пьяных. Вот какой-то в телефонной будке по телефону лыка не вяжет.

— А? Что? Кого?

Впрочем, вид вполне добродушный. Подошел поближе, ожидая, когда он кончит восклицать. «Как его спросить, вежливо — извините, пожалуйста... Или простецки — слушай, друг...»

Вступать с такими людьми в контакт — все равно что гладить незнакомую собаку — может лизнуть, а может и укунить.

— Слушай, друг, — начал я, когда тот наконец вышел из телефонной будки.

Но в этот момент пьяный потерял кепку, нагнулся за ней и не расслышал, очевидно, моего вопроса, пошел прочь. Я глянул на его крепкий красный затылок и повторять вопроса не стал. Кстати, открытые части тела здесь у многих красные — руки, лица, затылки. Это от ветра и водки. Красные тела — признак здоровья, еще не истраченного, но конечный результат выглядит, как эти мужчина и женщина возле магазина. Оба с испитыми, желтыми, измученными лицами, ужасно худы, дурно, неряшливо одеты, даже с учетом здешней, нестоличной моды. У женщины худые, высохшие ноги, по которым хлопают широкие голенища старых сапог на стоптанном высоком каблуке. Пытаюсь спросить у них дорогу — снова не везет. Из магазина появляется какой-то их собутыльник, с которым они затевают оживленный разговор. Прервать этот разговор не решаюсь. Уходя, слышу лишь обрывок фразы. Мужчина говорит собутыльнику, указывая на женщину:

— Я с ней живу с 1937 года...

В тридцать седьмом году оба, наверно, были молодыми комсомольцами, вместе пели в самодеятельности: «Мы сдвигаем и горы и реки, время сказок пришло наяву, и по Волге, свободной навеки, корабли приплывают в Москву». Может быть, в кружке ликбеза вместе даже изучали «Капитал» Маркса, слушали, как лектор, страстный интеллигент и народопоклонник, тогда тоже молодой, хоть и с дореволюционной сединой, радостно выпевал Марксовы слова. «Гнев делает поэтом», — обронил однажды Маркс в письме к Энгельсу. Эта великолепная истина приложима прежде всего к нему самому. «Капитал» пронизан поэзией величайшего классово-

го гнева. Пережил ли лектор поэзию тридцать седьмого года? Может быть, за ним пришли в ту самую теплую, лунную ночь, когда он в бессонном экстазе оканчивал последние страницы своей работы о эмоционально-художественной стороне Марксова «Капитала». Когда вслед за Марксом обличал он буржуазного экономиста Дестют де Трасси «с холодной, как у рыбы, кровью», который заявлял: «Бедные нации суть те, где народу хорошо живется, а богатые нации суть те, где народ обыкновенно беден».

Впрочем, можно ли строго спрашивать с лектора, не пережившего поэзии тридцать седьмого года и не дожившего до наших итоговых дней, как дожили его ученики — мужчина и женщина из винно-водочного магазина? К нашим итоговым дням вполне приложимы примеры Маркса о торговцах Библией, участвующих в товарообороте. Библия обменивается на водку. «Предпочитают горячительный напиток холодной святости». Да, думаю я, святость хороша только в горячем свежем виде. Что может быть отвратительней, менее съедобней, чем остывшая святость, напоминающая заплесневевший суп или прокисший винегрет? Разве может она в товарообороте конкурировать с холодным сорокаградусным напитком, сохраняющим в себе вечный прометеев огонь? Справедливости ради надо сказать, что продавцы Марксовой Библии скорей всего неосознанно лишь подогревали остывшее за четверста лет имперское варево. И если размышлять в этом направлении, то можно понять и парадоксы буржуазного экономиста Дестют де Трасси, можно точно определить, с какого момента бедной нации московитов, живущей в мелководных озерных верховьях русской Волги тихой сытой жизнью, стало жить трудно и хлопотно. Можно точно определить, когда и по какой причине загорелся на Руси адский, всепожирающий прометеев огонь сорокаградусной. Безусловно, пьянство — это не природное, врожденное, психологическое качество русского народа. Безусловно, русский народ споили. Но кто его споил? Еврейский шинкарь, как утверждала в прошлом черная сотня и как утверждают ныне ее современные потомки? В книгах многих русских публицистов, в частности в книге И. Прыжова «История кабаков в России», изданной в Петербурге в 1868 году, ясно сказано, кто виновник русского пьянства — русская власть, русское государство, которое путем введения государственной монополии на производство и продажу спиртного начало изыскивать средства для окончательно избранного ею при Иване Грозном империалистического пути развития. С началом Ливонской войны народу было полностью запрещено свободное домашнее винокуре-

ние, и он вынужден был пойти в кабалу к разорительному государственному кабаку. Вот уже более четырехсот лет стоят на Руси эти разорительные имперские кабаки и имперские «монопошки» — магазины, хоть и под иными теперь названиями.

Свернув за угол, я вышел на небольшую площадь, когда-то мощенную булыжником, кое-где проглядывавшим сквозь залитый поверх булыжника асфальт. С двух сторон площади были две «стекляшки» — кубической формы стеклянные торговые заведения. На одной стекляшке было написано: «Пончиковая», на другой — «Блинная», но я не сомневался, что блины и пончики там либо вовсе отсутствуют, либо являются второстепенным продуктом товарооборота. Я направился было к «Пончиковой», однако там рекламным образцом прямо перед входом лежала на асфальте закуска — винегрет, очевидно не слишком отличавшийся от того, что лежит там на буфетном блюде. Преодолевая неприятные позывы, я повернул к «Блинной» и пытался открыть дверь, чтоб войти, но дверь была заперта изнутри. А между тем «Блинная» работала полным ходом, сквозь стекло видны были лица, охваченные тем радостным забытьем, той блаженной задумчивостью, какую можно увидеть на подобных лицах разве что в хорошей горячей русской баньке, на скользких мокрых полках в тумане парной, во время истинно мазохистского самоистязания своего тела, сечения его березовыми вениками. Именно элемент мазохизма виден в навязанном русскому человеку русской властью разорительном пьянстве, элемент наслаждения собственной гибелью, когда с наслаждением сечется не тело, а душа. Русское пьянство, возникшее как болезнь социальная, давно уже стало болезнью душевной, имеющей определенное отношение к половым извращениям. Развращенный русской имперской властью, русский человек, порочно воспитанный в течение четырехсот лет, нашел свое удовольствие в том, что психиатры называют влечением и которое состоит в стремлении изменить данное положение как более неприятное на другое, более приятное. То неодолимое влечение, которое аналогично навязчивым мыслям и наравне с ними относится психиатрами к психическим признакам вырождения. Влечение к сорокаградусному прометееву огню — это влечение к губельному наслаждению.

Есть два вида русских разговоров — за водкой и за чаем. Разговоры за водкой — душевные, за чаем — умственные. Лично я не люблю русских разговоров за чаем. За чаем можно говорить с англичанином, но не с русским. Максим Горький весьма точно заметил стремление малограмотных людей

к философствованию. Конечно, и за водкой русский человек любит помудрствовать. Но в отличие от разговоров за чаем, когда мудрствование это глупо и бессердечно, мудрствование за водкой всегда творчески и непредсказуемо. Болезненное состояние русского характера, развившегося под влиянием многовековой, навязанной властью имперской жизни, которое так метко схвачено и выписано Достоевским, это стремление подвергнуть самих себя унижению или каким-либо иным актам жестокости лежит в основе высокомерия и жестокости по отношению к другим. Водка оправдывает и смягчает это состояние, которое в трезвом виде, за чаем, бывает особенно ужасающе уродливо. Послушайте трезвых «русских мудрецов». Никогда пьяный русский человек, особенно из простонародья, не сможет так бесновато, мутно философствовать. Нет, лучше уж народная пьяная драка. Схватит за грудки, встряхнет, но, если почувствует в ответ слабинку, может, и отпустит. А если не отпустит, то хоть за голову схватится — что я натворил! «Трезвые» не отпустят и за голову не схватятся. Эти новые, «трезвые», именовавшие себя русскими христианскими социалистами, существовали уже в семнадцатом году, но тогда у них не было массовой опоры. Темные бедняцкие толпы, главным образом крестьянские, годятся для тирании восточного толка. Но социальному национализму требуется не раб, а сознательно воинствующий обыватель. Фашизм в России в семнадцатом году не имел никаких шансов на успех, потому что не было массовой мелкой буржуазии. Сейчас она появилась в разных современных вариациях. Особенно же пригоден для нацистского посева массовый завистливо-озлобленный националистический мелкий интеллигент. Я не хочу быть фаталистом и предсказывать неизбежность данного моего предчувствия. У национальной судьбы множество путей. Но если в Библии сущность Бога открывается через человеческое бытие, через отделение себя от окружающего мира, через личность, живущую по законам морали, то ведь и сущность дьявола можно открыть через окружающее бытие, через массового человека из этого бытия. Прав великий пессимист Шопенгауэр: созерцание реального предмета невозможно без фантазии, ибо при созерцании предмет утрачивает свои реальные черты.

Так, не без фантазии созерцал я сквозь стекло «Блинной» лица простых русских пьяных людей, которым в своей более чем четырехсотлетней имперской одиссее, может быть, придется пройти сквозь последний самоистребляющий соблазн трезвых, чаевничающих «русских мудрецов». Застрял я перед



витриной слишком уж надолго, на меня, кажется, уж начали поглядывать. К тому ж в который раз начинался дождь, шумела от ветра мокрая листва. Надо было либо уйти, либо войти.

2

Я опять толкнул запертую дверь посильней, она не поддалась. «Что за глупость,— подумалось,— на закрытое заведение как будто бы не похоже. Набор лиц за стеклом как будто бы не номенклатурный. Шутят, что ли, надо мной, специально дверь подперли?» Такие шутки, признаюсь, мне крайне не нравятся, я даже от таких шуток в ярость впасть могу и чувство самосохранения теряю. И вот в такой ярости начал я ломиться в закрытую дверь. Ломился до тех пор, пока меня не окликнули.

— Чего? Чего? — сердито прокричала в открытую форточку худая носатая официантка, точнее, уборщица грязной посуды, потому что видно было, «Блинная» работала на самообслуживании.— Залетный, видать... Зайди за угол...

Мы, люди, привыкшие к сложным размышлениям, самые простые детские решения обычно упускаем из виду. Оказывается, этот вход был просто заперт, наверно, давно, а открыты двери за углом. Легко войдя через угловые двери, я очутился в довольно грязном прокуренном помещении. Большинство столиков было без скатерок, два-три почему-то со скатерками, но ужасного вида. Не стоит продолжать описывать то, что описано уже лет триста пятьдесят тому назад и русскими публицистами, и зарубежными путешественниками. «Краль (царь), установитель монополии, бывает причина и участник и правовелитель греху народному», — писал один из путешественников, посетивший Русь семнадцатого века. И сейчас, как и триста пятьдесят — четыреста лет назад, сидели за столиками все те же «люди мелкого счастья», как именовал их серб-путешественник. Сидели там, где «и место и посуда свинского гнуснее», сидели «лакомы на питье». Все это меня не удивило, все это было ожидаемо. Удивило меня другое — как в таком грязном кабаке, именуемом «Блинная», все-таки жарили и подавали превосходные блинчики с мясом. В лучших ресторанах не ел я таких блинчиков, обжариваемых до румяной корочки, с тающим во рту фаршем из рубленых вареных яиц, риса и мяса. Зачем жарили здесь эти блинчики? Зачем их подавали на заплыванные столы или на смрадные вонючие скатерки? А если уж подавали, то отчего не вымыли помещение, не постелили хрустящие белоснежные скатерти,

на которых таким блинчикам место? В этих чудесных блинчиках на грязных скатертях была какая-то достоевщина, какой-то гоголевский шарж, какая-то тютчевская невозможность понять Россию умом.

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — в Россию можно только верить». Это тютчевское четверостишие, как и пушкинское «Клеветникам России», издавна как бы стихотворные программы «русских мудрецов». Да, бывают обстоятельства, бывают ситуации, когда русским умом Россию не понять. Я не имею в виду заведомо лживый ум «мудрецов». Но даже пушкинский, даже тютчевский ум, даже ум великих сатириков слишком уж внутри этой жизни, слишком ослеплен верой, слишком все меряет на свой аршин. Плодоносен пристальный взгляд, когда предмет не подавляет личность творящего, как подавил предмет взгляд Пушкина, пытавшегося кровавую расправу России с польским восстанием выдать за внутреннюю семейную ссору меж славянами, в которую Запад не должен вмешиваться. «Оставьте: это спор славян между собою, домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою... Кто устоит в неравном споре: кичливый лях или верный росс? Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? Вот вопрос».

И вот в наше итоговое время принудительно, рукотворно слились в русском море славянские ручьи, образовался огромный искусственный водоем-океан, который мелеет и иссякает. Особенно же мелеет и иссякает русская жизнь, русский национальный характер. Мелеть он начал не сегодня, не вчера, не позавчера, а более чем четыреста лет назад, когда был избран принудительный, рукотворный поворот чужих ручьев и рек в русское море. Понять это до конца может не взгляд изнутри, не русский ум, а скорей орлиный взгляд сверху, внешний взгляд Шопенгауэра или Шекспира, а то и скромный взгляд со стороны таких пасынков России, как я, когда прощальное созерцание подобно умиранию и когда видишь все вокруг в последний раз. Именно в таких случаях умирающим взором реальные предметы невозможно созерцать без фантазии, и созерцаемый предмет утрачивает свои реальные черты, обращаясь в символ. Как, например, эти русские ароматные блинчики на грязной вонючей скатерке, которые ел недалеко от меня руками какой-то, пока еще не слишком пьяный человек, хоть под ногами у него уже звенели две бутылки, когда он, изредка поворачиваясь, касался их. Я заметил, что у него маленькое лицо и огромные руки, не просто большие, а огромные, богатырские, как у Ильи Муромца.

Надо сказать, что, невзирая на созерцания и размышле-

ния, я к тому времени тоже выпил стакан водки и заел сложенной в одну тарелку тройной порцией блинчиков. Потому что, как верно заметил Карл Маркс, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, или, как говорил мой приятель, с русскими жить — по-русски пить. Действительно, пока я был трезв, то чувствовал себя совсем уж чужим, выпив же, как бы приобщился к обществу и даже более того — к родине. Может быть, это для пасынка единственный способ хоть ненадолго обрести родину — выпить в незнакомом простонародном обществе? Блаженное чувство, скажу вам. Хорошо так изредка посидеть самозванцем, темнотой, никогда не слышавшей об обременяющих разум Шекспире, Гете, Гейне, Софокле, Гомере — всех этих стервятниках, слетающих днем, а иногда и ночью клевать мою печень. Конечно, то, что я не местный, поняли, здесь все друг друга в лицо знают. Не местный, но свой. В обществе «русских мудрецов» так инкогнито «своим» не посидишь. У тех взгляд сыскной, полицейский. А эта пьяненькая простота не понимает, что как я ни блаженствую от временного слияния с родиной, все равно одновременно со стороны чужаком смотрю, за ними наблюдаю и за самим собой. Это трагическое чувство отверженного — быть и в мире и вне мира. Лермонтовский «печальный демон, дух изгнания». Пока ты в небесах, хочется ужасно быть человеком, но стоит очутиться среди людей, хочется быстрее назад, в бесчеловечные небеса. Эти пьяненькие не понимают, по плечу хлопают, но все равно мне не укрыться среди них, ибо я за собой наблюдаю получше сыскных «русских мудрецов». Где бы я ни был и что бы я ни делал, всегда мой собственный взгляд настороженно следит за мной, не дает мне покоя. Наверно, этим я и отличаюсь от остальных. Они, остальные, сами за собой не шпионят. Впрочем, «русские мудрецы» тут уж ни при чем. Мы иногда следуем дурному примеру наших недоброжелателей и во всех наших бедах обвиняем иных. Наверно, существуют все-таки какие-то выработанные веками нездоровой национальной жизни свойства национального характера, которые отделяют от иных. Вот подходит ко мне маленький, красноносый.

— Ты откуда?

Что-то придумываю.

— И я не местный,— почему-то обрадовался он,— я мужик полтавский, хороших девок люблю...

«Никогда мне так не сказать, не придумать,— с завистью сокрушаюсь я,— такое я могу только подслушать со стороны».

После второго стакана водки начинаю понимать полков-

ника-артиллериста, увиденного мной на речном вокзале,— с трудом удерживаю на плечах голову. Мне уже говорят: «Паша, друг». (Неужели я назвал себя Паша?) Я уже закусываю какой-то отвратительной кислой хлебной котлетой (а где же чудесные блинчики? Кончились? Или не было их? Все мираж?). Мне уже рассказывают.

— На свадьбе татарин моего отца в драке зарезал. Перед смертью отец просил на могиле его дерево посадить. Вишню просил посадить. Но не разрешили на кладбище вишню сажать.

— Только и слышишь — убью, убью,— ввязывается какой-то со стороны в разговор,— я до десяти лет хорошо жил, не слышал этого.

— А в каком году тебе десять лет было? — спрашиваю.

— Э, да ты юрист.— И отходит, похоже обидевшись.

«Надо бы поосторожней,— думаю,— хорошо, отошел... Вон неподалеку уже возятся, уже кровь течет».

Нельзя сказать, что я слишком слабонервен. Вид свободно текущей крови, и собственной и чужой, воспринимаю терпимо. Единственное исключение — кровь в сосуде, например в лабораторно-медицинской пробирке, особенно своя кровь, но и чужая тоже. При взятии анализа крови стараюсь не смотреть, становится дурно. А в данном случае как раз нечто подобное. Кровь из разбитого носа прямо в сосуд потекла, в стакан с водкой. От такого символа еще сильнее тошнит, чем от бороды, измазанной соусом. А тут как назло какая-то женщина, попрошайка, меж столиками ходит, бутылки собирает и, слышу, просит разрешения остатки с тарелок доесть. Гоголевских блинчиков, конечно, никто не оставил, макаронны да подливка поносная. За соседний столик села, с двух тарелок в одну сгребла, окурок в одной тарелке был, в соусе, так вынула и в мусорник выбросила. И есть стала. «Противно как, думаю, ко мне не подошла бы». Однако подходит.

— Нет,— говорю,— нет, иди,— говорю.

Сказал, видно, неубедительно — стоит. Я на нее глянул, маленькая такая блондинка, поношенная.

— Уйди,— говорю,— уйди.— И тошнота уже под горлом, котлета кислая проклятая. Тут богатырь мне на помощь дружески пришел, говорит попрошайке:

— Уйди, сапог проглотишь!

Красиво сказал. В силе ведь своя красота, которую вслед за Эпикуром ощутил Шопенгауэр. Красиво сказал, и никакого нет сомнения, что действительно может сапогом по лицу ударить. Красота, как родная сестра силы, языческая красота. Но сохранилось предание, апокриф об ужасном телесном

уродстве Иисуса Христа. Впоследствии в одном из немецких музеев я видел небольшую скульптуру периода темных веков, пятого или шестого,— Христос-ребенок. Удивительно уродливый, толстоносый еврейский мальчик. И Мария Магдалина, есть предположение, тоже особой красавицей не была. Чем-то, как мне показалось, похожа на эту прогнанную попрошайку, только не блондиночка, а рыжая.

Мне вдруг становится до потливости стыдно. Можно было, ничего не сказав, отвернуться, она б присела и вылизала остатки с тарелки. Это богатырь прогнал ее, чтоб угодить мне, для него необычному, непривычному чужаку. Хочу извиниться, но попрошайки уже нет. Выхожу из «Блинной» на улицу, и здесь ее нет, видно, слишком всерьез она приняла обещания богатыря. Богатырь выходит следом за мной, уж не может без меня, так я ему понравился. Догоняет, берет об руку. Держит дружески, однако не вырвешься. Так и идем вместе, и что делать, не знаю. Прохожих немного, и ни одного милиционера не вижу, потому нового своего друга стараюсь не сердить. Иду не знаю куда, уж не сам иду, а он меня, по сути, ведет. Прохожие, которые изредка попадаются, нас сторонятся, а какая-то бабушка с детской коляской вообще на другую сторону улицы перебежала. Коляска старого образца, плетенная из прутьев, как лукошко, я такую коляску вообще впервые вижу. А богатырь глянул на эту коляску — и в слезы.

— В такой,— говорит,— коляске и меня возили.

Догнал коляску (вернее, мы вместе догнали, поскольку он меня не отпускал), заглядывает внутрь и плачет.

Бабка говорит:

— Уйди, супостат, ты мне дите перепугаешь.

А он все успокоиться не может.

— Вот так,— говорит,— и я махонький лежал, и бабуленька меня возила.

Подобным образом самозабвенно рыдать только русский грешник может, и «клейкие листочки» вспомнит, и «слезиночку ребенка».

Перепуганная бабушка с коляской уж давно за углом скрылась, а богатырь все не может успокоиться, плачет, но руку мою не отпускает. Чем бы все кончилось, не знаю, однако вдруг богатырь, по причинам совершенно непонятным оставив меня, вошел в ближний бой с каким-то прохожим. «Ну,— думаю,— нокаут на первой минуте». Но и прохожий не лыком шит — снизу, снизу... Повалился богатырь на грязный газон и сразу захрапел по-медвежьи... Медведи, говорят, ужасно во время зимней спячки храпят. Но те хоть в теплой берлоге, а этот в грязи, на ветру, на холоде, с подби-

тым глазом—и так ужасно, уютно храпит. «Мне б,— думаю,— твой сон...»

Сплю я, разумеется, особенно последнее время, очень дурно. Мерещится всякое. Вот что-то померещилось, и поехал один в последний раз на Волгу. А зачем? Проститься? С кем? Оглядываюсь. Вокруг предпраздничная пьянь. Кажется, завтра какой-то праздник, День рыбака, что ли? Будни серы, хочется праздников. За любой праздник судорожно хватается народ, суется народ. Сажусь в переполненный автобус. Возле меня редкозубый, седой, всех задирает, лицо злое.

— Куда прешь?! Что? Женщина? Женщин вперед пропускать? Разве ты женщина? Ты кобыла.

— Да, кобыла,— отвечает женщина лет пятидесяти, в вязаной шапочке, грубое простонародное городское лицо,—если б я была женщина, я б не работала...

Едем. Минут через пять остановка, влезла старушка и наступила какому-то парню на ногу. Парень худой, долговязый.

— По затылку ей,— говорит парень,— старухе этой...

Настроение редкозубого неожиданно меняется, он урезонивает скандалиста, лицо теперь масляное.

— Нехорошо... Бабке по затылку, нехорошо...— Оборачивается ко мне, смеется.— Это народ поддавший... Если б трезвый, разве так бы говорил?

«Ах Боже мой,— думаю я, вылезая из автобуса,— злые, несчастные, беспризорные дети, и чувства детские— то злятся, то веселятся, то плачут, то смеются».

Проехал я недалеко, узнав в автобусное окно местность у речного вокзала. Вон вдали виднеется знакомый уж мне городской березовый парк над обрывом. Берег здесь высок, сажусь на скамейку у срезанного откоса. Смотрю вдаль. Вся громадная пойма, широкая долина реки разлилась, сколько глаз хватает. «Неужели люди,— думаю,— суеящиеся рядом в нескольких метрах от этой природной широты, не замечают ее, не слышат этого мощного, хоть и беззвучного хорала, не сверяют с ним своего звучания, пиликают на своих визгливых гармошечках, дудят в свои дудочки? Главного, чего нам не хватает, это разумного понимания жизни, чуткости к впечатлениям бытия, в конце концов, обычного страха Божия... Может быть, этому поучиться у детей, у тех детей, которые еще не успели постареть. Эти люди-дети могли бы нас многому разумному научить. Говорят, дети в своих играх подражают взрослым. Неправда. Взрослые в своих якобы серьезных деяниях на самом деле подражают детским играм, но делают это более глупо и менее искренне, как сейчас в автобусе. Ведь де-

ти старше взрослых, из каждого ребенка только лет через двадцать появится взрослый. Конечно, он уносит с собой воспоминания, опыт детства, но нет того удивления бытием, той жадности к неиспытанному, о которых говорил, кажется, Бодлер или Эдгар По и которые доступны только первооткрывателям, но не доступны подражателям».

Так, глядя на волжскую широту, я постепенно трезвею от навеванных этой широтой мыслей. Я чувствую, как легче становится и сердцу моему, и желудку. Пищевой ком, вынесенный мной в кишечнике из «Блинной», уж раздроблен на части, и чудесные блинчики и отвратительная кислая котлета одинаково подверглись химическому расщеплению, уж нет между ними разницы в том далеком, потустороннем, внутриутробном мире. Мы живем зажатые в тесном промежутке меж необъятностью внешнего мира и внутриутробным космосом. Все эти железы, кишки, мозговые пузыри, сердечные клапаны так же далеки от нас, как звездные галактики. Все это не наше, все это нам не принадлежит, даже наше сердце нам не принадлежит. Нам принадлежит только то, что неосознаемо и невидимо, только воздух, только душа, только Бог... О, этот вечный спор между сердцем и душой...

Если сердце вдруг останавливается,  
На душе беспокойно и весело,  
Точно сердце с кем-то уславливается,  
А жизнь свой лик завесила.  
Но вдруг — нет свершенья, новый круг,  
Сердце тронуло о порог,  
Перешло — и вновь толчок,  
И стучит, стучит спеша,  
И опять болит душа,  
И опять над ней закон  
Чисел, сроков и времен.  
Кровь бежит, темно звеня.  
Нету ночи, нету дня...

Это, кажется, Бальмонт... Нет, это все-таки не Бальмонт, а Зинаида Гиппиус... Бальмонт — это: «Я мечтою ловил уходящие тени, уходящие тени погасавшего дня...» Или:

Пять чувств — дорога лжи. Но есть восторг экстаза,  
Когда нам истина сама собой видна,  
Тогда таинственно для дремлющего глаза  
Горит укорами ночная глубина...  
В душе у каждого есть мир незримых чар,  
Как в каждом дереве зеленом есть пожар,  
Еще не вспыхнувший, но ждущий пробужденья.  
Коснись до тайных сил, шатни тот мир, что спит,  
И, дрогнув радостно от счастья возрожденья,  
Тебя неожиданное так ярко ослепит.

«Реалисты всегда являются простыми наблюдателями,— сказал Бальмонт,— символисты всегда мыслители». Но для того, чтоб предмет утрачивал свои реальные черты и перерастал в символ, нужно не наблюдать, а по-шопенгауэровски созерцать, нужен взгляд пессимиста. Однако постоянная тьма тяжела и принадлежащей нам душе, и не принадлежащему нам сердцу. Можно ли вслед за Федором Сологубом постоянно восклицать: «О смерть! Я твой. Повсюду вижу одну тебя — и ненавижу очарования земли»? Положите на одни весы все вечные истины-символы и очарование от этого волжского вида, повеселевшего от пробившегося наконец сквозь тучи солнца, отчего радостней зазвучали голоса птиц и детей... Что перевесит? Это зависит от того, какой в данный момент вокруг нас мир — ночной или дневной, чего жаждет в данный момент наша душа — тьмы или света. Во тьме нам нужны истины-символы, а на свету — солнечные радости и детские голоса. Человеческое чувство циклично, как перестук сердца. После света нужна тьма, после тьмы — свет. В данный момент после тьмы мне нужен свет, и я с глупеньким умилением слушаю голоса играющих неподалеку детей.

— Компотик мы возьмем из той лужицы, а супчик из той.

Две светло-рыженькие девочки, я вначале даже думал, близнецы, нет, пригляделся — личики разные, но волосы абсолютно одинаковые и причесаны одинаково, с косичками торчком, компотик набирают чайной ложечкой в детскую кастрюльку. И темно-русый мальчик, носатенький мальчик, так смешно, так замечательно торчит у него носик, балансируя, расставив ручки, идет по извивающемуся вдоль набережной парапету, каменному невысокому забору-ограждению. Живой, общительный мальчик. Таким, судя по отзывам, был и Феденька Достоевский в детстве. Почему-то так подумалось. Детки ведь прекрасные аналитики, тончайшие психологи. Всякий символизм, всякая законченность им глубоко чужды. Это уж потом мы, взрослые, становимся символистами, чтоб властвовать над миром, которого не понимаем. Недаром Федор Михайлович так любил деток. В этой мертвой, постоянно застывающей в символы жизни детки — единственная живая сила. Начало начал, далекое от конца-символа.

Сiju, терзаемый всеми этими мыслями, и смотрю, как движется по парапету, расставив ручки, балансируя, русоголовый Феденька. Думаю: если дойдет благополучно до конца парапета, то пойму нечто новое, нечто важное из этих своих размышлений. Парапет длинный, извивается. Повернул Феденька за угол и скрылся. Я со скамейки встал и следом за ним — осторожно, чтоб себя не обнаружить. В кусты за-



брался, в колючки — и наблюдаю. Вот-вот дойдет Феденька до конца парапета, упирающегося в стену, вот-вот пойму я нечто, в одну минуту пойму какую-то неразрешимую загадку жизни, над которой мучился все отпущенное ему земное время Федор Михайлович. Однако парапет мокрый после дождя, уж несколько раз Феденька начинал, балансируя, особенно сильно махать ручками. Прямо сердце мое замирает — упадет. Но не падает, идет. Уж совсем близко до стены. И вдруг свалился. Я от досады даже губу прикусил до крови — значит, не пойму ничего. А Феденька с земли поднялся, на ножки встал, оглянулся — вокруг никого, меня он в кустах видеть не мог — и говорит сам себе так мило по-детски и так глубоко аналитически:

— А я не упал.

Ну попробуй изучи символ, попробуй избавься от него. Только почувствуешь живой аналитический зуд, как сразу символический тупик. Опять мысль обрезана, опять мысль остановлена. Тем более что кто-то окликнул меня милицейским голосом:

— Ну-ка, сукин пес, выходи из кустов.

Вышел, нащупывая в кармане удостоверение личности. Не милиционер, доброхот, но лицо милицейское, похоже, отставник. Морду его описывать не буду, чтоб не терять время. Тем более что вообразить ее нетрудно. Выстрелил в меня свинцово-серыми глазами, прямо в упор, в лицо, потом еще раз в грудь, в корпус. Лицо мое, вижу, ему понравилось — для расстрела пригодное, но корпус в хорошем столичном плаще, черт его разберет, по нынешним временам кто такой. Поэтому продолжил без прежней злости, но строго предупредительно:

— Гражданин, здесь в кустах спать запрещено. Штраф десять рублей.

И пошел прочь, не дожидаясь моего ответа, угрожая мне крепким затылком. Ну попробуй избавься от символов. В нашей жизни так мало простора для анализа, на каждом шагу символы-запреты. Только детки постоянно анализируют, смешные глупые деточки, которых так любил Федор Михайлович и которыми он пытался уравновесить то отвратительное и ужасное, что, не будь этих деточек, могло довести душевную муку до обрывистого края.

Возвращаюсь назад на свою скамейку, наблюдаю за игрой двух рыженьких девочек. Они на меня тоже обратили внимание, перешептываются, поглядывают в мою сторону. Потом одна из них подходит, смотрит голубеньким, спрашивает время. Я смотрю на часы — отвечаю. Подходит и вто-

рая. Вблизи они совсем не похожи. Одна белолицая, другая конопатенькая. Даю им по конфете, случайно завалившихся в кармане плаща. Одна конфета — «грильяж» — достается конопатенькой, другая — «мишка косолапый» — достается белолицей. Садятся рядом со мной на скамейку, о чем-то перешептываются, пересмеиваются. Разворачивают конфеты, обмениваются обертками-фантиками, потом переламывают конфеты пополам, обмениваются половинками. Боже мой, действительно, дети — бальзам, врачующий душевные раны. С одной стороны, врачующие, но с другой стороны, растрavляющие. Особенно дети-женщины... Вот эта смотрит голубеньким, а эта зелененьким. Совсем по-кошачьи смотрит...

Для тех, кто мучается и страдает из-за несогласия с обществом, еще возможны поиски спасительного пути, но мучения Свидригайлова выхода не имеют. Это Федор Михайлович твердо знал, потому что тут не унижение, не оскорбление, а соблазн в его чистом виде, первородный, не замутненный историей.

Две чудесные райские мучительницы сидят рядом со мной, пересмеиваются, мудрые, как две змейки. Я знаю, что в полной их власти, особенно когда молча пересмеиваются и поглядывают то голубым, то зеленым. Но, к счастью, они меня помиловали, заговорили по-ребячьи глупенько.

— Дядя, а на войне хорошо? — спросила вдруг меня голубенькая.

— Кто тебе это сказал? — отвечаю уже покровительственно, как взрослый ребенку.

— Да, на войне можно и поесть вкусненько, и поспать... Так — пах, пах, пах — и опять поспать...

— Знаешь, сколько таких детей война убила, — говорю я, — и еще меньше тебя...

— Еще меньше? — удивляется зелененькая. — Лучше бы взрослых детей убивали...

«Совсем по Федору Михайловичу, — думаю, — жизнь любить больше, чем смысл ее... Символ-смысл детки отвергают».

В это время подбегает мой Феденька.

— Шурка, Клавка! — кричит он девочкам. — Побежали в сумасшедшую камни бросать!

— Виталька, — спрашивает голубенькая моего Феденьку, — а Сережка будет? Без Сережки страшно. Сумасшедшая палкой дерется.

— Сережка будет, — отвечает Виталька-Феденька, — сейчас Сережка футбол гонять кончит, и пойдем.

Сережка, как я понял, старший брат Витальки-Феденьки, подросток. Детки побежали, я следом за ними пошел и Сережку увидел, узнал, потому что очень на Витальку-Феденьку похож. Однако как похож? Что в Феденьке мило, то в Сережке отвратительно. Тот же Феденькин нос торчит воинственно из прыщавого лица, те же глаза, не веселенькие, а озорнохулиганские, темно-русые волосы длинные, по плечи, несмотря на холод, рубашка расстёгнута, и на вспотевшей от футбольной беготни груди большой православный крест, насмешка и над атеизмом и над религией, потому что, играя в футбол с крестом на груди, он сопровождал игру таким матом, какого я и в «Блинной» среди взрослых алкоголиков не слышал. Сам по себе Сережка был символом, запирающим мысль, ведь ничего о нем своеобразного, нового сказать нельзя было, кроме того, что это в чистом виде русский хулиган, очевидно, бесчувственно-жестокий, бродящий по российским улицам главным образом в стае. Но сейчас он развлекался, играл и был, кажется, не слишком опасен, тем более рядом с похожим на него смешным милым братиком, который его отчасти очеловечивал какими-то общими чертами. Правда, схожесть эта имела воздействие и на младшего братика Витальку-Феденьку, показывая, из какой голубой дымки, из какой былинной шелковистой травки, из какого братца-козленочка растут российские серые волки. Недавно я слышал по телевизору в одной из морально-воспитательных передач, как такая компания деревенских ребятишек, подростков и их младших братиков, удавила деревенскую Жучку. Перетянули ей горло проволокой, подожгли на ней шерсть, а потом с веселыми криками оторвали ей лапы. У Федора Михайловича описано нечто подобное, только там мальчик Коля подсовывает Жучке в еду иголку, а потом вокруг этого строится целая моральная концепция с христианским раскаянием, со слезиночкой ребеночка и прочим мармеладом... Я думаю, морально-педагогическое слово здесь бессильно и излишне, тем более христианский мармелад. Здесь нужен хороший кнутик, кнут, который глубоко через кожу в мясо проникает, старый добрый кнут, осмеянный и проклятый разноликими «гуманистами». Что же еще может помочь мальчику Коленьке, который голодной собачке иголку в пищу положил, а потом плакал, заливался по этому поводу сахарными слезами? Те нынешние деревенские ребятки, которые садистски убивали Жучку, удовлетворяя свое возбужденное ранним онанизмом

половое чувство, хоть не плакали сахарно и речей христианских гуманистов не слушали. В своем бездушии хоть чужие души не смущали. Существуют явления ясные, плоские, к которым относятся и садистские преступления, вполне изученные медициной. Придавать им третье измерение, философский смысл — значит смутить, дезориентировать и соблазнить «малых сих». Федор Михайлович Достоевский обращается с идеями и чувствами так же, как обращается с ядами и радиоактивными веществами ученый-теоретик. Он их смешивает и соединяет в непозволительных для обычной жизни пропорциях. В этом его ценность как теоретика, но делать из экспериментатора учителя жизни так же опасно, как выносить в не защищенную стеклом лабораторию угрожающие жизни яды и радиоактивные вещества. Сам ощущая, а может, и понимая это, Федор Михайлович, чтоб распутать безнадежно запутанную нить, насильственно вмешивался в судьбу своих героев, как верно заметил один из старых критиков, подобно механической силе со стороны, спасая от отравления своими идеями. Ни эту ли механическую силу апологеты Достоевского принимают за пророчество? Не так ли кается Раскольников, не так ли говорит речь Алеша над могилкой Коленьки-садиста?

Когда я начинаю размышлять, то словно засыпаю, иногда даже на ходу, и мои мысли мне словно бы снятся, а окружающая жизнь, которая какой-нибудь деталью вызывает поток этих мыслей, словно бы исчезает. Я уже оказывался из-за этого своего свойства в смешном положении, говорил в неподходящем месте какие-то слова вслух, как говорят во сне. Вот и сейчас что-то сказал вслух и проснулся оттого, что дети смеются. Колечка, то есть Сережа, смотрит на меня озорно. Я с подобным озорством знаком, когда глаза свечечками полыхают, открытыми жгущими огоньками. «Он,— думаю,— ниже меня ростом, может головой в зубы ударить, не из-за денег, как где-нибудь в Нью-Йорке, а бескорыстно, оттого, что просто ему не понравился. Если,— думаю,— сейчас закурить попросит, значит, решился ударить». И во мне вдруг ненависть поднялась, навеянная теоретическими размышлениями во сне. «Кажется,— думаю,— я его связкой ключей в рожу ударю». Сережа, кажется, эти мысли мои прочитал, они понятливые в таких делах. Если б их с десятков было, то, может быть, и кинулся вместе с ними просто так, ради удовольствия, а один на один не решился.

— Давай,— говорит,— ребята, в сумасшедшую камни бросать.

И побежали куда-то в сторону ватагой, малые сзади, а Се-

режа впереди. Мне б уйти от греха подальше, а я за ними. Протрезвь-то я протрезвел, но все-таки еще чувства после алкоголя обострены, как говорят, сам на рожон лезу. Пошел быстрым шагом и успел заметить, что они куда-то вниз бегут по пологому откосу, а потом уж на крики ориентировался. Слышу снизу веселые крики и смех. «Значит,— думаю,— детки уже камни бросают». Пошел совсем уж быстро, почти бегом,— действительно бросают, Сережа умело, а малые детки кое-как, их камни не долетают, потому что кидают издалека, видно, опасаются палки, с которой в отдалении женщина стоит. «Да ведь это та попрошайка из «Блинной»,— думаю. Сережа на нее матом, а она ему по-своему отвечает.

— Болтушка,— говорит,— пельмень свистящий.

Так мне слова эти ее понравились, и Сережин подростковый мат тошнотворным показался. И младший братик Виталька-Феденька подражает, сюсюкает.

— Сюка, сюка, блядская...

У моих соседей в Москве мальчик тоже ругается, еще меньше Феденьки, лет пять ему. Захожу как-то к ним, а мальчик за шкафом играет, на плюшевого олимпийского мишку зонтиком замахивается.

— Ах ты, падло,— говорит,— ах ты, падло.

И смешно и противно. Шагнул я к Сереже.

— Крест носишь,— говорю.

— Ношу,— отвечает с вызовом,— потому что меня крестили.

А я этот нелогично начатый диалог нелогично и продолжаю:

— Пошел вон, говнюк, отсюда, а то рожу расквашу.

Он на меня глянул, оценил.

— Эх ты,— говорит,— Гад Моисеевич, здоровый ты, думаешь? А знаешь, что силу можно кое-чем заменить?— И достает из кармана большой складной нож, открывает лезвие, прикладывает к вытянутым пальцам левой своей ладони— вот на четыре пальца с кончиком, как раз до сердца...

Беда нам, интеллигентам, с нашей творческой фантазией, с делающим нас слабыми воображением. На редкость ясно представил я вдруг себе это лезвие у меня между ребер. «Пока «скорая помощь» появится,— думаю,— кровью истеку... Нужно тебе все это было перед самым отъездом...» Чувствую, под коленями слабею, и даже думаю: не побежать ли прочь, пока не ослабел совсем? Однако тут опять воображение помогло, на этот раз укрепило. Представил себе, как побегу позорно в своем модном столичном плаще, а этот, в курточке, маленький, за мной гнаться будет и, может быть, даже уда-

рит ногой под зад под смех малых деток. Представил, как буду мучиться от этого своего позора. Хоть никто из знакомых не видит, знать не может, но я-то знать буду и, проснувшись ночами, буду мучиться. Представил себе этот ужас и не побегал, а даже тяжелую связку ключей достал в противовес ножу. Очень это страшно, скажу я вам, стоять так в одиночестве, непрофессионально против уличного ножа, но какое-то безумство храбрых вдруг мной овладело. Именно безумство. «Надо,— думаю,— стать боком и локтем прикрыть сердце, где-то это я читал в какой-то книжке...» Чем бы это все кончилось, не знаю, но вдруг, воспользовавшись нашим противостоянием, женщина приблизилась и Сережу палкой по руке да по спине несколько раз. Твердой рукой ударила, не по-женски как-то, умело. Сережа крикнул, нож выронил и побегал прочь со своей ватагой. «Опять символ,— думаю,— та, которую я хотел защитить, меня защитила. Помнит ли она меня в «Блинной», где я ее от столика прогнал? Будем надеяться, не помнит. Нищий ведь царственно безлико воспринимает толпу, его питающую. Видит только руки подающих, но не видит лиц. А руку мою она запомнить не могла, потому что я не подал». Думая таким образом, прихожу в себя от страха, от грозившей мне опасности.

Оглядываюсь и как бы впервые замечаю окружающую местность. Совсем рядом дебаркадер, пристань, куда я с парохода высадился. Вон и речной вокзал далеко под небом, вон и березовый парк темнеет на обрыве. Это что ж, опять по лестнице вверх? Впрочем, и по откосу, оказывается, можно, но гораздо дольше идти придется. Вниз-то я быстро сошел, а наверх дольше придется. И только я так подумал, как усталость почувствовал, запестрело в глазах от хлопотливо проведенного дня, ноги ватные стали, спина свинцовая, сесть бы хоть ненадолго, посидеть... Да куда сядешь? Грязь, холод... Наверно, вся эта усталость у меня на лице была, потому что женщина говорит:

— Пойдемте ко мне, посидите, отдохнете.

Ответить на ее приглашение я не успел, потому что опять детки прибежали. Виталька-Феденька и девочки. Видно, Сережа послал ножик подобрать. Ножик Виталька-Феденька подобрал, а потом выстроились детки и закричали напевно, хоть и вразной знакомое мне с моих детских лет, передающееся из поколения в поколение бессмертное творение какого-то малолетнего Гомера: «Обезьяна без кармана потеряла кошелек, а милиция поймала, посадила на горшок».

— Вот я вас,— крикнула женщина и схватила палку.

Побежали детки прочь, затих вдали их смех. Затихло все.

— Пойдемте ко мне,— опять предложила женщина.

— А вы живете здесь?— спрашиваю.

— Нет,— отвечает,— но я здесь устроилась.

Пригляделся я к ней впервые повнимательней. Маленькая блондиночка, когда-то красивая, пожалуй, была. Пожалуй, и сейчас кое-что от красоты осталось, но замученная, бледная. «Что-то в ней от русалки,— думаю,— русалки ведь не речные нимфы, как иные предполагают, и названы они не от слова «русло», а от русый, то есть по-старославянски— светлый, ясный». Была она какая-то действительно светлая, ясная, и глаза, и волосы, и кожа— все почти одного цвета.

Есть на Волге в самых верховых местах вода еще чистая, и старенькие речные колесные пароходики запасаются ею для питания паровых котлов, потому что она не образует накипи и не разъедает стенки котлов. Я с другом моим в свое время согласно старому волжскому атласу посетил самое верховье, откуда величайшая река Европы истекает. А истекает она из колодца среди торфяного болота. Над колодцем древняя часовня у деревни Верхне-Волгино. Вообще-то много там чистых ключей, колодцев, маленьких речек, и как-то весной мы попали на празднование русальной недели. Местные жители верят, что русалки— это души детей, умерших без крещения. Впрочем, праздник этот не христианский, а давний, языческий, когда славяне все умирали без крещения и все их души становились русалками. Мне вдруг показалось, что женщина эта оттуда, с самого доимперского верховья, из коренных московитов, которые, подобно американским индейцам, чужаки на собственной земле, в чужой, монголо-татарской России. В этом она показалась мне близка, я тоже чувствовал себя родившимся без родины и имел в Москве не дом, а жилище. Может быть, поэтому у меня глаза взмокли и сердце засосало, когда я увидел жилище этой женщины на дебаркадере. А она себе устроила настоящее жилище под каким-то навесом, среди холода и грязи. Особенно меня поразили цветочки, которые она в стакане поставила у изголовья постели, состоящей из какого-то тряпья— на мешковине кофта, платок, еще что-то. Обыкновенные полевые цветочки, которые я видел во множестве растущими в запущенном березовом парке и на обочинах. Но среди них была одна белая роза, уже почти увядшая, очевидно, кем-то выброшенная и заботливо подобранная русалкой. Да, в ней было русалочье, что-то в ней мне показалось прекрасным, но безжизненным, бледным, грешным.

— Садись сюда,— сказала она мне на «ты», видно, уже

признав за своего и указав на какой-то ящик, который служил ей креслом,— а я здесь посижу.— И уселась на чемодан.

Было с ней два чемодана, помятых и потертых, хорошей, кстати, кожи, но отслуживших свой срок, наверно, тоже кем-то выброшенных и ею подобранных.

— Тебя как звать?— спросила она меня.

«Что ответить,— подумал,— не знакомиться же все-таки всерьез. Все-таки всерьез— это нелепо и глупо». Есть такая пошловатая интеллигентская шуточка: «Зови меня просто Вася». Так и сказал— Вася. Думаю, глянет на меня, поймет, что шутка, шутливая игра. А она на меня глянула и ничего не поняла.

— Васенька,— говорит,— имя какое хорошее у тебя. А меня Люба зовут. Знаешь такую песню...— И вдруг запела негромко хорошим голосом, но с простудной хрипотцой:— «Нет на свете краше нашей Любы, русы косы обвивают стан...» У меня тоже была коса до пояса... «Как кораллы, розовые губы, и в глазах бездонный океан. Люба-Любушка, Любушка-голубушка, сердце Любы-Любушки в любви...» Эх, Васенька, я когда молоденькая была, хорошо жила...

— А тебе сейчас сколько, если не секрет?— спросил я умышленно фривольно, по-прежнему ведя свою шутливую линию, чтоб остановить, чтоб прервать нелепую душевную близость с нищей русалкой.

— Я уже старуха, Васенька, мне сорок три года, а лучшие годики я потеряла, лучшие годики отсидела... Пятнадцать лет.

«Обычная история,— подумал я,— обычная история наших дней, даже скучно, еще одна невинная жертва».

— За что ж ты сидела, Люба?— спросил я, заранее готовясь услышать очередной рассказ о незаконных репрессиях.

— Убила я, Васенька,— ответила Люба просто и коротко.

От такого простого ответа мне даже не по себе стало. Нет, шутливого разговора не получалось. Я глянул на Любу впервые серьезно и с тревогой.

— Кого ж ты убила?

— Человека убила... Да ты, Васенька, не бойся,— сказала она, очевидно, заметив мое волнение и беспокойство,— я не разбойница. Я свекровь свою убила качалкой... Муж, Петя, меня обожал, на руках носил. На руки возьмет и носит. А свекор и свекровь... Не так свекор, как свекровь. Свекор под ее дудку плясал. Знаешь, как поется: «Свекор и свекровь лютые, золовки суетливые, деверья пересмешливые, да все не ласковые. Эх, да слезы горячи, как река, льются, не наполнишь ты синя моря слезами...» Вот так и я, Васенька, сколько перепла-



кала... Один Петя меня любил, но он против всех, особенно против матери своей идти не мог...

«Вариации на сюжет Островского, — подумалось мне, — из драмы «Гроза», здесь же, на волжских берегах, разыгравшейся... Много ли их, вариаций семейной жизни российской, темного омута, глубины глубин? Там самоубийца, тут убийца — лучи света в темном царстве».

— Ты что задумался, Васенька? — прервала Люба мои размышления. — Осуждаешь меня?

— Нет, почему ж, — видно, ты убила случайно.

— Случайно, Васенька, случайно. Тесто катали, пироги к празднику... Начала свекровь опять мной понукать, не выдержала я. Не хотела, а вышло. Раз только ударила, да по виску. Целила по голове, а свекровь вывернулась как-то, и я по виску ей попала.

— Родные у тебя есть? — спросил я, чтоб как-то поменять тему, тягостную и Любе и мне.

— Родных у меня много... Отец, мать, братья, сестры... В Горьком живут и в Ленинграде.

— Помогают они тебе?

— Да, они жалеют меня, что я такая несчастная. — И тут улыбнулась впервые.

До того говорила все серьезно, понуро, даже пела понуро, а тут улыбнулась. Когда улыбнулась, лицо осветилось, и я поверил, что когда-то молодой она была красива, даже очень красива. И сейчас еще у нее чудный овал лица, маленькие ушки, чуть кверху вздернутый правильной формы нос. И фигура у нее, кажется, еще сохранилась, в фигуре у нее осталось зовущее. Даже здесь, в грязи... Однако это не Смердящая Достоевского... Нет, скорей вспоминается Бодлер:

Есть запах девственный,  
Как луч он чист и светел,  
Как тело детское,  
Высокий звук гобоя.  
И есть торжественно-развратный аромат.  
Слиянье ладана и амбры и бензоа.  
В нем бесконечное доступно вдруг для нас.  
В нем лучших дум восторг  
И лучших чувств экстаз.

Душевно возбужденный Бодлером, я ощущал, как в лице Любы, в ее фигуре, в ее движениях попрунная красота, попрунная женская сила пробивается сквозь грязь, сквозь гноище.

— Когда я вышла из лагеря, — рассказывала Люба, — муж мой, Петя, ко мне... Нет, говорю, у тебя другая жена, де-

ти... Пошла в колхоз... Там вышла за Ванечку. Он телят сторожит, тридцать рублей в месяц получает, мой Ванечка. Ой, Васенька, ты б Ванечку увидел, какой у меня Ванечка...

Она все светлела, все светлела лицом, приглашая меня порадоваться за ее хорошего Ванечку. Я понял, что женская ее бодлеровская сила целомудренна и принадлежит только Ванечке.

— Мой Ванечка как из песни.— И пропела:— «Но настанет время и для Любы, и кудрявый, ласковый такой поцелует Любушкины губы и обнимет ласковой рукой...» Я в лагере хорошие песни выучила, и все у меня по песне вышло,— продолжала охотно, радостно говорить Люба, видно, что про Ванечку любила говорить.— Вот еще есть такая песенка, называется «Ванечка, приходи».

Ванечка, приходи ты ко мне вечерком,  
Темно будет, ко мне пробирайся тайком.  
Ты в окошко постучи, отца-матерь не буди.  
Сама отворю, да и поведу,  
Мне колечко принеси да гостинца захвати.  
Будем мы болтать да и пировать.  
Ты на мне за то женись или сразу отвяжись.  
Не обманывай да не забывай.  
Всем, что есть у меня, я тебя угощу,  
Никуда я тебя до зари не отпущу.

Такой у меня Ванечка, так мы с ним любимся... Но деревенский он, а я городская. Я городскую жизнь люблю, да не хватает денег в город ездить. Один раз в месяц в город еду. Если б хоть два раза можно было бы. Раньше паспорта не было, совсем худо было, а теперь ничего... Вот только на обратный билет мне не хватает. Приехала, не удержалась, Ванечке красивый картуз купила ко дню рождения. Я знаешь, Васенька, у алкоголиков бутылки собираю... Их вон у меня сколько, смотри.

Я глянул в угол за чемодан — действительно, в углу стояло много бутылок.

— Их у меня уж сколько,— начала подсчитывать,— на семь восемьдесят бутылок уж собрала,— взяла газету, начала на ней писать карандашом, подсчитывать.— Верно, семь восемьдесят. Если утром сдам бутылки, то уеду, а нет, еще сутки буду. Милиция приходила — сутки здесь оставаться разрешила... Вот только огольцы досаждают, камни бросают, дразнят. Спасибо, Васечка, ты мне помог.

Говорила обо всем Люба спокойно, с достоинством, как об обыденных, простых вещах.

— А сама, Люба, ты не пьешь?— спросил я, глядя, как она пересчитывает бутылки.

— Нет, я не пью,— ответила она,— но с двенадцати лет курю. Если бы пила, то все б пропила...

— А что ж у тебя есть пропивать?— не удержался я и тут же пожалел, что спросил, потому что Любу, кажется, мой вопрос задел.

— У меня, Вася, многое есть... Вот смотри,— она завозилась с ржавыми замками чемодана, открыла,— ах, это не здесь, это в другом...

Чемодан был набит нарезанным хлебом, кусками разного сорта.

— Это не здесь,— повторила она, торопливо захлопывая чемодан, видно, устыдившись, что невольно показала мне хлебные куски.— Ты думаешь, Вася, я это на мусорнике собрала? Нет, у меня зубы слабые. Я мякоть выем, а корки посушу и Ванечке в деревню... Раньше я и по мусорникам,— добавила она, помолчав.— Бывало всякое.— И снова замолчала.

Молчал и я, вспомнив, как сегодня в блинной она собирала с тарелок недоеденный алкоголиками отвратительный макаронный гарнир, в котором торчали окурки, и ела его, вызывая у меня брезгливость. Жизнь,— думал я,— жизнь, да, жизнь...— И ничего не мог сейчас придумать, кроме этого тревожного слова, кроме этого терзающего сердце слова, кроме этого темного, холодного, как волжский омут, слова.— Вся беда в том,— думал я, отвернувшись, осторожно касаясь пальцем мокрых ресниц,— вся беда в том, что ближе всего к непонятному слову «жизнь» понятное, мелкое, шулерско-картежное слово — «удача»... У Шекспира в 124-м сонете... Да, это сонет 124-й:

О, будь моя любовь — дитя удачи,  
Дочь времени, рожденная без прав,—  
Судьба могла бы место ей назначить  
В своем венке иль в куче сорных трав.

Эта женщина из сорных трав могла бы быть вплетена в лучший венок, если б гнусное, липкое, воровское слово «удача» не распорядилось бы по-иному ее судьбой.

— Смотри, Вася,— говорила Люба, открывая другой чемодан,— у меня многое есть... Труссы, юбка...

Сидела она в чулках и, заметив, что я обратил на это внимание, сказала:

— Туфли у меня есть новые, но я много ходила, устала, пусть ноги отдохнут.

Туфли же ее стояли неподалеку, рваные, со стоптанными почти до подошвы каблуками.

Я дал ей два рубля. Она взяла их без всякого удивления, хоть, судя по всему, ей не очень подавали, и она к этому вроде бы не привыкла.

— Пойду водички попью,— сказала Люба и, не поблагодарив, пошла.

В ее отсутствие я опять оглядел Любин уют на дебаркаде и заметил на Любиной постели куклу, поношенную, потертую, наверно, тоже кем-то выброшенную и ею подобранную, как и иное ее имущество. Я взял куклу, поглядел в ее веселые рисованные глаза. Порванное кукольное платье было аккуратно зашито. «Может, все-таки сумасшедшая»,— подумалось мне. В этот момент Люба вернулась и заметила куклу в моих руках.

— Это Катенька,— сказала она, беря у меня куклу, прижимая ее к груди,— я с ней сплю, я так привыкла... У меня с Ванечкой детишек нету... В молодости с Петей у меня случился выкидыш, и вот теперь детишек нету.

«Нет, не сумасшедшая,— подумал я,— просто потусторонняя. Русалка, выброшенная на берег». О себе она много рассказывала, а обо мне не спрашивала, кто я и откуда. Поэтому я решил хоть несколько слов сказать о себе, чтоб наша беседа не совсем уж выглядела односторонним допросом. Я сказал, что живу в Москве, приехал сюда по своим делам и жду теплохода на Астрахань, но из-за непогоды, как мне сказали, теплоход прибудет только вечером. Люба вполне удовлетворилась скухими сведениями обо мне, не стала допытываться подробностей, лишь сказала:

— Теплоход может и вечером не прийти. Тут, бывает, сутками пассажиры сидят в непогоду. Я тебе, Вася, вот какой совет хочу дать. Езжай-ка ты, Вася, рейсовым катером на другой, луговой берег, прямо к пристани Башмаковка... Есть еще Нижняя Башмаковка возле Астрахани, а это наша, Верхняя Башмаковка, деревня моя. Там ни каменных гряд, ни мелей, оттуда скорей уедешь.

Такой совет меня обрадовал, поскольку я начал волноваться, поспею ли в Астрахань на свой самолет. Разумней всего было б вернуться назад в верховье, в Тверь-Калинин, откуда поездом до Москвы совсем не долго, но уж билет на самолет из Астрахани оплачен, да и вообще, раз задумал последнюю поездку по Волге, надо довести ее до конца.

— Время которое, Вася?— спросила меня Люба. Я сказал.— Ну до катера можешь у меня еще маленько посидеть, еще не скоро. А мне уж пора перекусить. Уж червячок сосет.—

Она раскрыла чемодан, наполненный резаными и рваными кусками черствого, невесь где ею подобранного хлеба, и начала есть, отрывая пальцами мякоть и посыпая ее серой, мокрой солью из тряпицы.

— Я тебе, Вася, не предлагаю,— сказала она,— ты такой еды, думаю, не большой любитель.

Сказала она это серьезно, но мне в этом серьезе ее почудилась и некая ирония — то ли в мой, то ли в свой адрес. Вообще была она гораздо смышленей, чем мне первоначально показалось, не так простодушна. Не все говорила, кое-что и затаивала. Мне вдруг показалось, что она меня запомнила, когда я в «Блинной» ее от столика прогнал, и под внешней кротостью душа ее была пропитана обидой, как бодлеровскими горькими осенними соками. И когда Люба так ела свой хлеб с солью, я понял: что бы я дальше ни видел и куда бы дальше ни ехал, никакого другого итога мне не найти. Вот он, итоговый символ всего мной виденного и прочувствованного. Вот она передо мной, Россия, вот она, нищенка-Россиюшка...

Нет, не краснощекая стройная грудастая красавица в вышитом сарафане и кокошнике, которая на позолоченном блюде, застланном белоснежным вышитым полотенцем, подносит большой свежеиспеченный хрустящий хлебный каравай и белую чистую соль в хрустальной солонке,— бутафорская ряженая Россия. Вот если бы вместо красной девицы вышла встречать черные лимузины и международные самолеты Люба со своими черствыми нищими кусками хлеба и своей мокрой серой солью в тряпице. Нищая русалка, безгрешная убийца с кротким светлым взглядом и горькой осенней душой. Дочь времени, рожденная без прав. Такой мне захотелось ее запомнить, такой увезти с собой. Я поднялся с ящика.

— Мне уж пора, Люба.

— Вещи твои где?

— Вещей у меня мало, саквояж один в камере хранения.

— Ну и ладно,— сказала она, отложив недоеденный кусок хлеба,— спасибо, что зашел, Вася.— Точно она не валялась на грязном дебаркадере, а была у себя в уютном доме и я зашел к ней в гости.— Может, и адресок свой оставишь, Вася? — сказала она и глянула непонятно — то ли наивно, то ли насмешливо.

— Да, конечно,— сказал я,— адресок оставлю.— И, вырвав лист из карманного блокнота, быстро набросал адрес, конечно же, выдуманный, тем более что у меня и подлинного-то российского адреса скоро не станет. И фамилию себе придумал сатирическую: «Доедаев».

Люба взяла лист, прочла.

— Доедаев? Я такую фамилию слышала, парень у меня был в молодости знакомый, чубатый такой... Или Докучаев он был, уж не помню. Дай и мне чистый листик, Васенька, а то видишь, я на газетке пишу. Дай я и тебе напишу на память, авось когда свидимся, и авторучку дай, а то мой карандаш затупился.

Она взяла у меня лист, авторучку и начала писать. Глянет на меня, улыбнется и пишет, улыбнется и пишет. Но в это время от пристани гудок послышался, сирена, и Люба заволновалась.

— Ой, Вася, беги быстрее за вещами, катер уже с того берега пришел, через полчаса назад пойдет.

Я схватил сложенную вдвое бумажку и побежал вверх по склону.

— Вася,— закричала мне вслед Люба,— Вася, авторучку свою забыл.

Я отбежал уже довольно далеко и не знал, что делать,— возвращаться— время потеряю, а авторучка была дорогая, американская.

— Беги, беги, Вася,— крикнула Люба, видя, что я колеблюсь,— я принесу... Я тебя проводить приду...

#### 4

Времени у меня оставалось действительно мало после того, как, взмокнув от крутого подъема, я добрался наконец до речного вокзала и получил в камере хранения саквояж. Минут пятнадцать до отхода катера оставалось. Я ужасно суетлив, когда опаздываю, хочу все сделать быстрее, а получается медленней. Сначала долго не мог найти багажную квитанцию, шарил быстрыми угловатыми движениями по всем карманам, а квитанция спокойно лежала в верхнем пиджачном. Уж очередь багажная на меня роптать стала, уж какой-то доброхот, впрочем, тоже спешащий, хотел меня в сторону отодвинуть, и даже выдавший виды с закаленным сердцем служащий багажного отделения, глянув на мое лицо, сказал мне:

— Вы не нервничайте, спокойно ищите.

Как только он сказал, я сразу и нашел, получил саквояж. Идти к пристани уж некогда было— побежал, но с кем-то столкнулся, от толчка саквояж раскрылся, и оттуда выпали спортивные мои кеды, зубная щетка, порошок от клопов, на

случай ночевки в местных гостиницах, и томик сонетов Шекспира, который в отличие от прочего набора книг, в основном случайного, брался мной всегда в дорогу. Когда я подбирал все и запихивал в саквояж, ко мне вдруг подошла девочка и начала о чем-то говорить. Я сначала от нервной суеты не понял, какая девочка, о чем она говорит, но, когда девочка протянула мне мою дорожную американскую авторучку, я понял — это Люба передала. А потом и девочку узнал, одна из рыженьких, которая в Любу камни бросала.

— Люба передать просила, — сказала девочка, — жалко, что мы в нее камни бросали. Мы думали, она сумасшедшая, а она хорошая.

Я дослушивал эту исповедь, это детское покаяние уже спиной. Но, добежав, успев в последний момент, ибо матросы уже сходни убирали, стоя на палубе и успокаиваясь, вспомнил о рыженькой. Значит, дети были недалеко, слышали наш разговор, вернее, рассказ Любы о своей жизни и покаялись в своих дурных поступках. О, дети понятливее нас, взрослых, особенно тех, кто склонен к постоянному гамлетовскому напряжению. Тех, кто с Божьей высоты тянутся мысли достать, а простенькую, из-под ног своих не подберут вовремя. Тут именно проблема времени. Высокие мысли связаны с бесконечностью, их ценность непреходяща, а ценность простенькой мысли часто зависит от получаса, от пяти минут... «Почему, почему я не дал Любе денег на билет?» Конечно, с деньгами у меня не густо, но еще один билет на рейсовый катер я уж как-нибудь мог купить... Ах, если б не суета последнего часа или если б Люба не запоздала, если б она пришла на пять минут раньше, когда я еще был на берегу...

Я увидел Любу, когда катер уже разворачивался, чтоб взять курс к пристани у Любиной деревни. Люба стояла у ограждения и махала мне платочком.

— Прощай, Вася! — крикнула она. — Будь здоров, Вася!

Я ничего не ответил, только поднял руку, потому что боялся разрыдаться, но безмолвно произнес: «Прощай, прощай, Люба, прощай, нищая Россиюшка, безгрешная убийца».

У меня в тот момент было такое чувство, точно я и впрямь покидаю Россию, которая машет мне на прощанье рукой с зажатым в кулаке платочком, и по темной волжской воде уезжаю за границу.

Смеркалось рано, как смеркается осенью — из-за ненастья, из-за низких черных туч. Чайки с визгливой мольбой носились над белыми пенистыми волнами, вот-вот опять должен был начаться дождь. Правый высокий берег был освещен огнями у речного вокзала и гораздо левей, где рычал мотора-

ми карьер по добыче асфальта и откуда береговой ветер приносил удушливый запах, напоминающий вонь жженой резины. В промежутке же между этими огнями уже сгустилась тьма, и где-то там, в дальнем конце холодного грязного дебаркадера, третьи или четвертые сутки ночует Люба, которая никак не попадет в свою деревню к своему Ванечке, никак не накопит денег на билет, никак не соберет у алкоголиков нужного количества бутылок. «Почему, почему я не дал ей денег на билет?» Ах это «почему». А почему Люба не ударила измучившую ее свекровь, почему не ударила свою ненавистную Кабаниху качалкой в нос, вызвав всего лишь свару, а может, даже просто смех, почему ударила в висок, убила наповал? А почему я, живя столько лет в Москве... Впрочем, обо мне сейчас совсем не ко времени.

Правый покинутый берег стал неразличим, я повернулся, глянул в глубь катера на пассажиров и... О Боже мой, о Боже мой, какой символ... Неподалеку от меня у самого борта сидела пожилая женщина безликого облика, из тех, кого видишь во множестве и потому не замечаешь. Но в руках эта женщина держала, прижимая к груди у самой своей головы, огромную свиную голову, которую везла, видать, на холодец или на кислые щи с головизной. Держала, упираясь подбородком в голову, совершенно неупакованную, что не удивительно, ибо в наших магазинах упаковочной бумаги и на мелкие покупки не получишь, а такую огромную голову как упакуешь? Именно свиная голова, вплотную к человеческой, придавала этой женщине индивидуальность. И я поразился схожестью не только выражения на женском лице и свином облике, но схожестью даже каких-то внешних черт. Не скажу, что лицо у женщины было злое, скорей мертво-тупое, как и у свиной головы,— неподвижное какое-то, застывшее, и мне почудилось, что голова женщины, как и свиная, запачкана замытой розовой кровью. «Вот она, Любина свекровь,— подумалось,— преступная жертва, которая везла на холодец, везла на съедение собственную голову». Да, это была другая, вторая ипостась России, все вокруг вытаптывающая, все и всех пожирающая, в том числе, а скорей в первую очередь, себя, большую, тяжелую, заплывшую салом. Ее нельзя было одолеть и смертью, убоем, она для того и существовала, она тем и губила соблазненных ею убийц своих, восставших на нее, многоголовую. Со своими двумя тупо-мертвыми головами она, свекровь-Россия, уверенно восседала, как на троне, а загубленная ее Россиюшка, одинокая, бездомная, пропадала где-то во тьме, холоде, сырости, ночуя на дебаркадере. Вот



такой волжский сюрреализм, вот такой волжский Сальвадор Дали.

В принципе я не принадлежу к поклонникам сюрреализма, символизма, вообще модернизма и согласен с теми, кто отвергает применение математических методов в искусстве. Я согласен с реалистами, верящими в основополагающее состояние равновесия в искусстве и жизни, в противовес модернистам, верящим в текучесть, в возможность приблизить квадрат через восьмиугольники, шестнадцатиугольники, тридцатидвухугольники и прочее и прочее к кругу. Наверно, правы реалисты, утверждающие, что в реальной, неэкспериментальной жизни и в реальном неэкспериментальном искусстве существуют либо квадрат, либо круг. В образе — да, но не в слове, этот образ создающем, в жизни да, но не в чувствах, эту жизнь воспринимающих. Ибо четкое разделение в области чувств в конечном итоге ведет либо к лесной дикости, либо к неврастении цивилизации. И бывают моменты, бывают периоды в жизни и искусстве, согласен, тяжелые, темные периоды, когда чувства обнажаются, теряют пристойную гармоничную, телесную защитную оболочку, как обнажаются кишки в раненом кишечнике или мозг в проломленном черепе, и именно тогда слова, краски, звуки становятся образами. Это, повторяю, ужасное зрелище, но в определенные моменты как раз модернизм, сюрреализм, символизм воплощают реальность, а реализм превращается в блеф, фантазию, выдумку. Разве не досужей выдумкой выглядит красна девица Россия, выносящая навстречу черным лимузинам хрустящий хлебный каравай и соль в хрустальной солонке? Разве не реальной были бы две ипостаси — сюрреалистическая свекровь-Россия, подносящая начальству на блюде холодца свою собственную голову, и символическая Люба-Россиюшка, подносящая нищенские собранные куски черствого хлеба и тряпицу с мокрой серой солью? Разве в промежутке меж этими двумя ипостасями России не уложились бы и тоскливая ненависть тусклой российской улицы, и мазохистски-губительные пьяные радости нынешних людей мелкого счастья, а также прочее и прочее из повседневности страны, где, как писала Анна Ахматова: «Здесь древней ярости еще кишат микробы: Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы, и Самозванца спесь — взамен народных прав»? Вот отчего бывают творцы, несчастные люди, которые не делят жизнь на темные и светлые периоды, а всегда видят лишь темное, даже на солнечном свету, среди многолюдных шумных радостей. Что ж тогда говорить о местности, меня окру-

жающей, которая и природного хохотуна может увлечь к черному пессимизму?

Пристань у деревни Верхняя Башмаковка была узкая, но длинная, глубоко уходила в Волгу, и волны били в нее с ужасной, как мне показалось, ненавистью. Чтоб как-то рассеяться, я начал наблюдать за волнами, которые во множестве со всех сторон, как дикая орда, неслись на пристань и погибали, разбившись о мокрый бетон, о мокрые ржавые железные опоры. Но ветер гнал все новые и новые полчища. Волны состояли из углублений и возвышений, гребней и долин, и, судя по тому, как они неслись равномерно и монотонно, было ясно, что здесь даже у берега очень глубоко. На мелководье волны бывают разного размера в зависимости от понижения дна. Я решил выбрать в этом монотонном движении какую-либо одну волну и следить за ней с наиболее дальнего, по возможности, расстояния. В общем, одно из тех бесполезных занятий, которые мы иногда придумываем для отдыха и которые еще более утомляют. А от утомления человек, случается, бросается в крайности. Я начал следить за волнами, не только чтоб отдохнуть от мыслей, но также чтоб не смотреть на мигающие редкие огоньки деревни Верхняя Башмаковка, куда, как я считал теперь, по моей вине так и не попала Люба, спала опять вдали от своего Ванечки, отделенная от него злой бушующей Волгой. И вдруг подумалось: надо найти Ванечку, объяснить ему, где Люба, и дать денег на два билета, туда и обратно. Это уже приличная сумма, но, в конце концов, я даю эти деньги не им, а себе, покупаю для себя спокойную совесть... И прочее и прочее в этом духе, те самые нервнопокаянные интеллигентские фантазии, которые гнали моих собратьев по сословию и в народничество и на плаху, а то и в места вовсе для фантазеров неожиданные. «Деревня недалеко,— думаю,— в полукилометре огнями мигает. В первый попавшийся домик постучу в окошко, Ваню спрошу, Ивана, сторожа телят колхозных. Жена у него Люба... В деревне друг друга знают, покажут... Однако на кого попадешь... Если на такую со свиной головой, то и собак натравит. Нет, я все-таки не идеалист, не народник, мне уже рвали штаны деревенские собаки... Но ведь, кажется, адрес у меня есть, зачем же в окошко стучать, ведь Люба мне адрес написала...»

Я сунул руку под плащ в верхний карман пиджака и нашёл там сложенную вдвое бумажку, которую положил впопыхах. Я постоянно кладу бумажки, которые хочу сберечь, в верхний карман пиджака и постоянно о них забываю. Отойдя под навес, где толпились пассажиры, ожидавшие теплоход, я поставил к стене мокрый саквояж и у фонаря развернул бумажку.

На бумажке, как рисуют дети, были нарисованы солнце и луна, облака, проставлены крестики в несколько рядов и написано слово «Люба» много, много раз. Мне стало горько и стыдно. Значит, Люба с самого начала понимала наши взаимоотношения, понимала мою игру и свою игру провела более достойно, чем я. Наверно, она с самого начала понимала, что меня зовут не Вася и что адрес я ей подсовываю фальшивый, и, может быть, даже помнила, безусловно помнила, как я прогнал ее от своего столика в «Блинной». Но ответила Люба на все эти мои изощрения спокойно и разумно, точно простила и пожалела меня... Верила ли она в Бога, знала ли Христовы заповеди? Не уверен. Впрочем, в наше время, когда уличные хулиганы открыто демонстрируют на грудях своих православные кресты, такой вопрос честному человеку и задавать неприлично. Знаю лишь, что позор несчастной жизни своей она несла спокойно, как тяжелый истинный крест, и имела абсолютное право сказать о себе: «Нет стыда надеющимся на Тебя».

Ночью, проснувшись в теплой, уютной каюте первого класса, отодвинув кремовую штору и глянув в круглое, как дыра, черное окно, я представил себе ее, спящую сейчас в обнимку с куклой, под зыбким навесом на ветру, под близкий грохот волжского шторма, и ужасно пожалел себя, которому не на кого было надеяться в небесах. Оставалось надеяться только на земное. У каждого в этом случае свои рецепты. Зажегши ночник и чувствуя тошноту от качки, от подступающего к горлу штормового ужина солено-копченостями и ржаными сухарями, я открыл саквояж и достал аварийный томик Шекспира. Открыл наугад. Сонет 104:

Ты не меняешься с теченьем лет.  
Такой же ты была, когда впервые  
Тебя я встретил. Три зимы седые  
Трех пышных лет запорошили след.  
Три нежные весны сменили цвет  
На сочный плод и листья огневые,  
И трижды лес был осенью раздет...

«Много лет пройдет,— думал я,— и еще трижды столько, а я буду помнить этот волжский мутно-молочный день, и эту волжскую черную ночь, и эту волжскую природу, которая словно умышленно на мои проводы надела мокрое, грязное, нищенское рубище». Так мне тогда казалось. Однако мудрые вечные слова Соломоновы: все проходит,—если применить их к жизни временной, суетливой, мелочной, могут быть заменены словами: все забывается. Впечатления российские,

знакомые мне до самых подробных, нудных деталей, уже начинали соседствовать с впечатлениями заграничными, где я никогда не бывал, и поэтому, как во всяком небытии, впечатления эти не имели веса, были символичны, фантастичны иногда до смешного, подобно миражам из снов.

Заснул я в эту волжскую ночь лишь под утро, когда черная дыра посинела и в коридоре за дверью каюты стали слышны шаги, покашливание, сморкание обслуживающего персонала. Я заметил, кстати, что мозг свежий, здоровый беден воображением, тогда как мозг утомленный, доведенный до болезненного состояния, на редкость воображением богат, соединяя ведомое с неведомым. Гумилев когда-то сказал, что неведомое дает нам по-детски мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания. Так представлял я себе тогда манящую границу наяву, а тем более во сне. В ту ночь, точнее, в то рассветное утро опять снилась мне заграница. Иду я где-то через какие-то рынки, наподобие московских, но гораздо более разнообразных, иду среди всевозможных продуктов, выставленных напоказ,— горы свежего мяса, груды фруктов и овощей, бидоны меда и молока, каравай свежеепеченного хлеба. Иду и радуюсь: вот она, заграница, но в каком городе нахожусь, не знаю. Знаю только, что это не Париж, не Сан-Франциско, не Лондон... Слышу вдруг, кто-то произносит название города: Чимололе... Смешной, но успокаивающий сон о несуществующем заграничном городе... Городе без веса, городе из небытия... Пусть в небытие, но прочь из этого бытия. Ведь тогда, накануне моего отъезда, все кругом меня так осточертело и все внутри меня так наболело, что я готов был тут же присесть к столу и единым махом, на едином дыхании написать:

Страшное, грубое, липкое, грязное.  
Жестко-тупое, всегда безобразное.  
Медленно рвущее, мелко-нечестное,  
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,  
Явно-довольное, тайно-блудливое,  
Плоско-смешное и тошно-трусливое.  
Вязко, болотно и тинно-застойное,  
Жизни и смерти равно недостойное,  
Рабское, хамское, гнойное, черное,  
Изредка серое, в сером упорное.  
Вечно лежачес, дьявольски косное,  
Глупое, сохлое, сонное, злостное,  
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,  
Непереносное, ложное, ложное!  
Но жалоб не надо. Что радости в плаче?  
Мы знаем, мы знаем: все будет иначе.

И написал бы, если бы под названием «Все кругом» это не было бы уже написано Зинаидой Гиппиус еще в 1904 году. Правда, написал бы без последних двух строк, потому что тогда, накануне моего отъезда, не верил, что тут может быть иначе. Иначе может быть только в Чимололе. «О, пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает,— как писала та же Зинаида Гиппиус,— мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете...» Однако чего нет, того нет. Где ты, Чимололе?

Щебечут воробьи, светит солнце, и под легким ветерком колышутся ветви большого клена у моего окна... Это Берлин, это заграница. Все проходит, и все приходит. Все закономерно забывается, и все случайно вспоминается. Я искал одну из нужных мне книг, и случайно упал с полки томик сонетов Шекспира весь в бумажных закладках. Одна закладка, уже пожелтевшая от времени, скользнула на пол, я глянул: солнце, луна, облака, крестики в несколько рядов и слово «Люба» много-много раз...

В Берлине жарко. Тридцать градусов, душный вечер. В окнах полураздетые женщины в нижнем белье, полуголые мужчины. Тела, халаты. Мелькнет и грудь, бедро, мелькнет на балконе пляжница. А вот и вовсе — там, где свет голубой в окне... Выхожу погулять и встречаю немца-соседа. Это левый молодой немец, который учит русский язык и хочет поехать в Россию для продолжения учебы. Он, кажется, уже был в России туристом и со мной заговаривает всякий раз ради упражнения в языке.

— О, Rußland<sup>1</sup>,— говорит он мне.— Schöne Frauen<sup>2</sup>... Водка... Тайга... Волга... Господин, прости... Братья Карамазов... Und was sieht man hier? Autos, nichts als Autos<sup>3</sup>. Да, мой русский язык плохо, но я люблю русский язык.

Мой сосед — немец-гуляка, от него даже в будничные дни постоянно пахнет хорошим немецким пивом и добротным немецким шнапсом. Я понимаю, что этого немца от сытой тоски и хорошего допелькорна тоже тянет в Чимололе, в город под святыми счастливыми звездами, приснившийся мне когда-то ночью на волжском теплоходе.

— Водка,— говорит он.— Тайга... Волга...

А мне вспоминаются волжские символы — волжская русалка Любушка-Россиюшка и двуглавая свиномордая Россия, пожирающая себя и других, а в промежутке между этими полюсами — вся жизнь, вся история несчастной страны, четы-

<sup>1</sup> Россия.

<sup>2</sup> Красивые женщины.

<sup>3</sup> И что можно видеть здесь? Автомашины, ничего, кроме автомашин.

ре века тому назад на беду себе и другим покинувшей уютные зеленые заросли доимперских волжских верховьев.

— Das Wetter ist gut <sup>1</sup>,— говорит немец, догадываясь, что я не в настроении продолжать сегодня наш разговор, служащий ему учебным пособием, и желая окончить этот разговор вежливой фразой.

— Ja, ja <sup>2</sup>,— говорю я.— Ja, ja... Какая несправедливость!

— Was ist das für ein Wort? <sup>3</sup>

— Ungerechtigkeit <sup>4</sup>,— говорю я.

— Oh Ungerechtigkeit! Wie viel Ungerechtigkeit gibt auf dieser Welt! <sup>5</sup>

Немец смотрит на меня.

— Schlechte Laune? <sup>6</sup>

— Probleme <sup>7</sup>,— говорю я.— Probleme.

— Jeder hat seine Probleme <sup>8</sup>.

Немец желает мне доброго вечера, я отвечаю ему тем же, мы улыбаемся друг другу и расстаемся. Я иду в равнодушно-вежливой толпе, мимо до жути ярких витрин, мимо сидящей за столиками избалованно-привычной публики, неторопливо глотающей, безжалостно, спокойно пачкающей жиром и соусом белоснежные крахмальные салфетки. Сытость и покой даже в ухоженных уличных деревьях. Набоковский Берлин давно минул, но какая-то устойчивость, какая-то неистребимость духа чувствуется во всем, может быть, потому, что здесь дух заменяет душу. Точнее, здесь господствует то самое скрытое единство живой души и тупого вещества, о котором говорили символисты. Впрочем, это уже совсем о другом, это уже совсем другие проблемы... А сейчас здесь в этот вечер с здешними проблемами можно встретиться только возле газетных киосков. У ближайшего газетного киоска читаю написанную на щите последнюю берлинскую новость: начальник берлинской полиции вышел на улицу в двух разных туфлях: одном черном, другом коричневом. Очевидно, начальник полиции куда-то торопился, удрученный проблемами, и к радости вездесущих фоторепортеров оказался на щите. В этом разница между нами и ими, их проблемы можно снять и на-

---

<sup>1</sup> Хорошая погода.

<sup>2</sup> Да, да.

<sup>3</sup> Что это за слово?

<sup>4</sup> Несправедливость.

<sup>5</sup> О, несправедливость! Как много несправедливостей в этом мире.

<sup>6</sup> Плохое настроение?

<sup>7</sup> Проблемы.

<sup>8</sup> У каждого свои проблемы!

деть, как туфли. Мелкие ли, сложные ли, они все-таки отделены от тела. А наши проблемы вросли нам в тело, наши проблемы вросли нам в мясо, и отодрать их можно только с мясом. Каждая российская проблема оставляет после себя на теле незаживающую, кровоточащую рану, и кто его знает, заживут ли эти раны когда-нибудь, не истечет ли Россия кровью до смерти, полностью избавившись от своих нынешних проблем? Нет, не сможет она так по-немецки, почти бескровно снять диктатуру, надеть демократию...

Я ухожу с утомляющей, бездушной праздничной улицы, сворачиваю к каналу, поблескивающему гладкой черной водой, по которой словно бы можно ходить до рассвета, когда вода опять посветлеет и станет жидкой. Здесь прохладней, здесь, вдоль набережной и под мостами, прогуливается влажный, речной, совсем волжский ветер. Здесь мне проще, здесь я успокаиваюсь. В виски уже не так давит, и, как говорил мне знакомый доктор, мелодия сердца становится приятней. И уж нету удручающего нетерпения, нет удручающей злобы на жизнь. В такие благие минуты хочется верить в чудотворные силы, хочется верить, что рано или поздно тайны нашего спасения будут нам возвещены.

*Октябрь 1988  
Западный Берлин*

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Дом с башенкой. <i>Рассказ.</i> . . . . .	5
Старушки. <i>Рассказ.</i> . . . . .	87
Зима 53-го года. <i>Повесть.</i> . . . . .	44
Разговор. <i>Рассказ.</i> . . . . .	145
Искупление. <i>Повесть.</i> . . . . .	149
Бердичев. <i>Пьеса.</i> . . . . .	282
С кошелочкой. <i>Рассказ.</i> . . . . .	402
Искра. <i>Рассказ.</i> . . . . .	426
Улица Красных Зорь. <i>Повесть.</i> . . . . .	458
Последнее лето на Волге. <i>Повесть.</i> . . . . .	501



**Горенштейн Ф.**

**Г 68 Избранные произведения. В 3 т. Т. 2: Искупление: Повести. Рассказы. Пьеса / Худож. В. Локшин.— М.: СП «Слово», 1991.— 543 с., ил.**

**ISBN 5-85050-297-1**

Фридрих Горенштейн — один из самых ярких и своеобразных талантов современного русского литературного зарубежья. Судьба его драматична: напечатать в 1964 году в журнале «Юность» рассказ «Дом с башенкой», отмеченный ценителями литературы, Горенштейн затем не мог опубликовать ни одной строчки, хотя работал много, вдохновенно и плодотворно. В настоящий сборник Горенштейна включены произведения, написанные писателем на родине и в эмиграции за четверть века. Их отличает высокий драматизм, тонкий и пронизательный психологический анализ, жесткий реализм бытописания и глубокая нравственно-философская проблематика.

Г 4702010201 — 039 Без объявл.  
М 128(03) — 92

**ББК 84Р6**

## **ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН**

**Избранные произведения**

**Том 2**

**ИСКУПЛЕНИЕ**

*Редактор Л. И. Лазарев*

*Художественный редактор*

*В. В. Медведева*

*Технический редактор*

*В. Ф. Нефедова*

*Корректоры*

*Т. И. Томащевская и Г. И. Киселева*

Сдано в набор 9.07.91 г. Подписано в печать 13.02.92 г. Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Тип. «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 28,98. Уч.-изд. л. 32,75. Тираж 50 000 (1-й з-д 1-25 000 экз.). Заказ № 984. СП «Слово» 119034, Москва, Остоженка, 41

Можайский полиграфкомбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 143200 Можайск, ул. Мира, 93.